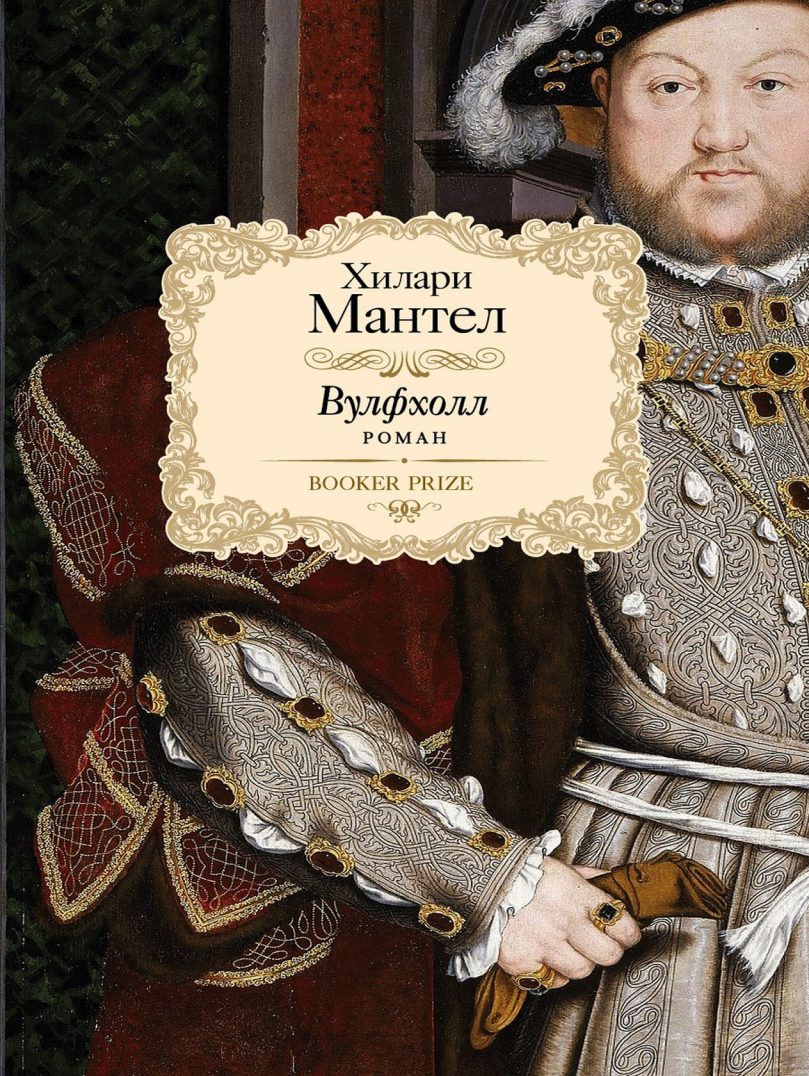

Хилари
Мантел
Вулфхолл
РОМАН
BOOKER PRIZE

Волчий зал

Хилари Мантел

Аннотация
Хилари Мантел. Волчий зал
Действующие лица:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I Через проливы
II Отцовство
III В Остин-фрайарз
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I Гости
II Потаенная история Британии
III Попытка не пытка
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I Финт с тремя картами
II Мой дражайший Кромвель
III Мертвые сетуют из могил
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I Сделай лицо
II «Ах, чем бы милой угодить?»
III Ранняя обедня
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
I Anna Regina
II Плевок дьявола

III Глаз художника
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
I Супрематия
II Карта христианского мира
III В Вулфхолл
От автора
Благодарности
От переводчиков
Послесловие научного редактора

Аннотация

Англия, двадцатые годы шестнадцатого столетия. Страна на грани бедствия: если Генрих VIII умрет, не оставив наследника, неизбежна гражданская война. На сцену выступает Томас Кромвель, сын кузнеца-дебошира, политический гений, чьи орудия — подкуп, угрозы и лесть. Его цель — преобразовать Англию сообразно своей воле и желаниям короля, которому он преданно служит.

В своем неподражаемом стиле Хилари Мантел показывает общество на переломе истории, общество, в котором каждый с отвагой и страстью идет навстречу своей судьбе.

Хилари Мантел
Волчий зал

Моей замечательной подруге Мэри Робертсон

Действующие лица:

В Патни, 1500

Уолтер Кромвель, пивовар и кузнец.

Томас, его сын.

Бет, его дочь.

Кэт, его дочь.

Морган Уильямс, муж Кэт.

В Остин-фрайарз, с 1527-го

Томас Кромвель, стряпчий.

Лиз Уайкис, его жена.

Грегори, их сын.

Энн, их дочь.

Грейс, их дочь.

Генри Уайкис, отец Лиз, суконщик.

Мерси, его жена.

Джоанна Уильямсон, сестра Лиз.

Джон Уильямсон, ее муж.

Джоанна (Джо), их дочь.

Алиса Уэллифед, племянница Кромвеля, дочь Бет Кромвель.

Ричард Уильямс, позже — Кромвель, сын Кэт и Моргана.

Рейф Сэдлер, старший письмоводитель Кром-

веля, воспитанный в Остин-фрайарз.

Томас Авери, домашний счетовод.

Хелен Барр, бедная женщина, взятая в дом.

Терстон, повар.

Кристоф, слуга.

Дик Персер, псарь.

В Вестминстере

Томас Вулси, архиепископ Йоркский, кардинал, папский легат, лорд-канцлер; покровитель Томаса Кромвеля.

Джордж Кавендиш, помощник, затем биограф Вулси.

Стивен Гардинер, глава Тринити-холла, секретарь кардинала, позже государственный секретарь Генриха VIII; заклятый враг Кромвеля.

Томас Риотеслей (Ризли), хранитель личной королевской печати, дипломат, протеже и Кромвеля, и Гардинера.

Ричард Рич, юрист, позже генеральный адвокат.

Томас Одли, юрист, спикер палаты общин, лорд-канцлер после отставки Томаса Мора.

В Челси

Томас Мор, юрист и ученый, лорд-канцлер после падения Вулси.

Алиса, его жена.

Сэр Джон Мор, его престарелый отец.

Маргарет Ропер, его старшая дочь, жена Уилла Ропера.

Энн Крезакр, его невестка.

Генри Паттинсон, слуга.

В Сити

Хемфри Монмаут, торговец, арестованный за то, что дал приют Уильяму Тиндейлу, переводчику Библии на английский язык.

Джон Петит, купец, арестованный по подозрению в ереси.

Люси, его жена.

Джон Парнелл, купец, ведущий бесконечную тяжбу с Томасом Мором.

Маленький Билни, ученый, сожженный за ересь.

Джон Фрит, ученый, сожженный за ересь.

Антонио Бонвизи, купец из Лукки.

Стивен Воэн, антверпенский купец, друг Кромвеля.

При дворе

Генрих VIII.

Екатерина Арагонская, его первая жена, позже именуемая вдовствующей принцессой Уэльской.

Мария, их дочь.

Анна Болейн, его вторая жена.

Мария, ее сестра, вдова Уильяма Кэри, бывшая любовница Генриха.

Томас Болейн, ее отец, позже граф Уилтширский и лорд-хранитель королевской печати; любит, чтобы к нему обращались «монсеньор».

Джордж, ее брат, впоследствии лорд Рочфорд.

Джейн Рочфорд, жена Джорджа.

Томас Говард, герцог Норфолкский, дядя Анны.

Мэри Говард, его дочь.

Фрейлины: Мэри Шелтон, Джейн Сеймур.

Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, старый друг Генриха, женатый на его сестре Марии.

Джентльмены, состоящие при короле: Генри Норрис, Фрэнсис Брайан, Фрэнсис Уэстон, Уильям Брертон, Николас Кэрью.

Марк Смитон, музыкант.

Генри Уайетт, придворный.

Томас Уайетт, его сын.

Генри Фицрой, герцог Ричмондский, незаконный сын короля.

Генри Перси, граф Нортумберлендский.

Священнослужители

Уильям Уорхем, престарелый архиепископ Кентерберийский.

Кардинал Кампеджо, папский легат.

Джон Фишер, епископ Рочестерский, советник Екатерины Арагонской.

Томас Кранмер, кембриджский богослов, сторонник Реформации, архиепископ Кентерберийский после смерти Уорхема.

Хью Латимер, священник, сторонник Реформации, позднее епископ Вустерский.

Роуланд Ли, друг Кромвеля, позднее епископ Ковентри и Личфилда.

В Кале

Лорд Бернерс, губернатор, ученый и переводчик.

Лорд Лайл, следующий губернатор.

Хонор, его жена.

Уильям Стаффорд, гарнизонный офицер.

В Хэтфилде

Леди Брайан, мать Фрэнсиса; воспитательница новорожденной принцессы Елизаветы.

Леди Энн Шелтон, тетка Анны Болейн; воспитательница бывшей принцессы Марии.

Послы

Эсташ Шапюи, дипломат, уроженец Савойи, посол императора Карла V в Лондоне.

Жан де Дентвиль, посол Франциска I.

Йоркистские претенденты на престол

Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский, потомок дочери Эдуарда IV.

Гертруда, его жена.

Маргарет Пол, графиня Солсбери, племянница Эдуарда IV.

Лорд Монтегю, ее сын.

Джеффри Пол, ее сын.

Реджинальд Пол, ее сын.

Семья Сеймуров в Волчьем зале

Старый сэр Джон, опозоривший себя связью с женой старшего сына Эдварда.

Эдвард Сеймур, его сын.

Томас Сеймур, его сын.

Джейн, его дочь, при дворе.

Лиззи, его дочь, замужем за губернатором острова Джерси.

Уильям Беттс, врач.

Николас Кратцер, астроном.

Ганс Гольбейн, художник.

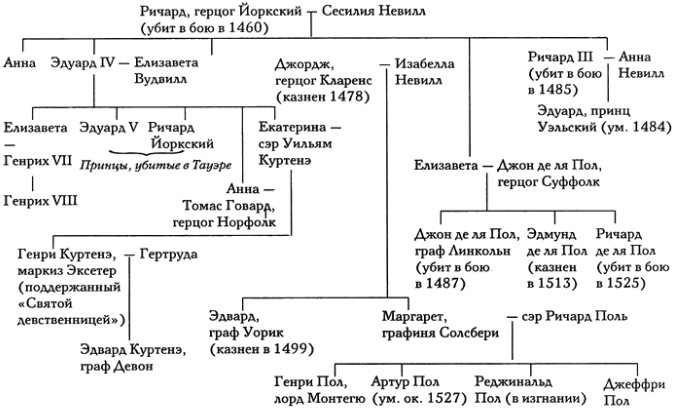
Секстон, шут Вулси.

Элизабет Бартон, пророчица.

Тюдоры


Оуэн Тюдор
(казнен в 1461)
— Екатерина Валуа
(вдова Генриха V)
Эдмунд Тюдор,
граф Ричмонд
— Маргарита Бофорт
Джаспер Тюдор,
граф Пемброк,
герцог Бедфорд
(законных отпрысков нет)
Генрих VII — Елизавета Йоркская
(старшая дочь Эдуарда IV)
Артур,
принц Уэльский
(ум. 1502)
— Екатерина
Арагонская
Мария
— (1) Людовик XII
Французский
— (2) Чарльз Брэндон,
герцог Суффолк.
Маргарита — Яков IV
Шотландский
другие
— (2) Генрих VIII — (2) Анна Болейн
Мария
Елизавета

Йоркистские претенденты



Если Эдуард IV был незаконным сыном, то Полы, потомки Джорджа, герцога Кларенса, могут с большим основанием претендовать на престол.

Сцены бывают трех родов: во-первых, так называемые трагические, во-вторых — комические, в-третьих — сатирические. Декорации их несходны и разнородны: в трагических изображаются колонны, фронтоны, статуи и прочие царственные предметы; в комических же представляются частные здания, балконы и изображения окон, в подражание тому, как бывает в обыкновенных домах; а сатирические украшены деревьями, пещерами, горами и прочими особенностями сельского пейзажа.[1]

Витрувий. О театре. Ок. 27 г. до н. э.

Вот имена действующих лиц:
Счастье
Свобода
Умеренность
Величие
Прихоть
Притворное сочувствие
Лукавство
Тайный сговор

---

[1] Примечания Ольги Дмитриевой: 1
Пер. Ф. Петровского.

Учтивое оскорбление
Безумие
Бедствие
Нищета
Отчаяние
Подлость
Надежда
Исправление
Осмотрительность
Стойкость

Джом Скелтон.[2] Величие. Интерлюдия.
Ок. 1520

---

[2] Примечания Ольги Дмитриевой: 2

Джон Скелтон (ок. 1460–1529), поэт, наставник Генриха VIII, острослов, поначалу пользовавшийся расположением кардинала Вулси, которое со временем утратил из-за критических высказываний в адрес всесильного министра.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I Через проливы

Патни, 1500

— А ну вставай!

Только что он стоял — и вот уже лежит, оглушенный, ошарашенный, растянувшись во весь рост на булыжнике двора. Поворачивает голову, смотрит на ворота, будто оттуда может прийти помощь. Сейчас его ничего не стоит прикончить.

Кровь из разбитой головы — по ней пришелся первый удар — заливает лицо. Левый глаз ничего не видит. Сощурив правый, он замечает, что шов на отцовском башмаке лопнул. Дратва вылезла наружу, узел на ней и рассек ему бровь. Это был второй удар.

— Вставай же! — орет Уолтер, примериваясь, куда ударить теперь.

Он приподнимает голову на дюйм-другой, ползет на животе, стараясь не выставлять руки, иначе Уолтер на них наступит. Так уже было.

— Ты что, угорь? — спрашивает родитель. Отходит на несколько шагов, разбегается, снова бьет.

Удар вышибает из него дух. В голове одна мысль: это конец. Лоб снова касается булыжни-

ков. Сейчас Уолтер начнет его пинать. Белла, запертая в сарае, заходится лаем. Жалко, что я больше ее не увижу, проносится в голове. На дворе пахнет пивом и кровью. За воротами, у реки, кто-то орет. Ничего не болит, а может, болит все, и невозможно вычленить отдельную боль. Есть лишь ощущение холода в прижатой к булыжнику щеке.

— Нет, только глянь! — Уолтер прыгает на одной ноге, будто танцует. — До чего ты меня довел! Я порвал о твою башку свой добрый башмак!

Дюйм за дюймом. Дюйм за дюймом вперед. Пусть обзывает угрем, червяком, аспидом. Голову не поднимай, чтобы не злить Уолтера еще больше. Нос забит кровью, приходится дышать ртом. Отец отвлекся на порванный башмак. Минута передышки.

Его тошнит.

— Давай-давай! — ревет Уолтер. — Заблюй тут все!

Заблюй мои добрые булыжники.

— Давай же, вставай! Поднимайся! Святые греховодники! Встань на ноги!

Святые греховодники? думает он. Что это значит? Волосы в блевотине, собака лает, Уолтер вопит, над рекой несется колокольный звон. Ему

чудится движение: как будто земля стала Темзой. Она вздымается и опадает. Последний воздух со свистом выходит из груди. Ну все, добил мальца, кричит кто-то Уолтеру. Он закрывает глаза, или их закрывает ему Господь. Глубокая, черная вода уносит его прочь.

Когда мысли возвращаются, он стоит в дверях «Летучего коня Пегаса». Уже почти полдень. Сестра Кэт выходит из кухни с горячими пирогами и едва не роняет поднос.

— Нет, вы только полюбуйтесь!

— Кэт, не ори. У меня голова лопнет.

Она зовет мужа: «Морган Уильямс!» Поворачивается на месте, глаза ошалелые, лицо раскраснелось от кухонного жара.

— Заберите у меня поднос! Тело Господне, да куда все подевались?

Его трясет, совсем как Беллу после того, как она свалилась из лодки в реку.

Вбегает служанка.

— Хозяин ушел в город.

— Да знаю я, дура! — При виде окровавленного брата Кэт позабыла все на свете. Она сует девушке поднос. — Пристрой так, чтобы кошки не добрались, не то таких оплеух навешаю — звезды из глаз посыплются! — Освободив руки, она на

мгновение сжимает их в страстной молитве. — Опять дрался, или это отец тебя изукрасил?

Да, говорит он, кивая изо всех сил, так что кровь брызжет из носа. Да, повторяет он и указывает на себя, словно говоря: здесь был Уолтер. Кэт кричит, чтобы несли таз, воду, чтобы воду налили в таз, чтобы дали полотенце, чтобы дьявол сию минуту явился и забрал к себе своего слугу Уолтера.

— Сядь, покуда не упал.

Он хочет сказать: я только что встал. Во дворе. Пролежал там час. А может, сутки, и тогда сегодня уже завтра. Только если бы это было сутки назад, Уолтер бы пришел и убил за то, что он валяется на дороге. А раны бы уже затянулись коркой и сейчас болели сильнее, при каждом движении. По близкому знакомству с башмаками и кулаками Уолтера он знает, что второй день всегда хуже первого.

— Сядь. Молчи, — говорит Кэт.

Приносят воду. Кэт легонько промакивает ему глаз. Оттирает мокрым полотенцем лоб, медленно и осторожно. Она судорожно дышит, ее рука лежит у него на плече. Иногда Кэт вполголоса чертыхается, иногда всхлипывает, гладит ему загривок, шепчет: «Ну, ну, не надо», — как будто это он плачет, а не она. Чувство такое, будто он па-

рит, а сестра прижимает его к земле. Зарыться бы лицом в ее фартук и слушать, как стучит сердце, да не хочется пачкать кровью белую материю.

Возвращается Морган Уильямс в парадном платье. На широком валлийском лице — готовность немедля ринуться в бой. Очевидно, ему уже рассказали. Морган встает рядом с Кэт, смотрит, долго не находит слов, потом восклицает: «Вот!» Сжимает кулак, трижды потрясает им в воздухе.

— Вот что получит Уолтер. От меня.

— И не думай, — отговаривает Кэт. — Мало тебе Томасовой крови на твоем лондонском платье.

Морган глядит на себя, на Тома. Послушно отходит.

— Мне-то что, но ты на себя глянь, малый. В честном бою ты бы его изувечил.

— Какой там честный бой, — ворчит Кэт. — Он подходит сзади, верно, Томас? И чем-нибудь бьет.

— Сдается, сегодня это была бутылка, — говорит Морган Уильямс. — Я угадал?

Он мотает головой. Из носа опять капает кровь.

— Не надо, братец. — Кэт оттирает на себе брызги. Фартук весь изгваздан. Вполне можно было уткнуться в него лицом, хуже бы не стало.

— Значит, ты не видел, чем он ударил? — спрашивает Морган.

— Для того и подходят сзади, ты, магистрат недоделанный, — буркает Кэт. — Послушай, Морган, хочешь, я расскажу тебе про моего отца? Он хватает, что под руку попадется. Иногда бутылку, верно. Я видела, как он бьет мою мать. Даже крошку Бет — я видела, как он бьет ее по голове. А когда не видела, было еще хуже — значит, это он бил меня.

— Удивляюсь, как меня угораздило взять жену из такой семейки, — задумчиво произносит Морган Уильямс.

Это просто присловье. Некоторые мужчины постоянно шмыгают носом. У некоторых женщин все время болит голова. Морган всегда удивляется, что взял жену из такой семьи. Мальчик не слушает, он думает: если отец вот так бил покойницу-мать, может, он ее и прикончил? Нет, тогда бы его забрали. В Патни не блюдут закон, но убийство тут с рук не сойдет. Кэт ему за мать: плачет над ним, гладит по загривку.

Он зажмуривается, затем пробует открыть оба глаза одновременно.

— Кэт, — спрашивает он, — у меня там глаз есть? А то я им не вижу.

Да, да, говорит она, пока Морган продолжает устанавливать факты: это был твердый, довольно тяжелый, острый предмет, но вряд ли разбитая бутылка, иначе Томас увидел бы зазубренный край, когда Уолтер, целя в глаз, рассек ему бровь. Он слушает рассуждения Моргана и хочет объяснить про башмак, про узел на дратве, но так трудно ворочать языком, да оно, в сущности, и неважно. Вообще-то он согласен с Морганом и хочет пожать плечами, но их пронзает такая резкая боль, что он думает: может, у меня сломана шея?

— Ладно, Том, скажи лучше, чем ты так разозлил отца? — спрашивает Кэт. — Если совсем без повода, Уолтер обычно до темноты не начинает.

— Да, — подхватывает Морган Уильямс. — Что послужило причиной?

— Вчера. Я подрался.

— Ты вчера подрался? С кем, во имя всего святого?

— Не знаю. — Имя, вместе с причиной драки, вылетело из головы. Однако чувство такое, будто, вылетая, имя оставило на черепе зазубрены. Он трогает макушку, осторожно. Бутылка? Может быть.

— Вечно вы, мальчишки, деретесь, — ворчит Кэт. — У реки.

— Давайте проверим, правильно ли я понял, — говорит Морган. — Вчера Томас приходит домой в рваной одежде, с разбитыми кулаками, и старик спрашивает: ты что, дрался? Ждет сутки, потом хватает бутылку. Валит Томаса с ног, пинает, бьет попавшейся под руку доской…

— Так и было?

— Весь приход знает! Соседи стали кричать на пристани еще до того, как моя лодка подошла к берегу. Морган Уильямс, послушай, твой тесть только что отколотил Томаса, и тот приполз умирать к сестре, позвали священника. Ты посылала за священником?

— Ох уж мне эти Уильямсы! — возмущается Кэт. — Подумайте, какая важная птица! Люди приходят на пристань сообщить ему новости! А почему? Потому что ты всему веришь.

— Но ведь это правда! — кричит Морган. — Чистая правда, верно? Кроме священника. И Томас еще жив.

— Ты точно станешь судьей, — говорит Кэт, — раз сумел подметить разницу между моим живым братом и покойником.

— Если я стану магистратом, первым делом посажу твоего отца в колодки. Штрафовать его? Пустое! Что толку штрафовать человека, который

тут же вернет себе деньги, ограбив или обдурив первого встречного?

Он стонет, тихо, чтобы не мешать разговору.

— Ну, ну, ну, — шепчет Кэт.

— Магистраты уже слышать про Уолтера не могут, — вещает Морган. — Если он не разбавляет эль, то пасет скотину на общинном лугу, если не травит общинную траву, то нападает на представителя власти, если он не под хмельком, то мертвецки пьян, и если он умрет своей смертью, значит, в мире нет справедливости.

— Закончил? — спрашивает Кэт. Поворачивается к брату: — Том, оставайся-ка у нас. Морган Уильямс, что ты скажешь? Томас может делать черную работу как оправится. Или вести твои счета, складывать и… что там еще делают? Ладно, не смейся надо мной, где мне было учиться, с таким-то отцом? Я свое имя умею написать только потому, что Том меня научил.

— Отец. Будет. Злиться.

Он может говорить только так: отдельными словами.

— Злиться? — повторяет Морган. — Усовестился бы лучше!

Кэт объявляет:

— Когда Господь раздавал совесть, мой отец не

удосужился подойти за своей долей.

Он говорит:

— Потому что. Всего миля. Он легко.

— Легко может сюда прийти? Пусть попробует. — Морган снова показывает свой жилистый валлийский кулачок.

Когда Кэт заканчивает промывать его раны, а Морган Уильямс — храбриться и восстанавливать ход событий, он час или два просто лежит пластом. За это время приходил Уолтер с дружками, они кричали и ломились в дверь. Впрочем, в комнату звуки долетали приглушенно, и он не знает точно, было это наяву или во сне. Сейчас его занимает одна мысль: что теперь делать? В Патни оставаться нельзя. Вернулись воспоминания о позавчерашней драке, и там, вроде, был нож. Пырнули не его, значит, это он кого-то пырнул? Все как в тумане. Ясно одно. Если Уолтер еще раз меня тронет, я его убью, а если я его убью, меня повесят, а если меня повесят, то пусть лучше за что-нибудь более стоящее.

Внизу голоса, то громче, то тише. Всех слов не разобрать. Морган утверждает, что Том сжег все мосты. Кэт отказывается от прежнего предложения: мальчик на побегушках, личный секретарь и счетовод, потому что Морган говорит:

— Уолтер будет все время сюда ходить, верно? Мол, где Том, отправь его домой, кто платил чертову попу, чтобы мальчишку научили читать-писать? Мол, я платил, а ты теперь пользуешься, дрянь, потаскуха вонючая!

Он спускается вниз. Морган замечает весело:

— А ты неплохо выглядишь, учитывая обстоятельства.

Правда, Морган Уильямс — и это ничуть не мешает Тому его любить — никогда в жизни не поколотит тестя, что бы ни говорил и ни думал. На самом деле Морган боится Уолтера, как многие добрые люди в Патни. И кстати, в Уимблдоне и Мортлейке тоже.

— Ну, я пошел, — говорит Том.

Кэт возражает:

— Переночуй у нас. Сам знаешь, второй день хуже всего.

— А кого он побьет, если меня не будет?

— Не наше дело, — отвечает Кэт. — Бет, слава тебе, Господи, замужем, и далеко отсюда.

Морган Уильямс говорит:

— Честно скажу, будь Уолтер моим отцом, я бы сбежал.

Он ждет.

— Мы собрали тебе денег, — продолжает Мор-

ган.

Пауза.

— Я верну.

Морган облегченно смеется.

— И как же ты их вернешь, Том?

Он не знает. Дышать трудно, но это пустяки, просто в носу запеклась кровь. Вроде бы там все цело. Он трогает нос, осторожно, и Кэт говорит, полегче, я в чистом фартуке. Сестра вымученно улыбается, потому что не хочет, чтобы он уходил, но она ведь не станет противоречить Моргану Уильямсу, верно? Уильямсы — важные люди в Патни, в Уимблдоне. Морган на Кэт не надышится, говорит, чтобы печь пироги и варить пиво есть служанки, а хозяйка может шить наверху, как знатная дама, и молиться об успехах сделок, когда муж отправляется в Лондон в парадном платье. Дважды в день она может обходить «Пегас», нарядно одетая, и помечать, что не так: идея Моргана. И хотя сейчас Кэт хлопочет не меньше, чем в детстве, когда-нибудь Морган убедит ее оставить работу служанкам, и ей понравится.

— Я верну, — повторяет он. — Может, завербуюсь в солдаты. Буду отсылать вам часть жалованья и добычи.

Морган говорит:

— Но сейчас нет войны.

— Где-нибудь да будет, — замечает Кэт.

— Или наймусь на корабль юнгой. Только вот Белла — вернуться мне за ней? Она лаяла, и отец запер ее в сарае.

— Чтобы она не хватала его за пятки? — У Морган воспоминание о Белле вызывает усмешку.

— Я бы ее с собой взял.

— Про корабельных кошек я слышал. Про корабельных псов — нет.

— Она совсем маленькая.

— Но за кошку не сойдет, — смеется Морган. — И вообще ты великоват для юнги. Они бегают по вантам, как мартышки. Ты когда-нибудь видел мартышку, Том? Уж лучше тебе в солдаты. По правде говоря, яблоко от яблони… Чем-чем, а кулаками тебя Господь не обделил.

— Отлично. Давайте проверим, правильно ли я поняла, — передразнивает мужа Кэт. — Как-то Том возвращается домой после драки. В наказание отец подкрадывается сзади, бьет его по голове неизвестно чем, но чем-то тяжелым, потом чуть не выбивает ему глаз, лупит по чему ни попадя удачно подвернувшейся доской, разукрашивает физиономию так, что, не будь я родная сестра, в жизни бы не узнала, а теперь мой муженек

говорит: давай, Томас, иди в солдаты, найди какого-нибудь незнакомца, выбей ему глаз, переломай ребра, убей его, и тебе за это заплатят.

— Все лучше, чем драться у реки задарма, — замечает Морган. — Глянь на него. Будь я королем, я бы затеял войну, просто чтобы взять Тома в солдаты.

Морган достает кошель. С дразнящей медлительностью отсчитывает монеты: звяк, звяк, звяк.

Он трогает скулу. Под пальцами синяк, не ссадина. Но до чего же холодный!

— Послушай, — говорит Кэт. — Мы тут выросли. Наверняка кто-нибудь согласится Тому помочь.

Морган смотрит выразительно, словно спрашивая: ты много знаешь людей, готовых перейти дорогу Уолтеру Кромвелю? Людей, которые хотят, чтобы он ломился к ним в дом? И Кэт, словно услышав мужнины мысли, говорит:

— Нет. Может быть. Может быть, Том, это и правда лучше, как ты думаешь?

Он встает.

Кэт говорит:

— Морган, глянь на него, ну куда он сегодня пойдет?

— Мне нельзя оставаться. Через час Уолтер

глаза нальет и явится сюда. Если я буду здесь, он подожжет дом.

Морган спрашивает:

— У тебя есть все необходимое в дорогу?

Ему хочется обернуться к сестре и сказать: нет.

Но она отвернулась и плачет. Не о нем, потому что никто никогда больше о нем не заплачет, таким уж сотворил его Господь. Кэт плачет о том, что считает правильной жизнью: воскресенье после обедни, сестры, золовки, невестки целуются, шлепают племянников (любя) и тут же гладят их по головке, передают из рук в руки младенцев, сравнивают, чей толще, а мужчины стоят кружком и говорят о делах, о шерсти, пеньке, доставке, чертовых фламандцах, правах на лов рыбы, пивоварнях, годовых оборотах, услуге за услугу, нужных людях, «надо бы немного подмазать», «мой поверенный обещал»… Вот что сулил брак с добрым семьянином Морганом Уильямсом, да только Уолтер все испортил.

Осторожно, неловко, он выпрямляется. Теперь болит все тело, хоть и не так сильно, как будет болеть завтра. На третий день проступят синяки, и придется отвечать всем на расспросы, где тебя так отделали. К тому времени он будет далеко отсюда, и, возможно, отвечать не придется, по-

тому что никто не спросит. Никому не будет до него дела. Люди глянут мельком и решат, что он всегда такой побитый.

Он берет деньги и говорит:

— *Гуил, Морган Уильямс. Диолх арм ир ариан.* (Спасибо за деньги.) *Гофалух ам Катерин. Гофалух ам эйх бизнес. Вела ай хи ето риубрид. Поб лук.*

Позаботься о моей сестре. Позаботься о своем деле. Когда-нибудь увидимся.

У Моргана Уильямса глаза лезут на лоб.

Он улыбнулся бы, если бы не корка на лице. Неужто все думают, будто он ходил к Уильямсам лишь затем, чтобы лишний раз пообедать?

— *Поб лук,* — медленно произносит Морган. Удачи во всем.

Он спрашивает:

— Если я пойду вдоль реки, это годится?

— А куда ты хочешь попасть?

— К морю.

Морган Уильямс смотрит огорченно, жалея, что до такого дошло. Потом говорит:

— Береги себя, Том. Обещаю, если Белла придет тебя искать, мы ее голодной не отпустим. Кэт даст ей пирога.

Деньги надо растянуть на подольше. Можно идти вдоль реки к устью, но он боится, что Уолтер

через своих дружков — людей, за выпивку готовых на все, — выследит его и поймает. Первая мысль: пробраться на суденышко, выходящее из Тилбери с грузом контрабанды. Но если подумать, сейчас во Франции война. Это подтверждали все, кого он спрашивал, — ему ничего не стоит заговорить с незнакомцем. Итак, Дувр.

Если помогаешь грузить телегу, тебя обычно соглашаются подвезти. А как же бестолково люди грузят телеги! Застревают в узкой двери с деревянным ящиком в руках, а всего-то и надо, что повернуть его! И лошади. Он привык к лошадям, к перепуганным лошадям. По утрам Уолтер иногда работал в кузнице — если не спал мертвецким сном после крепкого эля, который держал для себя и своих дружков. То ли от запаха перегара, то ли грубого голоса, то ли от того, как Уолтер себя вел, даже послушные лошади начинали мотать головой и пятиться, а когда им прилаживали подкову, дрожали всем телом. Его делом было держать их за морду, успокаивать, гладить бархатистую шерстку между ушами, напоминать, как любили их мамы-кобылы, и уверять, что те и до сих пор о них собой вспоминают, а Уолтер скоро закончит.

День или два он не ест — слишком все болит. Но

к Дувру рана на голове затягивается, и отбитые органы — почки, легкие, сердце — тоже, видимо, подживают.

По взглядам прохожих ясно, что лицо по-прежнему в синяках. Перед уходом Морган Уильямс осмотрел его и составил опись: зубы (чудесным образом) целы, оба глаза чудесным образом видят. Две руки, две ноги — чего ж еще?

Он ходит по пристани, спрашивает: не знаете, где сейчас война?

Каждый спрошенный глядит ему в лицо, отступает на шаг и говорит: «Это ты сам лучше знаешь!»

Они так собой довольны, так смеются над собственной шуткой, что он продолжает спрашивать, просто чтобы людям было приятно.

К своему удивлению он понимает, что покинет Дувр богаче, чем сюда пришел. Он углядел у какого-то ловкача на улице финт с тремя картами и тоже стал приглашать желающих сыграть. К мальчику подходят охотнее, чем к взрослому. И проигрывают.

Он подсчитывает приход и расход. Выделяет небольшую сумму на то, чтобы пойти к девке. В Патни, Уимблдоне и Мортлейке такое невозможно: Уильямсы прослышат и будут обсуждать тебя

между собой по-валлийски.

Он видит трех пожилых голландцев с тюками, идет помочь. Тюки большие и мягкие — образцы сукна. Таможенник кричит на голландцев: у них что-то не так с документами. Он, притворяясь голландским олухом, заходит за спину чиновнику и на пальцах показывает, сколько надо дать. «Пожалуйста, — говорит один из купцов на плохом английском, — не избавите ли вы меня от этих английских монет? Они лишние». Таможенник расплывается в улыбке. Купцы расплываются в улыбке: сами они заплатили бы больше. Поднимаясь на борт, они говорят: мальчик с нами.

Пока матросы поднимают якорь, голландцы спрашивают, сколько ему лет. Он говорит, восемнадцать, они хохочут. Он говорит, пятнадцать, они, посовещавшись между собой, решают: пятнадцать сойдет. Они думают, ему меньше, однако не хотят обижать мальчонку. Любопытствуют, что у него с лицом. Можно соврать, но он говорит правду — иначе подумают, что его побили за кражу. Купцы говорят между собой по-голландски, и тот, который владеет английским, переводит:

— Мы обсуждали, что англичане жестоки к своим детям. И холодны сердцем. Когда отец входит в комнату, ребенок должен вставать. И

обращаться к родителям правильно: к отцу «сэр», к матери — «госпожа матушка».

Он удивлен. Неужто где-то люди добры к детям? Впервые на сердце легчает: есть другие места, лучше. Он рассказывает про Беллу. Купцы смотрят сочувственно и не говорят глупостей вроде: ты можешь завести другую собаку. Он рассказывает про «Пегас», про отцовскую пивоварню, про то, что отца штрафуют за разбавленный эль не реже двух раз в год. И еще за порубку чужого леса и выпас на общинном лугу овец сверх разрешенного числа. Купцы слушают с интересом, показывают образцы сукна, обсуждают между собой вес и качество выделки, иногда обращаются к нему, объясняют. В целом они невысокого мнения об английском сукне, но эти образцы, возможно, их переубедят… Когда речь заходит о цели поездки в Кале и тамошних знакомых-суконщиках, он теряет нить разговора.

Он упоминает отцовскую кузницу. Тот, что говорит по-английски, спрашивает: ты можешь сделать подкову? Он пантомимой показывает, каково это: горячий металл и гневливый отец в тесной кузне. Они смеются. «С тобой не соскучишься», — говорит один. Перед высадкой самый молчаливый встанет и произнесет короткую,

странно официальную речь. Второй ответит кивком, а третий переведет:

— Мы три брата. Наша улица такая-то. Если окажешься в нашем городе, тебя будет ждать постель, огонь в очаге и еда.

До свидания, скажет он. До свидания и удачи во всем. *Гуил,* суконщики. *Гофалух эйх бизнес.* Он не остановится, пока не попадет на войну.

Холодно, но море спокойно. Кэт дала ему с собой образок. Медь холодит кожу. Он развязывает веревку, целует образок на счастье. Роняет в воду. Он навсегда запомнит, как впервые увидел открытое море: покрытый рябью серый простор, словно осадок от сна.

II Отцовство

1527

Итак: Стивен Гардинер. Они сталкиваются в дверях. Сыро и, для апреля, необычно тепло, однако Гардинер в мехах, похожих на сальные черные перья. Священник стоит, оправляя их на высокой худощавой фигуре, словно черные крылья ангела.

— Припозднились, — с недовольством произносит мастер Гардинер.

Он дерзок.

— Я или вы, дражайший сэр?

— Вы.

— На реке все пьяны. Лодочники говорят, сегодня канун дня их святой-покровительницы.

— Вы ей помолились?

— Я молился бы кому угодно, лишь бы попасть на сушу.

— Странно, что вы сами не взялись за весло. Наверняка в детстве вам случалось грести.

Вечно у Стивена эта песня. Ваш нечестивый отец. Ваше низкое рождение. Сам Стивен — побочный отпрыск королевского рода, выращенный за

плату неболтливыми приемными родителями в маленьком городке. Они суконщики; мастер Стивен их презирает и хотел бы забыть. А поскольку он знает всех в суконной торговле, ему слишком много известно о прошлом Стивена — куда больше, чем тому хочется. Бедный сиротка!

Мастер Стивен всем в жизни недоволен. Непризнанным родством с королем. Избранной поневоле церковной карьерой, хоть она и вполне успешна. Тем, что кто-то, помимо Стивена Гардинера, доверенного секретаря, приходит поздно вечером говорить с кардиналом. С этой его впалой грудью и худосочным сложением. Встреться они глухой ночью, из них двоих не Гардинер, а мастер Томас Кромвель уйдет, отряхивая руки и улыбаясь.

— Да благословит вас Бог, — произносит Гардинер, выходя в теплую, не по сезону, ночь.

Кромвель говорит:

— Спасибо.

Кардинал, не поднимая глаз от листа, спрашивает:

— Томас? Дождь еще идет? Я ждал вас раньше.

Лодочник. Река. Святая. Он в пути с раннего утра, а до того почти две недели провел в седле, разъезжая по делам кардинала. Из Йоркшира

добирался этапами и не без приключений. По дороге заехал к своим писарям в Грейз-инн и одолжил смену белья. Завернул в восточную часть города узнать, какие суда пришли и не прибыл ли ожидаемый незадекларированный груз, но не успел ни поесть, ни заглянуть домой.

Кардинал встает, открывает дверь и кричит замершим в ожидании слугам:

— Вишен! Как нет вишен?! Апрель, говорите? Придется мне задабривать гостя чем-нибудь другим. — Вздыхает. — Несите что есть. Впрочем, ему все будет не по вкусу. Почему мне так плохо служат?

Весь дом приходит в движение: несут еду, вино, еще дров в камин. Слуга, сочувственно бормоча, стаскивает с него мокрый плащ. Вся кардинальская челядь такова: домовитая, бесшумная, привыкшая к шутливым попрекам хозяина. Всех посетителей встречают с тем же радушием. Хоть раз десять кряду навещай его милость каждую ночь и сиди букой — все равно тебя примут как дорогого гостя.

Слуги отступают к двери.

— Что еще вам угодно? — спрашивает кардинал.

— Чтобы вышло солнце.

— Так поздно? Вы требуете от меня почти невозможного.

— Сгодится и рассвет.

Кардинал поворачивается к слугам и произносит серьезно:

— Этой просьбой гостя я займусь сам.

Они что-то так же серьезно бормочут в ответ и удаляются.

Кардинал сцепляет руки. Вздыхает низко, рокочуще, одновременно растягивая губы в улыбке, словно леопард, укладывающийся полежать на припеке. Смотрит на своего поверенного. Поверенный смотрит на кардинала. В свои пятьдесят пять тот все так же хорош собой, как в пору расцвета. Сегодня его милость не в обычной багряной мантии, а в темно-лиловой, как смиренный епископ. Рост впечатляет. Живот, который куда больше пристал бы человеку менее подвижному, — просто еще одна деталь общего великолепия; на этом животе кардинал часто складывает большие, белые, унизанные кольцами руки. Большая голова — явно созданная Богом для папской тиары — прекрасно сидит на широких плечах, отягощенных (но не в данную минуту) цепью лорда-канцлера. Медоточивым тоном, известным отсюда до Вены, кардинал

произносит:

— Ну, рассказывайте, как там в Йоркшире.

— Грязно. — Он садится. — Погода. Жители. Манеры. Нравы.

— Что ж, полагаю, вы обратили свои жалобы по адресу. Хотя насчет погоды я с Господом уже побеседовал.

— Да, и еда. Пять миль от моря, а свежей рыбы не сыщешь.

— А лимонов, надо думать, тем более. Что же они едят?

— Лондонцев, когда могут поймать. В жизни не видел таких дикарей. Уроды низколобые, а гонору… Живут в пещерах, но считаются в этих краях дворянством.

Кардиналу — архиепископу Йоркскому — все недосуг посетить свою епархию, отсюда и расспросы.

— Что до дел вашей милости…

— Я весь внимание.

Слушая, кардинал сосредоточенно морщит лоб. Иногда записывает цифры. Потом отхлебывает очень хорошего вина и, помолчав, спрашивает:

— Томас, что вы там учинили, непотребный слуга? Обрюхатили аббатису? Двух, трех аббатис? Попробую-ка угадать. Подожгли Уитби, просто

для смеха?

В адрес своего поверенного у кардинала есть две шутки. Первая: тот с порога требует вишен в апреле и латука в декабре. Вторая: тот разъезжает по округе, творя беззакония, которые потом вменят в вину кардиналу. Есть и другие — о них вспоминают по мере необходимости.

Скоро десять. Пламя восковых свечей почтительно склоняется перед князем церкви и вновь тянется вверх. Дождь, не прекращавшийся почти с сентября, хлещет в оконные стекла.

— В Йоркшире, — говорит он, — недовольны вашими начинаниями.

Замысел кардинала: объединить тридцать маленьких, пришедших в упадок монастырских хозяйств и направить доход от этих обителей — запущенных, но по большей части древних — на два колледжа: Кардинальский в Оксфорде и еще один в Ипсвиче, где прекрасно помнят его милость — сына зажиточного и набожного мясника, члена гильдии, державшего большую гостиницу для самых взыскательных проезжих. Затруднение в том, что… Вернее, затруднений несколько. Кардинал, бакалавр искусств к пятнадцати годам, бакалавр теологии к двадцати пяти, изучал законы, но не любит юридических проволочек

и не понимает, почему не может превратить недвижимость в деньги так же легко и быстро, как претворяет облатку в тело Христово. Когда он однажды, на пробу, он принялся объяснять кардиналу лишь один малозначительный пункт земельного законодательства, тот немедленно вспотел от натуги и сказал: Томас, что мне вам дать, чтобы никогда больше про это не слышать? Есть препятствия? Найдите способ их обойти. Недовольные? Суньте им денег, пусть уймутся.

Сейчас у него есть время об этом поразмыслить, поскольку кардинал смотрит в недописанное письмо. Но большая голова поднимается от бумаги.

— Том… Ладно, неважно. Скажите мне, почему вы так хмуритесь?

— Тамошние жители обещают меня убить.

— Вот как? — говорит кардинал, всем своим видом выражая: «Я удивлен и расстроен». — И что, убьют? Как вы думаете?

За спиной у кардинала шпалера во всю стену: Соломон протягивает руки во тьму, встречая царицу Савскую.

— Думаю, если хочешь убить человека — убей. Не пиши ему писем с угрозами, иначе он будет начеку.

— Когда отважитесь быть не начеку, известите меня. Я хотел бы на это посмотреть. А известно ли вам, кто… нет, вряд ли они подписывают письма. Я не откажусь от своего замысла. Я сам и очень тщательно выбрал монастыри, его святейшество скрепил мой выбор подписью и печатью. Те, кто недоволен, просто не понимают моих намерений. Никто не собирается выкидывать дряхлых монахов на улицу.

Так и есть. Кого-то переселят; предусмотрены пенсии, компенсации. Обо всем можно договориться, было бы желание. Склонитесь перед неизбежным, убеждает он. Подчинитесь милорду кардиналу. Уважайте отеческую заботу своего предстоятеля. Верьте, что его милость стремится к высшему благу церкви. Это фразы для уговоров. Бедность, целомудрие, послушание. Это для выжившего из ума приора, на которого надо хорошенько надавить.

— Все они понимают, — говорит он. — Просто сами хотят получать доходы.

— Вам придется в следующие поездки на север брать вооруженную охрану.

Кардинал, памятуя о бренности всего сущего, уже заказал флорентийскому скульптору свою гробницу. Останки его милости будут покоиться

в порфировом саркофаге под распростертыми крыльями ангела. Камень с прожилками станет монументом над телом, чьи жилы иссушит бальзамировщик; когда плоть станет холодна и недвижна, как мрамор, о заслугах усопшего напишут золотыми буквами. Однако колледжи останутся живым, дышащим памятником: бедные мальчики, бедные школяры понесут в мир кардинальский ум, любовь к красоте, утонченность, воспитанность, умение радоваться и удивляться. Немудрено, что сейчас его милость качает головой. Поверенные обычно не ездят с вооруженной охраной. Кардинал не любит применять силу. Это так грубо! Иногда кто-нибудь из помощников — например, Стивен Гардинер, — разоблачает очередное гнездо еретиков. Тогда кардинал восклицает с жаром: бедные заблудшие души! Молитесь о них, Стивен, и я буду о них молиться, может быть, вместе нам удастся отвратить несчастных с пути погибели. И скажите им, пусть ведут себя приличнее, иначе Томас Мор упрячет их в свой подвал, и тогда мы все

услышим страшные вопли.[3]

— Итак, Томас.

Он поднимает глаза.

— Вы говорите по-испански?

— Немного. Солдатская речь. Грубая.

— Мне казалось, вы служили в испанской армии.

— Во французской.

— Ах, да. И никаких близких сношений с местными жителями?

— Настолько близких — нет. Браниться я могу по-кастильски.

— Буду знать, — произносит кардинал. — Возможно, это тоже понадобится. А пока… Думаю, мне потребуются еще друзья в ближайшем окружении королевы.

«Друзья» означает «шпионы». Узнать, как она примет новость. Что королева Каталина[4] скажет, угодив в петлю дипломатической латыни, извещающей, что король — после двадцати

---

[3] Примечания Ольги Дмитриевой: 3

Будучи убежденным католиком, Томас Мор искренне считал сторонников лютеранской веры и реформирования церкви еретиками. Как лорд-канцлер и глава канцлерского суда он карал их в соответствии с духом и буквой законов того времени. Утверждения о пытках в доме Мора не имеют документального подтверждения, однако обвинительные приговоры лорд-канцлер безусловно выносил.

[4] Примечания Ольги Дмитриевой: 4

Имеется в виду Екатерина Арагонская.

лет совместной жизни — вздумал жениться на другой. На принцессе, которая, как полагает его величество, сумеет родить сына.

Кардинал подпирает руками голову, трет пальцами глаза, говорит:

— Сегодня утром король вызвал меня к себе. Очень рано.

— Чего он хотел?

— Сочувствия. В такой-то час. Я просидел с ним раннюю мессу, и он всю службу говорил. Я люблю короля. Господь свидетель, как я его люблю. Но даже моего сострадания порой не хватает. Вообразите сами, Том. Представьте себе, что вам тридцать пять. У вас прекрасный аппетит и отменное здоровье, вы не знаете, что такое запор, ваши суставы отлично гнутся и вдобавок вы — король Англии. — Кардинал мотает головой. — Но! Если бы только его величество хотел чего-нибудь попроще. Философский камень. Эликсир молодости. Сундук с золотыми монетами — ну, как в сказках.

— Который вновь наполняется, сколько бы оттуда ни брали?

— Ну да. Такой сундук я бы уж как-нибудь сыскал, и эликсир, и все прочее. Но откуда взять наследника?

Ветер колышет портьеру за спиной кардинала. Соломон наклоняется, лицо в тени. Царица Савская — улыбающаяся, легконогая — напоминает ему молодую вдовушку, у которой он жил в Антверпене. Должен ли он был жениться на ней, раз они делили ложе? По чести, да. Но если бы он женился на Ансельме, то не женился бы на Лиз, и дети у него были бы другие, не те, что сейчас.

— Если не можете помочь королю с рождением сына, — говорит он, — найдите отрывок из Писания для успокоения его души.

Кардинал шарит у себя на столе, будто и впрямь ищет.

— Что ж, Второзаконие. Там определенно говорится, что муж должен взять себе жену умершего брата. Как наш король и поступил.[5] — Кардинал вздыхает. — Но королю не нравится Второзаконие.

Бесполезно спрашивать, почему. Бесполезно пояснять, что, коли Второзаконие велит жениться на вдове брата, а Книга Левит говорит, не бери жену брата своего, иначе будешь бездетен, с этим противоречием надо как-то жить. В конце концов, вопрос о том, какой из текстов главнее, разобран

---

[5] Примечания Ольги Дмитриевой: 5

Генрих женился на Екатерине Арагонской, вдове его старшего брата Артура.

в Риме за солидную мзду учеными прелатами двадцать лет назад и диспенсация — разрешение на брак — скреплена папской печатью.

— Не понимаю, почему король принимает Книгу Левит так близко к сердцу, ведь у него есть дочь.

— По-моему, общепризнано, что в Писании слово «дети» означает сыновей.

Кардинал подкрепляет свои слова цитатой на древнееврейском; голос сладкий, убаюкивающий. Его милость любит наставлять тех, кто готов принять наставление. Они знакомы уже несколько лет, и при всем величии кардинала отношения у них самые дружеские.

— У меня есть сын, — произносит его милость. — Вам это, разумеется, известно. Да простит меня Господь. Плотская слабость.

Сын кардинала — Томас Винтер — склонен к учебе и тихой жизни, хотя отец, вероятно, прочит юноше совсем другую карьеру. Есть у кардинала и дочь, которой никто не видел: Доротея, что означает «дар Божий». Она уже в монастыре — замаливает родительские грехи.

— У вас тоже сын, — продолжает кардинал. — Точнее, один сын, носящий ваше имя. Но, полагаю, по берегам Темзы бегает еще немало ваших

мальчишек?

— Надеюсь, вы ошибаетесь. Мне не было пятнадцати, когда я отсюда сбежал.

Вулси находит забавным, что он не знает своего возраста. Выросший на мясе сын мясника заглядывает через несколько слоев общества на самое дно, туда, где родился поверенный Томас Кромвель. Отец наверняка был мертвецки пьян, мать, естественно, думала о хозяйстве. Кэт, спасибо ей, помогла с датой рождения.

— Ну, пятнадцать… — тянет кардинал. — Но в пятнадцать, полагаю, вы уже могли? Я точно мог. Итак, у меня есть сын, у лодочника есть сын, у оборванца на улице есть сын, у ваших предполагаемых убийц в Йоркшире, без сомнения, есть сыновья, которым те завещают кровную месть, и вы сами, как мы установили, дали жизнь целому племени юных разбойников. И только у короля нет сына. Кто виноват?

— Бог?

— А ближе?

— Королева?

— Кто в большей мере ответствен за все, чем королева?

Он невольно расплывается в улыбке.

— Вы, ваша милость.

— Я, моя милость. И что мне делать? Я скажу вам, что могу предпринять. Отправить мастера Стивена в Рим, прощупать курию. Но он нужен мне здесь.

Вулси смотрит ему в лицо и смеется. Ох уж эти щенки-подчиненные! Недовольные родителями, которых дала им природа, они вечно грызутся меж собой — каждый хочет быть любимым сыном кардинала.

— Что бы вы ни думали о мастере Стивене, он отлично подкован в каноническом праве и замечательно умеет убеждать — разумеется, когда не пробует убедить вас. Я вам скажу… — Кардинал, не закончив фразу, подается вперед, подпирает руками львиную голову, которую уже сейчас венчала бы папская тиара, если бы на прошлых выборах нужным людям заплатили чуть больше. — Я умолял. Томас, я встал на колени и униженно пытался его разубедить. Ваше величество, говорил я, послушайте моего совета. Если вы хотите избавиться от жены, из этого ничего не выйдет, кроме крупных неприятностей и трат.

— А он что?

— Поднял палец. Строго. «Никогда, — сказал, — не называйте эту любезную даму моей женой, пока не докажете, что она мне и впрямь жена и

может ею оставаться. До тех пор зовите ее моей сестрой, моей дорогой сестрой. Ибо она совершенно точно была супругой моего брата, прежде чем вступить со мной в некоего рода союз».

Из Вулси никогда не вытянешь и слова против короля.

— Государь… — Кардинал делает паузу, мысленно подыскивая слово. — Строго между нами, государь поздновато спохватился. О да, с самого начала не все считали диспенсацию законной. Год за годом королю нашептывали, что его брак греховен, а он не слушал, хотя, как я теперь понимаю, слышал. Однако король безмерно любил жену, и все сомнения подавлялись. — Кардинал кладет руку на стол, мягко и в то же время твердо. — Они подавлялись и подавлялись.

А теперь Генрих хочет, чтобы брак признали недействительным. Несуществовавшим.

— Восемнадцать лет, — продолжает кардинал, — король был во власти заблуждения. Он сказал духовнику, что должен исповедаться в грехе за восемнадцать лет.

Вулси ждет, что собеседник удивится, но тот лишь смотрит на кардинала. Очевидно, и тайна исповеди может быть нарушена по воле его милости.

— Значит, если вы пошлете мастера Стивена в Рим, — говорит он, — королевская причуда, если позволительно так выразиться…

Кардинал кивает: позволительно.

— … получит международную огласку?

— Мастер Стивен поедет неофициально. Скажем, за личным папским благословением.

— Вы не знаете Рима.

Вулси не может ему возразить. Кардинал никогда не ощущал того холодка на затылке, который заставляет тебя оглядываться через плечо, когда переходишь из золотистого света Тибра в густую тень. За упавшей колонной, за целомудренными руинами прячутся совратители: любовница епископа, племянник чьего-то племянника, богатый мерзавец с вкрадчивой речью на устах. Счастье, что он покинул этот город, не потеряв душу.

— Скажу совсем просто. Папские шпионы выведают цель поездки еще до того, как мастер Стивен закончит собираться в дорогу. У кардиналов и секретарей будет время установить цену. Если решите посылать мастера Стивена, дайте ему много денег. Кардиналы не принимают посулов. Им нужен мешок с деньгами, чтобы задобрить банкиров, поскольку почти все они исчерпали кредит.

— Надо было бы послать вас, — весело замечает кардинал. — Вы бы предложили папе Клименту ссуду.

А почему бы и нет? Он знает денежные рынки, такое можно устроить. На месте Климента он бы в нынешнем году занял много денег для защиты границ.[6] Впрочем, Папа опоздал: к летней кампании войско надо собирать, начиная со Сретенья. Он говорит:

— А вы не хотите начать процесс в собственной юрисдикции? Пусть король сделает первые шаги и поймет, действительно ли этого хочет.

— Так я и намерен поступить. Созвать небольшой суд здесь, в Лондоне. Мы приступим к его величеству и объявим строго: король Гарри, есть подозрение, что все эти годы ты беззаконно сожительствовал с женщиной, которая тебе не жена. Король, да благословит его Бог, не любит быть неправым, а мы очень твердо скажем, что он неправ. Возможно, он забудет, что сам все затеял. Возможно, он накричит на нас и в порыве оскорбленных чувств вернется к королеве. Если

---

[6] Примечания Ольги Дмитриевой: 6

Отсылка к Итальянским войнам (1494–1559), на фоне которых происходили описываемые события. В тот период владениям папы Климента VII, участника антиимперской Коньякской лиги, грозило вторжение армии императора Карла V.

нет, я добьюсь аннуляции, здесь или в Риме, и женю его на французской принцессе.

Бесполезно спрашивать, есть ли у кардинала на примете конкретная принцесса. Есть, и не одна, а две или три. Вулси живет не в одной реальности, а в подвижном муаре дипломатических ходов. Всеми силами пытается сохранить брак Генриха с Екатериной и союз с ее испанской родней, убеждает короля отбросить сомнения и в то же время выстраивает альтернативный мир, где сомнения короля следует уважить, а брак с Екатериной признать недействительным. Как только диспенсация будет отменена — как только один росчерк папского пера уничтожит восемнадцать лет греха и страданий, — кардинал изменит расстановку сил в Европе, соединит Англию и Францию в мощный союз против молодого императора Карла, племянника Екатерины. Все исходы возможны, все исходы управляемы, каждый можно повернуть в удобную сторону; молитвы и давление, давление и молитвы, все идет по Божьему плану, и Вулси может вносить в этот план необходимые маленькие коррективы. Раньше его милость говорил: «Король поступит так-то и так-то». Потом: «Мы поступим так-то и так-то». Теперь: «Вот как я поступлю».

— А что будет с королевой? — спрашивает он. — Куда ей деваться в случае развода?

— Есть замечательные монастыри.

— Может быть, она вернется в Испанию.

— Нет, вряд ли. Теперь это другая страна. Прошло… сколько?.. двадцать семь лет с тех пор, как она прибыла в Англию. — Кардинал вздыхает. — Я ведь помню, как это было. Ее корабли, как вы знаете, задержала непогода — день за днем их носило по Ла-Маншу. Король выехал навстречу будущей невестке. Она была тогда в Догмерсфилде, во дворце епископа Батского, на пути в Лондон. Стоял ноябрь, и, да, лил дождь. Свита королевы настаивала на соблюдении испанских обычаев: принцесса не должна снимать покрывало, и супруг увидит ее только в день свадьбы. Но вы помните нашего короля!

Разумеется, он не помнит. Он родился примерно в тот год, когда старый король, почти всю жизнь изгнанник и перебежчик, захватил нечаемую корону. Вулси рассказывает так, будто лицезрел все воочию; в определенной мере это так и есть, ибо события недавнего прошлого таковы, какими выстроил их у себя в голове кардинал. Его милость улыбается.

— Прежний король был в преклонных летах и

во всем подозревал дурной умысел. Он придержал коня, будто для того, чтобы посовещаться с придворными, одним махом спешился — ловкости ему и тогда было не занимать — и объявил испанцам, что увидит принцессу. Здесь моя земля и мои законы, сказал он, у нас женщины не носят покрывал. Почему на нее нельзя смотреть? Может, меня обманули, подсунули уродину; вы предлагаете женить моего сына на страшилище?

Томас думает: король вел себя слишком по-валлийски.

— Тем временем служанки уложили принцессу в постель — или сказали, что уложили: они думали так уберечь ее от внимания короля. Не тут-то было! Король Генрих ринулся через дворец с таким видом, будто готов вытащить бедняжку из-под одеяла. Служанки кое-как успели ее одеть. Король ворвался в комнату и при виде принцессы забыл латынь. Начал запинаться, как мальчишка. — Кардинал смеется. — А когда она впервые танцевала при дворе — наш бедный принц Артур был спокоен и улыбался, но его невесте не сиделось — никто не знал ее испанских танцев, поэтому принцесса встала в пару со своей фрейлиной. Никогда не забуду, как она повернула

голову, и прекрасные рыжие волосы рассыпались по плечам… Не было в зале мужчины, который не вообразил бы… хотя танец был очень степенный… О Боже. Ей было тогда шестнадцать.

Кардинал смотрит в пространство, и Томас спрашивает:

— Да простит вас Бог?

— Да простит Бог нас всех. Старый король постоянно исповедовался в грехе вожделения. Принц Артур умер, а следом и королева. Старый король, овдовев, сам решил жениться на Екатерине. Но тут… — Кардинал пожимает плечами. — Как вы знаете, они не сговорились о приданом. Старый лис Фердинанд, ее отец.[7] Уж до чего был изворотлив! Нашему теперешнему величеству, когда он танцевал на свадьбе брата, было десять; и, думаю, уже тогда он положил глаз на невесту.

Некоторое время они сидят молча. История грустная, оба это знают. Король не отпускал принцессу домой, не желая выплачивать ей вдовью долю, и требовал от Испании оставшуюся часть приданого. Денег на содержание Екатерина почти не получала и жила в крайней нужде. С другой стороны, интересно, сколь мощные ди-

---

[7] Примечания Ольги Дмитриевой: 7

Фердинанд Арагонский (1452–1516) — король Арагона, супруг королевы Изабеллы Кастильской.

пломатические связи юная принцесса сумела за это время завязать, как ловко научилась сталкивать лбами противников. Генрих женился на ней в восемнадцать: старый король не успел остыть в могиле, как новый потребовал Екатерину себе. Она была старше, годы отрезвили ее, красота немного поблекла. Однако он видел не столько живую женщину, сколько былой образ, достояние старшего брата; ощущал дрожание девичьей руки в руке десятилетнего мальчика. Словно она вверялась ему, чувствовала уже тогда — как говорил король приближенным, — что ей суждено лишь называться женой Артура. Что тело ее предназначено младшему из братьев, тому, к которому она обращала взгляд прекрасных серо-голубых глаз, приветливую улыбку. Она всегда меня любила, уверял король. Семь лет нам не давали соединиться. Теперь я никого не страшусь. Рим дал разрешение. Все бумаги выправлены. Союзы заключены. Я женился на девственнице, поскольку мой бедный брат к ней не притронулся; я женился из соображений государственных, ради ее испанских связей, но, в первую очередь, я женился по любви.

А теперь все в прошлом. Или почти все. Половину жизни предстоит зачеркнуть, вычистить

из летописи.

Кардинал вздыхает.

— И что же дальше? Король ждет, что все будет по его, а вот она… с нею непросто сладить.

Есть еще история про Екатерину, совсем другая. Король отправился воевать во Францию, оставил ее регентшей. Напали шотландцы; их разгромили, и на Флодденском поле Якову IV отрубили голову. И Екатерина, розово-белый ангел, предложила отправить голову шотландского короля Генриху — порадовать супруга на чужбине. Ее отговорили, сказали, что это не по-английски. Вместо головы Екатерина послала мужу письмо. И с ним — сюркот, который был на Якове в день сражения, черный и заскорузлый от крови.

Огонь почти погас; кардинал, погруженный в воспоминания, встает и сам ворошит угли. Стоит, задумчиво крутит перстни на руке, затем встряхивает головой и произносит:

— Поздно. Езжайте домой. И не позволяйте йоркширцам тревожить ваши сны.

Томасу Кромвелю сейчас чуть за сорок. Он крепкого сложения, но невысок. Лицо его может принимать самые разные выражения; в данный момент это сдержанная ирония. Волосы темные, густые и волнистые, глаза маленькие, очень

зоркие. Во время разговора они загораются огнем, о чем очень скоро скажет нам испанский посол. Утверждают, будто он знает наизусть Новый Завет на латыни и всегда может подсказать кардиналу нужный текст, если аббаты собьются. Говорит тихо, но быстро, держится уверенно в любом месте, будь то пристань или парадная зала, кардинальский дворец или придорожный трактир. Может составить контракт, обучить сокола, начертить карту, остановить уличную драку, обставить дом и уболтать присяжных. Умеет к месту процитировать древнего автора, от Платона до Плавта и обратно. Знает современную поэзию, может декламировать ее на итальянском. В трудах дни напролет, первым поднимается с постели и последним ложится. Много зарабатывает и много тратит. Готов биться об заклад по любому поводу.

Он встает.

— Если вы договоритесь с Богом и солнце выйдет, король сможет поехать на охоту. Быть может, на вольном просторе его величество будет меньше думать о Книге Левит, и вам станет легче.

— Вы лишь отчасти понимаете короля. Наш государь любит теологию почти так же, как охоту.

Он в дверях. Вулси говорит:

— Кстати, при дворе болтают… Милорд Норфолк жалуется, будто я вызвал злого духа и поручил тому ходить за ним по пятам. Если кто-нибудь вам такое скажет… просто отрицайте.

Он стоит в дверях, медленно растягивая губы в улыбке. Кардинал тоже улыбается, словно говоря: я приберег хорошее вино напоследок. Скажите, ведь я умею вас развеселить? Затем вновь склоняет голову над бумагами. Слуга Англии почти не нуждается в сне: какие-нибудь четыре часа, и когда вестминстерские колокола возвестят начало очередного промозглого, беспросветного апрельского дня, кардинал проснется, свеж и бодр.

— Доброй ночи. Да благословит вас Бог, Том.

Снаружи ждут слуги с факелами. У него есть дом в Степни, но сегодня он едет в городской особняк. На локоть ложится рука: это Рейф Сэдлер, стройный молодой человек со светлыми глазами.

— Как там в Йоркшире?

Ветер мотает пламя факела из стороны в сторону, улыбка Рейфа то появляется, то исчезает во тьме.

— Кардинал не разрешает мне говорить про Йоркшир — боится, что нас будут мучить дурные сны.

Юноша хмурит лоб. С семи лет Рейф спокойно

спит под крышей Кромвелева дома, сперва на Фенчерч-стрит, теперь в Остин-фрайарз, и не знает, что такое ночные кошмары. У мальчика на удивление ясный ум. Что дурное может присниться в двадцать один год? Воры, бродячие псы, ямы на дороге…

— Герцог Норфолкский… — начинает он и тут же обрывает себя. — Ладно, неважно. Кто-нибудь заходил в мое отсутствие?

Мокрые улицы пусты, с реки наползает туман. Небо затянуто, звезд не видно. Над городом плывет сладковатый гнилостный запах вчерашних позабытых грехов. Норфолк стоит на коленях рядом с кроватью, зубы стучат от страха; кардинальское перо скребет, как мышь под матрацем. Покуда Рейф кратко излагает конторские новости, он мысленно составляет текст заявления. «Всем заинтересованным лицам. Милорд кардинал решительно отвергает всякие инсинуации касательно злого духа, якобы приставленного его милостью к герцогу Норфолкскому. Его милость отрицает эти обвинения в самых резких выражениях. Его кардинальская милость не отправлял к его герцогской милости ни безголового теленка, ни падшего ангела в обличье бешеного пса, ни ползучий саван, ни Лазаря, ни оживленный труп

и не планирует на ближайшее время никаких подобных действий».

На пристани кто-то кричит. Лодочники поют. Вдалеке раздается тихий всплеск — возможно, кого-нибудь топят. «Делая сие заявление, милорд кардинал оставляет за собой право в дальнейшем изводить милорда Норфолка любыми фантазмами, каких пожелает в своей мудрости избрать; в любой день, без предварительного извещения, руководствуясь исключительно собственным лорда кардинала усмотрением».

От сырости болят старые раны, однако он входит к себе так, будто сейчас полдень: улыбаясь и воображая трясущегося Норфолка. Час ночи. Ему представляется, что тот еще на коленях, молится. А чернолицый бесенок колет трезубцем мозолистые пятки герцога.

III В Остин-фрайарз

1527

Лиззи еще не спит. Услышав, что слуги его впустили, она выходит, держа под мышкой комнатную собачку. Собачка скулит и вырывается.

— Забыл, где твой дом?

Он вздыхает.

— Как Йоркшир?

Он пожимает плечами.

— Кардинал?

Кивок.

— Ел?

— Да.

— Устал?

— Не очень.

— Вина?

— Да.

— Рейнского?

— Можно рейнского.

Панели недавно покрашены. Он входит в приглушенное золотисто-зеленое сияние.

— Грегори…

— Письмо?

— Что-то вроде того.

Она вручает ему письмо и собачку, достает вино. Садится рядом. Наливает себе тоже.

— Он нас приветствует. Путает единственное и множественное число. Плохая латынь.

— Ладно-ладно, — говорит она.

— Ну, слушай. Он надеется, что ты здорова. Надеется, что я здоров. Надеется, что его милые сестренки Энн и крошка Грейс здоровы. Он сам здоров. На сем, за недостатком времени, заканчиваю, ваш почтительный сын, Грегори Кромвель.

— Почтительный? — переспрашивает она. — И все?

— Так их учат.

Собачка Белла покусывает его за пальцы, ее круглые невинные глаза сверкают, как чужеземные луны. Лиз неплохо выглядит, хоть и утомилась после долгого дня; восковые свечи стоят у нее за спиной, высокие и прямые. На шее — нитка жемчуга и гранатов, его подарок на Новый год.

— На тебя приятнее смотреть, чем на кардинала.

— Самый скупой комплимент, какой когда-либо получала женщина.

— А я сочинял его всю дорогу из Йоркшира. — Он

встряхивает головой. — А, ладно! — Поднимает Беллу на воздух; та упоенно брыкается. — Как идут дела?

Лиз немного плетет из шелка: шнурки для печатей на документы, головные сетки для придворных дам. У нее в доме две девушки-ученицы. Лиз отлично чувствует, что сейчас в моде, но, как всегда, жалуется на посредников: они немилосердно дерут деньги.

— Надо бы нам съездить в Геную, — говорит он. — Я научу тебя, как смотреть поставщикам в глаза.

— Хорошо бы. Да куда ты от кардинала!

— Сегодня он убеждал меня ближе познакомиться с приближенными королевы. С испанцами.

— Вот как?

— Я ответил, что плоховато говорю по-испански.

— Плоховато? — Она смеется. — Ну ты лгунишка!

— Ему не обязательно все про меня знать.

— Я была в гостях в Чипсайде. — Лиз называет имя старой приятельницы, жены ювелира. — Хочешь новость? Заказали большой изумруд и оправу, для кольца. Для женского кольца. — По-

казывает размер изумруда: с ноготь на большом пальце. — Несколько недель дожидались камня. Его гранили в Антверпене. — Она резким движением растопыривает пальцы. — Он раскололся!

— Кто будет возмещать убытки?

— Гранильщик говорит, его обманули: подсунули камень с невидимым дефектом в основании. Ювелир говорит, если дефект был невидимый, откуда я мог про него знать? Гранильщик говорит, так стребуйте убытки с того, от кого получили изумруд…

— Тяжба на много лет. Они не могут раздобыть другой камень?

— Ищут. Мы думаем, заказчик — король. Больше никому в Лондоне такой изумруд не по средствам. Так для кого кольцо? Не для королевы.

Белла развалилась у него на руках, жмурится, легонько виляет хвостиком. Интересно, как это будет, с кольцом. Кардинал мне скажет. Кардинал считает, очень умно не допускать короля до себя и выманивать подарки, но к лету король с ней переспит, к осени пресытится и отправит ее в отставку; а если не отправит, я сам за этим прослежу. Коли Вулси выпишет из Франции принцессу детородного возраста, не стоит, чтобы первые недели в Англии ей отравили свары с бывшей

любовницей супруга. Королю, полагает Вулси, надо быть посуровей со своими женщинами.

Лиз ждет, но понимает, что он ничего не скажет.

— Так насчет Грегори, — говорит она. — Скоро лето. Там или здесь?

Тринадцатилетний Грегори сейчас в Кембридже, с наставником. Он отправил туда же племянников, сыновей Бет. Заботиться о родственниках — приятный долг. Летом у мальчиков каникулы. Что они будут делать в городе? Грегори пока совсем не интересуется чтением, хотя любит слушать истории про драконов, про зеленый народец, живущий в лесах; может одолеть целый латинский пассаж, если пообещаешь, что на следующей странице будет морской змей или призрак. Любит кататься верхом, обожает охоту. Мальчику еще расти и расти; мы надеемся, что он вырастет высоким. Дед короля по матери, как все старики вам скажут, был шесть футов четыре дюйма. (А вот отец, впрочем, ростом с Моргана Уильямса.) В короле шесть футов два дюйма — они с кардиналом почти одного роста. Король предпочитает высоких придворных — таких, как зять его величества Чарльз Брэндон, рослых и широкоплечих. В закоулках верзилы редкость; и

в Йоркшире, сдается, тоже.

Он улыбается. О Грегори он говорит: хорошо хоть, мальчик не такой, как я в его возрасте. (А каким были вы? — следует вопрос. О, я пырял людей ножичком.) Грегори никого не пырнет ножом, поэтому он не переживает — или переживает меньше, чем думают окружающие, — из-за неспособности сына освоить склонения и спряжения. Когда ему докладывают, что Грегори не сделал того и этого, он отвечает: «Мальчик растет». Он понимает, что сыну надо много спать. Сам он никогда не высыпался, потому что Уолтер буянил, а позже — в дороге, на корабле, в армии — и подавно было не до сна. Чего люди не понимают про армию, так это что бессмысленные занятия в ней съедают практически все время. Ты добываешь пропитание, ты встаешь лагерем в таком месте, куда прибывает вода, потому что так велел твой сумасшедший капитан, тебя заставляют ночью сниматься и переходить на позицию, которую невозможно оборонять, ты никогда толком не спишь, снаряжение вечно нуждается в починке, у пушкарей что-то взрывается, арбалетчики либо пьяны, либо молятся, стрелы заказали, но не доставили, и тебя постоянно снедает тревога, что все кончится совсем плохо, потому что у *il*

principe[8] или другого мелкого светлейшества, которое сегодня командует, голова не предназначена для мыслей. Довольно скоро — зимы через две — он перебрался из боевых частей в интендантскую службу. В Италии всегда можно воевать летом. Если тебе охота развеяться.

— Спишь? — спрашивает Лиз.

— Нет. Задумался.

— Привезли кастильское мыло. И твою книгу из Германии. Она была упакована, как что-то другое. Я чуть не отослала мальчишку прочь.

В Йоркшире, среди немытых, потеющих от злости людей в овчинах он мечтал о кастильском мыле.

Позже Лиз спрашивает:

— Так кто она?

От удивления он убирает руку с ее левой груди — такой знакомой и все равно любимой.

— Что?

Неужто Лиз вообразила, будто он завел в Йоркшире женщину? Он ложится на спину и думает, как разубедить жену. В крайнем случае взять ее в следующий раз с собой — пусть увидит, что там у него никого нет.

---

[8] Примечания Ольги Дмитриевой: 8
князь *(ит.).*

— Дама с изумрудом? — продолжает Лиз. — Я потому спрашиваю, что люди болтают, будто король задумал нечто странное. Я не верю, но весь город о том судачит.

Вот как? За две недели, что он был в Йоркшире среди дикарей, слухи просочились за пределы дворца.

— Если король на такое пойдет, — объявляет она, — против него полмира ополчится.

Они с Вулси думают лишь об одном: против короля ополчится император. Только император. Он улыбается в темноте, сцепив руки за головой. Не спрашивает, кого Лиз имеет в виду, ждет, пока она расскажет сама.

— Все женщины, — говорит Лиз. — Все женщины по всей Англии. Все женщины, у которых есть дочь, но нет сына. Все женщины, потерявшие ребенка. Все женщины, отчаявшиеся родить. И все женщины, которым сорок.

Она кладет голову ему на плечо. Оба устали, лежат молча на тонкой льняной простыне, под стеганым одеялом желтого турецкого атласа. Их тела издают слабый аромат нагретых солнцем трав. Он вспоминает: я могу браниться по-кастильски.

— Теперь спишь?

— Нет. Думаю.

— Томас, — шипит она возмущенно. — Уже пробило три!

Бьет шесть. Ему снится, что все женщины Англии в постели, выпихивают его из-под одеяла. Поэтому он встает почитать немецкую книгу, пока Лиз не видит.

Не то чтобы Лиз ругалась; разве что, уж если очень на нее насесть, скажет: «Мне и моего молитвенника достаточно». Она и впрямь нередко читает молитвенник: рассеянно берет в руки среди дня, лишь наполовину отрываясь от хлопот, перебивая тихое бормотание распоряжениями по дому. Это свадебный подарок, часослов, и Лиз вписала на первую страницу свое новое имя: «Элизабет Уильямс». Иногда, в приступе ревности, ему хочется вычеркнуть «Уильямс» и вписать нечто другое. Он знал первого мужа Лиз, но это не означает, что он испытывал к нему симпатию. Он не раз говорил: Лиз, вот книга Тиндейла, Новый завет, в сундуке, почитай ее, вот ключ. Она: ну и читай вслух, раз тебе так нравится. Он: Лиззи, это на английском, читай сама, в том-то весь смысл. Прочти и удивишься, что ты там найдешь.

Он думал, Лиз станет интересно, однако ничего подобного. Он не может вообразить, каково

читать домашним вслух, как это делает Томас Мор — несостоявшийся священник, одержимый проповедническим зудом. Мор — светило из иной сферы — при встречах удостаивает его лишь кивком, и каждый раз он чувствует искушение спросить: с вами что-то не так? Или что не так со мной? Почему все, что вам известно, и все, что вы узнаете, подкрепляет ваши прежние убеждения? Вот в моем случае то, с чем ярое, во что вроде бы верил, мало-помалу рушится — то тут, то там. С каждым месяцем мои представления об этом мире делаются все хлипче; и о мире ином — тоже. Покажите мне, где в Библии написано: «чистилище». Покажите, где там говорится о мощах и монахах. Покажите в ней слово «папа».

Он возвращается к немецкой книге. Король с помощью Томаса Мора написал трактат против Лютера, за что папа даровал его величеству титул Защитника веры. Не то чтобы он любил брата Мартина; они с кардиналом согласны, что лучше бы Лютеру вовсе не рождаться на свет, или, уж по крайней мере не быть таким прямолинейным. И все же он следит за тем, что пишут, что доставляют в крупные порты на Ла-Манше или укромные бухточки восточной Англии, где суденышко с неуказанным грузом можно выта-

щить на берег, а при луне, с приливом, столкнуть обратно на воду. Он держит кардинала в курсе, чтобы, когда Томас Мор с друзьями-клириками ворвется, изрыгая хулы на новую ересь, тот мог ответить: «Джентльмены, меня уже известили». Вулси жжет книги, не людей. Совсем недавно — в прошлом октябре — кардинал устроил аутодафе английскому языку. Столько сгорело бумаги, изготовленной из старого тряпья, столько черной типографской краски.

Евангелие, которое он держит в сундуке, отпечатано в Антверпене — оно доступнее, чем настоящее немецкое издание. Он знаком с Уильямом Тиндейлом — пока переводчику Библии на английский не стало опасно оставаться в Лондоне, тот полгода жил у Хемфри Монмаута, торговца тканями, в Сити. Тиндейл суров, непреклонен и никогда не смеется. С другой стороны, до смеху ли, когда ты вынужден бежать из родной страны? Мор называет Тиндейла Зверем. Тиндейловское Евангелие отпечатано на паршивой бумаге, в одну восьмую листа; на титуле вместо издательских адреса и эмблемы значится: «Выпущено в Утопии». Он надеется, что Томас Мор это видел. Вот бы показать при случае — чтобы посмотреть, какое у Мора станет лицо.

Он закрывает книгу. Пора браться за дела. У него не будет времени самому перевести это на латынь, чтобы потихоньку пустить в обращение; придется кого-нибудь просить, за деньги или по дружбе. Удивительно, как крепка нынче дружба между теми, кто читает по-немецки.

К семи он уже побрился, позавтракал и облачился в свежее, не заемное белье и темный джеркин тонкой шерсти. В это время суток он часто вспоминал отца Лиз: старик вставал рано и всегда готов был положить ему на голову руку и сказать: «Порадуйся за меня жизни, Томас».

Он любил старого Уайкиса. Поначалу их свело дело. Сколько ему было тогда?.. двадцать шесть? двадцать семь? Он недавно вернулся из-за границы, временами заговаривал на одном языке, а заканчивал фразу на другом. Уайкис, тоже уроженец Патни, расчетливый делец, сколотил небольшое состояние на торговле шерстью, но взял его к себе не как земляка, а потому что он пришел с рекомендациями и предложил услуги задешево. При первой встрече Уайкис, отложив бумаги, полюбопытствовал:

— Ты ведь сын Уолтера, да? Так что случилось? Поскольку, видит Бог, мальчишкой ты был разбойник, каких поискать.

Он мог бы объяснить, если бы знал, какое объяснение будет Уайкису понятно. Я больше не дерусь, потому что, живя во Флоренции, каждый день смотрел на фрески?

Он сказал:

— Я нашел более легкий способ существования.

Позже Уайкис начал сдавать, дело пришло в упадок. Они по-прежнему поставляли на север Германии тонкое черное сукно, он же считал, что при нынешней длинорунной шерсти, непригодной для хорошего бродклоса, лучше переключиться на более тонкое керси, которое можно везти через Антверпен в Италию. Выслушав — как всегда, очень внимательно — жалобы старика, он сказал:

— Рынок меняется. Позвольте мне в следующем году отвезти вас на ярмарку.

Уайкис знал, что давно пора съездить в Антверпен и Берген-на-Зоме, но очень не хотел переправляться через пролив.

— Не тревожьтесь, я о нем позабочусь, — сказал он мистрис Уайкис. — Я знаю семью, в которой мы можем остановиться.

— Ладно, Томас Кромвель, — ответила та. — Запомни мои слова. Никаких крепких голландских

напитков. Никаких женщин. Никаких запрещенных проповедников в подвалах. Знаю я вас, мужчин.

— Не знаю, смогу ли удержаться от подвалов.

— Сговорились. Можешь сводить его на проповедь, главное, не води в бордель.

Мерси, как он подозревает, из семьи, где хранили и знали сочинения Джона Уиклифа и где Писание на английском было всегда: запрятанные листочки, затверженные на память стихи. Такие вещи передаются по наследству, как форма носа и цвет глаз, как кротость и страстность, как сила и готовность пойти на риск. Если уж рисковать, лучше проповедник, чем девка; остерегайтесь «мсье костолома», которого во Флоренции зовут «неаполитанской лихорадкой», а в Неаполе — «флорентийской хворью». Здравый смысл подталкивает к воздержанию. В нашей жизни много ограничений, о которых не ведали наши предки.

На корабле он слышал обычные жалобы попутчиков: мерзавцы-лоцманы, фарватер не отмечен, английская монополия. Ганзейские торговцы предпочли бы, чтоб к Грейвзенду их суда вели собственные люди: немцы — шайка воришек, но провести корабль вверх по течению они умеют.

Старик Уайкис страдал от морской болезни. Сам он оставался на палубе, помогал чем мог; вы, кажется, были когда-то юнгой, сударь, заметил один из матросов. В Антверпене они сразу отыскали вывеску. Слуга, открывший дверь, завопил: «Томас вернулся!» Вышли три старика, три брата-суконщика. «Томас, наш бедный найденыш, наш маленький избитый беглец! Заходите, заходите поскорее, согревайтесь!»

Только здесь он по-прежнему был беглецом, маленьким избитым мальчишкой.

Жены, дочери, собаки бросились его целовать. Он оставил старого Уайкиса у очага — удивительно, насколько понятен язык стариков, когда те обмениваются рецептами примочек, сочувствуют бедам друг друга, обсуждают блажь и капризы жен. Младший брат, как всегда, переводил, с тем же серьезным видом, даже когда речь касалась физиологии.

Он ушел пить с тремя сыновьями трех братьев.

— *Wat will je?*[9] — поддразнивали они. — Надеешься заполучить старикову лавку? Или старуху, как хозяин помрет?

— Нет, — неожиданно сам для себя ответил

---

[9] Примечания Ольги Дмитриевой: 9
Чего ты хочешь? *(голл.)*

он. — Кажется, я хочу заполучить его дочку.

— Она молоденькая?

— Вдова. Довольно молоденькая.

К возвращению он уже знал, что следует менять в лавке. Оставалось продумать частности.

— Я видел ваш товар, — сказал он Уайкису. — Видел конторские книги. Теперь покажите мне своих приказчиков.

Разумеется, люди — ключ к прибыли. Достаточно посмотреть им в глаза, чтобы понять, честны ли они и годятся ли для своего места. Он выгнал ненадежного старшего приказчика — сказал: проваливай, или я устрою тебе разбирательство — и поставил на это место младшего, заикающегося юнца, которого все считали придурковатым. Придурковатость оказалась просто робостью; вечер за вечером он сидел с юношей, молча и спокойно указывая тому на ошибки и упущения; через четыре недели новый старший приказчик уже не нуждался ни в советах, ни в понуканиях, а на своего наставника смотрел восторженными щенячьими глазами. Четыре недели в лавке и еще несколько дней в доках — выяснить, кто берет взятки. К концу года Уайкис снова стал получать прибыль.

Старик посмотрел цифры, поднялся из-за стола

и крикнул:

— Лиззи! Спустись к нам.

Она спустилась.

— Тебе нужен новый муж. Такой сгодится?

Она оглядела его с головы до пят.

— Ну, отец, вижу, ты выбирал не за красоту. — Ему, подняв бровь: — Тебе правда нужна жена?

— Оставить вас, чтобы вы обсудили это между собой? — спросил Уайкис озадаченно. Старик, видимо, думал, что они сядут и сразу заключат договор.

Почти так и вышло. Лиз хотела детей, он хотел жену со связями в Сити и с кой-какими деньгами. Они поженились через несколько недель. Грегори родился через год. Он взял новорожденного из колыбели — крепенького, орущего — поцеловал в пушистую маковку и сказал, я буду к тебе ласков, как не был ко мне отец. Для чего заводить детей, если следующее поколение не будет лучше предыдущего?

Сегодня утром, размышляя над сказанным ночью Лиз, он думает: что моей жене до женщин, у которых нет сыновей? Может, они все такие: пытаются вообразить, каково живется их сестре.

Это стоит учитывать.

Восемь часов. Лиз уже хлопочет по дому. Воло-

сы убраны под льняной чепец, рукава закатаны.

— Ой, Лиз, — смеется он, — ты похожа на жену пекаря.

— Веди себя приличней, — отвечает она. — Мальчишка-рассыльный.

Входит Рейф.

— Сперва к милорду кардиналу?

Куда же еще, говорит он. Собирает бумаги. Похлопывает жену по спине, целует собачку. Выходит. На улице еще моросит, но солнце уже проглядывает. К тому времени, как они добираются до Йоркского дворца, сомнений не остается: кардинал сдержал слово. Реку заливает свет, бледный, как разрезанный лимон.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I Гости

1529

Собирают имущество кардинала. Комнату за комнатой люди короля вычищают из Йоркского дворца прежнего обитателя. Увязывают в тюки пергаменты и свитки, требники и личные записи, домашние расходные книги. Забрали даже чернила и перья. Отдирают от стен доски с кардинальским гербом.

Они приехали в воскресенье, двое мстительных вельмож: герцог Норфолк, остроглазый ястреб, и не менее хищный герцог Суффолк. Герцоги сообщили Вулси, что тот отставлен с поста лорд-канцлера и должен вернуть Большую государственную печать. Он, Кромвель, тронул кардинала за локоть, произнес несколько слов. Кардинал обернулся к герцогам: тут обнаружилось, что нужно письменное требование короля, оно у вас есть? Ой, как же вы так? Нужно изрядное самообладание, чтобы говорить спокойно, но самообладания Вулси не занимать.

— Вы хотите, чтобы мы скакали назад в Виндзор? — Чарльз Брэндон не верит своим ушам. —

За бумажкой?

В этом весь Суффолк: ему кажется, будто официальный документ — ненужная прихоть.

Он снова шепчет на ухо кардиналу, и тот говорит:

— Нет, Томас, лучше скажем им сразу… незачем длить агонию… Милорды, мой стряпчий напомнил, что я не могу отдать вам печать даже по письменному распоряжению. Только лично в руки начальнику судебных архивов. Так что прихватите и его.

Он произносит веско:

— Радуйтесь, что мы вам сказали, милорды. Не то у вас вышло бы три поездки, не так ли?

Норфолк — прирожденный боец — ухмыляется.

— Премного обязан, сударь.

Когда герцоги выходят, Вулси оборачивается с блаженной улыбкой и заключает его в объятия. Да, это их последняя победа, но двадцать четыре часа — срок немалый, а королевские настроения переменчивы. К тому же кардиналу нравится вспоминать обескураженные лица противников.

— Начальник судебных архивов, — говорит Вулси. — Вы знали или сами придумали?

В понедельник утром герцоги возвращаются с

приказом немедленно освободить дворец. Король хочет прислать своих строителей и мебельщиков, чтобы приготовить жилище для леди Анны — ей нужен лондонский дом.

Он готов заявить протест: я чего-то не понимаю. Дворец принадлежит Йоркской епархии. Когда леди Анна стала архиепископом?

Однако поток людей с пристани оттесняет их прочь. Герцоги куда-то подевались, протест заявлять некому. Какое ужасное зрелище, говорит кто-то, мастеру Кромвелю не дали сразиться. Кардинал готов ехать, но куда? Поверх багряной мантии накинут чужой дорожный плащ: гардероб изымают прямо сейчас, пришлось схватить, что подвернулось под руку. Осень, и даже такому дородному человеку холодно.

Королевские слуги переворачивают сундуки, высыпают содержимое на пол: письма от Папы, от европейских ученых — из Утрехта, Парижа, Сан-Диего-де-Компостела, Эрфурта, Страсбурга, Рима. Упаковывают Евангелия, чтобы забрать в королевскую библиотеку. Книги тяжелые: их боязно держать в руках, словно они дышат: пергамент, сделанный из кожи мертворожденных телят, под рукой миниатюриста ожил голубыми и зелеными прожилками.

Сорвали шпалеры, оставив голые стены. Скатали шерстяных монархов, Соломона и царицу Савскую, в рулон, и теперь те смотрят друг на друга в упор, их крохотные легкие дышат ворсом бедер и животов. На пол летят охотничьи сцены, картины мирских удовольствий: купающиеся крестьяне, загнанные олени, лающие собаки, спаниели на шелковых сворках, мастиффы в ошейниках с шипами, охотники в поясах с бляхами, наездницы в изящных шапочках, заросший камышом пруд, овцы на пастбище, синеватые перистые верхушки деревьев на фоне меловых обрывов и белесого неба.

Кардинал смотрит на хлопочущих разорителей.

— Найдется ли нам чем угостить наших гостей?

В двух больших комнатах, прилегающих к галерее, поставили длинные козлы, каждые — двадцать футов в длину, и тащат еще. В Золоченой палате разбирают кардинальское золото и драгоценные камни, расшифровывают описи и выкрикивают вес. В Зале совета складывают серебро и позолоченную посуду. В списки внесено все, до последнего треснувшего горшка; то, что вряд ли приглянется королю, бросают в

составленные под столами корзины. Сэр Уильям Гаскойн, кардинальский казначей, деловито снует из комнаты в комнату, указывает уполномоченным на шкафы и сундуки — не упустили бы чего.

Следом трусит Джордж Кавендиш, распорядитель кардинальского двора, растерянный и возмущенный. Слуги тащат облачения. Сплошь расшитые, усыпанные жемчугом и драгоценными камнями, мантии сами по себе немало стоят. Налетчики валят их на пол, будто сбивают с ног Томаса Бекета.[10] Поставив каждую на колени и сломав ей хребет, они бросают ее в дорожный сундук. Кавендиш морщится:

— Бога ради, джентльмены, подложите в сундуки двойной слой батиста. Не хотите же вы испортить тонкую работу, на которую у монахинь ушла целая жизнь? — Оборачивается. — Мастер Кромвель, как вы думаете, они успеют закончить дотемна?

— Только если мы им поможем. Раз уж до того дошло, можно хотя бы проследить, чтобы все

---

[10] Примечания Ольги Дмитриевой: 10

Образ архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета, убитого по наущению короля Генриха II и причисленного к лику святых, в эпоху Реформации воспринимался как символ сопротивления духовенства воле монарха. Не случайно, став официальным главой церкви Англии, Генрих VIII отдал приказ разрушить гробницу Томаса Бекета.

сделали как следует.

Постыдное зрелище: человек, который правил Англией, лишен всего. Королевские слуги выносят рулоны тонкого голландского полотна, бархата и плюша, муара и тафты, красных тканей без меры и счета: алый шелк для летней лондонской жары, багряный дамаст, чтобы согревать кардинала, когда снег сыплет на Вестминстер и мокрыми хлопьями кружит над Темзой. На людях кардинал в красном, всегда в красном разных оттенков, разной плотности и выделки, но непременно в самом лучшем, в самом дорогом. Нередко его милость, прохаживаясь в раздумье, останавливался и говорил:

— Ну, мастер Кромвель, оцените-ка меня по ярду!

И Кромвель медленно обходил кардинала, со словами: «Позвольте», — щупал рукав, отступал на шаг, прикидывал обхват — год от года Вулси раздавался в теле — и в конце концов называл сумму. Кардинал довольно хлопал в ладоши.

— Пусть завистники смотрят! Вперед, вперед, вперед!

Выстраивалась процессия: серебряные геральдические кресты, стража с золочеными алебардами. Кардинал никуда не выходил без

свиты.

Так день за днем, по просьбе и для забавы кардинала, он оценивал своего хозяина. Теперь король прислал для того же армию писарей. Однако ему хочется силой вырвать у них перья и начертать поперек описей: «Томас Вулси бесценен».

— Что ж, Томас, — говорит кардинал, хлопая его по плечу. — Все, что у меня есть, я получил от короля. Его величеству угодно было дать мне Йоркский дворец, теперь угодно забрать. Наверняка у нас есть другие дома, другие места, где приклонить голову. Здесь не Патни. И я запрещаю вам кого-нибудь бить.

Вулси с улыбкой прижимает ему руки к бокам, мол, не смейте их распускать. Пальцы у кардинала дрожат.

Подходит казначей Гаскойн.

— Я слышал, ваша милость отправится прямиком в Тауэр.

— Вот как? — спрашивает Кромвель. — И кто же вам сказал?

— Сэр Уильям Гаскойн, — с растяжкой произносит кардинал, — за что, по-вашему, король должен отправить меня в Тауэр?

— Очень в вашем духе, — обращается Кромвель к Гаскойну, — повторять досужие сплетни. Так-то

вы поддерживаете его милость? Никто не отправляется в Тауэр. Мы едем… — все, затаив дыхание, ждут, пока он придумывает на ходу, — в Ишер. А ваше дело, — он, не сдержавшись, легонько толкает Гаскойна в грудь, — приглядывать за чужаками и следить, чтобы все, взятое отсюда, попало по назначению, потому что иначе вы сами попроситесь в Тауэр — спрятаться от меня!

Какие-то звуки, по большей части из дальнего конца комнаты, — что-то вроде приглушенного «браво». Трудно побороть впечатление, что разыгрывается спектакль под названием «Кардинал и его служители». Трагедия.

Кавендиш, потный, взволнованный, тянет его за рукав.

— Но, мастер Кромвель, дом в Ишере пуст, у нас ни нет ни котла, ни ножа, ни вертела, где милорд кардинал будет спать, перины наверняка не просушены, нет белья, нет дров, нет… и как мы туда доберемся?

— Сэр Уильям, — обращается кардинал к Гаскойну, — не обижайтесь на мастера Кромвеля, который сейчас высказался чересчур резко, но примите его слова. Поскольку все, что у меня есть, даровано королем, все следует вернуть в целости и сохранности.

Губы у кардинала дрожат. Вчера, поддразнивая герцогов, его милость улыбнулся впервые за последний месяц.

— Томас, — произносит Вулси, — я годами отучал вас так разговаривать.

Кавендиш говорит Кромвелю:

— Барку милорда кардинала еще не забрали. И лошадей.

— Вот как? — Он кладет руку Кавендишу на плечо. — Значит, отправляемся вверх по реке, сколько нас поместится на барке. Лошади пусть ждут в… в Патни, а потом мы… что-нибудь одолжим. Ну же, Джордж Кавендиш, проявите изобретательность, в прошлые годы мы с вами совершали дела посложнее, чем переезд в Ишер.

Правда ли это? Он никогда особенно не замечал Джорджа Кавендиша, чувствительного малого, много говорящего про салфетки. Однако он пытается вдохнуть в Кавендиша боевой дух, и лучший способ — сделать вид, будто за их плечами общие успешные кампании.

— Да-да, — подхватывает Кавендиш, — мы снарядим барку.

Хорошо, кивает он, а кардинал спрашивает: Патни? и он натужно смеется. Кардинал говорит, ну, Томас, вы все-таки поставили на место Гаской-

на, чем-то этот человек мне всегда не нравился, и он говорит, зачем же вы его тут держали? Кардинал отвечает со вздохом, ну, так получилось, и во второй раз переспрашивает: так значит, в Патни?

Кромвель говорит:

— Что бы ни ждало нас в конце пути, не будем забывать, что для встречи двух королей ваша милость воздвигли парчовый город посреди мокрых пикардийских полей.[11] С той поры ваша милость только возрастали в мудрости и уважении короля.

Это говорится громко, для всех, про себя же он думает: тогда речь шла о заключении мира, сейчас же мы не знаем, что у нас, первый день долгой или короткой кампании, лучше возвести земляные валы и надеяться, что враг не перережет пути для провианта.

— Думаю, мы сумеем раздобыть кочерги, суповые миски и что там еще, на взгляд Джорджа Кавендиша, нам совершенно необходимо. Я не

---

[11] Примечания Ольги Дмитриевой: 11

Имеется в виду личная встреча Генриха VIII и короля Франции Франциска I в июне 1520 г. близ Кале, сопровождавшаяся многодневными пышными празднествами и рыцарскими турнирами. Оба короля стремились превзойти друг друга в роскоши, возводя временные дворцы и не скупясь на богатое убранство. Походные шатры государей и знати были изготовлены из золотой парчи, отсюда и название этого события — встреча на «Поле золотой парчи».

забыл, как ваша милость снаряжали королевские войска, отправлявшиеся во Францию.

— Да, — говорит кардинал, — мы все помним ваше мнение о той кампании, Томас.

Кавендиш спрашивает: «Что-что?», и кардинал объясняет:

— Джордж, разве вам не вспоминается, что мой слуга Кромвель сказал в палате общин пять лет назад, когда мы просили денег на новую войну?

— Но он же выступил против вашей милости!

Гаскойн, который внимательно ловит каждое слово, вставляет:

— Не очень-то вы хорошо себя зарекомендовали, сударь, переча королю и милорду кардиналу; я отлично помню вашу речь, и заверяю, как заверят вас еще многие, что вы не снискали себе расположения, Кромвель.

Он пожимает плечами.

— Я не искал расположения. Не все такие, как вы, Гаскойн. Я хотел, чтобы палата общин извлекла урок из прошлой кампании. Одумалась.

— Вы сказали, мы проиграем.

— Я сказал, мы разоримся. Но уверяю вас, наши войны заканчивались бы еще хуже, если бы снабжением войск занимался не милорд кардинал.

— В тысяча пятьсот двадцать третьем году… —

начинает Гаскойн.

— Надо ли сейчас разыгрывать те сражения по новой? — спрашивает кардинал.

— …герцог Суффолк был всего в пятидесяти милях от Парижа.

— Да, — говорит Кромвель, — а вы знаете, что такое пятьдесят миль для полуголодного пехотинца, который засыпает на мокрой земле и просыпается окоченевшим? Для обоза, когда телеги по оси увязают в грязи? А что до побед тысяча пятьсот тринадцатого… оборони нас Господь.

— Турне! Теруан![12] — восклицает Гаскойн. — Вы что, слепы? Два французских города взято. Король проявил на поле боя чудеса храбрости!

Будь мы на поле боя, думает он, я бы плюнул тебе под ноги.

— Если вы так любите короля, почему бы вам не поступить к нему на службу? Или вы и так уже на жаловании у его величества?

Кардинал тихонько откашливается.

— Мы все служим королю, — говорит Кавендиш.

---

[12] Примечания Ольги Дмитриевой: 12

Турне и *Теруанн* — французские крепости, захваченные англичанами входе военной кампании против Франции в 1513 г. Эти победы были предметом национальной гордости англичан, в особенности короля Генриха, хотя Томас Кромвель отзывался о них скептически, сравнив обе крепости с собачьей конурой.

А кардинал добавляет:
— Томас, мы все — творения его рук.

Они садятся в барку. Над нею реют флаги: роза Тюдоров, две черные корнуольские галки — символ святого покровителя Вулси, Томаса Бекета. Кавендиш, хлопая глазами, восклицает: «Гляньте, сколько лодок на реке! Так и снуют!» В первый миг Вулси думает, что лондонцы вышли попрощаться. Но когда он всходит на барку, с лодок несутся гогот и улюлюканье. На пристани собрались люди, и хотя кардинальская стража их сдерживает, нет сомнений, что намерения у толпы самые враждебные. Когда барка начинает двигаться вверх по реке, а не вниз, к Тауэру, слышны вопли и угрозы.

И вот тут-то кардинал теряет власть над собой: падает на скамью и говорит, говорит, говорит до самого Патни.

— За что меня так ненавидят? Что они от меня видели, кроме добра? Сеял ли я вражду? Нет. Доставал зерно в неурожайные годы. Когда взбунтовались подмастерья, на коленях в слезах молил его величество помиловать зачинщиков, уже стоявших с веревками на шее.

— Толпа, — произносит Кавендиш, — всегда жаждет перемен. Видя, как великий человек

вознесся, она хочет его низвергнуть, просто ради новизны.

— Пятнадцать лет канцлером. Двадцать — на службе у короля, а перед тем — у его отца. Не щадил себя — вставал рано, трудился допоздна…

— Вот что значит служить властителям, — замечает Кавендиш. — Следует помнить, что их любовь недолговечна…

— Властитель не обязан быть постоянным, — произносит он, а про себя думает: я ведь могу не утерпеть и выбросить тебя за борт.

Кардинал перенесся на двадцать лет назад, в прошлое, когда молодой король только вступил на престол.

— Заставьте его трудиться, говорили некоторые, но я отвечал, нет, он молод, пусть сражается на турнирах, охотится, выпускает соколов и ястребов…

— Играет на музыкальных инструментах, — подхватывает Кавендиш. — Его величество все время перебирает струны лютни или мандолины. Поет…

— У вас он просто Нерон какой-то.

— Нерон? — Кавендиш вздрагивает. — Я такого не говорил!

— Добрейший, мудрейший государь в христи-

анском мире. Я не слышал, чтобы кто-нибудь сказал о нем хоть одно худое слово…

— И не услышите, — замечает он.

— Чего я только не делал! Пересекал Ла-Манш, как другой переступает через ручеек мочи на улице! — Кардинал качает головой. — Днем и ночью, в седле и за четками… двадцать лет…

— Это как-то связано с английским характером? — пылко спрашивает Кавендиш, все еще вспоминая разъяренную толпу на пристани; даже и сейчас люди еще бегут вдоль берега, свистя и делая непристойные жесты. — Скажите, мастер Кромвель, вы бывали за границей: англичане что, особенно неблагодарная нация? Мне кажется, им нравятся перемены ради перемен.

— Не думаю, что дело в англичанах. Скорее просто в людях. Они всегда надеются, что новое будет лучше.

— Но что они выиграют? — настаивает Кавендиш. — Сытого пса сменит голодный, кусающий ближе к кости. Место человека, разжиревшего от славы, займет тощий и алчный.

Он закрывает глаза. В серой воде смутно отражаются три силуэта — аллегория Фортуны. В центре — Низверженное величие. Справа Кавендиш, олицетворение Добродетельного советчика,

бормочет ненужные, запоздалые слова, которые опальный вельможа слушает, склонив голову; он сам в роли Искусителя слева, и кардинальская рука, унизанная перстнями с гранатами и турмалинами, до боли сжимает его руку. Джордж давно отправился бы за борт, не будь сказанное, при всей своей банальности, по сути верно. А почему? Из-за Стивена Гардинера. Негоже называть кардинала разжиревшим псом, но Стивен определенно алчен и тощ. Недавно король назначил мастера Стивена своим личным секретарем. Не так уж мало людей, вышколенных кардиналом, служит теперь при дворе, но Гардинер, если сумел правильно себя поставить, ближе к его величеству, чем кто-либо другой, за исключением человека, стоящего подле монаршего стульчака с подтиркой в руках. А было бы неплохо, если б и эту обязанность поручили мастеру Стивену.

Кардинал закрывает глаза. Из-под век проступают слезы.

— Воистину, — вещает Кавендиш, — Фортуна непостоянна, прихотлива и переменчива.

Он быстро — пока кардинал не видит — сдавливает пальцами себе горло. Кавендиш, правильно поняв его жест, умолкает. Они растерянно переглядываются. Один слишком много наговорил,

другой слишком много передумал. Есть ли золотая середина? Он скользит взглядом по берегам Темзы. Кардинал по-прежнему плачет, сжимая его руку.

Берег уже не внушает опасений. Не потому, что в Патни англичане менее переменчивы. Просто там еще не знают.

Лошади ждут. Кардинал как служитель Божий всегда ездит на рослом и сильном муле; впрочем, поскольку его милость все двадцать лет охотился вместе с королем, конюшням Вулси позавидует любой дворянин. Мул, как всегда, под красной попоной, прядает длинными ушами. Рядом кардинальский шут Секстон.

— А дурак-то здесь зачем, ради всего святого? — спрашивает он Кавендиша.

Шут подходит и что-то шепчет кардиналу на ухо; тот смеется.

— Отлично, Заплатка. А теперь, будь другом, помоги мне сесть в седло.

Но Заплатка — мастер Секстон — не справляется. Кардинал обессилел и как будто стал еще тяжелее. Он, Кромвель, спрыгивает с седла, кивает слугам кардинала.

— Мастер Заплатка, подержи Кристофера.

Заплатка делает вид, будто не помнит, что

Кристофером зовут мула, и хватает ближайшего слугу.

Он говорит: Христа ради, Заплатка, не путайся под ногами, или я посажу тебя в мешок и брошу в реку.

Слуга, которому шут чуть не оторвал голову, трет шею, говорит, спасибо, мастер Кромвель, и берет мула под уздцы. Он, Кромвель, вместе с двумя слугами взваливает кардинала в седло. Тот смотрит пристыженно.

— Спасибо, Том. — Смеется жалобно, тоненько. — Ну вот и тебе перепало, Заплатка.

Они готовы ехать. Кавендиш поднимает голову.

— Святые угодники! — По дороге галопом приближается одинокий всадник. — Его милость хотят арестовать!

— Один человек?

— Остальные сзади, — говорит Кавендиш. Он отвечает: Патни, конечно, неспокойное место, но не настолько, чтобы высылать дозорных. Тут кто-то кричит: «Это Гарри Норрис!» Всадник торопливо спешивается. Это и впрямь Норрис, один из ближайших друзей короля, смотритель при стульчаке — тот самый человек, который подает его величеству подтирку.

Вулси сразу понимает, что король не отправил бы Норриса взять его под стражу.

— Отдышитесь, сэр Генри. Из-за чего такая спешка?

Норрис говорит, простите, милорд кардинал, срывает шляпу, кланяется, чуть не задевая перьями грязь, утирает лоб рукавом, улыбается в высшей степени любезно. Король поручил мне скакать за вашей милостью, догнать вас, сказать вам слова утешения и вручить перстень, который вы сразу узнаете. Протягивает перстень на ладони.

Кардинал слезает с седла и падает на колени. Берет перстень, прижимает к губам. Молится. Молится, благодарит Норриса, призывает благословение Божие на своего монарха. «У меня нет ничего ценного, чтобы послать королю». Озирается, словно ищет глазами подходящий дар — дерево? Норрис пытается поднять кардинала, и в конце концов встает рядом на колени — такой пригожий, опрятный молодой человек — на колени в дорожную грязь. У Норриса выходит, что король лишь притворился разгневанным, а на самом деле ничуть не гневается; его величеству известно, что у кардинала есть враги, к которым

он сам, Henricus Rex,[13] отнюдь не принадлежит, и мнимая опала должна успокоить этих врагов; все, отнятое у кардинала, будет возмещено в двойном размере.

Кардинал плачет. Начинается дождь, ветер бросает дождевые струи в лицо. Кардинал что-то быстро, тихо говорит, потом срывает с себя золотую цепь, хочет надеть ее на сэра Генри, но запутывается в пряжках дорожного плаща. Слуги подбегают и безуспешно пытаются ему помочь. Норрис встает и начинает отряхивать колени левой рукой в перчатке, правой прижимая к себе цепь.

— Носите ее, — просит кардинал, — может, как-нибудь глянете на нее и замолвите за меня словечко перед королем.

Кавендиш подъезжает вплотную.

— Реликварий его милости! — Джордж расстроен, изумлен. — Расстаться с таким сокровищем! Там частица истинного креста!

— Мы добудем ему еще. Я знаю человека в Пизе, который продает их по пять флоринов десяток — дюжину, если платишь сразу. С сертификатом, заверенным отпечатком пальца апостола Петра.

---

[13] Примечания Ольги Дмитриевой: 13
Король Генрих *(лат.)*.

— Стыдитесь! — Кавендиш, резко дернув уздечку, поворачивает коня в сторону.

Норрис передал все, что было поручено, и кардинала вновь усаживают в седло. На сей раз четверо дюжих слуг берутся за дело, будто занимались этим спокон веков. Драма превратилась в комическую интерлюдию самого низкого пошиба. Он думает: вот для чего здесь нужен Заплатка. Подъезжает к Норрису, спрашивает, глядя сверху вниз:

— Мы можем получить все это в письменном виде?

Норрис отвечает с улыбкой:

— Вряд ли, мастер Кромвель. Это конфиденциальное сообщение для милорда кардинала. Слова моего господина предназначены только его милости.

— А как насчет обещанного возмещения?

Норрис смеется — как всегда, когда хочет обезоружить противника, — и говорит шепотом:

— Думаю, это фигура речи.

Удвоить состояние кардинала?! У Генриха столько нет.

— Похоже на то. Верните то, что забрали. Мы не просим вдвое.

Норрис трогает золотую цепь на шее.

— Все от короля. Нельзя называть это грабежом.

— Я и не называл.

Норрис задумчиво кивает.

— Верно, не называли.

— У кардинала забрали церковные облачения — знак его сана. Что отнимут следующим? Бенефиции?

— Ишер — вы ведь туда едете, я правильно понимаю? — одно из владений, принадлежащих его милости как епископу Винчестерскому.

— И?

— Кардинал пока сохранит и этот сан, и поместье, но… как бы выразиться?.. король еще не принял окончательного решения. Как вы знаете, кардиналу предъявлено обвинение, согласно статуту о превышении власти церковнослужителем, в попытке применить на английской земле несоответствующие полномочия.

— Не учите меня законам.

Норрис наклоняет голову.

Он думает: прошлой весной, когда тучи начали сгущаться, надо было убедить милорда кардинала, чтобы тот разрешил мне перевести часть денег за границу, где мы всегда сможем их получить. Но тогда кардинал ни о какой опасности и

слышать не хотел. Почему я позволил ему сохранять благодушие?

Норрис берется за уздечку, говорит:

— Я всегда восхищался вашим господином и надеюсь, что в теперешних бедствиях он это вспомнит.

— Мне казалось, никаких бедствий нет. Согласно вашим словам.

Вот бы сейчас схватить Норриса за шкирку и вытрясти прямые ответы. Увы, простых решений не бывает: этому научили его мир и кардинал. Господи, думает он, в мои лета пора бы знать. Успехи приносит не оригинальность. Не ум. Не сила. Успехов достигают ловкие интриганы вроде — и в этом он все больше уверен — Норриса. В душе крепнет бессознательная неприязнь, он пытается ее прогнать, потому что уж если неприязнь, то пусть лучше осознанная, но, в конце концов, обстоятельства исключительные: кардинал в грязи, унизительная возня с усаживанием на мула, бесконечные причитания в пути и, хуже, бесконечные причитания на коленях, как будто Вулси разматывается, распускается, словно огромный алый клубок, в длинную алую нить, которая заведет тебя в алый лабиринт с умирающим чудищем посередине.

— Мастер Кромвель! — говорит Норрис.

Он не может рассказать, о чем думал, просто смотрит на Норриса сверху вниз и произносит, смягчившись лицом:

— Спасибо за утешение.

— Увезите милорда кардинала из-под дождя. Я расскажу королю, в каком состоянии его нашел.

— Расскажите, как вы вместе стояли на коленях в грязи. Король позабавится.

— Да, — печально кивает Норрис. — Никогда не знаешь, как он все воспримет.

И тут Заплатка начинает вопить. Кардинал — озираясь в поисках подарка — увидел шута и счел того достойным подношением королю. Заплатка, часто говорил Вулси, стоит тысячи фунтов. Шут едет с Норрисом — сейчас самое подходящее время. Четверо слуг пытаются скрутить Заплатку, тот кусает их, отбивается руками и ногами, пока его не бросают на вьючного мула, освобожденного от поклажи. Теперь Заплатка рыдает в голос, икая, ребра ходят ходуном, дурацкие ноги болтаются, плащ порван, перо на шляпе переломилось.

— Ну же, Заплатка, — уговаривает кардинал, — ну же, мой дорогой. Мы будем часто видеться, как только король вернет меня ко двору. Мой милый Заплатка, я напишу тебе письмо, тебе лично.

Сегодня же напишу и скреплю своей большой печатью. Король тебя полюбит, он — добрейшая душа во всем христианском мире.

Заплатка воет на одной ноте, как пленник, которого турки посадили на кол.

Дурак-то, говорит он Кавендишу, свалял дурака. Не надо было обращать на себя внимание.

Ишер: епископ спешивается перед старым донжоном, увенчанным восьмиугольными башенками. Пятьдесят лет назад Уэйнфлит, тогдашний епископ Винчестерский, выстроил здесь четырехэтажную надвратную башню. От башни отходит куртина с галереей наверху, по виду мощная, но все эти сооружения — из красного и белого кирпича, сложная орнаментальная кладка. Украшение, не защита.

— Это место невозможно укрепить, — говорит он. Кавендиш молчит. — Джордж, вы должны сказать: «Но его и нет нужды укреплять».

Кардинал не был здесь с тех пор, как выстроил Хэмптон-корт. Они выслали вперед гонцов, но сделано ли хоть что-нибудь? Устройте милорда поудобнее, бросает он, и направляется прямиком на кухню. В поварни Хэмптон-корта проведена вода, здесь течет только из носа у поваров. Кавендиш прав. Все куда хуже, чем он думал. Кладовые

почти пусты, а то немногое, что есть, в основном испорчено. В муке черви. На столе, где раскатывают тесто — мышиный помет. Скоро Мартинов день, а здесь еще не начинали заготавливать солонину. На кухонную посуду стыдно смотреть. Котел зарос плесенью. У очага греются мальчишки: за несколько монет они с охотой возьмутся скоблить и чистить. Дети любят все новое, а идея чистоты для них, сдается, совершенно нова.

Милорду, думает он, надо есть и пить *сейчас*, надо будет есть и пить еще… неизвестно сколько. Кухню нужно привести в порядок к предстоящей зиме. Он находит грамотного слугу и начинает диктовать, загибая пальцы на левой руке: во-первых, сделайте то, во-вторых — это. Правой рукой умело разбивает в миску яйца, отцеживая через пальцы тягучий белок и отделяя желтки. «Сколько пролежало это яйцо? Смените поставщика. Мне нужен мускатный орех. Мускатный орех? Шафран?» На него смотрят так, будто он говорит по-гречески. В ушах по-прежнему звучат пронзительные вопли Заплатки. Он возвращается в зал; со стен на него смотрят пыльные ангелы.

Проходит довольно много времени, прежде чем им удается уложить кардинала в некое подобие постели. Где мажордом? Где гофмейстер? Ему

уже кажется, будто они с Кавендишем и впрямь последние уцелевшие ветераны долгой кампании. Они остаются в зале — постелей, чтобы лечь, все равно нет — и составляют список первоочередных надобностей. Столовое серебро, чтобы кардиналу не есть из старых оловянных мисок, постельное белье, скатерти, дрова.

— Я пришлю людей разобраться с кухней, — говорит он. — Итальянцев. Поначалу будет неразбериха, но недели через три все выправится.

Три недели. Надо бы заставить мальчишек отдраить медную посуду.

— Можем ли мы раздобыть лимоны? — спрашивает он, и одновременно Кавендиш произносит: «Так кто станет лордом-канцлером?»

Интересно, думает он, есть ли здесь крысы.

Кавендиш продолжает:

— Вновь призовут его милость Кентербери?

Через пятнадцать лет после того, как кардинал вытеснил архиепископа с этой должности.

— Нет, Уорхем слишком стар. — (И слишком упрям, слишком противится желаниям короля.) — И не герцог Суффолкский. — (Потому что Чарльз Брэндон не умнее мула Кристофера, хотя дерется и наряжается не в пример лучше.) — Не Суффолк, потому что Норфолк этого не потерпит.

— И наоборот, — подхватывает Кавендиш. — Епископ Тунстолл?

— Нет. Томас Мор.

— Мирянин, человек незнатного рода? Который к тому же против нового брака короля?

Он кивает, да-да, канцлером будет Мор. Королю и прежде случалось доверять свою совесть строгим оценщикам. Возможно, его величество надеется таким образом спастись от самого себя.

— Если король и предложит Мору канцлерский пост — тот ведь откажется?

— Нет.

— Пари? — предлагает Кавендиш.

Они договариваются о закладе и ударяют по рукам. Пари помогает отвлечься от насущных забот: крыс, холода, вопроса, как втиснуть несколько сотен человек из Вестминстера в куда меньший Ишерский дворец. Штат кардинала — если взять главные резиденции и пересчитать всех, от священников и поверенных до метельщиков и прачек — больше шестисот душ. Три сотни вот-вот прибудут.

— По всему выходит, некоторых придется отпустить, — произносит Кавендиш. — Но у нас нет денег, чтобы с ними расплатиться.

— Будь я проклят, если мы отпустим их без

жалования, — говорит он, а Кавендиш замечает:

— Думаю, вы так и так прокляты. После того, как высмеивали реликвии.

Они переглядываются и начинают хохотать. По крайней мере, вина хватает, погреба полны, и это хорошо, замечает Кавендиш, потому что пить нам тут еще много недель.

— Что, по-вашему, имел ввиду Норрис? — спрашивает Джордж. — Как король мог отстранить милорда кардинала, если не хотел его отстранять? Почему уступил врагам милорда? Разве король не властен над своими врагами?

— Хотелось бы верить.

— Или это *она?* Наверняка она. Король ее боится. Она ведьма.

Он говорит, не глупите. Кавендиш отвечает, точно ведьма, так говорит герцог Норфолк, ее дядя — кому еще знать.

Два часа, потом три; на душе странная легкость от мысли, что не надо ложиться, потому что лечь негде. Незачем собираться домой: у него не осталось ни дома, ни семьи. Куда лучше пить с Кавендишем в уголке огромного зала, дрожа от холода, усталости и неуверенности в завтрашнем дне, чем думать о своих утратах.

— Завтра, — объявляет он, — приедут из Лондо-

на мои клерки, и мы попытаемся выяснить, что у милорда осталось. Задача непростая, потому что все бумаги изъяты. Кредиторы остановят платежи, как только узнают о случившемся. Правда, французский король платит кардиналу пенсион и, насколько я помню, сильно задолжал. Возможно, Франциск захочет прислать его милости мешок с золотом под обещание будущих услуг. А вы… вы можете порыскать по округе.

Утром, чуть свет, Кавендиш — осунувшийся, с запавшими глазами — садится на лошадь.

— Раздобудьте нам хоть что-нибудь. Во всем королевстве едва ли найдется человек, не обязанный милорду кардиналу хоть чем-либо.

Конец октября, солнце — монетка, едва подброшенная над горизонтом.

— Не давайте ему унывать, — просит Кавендиш. — Говорите с ним. Напоминайте о словах Гарри Норриса.

— Езжайте. Если увидите угли, на которых зажарили святого Лаврентия, прихватите их с собой — они тут пригодятся.

— Не надо, — умоляет Кавендиш. После вчерашнего Джордж вполне готов к шуткам насчет святых мучеников, но с похмелья больно смеяться. А не смеяться тоже больно. Лошадь перебирает

копытами. Джордж роняет голову, в глазах — растерянность.

— Как до такого могло дойти? Милорд кардинал на коленях в грязи. Как это случилось, ради всего святого?

Кромвель говорит:

— Шафран. Изюм. Яблоки. И кошек. Раздобудьте кошек, больших и голодных. Я не знаю, Джордж, откуда они берутся? О, погодите! Не сможем ли мы достать куропаток?

Если будут куропатки, их можно разделать, и грудки обжарить прямо за столом. Нужно, чтобы все готовили под нашим присмотром; и тогда, если мы постараемся, милорда кардинала не отравят.

II Потаенная история Британии

1521–1529

Давным-давно, в незапамятные времена, правил в Греции царь, у которого было тридцать три дочери. Сестры взбунтовались и убили своих мужей. Горюя, что породил таких непокорных дочерей, но не желая губить собственную плоть и кровь, царь посадил их на корабль без руля и доверил морским волнам.

Еды на корабле было на полгода. К концу этого срока течения и ветра унесли царевен за пределы известных земель и прибили к острову, окутанному туманом. Он не имел названия, и старшая из сестер-убийц дала ему свое имя: Альбина.

За полгода царевны изголодались по любовным утехам, однако на острове не было людей, только демоны.

Тридцать три царевны сошлись с демонами и породили великанов, которые, в свой черед, переженились на собственных матерях. Их потомство заселило весь остров. У них не было священников, не было церквей и законов. Не умели они и вести счет годам.

Через восемь столетий троянец Брут положил конец правлению великанов.

Брут, праправнук Энея, появился на свет в Италии. Мать его не пережила родов, отца он случайно застрелил на охоте. Брут бежал в Грецию, где стал вождем у троянцев, живших там в рабстве. Вместе они отправились на север; ветер и течения прибили их к тому же острову, куда столетьями раньше вынесло царевен. Здесь беглецам пришлось вступить в бой с великанами, возглавляемыми Гогмагогом. Троянцы одержали победу и сбросили Гогмагога в море.[14]

Откуда ни посмотри, все начинается с кровопролития. Брут и его потомки правили островом до прихода римлян. Прежде чем стать городом Луда,[15] Лондон звался Новой Троей. А мы были троянцами.

Некоторые утверждают, что Тюдоры вписаны в эту кровавую и демоническую историю; они

---

[14] Примечания Ольги Дмитриевой: 14

Здесь изложена авторитетная в глазах англичан того времени теория, согласно которой Британия была заселена выходцами из Трои, покинувшими город после его падения, потомками царевича Брута. Широкой популярности этого этногенетического мифа весьма способствовали труды Гальфрида Монмутского.

[15] Примечания Ольги Дмитриевой: 15

Луд, Луг — в кельтской мифологии покровитель ремесел, искусств и торговли. В средние века считался особым покровителем города Лондона.

происходят от Брута по линии Константина, чья мать, святая Елена, была дочерью бриттского вождя.

Артур, верховный король Британии, приходился Константину внуком. Он был женат на женщинах по имени Гвиневера числом от одной до трех и похоронен в Гластонбери, но на самом деле не умер и однажды вернется.

В лето тысяча четыреста восемьдесят шестое родился его благословенный потомок, принц Артур Английский, старший сын Генриха — первого короля из династии Тюдоров. Этот Артур женился на арагонской принцессе Екатерине, умер в пятнадцать лет и похоронен в Вустерском соборе. Будь он жив, он бы сейчас правил Англией. Его младший брат Генрих был бы, вероятно, архиепископом Кентерберийским и не домогался (по крайней мере, мы благочестиво в это верим) женщины, о которой кардинал не слышал ничего хорошего; женщины, на которую его милости стоило обратить внимание задолго до прихода разгневанных герцогов — и в чью историю ему следовало бы хорошенько вникнуть, не дожидаясь королевской опалы.

За каждой историей — другая история.

Упомянутая дама появилась при дворе на Рож-

дество 1521 года и танцевала в желтом платье. Ей было… дай Бог памяти… лет двадцать? Дочь дипломата Томаса Болейна, она росла при бургундском дворе в Мехелене и Брюсселе, затем в свите королевы Клод разъезжала по дивным замкам Луары, потому и на родном языке говорит с едва уловимым акцентом, вставляя французские словечки, когда делает вид, будто не может вспомнить английского. На Масленицу она танцует в придворном спектакле. Дамы наряжены Добродетелями, и ей досталась роль Упорства, которую она исполняет с большим изяществом, но чуть торопливо; на губах блуждает самодовольная улыбка, в чертах сквозит неприступность. С тех пор за ней увивается много захудалых джентльменов и один отнюдь не захудалый. Пополз слушок, будто она выходит замуж за Гарри Перси, наследника герцога Нортумберлендского.

Кардинал вызывает к себе ее отца.

— Сэр Томас Болейн, побеседуйте с вашей дочерью, или я с ней побеседую. Мы привезли ее из Франции, чтобы выдать замуж в Ирландию, за наследника Батлеров.[16] Почему она медлит?

— Батлеры… — начинает сэр Томас.

---

[16] Примечания Ольги Дмитриевой: 16

Батлеры — ирландское аристократическое семейство, носители титула графов Ормондов.

— Да? Так что Батлеры? Если дело за ними, я разберусь. А хочу я знать вот что: это по вашей указке она связалась с тем глупым мальчишкой? Поскольку, сэр Томас, позвольте мне сказать со всей откровенностью: я такого не потерплю. Король такого не потерпит. Шашням следует немедленно положить конец.

— Последние несколько месяцев я почти не бывал в Англии. Вашей милости не следует думать, будто я здесь как-то замешан.

— Мне лучше известно, что мне следует думать. Так больше вам сказать нечего? Кроме того, что вы не способны приглядеть за собственными детьми?

Сэр Томас усмехается и разводит руками, намереваясь отпустить замечание про нынешнюю молодежь, но кардинал не дает ему открыть рот. Кардинал подозревает — и высказывает свои подозрения вслух, — что юной особе не по душе скудная обстановка Килкенни и не по нраву редкие увеселения, доступные в тех краях, если раз в сезон отправиться по ужасной дороге в Дублин.

— Кто это? — спрашивает Болейн. — Там, в углу?

Кардинал отмахивается.

— Один из моих стряпчих.

— Пусть уйдет.

Кардинал вздыхает.

— Он записывает наш разговор?

— Томас, вы записываете? — спрашивает кардинал. — Если да, то перестаньте, пожалуйста.

Половину мужчин в Англии зовут Томасами. Позже Болейн не сумеет вспомнить наверняка, действительно ли это был он.

— Послушайте, милорд… — Дипломат использует весь богатейший диапазон своего голоса, сейчас регистр — прямодушие, улыбка словно говорит: ну же, Вулси, мы оба с вами люди взрослые, светские, нам ни к чему друг перед другом притворяться. — Они молоды. — Движение руки, долженствующее подчеркнуть искренность. — Молодому человеку она приглянулась. Ничего удивительного. Мне пришлось с ней поговорить. Она все поняла. Она знает свое место.

— Вот и хорошо, — говорит кардинал, — потому что ее место внизу. Я о родовитости, а не о том, что бывает теплой ночью на сеновале.

— Молодой человек не принял отказа. Его хотят женить на Мэри Тэлбот, но… — Болейн сопровождает свои слова беспечным смешком, — молодой человек не хочет. Молодой человек считает, что вправе сам выбрать себе жену…

— Выбрать жену! — взрывается кардинал. — В жизни не слышал ничего подобного! Он что, пастух или землепашец? Ему предстоит оборонять наш север. Либо он осознает свою ответственность, либо простится с наследством. Дочь Шрусбери — самая подходящая для него партия, я сам ее выбрал, а король одобрил предстоящий союз. И уверяю вас, граф Шрусбери не станет смотреть сквозь пальцы на шутовские выходки дочкиного жениха.

— Затруднение в том… — Болейн выдерживает дипломатическую паузу, — что Гарри Перси и моя дочь, кажется, зашли слишком далеко.

— Что? — восклицает кардинал. — Вы хотите сказать, мы все-таки говорим о сеновале в теплую ночь?

Кромвель наблюдает из темного угла и думает: Болейн феноменально хладнокровен.

— Насколько я понял сих слов, они обручились перед свидетелями. И как это теперь отменить?

Кардинал грохает кулаком по столу.

— Я вам объясню, как! Я вызову его отца с границы, и если блудный сын не послушается родителя, не видать ему наследства, как своих блудных ушей. У графа есть другие сыновья, получше. А вы, если не хотите, чтобы Батлер отказался от

вашей дочки и она осталась у вас на шее старой девой, забудьте и думать про всякие обручения и свидетелей. Знаю я этих свидетелей — когда я за ними пошлю, они все попрячутся. Так что я больше не желаю об этом слышать. Обручение. Свидетели. Контракты. Силы небесные!

Болейн по-прежнему улыбается. Чтобы сохранять улыбку на лице, требуется усилие каждой мышцы крепкого, жилистого тела.

— Я не спрашиваю, — безжалостно продолжает кардинал, — советовались ли вы по этому поводу со своими родичами Говардами. Мне не хочется думать, что вы затеяли вашу авантюру с их одобрения. Меня бы очень огорчило, если бы выяснилось, что герцог Норфолк ее одобрил. Очень, очень огорчило. Так что не рассказывайте мне, ладно? Идите к родичам и попросите дать вам на сей раз *добрый* совет. Отправьте дочь в Ирландию, пока Батлеры не прослышали, что она — порченый товар. Я не стал бы такого говорить, но придворным сплетникам не укажешь.

На лице у сэра Томаса горят алые пятна.

— Вы закончили, милорд кардинал?

— Да. Ступайте.

Болейн поворачивается в вихре темного шелка. Глаза блестят — неужели в них слезы гнева? В

комнате темно, но он, Томас Кромвель, очень зорок.

— Ах да, минуточку, сэр Томас. — Слова кардинала настигают и, как аркан, разворачивают жертву. — Так вот, сэр Томас, не забывайте свою родословную. Семейство Перси — одно из знатнейших в стране. Вам, конечно, очень повезло взять жену из Говардов, но ведь Болейны, если не ошибаюсь, раньше занимались торговлей? Ваш предок был лордом-мэром Лондона, не так ли? Или я спутал ваш род с более именитыми Болейнами?

Красные пятна исчезли с лица сэра Томаса; сейчас оно бледно, словно дипломат от гнева вот-вот лишится чувств. Покидая комнату, сэр Томас шепчет: «Сын мясника», а проходя мимо стряпчего — который сидит, сложив тяжелые руки на столе, — бросает: «Пес мясника».

Дверь хлопает.

Кардинал говорит:

— Выходи, пес.

Его милость смеется, подперев голову руками.

— Смотрите и учитесь, Томас. Вам не исправить свою родословную — а видит Бог, она еще постыднее моей. Трюк в том, чтобы напоминать им об их же собственных мерках. Придумали правила

— не обижайтесь, когда я строже других требую эти правила соблюдать. Перси выше Болейнов. И пусть не воображает о себе лишнего!

— Разумно ли злить людей?

— Конечно нет. Однако я устаю от трудов, и мне надо иногда позабавиться. — Кардинал смотрит на него ласково, и это наводит на подозрение, что следующая забава сегодняшнего вечера (после того как Болейн изорван в клочья и брошен на землю, словно апельсиновая кожура) — наставительная беседа с Томасом Кромвелем. — К кому следует проявлять почтение? К Перси, Стаффордам, Говардам, Тэлботам, да. Если уж дразнить их, то берите палку подлиннее. А Болейн… в фаворе у короля, да и вообще способный малый. Вот почему я вскрываю все письма сэра Томаса вот уже много лет.

— В таком случае милорду известно… о нет, простите, вам такое слушать негоже.

— Что? — спрашивает кардинал.

— Всего лишь сплетни. Я бы не хотел вводить вашу милость в заблуждение.

— Нельзя говорить и не говорить. Выкладывайте.

— Да просто женщины болтают. Мастерицы. Жены суконщиков. — Он ждет, улыбаясь. — Я

уверен, вашей милости не до бабских пересудов.

Кардинал со смехом встает из кресла, тень прыгает по стене. Рука стремительно тянется вперед, вседосягающая, словно десница Божья.

Однако когда Бог сжимает пальцы в кулак, они хватают воздух. Человек, только что стоявший напротив, теперь на другом конце комнаты, у стены.

Тень колышется и замирает. Кардинал неподвижен. Стена ловит ритм его дыхания. Кардинал склоняет голову (волосы в свете камина окружены нимбом), смотрит на пустой кулак. Растопыривает исполинскую, в отблесках пламени пятерню. Упирается ею в стол, и она исчезает, сливается с камчатной скатертью. Лицо кардинала в тени.

Он — Томас, а также Томос, Томмазо и Томаэс Кромвель — вбирает все свои прежние образы в нынешнее тело и осторожно возвращается на прежнее место. Его единственная тень скользит по стене — гость, неуверенный, что ему рады. Который из Томасов увидел нацеленный в грудь удар? В такие мгновения тело действует по памяти. Ты отпрыгиваешь, пригибаешься, бежишь; или прошлое выбрасывает твой кулак без посредства воли. А если бы у тебя в руке был нож? Так и

происходят убийства.

Он что-то говорит, кардинал что-то говорит. Оба умолкают. Кардинал опускается в кресло. Томас мгновение медлит, потом тоже садится. Его милость произносит:

— Я и впрямь хотел узнать лондонские сплетни, но не собирался их из вас выбивать.

Кардинал некоторое время изучает бумаги на столе, давая неловкости пройти, а когда заговаривает, то уже совсем другим тоном — беспечным, словно рассказывает после ужина забавный анекдот:

— У моего отца был знакомый… точнее, покупатель… с очень красным лицом. Вот таким. — Трогает для иллюстрации рукав. — Ревелл его звали, Майлс Ревелл. — Рука снова ложится на темную камчатную скатерть. — Добропорядочный горожанин, любитель пропустить стаканчик рейнского. Только я почему-то вообразил, будто он пьет кровь… может, нянька мне сказала, может, кто-то из детей. Когда отцовские подмастерья узнали… по моей глупости, конечно, потому что я плакал от страха… они завели обыкновение кричать: «Ревелл идет, сейчас будет пить кровь, беги, Томас Вулси, спасайся!» Я убегал, будто за мной черт гонится, на другой конец

рынка. Странно, что не угодил под телегу. — Кардинал берет со стола восковую печать, вертит, кладет на место. — Даже и теперь, когда я вижу краснолицего человека — например, герцога Суффолка, — мне хочется плакать. — Пауза. — Итак, Томас… неужто клирик не может встать без того, чтобы его сочли кровопийцей? — Снова берет печать, вертит в руках, отводит взгляд, продолжает, явно забавляясь. — Пугаетесь ли вы епископов? А приходских священников? Дрожите ли при виде настоятеля?

Он говорит:

— Как это называется? Я не знаю английского слова. *Эсток…*

Может быть, и нет английского слова для узкого клинка, который вгоняют под ребра. Кардинал спрашивает:

— И это было?..

Это было двадцать лет назад. Урок усвоен накрепко. Ночь, лед, застывшее сердце Европы; лес, озеро, серебристое под зимними звездами; комната, свет камина, скользнувшая по стене тень. Он не видел убийцу, только движение тени.

— И все равно, — продолжает кардинал. — Я не встречался с мастером Ревеллом сорок лет. Он, небось, давно в могиле. А тот человек?.. Тоже

давно мертв?

Деликатнейший из всех мыслимых способов полюбопытствовать у собеседника, есть ли за ним убийство.

— Да, милорд. Горит в аду, если вашей милости угодно.

Вулси улыбается — не из-за упоминания ада, а из-за учтивого признания широты своей власти.

— Значит, всякий, поднявший руку на юного Кромвеля, повинен геенне огненной?

— Вы бы его видели, милорд. Он был так грязен, что в чистилище его бы не пустили. Кровь Агнца, как нас учат, спасает грешников, но даже она не отмыла бы того малого дочиста.

— Я за то, чтобы в мире было как можно меньше грязи. — Вулси смотрит печально. — Вы ведь исповедались?

— Это было давно.

— Вы, конечно, исповедались?

— Милорд кардинал, я был солдатом.

— Солдаты чают Царствия Небесного.

Он смотрит Вулси в лицо. Поди пойми, во что кардинал верит.

— Мы все его чаем.

Как там в считалочке? Солдат, моряк, король, босяк.

— Итак, вы в юности были не сахар, — говорит кардинал. — *Ça ne fait rien.*[17] А тот грязный малый, который на вас напал… он ведь не был духовным лицом?

Улыбка.

— Я не спрашивал.

— Да, странные шутки выкидывает с нами память. Томас, я постараюсь в вашем присутствии не совершать резких движений, и все у нас будет хорошо.

И все же Вулси продолжает его разглядывать: удивление еще не улеглось. Они знакомы совсем недавно, и кардинал только-только — быть может, как раз сегодня вечером — взялся придумывать ему характер. В грядущие годы Вулси будет говорить: «Я часто сомневаюсь, так ли хорош монашеский идеал, особенно для молодых. Взять хотя бы моего слугу Кромвеля — он всю юность провел в тиши, почти исключительно за молитвой, постом и чтением Отцов Церкви. Потому-то теперь он такой буйный».

А когда собеседники, смутно припоминая человека исключительной сдержанности, удивятся: «Ваш слуга Кромвель? Неужто?» — кардинал

---

[17] Примечания Ольги Дмитриевой: 17
Неважно *(фр.)*.

будет отвечать, качая головой: «Разумеется, я пытаюсь загладить его выходки. Когда он бьет окна, я приглашаю стекольщика. А что до девушек, попавших в беду… я плачу бедняжкам из своего кармана».

Однако сейчас кардинал занят другим. Большие руки сцеплены, будто пытаются задержать уходящий вечер.

— Итак, Томас, вы собирались пересказать мне сплетни.

— Из того, сколько шелка заказывает король у торговцев тканями, женщины делают выводы, что у его величества новая… — Он не заканчивает фразу. — Милорд, как вы называете шлюху, если она — дочь рыцаря?

— Ммм… — задумчиво тянет кардинал, вникая в проблему. — В лицо — «миледи». За глаза… а как ее имя? Что за рыцарь?

Он кивает на то место, где десять минут назад стоял Болейн.

Кардинал подается вперед.

— Почему вы не сказали сразу?

— Как я мог?

Кардинал кивает, соглашаясь, что вклиниться с такой щекотливой темой в разговор было бы непросто.

— Но это не та Болейн, которая с Гарри Перси. Ее сестра.

— Ясно. — Кардинал снова откидывается в кресле. — Конечно.

Мария Болейн — миниатюрная блондиночка, по слухам, переспавшая со всем французским двором. Теперь она при английском дворе: всем улыбается, со всеми мила, не то что вечно хмурая младшая сестрица, ходящая за нею, как тень.

— Конечно, я наблюдал, на ком его величество задерживает взгляд, — говорит кардинал. Кивает самому себе. — Так значит, теперь они близки? Знает ли королева? Или вы не в курсе?

Кромвель утвердительно склоняет голову.

— Екатерина — святая, — со вздохом произносит кардинал. — Впрочем, будь я королевой и святой, я бы, наверное, не тревожился из-за Марии Болейн. Подарки, значит? Не слишком роскошные, говорите? В таком случае, мне ее жаль. Ей надо спешить извлечь из расположения монарха хоть какие-то выгоды, пока он не остыл. Не то чтобы у короля сейчас было так много интрижек, но говорят… говорят, когда его величество был молод и еще не король, именно супруга Болейна сделала его из девственника мужчиной.

— Элизабет Болейн? — Он удивлен, что случа-

ется не так часто. — Мать нынешней?

— Она самая. Возможно, король не стремится к разнообразию. Впрочем, я никогда не верил этому слуху… Будь мы по ту сторону… — он указывает в направлении Дувра, — мы бы и не пытались считать женщин короля. Рассказывают, мой друг Франциск однажды подошел к даме, с которой перед тем провел ночь, поцеловал ей ручку, спросил, как ее зовут, и выразил надежду, что они познакомятся поближе. — Кардинал встряхивает головой, довольный, что история произвела впечатление. — Впрочем, из-за Марии Болейн неприятностей не будет. Она покладистая. Король мог выбрать и похуже.

— Однако семейство захочет что-нибудь за это получить. Что доставалось прежним?

— Возможность услужить государю. — Кардинал умолкает и что-то записывает — видимо, заметку для памяти: «Узнать, чего может добиться Болейн, если вежливо попросит». Поднимает голову: — Так мне в беседе с Томасом Болейном следовало быть… как бы это сказать?.. немного помягче?

— Не думаю, что милорд мог вести себя еще ласковее. Я видел, с каким лицом сэр Томас отсюда вышел. Воплощение блаженного довольства.

— Томас, впредь, если услышите любые лондонские слухи… — Кардинал трогает камчатную скатерть, — сразу сообщайте мне, от кого бы они ни исходили. Не тревожьтесь, достойны ли они моих ушей — тревожиться буду я. А я обещаю никогда на вас не нападать. Честное слово.

— Я уже забыл.

— Сомневаюсь, учитывая, что вы помнили урок все эти годы. — Кардинал откидывается в кресле, произносит задумчиво: — По крайней мере, она замужем. — Имеется в виду Мария Болейн. — Так что если она понесет, король может признать ребенка или не признать, как захочет. У него уже сын от дочери Джона Блаунта, а лишние бастарды его величеству ни к чему.

Многочисленные побочные дети — помеха монарху, как учит история и пример соседних народов. Матери соперничают за влияние, интригуют, чтобы сделать своих детей законными наследниками. Сын, которого Генрих признал, зовется Генри Фицрой. Это красивый белокурый мальчуган, точная копия родителя. Отец сделал его герцогом Сомерсетским и герцогом Ричмондским; мальчик, не достигший и десяти лет, уже сейчас знатнее всех дворян Англии.

Королева Екатерина, все сыновья которой

умерли, переносит это стоически; другими словами, она страдает.

Выходя от кардинала, он мучительно злится. К себе давнишнему — полумертвому мальчишке на мощеном дворе в Патни — у него жалости нет, только легкая досада: отчего тот не встает? К юнцу, который по-прежнему готов был лезть в драку или, по крайней мере, оказывался в таких местах, где дерутся, он испытывает что-то вроде презрения с примесью легкой тревоги. Таков мир: нож во тьме, мельканье, замечаемое краем глаза, череда предостережений, вошедших в плоть. Он напугал Вулси, а это не дело. Его работа, как он ее для себя определил, — снабжать кардинала сведениями, умерять кардинальский нрав, подыгрывать шуткам. Просто все неудачно сошлось. Если бы кардинал не двигался так быстро! Если бы он сам не был как на иголках из-за того, что не сумел вовремя подать знак насчет Болейна. Беда Англии, думает он, в том, что у нас слишком мало жестов. Надо выработать условный сигнал: «Полегче, ваш государь кувыркается с дочерью этого человека!» Странно, что итальянцы не придумали такого жеста. А может, придумали, просто он не знает.

В 1529 году, когда милорда кардинала постигнет королевская немилость, он будет вспоминать тот вечер.

Они в Ишере, ночь без огня и света, великий человек лежит в своей (вероятно, сырой) постели, рядом лишь один товарищ по несчастью — Джордж Кавендиш. Что было потом, спрашивает он Джорджа, с Гарри Перси и Анной Болейн?

История известна ему лишь в сухом пересказе кардинала. Джордж говорит:

— Я вам расскажу, как это было. Сейчас. Встаньте, мастер Кромвель.

Он встает.

— Чуть левее. Кем вы хотите быть? Милордом кардиналом или юным наследником?

— А, так мы разыгрываем пьесу? Наследником. Кардинала мне не потянуть.

Кавендиш просит его чуть повернуться от окна, за которым ночь и голые деревья — единственные зрители пьесы. Он смотрит в темную комнату, как если бы и впрямь различал призрачные фигуры из прошлого.

— Можете сделать взволнованное лицо? — спрашивает Кавендиш. — Как будто вы приготовили дерзкую речь, но не смеете открыть рот? Нет-нет, не так. Вы молоды, нескладны, вы

смотрите в пол и покраснели до ушей. — Вздох. — Думаю, вы никогда в жизни не краснели, мастер Кромвель. Вот гляньте. — Кавендиш мягко берет его за плечи. — Давайте поменяемся ролями. Сядьте вот сюда. Вы — кардинал.

И тут же Джордж преображается: стискивает пальцы, переступает с ноги на ногу, только что не плачет — становится мямлящим Гарри Перси, влюбленным юнцом.

— Почему я не могу на ней жениться? Пусть она простая девушка…

— Простая? — переспрашивает он. — Девушка?

Кавендиш гневно сверкает глазами.

— Кардинал бы в жизни такого не сказал!

— Тогда бы не сказал, согласен.

— Теперь я снова Гарри Перси. «Пусть она простая девушка, а ее отец — всего лишь рыцарь, у них хороший род»…

— Она ведь доводится королю кем-то вроде кузины?

— Кем-то вроде кузины?! — Кавендиш от возмущения выходит из роли. — Перед милордом лежала бы подробнейшая родословная, составленная герольдмейстерами!

— Так что мне делать?

— Просто играть! Итак, ее предки не такого уж

низкого рода, упорствует юный Перси. Но чем больше мальчишка спорит, тем больше сердится кардинал. Гарри говорит, мы заключили брачный договор, это все равно что венчание…

— А что, правда? В смысле, они и впрямь заключили брачный договор?

— Да, в том-то вся суть. Самый что ни на есть законный.

— И что ответил милорд кардинал?

— Он ответил: милый мой, что я слышу? Если вы и впрямь заключили какую-то мнимую сделку, о ней придется доложить королю. Я пошлю за вашим отцом, и мы вместе аннулируем эту блажь.

— И что сказал Гарри Перси?

— Почти ничего. Повесил голову.

— Интересно, девушка его хоть сколько-нибудь уважала?

— Ничуть. Ей нравился титул.

— Ясно.

— Итак, когда с севера приехал отец… Вы будете графом или юношей?

— Юношей. Теперь я знаю, как себя вести.

Он встает и делает пристыженное лицо. Судя по всему, граф с кардиналом долго разговаривали, потом выпили по бокалу вина. Видимо, довольно

крепкого. Граф некоторое время расхаживал по галерее, потом сел, говорит Кавендиш, на скамью, где лакеи отдыхают между переменами блюд. Потребовал к себе наследника и распек при слугах.

— «Сэр, — говорит Кавендиш, — вы всегда были гордым, заносчивым, высокомерным и крайне расточительным мотом». Неплохое начало, а?

— Мне нравится, как вы все воспроизводите дословно, — говорит он. — Вы тогда же и записали? Или позволили себе долю художественного вымысла?

Кавендиш смущен.

— Разумеется, никто не может тягаться с вами памятливостью, мастер Кромвель. Милорд кардинал спрашивает что-нибудь по счетам, и вы сразу называете цифры.

— Может, я выдумываю их на ходу.

— Ну уж нет! — возмущается Кавендиш. — Вы бы так долго не продержались.

— Это мнемоническая система. Я научился ей в Италии.

— Многие люди, в этом доме и в других, немало бы отдали, чтобы узнать все, чему вы научились в Италии.

Он кивает. Конечно, отдали бы.

— Так на чем мы остановились? Гарри Перси,

по вашим словам практически женатый на леди Анне Болейн, стоит перед отцом, и тот говорит…

— Что если неблагодарный сын унаследует титул, это погубит их знатный род. Что Гарри станет последним графом Нортумберлендом. «Благодарение небесам, — говорит он, — у меня довольно и других сыновей». Граф развернулся и вышел. Сын остался в слезах. Кардинал все-таки женил его на Мэри Тэлбот, и теперь их жизнь тосклива, как утро Пепельной среды. А леди Анна сказала — ну и смеялись же мы тогда! — сказала, что если сможет устроить кардиналу какую-нибудь неприятность, то непременно устроит. Представляете, как мы хохотали? Какая-то, простите за выражение, замухрышка, дочь рыцаря, угрожает милорду кардиналу! Она, видите ли, обижена, что ей не дали выйти замуж за графа! Но мы не знали, что она будет возвышаться и возвышаться.

Он улыбается.

— Так скажите мне, — просит Кавендиш, — где мы просчитались? Погодите, я сам скажу. Мы все — кардинал, юный Гарри Перси, его отец, вы, я — не понимали главного. Когда король говорил, что мистрис Анна не должна выходить за Нортумберленда, он уже тогда присмотрел ее для себя.

— Был со старшей, а думал про младшую?

— Да-да!

— Занятно, — говорит он, — как так получается: все думают, будто знают королевские желания, а его величество на каждом шагу встречает препоны?

Препоны и досадные разочарования. Леди Анна, которую Генрих выбрал забавой на время, пока будет избавляться от старой жены и ждать приезда новой, не допускает короля до себя. Как она смеет? Все в недоумении.

Кавендиш расстроен, что они не продолжают пьесу.

— Вы, должно быть, устали.

— Нет, просто задумался. Как вышло, что милорд кардинал… — Ему хочется сказать «дал маху», но это чересчур непочтительно. — Так что было дальше?

В мае 1527 года кардинал с тяжелым сердцем открывает судебное заседание, чтобы рассмотреть законность королевского брака. Суд тайный, королеву не пригласили, нет даже ее представителей; считается, будто она ничего не знает, зато вся Европа в курсе. Генриху указано прибыть лично и предъявить разрешение на брак с вдовой брата. Король уверен, что суд найдет в документе какие-нибудь огрехи. Кардинал готов объявить,

что законность брака под сомнением. Однако, объясняет его милость королю, легатский суд может сделать лишь этот предварительный шаг, поскольку Екатерина, без сомнения, будет апеллировать к Риму.

Насколько известно, Екатерина и король шесть раз ждали наследника.

— Я помню зимнее дитя, — говорит Вулси. — Вы, Томас, как я понимаю, тогда были не в Англии. Схватки начались преждевременно, точно на переломе года, и принц родился недоношенным. Ему было меньше часа, когда я взял его на руки. В комнате ярко пылал камин, за окном валил снег, к трем часам стемнело, а к утру все следы животных и птиц замело, а с ними остались в прошлом и наши горести. Мы называли его Новогодним принцем. Говорили, что он будет самым богатым, самым красивым, самым обожаемым. Весь Лондон ликовал, на улицах жгли костры… Принц прожил пятьдесят два дня, и я считал каждый. Думаю, выживи он, наш король был бы… нет, не лучше, потому что лучшего государя просто невозможно вообразить… но более в мире с Богом.

Следующий ребенок — мальчик — умер через час после рождения. Через год, в 1516 году, роди-

лась девочка, принцесса Мария, маленькая, но здоровая. На следующий год у королевы случился выкидыш (снова мальчик). Еще одна маленькая принцесса прожила всего несколько дней; ее звали бы Елизаветой, в честь матери короля.

Иногда, говорит кардинал, король вспоминает свою мать, Елизавету Плантагенет, и в глазах его величества стоят слезы. Она, как вы знаете, отличалась редкой красотой и с удивительной кротостью переносила все ниспосланные Богом несчастья. У них с прежним королем было много детей; некоторые умерли. Но все же, говорит король, мой брат Артур родился у батюшки с матушкой в первый же год, а вскоре появился и второй сын — я. Так почему у меня после двадцати лет брака лишь одна слабенькая дочь, которую может погубить любой сквозняк?

К тому времени они, прожившие столько лет в супружестве, раздавлены сознанием греха. Быть может, говорят некоторые, развод и впрямь будет избавлением для обоих? «Вряд ли Екатерина так думает, — говорит кардинал. — Если у королевы есть на совести грех, поверьте мне, она его отмолит. На это уйдет еще двадцать лет».

В чем я провинился? — спрашивает кардинала король. В чем я провинился, в чем она провини-

лась, в чем провинились мы оба? Кардинал не знает, что ответить, хоть и сочувствует добрейшему государю всем сердцем. Отвечать нечего, а в самом вопросе есть доля неискренности. Кардинал думает (хотя признается в этом лишь своему поверенному, дома, сглазу на глаз), что ни один здравомыслящий человек не может верить в столь прямолинейно-мстительного Бога, а король в остальном мыслит вполне здраво.

— Давайте посмотрим на примеры, — говорит кардинал. — Возьмите Джона Колета, настоятеля собора святого Павла, видного ученого-богослова. Все его братья и сестры — числом двадцать один — умерли в младенчестве. Можно было бы подумать, что сэр Генри Колет с супругой — неслыханные грешники, поношение всего христианского мира, коли Господь их так сурово покарал. Однако сэр Генри был лордом-мэром Лондона…

— Дважды.

— …и нажил весьма значительное состояние, то есть ничуть не обойден Божьими милостями, а, напротив, явно снискал благоволение в очах Всевышнего.

Не рука Господня убивает наших детей, а болезни, голод и войны; крысиные укусы и миазмы от

чумных ям; недород, как в этом году и прошлом; нерадение кормилиц. Он спрашивает у Вулси:

— Сколько сейчас королеве?

— Будет сорок два, если не ошибаюсь.

— И король утверждает, что она больше не может иметь детей? Моя мать родила меня в пятьдесят два.

Кардинал спрашивает: «Вы уверены?» и заливается смехом — веселым, беспечным, наводящим на мысль, что хорошо быть князем церкви.

— Во всяком случае, около того. За пятьдесят.

— И она не умерла родами? Что ж, поздравляю. Но не рассказывайте об этом никому, ладно?

Живой итог беременностей королевы — крохотная Мария, не целая принцесса, а скорее две трети. Он видел ее, когда был при дворе с кардиналом, и подумал, что Мария ростом с его Энн, которая года на два-три младше.

Энн Кромвель — крепенькая девчушка. Она могла бы съесть принцессу на завтрак. Как Бог апостола Павла. Она не смотрит на лица, и ее глаза, маленькие и цепкие, как у отца, холодно скользят по тем, кто ей перечит. В семье любят шутить о том, какие порядки заведет в Лондоне Энн, когда станет лордом-мэром. Мария Тюдор — умненькая кукла, бледная и рыжеволосая;

она говорит важнее и рассудительнее, чем иной епископ. Ей было всего десять, когда король отправил ее в Ладлоу — держать там двор в качестве принцессы Уэльской. Туда, в Ладлоу, Екатерина приехала после венчания, там скончался ее муж Артур, там она сама едва не умерла от английской потовой лихорадки и лежала, ослабевшая и всеми позабытая, пока супруга старого короля за свой счет не распорядилась доставить ее в Лондон на носилках. Екатерина не выказала горя от разлуки с дочерью, как не выказывала многого другого. Она сама — дочь царствующей королевы. Почему бы Марии не править Англией? Екатерина сочла это знаком, что король успокоился по поводу престолонаследия.

Теперь она знает, что ошибалась.

Как только тайные слушания созваны, Екатерина выплескивает все наболевшие обиды. По ее словам, главный виновник — кардинал. «Я вам говорил, — заметил Вулси. — Я вам сказал, что так будет. Заподозрить короля? Нет, такого у нее и в мыслях нет. Король в ее глазах безупречен».

С самого своего возвышения, утверждает королева, Вулси пытался оттеснить ее с законного места доверенной советчицы Генриха. Он делал все, говорит она, чтобы я ничего не знала

о королевских планах и чтобы он, кардинал, единолично всем заправлял. Он не давал мне встречаться с испанским послом. Окружил меня своими шпионами — мои фрейлины передают ему каждое мое слово.

Я никогда не оказывал предпочтения одной стороне, устало говорит кардинал, ни императору, ни французам: я искал только мира. Я не препятствовал ей встречаться с испанским послом, лишь выдвинул очень скромное и разумное требование: чтобы они не беседовали наедине и я знал, какую ложь посол ей нашептывает. Что до фрейлин, это английские дамы, имеющие полное право служить своей государыне; с какой стати, прожив в Англии тридцать лет, окружать себя одними испанками? И как бы я оттеснил ее от короля? Да я только и слышал: «Это надо показать королеве» и «Давайте посоветуемся с Екатериной — прямо сейчас к ней и пойдем». Еще не было женщины, столь внимательной к нуждам своего господина.

Она и сейчас знает королевские нужды, только, впервые в жизни, не хочет до них снизойти.

Должна ли супруга покоряться в том, что лишит ее статуса супруги? Он, Кромвель, восхищается Екатериной. Приятно смотреть, как она плывет

по дворцу, величественная, дородная, затянутая в платья, столь густо ощетинившиеся драгоценными камнями, словно ее туалеты предназначены не для украшения, а для защиты от мечей. Золотисто-каштановые волосы давно потускнели и пронизаны сединой; они выглядывают из-под жесткого чепца, словно крылья скромного воробышка. Под одеждой у королевы — холщовая нижняя рубаха францисканской монахини. Всегда старайтесь выяснить, говорит Вулси, что у людей под одеждой. В юности такие слова его бы удивили: тогда он думал, что у людей под одеждой — тело.

Есть много прецедентов, говорит Вулси, которые могут помочь королю в нынешнем затруднении. Людовику XII разрешили аннулировать первый брак. Если брать ближе, сестра Генриха, Маргарита, развелась со вторым мужем и вышла замуж в третий раз. А близкий друг короля, Чарльз Брэндон, женатый на младшей сестре его величества Марии, расторг брачный договор с первой супругой при обстоятельствах, в которые

лучше не вникать.[18]

Однако это скорее исключения, в целом же церковь не склонна аннулировать браки и объявлять прижитых в них детей незаконнорожденными. Если диспенсация была формально небезупречна, давайте выдадим новую. Так скажет папа Климент, утверждает Вулси.

Когда он так говорит, король начинает кричать. Крики можно перетерпеть, это вопрос привычки. Он, Кромвель, наблюдает, как ведет себя кардинал, когда над головой разражается гроза: с почтительной, чуть грустной полу-улыбкой ждет, пока буря отшумит и наступит затишье. Но сейчас Вулси весь извелся, дожидаясь, пока дочка Болейна — не старшая, уступчивая, а младшая, плоскогрудая — бросит ломаться и удовлетворит короля. Тогда король станет проще смотреть на жизнь и меньше говорить о своей совести — у счастливых любовников другие мысли. Впрочем, некоторые поговаривают, будто Анна ведет с королем торг: хочет быть следующей королевой. Это смешно, говорит Вулси, но король влюблен

---

[18] Примечания Ольги Дмитриевой: 18

Близкий друг Генриха Чарльз Брэндон еще при жизни своей первой жены заключил в Париже в 1515 г. тайный брак с сестрой Генриха VIII Марией, вдовой короля Франции Людовика XII (причем, по ее инициативе). С помощью Генриха ему удалось добиться от римской курии подтверждения законности второго брака.

не на шутку, так что, возможно, не возражает ей в лицо. Он спрашивает, видел ли кардинал перстень с изумрудом, который носит теперь леди Анна; рассказывает, сколько стоил королевский подарок. Кардинал возмущен, расстроен.

После скандала с Гарри Перси Вулси настоял, чтобы Болейн отправил Анну в родовое поместье, но та как-то сумела пробраться назад во дворец, в свиту королевы, и теперь один Бог ведает, где она сегодня и не умчится ли король через полстраны к своей любезной. Кардинал думает, не сделать ли сэру Томасу еще одно внушение, но — даже если не приплетать старые слухи про Генриха и леди Болейн — как сказать человеку, что коли его старшая дочь шлюха, то и младшая пойдет по ее стопам? Как будто дело сэра Томаса — подкладывать их под короля одну за другой?

— Болейн не богат, — замечает он. — С ним можно поладить. Расписать по графам: приход, расход.

— Ах, да, вы мастер практических решений, но мне как служителю церкви негоже своими руками подталкивать монарха к прелюбодейственной связи. — Кардинал вздыхает, перебирает перья на столе, шуршит бумагами. — Томас, если вы когда-нибудь будете… Как бы это сказать?

Он понятия не имеет, к чему клонит кардинал.

— Если вы когда-нибудь будете ближе к королю, когда меня не станет… — Очень трудно говорить о собственном небытии, даже если уже заказал себе надгробие. Вулси не может представить мира без Вулси. — Ладно. Вы знаете, что я предпочел бы видеть вас на службе его величества и не чинил бы вам помех, но затруднение в том…

Патни, имеет в виду кардинал. Непреложный факт. А поскольку он мирянин, никаким церковным титулам не смягчить это обстоятельство, как смягчили они непреложный факт Ипсвича.[19]

— Сумеете ли вы, — говорит Вулси, — относиться к своему монарху с терпением? Когда уже полночь, а он пьет и хохочет с Брэндоном, или поет, а бумаги за день еще не подписаны, и если вы проявляете настойчивость, он отвечает: я иду спать, завтра мы едем на охоту… Если вам доведется ему служить, принимайте его таким, каков он есть, — жизнелюбивым государем. А ему придется принимать вас таким, каков вы есть, —

---

[19] Примечания Ольги Дмитриевой: 19

Имеется в виду низкое происхождение кардинала Вулси, родившегося в Ипсвиче, как полагали современники, в семье мясника и торговца скотом. В настоящее время принято считать, что, возможно, эта версия была пущена в ход его политическими противниками с целью дискредитации кардинала. Роберт Вулси, его отец, мог быть достаточно состоятельным торговцем сукном.

вроде тех коренастых бойцовых псов, которых простолюдины таскают за собой на поводках. Хотя вы и не лишены своеобразного обаяния, Том.

Мысль, что он или кто-то другой займет место Вулси при короле, кажется нелепой: с тем уже успехом Энн Кромвель может стать лордом-мэром Лондона. Впрочем, кто знает. Была ведь Жанна д'Арк; и необязательно все должно заканчиваться костром.

Дома он рассказывает Лиз про бойцового пса. Она соглашается, что сравнение удачно. Про своеобразное обаяние он не упоминает на случай, если кардинал разглядел в нем что-то, невидимое остальным.

Кардинал уже готов закрыть судебные слушания, оставив вопрос для дальнейшего рассмотрения, когда приходят вести из Рима: испано-немецкие войска императора, не получавшие жалованья несколько месяцев, взбунтовались и разорили Святой город. Ландскнехты в награбленных священнических ризах насиловали римских жен и девственниц, валили на землю статуи и монашек, разбивали их головы о мостовую. Простой солдат похитил наконечник копья, пронзившего Спасителя, и закрепил на древке своей пики. Его товарищи вскрыли древние гробницы и раз-

веяли по ветру прах. Воды Тибра переполнены трупами, на берег выбрасывает тела заколотых и задушенных. И самое прискорбное известие — папа захвачен в плен.[20] Поскольку формально войском командует молодой император Карл, который наверняка воспользуется случившимся, в деле об аннуляции королевского брака возникли неодолимые препятствия. Покуда Карл — племянник Екатерины — может диктовать папе свою волю, прошения английского легата вряд ли будут удовлетворены.

Томас Мор говорит, что наемники для забавы жарили младенцев на вертелах. О да, он скажет! — восклицает Томас Кромвель. Послушайте, солдатам не до того. Они слишком заняты грабежом.

Мор носит под одеждой власяницу из конского волоса и бичует себя маленькой плеткой, вроде тех, что в ходу у некоторых монашеских орденов. У Томаса Кромвеля никак не идет из головы, что кто-то ведь изготавливает эти орудия

---

[20] Примечания Ольги Дмитриевой: 20

Отсылка к трагическому эпизоду Итальянских войн — разграблению Рима взбунтовавшимися наемниками императора Карла V, учинившими там кровавую резню, известную как «Sacco di Roma» (6 мая 1527). В ходе этих событий папа Климент VII, состоявший в антиимперской коалиции, был вынужден бежать, а его резиденция — Латеранский дворец, подверглась разграблению. Позднее папа сдался императору.

для ежедневных истязаний. Кто-то расчесывает конский волос на грубые пряди, сплетает их и обрезает покороче, зная, что назначение щетины — впиваться в кожу, вызывая мокнущие болячки. Может, это монахи плетут власяницы, в праведном упоении щелкая ножницами и радостно предвкушая, какую боль причинят неизвестным людям? Или простые селяне долгими зимними вечерами мастерят плетки с вощеными узлами и продают по дюжине? Принимая деньги за честный труд, думают ли они о руках, в которые отдают эти плетки?

Нет надобности самим причинять себе боль, думает он, она и без того нас найдет — и скорее рано, чем поздно. Спросите римских девственниц.

И еще он думает: лучше бы эти люди нашли себе другую работу.

Давайте, говорит кардинал, взглянем на ситуацию со стороны. Его милость не на шутку встревожен: залог европейской стабильности — в независимости папы и от императора, и от Франции. Однако гибкий ум придворного уже изыскивает способы обратить случившееся на пользу Генриху.

Допустим… ибо папа будет ждать, что в нынешних бедственных условиях сохранение порядка в

христианском мире возьму на себя я, — допустим, я пересеку Ла-Манш, ненадолго задержусь в Кале, чтобы успокоить тамошних жителей и пресечь вредные слухи, затем отправлюсь во Францию и проведу переговоры с королем, дальше — в Авиньон, где знают, как принимать папский двор, и где мясники и пекари, сапожники и портные, держатели постоялых дворов и, конечно, шлюхи, ждут пождут. Я приглашу к себе кардиналов, и мы соберем собор для управления делами церкви на то время, пока Климент вынужден терпеть гостеприимство императора. И если среди вопросов, вынесенных на собор, будет и частное дело нашего короля, что в том дурного? Не дожидаться же христианскому государю завершения военных событий в Италии? Почему бы нам не взять правление на себя? Вполне в силах человеческих или ангельских переправить письмо Клименту, пусть и томящемуся в плену, а затем тот же ангел или человек доставит ответ — без сомнения, подтверждающий наши полномочия. А когда, Божьей милостью, — мы все будем с нетерпением ждать этого дня — папа Климент вновь обретет свободу, его святейшество будет благодарен нам за поддержание порядка в Европе, и за такими мелочами, как подписи и печати, дело не станет.

И — оп-ля! — король Англии снова холостяк.

Однако прежде король должен поговорить с Екатериной: не может его величество вечно быть на охоте, пока она ждет, терпеливая и непреклонная, за накрытым на двоих столом в своих личных покоях. В июне 1527 года тщательно выбритый и завитой, высокий и, в известном смысле, еще вполне ладный, одетый в белые шелка Генрих вступает в покои королевы, окутанный ароматом розовой эссенции: ему принадлежат все розы, все летние ночи.

Король говорит тихо, мягко, убедительно, с глубоким раскаянием. Будь он свободен выбирать, из всех женщин он бы выбрал только ее. Отсутствие сыновей не имеет значения; на все Божья воля. Он был бы счастлив обвенчаться с нею заново: на сей раз по закону. Увы, это невозможно. Она была женой его брата. Их брак нарушает Божьи установления.

Все слышат, что отвечает Екатерина. В дряблом теле, удерживаемом шнуровкой и китовым усом, голос, который слышно отсюда до Кале, от Кале до Парижа, от Парижа до Мадрида и Рима. Она не откажется от своего статуса, не откажется от своих прав; оконные стекла дрожат аж в Константинополе.

Что за женщина, замечает Томас Кромвель по-испански, ни к кому не обращаясь.

В середине июня кардинал готовится к поездке на континент. С наступлением тепла в Лондон вернулась потовая лихорадка, и город пустеет. Многие уже слегли, многим чудится, будто они заразились: голова болит, все тело ломит. В мастерских и лавках только и разговоров, что о пилюлях и настоях; на улицах монахи бойко торгуют образками. Лихорадка впервые пришла к нам в 1485 году вместе с войсками первого Генриха Тюдора, и с тех пор каждые несколько лет снимает свой страшный урожай. Она убивает за день. Утром пел, говорят люди, к полудню помер.

Кардинал рад покинуть город, хоть и не может отправиться без свиты, приличествующей князю церкви. Надо убедить Франциска, чтобы тот освободил папу силой оружия, заверить, что английский король готов всячески поддержать французского собрата, но при этом не обещать ни денег, ни войск. Если Господь пошлет попутный ветер, кардинал привезет не только аннуляцию брака, но и договор о дружбе между Англией и Францией — такой договор, что у молодого императора задрожит массивная нижняя челюсть, а из узкого габсбургского глаза выкатится слеза.

Почему же кардинал не весел, расхаживая по своему кабинету в Йоркском дворце? «Так что я получу, Кромвель, за все свои старания? Королеву, которая меня не любит, отошлют прочь, и, если король будет упорствовать в своем безумии, ее место займут Болейны, которые меня тоже не любят: девица, затаившая на меня обиду, отец, давний мой ненавистник, и дядя, Норфолк, чья извечная мечта — увидеть меня мертвым в канаве. Как вы думаете, лихорадка к моему возвращению закончится? Говорят, моровые поветрия насылает Бог, но я не буду притворяться, будто знаю Его Промысел. А вы, пока меня не будет, уезжайте из города».

Он вздыхает: можно подумать, кардинал — единственный его клиент. Нет, не единственный, просто отнимающий больше всего времени. Работая на его милость, он сам оплачивает издержки: свои и тех, кого отправляет по кардинальским делам. Вулси говорит: компенсируйте себе расходы и не забудьте о вознаграждении; говорит без лукавства, ведь то, что хорошо для Томаса Кромвеля, хорошо для Томаса Вулси, и наоборот. Его юридическая практика процветает, он дает деньги в рост и договаривается о крупных займах за границей, получая за это посреднический

процент. Рынок неустойчив: хорошие вести из Италии через день сменяются дурными. Однако как некоторые с первого взгляда оценивают достоинства лошади, так он с первого взгляда оценивает риск. Многие дворяне ему обязаны — не только за посредничество в займах, но и за увеличение доходов с поместий. Дело не в том, чтобы взыскать недоимки с арендаторов; главное — предоставить землевладельцу точную роспись земель, посевов, водных ресурсов, построек; оценить, сколько это все должно приносить, назначить толковых управляющих и одновременно ввести понятную, проверяемую систему учета. Торговцы обращаются к нему за советом, с кем из заграничных партнеров можно иметь дело. Он разбирает арбитражные споры, по большей части коммерческие; его способность вникнуть в факты и вынести быстрое непредвзятое суждение ценится и здесь, и в Антверпене, и в Кале. Если вы с противной стороной согласны хотя бы в том, что не стоит тратить время и деньги на судебную тяжбу, значит, вам к Кромвелю, что обойдется куда дешевле; он часто находит решение, удовлетворяющее обе стороны.

Для него это хорошие дни; каждый день — сражение, в котором можно победить. «По-преж-

нему, как я вижу, служите своему иудейскому богу, — замечает сэр Томас Мор, — я имею в виду, своему идолу Мздоимства». Мор, прославленный на всю Европу ученый, проснувшись, взывает к Господу на латыни, — его же бог вещает стремительным говором рынков; пока Мор бичует себя плеткой, они с Рейфом бегут на Ломбард-стрит узнать сегодняшние обменные курсы. Не то чтобы он и впрямь бегал: старые раны дают о себе знать, и когда он устает, ступня выворачивается внутрь, словно пытаясь направить его назад. Люди перешептываются, что это наследие лета с Чезаре Борджиа. Ему нравится, что он окружен легендой. Но где теперь Чезаре? В могиле.

«Томас Кромвель? — говорят люди. — Вот у кого умище! Вы знаете, что он помнит наизусть весь Новый Завет?» Никто лучше него не разрешит богословский спор и не назовет арендаторам двенадцать убедительных причин, почему они должны платить столько и не пенсом меньше. Никто другой не выпутает вас из тяжбы, которую вы ведете на протяжении вот уже трех поколений, и не уговорит вашу хнычущую дочку выйти за человека, на которого она глядеть не хочет. С женщинами, животными и робкими истцами он мягок, но ваши кредиторы от него плачут. Он

может поддержать разговор о цезарях или раздобыть вам венецианские бокалы по сходной цене. Если уж он открыл рот, никто его не переговорит. Никто другой не сохраняет такую ясную голову, когда рынок обваливается и плачущие люди на улице рвут заемные письма.

— Лиз, — говорит он однажды вечером. — Думаю, через год или два мы будем богаты.

Она вышивает Грегори рубаху — черной ниткой по белому полотну, как у короля, чьи рубахи королева шьет своими руками.

— На месте Екатерины я бы оставлял в них иголки, — говорит он.

Лиз улыбается.

— Нимало не сомневаюсь.

Когда он рассказал ей про встречу короля с Екатериной, Лиз замолчала и нахмурилась. Король убеждал королеву, что до вынесения окончательного решения им следует разъехаться. Быть может, ей лучше удалиться от двора. Екатерина ответила нет, этому не бывать; она обратится к правоведам, а ему самому стоит подыскать себе лучших правоведов, лучших священников; а когда крики улеглись, люди, припавшие ухом к стене, услышали, что Екатерина плачет. Королю были неприятны ее слезы.

— Мужчины говорят, — Лиз тянется за ножницами, — «я не выношу женских слез», так же, как «я не выношу слякоти». Будто слезы льются сами по себе, а мужчины тут ни при чем.

— Но я ведь никогда не заставлял тебя плакать.

— Только от смеха.

Разговор сменяется умиротворенным молчанием. Она вся в вышивании, он думает о том, что делать с деньгами. Он поддерживает двух студентов, не родственников, в Кембридже; благословенна рука дающего. Эти пожертвования можно увеличить…

— Мне надо составить завещание, — произносит он вслух.

Она хватает его за руку.

— Не умирай, Том.

— Господи Боже, да я и не собираюсь!

Он думает: пусть я еще не богат, но я удачлив. Ни Уолтер меня тогда не убил, ни лето с Чезаре, ни лихие люди в темных проулках. Считается, что мужчины хотят передать свои знания сыновьям; он многое бы отдал, чтобы уберечь сына от своих знаний. Откуда у Грегори такой мягкий нрав? Не иначе как молитвами Лиз. Ричард Уильямс, сын Кэт, умен и настойчив. У Кристофера, сына дру-

гой сестры, тоже ясная голова. Но у Томаса есть Рейф Сэдлер, которому он доверяет, как сыну; не то чтобы династия, но, по крайней мере, начало. А тихие минуты, как сейчас, редки: дом все время полон людьми. Приходят те, кто хочет, чтобы их представили кардиналу. Художники в поисках заказчиков. Важные голландские богословы с книгами под мышкой, любекские купцы, длинно излагающие тяжеловесные немецкие шутки. Проезжие музыканты со странными инструментами, шумные представители итальянских банков; алхимики предлагают рецепты, астрологи — благоприятную судьбу; одинокие поляки, торговцы мехами, ищут кого-нибудь, говорящего на их языке; печатники, граверы, переводчики и шифровальщики, поэты, садовые архитекторы, кабалисты и геометры. Где-то они нынче ночью?

— Тсс, — говорит Лиз. — Прислушайся к дому.

В первый миг — ни звука. Затем — потрескивание деревянных панелей. Шуршание гнездящихся в дымоходе птиц. Легкий шелест деревьев за окном. Сонное дыхание детей в соседних комнатах.

— Идем в постель, — говорит он.

Этого король не может сказать жене. Да и женщине, в которую влюблен, тоже.

Тюки упакованы; свита немногим уступает в великолепии той, с которой кардинал семь лет назад прибыл на Поле золотой парчи. Поедут неспешно: Дартфорд, Рочестер, Февершем, три-четыре дня в Кентербери, чтобы вознести молитвы у гробницы Бекета.

Итак, Томас, говорит кардинал, если узнаете, что король добился Анны, напишите мне в тот же день. Я поверю, только если услышу от вас. Как узнаете? Думаю, по его лицу. Что если вы не удостоитесь чести видеть короля? Справедливое возражение. Надо было представить вас ко двору, пока у меня была такая возможность.

— Если король не пресытится ею скоро, — говорит он кардиналу, — я не представляю, что вам делать. Всем известно, что властители не отказывают себе в удовольствиях, но обычно их выбор можно как-то оправдать. Однако что вы можете сказать в защиту дочери Болейна? Что она принесет королю? Ни династического союза. Ни земли. Ни денег. Как вы изобразите ее достойной партией?

Вулси сидит, уперев локти в стол, вдавливает пальцы в закрытые веки. Потом глубоко вздыхает и начинает говорить. Кардинал говорит об Англии.

Вы не поймете Альбион, пока не обратитесь к той поре, когда Альбиона не было и в помине. Ко дням до легионов Цезаря, когда на месте будущего Лондона лежали кости исполинских животных. Вы должны вернуться к эпохе Новой Трои, Нового Иерусалима, к грехам и преступлениям вождей, которые сражались под знаменами Артура и брали за себя женщин, вышедших из моря или из яйца, — женщин с чешуей, плавниками и перьями. Если вспомнить о них, говорит кардинал, брак с Анной не покажется таким уж необычным. Истории давние, однако не забывайте, Томас, некоторые в них верят.

Кардинал говорит о смерти королей: о том, как второго Ричарда заточили в замок Понтефракт и не то закололи, не то уморили голодом. О том, как четвертый Генрих, узурпатор, умер от проказы — король так съежился перед смертью, что стал не больше карлика или младенца. Кардинал говорит о победах пятого Генриха во Франции, о той цене — не деньгами, — которую пришлось заплатить за Азенкур. Говорит о французской принцессе, на которой женился великий монарх — она была всем хороша, но ее отец сошел с ума и считал, будто сделан из стекла. От этого брака — пятого Генриха со стеклянной принцессой —

родился еще один Генрих, правивший Англией, темной, как зима, зябкой, скудной, злосчастной. Эдуард Плантагенет, герцог Йоркский, пришел с первыми проблесками весны: он родился под знаком Овна — тем самым, под которым сотворен мир.

Когда Эдуарду было восемнадцать, он захватил корону — а все потому, что получил знамение. Его войско обессилело от боев и утратило всякую надежду, стояло самое темное время темнейшей из Господних зим, и он только что получил известие, которое должно было его сломить: отец и младший брат захвачены сторонниками Ланкастеров и, после многих издевательств и насмешек, казнены. Было Сретенье; в шатре, вместе со своими военачальниками, Эдуард молился о душах убиенных отца и брата. Наступило третье февраля, день святого Власия, холодный и пасмурный. В десять утра взошли три солнца: три облачных серебряных диска, лучащихся в морозной дымке. Их свет воссиял над пустыми полями и мокрыми лесами валлийского приграничья, над усталым, давно не получавшим жалованья войском. Рыцари и латники преклонили колени на мерзлой земле и вознесли молитвы сияющему небу. Жизнь Эдуарда обрела крылья и воспарила:

в потоке лучезарного света он узрел свое будущее, увидел то, чего не видел никто другой, а это и значит быть королем. В битве при Мортимер-кроссе он пленил некоего Оуэна Тюдора, обезглавил того на ярмарочной площади Херефорда и бросил голову гнить на перекрестке дорог. Безвестная женщина принесла таз с водой, омыла отрубленную голову, расчесала окровавленные кудри.

С того дня — дня трех солнц — каждый взмах меча приносил Эдуарду победу. Через три месяца он короновался в Лондоне, но никогда больше не видел будущего так ясно, как в тот год. Эдуард брел через свое правление, как сквозь туман, слепо внимая советам астрологов, предсказателей и безумцев. Он не женился, как следовало, на заморской принцессе; вся его жизнь стала чередой полу-обещаний неведомому числу женщин. Среди них была и некая Элеонора Тэлбот — что король в ней нашел? Говорят, будто она происходила — по материнской линии — от девы-лебедя. И почему он в конце концов остановил свой выбор на вдове рыцаря из стана Ланкастеров? Потому ли, что ее холодная краса зажгла ему кровь? Нет; потому что леди Грей якобы вела свой род от женщины-змеи Мелузины. Ее можно видеть на старинных пергаментах: она обвивает

хвостом Древо познания и председательствует на бракосочетании Солнца и Луны. Мелузина выдавала себя за обычную принцессу, но однажды муж увидел ее нагой и приметил змеиный хвост. Выскользнув из его объятий, Мелузина предрекла, что ее дети дадут начало династии, которая будет править вечно и получит от дьявола безграничную власть. Она исчезла, говорит кардинал, и больше ее не видели.

Часть свечей догорела, но Вулси не требует, чтобы принесли новые.

— Итак, советники Эдуарда хотели женить его на французской принцессе, как… как и я. И что в итоге? Кого он выбрал?

— Сколько времени с тех пор прошло, со дней Мелузины!

Поздно; огромный Йоркский дворец затих, спит; река неслышно струится в берегах, намывая ил. В этих вопросах, говорит кардинал, нет счета времени; эти существа выскальзывают из наших рук сквозь века, лукавые, змеистые, переменчивые.

— Однако эта женщина, на которой женился Эдуард, вроде бы имела какие-то права на кастильский трон? Очень древние, очень запутанные.

Кардинал кивает.

— Это и означали три солнца. Трон Англии, трон Франции и трон Кастилии. Так что когда наш король женился на Екатерине, он приблизился к своим старинным правам. Не то чтобы кто-нибудь посмел изложить это королеве Изабелле и королю Фердинанду именно в таких выражениях. Однако полезно помнить и при случае упоминать, что наш король — правитель трех королевств. Должен быть по справедливости.

— По вашему рассказу, милорд, выходит, что дед нашего короля Плантагенет обезглавил его прадеда Тюдора.

— Это тоже следует помнить, однако не упоминать вслух.

— А Болейны? Мне казалось, они были купцами. Мне следовало знать, что у них есть змеиные жала или крылья?

— Вы надо мной насмехаетесь, мастер Кромвель.

— Отнюдь. Просто если вы оставляете меня приглядывать за делами, мне необходимо иметь самые полные сведения.

Кардинал заводит речь об убийствах, о грехах, которые предстоит искупить. Рассказывает о шестом Генрихе, убитом в Тауэре, о короле Ри-

чарде, рожденном под созвездием Скорпиона — знаком тайных сделок, бедствий и пороков. При Босворте, где пал Скорпион, не все поняли, куда дует ветер удачи. Герцог Норфолкский бился на проигравшей стороне и был лишен титула. Много усилий стоило его сыну вернуть себе земли и звания. Мудрено ли, что Норфолк до сих пор трепещет монаршего гнева, страшась под горячую руку вновь все потерять?

Кардинал видит, что его поверенный берет сказанное на заметку, и продолжает рассказ. Кардинал говорит о костях под мостовыми Тауэра, костях, вмурованных в пристани и затянутых речным илом. О двух сыновьях Эдуарда, младший из которых упорно воскресал и едва не сбросил Генриха Тюдора с трона. О монетах, которые чеканил самозванец, с посланием Тюдору: «Твои дни сочтены. Ты взвешен на весах и найден очень легким».

Говорит о том, как страшились тогда новых междоусобиц. Екатерину обручили с наследником английского трона еще в младенчестве. В три года она уже звалась принцессой Уэльской, но прежде чем отправить дочь из Коруньи, Изабелла и Фердинанд стребовали за нее плату плотью и кровью. Они попросили будущего свата обра-

тить внимание на главного претендента из рода Плантагенетов — племянника братьев-королей Эдуарда и Ричарда, которого с десяти лет содержали в Тауэре. Король сдался на уговоры. Белую розу, двадцати четырех лет от роду, вывели на свет Божий и обезглавили. Однако всегда есть другая Белая роза; Плантагенеты плодятся, хоть и не безнадзорно. Всегда будет необходимость убивать, говорит кардинал, надо ожесточить сердце; правда, я не знаю, смогу ли когда-нибудь ожесточиться в должной мере. Мне всегда худо, когда кого-нибудь казнят. Я молюсь о них всех. Порой даже о гнусном короле Ричарде, хотя, как утверждает Томас Мор, Ричард горит в аду.

Вулси смотрит на свои руки, крутит на пальцах перстни.

— Любопытно… любопытно, который из них…

Завистники утверждают, будто у кардинала есть перстень, который позволяет владельцу летать по воздуху и сводить в могилу врагов. Кольцо обезвреживает яды, укрощает диких зверей, привлекает любовь властителей и спасает от утопления.

— Другие, видимо, знают, милорд: они нанимают магов сделать копию.

— Если бы я знал, я бы сам сделал копию. И

подарил вам.

— Я как-то взял в руки змею. В Италии.

— Зачем вам это понадобилось?

— На пари.

— Она была ядовитая?

— Мы не знали. В том-то и была суть пари.

— Она вас укусила?

— Конечно.

— Почему конечно?

— Тогда не о чем было бы рассказывать, верно? Если бы я просто подержал ее и отпустил.

Кардинал невольно хмыкает.

— Что я буду без вас делать, Томас, среди жалящих исподтишка французов?

Дома, в Остин-фрайарз, Лиз уже спит, но ворочается в постели. Она наполовину просыпается и приникает к нему. Он говорит:

— Дед нашего короля женился на змее.

Лиз бормочет: «Я сплю или нет?» Мгновение — и она уже повернулась на бок, выбросив руку. Интересно, что ей теперь приснится? Он лежит без сна, думает. Все победы, все свершения Эдуарда оплачены деньгами Медичи; их заемные письма куда важнее всех знамений и чудес. Если король Эдуард был, как многие полагают, не сын своего отца, герцога Йоркского, если, как гласит

молва, мать родила Эдуарда от честного английского лучника по имени Блейбурн, и если Эдуард женился на женщине-змее, то их потомство… на ум приходит слово «ненадежно». Если верить всем старым историям, а некоторые, не будем забывать, им верят, наш король отчасти бастард, отчасти тайный змей, отчасти валлиец и весь целиком — должник итальянских банков… Он тоже уплывает в сон: место страниц с аккуратными колонками цифр занимают призрачные миры. Всегда старайтесь, говорит кардинал, узнать, что у людей под одеждой, поскольку там не только тело. Выверни короля наизнанку — найдешь чешуйчатых предков: теплую, плотную, змеиную плоть.

Когда в Италии он на пари взял в руки змею, ее надо было держать, пока свидетели сосчитают до десяти. Они считали довольно медленно, на медленном языке: *айн, цвай, драй…* На счет «четыре» испуганная змея дернулась и укусила его. Между четырьмя и пятью он крепче стиснул кулак. Кто-то кричал: «Да брось ты ее, Христа ради!» Одни молились, другие сыпали ругательствами, третьи продолжали считать. Змейка выглядела полузадушенной; когда свидетели досчитали до десяти, не раньше, он мягко опустил ее на землю,

и она ускользнула в свое будущее.

Боли не было, однако ранка покраснела. Он машинально попробовал ее на вкус, укусил собственное запястье, дивясь белизне английской плоти с внутренней, сокровенной стороны руки; увидел тонкие сине-зеленые сосуды, куда змея выпустила яд.

Он получил выигрыш и стал ждать смерти, однако не умер, напротив, стал крепче, проворнее, изворотливее. Ни один миланский каптенармус не мог его переорать, ни один прожженный бернский капитан не решался спорить с человеком, который, по слухам, сначала втыкает клинок под ребра, а потом торгуется. Июль, жарко. Он спит и видит сон. Где-то в Италии змейка вывела детенышей и назвала их Томасами; они хранят в памяти образ Темзы, низкие илистые берега, не заливаемые даже в прилив, даже по высокой воде.

На следующее утро, когда он просыпается, Лиз еще спит. Простыни влажные. Она теплая, разморенная, лицо — гладкое, как у молоденькой. Он целует прядь волос на лбу, чувствует губами соль. Она бормочет: «Скажи, когда вернешься».

— Лиз, — говорит он, — я не уезжаю с Вулси.

Приходит цирюльник его побрить. Он видит

в отполированном зеркале свои глаза: живые и как будто змеиные. До чего странный сон, думает он про себя.

На лестнице ему кажется, будто Лиз вышла его проводить — наверху вроде бы мелькнул ее белый чепец. «Лиз, иди, спи дальше». И тут же, обернувшись, видит, что обознался — на лестнице никого нет. Он берет бумаги и уходит в Грейз-инн.

Встреча не деловая, тайная: обсуждают тексты, местонахождение Тиндейла (где-то в Германии) и насущные проблемы коллеги-юриста (кто скажет, что он не может находиться в Грейз-инн?) Томаса Билни, за детский рост и вертлявость прозванного Маленьким Билни. Маленький Билни — правовед, священник, член Тринити-холла — ерзает по скамье худым задом и, суча ножками, рассказывает о своем служении прокаженным.

— Писание для меня — мед. Я упиваюсь словом Божиим.

— Христа ради, — говорит он, — не вздумайте вылезать из своей норы. Кардинал уехал, теперь у епископа Лондонского, не говоря уже о нашем друге из Челси, руки развязаны.

— Мессы, посты, бдения, индульгенции — все бесполезно, — говорит Билни. — Мне это явлено.

Осталось только пойти в Рим и побеседовать с его святейшеством. Я уверен, что папа примет мою точку зрения.

— Вы находите свои взгляды оригинальными? — мрачно спрашивает он. — Да, отец Билни, я согласен: мысль, что папа обрадуется вашим советам, и впрямь оригинальна.

Он выходит, бросая напоследок: вот человек, готовый прыгнуть в огонь. Будьте осторожнее, государи мои.

Рейфа он на эти встречи не берет: не хочет втягивать никого из домочадцев в опасное общество. Кромвели — образец набожности и правоверия. Мы не должны вызывать нареканий, говорит он.

Остаток дня ничем не примечателен. Он вернулся бы домой рано, если бы не договорился встретиться в немецком квартале, Стилъярде, с человеком из Ростока, который привез своего друга из Штеттина, пообещавшего учить его польскому.

Польский — еще хуже валлийского, говорит он в конце вечера. Мне надо будет чаще практиковаться. Заглядывайте в гости. Если предупредите заранее, мы засолим селедку, если нет, то, как говорится, чем богаты.

Когда приходишь домой в сумерках, а там горят факелы, сразу понимаешь — что-то стряслось. Летний воздух упоительно свеж, и ты, входя в дом, чувствуешь себя молодым, беспечным, и тут замечаешь убитые лица. При виде тебя все отворачиваются.

Мерси выходит и встает рядом; хотя ее имя означает «милость», милости ждать неоткуда.

— Говори, — молит он.

Она отводит глаза.

Он думает: Грегори. Думает: мой сын умер. И тут же понимает кто, потому что не видит Лиз.

— Говори, — повторяет он.

— Мы искали тебя. Мы сказали, Рейф, беги в Грейз-инн, приведи его, но сторожа ответили, что не видели тебя весь день. Рейф сказал, верьте мне, я его приведу, хоть бы пришлось обыскать весь город. Но тебя нигде не было.

Он вспоминает утро: влажные простыни, влажный лоб. Лиз, думает он, неужто ты не боролась? Будь я здесь, я бы ударил смерть по костлявой башке. Я бы распял ее на стене спальни.

Девочки еще не спят, хотя кто-то переодел их в ночные сорочки, будто сейчас обычный вечер. Ножки и ручки голенькие, ночные чепцы — круглые, кружевные, сшитые матерью — кем-то из

взрослых аккуратно завязаны под подбородком. Энн с каменным лицом держит Грейс за руку. Та смотрит на него удивленно: почему он здесь? Она почти никогда не видит отца, но безропотно дает взять себя на руки. Приникает к плечу и тут же засыпает, обвив ручонками его шею.

— А сейчас, Энн, мы должны отнести Грейс в постель, потому что она маленькая. Знаю, ты сейчас не заснешь, но тебе придется лечь с ней — вдруг она замерзнет.

— Я тоже могу замерзнуть, — говорит Энн.

Мерси идет с ним в детскую. Он укладывает спящую Грейс. Энн плачет, но беззвучно. Я с ними посижу, говорит Мерси, он отвечает: я сам. Ждет, пока у Энн перестают течь слезы, а ее ладошка в его руке становится мягкой и тяжелой.

Такое случается, но не с нами.

— Теперь покажите мне Лиз, — говорит он.

Комната — еще сегодня утром их общая спальня — пропахла ароматическими травами, которые жгут, чтобы прогнать заразу. В голове и ногах горят свечи. Челюсть Лиз подвязали платком, так что она уже непохожа на себя. Лицо бесстрашное и такое, будто она сейчас примется его судить. На поле брани он видел убитых с выпущенными кишками — Лиз выглядит мертвее.

Он спускается вниз — выслушать отчет о ее смерти. В десять утра, говорит Мерси, она села: Господи Исусе, как я утомилась. Средь бела дня. Непохоже на меня? — спросила она. Я сказала: непохоже, Лиз. Потом тронула ее лоб и сказала: Лиз, голубушка… Я сказала, иди сейчас же ляг, ты вся вспотела. Она ответила, нет, я только минуточку посижу, голова кружится, наверное, надо что-нибудь съесть, но когда мы сели за стол, она отодвинула тарелку…

Ему хочется, чтобы Мерси сократила рассказ, но он понимает, что ей надо проговорить все вслух, минута за минутой. Как будто она упаковала слова и протягивает ему сверток — теперь это твое.

В полдень Элизабет легла. Ее бил озноб, хотя кожа пылала. Она спросила: здесь ли Рейф? Пусть сбегает за Томасом. Рейф ушел, а за ним и другие, но тебя не нашли.

В половине первого она сказала: передайте Томасу, чтобы он позаботился о детях. А дальше? Жаловалась на головную боль. А мне ничего еще не просила передать? Нет, говорила, что хочет пить, больше ничего. Ну да, Лиз всегда была немногословной.

В час она попросила позвать священника. В два исповедалась. Сказала, что как-то взяла в руки

змею, в Италии. Священник объяснил, что она бредит, и дал ей отпущение. Он очень торопился, говорит Мерси, очень торопился уйти из дома — боялся подхватить заразу и умереть.

К трем она впала в забытье, к четырем навсегда оставила бремя земной жизни.

Думаю, говорит он, она бы хотела, чтобы ее похоронили с первым мужем.

Почему ты так думаешь?

Потому что я появился позже.

Он уходит. Незачем давать распоряжения о траурной одежде, плакальщиках, свечах. Как всех умерших от морового поветрия Лиз придется хоронить быстро. Он не сможет послать за Грегори и собрать родственников. По закону семья должна повесить на дверь пучок соломы — знак, что в доме зараза, и в течение сорока дней никого без крайней надобности не впускать и не выходить.

Мерси говорит, это могла быть любая горячка, нам не обязательно признаваться, что у нас потовая лихорадка… Если бы все оставались дома, жизнь в Лондоне бы замерла.

Нет, говорит он, мы должны соблюдать правила. Их составил милорд кардинал, и я обязан им подчиняться.

Мерси спрашивает: так где же ты все-таки

был? Он смотрит ей в лицо, говорит: ты знаешь Маленького Билни? Я был с ним, предупредил, чтобы он не прыгал в огонь.

А потом? Потом я учил польский.

Ах ну да, конечно, говорит она.

Она даже не пытается понять, он и не рассчитывает понять лучше, чем сейчас. Он знает наизусть Новый завет, но попробуй найди текст — для такого.

Позже он будет вспоминать то утро и вновь захочет увидеть мелькнувший белый чепец, хотя когда он обернулся, на лестнице никого не было. Ему хочется воображать ее на фоне домашней суеты и тепла, на пороге со словами: «Скажи мне, когда вернешься». Однако он видит ее одну, в дверях; за спиной у нее пустота, голубовато-белесый свет.

Он вспоминает их свадебный вечер: ее длинное платье из тафты, и то, как она настороженно обнимала себя за локти. На следующее утро она сказала: «Вот и славно».

И улыбнулась. Вот и все, что она ему оставила. Лиз всегда была немногословной.

Месяц он дома, читает. Читает Писание, но знает, что там написано. Читает любимого Петрарку, который обличал лекарей. Они бросили

его, еще живого, умирать от лихорадки, а когда вернулись наутро, он сидел и писал. После этого поэт больше не верил врачам, однако Лиз не дожила до врачебного совета, доброго или дурного, не дожила до аптекаря с кассией, калгановым корнем, полынью и молитвами на листочках.

У него есть книга Никколо Макиавелли «Государь», латинское издание, скверно отпечатанное в Неаполе и сильно затрепанное прежними владельцами. Он думает о Никколо на поле брани, о Никколо в пыточной камере. Он сам в пыточной камере, но знает, что однажды отыщет выход, потому что ключи у него. Кто-то спрашивает: что у тебя в этой книжечке? Он отвечает: несколько афоризмов, несколько общих мест, ничего такого, чего мы не знали бы раньше.

Всякий раз, когда он поднимает глаза от книги, Рейф Сэдлер рядом. Рейф тоненький, как тростинка; любимая шутка — притворяться, будто его не видишь испрашивать: «Интересно, где Рейф?» Ричард и другие мальчишки всякий раз хохочут, как маленькие. Глаза у Рейфа голубые, волосы — соломенно-желтые, сразу видно: не Кромвель. Однако характером юноша весь в воспитателя: упорный, ехидный, все ловит на лету.

Они с Рейфом читают книгу про шахматы, отпе-

чатанную еще до его рождения, но с картинками. Изучают рисунки, совершенствуются в игре. Иногда подолгу — кажется, будто часами — ни один не делает хода.

— Я болван, — говорит Рейф, кладя палец на голову пешки. — Когда мне сказали, что вы не в Грейз-инн, я должен был сообразить, что вы там.

— Откуда ты мог знать? Я не всегда там, где мне быть не след. Ты двигаешь пешку или просто ее трогаешь?

— *J'adoube.*[21] — Рейф торопливо отдергивает руку.

Довольно долго они смотрят на фигуры и наконец соображают, что расстановка неизбежно ведет к пату.

— Мы слишком друг для друга хороши.

— Быть может, следует играть с кем-нибудь еще.

— Попозже. Когда будем готовы разнести любого в пух и прах.

— Погодите. — Рейф делает ход конем. В ужасе смотрит на результат.

— Рейф, ты foutu![22]

---

[21] Примечания Ольги Дмитриевой: 21
Поправляю *(фр.).*

[22] Примечания Ольги Дмитриевой: 22
Влип *(фр.).*

— Не обязательно. — Рейф трогает лоб. — Вы еще можете допустить промах.

— Верно. Надеяться надо всегда.

Снаружи голоса, солнечный свет. Он чувствует, что уже почти может спать, но во сне Лиз Уайкис возвращается, и потом надо заново привыкать, что ее нет.

На втором этаже слышится детский плач, потом шаги. Плач затихает. Он берет короля и переворачивает, чтобы посмотреть, как сделана фигура. Бормочет: *«J'adoube»*, ставит короля на место.

На улице моросит. Энн Кромвель сидит с ним, пишет в тетрадке латинские слова. К Иоаннову дню она знает все правильные глаголы. Энн сообразительнее брата, и он ей об этом говорит. Ну-ка, дай глянуть. Оказывается, она исписала всю страницу своим именем: Энн Кромвель, Энн Кромвель…

Из Франции приходят вести об успехах кардинала, парадах, многолюдных мессах, блистательных латинских речах, произнесенных без подготовки. Впечатление такое, будто его милость служил у каждого алтаря в Пикардии и даровал всем молящимся отпущение грехов. Несколько тысяч французов могут теперь грешить с чистого листа.

Король по большей части в Болье, эссекском поместье, которое его величество приобрел у сэра Томаса Болейна, теперь — виконта Рочфорда. Днем король охотится, невзирая на дожди, по вечерам развлекается. Герцог Суффолк и герцог Норфолк ужинают в тесном кругу со своим монархом и новоиспеченным виконтом. Герцог Суффолк — старинный друг короля, и если Генрих скажет: сделайте мне крылья, чтобы я полетел, Суффолк спросит: какого цвета? Герцог Норфолк, разумеется, старший из Говардов, шурин Болейна — поджарый гончий пес, всегда гонится за своей выгодой.

Он не пишет кардиналу, что вся Англия уверена: король женится на Анне Болейн. Новостей, которых хочет кардинал, у него нет, поэтому он не пишет вовсе. Поручает клеркам уведомлять его милость о состоянии юридических дел и финансов. Напишите, что у нас все хорошо, говорит он. Заверьте его милость в моем совершеннейшем почтении. Добавьте, что мы очень ждем возвращения его милости.

Никто в доме больше не заболевает. В этом году Лондон отделался легко — по крайней мере, так говорят. Во всех церквах возносят благодарственные молитвы — или, может, правильнее

называть их молитвами облегчения? На тайных ночных сборищах вопрошают Божий Промысел. Лондон знает свои грехи. Как учит нас Библия, «купец едва ли может избежать прегрешений». А еще написано: «Кто спешит разбогатеть, тот не останется безнаказанным». Привычка цитировать — верный знак душевного смятения. Кого Господь любит, того и карает.

В начале сентября уже можно собраться всей семьей, чтобы помолиться о Лиз, совершить церемонии, без которых они ее проводили. Двенадцать приходских бедняков получают черное платье — те самые плакальщики, что шли бы за гробом. Каждый из членов семьи заказывает мессы за упокой ее души на семь лет вперед. В назначенный день небо ненадолго проясняется, но теплее не становится. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены».

Маленькая Грейс просыпается ночью и говорит, что видела маму в саване. Она плачет не как ребенок, икая и заходясь в рыданиях, а как взрослая, тихо роняя слезы.

Все реки текут в море, но море не переполняется.

Морган Уильямс с каждым годом все усыхает. Маленький, седой, растерянный, Морган

стискивает ему руки и говорит: «Почему уходят лучшие? Ну почему?» и «Я знаю, Томас, ты был с нею счастлив».

Дом в Остин-фрайарз вновь полон: женщины, дети, солидные мужчины в траурных одеждах, почти неотличимых от повседневной деловой одежды судейских и купцов, счетоводов и торговых посредников. Приехала его сестра Бет с двумя сыновьями и маленькой дочкой Алисой. Кэт тоже приехала: сестры советуются, кто поселится в доме, чтобы помогать Мерси с детьми, «пока ты, Том, снова не женишься».

Его племянницы, две славные девчушки, перебирают четки и озираются, не зная, что надо делать дальше. Все разговаривают, не обращая на них внимания. Они прислоняются к стене, стреляют друг в друга глазами и медленно-медленно сползают на корточки, так что их почти и не видно. Тут же слышится: «Алиса! Джоанна!» Девочки медленно выпрямляются; лица — торжественно-серьезные. Подходит Грейс, они молча хватают ее, стаскивают чепец и начинают заплетать белокурые волосы. Зятья и свояки говорят о миссии кардинала во Франции; он наблюдает за дочерью. Девочки так сильно тянут Грейс за волосы, что глаза у нее стали совсем круглые от

страха, рот раскрыт, как у рыбы. Наконец она тихонько вскрикивает, и старшая Джоанна, сестра Лиз, подбежав, хватает ее в охапку. Глядя на Джоанну, он думает, как и прежде думал не раз: до чего сестры похожи. Были похожи.

Его дочь Энн поворачивается спиной к женщинам и берет за руку дядю.

— Мы беседуем про Нидерланды, — говорит ей Морган.

— Могу точно сказать, дядя, в Антверпене не обрадуются, если Вулси подпишет договор с Францией.

— То же самое мы говорим твоему отцу. Но он упорно стоит за кардинала. Ну же, Томас! Ты ведь любишь французов не больше нашего!

Они не знают, а он знает, как сильно кардиналу нужна дружба Франциска: без поддержки одной из главных европейских держав как королю получить развод?

— Договор о вечном мире? Дай-ка вспомнить, когда у нас был последний вечный мир? Ручаюсь, нынешнего хватит на три месяца, — со смехом говорит его зять Уэллифед, а Джон Уильямсон, муж Джоанны, предлагает пари: три месяца, шесть месяцев? Потом вспоминает, что они собрались по скорбному поводу. «Прости, Том», — говорит

Уильямсон и заходится в приступе кашля.

— Если старый спорщик будет так кашлять, — подает голос Джоанна, — он до весны не дотянет, и тогда я выйду за тебя, Том.

— Правда?

— Конечно. Как только получу из Рима нужную бумагу.

Все прячут улыбки. Переглядываются многозначительно. Грегори говорит: а что тут смешного. На свояченице ведь жениться нельзя. Потом отходит в уголок поболтать с двоюродными братьями — сыновьями Бет Кристофером и Уиллом, сыновьями Кэт Ричардом и Уолтером. Зачем они назвали сына Уолтером? Чтобы отец и по смерти напоминанием о себе не давал им быть слишком счастливыми? Он благодарит Бога, что Уолтера с ними уже нет. Конечно, надо быть добрее к отцу, но его доброты хватает только на оплату заупокойных месс.

В год перед окончательным возвращением в Англию он несколько раз переправлялся туда-сюда, не зная, что выбрать. У него было много добрых друзей в Антверпене, не говоря уже о деловых связях, а растущий с каждым годом город подходил ему как нельзя лучше. Если он и тосковал, то лишь по Италии: по свету, языку, по тому,

как там обращались к нему: Томмазо. Венеция навсегда излечила его от ностальгии, Флоренция и Милан научили мыслить более гибко, чем принято у англичан. Однако что-то его тянуло обратно: желание узнать, кто умер, а кто родился, увидеть сестер, вспомнить детство, посмеяться (почему-то задним числом такое всегда смешно). Он написал Моргану Уильямсу: я собираюсь переехать в Лондон. Только не сообщайте отцу, что я возвращаюсь.

В первые месяцы на него наседали, мол, надо бы тебе навестить отца. Уолтер Кромвель переменился — не узнать. Бросил пить — понял, что пьянство сводит его в могилу. Ладит с законом. Даже отработал в свою очередь церковным старостой.

Да неужто? И не упивался вином для причастия? Не прикарманивал деньги за свечи?

Никакие уговоры не заставили его поехать в Патни. Он ждал больше года, и только женившись и став отцом, решил, что теперь можно.

Он прожил за границей двенадцать лет и теперь дивился перемене в людях. Годы ожесточили одних, смягчили других, но постарели все. Стройные отощали и усохли, полнотелые раздались еще больше. Лица обрюзгли и утратили

выразительность, яркие глаза потускнели. Некоторых он и вовсе не узнавал, по крайней мере, с первого взгляда.

Однако Уолтера он бы узнал в любом случае. Глядя на приближающегося отца, он подумал: это я вижу себя через двадцать-тридцать лет, если Бог даст столько прожить. Говорили, что пьянство чуть не загнало Уолтера в гроб, но старик выглядел отнюдь не полумертвым, а таким же, как всегда: будто может одним ударом свалить тебя с ног и, если надумает, свалит. Низенькое коренастое тело стало еще более кряжистым, темные курчавые волосы почти не тронуты сединой. Маленькие желтовато-карие глазки по-прежнему буравили насквозь. Кузнецу нужен хороший глаз, говаривал Уолтер. Всякому нужен хороший глаз, иначе тебя оберут до нитки.

— Где ты был? — полюбопытствовал Уолтер. Раньше это прозвучало бы угрозой, сейчас — только брюзжанием. Как будто Уолтер отправил сына с поручением в Мортлейк, и тот долго не возвращался.

— Да так… Там-сям.

— Ты похож на иностранца.

— Я и есть иностранец.

— И что же ты там делал?

Он представил себе, как отвечает: «то-се», в итоге так и ответил.

— А каким тем-сем занимаешься сейчас?

— Изучаю право.

— Право! — проворчал Уолтер. — Если бы не так называемое право, мы бы сейчас были лордами. Хозяевами поместья. И всех здешних поместий.

Интересная мысль, подумал он. Если бы лордами становились те, кто сильнее, драчливее и нахрапистее других, Уолтер был бы лордом. Однако все еще хуже: Уолтер считал себя ограбленным. Все детство он слышал: Кромвели-де были богачами, владели поместьями. «Когда, где?» — спрашивал он, и Уолтер орал: «Где-то там, на севере! Вечно ты к словам цепляешься!» Уолтер злился, когда ему не верили, даже если врал в глаза. «Как же мы докатились до нынешней бедности?» — спрашивал сын. А все сутяжники да крючкотворы, да те мошенники, что отбирают землю у честных людей, отвечал отец. Разберись, если сможешь, а я вот не могу, хотя умом меня Бог не обидел. Как можно тащить меня в суд и штрафовать за выпас овец на общинной земле? Будь все по-честному, это была бы моя земля.

Как же так, если земли были на севере? Бесполезно спрашивать — только нарвешься на

очередную трепку. «А деньги? — не отставал он. — Они-то куда делись?»

Лишь один раз, по трезвому делу, Уолтер сказал нечто, очень похожее на правду: думаю, мы их спустили. Что сплыло то сплыло. Если богатство промотано, его уже не вернуть.

Он думал над этими словами все двенадцать лет и теперь спросил:

— Если Кромвели когда-то были богаты и я верну наше состояние, ты будешь доволен?

Это было произнесено мягко, но Уолтера смягчить нелегко.

— Вернешь и разделишь, так, что ли? С этим чертом Морганом, с которым вы друзья — не разлей вода. Будь все по честному, это были бы мои деньги.

— Это были бы семейные деньги, — сказал он, а про себя подумал: мы что, взбесились? Не прошло и пяти минут, а мы уже ругаемся из-за несуществующего богатства. — Теперь у тебя есть внук, — и добавил мысленно: и ты его не увидишь.

— У меня они уже давно есть. Внуки. И кто она? Голландка?

Он рассказал про Лиз Уайкис, признавшись таким образом, что по приезде в Англию успел

жениться и завести сына.

— Подцепил богатую вдовушку, — хмыкнул Уолтер. — Видать, это было важнее, чем навестить меня. Да уж, конечно, ты думал, я помру. Законник, говоришь? У тебя с детства язык без костей. Никакой оплеухой тебя было не заткнуть.

— Но видит Бог, ты пытался.

— Небось теперь и не признаешься никому, что работал в кузне. Или что ходил помогать дяде Джону и спал на очистках от репы.

— Господь с тобой, отец, какая репа в Ламбетском дворце? Неужто ты думаешь, будто кардинал Мортон ел репу?

Дядя Джон был поваром у великого человека; маленький Том бегал в Ламбет, потому что там можно было сытно поесть. Обычно он вертелся у входа, ближайшего к реке — Мортон тогда еще не построил надвратной башни — и смотрел на въезжающих и выезжающих, спрашивал, кто они, чтобы в следующий раз узнать их по цветам одежды, животным и предметах на гербах. «Не стой как пень, — кричали ему, — займись чем-нибудь полезным!»

Другие мальчишки занимались чем-нибудь полезным на кухне: подавали и уносили, ощипывали детскими пальчиками жаворонков и

обрывали цветоножки у клубники. Каждый день перед обедом челядь выстраивалась в процессию; торжественно вносили скатерти и большую солонку. Дядя Джон измерял хлебы, и если они оказывались больше или меньше, чем нужно, бросал их в корзину для прислуги. Те, что проходили проверку, дядя Джон отправлял в обеденную залу; стоя рядом и изображая его помощника, племянник научился считать. Туда же, в залу, отправлялись мясо и сыр, засахаренные фрукты и пряные лепешки — на архиепископский (тогда Мортон еще не был кардиналом) стол. Когда остатки и объедки возвращались на кухню, их делили. Лучшее доставалось поварам, то, что похуже — больнице и богадельне, а также нищим у ворот. То, что не годилось даже нищим, отдавали детям и свиньям.

Утром и вечером кухонные мальчишки носили наверх и ставили в шкафы хлеб и пиво для молодых джентльменов, служивших у кардинала пажами. Пажи были из хороших семей. Они прислуживали за столом и таким образом знакомились с великими мужами, слушали их беседы и учились. Когда пажи не прислуживали, они черпали знания у преподавателей музыки и других наук. Преподаватели расхаживали по дворцу

с бутоньерками и ароматическими шариками и говорили по-гречески. Ему указали на одного из пажей, мастера Томаса Мора, про которого сам архиепископ говорил, что тот станет великим человеком — так обширны уже были его познания и так приятна речь.

Однажды он принес пшеничный хлебец и положил в буфет, но не ушел, и мастер Томас спросил: «Чего ты ждешь?» — однако ничем в него не бросил. «Что в этой большой книге?» — спросил он, и мастер Томас ответил с улыбкой: «Слова, слова, просто слова».

Кто-то сказал, мастеру Томасу в этом году четырнадцать, и он едет в Оксфорд.

Том Кромвель не знает, где это — Оксфорд и по своей ли воле мастер Томас туда едет или его отправляют. Мальчика можно отправить, не спрашивая, а мастер Томас еще не взрослый мужчина.

Четырнадцать это дважды семь. Мне семь? — спрашивает он. Отец кричит: Бога ради, Кэт, придумай ему день рождения! Скажи что угодно, лишь бы отстал.

Когда отец говорит «глаза бы мои на тебя не глядели», он уходит в Ламбет. Когда дядя Джон говорит «на этой неделе у нас достаточно маль-

чишек» и «дьявол найдет занятие праздным рукам», возвращается в Патни. Иногда дядя дает ему с собой гостинец. Это могут быть голуби, связанные лапками, с открытыми окровавленными клювами. Он идет вдоль реки и крутит их над головой, так что они как будто летают, пока кто-нибудь не кричит: перестань! Что бы он ни делал, кто-нибудь принимается орать. Мудрено ли, говорит дядя Джон, если ты участвуешь во всех мальчишеских проказах, дерзишь и вечно оказываешься там, где тебе быть не след.

В холодной каморке рядом с кухней сидит женщина по имени Изабелла. Она лепит марципановые фигурки, которыми архиепископ с друзьями играют после ужина. Иногда это герои — король Александр, король Цезарь. Иногда святые; сегодня я леплю святого Томаса Бекета, говорит она. Как-то она лепила марципановых зверей и подарила ему льва. Можешь съесть, сказала Изабелла. «Нет, я лучше его сохраню», — сказал он, но Изабелла посоветовала этого не делать, ведь фигурка скоро развалится. «У тебя что, матери нет?» — спросила она.

Он учился читать по запискам из буфетной: столько-то муки, столько-то сушеных бобов, ячменя и утиных яиц. Для Уолтера смысл умения

читать в том, чтобы дурить неграмотных; для того же надо уметь писать. Поэтому отец отправляет его к священнику. И снова он все делает не так, потому что у священников странные правила: на урок надо приходить специально, а не по дороге куда-нибудь, и не приносить с собой жабу в мешочке или ножи, которые надо поточить; нельзя являться в синяках и ссадинах от двери (по имени Уолтер), на которую он вечно налетает. Священник орет и забывает его покормить, так что он снова уходит в Ламбет.

Когда он возвращается в Патни, отец спрашивает, где тебя черти носили, если только отец не в доме, на мачехе. Мачехи обычно надолго не задерживаются; отец, получив свое, выставляет их из дома, так что он узнает про то, что они были, только от хохочущих сестер. Однажды он приходит домой грязный и вымокший; сегодняшняя мачеха спрашивает: «Чей это мальчишка?» — и пытается выгнать его взашей.

Как-то раз, уже на подходе к дому, он находит первую Беллу: она лежит на улице, никому не нужная, размером не больше крысы, и так замерзла и напугана, что даже не скулит. Он входит в дом, неся в одной руке щенка, в другой — завернутый в листья шалфея сыр.

Та Белла умерла. Сестра Бет сказала, заведешь себе другую собаку. Он ищет, но больше никого не находит. Собак много, но у всех у них есть хозяин.

Дорога из Ламбета в Патни длинная; иногда он съедает гостинец, если это не что-нибудь сырое. А если ему дают только капусту, он пинает кочан на ходу, пока не растреплет до полного непотребства.

В Ламбете он ходит за приказчиками и запоминает числа, которые те называют. Люди говорят: если некогда записать, просто скажи Джонову племяннику. Он может на глаз определить вес мешка с мукой или бобами и предупредить дядю, чтобы тот проверил — кажется, сюда не досыпали.

Вечерами в Ламбете, когда еще светло, а котлы уже вычищены, мальчишки гоняют во дворе мяч. Они орут, чертыхаются и налетают друг на друга, пока кто-нибудь не велит им утихнуть; они дерутся на кулаках и, бывает, кусаются. За открытыми окнами наверху юные джентльмены поют правильно поставленными, высокими голосами.

Иногда в окне появляется лицо мастера Томаса Мора. Он машет рукой, но мастер Томас смотрит на детей, не узнавая его, потом бесстрастно улы-

бается и белой рукой, непривычной ни к какой работе, кроме письма, закрывает ставни. Встает луна. Пажи ложатся на низенькие выдвижные кровати. Кухонные мальчишки заворачиваются в мешковину и засыпают у очага.

Он помнит один летний вечер, когда мальчишки, игравшие в мяч, затихли и подняли головы. Смеркалось. Нота одинокой флейты висела в воздухе, тонкая и пронзительная. Дрозд подхватил ее и пропел из кустов у шлюза. Лодочник с реки ответил дрозду свистом.

1527 год. Кардинал вернулся из Франции и тут же приказал готовить пиры. Ожидались французские послы, чтобы поставить печати на конкордат.[23] Надо расстараться для этих господ, говорит кардинал, расшибиться в лепешку, чтобы им угодить.

27-го августа двор возвращается из Болье, и король впервые с начала июня принимает кардинала. «Вам скажут, его величество принял меня холодно, — говорит Вулси, — это не так. Она…

---

[23] Примечания Ольги Дмитриевой: 23

Имеется в виду договор о вечном мире, заключенный в 1527 г. между старыми противниками — Англией и Францией, сплотившимися ввиду чрезмерного усиления императора Карла после его победы над французами в битве при Павии (1525). Подписание договора расценивается как «дипломатическая революция» в истории взаимоотношений двух стран, достигнутая во многом благодаря усилиям Вулси.

леди Анна, присутствовала, что было, то было».

По большому счету миссия во Францию провалилась. Кардинал не едет в Авиньон под предлогом, что не хочет отправляться в жару на юг. «Однако теперь у меня другой план, лучше. Я попрошу папу прислать мне со-легата и попытаюсь решить королевское дело в Англии».

Покуда вы были во Франции, говорит он, моя жена Элизабет умерла.

Кардинал поднимает голову. Хватается двумя руками за сердце, потом правой стискивает распятие на груди. Спрашивает, как это произошло, слушает. Гладит большим пальцем истерзанное тело Христа, словно обычный металл. Склоняет голову, шепчет: кого Бог любит… Они сидят в молчании. Чтобы нарушить тишину, он начинает задавать кардиналу ненужные вопросы.

На самом деле ему незачем выслушивать отчет о планах прошедшего лета. Кардинал обещал помочь деньгами французской армии, которая отправится в Италию, чтобы выбить оттуда императора. Папа, который утратил не только Ватикан, но и папские области, а его родичей Медичи вышвырнули из Флоренции, будет бла-

годарен Генриху.[24] Но что до продолжительного союза с Францией — тут Кромвель разделяет скептицизм своих приятелей из Сити. Если вы бывали на улицах Парижа или Руана и видели, как мать тянет ребенка за руку, приговаривая: «Перестань ныть, не то англичанина позову», — вы не станете верить в прочность соглашений между двумя государствами. Англичанам никогда не простят того таланта к разрушению, который они проявляют всякий раз, как высаживаются на континенте. Английские войска оставляли за собой пустыню. Словно нарочно задавшись такой целью, англичанин совершал все, что запрещал кодекс рыцарства, преступая все законы войны. Битвы не в счет — след оставляет то, что происходит между битвами. Англичане грабили и насиловали все живое, жгли хлеба на корню — и дома вместе с людьми. Разбив лагерь, вымогали у окрестных жителей плату за каждый день, когда тех не трогали. Убивали священников и вешали их голыми на ярмарочных площадях. Словно язычники, разоряли церкви, уносили

[24] Примечания Ольги Дмитриевой: 24

На самом деле восстановить правление семейства Медичи, уже не в первый раз изгнанного из Флоренции, удалось отнюдь не благодаря англичанам, а с помощью императора Карла, осадившего город. После падения Флоренции он передал власть Алессандро Медичи, племяннику Климента VII.

чаши для причастия, жгли костры из бесценных манускриптов, выкидывали мощи на землю, сдирали покровы с алтарей. Требовали выкуп за тела убитых, а если не получали, сжигали трупы на глазах у родных, без отпевания, без единой молитвы, словно павшую в мор скотину.

Короли могут друг друга простить; обычные жители не прощают. Он не говорит этого Вулси, которому и без того хватает дурных вестей. Покуда кардинал был в отъезде, король отправил для секретных переговоров в Рим собственного посла. Из затеи, разумеется, ничего не вышло. «Но если его величество не вполне со мной откровенен, это весьма печально».

Раньше за королем такого не водилось. Беда в том, что Генрих знает: закон не вполне на его стороне. Знает, но не хочет знать. Король убедил себя, что никогда не состоял в браке, а значит, может жениться. Скажем так: убедил свою волю, но не совесть. Король — большой знаток канонического права, и если в его познаниях и были какие-то пробелы, они восполнены недавними штудиями. Генриха, как младшего брата, готовили к церковному служению, причем на самых высоких постах. «Будь жив брат его величества Артур, — говорит Вулси, — кардиналом был бы

его величество, а не я. А ведь если подумать… Знаете, Томас, я ведь ни разу не отдыхал с тех пор… с тех пор, как взошел на корабль. С того дня, как меня укачало на выходе из Дувра».

Как-то они пересекали Ла-Манш вместе. Вулси лежал в каюте пластом и вопиял к Господу. Томас почти все время проводил на палубе: рисовал паруса, такелаж и умозрительные корабли с умозрительным такелажем, убеждая капитана, что — не сочтите за обиду — можно двигаться быстрее. Капитан посмотрел рисунки, обдумал и сказал: «Когда будете снаряжать собственное торговое судно, можете сделать и так. Разумеется, все добрые христиане примут вас за пиратов, так что не обижайтесь, когда попадете в беду. Моряки, — добавил капитан, — не любят новшеств».

— Их никто не любит, — сказал он тогда. — Насколько я вижу.

В Англии не может быть нового. Может быть старое в новой обертке или новое, раскрашенное под старое. Новые люди, чтобы им доверяли, должны сочинять себе лживые родословные, как Уолтер, или идти на службу к древним семействам. Не пытайся вылезти в одиночку — тебя примут за пирата.

Этим летом, на суше вместе с кардиналом, он

вспоминает тогдашнее путешествие и ждет, когда противник подойдет борт к борту, чтобы схватиться врукопашную.

Однако пока он идет на кухню, чтобы увидеть, как движется подготовка к тому, чтобы ошеломить французских послов. Повара уже пристроили колокольню к сахарному собору Святого Павла, но никак не могут сделать державу и крест. Он говорит: «Слепите марципановых львов — так распорядился кардинал».

Повара закатывают глаза и вздыхают: когда же это закончится?

С возвращения из Франции хозяин необычно ворчлив. Кардинала угнетают не столько явные неудачи, сколько подлые происки за спиной. Против Вулси печатали клеветнические памфлеты — не успеешь скупить одну партию, уже появилась новая. Все воры Франции нацелились на его добро. В Компьени, хотя кардинал велел стеречь свою золотую посуду день и ночь, заметили мальчишку, который бегал по черной лестнице вверх-вниз, передавая блюда взрослому сообщнику.

— И что? Их поймали?

— Большого вора посадили в колодки. Мальчишка сбежал. А ночью какой-то негодяй проник

в мою спальню и выцарапал у окна такое…

На следующее утро луч солнца, пробившись сквозь туман и дождь, осветил изображение виселицы, на которой болталась кардинальская шапка.

Лето вновь выдалось сырым. Он готов поклясться, что не помнит ни одного ясного дня. Урожая не будет. Король и кардинал обмениваются рецептами пилюль. Король, стоит ему чихнуть, откладывает государственные заботы и прописывает себе музицирование либо — если погода позволяет — прогулки в саду. После обеда они с Анной иногда остаются наедине. Сплетники доносят, будто она разрешает королю себя раздевать. Вечерами доброе вино прогоняет озноб, и Анна — она читает Библию — поддерживает его величество строками из Писания. После ужина Генрих впадает в мрачную задумчивость, твердит, что Франциск над ним смеется, что император над ним смеется. С наступлением темноты короля охватывает любовная тоска. Он много пьет и много спит; спит в одиночестве. Просыпается — поскольку он по-прежнему молод и силен — с ясной головой и верой в грядущий день. Вместе со светом дня возрождается надежда.

Вулси не оставляет трудов даже во время болез-

ни: сидит за столом, чихает, жалуется на ломоту в костях.

Задним числом легко понять, когда начался закат кардинала, но в то время они еще не понимали. Оглянись назад и вспомнишь себя на корабле. Горизонт кренится, берег исчез в тумане.

Приходит октябрь. Его сестры вместе с Мерси и Джоанной вытаскивают платья Лиз и кроят из них новую одежду. Ничто не пропадает. Каждый кусок доброй материи на что-нибудь да пойдет.

На Рождество при дворе поют:

Зелен всегда остролист,
Что летом, что зимой.
Так и я, сердцем чист,
Верен тебе одной.

Остролист зеленеет
Круглый год.
Пусть ярится зима, круглый год напролет
Остролист зеленеет.

Остролист зелен всегда,
Цвета он не меняет

Даже в зимние холода,
Когда все увядает.[25]

Весна 1528 года. Томас Мор подходит легким неторопливым шагом, приветливый, открытый, неряшливый.

— Вас-то мне и надо, Томас, Томас Кромвель. Вас-то я и искал.

Томас Мор сердечен, всегда сердечен; ворот рубашки засалился.

— Вы едете в этом году во Франкфурт, мастер Кромвель? Нет? Я думал, кардинал отправит вас на ярмарку, посмотреть, что там еще напечатали еретики. Его милость тратит немало денег на то, чтобы скупать их сочинения, однако поток мерзости не оскудевает.

В своем памфлете против Лютера Мор назвал немца калом. Написал, что рот Лютера — анус мира. Кому бы пришло в голову, что от Томаса Мора могут исходить такие слова? Однако в латинском срамословии этому ученому мужу нет равных.

— Не совсем мое дело, — говорит Кромвель, — еретические книги. Заморских еретиков судят за морем. Церковь везде одна.

— Да, но как только эти библеисты добираются

---

[25] Примечания Ольги Дмитриевой: 25
Пер. А. Петровой.

до Антверпена, сами знаете… Что за город! Ни епископа, ни университета, ни пристойного гнезда учености, ни настоящей власти, чтобы остановить распространение так называемых переводов, которые, на мой взгляд, суть умышленный обман… Но вам это все, разумеется, известно, вы же провели там много лет. А теперь, говорят, Тиндейла[26] видели в Гамбурге. Вы ведь узнали бы его при встрече?

— Как и епископ Лондонский. Да и вы, наверное.

— Правда. Истинная правда. — Мор задумывается, покусывает губу. — И вы скажете, что не дело юриста гоняться за лживыми переводами. Однако я рассчитываю, что найду средство привлечь братьев за крамолу. — Слово «братья» звучит на-

---

[26] Примечания Ольги Дмитриевой: 26

Уильям Тиндейл (Тиндел, Тиндал; ок. 1494–1536) — сторонник Реформации, ученый, переводчик Библии на английский язык, политический писатель. Он задумал осуществить перевод Библии с древнееврейского и греческого текстов, предназначенный для мирян. Не получив поддержки церковных властей в Англии, уехал в Германию, где закончил к 1525 г. перевод Нового Завета, печатные тексты которого нелегально распространялись на континенте и в Англии. Скрываясь в Гамбурге, Тиндейл продолжал работу над текстом Ветхого Завета. Он навлек на себя гнев Генриха VIII, издав труд, в котором утверждал, что развод с Екатериной Арагонской незаконен с точки зрения Писания. Гнев короля был настолько велик, что Генрих обратился к императору Карлу с просьбой задержать Тиндейла и выдать английским властям. Томас Мор вел теологическую полемику с Тиндейлом, которого считал опасным еретиком. В 1535 г. последний был арестован в Антверпене и сожжен на костре неподалеку от Брюсселя в 1536 г., несмотря на

попытки Т. Кромвеля ходатайствовать за него.

рочито глумливо; Мор так и сочится ядом. — Если есть преступление против государства, вступают в силу международные договоренности, и я могу требовать экстрадиции. Пусть отвечают перед более правомочным судом.

— Нашли ли вы крамолу в трудах Тиндейла?

— Ах, мастер Кромвель! — Мор потирает руки. — Беседовать с вами — чистое наслаждение. Я чувствую себя, как мускатный орех, когда его трут на терке. Менее великий человек — менее великий юрист — сказал бы: «Я читал труды Тиндейла и не нашел в них ничего предосудительного». Однако Кромвеля не поймать — он набрасывает на меня мой же аркан, спрашивает, а читали ли *вы* Тиндейла? Да, не стану запираться, читал. Я исследовал его так называемые переводы буква за буквой. Разумеется, я его читаю. С разрешения моего епископа.

— В Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова, сказано: «Кто прикасается к смоле, тот очернится». Если его имя не Томас Мор.

— Ну вот, я знал, что вы читаете Библию! Очень к месту. Но если священник слушает на исповеди о делах блуда, становится ли он блудником? — Мор снимает шапочку и рассеянно принимается ее мять; ясные, усталые глаза стреляют вокруг,

как будто со всех сторон сыплются возражения противников. — И я уверен, что кардинал Йоркский сам дозволил юным богословам в Кардинальском колледже читать сектантские памфлеты. Быть может, его милость распространил свое разрешение и на вас, а?

Странно было бы Вулси давать такое разрешение стряпчему; это вообще дело не законоведов.

— Мы описали круг и вернулись к тому, с чего начали, — говорит он.

Мор улыбается во весь свой большой рот.

— Ну что же, сейчас весна. Скоро начнем водить хороводы вокруг майского дерева. Самая погода для морского путешествия. Вы ведь можете воспользоваться случаем прикупить и перепродать шерсть, или теперь вы предпочитаете стричь людей? И если кардинал попросит вас отправиться во Франкфурт, вы же поедете? Когда его милости угодно разогнать маленький монастырь, если он считает, что монахи, дай им Бог здоровья, староваты и немного выжили из ума, а житницы полны и пруды кишат рыбой, скот жирен, а приор дряхл и тощ… вы, Томас Кромвель, не мешкая, пускаетесь в путь. На север, на юг, на запад, на восток. Вы и ваш маленький подмастерье.

У другого такие слова послужили бы вызовом к

драке, у Томаса Мора это пролог к приглашению на обед.

— Заглядывайте в Челси. У нас всегда интересные беседы, и мы будем рады, если вы к ним присоединитесь. Еда простая, но вкусная.

Тиндейл пишет, что мальчик, моющий посуду на кухне, так же угоден Господу, как проповедник за амвоном или апостол на берегу Галилейского моря. Может быть, думает он, мне не стоит приводить мнение Тиндейла.

Мор похлопывает его по плечу.

— Не собираетесь снова жениться, Томас? Нет? Возможно, вы правы. Мой отец всегда говорит: выбирать жену — все равно что сунуть руку в мешок, где на одного угря приходится шесть змей. Каковы шансы вытащить угря?

— Ваш отец был женат сколько раз, три?

— Четыре. — Улыбка непритворна. Складки собираются в уголках глаз. — Молю о вас Бога, Томас.

И Мор уходит все той же легкой, неторопливой походкой.

Когда умерла первая жена Мора, вторая появилась в доме еще до того, как вынесли гроб. Мор принял бы священный сан, если бы не плоть с ее неуместными потребностями. Не желая быть пло-

хим священником, он стал мужем. Он полюбил девушку шестнадцати лет, но ее семнадцатилетняя сестра была еще не замужем, и Мор женился на старшей, нелюбимой, дабы не уязвлять ее гордость. Невеста была неграмотна; Мор считал, что научит ее читать, но так и не преуспел. Тогда он велел ей учить проповеди наизусть, однако она ворчала и упорствовала в своем невежестве. Мор отвел молодую жену к отцу, и тот предложил ее побить; она так испугалась, что пообещала больше не жаловаться. «И действительно не жаловалась, — рассказывал потом Мор, — но и проповеди ни одной не выучила». Видимо, он считал соглашение успешным: ничья гордость не пострадала. Упрямица рожала ему детей, а когда в двадцать четыре года умерла, он женился на вдове, еще старше и еще упрямее. Она тоже не умела читать. Что ж, если ты потворствуешь плоти и живешь с женщиной, ради блага души выбирай такую, которая тебе неприятна.

Кардинал Кампеджо, которого папа прислал в Англию по просьбе Вулси, до того, как сделаться священником, был женат. Предполагалось, что Кампеджо, более умудренный в таких вопросах, поможет Вулси (ничего не смыслящему в семейных делах) отвратить короля от женитьбы на

даме сердца. Хотя армия императора отступила из города, весенние переговоры не принесли ощутимого результата. Стивен Гардинер съездил в Рим с письмом от кардинала, восхваляющим леди Анну. Целью послания было развеять возможные сомнения папы в разумности королевского выбора. Кардинал долго сидел над письмом, собственноручно перечисляя добродетели леди Анны.

— Женская скромность… целомудрие… Можно написать «целомудрие»?

— Обязательно напишите.

— Вам что-то известно? — Кардинал поднял голову, подождал и снова вернулся к письму. — Способна родить королю детей… Ну, в ее семье все были плодовиты. Любящая и преданная дочь церкви… Может быть, легкое преувеличение… говорят, она держит у себя в покоях Писание на французском и дает его своим служанкам, но я могу и ошибаться.

— Король Франциск дозволяет Библию на французском. Думаю, леди Анна начала читать священные книги еще во Франции.

— Да, но женщины, как вы понимаете… Женщины, читающие Писание, — еще один источник разногласий. Вы знаете, что брат Мартин думает

о женской участи? Мы не должны скорбеть, говорит он, если жена или дочь умирает родами — она всего лишь исполнила то, к чему предназначил ее Господь. Брат Мартин очень суров, непреклонен. А может, на нее клевещут, и она вовсе и не библеистка, просто обижена на церковников. Как бы я хотел, чтобы она не винила в своих бедах меня. Не винила столь яростно.

Леди Анна слала кардиналу дружеские послания, но тот не верил в ее искренность.

— Если бы, — продолжал Вулси, — королевский брак можно было аннулировать, я бы сам отправился в Ватикан, вскрыл себе вены и дал написать документ моей кровью. Как вы полагаете, узнай это Анна, она успокоится? Нет, не думаю, но если увидите кого-то из Болейнов, сделайте им такое предложение. Кстати, мне кажется, вы знакомы с неким Хемфри Монмаутом. Это он полгода прятал у себя Тиндейла, прежде чем тот скрылся неведомо куда. Говорят, он по-прежнему шлет тому деньги. Явная нелепость: если Тиндейл неведомо где, как бы Монмаут знал, куда их слать? Монмаут… я просто упомянул его имя. Потому что… хм, почему же? — Кардинал закрыл глаза. — Потому что просто упомянул.

Тюрьмы епископа Лондонского уже полны,

схваченных сектантов и лютеран бросают в Ньюгейт и во Флит вместе с обычными преступниками. Там их держат, пока они не отрекутся и не принесут публичное покаяние. Повторного снисхождения не будет: тех, кого после покаяния вновь уличили в ереси, сжигают на костре.

Когда приставы врываются в дом Монмаута, они не находят уличающих писаний, словно хозяина кто-то предупредил: ни книг, ни писем от Тиндейла и других единоверцев. Тем не менее его уводят в Тауэр. Семья перепугана. Монмаут — добрый человек и заботливый отец, торговец сукном, уважаемый в гильдии и во всем Сити. Он любит бедных и, даже когда спрос невелик, покупает ткань, чтобы поддержать ткачей. Без сомнения, его надеются сломить — пока хозяин в тюрьме, дело чахнет. Впрочем, его выпустят за отсутствием улик: кучка золы в камине — не доказательство.

Монмаут и сам стал бы кучкой золы, будь на то воля Томаса Мора.

— Так и не заглянули к нам, мастер Кромвель? По-прежнему преломляете черствый хлеб в подвалах? Бросьте, мой язык острее, чем вы заслуживаете. Лучше нам быть друзьями, сами понимаете.

Это звучит угрозой. Мор уходит, качая головой. Лучше нам быть друзьями.

Зола, черствый хлеб. Англия всегда была, говорит кардинал, несчастной страной, прибежищем изгоев, которые долго и трудно идут к своему избавлению, преследуемые карой Божьей. Если на английской земле и впрямь лежит Господне или какое иное проклятие, пришло время золотому королю и золотому кардиналу его снять — по крайней мере, так казалось. Однако золотые годы минули, и нынешней зимой море замерзнет — те, кто это увидит, будут помнить увиденное до конца дней.

Джоанна переехала в Остин-фрайарз вместе с мужем Джоном Уильямсоном и дочерью — маленькой Джоанной, которую дети зовут просто Джо, считая, что она еще не доросла до полного имени. Джон Уильямсон нужен Кромвелю в делах.

— Томас, — наседает на него Джоанна, — чем именно ты сейчас занимаешься?

— Тем, чтобы у людей стало больше денег, — отвечает он. — Есть разные способы этого добиться, и Джон будет мне помогать.

— Но Джону не придется иметь дел с милордом кардиналом?

Ходят слухи, будто некие влиятельные люди обратились к королю с жалобой на кардинала по поводу закрытия монастырей, и король передал жалобу Вулси. Эти люди не думают о добрых целях, на которые кардинал пустил монастырские доходы, о колледжах и школярах, которые там учатся, об основанных кардиналом библиотеках. Им самим лишь бы поживиться, вот они и делают вид, будто верят, что несчастных монахов вышвырнули на улицу. Это неправда. Монахов перевели в другие монастыри, крупные, находящиеся под управлением более умелых приоров. Самых молодых — юнцов, не чувствующих призвания к монашеской жизни, — отпустили. Расспрашивая их, он часто натыкается на полное невежество, опровергающее уверения, будто аббатства распространяют свет учености. Мальчишки могут с грехом пополам пробубнить латинскую молитву, но вопрос: «А теперь объясни мне, что это значит?» — ставит их в тупик. «Что значит, сударь?» — переспрашивают они, словно думают, что смысл привязан к словам еле-еле — дерни чуть посильнее, и ниточка оборвется.

— Не волнуйся из-за того, что болтают люди, — говорит он Джоанне. — Я за все отвечаю сам.

Кардинал выслушал жалобу с высокомерным

безразличием и записал имена кляузников, а список передал своему слуге Кромвелю. Его милость занимают другие мысли: о новых домах с гербом Вулси над входом, о колледжах, куда он переманил лучших молодых преподавателей из Кембриджа. Перед Пасхой случились неприятности: декан обнаружил у шести новоприбывших запрещенные книги. Заприте их, сказал Вулси, и постарайтесь урезонить. Если будет не слишком жарко и не слишком сыро, я, может быть, приеду и сам с ними потолкую.

Бесполезно объяснять все это Джоанне. Ей всего лишь хочется убедиться, что мужа не затронет направленная против кардинала хула.

— Наверное, ты знаешь, что делаешь. — Она вскидывает глаза. — Во всяком случае, Том, на простачка ты не похож.

Ее голос, звук шагов, ехидная улыбка и поднятые брови — все напоминает ему Лиз. Иногда он оборачивается, думая, что это Лиз вошла в комнату.

Грейс запуталась в родственниках. Она знает, что маминого первого мужа звали Том Уильямс — его поминают на семейной молитве. А дядя Уильямсон — его сын? — спрашивает она.

Джоанна пытается объяснить.

— Не трать слов, — говорит Энн, постукивая тоненькими пальчиками по расшитому мелким жемчугом чепцу. — Она у нас глупая.

Позже он говорит ей:

— Грейс не глупая, просто маленькая.

— Я в ее возрасте такой тупой не была.

— Все тупые, кроме нас? Так?

Судя по лицу, Энн более или менее согласна с этим утверждением.

— Зачем люди женятся? — спрашивает она.

— Чтобы завести детей.

— Лошади не женятся, а жеребята у них есть.

— Большинство людей, — отвечает он, — считает, что вместе им лучше.

— Это верно, — радуется Энн. — А я могу выбрать себе мужа?

— Конечно, — говорит он, подразумевая, что по его совету.

— Тогда я выбираю Рейфа.

Минуту, даже две минуты он думает, что его жизнь еще может выправиться. Потом соображает: как же я уговорю Рейфа подождать? Даже пять лет спустя Энн будет еще слишком юна.

— Знаю, — говорит она. — А время тянется так медленно.

Верно: мы всю жизнь как будто чего-то ждем.

— Сдается, ты хорошо все обдумала, — произносит он. Нет надобности втолковывать, чтобы она держала свои мысли при себе; Энн сама знает, когда говорить, а когда смолчать. В разговоре с этой маленькой женщиной не нужны уловки, которых обычно требует ее пол. Она не похожа на цветок или соловья, скорее… скорее на предприимчивого торговца. Пристальный взгляд, чтобы оценить твои намерения, и по рукам.

Она снимает чепец, крутит пальцами жемчужины, тянет локон, распрямляя во всю длину. Потом сворачивает волосы в жгут и оборачивает вокруг шеи.

— Я могла бы обернуть их дважды, — говорит Энн, — будь у меня шея потоньше. — В голосе ясно слышится нетерпение. — Грейс считает, что я не могу выйти замуж за Рейфа, потому что мы родственники. Она думает, все, кто живет в одном доме, двоюродные.

— Вы с Рейфом не родственники.

— Точно?

— Точно. Энн… надень сейчас же чепец. Что скажет твоя тетя?

Энн корчит гримасу — получается очень похоже на тетю Джоанну — и говорит:

— Томас, ты всегда так в себе уверен!

Он поднимает руку, пряча улыбку. На мгновение «Джоанна» становится не такой строгой.

— Надень чепец, — мягко повторяет он.

Энн натягивает чепец на голову. Она такая маленькая, думает он, и все равно ей больше подошел бы шлем.

— А откуда взялся Рейф? — спрашивает она.

Рейф взялся из Эссекса, где тогда жил его отец, Генри Сэдлер, эконом сэра Эдварда Белкнепа. Сэр Эдвард состоял в родстве с Греями, а через них — с маркизом Дорсетским; маркиз покровительствовал Вулси, когда тот учился в Оксфорде. Так что да, родство в этой истории фигурирует; не пробыв в Англии двух лет, он, Кромвель, уже в некотором смысле стал близок кардиналу, хотя еще ни разу не видел великого человека воочию. С Дорсетами его связывали дела — он вел несколько их запутанных тяжб и одновременно раздобывал для старой маркизы то ковер, то балдахин на кровать. Для нее весь мир состоял из челяди. Отправляйтесь туда. Принесите это. Если маркиза хотела омара или осетра, то заказывала их, и точно так же заказывала хороший вкус. Маркиза гладила флорентийские шелка, тихонько охая от удовольствия. «Чудесная покупка, мастер Кромвель, — говорила она. — Ваша следующая задача

— придумать, чем мы за них заплатим».

Где-то в этом лабиринте хлопот и обязанностей он свел знакомство с Генри Сэдлером и согласился взять в дом его сына. «Научите Рейфа всему, что знаете», — не без робости попросил Генри. Он договорился, что заберет мальчика на обратном пути, когда покончит с делами в этой части графства, но выбрал неудачный день: лил дождь, дороги развезло, ветер гнал тучи с побережья. Когда он спешился в луже у двери, было чуть больше двух, но уже темнело. Генри Сэдлер сказал, оставайтесь, вы все равно не успеете в Лондон до закрытия ворот. Я должен быть дома сегодня, ответил он. Завтра у меня дела при дворе, а потом придут кредиторы леди Дорсет — сами знаете, как это бывает… Мистрис Сэдлер боязливо покосилась на окно, потом на сына, которого — в семь лет — доверяла дорогам и непогоде.

Ничего особенного, обычное дело, но Рейф был так мал, что он, Кромвель, чуть не почувствовал себя бессердечным. Детские локоны недавно обстригли, и рыжие волосы топорщились на макушке. Отец и мать, стоя на коленях, гладили Рейфа по спине. Потом мальчика обмотали и обвязали шалями так, что тот стал похож на бочонок. Он глядел на будущего воспитанника, на

дождь за окном и думал: а ведь я мог бы сидеть сейчас в сухости и тепле. Как другим это удается? Мистрис Сэдлер прижала ладони к щекам сына и зашептала: «Помни все, чему мы тебя учили. Читай молитвы. Мастер Кромвель, пожалуйста, следите, чтобы он не забывал молиться».

Она подняла мокрые от слез глаза, и он понял: ребенку этого не выдержать, мальчик дрожит под своим тряпьем и сейчас ударится в рев. Поэтому он плотнее закутался в плащ — несколько капель упало на пол, окропив сцену. «Ну, Рейф? Если ты мужчина… — и протянул руку в перчатке. Детская ручонка скользнула в нее. — Посмотрим, как далеко мы можем ускакать».

Мы выйдем быстро, чтобы ты не оглядывался, подумал он. Ветер и дождь прогнали родителей от открытой двери. Он забросил Рейфа в седло. Дождь бил почти горизонтально. Ближе к Лондону ветер утих. Кромвели жили тогда на Фенчерч-стрит. В дверях слуга хотел принять Рейфа на руки, но он сказал: «Мы, утопающие, должны держаться друг за друга».

Ноша казалась необычно тяжелой — съежившееся обмякшее тельце под семью слоями промокшей шерсти. Он поставил Рейфа перед огнем, и от того сразу повалил пар. Проснувшись

в тепле, мальчик принялся замершими пальцами распутывать свои платки, потом вежливо, отчетливо спросил, что это за место.

— Лондон. Фенчерч-стрит. Дом.

Он взял льняное полотенце и мягко промокнул мальчику лицо, потом вытер голову, отчего волосы у Рейфа встали торчком. Вошла Лиз. «Силы небесные, это мальчик или еж?» Рейф посмотрел на нее, улыбнулся, да прямо так, стоя, и заснул.

Когда летом 1528 года вернулась потовая лихорадка, люди, как и в прошлом году, говорили: если не думать о ней, не заболеешь. Однако как не думать? Он отправил девочек за город — сперва в Степни, затем дальше. На сей раз поветрие затронуло и двор. Генрих пытался убежать от болезни, переезжая из одного охотничьего дома в другой. Анну отправляют в Хивер. Лихорадка настигла Болейнов. Первым слег отец Анны, однако остался в живых; умер муж ее сестры Марии. Следом заболела Анна, но через сутки она уже была на ногах. Правда, болезнь может обезобразить. Даже и не знаешь, о каком исходе молиться, говорит он кардиналу.

Тот отвечает:

— Я молюсь за королеву Екатерину… и за любезнейшую леди Анну. Молюсь за войска короля

Франциска в Италии, чтобы Господь даровал им успех, но не слишком большой — иначе они забудут, что нуждаются в дружбе и союзничестве короля Генриха. Молюсь о его королевском величестве и советниках его королевского величества, о зверях полевых, и о святейшем отце, и о курии, да направит Господь ее решения. Молюсь о Мартине Лютере, и о всех, зараженных его ересью, и обо всех, кто против него воюет, особливо же о канцлере герцогства Ланкастерского, нашем дорогом друге Томасе Море. Вопреки всякому здравому смыслу и свидетельству собственных глаз, я молюсь об урожае и о том, чтобы дождь перестал. Я молюсь обо всех. Обо всем. Это и значит быть кардиналом. И только когда я говорю Богу: «Ну, а как насчет Томаса Кромвеля?», Господь отвечает мне: «Вулси, что я тебе говорил? Неужто ты не понимаешь, когда следует уняться?»

Поветрие достигает Хэмптон-корта, и кардинал затворяется от мира. Только четырем слугам дозволено входить во внутренние покои. У кардинала, когда он наконец оттуда выходит, вид такой, будто он и вправду молился.

В конце лета девочки возвращаются в Лондон. Обе заметно подросли, у Грейс волосы выгорели на солнце. Она сторонится отца, и он думает:

неужто, глядя на меня, она вспоминает одно — как я нес ее на руках вечером того дня, когда умерла Лиз? Энн говорит, на следующее лето, что бы ни случилось, я хочу остаться с тобой. Болезнь отступила, но в остальном молитвы кардинала не так успешны — в стране недород, французские войска в Италии терпят поражение за поражением, а их предводитель умер от чумы.

Приходит осень. Грегори пора возвращаться к своему наставнику. Мальчик едет с неохотой, это очевидно, хотя это почти все, что ему очевидно в отношении сына. Он спрашивает, в чем дело, но не получает ответа. С другими мальчик весел и оживлен, с отцом — настороженно-вежлив, словно держит официальную дистанцию. «Неужто Грегори меня боится?» — спрашивает он Джоанну.

Язык у Джоанны острей иглы и так же проворен.

— Он не монах; с чего бы? — бросает она. Потом смягчается. — Томас, с какой стати ему тебя бояться? Ты добрый отец. На мой взгляд, даже чересчур.

— Если он не хочет возвращаться к наставнику, я отправлю его в Антверпен к моему другу Стивену Воэну.

— Грегори никогда не станет дельцом.

— Верно. — Трудно себе представить, что Грегори торгуется из-за процентов с агентом Фуггера или ухмыляющимся представителем Медичи. — Так что мне с ним делать?

— Я тебе скажу: как только еще немного подрастет, жени его на девушке из хорошей семьи. Грегори — джентльмен, это сразу видно.

Энн хочет учить греческий. Он думает, кого бы пригласить в учителя, спрашивает знакомых. Ему хочется, чтобы это был кто-то молодой, умный — человек, который поселится в доме и с которым будет приятно беседовать за ужином. У сына и племянников наставник неудачный, однако теперь поздно что-либо менять. Вот ведь вздорный старый брюзга! Как-то один из мальчиков устроил в комнате пожар, потому что читал в постели при свече. «Но ведь это, как я понимаю, был не Грегори?» — спросил он тогда, и учитель обиделся, усмотрев в вопросе неуместную шутку. И еще вечно присылает счета, которые, кажется, уже давно оплачены. Ему нужен домашний счетовод.

Он сидит за столом, заваленным планами и сметами из Ипсвича и Кардинальского колледжа, проектами будущих садов Вулси, и разглядывает

шрам на ладони — давнюю метку от ожога, похожую на обрывок веревки. Думает о Патни. Об Уолтере. Вспоминает нервную лошадь в кузне, запах пивоварни. Вспоминает ламбетскую кухню и белобрысого мальчишку, который приносил угрей. Как-то он схватил этого мальчишку за волосы, окунул лицом в чан с водой и держал. Неужто я и впрямь это сделал? — думает он. Зачем? Наверное, кардинал прав, я безнадежный грешник. Шрам твердый, будто выступающая косточка, и временами чешется. Он думает: мне нужен счетовод. Мне нужен учитель греческого. Мне нужна Джоанна. Но кто сказал, что я получу все, что мне нужно?

Он вскрывает письмо от священника Томаса Берда, который пишет, что кардинал должен ему столько-то денег. Делает пометку: проверить и заплатить, потом снова берет письмо. Там говорится о неких Клерке и Самнере. Имена ему известны — они были в числе тех шестерых оксфордцев, у которых нашли лютеранские книги. Заприте их, сказал тогда кардинал, заприте и урезоньте. Он отводит взгляд от письма, чувствуя приближение чего-то дурного: по стене скользнула тень.

Читает. Клерк и Самнер умерли, пишет Берд,

надо известить кардинала. За неимением более подходящего места, декан запер их в погребе, глубоком холодном погребе для рыбы. Даже туда, в ледяную тишь, проникла летняя зараза. Они умерли в темноте, без исповеди.

Все лето мы молились, но, значит, недостаточно. Неужто кардинал забыл о своих еретиках? Надо сообщить его милости.

Первая неделя сентября. Подавляемое горе перерастает в ярость. Но что проку от ярости? Ее тоже надо подавлять.

Однако в конце года, когда Вулси спрашивает: «Томас, что подарить вам на Новый год?» — он говорит: «Подарите мне Маленького Билни». И не дожидаясь ответа, добавляет:

— Милорд, он в Тауэре с прошлой зимы. Тауэр способен напугать любого, а Билни робок и слаб. Боюсь, его содержат слишком строго. Вы помните, как умерли Самнер и Клерк? Милорд, употребите свое влияние, напишите письма, обратитесь с прошением к королю. Добейтесь, чтобы его отпустили.

Кардинал откидывается в кресле и складывает пальцы.

— Томас. Томас Кромвель. Очень хорошо. Но отец Билни должен вернуться в Кембридж и

оставить всякую мысль о поездке в Рим, чтобы направить папу на путь истинный. Подземелья Ватикана очень глубоки, туда не дотянуться даже мне.

Он чуть не говорит: «Вам даже до подвалов собственного колледжа не дотянуться», но вовремя прикусывает язык. Ересь — легкий ее налет — поблажка, которую дает своему слуге кардинал. Его милость не прочь выслушать отчет о последних вредных сочинениях и сплетни из Стил-ярда, где живут немецкие купцы, обсудить после ужина текст-другой. Однако все спорное, прежде чем передать кардиналу, следует оплести тончайшей паутиной слов. Всякое опасное мнение надо так обложить шутливыми оправданиями, чтобы оно стало мягким и безобидным, словно подушка. Да, когда милорду сообщили о смерти в погребе, его милость даже всплакнул. «Как же я ничего не знал? Такие замечательные молодые люди!»

В последние месяцы у кардинала глаза на мокром месте, однако это не означает, что слезы менее искренни. Вот и сейчас его милость смахивает слезинку, поскольку знает всю историю: Маленький Билни в Грейз-инн, поляк из Штеттина, сбитые с толку посланцы, растерянные дети, лицо Элизабет Кромвель, застывшее в по-

смертной суровости. Кардинал подается вперед и говорит:

— Томас, пожалуйста, не отчаивайтесь. У вас есть дети. И не исключено, что со временем вы захотите жениться снова.

Я — ребенок, думает он, которого нельзя утешить. Кардинал накрывает его руку своей. Драгоценные камни поблескивают, являя таинственные глубины: гранат словно кровяной пузырь, бирюза с серебристым налетом, алмаз с желтовато-серой искрой, как глаз кошки.

Он никогда не расскажет кардиналу про Марию Болейн, как бы порой ни тянуло. Кардинал может посмеяться, может возмутиться. Надо как-то протащить общее содержание без контекста.

Осень 1528 года: он при дворе по кардинальским делам. Мария бежит к нему, приподняв юбки, так что видны зеленые шелковые чулки. Не сестра ли Анна за нею гонится? Он ждет.

Мария резко останавливается.

— Ах, это вы!

Он и не думал, что Мария Болейн его знает. Она хватается одной рукой за стенную панель, другой — за его плечо, будто он часть стены. Мария по-прежнему обворожительна: белокурая, пухленькая. Она запыхалась от бега.

— Мой дядя… сегодня утром. Мой дядя Норфолк. Метал в вас громы и молнии. Я спросила сестру, кто этот ужасный человек, и она сказала…

— Тот, кого не отличить от стены?

Мария отдергивает руку. Смеется, краснеет, силится раздышаться, грудь под платьем ходит ходуном.

— На что сетовал милорд Норфолк?

— О… — Она начинает обмахиваться рукой. — Он сказал, кардиналы, легаты, от них в Англии никакой жизни. Он сказал, кардинал Йоркский разоряет знатные семейства: хочет править сам, а лорды чтобы дрожали, как мальчишки, которых могут в любую минуту выпороть. Разумеется, вам не обязательно меня выслушивать…

Мария выглядит такой хрупкой… Она еще не отдышалась, но он взглядом просит ее продолжать.

— Мой брат Джордж тоже бушевал. — Смешок. — Мол, кардинал Йоркский родился в приюте для бедных и взял себе на службу человека, который родился в канаве. Милорд мой отец сказал, милый мальчик, ты ничего не потеряешь, если будешь строго придерживаться истины: не в канаве, а в пивоварне, ибо он определенно не джентльмен. — Мария отступает на шаг. — А вы похожи на джентльмена. Мне нравится этот

серый бархат, откуда он?

— Из Италии.

Теперь он уже не стена, а кое-что получше — Мария вновь кладет руку ему на плечо, рассеянно гладит ткань.

— А не могли бы вы раздобыть мне такой же? Впрочем, наверное, для женщины такой цвет мрачноват?

Она не сказала «для вдовы», думает он, однако мысль, видимо, отражается на его лице, потому что Мария говорит:

— Да, конечно. Уильям Кэри умер.

Он склоняет голову и тщательно подыскивает слова — Мария его пугает.

— Двор о нем скорбит. Как и вы.

Вздох.

— Он был добрый. Учитывая обстоятельства.

— Вам, наверное, приходилось нелегко.

— Когда король перенес свое внимание на Анну, он думал, будет как во Франции. Думал, она согласится… занять некое положение при дворе. И в его сердце, как он выразился. Обещал порвать со всеми другими любовницами. Письма, которые он писал ей собственной рукой…

— Вот как?

Кардинал говорит, короля ни за что не убедишь

написать письмо. Даже другому королю. Даже папе. Даже если от этого зависит успех дела.

— Да, с прошлого лета. Он пишет и там, где стояло бы «Henricus Rex»… — Мария берет его руку и рисует пальцем на ладони. — Вместо подписи он рисует сердце, а внутри сердца — инициалы, его и ее. Ой, не смейтесь… — Она сама невольно улыбается. — Он говорит, что страдает.

Ему хочется сказать, Мария, а нельзя ли выкрасть для меня эти письма?

— Сестра говорит, здесь не Франция, а я не такая дурочка как ты, Мария. Она знает, что я была любовницей Генриха и он меня бросил. Отсюда она извлекла урок.

Он задерживает дыхание, но ее уже не остановить — она решила выговориться во что бы то ни стало.

— Я вам скажу, они поженятся, чего бы это ни стоило. Дали друг другу такую клятву. Анна говорит, что выйдет за него, и гори они все синим пламенем, Екатерина с ее испанцами. Генрих всегда получает, что хочет, и Анна тоже, можете мне поверить — уж я-то их знаю, как никто. — В глазах у нее блестят слезы. — Вот почему я горюю по Уильяму Кэри. Она теперь все, а меня надо вымести после ужина, словно солому с пола. Отец

говорит, я нахлебница, а дядя Норфолк называет меня шлюхой.

Как будто не он вас такой сделал.

— У вас нехватка в деньгах?

— О, да! — говорит Мария. — Да, да, да и никто не хочет об этом думать! Вы первый, кто спросил. У меня дети. Вам это известно. Мне нужно… — Губы у нее дрожат, и она прижимает к ним палец, чтобы унять дрожь. — Вы видели моего сына… как по-вашему, почему я назвала его Генри? Король мог бы признать его, как признал Ричмонда, но моя сестра не разрешила. Он во всем ей потворствует. Она намерена сама родить ему принца и не хочет, чтобы рядом был мой.

Кардиналу докладывали: сын Марии Болейн — здоровый золотисто-рыжий мальчуган с отменным аппетитом. У нее есть и дочь, постарше, но в данном случае дочери никого не интересуют.

— Сколько лет вашему сыну, леди Кэри?

— В марте будет три. Моей дочери Кэтрин пять. — Она испуганно прикрывает рукой рот. — Ой, я и забыла, что у вас умерла жена. Как я могла?

Да откуда вам вообще знать, удивляется он, но она тут же отвечает:

— Про людей кардинала Анна знает все. Она

задает вопросы и записывает ответы в книжечку. — Мария поднимает на него глаза. — А дети у вас есть?

— Да… а знаете, у меня ведь тоже никто до вас этого не спрашивал. — Он прислоняется плечом к стене, Мария подступает чуть ближе, и, может быть, их лица немного мягчеют — двое заговорщиков, объединенные болью утрат, на мгновение сбрасывают маску несокрушимой стойкости.

— У меня взрослый мальчик, в Кембридже, с наставником. И маленькая девочка по имени Грейс, она хорошенькая и белокурая, в отличие от меня… Моя жена была не красавица, а я таков, каким вы меня видите. И еще у меня есть дочь Энн. Она хочет учить греческий.

— Бог ты мой!.. Для женщины это…

— Да, но она говорит: «Почему дочке Мора можно, а мне нельзя? За что ей такая преференция?» Она знает множество умных слов, и умеет их использовать.

— Она ваша любимица.

— С нами живут ее бабушка и моя свояченица, но это не… для Энн это не самое удобное. Мне следовало бы отдать ее в другой дом, да только… ну, греческий… и вообще я и так ее почти не вижу. — Ему кажется, что он уже давно не говорил

так долго, разве что с Вулси. — Ваш отец должен обеспечивать вас как подобает. Я попрошу кардинала с ним побеседовать.

Кардиналу понравится, думает он про себя.

— Однако мне нужен новый муж. Чтобы меня не обзывали всякими словами. Кардинал может раздобыть женщине мужа?

— Кардинал может все. Какого мужа вы хотите получить?

Мария задумывается.

— Чтобы он заботился о моих детях. Защищал меня от родных. И не умер.

Она сводит пальцы.

— Вам следовало добавить: молодого и красивого. Кто не просит, тот не получает.

— Правда? Мне в детстве внушали другое.

Коли так, вам внушали не то же самое, что вашей сестре, думает он.

— В придворном спектакле, помните, в Йоркском дворце… вы были Красотой или Добротой?

— Ой, — смеется она, — это было семь лет назад, я и не помню. Я кем только не наряжалась.

— Вы по-прежнему и красивы, и добры.

— Я тогда только об этом и думала: как бы нарядиться. А вот Анну помню. Она была Упорством.

Он говорит:

— Этой ее главной добродетели предстоит трудное испытание.

Кардинал Кампеджо приехал из Рима с указанием тянуть время. Делайте что угодно, ищите любые поводы для отсрочки, но не выносите окончательного решения.

— Анна все время что-нибудь пишет — или письма, или у себя в книжечке. И ходит: взад-вперед, взад-вперед. Когда она видит милорда отца, то поднимает руку, мол, не заговаривайте со мной, а когда видит меня, то щиплет. Вот так… — Мария пальцами левой руки показывает в воздухе, как сестра ее щиплет. Потом гладит себя по горлу, отыскивая пульсирующую ямочку над ключицами. — Вот сюда. Иногда у меня остаются синяки. Она хочет меня изуродовать.

— Я поговорю с кардиналом, — обещает он.

— Поговорите. — Мария ждет.

Ему надо идти. У него дела.

— Я больше не хочу быть Болейн, — говорит она. — Или Говард. Признай король моего сына, все было бы иначе, а так я больше не хочу балов и спектаклей с переодеванием в Добродетели. Нет у них никаких добродетелей, одно притворство. Раз они не желают меня знать, и я не хочу иметь с ними ничего общего. Лучше я буду побираться…

— Полноте, леди Кэри, в этом не будет нужды.

— А знаете, чего я хочу? Мужа, который задаст им страху. Я хочу выйти за человека, которого они боятся.

Голубые глаза вспыхивают внезапной мыслью. Мария кладет тонкий пальчик на приглянувшийся ей серый бархат и тихо произносит:

— Кто не просит, тот не получает.

Заполучить Томаса Говарда дядей? Томаса Болейна — тестем? Короля, со временем, свояком?

— Они вас убьют, — говорит он, чувствуя, что объяснять ничего не нужно.

Она смеется, закусывает губу.

— Конечно. Конечно убьют. О чем я думаю! В любом случае, спасибо за то, что вы уже для меня сделали. Подарили мне целое спокойное утро — потому что когда они ругают вас, они не ругаются на меня. Когда-нибудь, — продолжает Мария, — Анна пригласит вас поговорить. Она пошлет за вами, и вы будете польщены. Она спросит совета или поручит вам какое-нибудь мелкое дело. Так вот, пока этого не произошло, выслушайте от меня совет: развернитесь и быстро идите в другую сторону.

Она целует кончики пальцев и прикладывает их к его губам.

Сегодня он кардиналу не нужен, поэтому едет домой в Остин-фрайарз. Главное желание — оказаться как можно дальше от всех Болейнов, сколько их ни есть. Некоторых, возможно, пленила бы женщина, спавшая с двумя королями, но только не его. Он думает про Анну — с какой стати ей его приглашать? Возможно, у нее какие-то сведения от тех, кого Томас Мор зовет «вашим евангелическим братством», хотя странно: Болейны не слишком заботятся о спасении души. У дяди Норфолка, который ненавидит всякую мысль и вряд ли хоть когда-нибудь заглядывает в книги, для этой цели есть священники. Брат Джордж любит женщин, охоту, наряды, драгоценности и теннис. Сэр Томас Болейн, обворожительный дипломат, интересуется только собой.

Ему хочется рассказать кому-нибудь о встрече с Марией, но рассказывать никому нельзя, и он делится только с Рейфом.

— Думаю, вы неправильно поняли. — Слушая про сердце с инициалами, Рейф широко распахнул голубые глаза, но даже не улыбнулся. Историю с предложением брака юноша находит неправдоподобной. — Она наверняка имела в виду что-то другое.

Он пожимает плечами; как тут еще можно

понять.

— Герцог Норфолкский нас бы с костями съел, — качает головой Рейф. — Прискакал бы сюда и поджег наш дом.

— Но щипки? От них какая защита?

— Доспехи, больше ничего, — отвечает Рейф.

— Могут пойти пересуды.

— А никто не смотрит нынче на Марию Болейн, — говорит юноша и добавляет укоризненно: — Кроме вас.

С приездом в Лондон папского легата квазикоролевский двор Анны Болейн распадается. Король не хочет путаницы: Кампеджо здесь по вопросу его брака с Екатериной, никак не связанного, настаивает король, с чувствами к леди Анне. Анна уезжает в Хивер и забирает с собой сестру. В Лондон просачиваются слухи, что Мария беременна. Рейф спрашивает: «При всем уважении, хозяин, вы точно только к стене прислонялись?» Родственники покойного мужа утверждают, что ребенок не его, король, по собственным словам, тоже ни при чем. Печально видеть, как охотно многие решают, что король лжет. Как-то приняла новость Анна? В глуши у нее будет много времени злиться. «Она исщиплет Марию до синяков», — замечает Рейф.

Все вокруг пересказывают ему сплетню, не зная, насколько близко она его затрагивает. Он опечален и думает: что это за порода такая, болейновская? Все, происшедшее между ним и Марией, видится и слышится теперь совершенно иначе. Мурашки бегут по коже при мысли, что, поддайся он тогда на лесть, скажи «да», вскоре он стал бы отцом ребенка, не похожего на Кромвелей, но очень похожего на Тюдоров. Уловка, конечно, отменная. Мария, несмотря на кукольную внешность, отнюдь не дурочка. Когда она бежала по галерее, показывая зеленые чулки, ее цепкий взгляд выискивал жертву. Люди для Болейнов — вещь, которую можно использовать и выбросить. Им нет дела до чужих чувств, имени, репутации.

Смешно. Как будто у Кромвелей есть имя. Или репутация, которую нужно беречь.

Слухи слухами, однако ничего не происходит. Возможно, Мария ошиблась, или ее оклеветали по злобе: видит Бог, Болейнов есть за что не любить. Или беременность была, но закончилась выкидышем. Сплетни утихают. Ребенка нет. Это почти как в тех странных сказках, которые так любит кардинал, где природа извращена, а женщины-змеи исчезают и появляются по собственному желанию.

У королевы Екатерины тоже был ребенок, который исчез. В первый год брака с Генрихом у нее случился выкидыш, но врачи говорили, что она носит двойню. Кардинал отлично помнит ее в ослабленном корсете и с загадочной улыбкой на лице. Какое-то время ее не видели, затем она вновь появилась — туго зашнурованная, с плоским животом и без ребенка.

Наверное, это что-то специфически тюдоровское.

Некоторое время спустя он слышит, что Анна взяла под свою опеку Генри Кэри. Интересно, не собирается ли она отравить племянника. Или съесть.

Новый 1529 год. Стивен Гардинер в Риме угрожает папе Клименту от имени короля; содержание угроз кардиналу не сообщают. Климент и в лучшие-то времена довольно пуглив; не удивительно, что когда мастер Стивен дышит серой ему в уши, он заболевает. Из Рима доносят, что папа при смерти; агенты кардинала по всей Европе прощупывают почву и закидывают крючки, бодро позвякивая монетами в кошельках. Если Вулси станет папой, все королевские затруднения разрешатся в одночасье. Кардинал легонько ворчит: его милость любит свою страну, майские

гирлянды, щебет птиц, и с ужасом думает о приземистых злобных итальянцах, лесах из виселиц, усеянных трупами равнинах.

— Вам придется поехать со мной, Томас. Вы будете стоять рядом и действовать быстро, если какой-нибудь кардинал попытается меня заколоть.

Он представляет своего господина, утыканного кинжалами, как святой Себастьян — стрелами.

— Почему папа должен жить в Риме? Где это сказано?

По лицу кардинала медленно расплывается улыбка.

— Перенести Святой престол сюда? Отличная мысль! А почему бы и нет? — Вулси любит смелые планы. — В Лондон, наверное, не удастся. Будь я архиепископом Кентерберийским, я бы мог держать свой папский двор в Ламбетском дворце, но старый Уорхем невероятно живуч… вечно он у меня на пути.

— Ваша милость может переехать в собственную епархию.

— Йорк слишком далеко. А что если Винчестер? Древняя столица Англии. И к королю близко.

Очень интересно получится. Король ужинает с папой, который в то же время его лорд-канцлер…

Должен ли будет король подавать его святейшеству салфетку?

Когда приходит известие о выздоровлении Климента, кардинал никак не выказывает разочарования, только говорит: Томас, что нам делать дальше? Надо открывать суд легатов,[27] больше тянуть нельзя. Разыщите и доставьте мне человека по имени Антони Пойнс.

Он стоит, скрестив руки, и ждет более внятных указаний.

— Скорее всего, он на острове Уайт. И еще привезите сэра Уильяма Томаса — думаю, его можно найти в Кармартене. Он стар, так что велите своим людям ехать, не торопясь.

— Я не держу людей, которые мешкают. — Он кивает. — Впрочем, я понял. Не уморить свидетеля по дороге.

Суд по важнейшему королевскому вопросу близится. Генрих намерен доказать, что королева Екатерина, когда он на ней женился, была уже не девственница, то есть ее с Артуром брак осуще-

---

[27] Примечания Ольги Дмитриевой: 27

Поскольку кардинал Вулси обладал статусом папского легата в Англии, как и прибывший сюда кардинал Лоренцо Кампеджо, два прелата могли провести от имени папы слушания по делу о разводе короля. Вулси старался обеспечить благоприятный для короля исход, однако Кампеджо всячески затягивал разбирательство. Неспособность Вулси быстро добиться желаемого навлекла на кардинала гнев короля и опалу.

ствился. Для этой цели собирают джентльменов, бывших при августейшей чете после свадьбы в Байнардском замке, затем в Виндзоре, куда двор переехал в ноябре того года, и, наконец, в Ладлоу, куда молодых отправили играть в принца и принцессу Уэльских. «Артур, — говорит Вулси, — был бы сейчас примерно ваших лет, Томас». Свидетели по меньшей мере на поколение старше. Да и столько лет прошло — двадцать восемь, если быть точным. Что они могут помнить?

Не следовало доводить до такого публичного непотребства. Кардинал Кампеджо умолял Екатерину склониться перед королевской волей, признать брак недействительным и уйти в монастырь. Конечно, любезно отвечала она, я стану монахиней. Если король станет монахом.

Тем временем Екатерина приводит обоснования, почему легаты не должны разбирать этот вопрос. Во-первых, он по-прежнему на рассмотрении в Риме, во-вторых, она чужая в чужой стране, утверждает королева, забыв, что два десятилетия кряду ничто в английской политике не происходило без ее участия. Судьи, по уверениям королевы, настроены против нее; в этом есть определенный резон. Кампеджо, положа руку на сердце, клянется, что будет судить по чести, пусть

даже рискуя головой. Екатерина находит, что он слишком близок со вторым легатом; всякий, проводящий столько времени с Вулси, считает она, забыл, что такое совесть.

Кто советует Екатерине, как вести себя в суде? Джон Фишер, епископ Рочестерский.

— Знаете, за что я его терпеть не могу? — спрашивает кардинал. — Он весь — кожа да кости. Ненавижу тощих прелатов. Рядом с ними мы, остальные, выглядим такими земными!

В полном блеске земного великолепия, в лучшем багряном облачении, кардинал заседает в Блэкфрайарз, где король с королевой должны предстать перед легатами. Все думали, что Екатерина пришлет своего представителя, однако она является сама. Собралась целая коллегия епископов. Король, когда выкликают его имя, отзывается громко, раскатисто, во всю мощь широкой, усыпанной самоцветами груди. Он, Кромвель, посоветовал бы другое: отвечать тихо, склонив голову перед судьями. Смирение, на его взгляд, чаще всего бывает притворным, но именно притворщики нередко выигрывают в суде.

Зал набит битком. Они с Рейфом — зрители в дальних рядах. После выступления королевы, заставившего некоторых прослезиться, они вы-

ходят на улицу.

Рейф говорит:

— Будь мы ближе, мы бы видели, смел ли король смотреть ей в глаза.

— Да. Это, собственно, главный вопрос.

— Мне очень стыдно, но я верю Екатерине.

— Тсс. Не верь никому.

Что-то заслоняет свет. Это Стивен Гардинер, черный, с кривой усмешкой на лице: поездка в Рим явно не пошла на пользу его характеру.

— Мастер Стивен! Как прошел обратный путь? Ну да, конечно, всегда неприятно возвращаться с пустыми руками. Мне вас очень жаль. Я уверен, вы старались как могли.

— Если король не получит в суде чего хочет, вашему господину конец. И тогда жалеть придется вас.

— Только вы не станете.

— Не стану, — соглашается Гардинер и отходит.

Екатерина не возвращается на вторую, позорную часть слушаний. Вместо нее выступает представитель: она сообщила духовнику, что Артур за время брака так и не сумел ею овладеть, и теперь разрешила нарушить тайну исповеди, дабы предать эти сведения огласке. Она сви-

детельствовала перед высшим судом, судом Божьим: стала бы она лгать, обрекая душу на погибель?

Есть и другой момент, о котором все помнят. После смерти Артура Екатерину предлагали женихам — старому королю и принцу Генриху — как сохранившую девство. Можно было пригласить врача, чтобы тот ее освидетельствовал. Она бы испугалась, заплакала, но покорилась чужому человеку с холодными руками; возможно, теперь она жалеет, что этого не произошло. Однако никто такого не потребовал — быть может, в ту пору люди еще не совсем потеряли стыд. Разрешение на брак с Генрихом предусматривало оба случая: и наличие девства, и его отсутствие. Испанские документы отличаются от английских. Этим нам и следовало бы сейчас заниматься: разбирать подпункты, а не грызться в суде из-за клочка кожи и капли крови на простыне.

Будь он советником Екатерины, он удержал бы ее в суде, как бы она ни противилась. Посмели бы свидетели сказать ей в лицо то, что говорили за глаза? Ей было бы стыдно смотреть на них, седых, морщинистых и совершенно уверенных в своей памяти, но он бы убедил ее приветствовать их ласково, объявить, что она в жизни бы их не

признала, полюбопытствовать, как их внуки и меньше ли в летнюю жару болят суставы и поясница. Им было бы еще стыднее; очень может быть, что они замялись бы, оробели под ее пристальным честным взглядом.

Без Екатерины суд превращается в непристойный фарс. Граф Шрусбери, соратник старого короля по Босворту, рассказывает про свою первую брачную ночь, когда ему, как и Артуру, было пятнадцать; граф говорит, что никогда до тех пор не знал женщины и тем не менее исполнил свой долг. На свадьбе Артура они с графом Оксфордским провожали принца в спальню Екатерины. Да, говорит маркиз Дорсетский, и я там тоже был; Екатерина лежала под одеялом, принц возлег с нею. «Никто не готов присягнуть, что залез в постель вместе с ними, — шепчет Рейф. — Но может, еще и такой найдется».

Суд должен также принять во внимание свидетельства о том, что было произнесено на следующее утро. Принц вышел из супружеской спальни и сказал, что хочет пить. Приняв у сэра Антони Уиллоби кубок с элем, он объявил: «Сегодня ночью я побывал в Испании». Грубую мальчишескую шутку вытащили на свет, хотя сам мальчишка уже три десятилетия как в моги-

ле. До чего же одиноко умирать молодым, идти во тьму без друзей и сверстников! А теперь уже нет в живых ни Мориса Сент-Джона, который покоится в Вустерском соборе, ни мистера Кромера, ни Уильяма Вудолла — никого из тех, кто слышал, как принц сказал: «Государи мои, хорошо мне с моею женой».

Выслушав это все, они выходят подышать воздухом, и ему ни с того ни с сего вдруг становится зябко. Он прикладывает руку к лицу, трогает скулу. Рейф говорит:

— Какой жених выйдет наутро и скажет: «Добрый день, государи мои! Ничего не получилось»? Принц ведь просто хвастал, правда? Вот и все. Они забыли, что значит быть пятнадцатилетним.

В то самое время, когда заседает суд легатов, король Франциск в Италии проигрывает битву. Папа Климент готовится подписать новый мирный договор с императором — племянником Екатерины. Еще не зная этого, он говорит Рейфу: «Позорный день. Если мы хотели стать посмешищем для всей Европы, нам это удалось».

Загвоздка с Рейфом: мальчик не может вообразить, чтобы кому-то, даже пылкому пятнадцатилетнему юнцу, захотелось овладеть Екатериной — это все равно что совокупиться со статуей. Само

собой, Рейф не слышал, как Вулси расписывает былые прелести королевы.

— Я воздерживаюсь от окончательного суждения. И судьи воздержатся — у них просто не будет другого выхода, — говорит он. — Тут мы все тебе уступаем. Я вот тоже не помню, каким был в пятнадцать.

— А вам разве не столько было, когда вы прибыли во Францию?

— Наверное, что-то около того.

Вулси: «Артур был бы сейчас примерно ваших лет, Томас». Он вспоминает женщину в Дувре, прижатую к стене; ее хрупкие кости, бледное молодое лицо, и внезапно пугается. Что если кардинальская шутка — вовсе не шутка, и в мире полно его детей, о которых он не заботится? Единственное, что ты действительно можешь сделать — позаботиться о своих детях.

— Рейф, — говорит он, — ты знаешь, что я не составил завещание. Обещал, да так и не собрался. Едем домой, будем его писать.

— Но почему сейчас? — изумляется Рейф. — Вас ждет кардинал.

— Едем домой. — Он берет Рейфа за плечо и чувствует прикосновение бесплотных пальцев к своей левой руке. Это Артур, серьезный и блед-

ный. Король Генрих, думает он, ты разбудил призрака; ты его и уйми.

Июль 1529-го. Томас Кромвель из Лондона, джентльмен. В здравом уме и твердой памяти. Моему сыну Грегори шестьсот шестьдесят шесть фунтов, тринадцать шиллингов и четыре пенса. Перины, подушки и одеяло желтого турецкого атласа, кровать фламандской работы, резной шкаф и буфеты, серебро, золоченое серебро и двенадцать серебряных ложек. Сдача ферм в аренду будет осуществляться душеприказчиками до его совершеннолетия, по достижении коего ему следует вручить еще двести фунтов золотом. Деньги душеприказчикам на воспитание и приданое для моей дочери Энн и маленькой дочери Грейс. Приданое племяннице, Алисе Уэллифед; плащи и дублеты племянникам; Мерси всяческую домашнюю утварь и часть серебра на усмотрение душеприказчиков. Завещательные дары сестре моей покойной жены Джоанне и ее супругу, Джону Уильямсону, а также приданое их дочери, тоже Джоанне. Деньги слугам. По фунту сорока бедным девушкам на свадьбу. Двадцать фунтов на починку дорог. Десять фунтов на еду для неимущих узников лондонских тюрем.

Тело мое похоронить в том приходе, в котором

я скончаюсь; на усмотрение душеприказчиков. Остаток состояния потратить на мессы по моим родителям.

Душу мою оставляю Богу. Рейфу Сэдлеру — мои книги.

Когда началась летняя эпидемия, он спросил Мерси и Джоанну, не отправить ли детей за город.

Куда? Джоанна его не подначивала, она и впрямь хотела знать.

Мерси сказала: разве от нее убежишь? Они утешали себя мыслью, что раз лихорадка в прошлом году унесла столько жизней, в этом она будет свирепствовать меньше. Он считал, что они неправы, наделяя болезнь человеческой или хотя бы звериной логикой: волк забирается в овчарню, но не когда там люди с собаками. А может, они видят тут не звериную и не людскую логику, может, для них за болезнью стоит Бог и Его неисповедимые пути. Когда из Италии приходит весть о соглашении Климента с императором, Вулси склоняет голову и говорит: «Господин мой своенравен» — имея в виду не короля.

В последний день июля кардинал Кампеджо объявил перерыв в судебных слушаниях, потому что в Риме были сейчас каникулы. Рассказывали,

что герцог Суффолк, близкий друг короля, угрожал Вулси, стуча по столу кулаком. Всем ясно, что суд больше не соберется. Кардинал проиграл.

В тот вечер мысль, что власти кардинала может прийти конец, впервые не кажется ему дикой. Он думает: падение Вулси станет и моим падением. Кромвель, перешептываются люди, ужасный человек. Словно шутка кардинала обрела плоть: словно он и впрямь идет по колено в крови, оставляя за собой битое стекло и дымящиеся угли, вдов и сирот. Его милость говорит не о событиях в Италии и не о суде легатов.

— Мне сказали, лихорадка вернулась. Что теперь будет? Я умру? Я ведь болел ею четыре раза. В… в каком же году?.. кажется, в тысяча пятьсот восемнадцатом… сейчас вы будете смеяться, но это правда — к концу болезни я был не толще епископа Фишера. Господь взял меня за шкирку и встряхнул так, что зубы застучали.

— Ваша милость исхудали? — Он пытается выдавить улыбку. — Вам надо было пригласить портретиста!

Епископ Фишер объявил в суде — перед самыми каникулами, — что никакая власть, божеская или человеческая, не в силах отменить брак короля и королевы. Ему, Кромвелю, хочется сказать Фише-

ру, чтобы тот не злоупотреблял гиперболами. На его взгляд, епископ недооценивает возможности судебной власти.

До сих пор, до этого самого вечера, если заверять Вулси, будто что-то неосуществимо, тот поднимал тебя на смех. Однако сегодня — когда ему удается наконец перевести разговор на эту тему, — кардинал говорит, мой друг король Франциск разбит, и я тоже. Я не знаю, что делать. Думаю, я умру, даже если лихорадка обойдет меня стороной.

— Мне пора домой, — говорит Томас. — Вы меня благословите?

И встает на колени. Вулси поднимает руку, потом, словно забыв, что собрался делать, произносит:

— Томас, я не готов к встрече с Богом.

Он улыбается.

— Может быть, и Бог не готов к встрече с вами.

— Надеюсь, в мой смертный час вы будете рядом.

— Только до этого еще очень далеко.

Кардинал качает головой.

— Вы бы видели, как Суффолк сегодня на меня накинулся. Суффолк, Норфолк, Томас Болейн, Томас лорд Дарси — все они только этого и ждали,

моего провала в суде. А теперь, как я слышал, они составляют книгу обвинений: как я разорял знать и все прочее. Знаете, как они хотят назвать свою книгу? «Двадцать лет поношений!» Они стряпают какое-то варево, куда войдет каждое мое высокомерное слово — так они называют ту правду, которую я им говорил…

Кардинал прерывисто вздыхает и смотрит на потолок, украшенный розой Тюдоров.

— На кухне вашей милости такого варева не будет. — Он встает и, глядя на кардинала, думает только о работе, которая теперь предстоит.

— Лиз Уайкис, — говорит Мерси, — не хотела бы, чтобы ее дочерей тащили в деревню. Тем более что Энн плачет, когда тебя нет.

— Энн! — изумляется он. — Энн плачет!

— А как по-твоему? — говорит она грубовато. — Ты думаешь, твои дети тебя не любят?

Он предоставляет решение ей. Девочки остаются в Лондоне. Как оказалось, зря. Мерси вешает на дверь знак, что в доме потовая лихорадка. Как же это так? — говорит она. Мы все время скребем полы, в Лондоне не сыщется дома чище, чем у нас. Мы молимся. Я никогда не видела, чтобы ребенок молился, как Энн. Она молится, словно идет в бой.

Энн заболевает первой. Мерси и Джоанна трясут ее, чтобы не спала — врачи считают, что заболевших убивает именно сон. Однако болезнь сильнее, чем крики бабушки и тетки. Энн падает на подушки, хватая ртом воздух, и проваливается все глубже и глубже в черное оцепенение, и только пальцы сжимаются и разжимаются. Он берет ее ладонь в свою, гладит, успокаивая, но рука — как у солдата, рвущегося в бой.

Позже Энн открывает глаза и зовет мать. Просит тетрадку, в которой написала свое имя. На заре жар спадает. Джоанна заливается слезами облегчения, и Мерси отсылает ее спать. Энн садится, она его узнает, улыбается. Приносят в тазу воду с розовыми лепестками. Энн осторожно притапливает их, так что каждый превращается в крошечную чашу на воде, благоуханный грааль.

Однако с восходом солнца лихорадка возвращается. Он не позволяет женщинам начать все сначала: трясти, щипать, хлестать по щекам. Он предает ее воле Божьей и просит Бога смилостивиться. Говорит с Энн, но непонятно, слышит она или нет. Сам он не боится подхватить лихорадку. Уж если кардинал переболел четыре раза, я тем более выдержу, а если умру, я составил завещание. Он сидит с Энн, видит, как она борется и

проигрывает. Когда она умирает, его в комнате нет — заболела Грейс, и он смотрит, как ее укладывают в постель. Его зовут к Энн, он входит и видит, что суровое личико уже разгладилось. Черты умиротворенные, рука отяжелела — настолько, что он не в силах ее удержать.

Он выходит из комнаты. Говорит: «Она учила греческий». Конечно, отвечает Мерси, она была удивительный ребенок и воистину твоя дочь. Мерси утыкается ему в плечо и плачет. Говорит: «Она была умная, добрая и по-своему хорошенькая».

Целиком его мысль была: «Энн учила греческий, возможно, теперь она его знает».

Грейс умирает у него на руках, легко и естественно, так же, как родилась. Он кладет ее на сырые простыни; немыслимой красоты дитя с пальчиками, как только что распустившиеся белые лепестки, — и думает: я ведь совсем не знал ее, не знал, что она у меня есть. Невозможно поверить, что это он, что это они с Лиз дали ей жизнь, совершив что-то, не раздумывая, в самую обычную ночь. Они собирались, если родится мальчик, назвать его Генри, если девочка — Кэтрин, в честь королевы Екатерины; и в честь твоей Кэт тоже, сказала Лиз. Однако когда он

увидел дитя, спеленутое, безукоризненно-прекрасное в своей завершенности, он назвал совсем другое имя, и Лиз согласилась. Грейс, Благодать Божья. Она дается как дар, незаслуженно.

Он спрашивает, можно ли похоронить старшую дочь с тетрадкой, в которой та написала свое имя: Энн Кромвель. Священник говорит, что никогда о таком не слышал. Он слишком устал и зол, чтобы спорить.

Теперь его дочери в чистилище, краю тлеющих костров и ледяных торосов. Где в Евангелии слово «чистилище»?

Тиндейл говорит, ныне же пребывают вера, надежда, любовь, сии три: больше же всех любовь.

Томас Мор считает, это гнусная ошибка перевода и тут должно стоять «милосердие». За ошибку в переводе Томас Мор закует вас в кандалы, за расхождения в греческом — сожжет на костре.

Он вновь думает: а нужны ли мертвым переводы? Быть может, в миг перехода к небытию они узнают все, что следует знать.

Тиндейл говорит: «Любовь николиже отпадает».

Октябрь. Вулси, как всегда, председательствует на заседании королевского совета. Однако в судах с началом осенней сессии получают ход кляузы

на кардинала. Вулси обвиняют в богатстве. В использовании власти. И особенно — в действии на основании полномочий, не применимых на английской земле, то есть в том, что кардинал добросовестно исполнял обязанности папского легата. На самом деле они хотят сказать, что Вулси — *alter rex,* второй король. Его милость всегда был властнее Генриха — и если это преступление, то кардинал в нем повинен.

И вот они уверенно вступают в Йоркский дворец, герцог Суффолк, герцог Норфолк: два великих пэра королевства. Суффолк с ощетиненной светлой бородой похож на свинью среди трюфелей; полнокровный краснолицый человек, вспоминает он, в присутствии которого кардиналу всегда становилось не по себе. Норфолк опасливо смотрит, как перерывают вещи кардинала, явно ожидая увидеть восковые фигурки, истыканные иголками. Возможно, и свою тоже. Кардинал заключил сделку с дьяволом, таково убеждение Норфолка.

Он, Кромвель, отсылает их прочь. Они возвращаются. Возвращаются с новыми документами, новыми предписаниями, привозят начальника королевских архивов. Они забирают у милорда кардинала большую королевскую печать.

Норфолк смотрит на него искоса и вдруг усмехается своей хорьей усмешкой. К чему бы это?

— Загляните ко мне как-нибудь, — говорит Норфолк.

— Для чего, милорд?

Ответа нет. Герцог не имеет привычки объяснять свои слова.

— Когда?

— Можете не спешить, — говорит Норфолк. — Приходите, когда научитесь себя вести.

Это было 19 октября 1529 года.

III Попытка не пытка

День всех святых, 1529

Хеллоуин: оболочка мира гноится и кровоточит. День, когда в чистилище подбивают счета, когда тамошние приказчики и ключники слушают молитвы живых об усопших.

В канун праздника всех святых они с Лиз были бы на всенощном бдении в своей церкви: поминали бы Генри Уайкиса, ее отца, и покойного мужа Лиз, Томаса Уильямса, поминали бы Уолтера Кромвеля и полузабытых братьев и сестер — двоюродных и сводных, с их давно почившими пасынками и падчерицами.

В этом году он совершал ночное бдение в одиночестве: лежа без сна и думая о Лиз, ожидая, что она войдет и ляжет рядом. Да, он в Ишере с кардиналом, а не дома в Остин-фрайарз. Но, думал он, она догадается, как меня найти. Она отыщет кардинала по запаху ладана и отблеску свеч в пространстве между мирами. А где кардинал, там и я.

В какой-то момент он, видимо, уснул. Когда солнечные лучи проникли в комнату, там оказа-

лось так пусто и одиноко, словно в ней не было даже его.

День всех святых. Горе накатывает волнами, грозя опрокинуть и смять. Он не верит, что мертвые возвращаются, и все равно чувствует, как плечо задевают их пальцы, кончики крыльев. С прошлой ночи они почти утратили отдельные формы, слились в сплошную массу, густую, как плоть морских чудовищ; их лица блестят нездоровым подводным блеском.

Он стоит в оконной нише с молитвенником Лиз, который так любила разглядывать Грейс, и ощущает пальцами следы детских рук. Здесь приведены молитвы Богородице для каждого богослужебного часа, страницы украшены голубками и лилиями в вазах. Утреня. Коленопреклоненная Мария на полу в черную и белую шашечку; ангел обращается к Ней, приветствие написано на свитке, который разворачивается в его руках, будто говорят ладони. Крылья у ангела нарисованы небесно-голубой краской.

Он переворачивает страницу. Служба первого часа. На картинке — встреча Марии и Елизаветы. Мария, с маленьким аккуратным животиком, смотрит на беременную родственницу. У обеих высокий лоб и выщипанные бровки; обе смотрят

удивленно, что немудрено: одна дева, другая — в преклонных летах. Под ногами у них цветы, на голове у каждой — легкая воздушная корона из золоченой проволоки толщиною в волос.

Он переворачивает страницу. Грейс, маленькая и безмолвная, переворачивает страницу вместе с ним. Служба третьего часа. Нарисовано Рождество: крохотный белый Христос в складках материнского плаща. Служба шестого часа: волхвы подносят драгоценные сосуды, позади город на холме, итальянский город с колокольней, уходящими вверх улочками и мглистыми деревьями. Служба девятого часа: Иосиф несет в храм корзинку с голубями. Вечерня: Иродов кинжал проделывает аккуратную дырочку в испуганном младенце. Женщина вздымает руки в мольбе — красноречивые, беспомощные ладони. На детском тельце три капли крови, каждая в форме слезинки, каждая нарисована бесценной киноварью.

Он поднимает голову; перед глазами все еще плывут нарисованные слезы. Зрение затуманивается. Он моргает. Кто-то идет к нему. Это Джордж Кавендиш: руки стиснуты, на лице — маска озабоченности.

Лишь бы Джордж не заговорил со мной, думает

он. Лишь бы прошел мимо.

— Мастер Кромвель, — произносит Кавендиш, — мне кажется, вы плачете. Что случилось? Дурные вести о нашем господине?

Он пытается закрыть часослов, но Джордж уже протянул руку к книге.

— А, вы молитесь… — В голосе звучит удивление.

Кавендиш не видит, как пальцы его дочери листают страницы, как руки его жены держат книгу, просто разглядывает иллюстрации вверх ногами. Потом набирает в грудь воздуха и говорит:

— Томас!..

— Я плачу о себе, — отвечает он. — Я потеряю все, чего добился в жизни, потому что паду вместе с кардиналом… нет, Джордж, не перебивайте меня… ибо делал, что он просил, был его другом и правой рукой. Если бы я занимался своей работой в Сити, а не разъезжал по стране, наживая себе врагов, я был бы сейчас богат… и пригласил бы вас в свой новый загородный дом, чтобы посоветоваться насчет мебели и клумб. А теперь — посмотрите на меня! Я конченый человек!

Джордж пытается заговорить, блеет что-то утешительное.

— Если только… — говорит он. — Если только,

Джордж… Как вы думаете? Я отправил своего помощника Рейфа в Вестминстер.

— Зачем?

Он снова плачет. Призраки теснятся вокруг, ему зябко, исправить ничего нельзя. В Италии он освоил мнемоническую систему и теперь помнит каждый свой шаг к нынешнему бедственному положению.

— Думаю, — говорит он, — мне тоже надо туда поехать.

— Только, пожалуйста, не уезжайте до обеда, — просит Кавендиш.

— А что?

— Нам надо придумать, как рассчитаться со слугами кардинала.

Отчаяние проходит. Он вновь открывает молитвенник, держит перед собой. Кавендиш дал ему то, в чем он нуждался: финансовую задачу.

— Джордж. Сюда съехались капелланы его милости, и каждый по щедрости кардинала получает… сколько?.. сто, двести фунтов годового дохода. Думаю… думаю, мы заставим капелланов заплатить слугам, потому что, как я посмотрю, слуги любят милорда больше, чем его священники. Итак, после обеда я их пристыжу и заставлю раскошелиться. Надо заплатить слугам жалова-

нье по крайней мере за три месяца плюс задаток на случай, если кардинала вернут ко двору.

— Хорошо, — отвечает Кавендиш. — Если кому это по силам, то только вам.

Он ловит себя на том, что улыбается. Может быть, мрачно, однако он не думал, что вообще сегодня улыбнется.

— Покончив с этим, я вас покину. Вернусь, когда заполучу место в парламенте.

— Но парламент собирается через два дня… Как теперь туда попасть?

— Не знаю, но кто-то должен выступить в защиту милорда. Иначе его милость убьют.

Он неприятно поражен собственными словами и хотел бы взять их назад, однако это правда. Он говорит:

— Попытка не пытка.

Кивок Кавендиша больше похож на поклон.

— Попытка не пытка, — бормочет тот. — Это ваши любимые слова.

Кавендиш ходит по дому и говорит: «Томас Кромвель молился. Томас Кромвель плакал». Только сейчас Джордж понимает, как плохи дела.

Жил некогда в Фессалии поэт по имени Симонид. Богач Скопа пригласил его на пир прочитать

хвалебную оду в свою честь. У поэтов бывают странные причуды, и Симонид включил в оду хвалы небесным близнецам Кастору и Поллуксу. Скопа обиделся и сказал, что заплатит лишь половину обещанного вознаграждения, «а остальное получишь с Диоскуров».

Чуть позже в пиршественные покои вошел слуга и сказал Симониду, что его спрашивают двое юношей. Поэт вышел на улицу, но никого там не увидел и решил идти обратно на пир. И тут раздался грохот рушащихся камней и крики: в доме обвалилась крыша.

Из всех пировавших в живых остался один Симонид.

Тела были так обезображены, что родственники не могли их опознать. Однако у Симонида была удивительная способность: он запоминал все, что видел. Он провел родственников по развалинам, указывая тех, кого они ищут, потому что мог опознать каждого из гостей по его месту на пиру.

Эту историю поведал нам Цицерон. В тот день Симонид изобрел искусство запоминания. Он помнил все лица: надутые у одних, счастливые у других, скучающие у третьих, и точно знал, кто где сидел, когда обвалилась крыша.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I Финт с тремя картами

Зима 1529-го — весна 1530-го

Джоанна: Ты говоришь, Рейф, ступай и добудь мне место в новом парламенте. И он послушно идет, как служанка, которой велели снять белье.

— С бельем мороки меньше, — вклинивается Рейф.

— А ты почем знаешь? — не унимается Джоанна.

Места в парламенте — господская вотчина; их раздают лорды, епископы, сам король. Жалкая горстка выборщиков — если на них хорошенько поднажать — всегда делает то, что велено.

Рейф раздобыл ему место от Тоунтона, округа Вулси. Это было бы невозможно без согласия короля, согласия Томаса Говарда. Он затем и посылал Рейфа в Лондон — прощупать почву: чего хочет герцог, что скрывается за его хорьей ухмылкой. *«Премного обязан, сударь».*

Теперь он знает.

— Герцог Норфолк, — сообщил Рейф, — считает, что милорд кардинал зарыл сокровище и вам известно, где именно.

Они беседуют с глазу на глаз.

Рейф: Герцог обязательно попросит вас приехать и служить ему.

— Да. Возможно, не в таких выражениях.

Размышляя, он вглядывается Рейфу в лицо. Норфолк — если забыть о внебрачном сыне короля — знатнейший человек в королевстве.

— Я пытался внушить ему, — говорит Рейф, — что вы его почитаете и страстно желаете оказаться под его…

— Началом?

— Примерно.

— И что сказал герцог?

— Герцог сказал «хм».

Он смеется.

— Что, вот таким тоном?

— Таким и сказал.

— А в придачу хмуро кивнул?

— Вот именно.

Что ж, хорошо. Я утираю слезы — слезы, что остались от Дня всех святых. Сижу с кардиналом в Ишере, в комнате с чадящим камином. Спрашиваю, милорд, не возражаете, если я вас оставлю? Нахожу трубочиста, велю прочистить дымоход. Скачу в Лондон, в Блекфрайарз. Туман, день святого Губерта. Норфолк ждет, будет уверять, что

станет мне хорошим хозяином.

Герцогу под шестьдесят, но его светлость не признает возраста. Остролицый и остроглазый, Норфолк тощ, как обглоданный мосол, и холоден, как обух топора. Конечности будто на шарнирах и даже тихонько клацают при ходьбе — все дело в мощевиках, которые герцог носит под одеждой: крошечные лохмотья кожи и обрезки волос в образках, осколки костей в медальонах.

«Дева Мария!», «Клянусь мессой!» — божится герцог, извлекая на свет свои амулеты из самых неожиданных мест. Пылко припадает к ним губами, призывая святых и мучеников утишить его гнев.

— Святой Иуда, дай мне терпение! — восклицает герцог, путая Иуду с Иовом, историю которого последний раз слышал в детстве, сидя на коленях у священника. Впрочем, трудно представить герцога ребенком или юношей, да и в любом возрасте, кроме теперешнего. Норфолк считает Библию необязательным чтением для мирян, хотя признает, что для священника в ней есть прок. Читать книги — баловство, и чем меньше их будет при дворе, тем лучше. Его племянницу, Анну Болейн, от книг не оттянешь, вот и засиделась в девках до двадцати девяти. Герцог не пишет

писем — не джентльменское это дело — для чего тогда существуют писари?

Злобный красный глаз сверлит Кромвеля.

— Я поддерживаю ваше выдвижение в парламент.

Он склоняет голову.

— Милорд.

— Я говорил про вас с королем, он тоже согласен. Вы получите его указания, как вести себя в палате общин. И мои.

— Они отличаются, милорд?

Герцог хмурится, раздраженно меряет комнату шагами, слегка позвякивая на ходу, наконец выпаливает:

— Проклятье, Кромвель, почему вы так держитесь? Откуда в вас это?

Он ждет, улыбается, прекрасно понимая, что имеет в виду герцог. Да, ему не привыкать проскальзывать в комнату незамеченным, но, похоже, те дни миновали, теперь с ним вынуждены будут считаться.

— И нечего скалиться, — говорит герцог. — Вулси и его присные — клубок ползучих гадов. Я не хочу сказать… — Норфолк, морщась, сжимает образок. — Не дай Бог мне…

Сравнить князя церкви с ползучим гадом. Гер-

цог хочет кардинальских денег и влияния на короля, но и в аду гореть не желает. Норфолк меряет комнату шагами, хлопает в ладоши, потирает руки, оборачивается.

— Король намерен отчитать вас, сударь. Да-да. Он удостоит вас аудиенции, чтобы понять, что задумал кардинал, но берегитесь: у короля долгая память — он не забыл, как в прошлый раз вы выступали в парламенте против войны.

— Надеюсь, король не собирается снова вторгаться во Францию?

— Проклятье! Какой англичан об этом не мечтает! Мы должны вернуть свое.

Герцог дергает скулой. Вышагивает по комнате. Трет щеку, бросает:

— Что не отменяет вашей правоты.

Он ждет.

— Победить мы не сумеем, — продолжает Норфолк, — но должны сражаться так, словно верим в победу. И плевать на расходы. Плевать, сколько мы потеряем денег, людей, лошадей, кораблей. Что мне не нравится в Вулси. Всегда хочет договориться. Как сыну мясника понять, что такое…

— *La gloire?* [28]

---

[28] Примечания Ольги Дмитриевой: 28
Слава *(фр.).*

— Вы сын мясника?

— Кузнеца.

— Вот как! Что, и лошадь подкуете?

Он пожимает плечами.

— Если потребуется. Но, милорд, не могу представить, как…

— А что вы можете представить? Поле битвы, бивак, ночь после сражения?

— Я был солдатом.

— Солдатом? Вы? Держу пари, не в английской армии. Так вот в чем дело… — Герцог ухмыляется, отнюдь не враждебно. — Вот что меня всегда настораживало. Вы никогда мне не нравились, но я не понимал, почему. Где?

— У Гарильяно.

— За кого?

— За французов.

Норфолк присвистывает.

— И как тебя угораздило, малый!

— Я быстро понял свою ошибку.

— Значит, за французов… — Герцог хмыкает. — За французов. Ноги-то вовремя унесли?

— Я ушел на север. Решил заработать на… — Он хочет сказать «ссудах», но герцог не поймет, как деньги превращаются в деньги, — …тканях, шелке, по преимуществу. Сами знаете, у солдата

всегда есть что продать.

— Клянусь мессой, еще бы! Джонни Вольное-копье все свое несет с собой. Наемники! Вечно вырядятся, словно бродячие комедианты. Кружева, тесьма, нелепые шляпы. Легкая мишень. Стреляли из лука?

— Редко. — Он улыбается. — Ростом не вышел.

— Как и я. Далеко нам до Генриха. Вот у кого хватает и роста, и силы в руках. И все же. Дни нашей славы позади.

— Разве обязательно сражаться? Договориться дешевле, милорд.

— А вы наглец, Кромвель, что явились сюда.

— Милорд, вы сами за мной послали.

— Я? — Норфолк смотрит испуганно. — Неужто до такого дошло?

Советники короля готовят против кардинала сорок четыре обвинения, не больше не меньше: от умаления прерогатив суверена до покупки говядины по тем же ценам, что и король; от финансовых злоупотреблений до недостаточно ревностных гонений на лютеранскую ересь.

Закон об умалении юрисдикции суверена принят давным-давно. Никто из живущих понятия не имеет, как его трактовать. Вероятно так, как было испокон веку, — по слову короля. Нешуточные

страсти кипят во всех европейских собраниях. Тем временем милорд кардинал сидит в Ишере, иногда что-то бормочет, иногда восклицает:

— Томас, мои колледжи! Как бы ни сложилась моя судьба, их нужно спасти. Ступайте к королю. Он волен сколько угодно мстить за воображаемые прегрешения, но пусть его гнев обрушится на меня одного! Неужели королю хватит духу покуситься на просвещение?

В Ишере кардинал раздраженно меряет шагами комнату. Великий ум, некогда ворочавший судьбами Европы, тщетно пытается осознать, где оступился. В сумерках застывает в молчании, погружаясь в невеселые думы. Ради Бога, Томас, умоляет Кавендиш, не внушайте ему ложных надежд, не обещайте зазря, что приедете!

А я и не обещаю, возражает он, я приезжаю, но меня все время задерживают. Палата заседает допоздна, а когда я покидаю Вестминстер, то должен принять письма и прошения, адресованные милорду кардиналу, а после беседовать с теми, кто не решается доверить свои просьбы бумаге.

Я все понимаю, говорит Кавендиш, но, Томас! — тут голос секретаря срывается, — знали бы вы, каково нам тут! Который час, спрашивает милорд кардинал. Где же Кромвель? Час спустя

снова: Кавендиш, почему он не едет? Посылает нас с фонарями, проверить, как погода, словно вас, Кромвель, остановит ненастье или гололед. Наконец кардинал интересуется, не случилось ли чего? Дорога из Лондона кишит лихими людьми, вокруг глушь да пустыри, где во тьме бродят исчадия ада. Отсюда недалеко до сетований: мир сей полон ловушек и обольщений, и многим из них отдал я дань, несчастный грешник.

Когда наконец он срывает дорожный плащ и падает в кресло у чадящего очага — Кровь Господня, когда-нибудь дымоход прочистят? — кардинал уже тут как тут, засыпает вопросами, не дает перевести дух. Что сказал милорд Суффолк? Как выглядит милорд Норфолк? А король, вы его видели, вы с ним говорили? Как поживает леди Анна? В добром ли здравии? Все так же хороша собой? Вы придумали, как ей угодить, ибо нам нужно во что бы то ни стало найти способ ее умилостивить?

— Нет ничего проще, чем угодить этой леди, — отвечает он, — коронуйте ее.

И — больше ни слова о леди Анне. Мария Болейн уверяет, будто сестра его заметила, однако до сих пор она никак этого не выказала. Ее глаза равнодушно скользят мимо Кромвеля, обращаясь

к предметам более достойным. Черные, слегка навыкате, как костяшки на счетах; они сияют, они всегда в движении, словно прикидывая выгоду. Впрочем, должно быть, дядя Норфолк сказал ей: вот человек, который знает кардинальские тайны, и теперь, завидев Кромвеля, она вытягивает длинную шею, черные костяшки щелкают, оценивая его с головы до пят, пока хозяйка размышляет, какую пользу из него извлечь. Пожалуй, она в добром здравии, а год ползет к концу; не чихает, как хворая кобыла, не охромела. Наверное, хороша, если вам по душе такие.

Однажды перед самым Рождеством он приезжает в Ишер поздно вечером и застает кардинала слушающим мальчишку-лютниста.

— Спасибо, Марк, ступайте, — говорит Вулси.

Лютнист кланяется кардиналу. Тот слабым кивком, каким удостаивал провинциальных депутатов в парламенте, благодарит, а когда юноша направляется к двери, замечает:

— Марк очень способный и воспитанный, в Йоркском дворце был у меня певчим. Что проку держать его здесь, лучше отослать юношу королю. Или леди Анне. Марк — пригожий малый, вдруг придется ей по вкусу?

Мальчишка медлит у выхода, жадно ловя по-

хвалы. Кромвелевский тяжелый взгляд не хуже пинка вышвыривает его за дверь. Меньше всего на свете он склонен гадать, что по вкусу леди Анне.

— Лорд-канцлер Мор прислал мне что-нибудь?

Он роняет на стол пачку бумаг.

— У вас больной вид, милорд.

— Так и есть, я болен. Что нам делать, Томас?

— Давать взятки. Не скупиться. У вас остались бенефиции, земли. Даже если король отберет все, люди спросят, может ли он даровать то, что даровать не вправе? Без вашего утверждения любой титул вне закона. У вас на руках еще есть карты, милорд.

— И все же, если он обвинит меня в измене, — у кардинала срывается голос, — если он…

— Если бы он хотел обвинить вас в измене, вы давно сидели бы в Тауэре.

— И какой от меня прок: голова в одном месте, тело в другом? Говорю вам, лишив меня своей милости, король хочет дать хороший урок папе. Показать, кто в Англии хозяин. Вот только кто же? Может быть, леди Анна? Или Томас Болейн? Вопрос опасный, особенно за пределами этой комнаты.

План кампании: застать короля одного, вы-

яснить, что тот задумал — если он и сам знает — и заключить сделку. Первая вылазка: кардиналу жизненно необходима наличность. День за днем Кромвель дожидается аудиенции. Король протягивает руку, берет письма, бросает взгляд на кардинальскую печать. На него не смотрит, ограничиваясь безличным «спасибо».

Но однажды король поднимает глаза.

— Мастер Кромвель, э… я не могу говорить о кардинале.

Не успевает он открыть рот, как король добавляет:

— Вы не поняли? Я же сказал, не могу.

Тон мягкий и растерянный.

— В другой раз. Я пришлю за вами. Обещаю.

Когда кардинал интересуется тем, как сегодня выглядел король, он отвечает, что, судя по всему, король не выспался.

Вулси смеется.

— Не спит, потому что не охотится. Слишком жестко для собачьих лап. Это все от нехватки свежего воздуха, Томас, нечистая совесть ни при чем.

Впоследствии он не раз вспомнит тот вечер в конце декабря, когда застал кардинала слушающим лютню, снова и снова будет мысленно туда

возвращаться.

Покидая кардинала и думая о предстоящей ночной дороге, он внезапно слышит за приоткрытой дверью мальчишеский голос.

Говорит Марк, лютнист:

— …и за мое мастерство обещал отослать меня к леди Анне. А я и рад-радехонек — что толку сидеть тут и ждать, пока король отрубит старику голову. И поделом: не будет таким заносчивым. Сегодня впервые дождался от него похвалы.

Пауза. Слышен другой голос, но слов не разобрать.

Снова говорит Марк:

— Ясное дело, стряпчий пойдет на плаху вместе с ним. А кто его разберет, может, он никакой и не стряпчий. Говорят, убивал собственными руками, но ни разу не покаялся на исповеди. Обычно такие храбрецы пускают слезу при одном виде палача.

Он не сомневается, речь — о его казни. Марк смотрит в будущее. Между тем юноша продолжает:

— Мне бы только туда попасть, а уж леди Анна меня приветит и задарит подарками.

Хихиканье.

— Говорю тебе, я легко заслужу ее благосклон-

ность. Не веришь? Скажу больше — кто знает, как все повернется, если она и дальше будет упрямиться, отказывая королю?

Пауза. Снова Марк:

— Девица? Кто угодно, только не она.

Послушать слуг, так им известно все на свете.

Неразборчивый ответ, и опять голос Марка:

— Девица! Пожив при французском дворе? Не больше, чем ее сестрица Мария, та еще давалка.

Он разочарован. Ему нужны подробности, а не досужие сплетни.

— К тому же, все в Кенте знают, что она спала с Томом Уайеттом. Я был с кардиналом в Пензхерсте, в двух шагах от Хивер, поместья Болейнов, а оттуда до усадьбы Уайеттов рукой подать.

Свидетели? Даты?

Кто-то невидимый предостерегающе шипит, и слуги снова прыскают.

И что с этим делать? Отложить до лучших времен, только и всего.

Разговор на фламандском, родном языке Марка.

Приближается Рождество. Король с королевой Екатериной встречают праздник в Гринвиче. Анна живет в Йоркском дворце выше по Темзе; король ее навещает. Фрейлины говорят, что

встречи с Анной в тягость королю. Его визиты редки, скрытны и непродолжительны.

В Ишере кардинал не встаете постели, чего никогда прежде не делал, но вид у его милости такой больной, что никого это не удивляет.

Кардинал говорит:

— Мы в безопасности, пока король и леди Анна обмениваются новогодними поцелуями. Раньше Двенадцатой ночи нас не тронут.

Отворачивается на подушке, выпаливает:

— Тело Христово, Кромвель, ступайте домой!

По случаю праздника Остин-фрайарз украшен венками из остролиста, плюща и переплетенного лентами лавра. На кухне чад и суета — готовят для живых, но традиционных песен и рождественских представлений в этот раз не будет. Ни один год не приносил в дом таких утрат. Сестра Кэт с мужем Морганом Уильямсом были вырваны из его жизни с той же стремительностью, что и дочери. Еще вчера они ходили и говорили — сегодня, холодные как камень, лежат в своих могилах на берегу Темзы, недоступные речным волнам и запахам. Глухие к звону надтреснутых колоколов Патни, запаху непросохших чернил, хмеля и солода, кислой животной вони тюков с шерстью; осенним ароматам сосновой смолы,

подсвечников из яблок и домашней сдобы. Теперь в его доме живут двое сирот: Ричард и малыш Уолтер. Пусть при жизни Морган Уильямс любил прихвастнуть, на свой лад он был практичен и без устали гнул спину, обеспечивая семейство. А Кэт — что ж, под конец она понимала брата не больше, чем круговорот звезд на небе.

— Мне тебя не расчислить, Томас, — говорила она. Странно, он же научил ее складывать на пальцах и разбирать счета от лавочников. Что ж, сам виноват; видно, плохо учил.

Если бы он давал себе совет на Рождество, то посоветовал бы держаться подальше от кардинала, не то придется вновь промышлять на улице финтом с тремя картами. Вот только стоит ли давать советы тому, кто не собирается к ним прислушаться?

На Новый год в самой большой комнате дома Остин-фрайарз всегда вешали огромную золоченую звезду, и та всю неделю до Крещенья приветствовала гостей своими лучами. С самого лета они с Лиз готовили костюмы волхвов, приберегая обрезки необычных тканей, кружева и тесьму, а с октября Лиз втайне от всех наставляла на старые костюмы яркие заплаты, штопала рукава, обшивала края, мастерила причудливые

короны. Он отвечал за содержимое шкатулки. Как-то один из волхвов уронил шкатулку, когда дары неожиданно подали голос.

В этом году ни у кого не хватает духу повесить звезду, но он навещает ее в темном чулане. Сдергивает холщовый чехол с лучей, проверяет, блестят ли они еще. Придут лучшие времена, звезду снова повесят в большой комнате, хотя сейчас это кажется немыслимым. Кромвель натягивает чехол, радуясь тому, как искусно он подогнан и сшит. Мантии волхвов и овечьи шкурки для детей лежат в сундуке; пастуший посох стоит в углу, а с деревянного гвоздя свисают ангельские крылья. Он касается их — на пальцах остается пыль. Поднимает свечу, отводит подальше, встряхивает перышки. Шорох, в воздухе плывет легкий смоляной аромат. Он вешает крылья обратно на гвоздь, приглаживает заботливо. Отступает назад, закрывает дверь, пальцами сбивает пламя свечи, запирает замок и отдает ключи Джоанне.

— Нам нужен ребенок, — замечает он. — Слишком давно в этом доме нет детей.

— Не смотри на меня, — говорит Джоанна.

А на кого еще ему смотреть?

— Джон Уильямсон перестал исполнять свой долг? — спрашивает он.

— Его долги не моя печаль.

Уходя, он думает, что зря затеял этот разговор.

В новогодний вечер он сидит за письменным столом и пишет кардиналу. Иногда пересекает комнату, подходит к счетной доске и сдвигает костяшки. Если Вулси признается в посягательстве на власть суверена, король дарует ему жизнь и относительную свободу, но сколько бы средств ни оставили кардиналу, их нельзя сравнить с былыми доходами. Йоркский дворец отобрали недавно, Хэмптон-корт ушел давно, а король уже думает, как обложить грабительскими податями богатую Винчестерскую епархию.

Входит Грегори.

— Я принес свечи. Тетя Джоанна сказала, ступай к отцу.

Грегори садится, ерзает, вздыхает. Встает, подходит к отцовскому столу и замирает, не зная, что делать дальше. Затем, словно кто-то шепнул ему, не стой, займись чем-нибудь, робко протягивает руку, шуршит бумагами.

Он бросает на Грегори беглый взгляд поверх бумаг и впервые за долгое время замечает руки сына: не пухлые ребячьи ладошки, а крупные холеные кисти барчука. Но что тот делает? Складывает бумаги в стопку. Интересно, по какому

принципу? Прочесть письма сын не может, они перевернуты. По содержанию? Невозможно. По датам? Ради Бога, что Грегори там копается?

Ему нужно закончить витиеватый пассаж, он снова поднимает голову, и тут его осеняет. Святая простота! Грегори кладет вниз бумаги побольше, наверх — поменьше.

— Отец, — говорит Грегори и вздыхает. Отходит к счетной доске, указательным пальцем шевелит костяшки. Затем аккуратно сдвигает.

Он смотрит на сына.

— Между прочим, я занимался вычислениями.

— Прости, — вежливо извиняется Грегори, садится лицом к огню, стараясь дышать пореже.

Однако даже самый кроткий взгляд обладает силой. Сын упрямо не сводит с него глаз, и это заставляет Кромвеля спросить:

— Что-то случилось?

— Ты не мог бы прерваться?

— Минутку. — Он поднимает руку, подписывает письмо всегдашним «за сим остаюсь вашим преданным другом, Томас Кромвель». Если Грегори пришел сказать, что кто-то из домочадцев при смерти, или что сам Грегори женится на прачке, или что Лондонский мост рухнул, он примет весть как мужчина. Но сначала посыпать песком

и запечатать письмо.

Наконец он поднимает глаза.

— Итак?

Грегори отворачивается. Неужели плачет? Впрочем, что тут странного — недавно он и сам плакал, не стесняясь посторонних.

Он подходит к сыну, усаживается напротив, рядом с камином, стягивает бархатную шапочку, ерошит волосы.

Долгое время оба молчат. Он смотрит на свои толстопалые кисти, на шрамы, спрятанные в ладонях. Джентльмен, говоришь? Кого ты хочешь обмануть? Тех, кто не знает тебя в лицо, или тех, кого ты держишь на расстоянии, клиентов, приятелей из палаты общин, коллег из Грейз-инн, придворных, челядь… Он начинает сочинять в уме набросок следующего письма. Тонкий голос Грегори доносится, словно из прошлого:

— Помнишь Рождество, когда в мистерии был великан?

— Здесь, в церкви? Помню.

— «Смотрите, я великан, меня зовут Марлинспайк». Все говорили, что он высокий, словно корнхиллское майское дерево. Что за дерево?

— Его убрали. В Майский бунт подмастерьев. Ты был совсем мал.

— А где оно сейчас?

— Город хранит его до лучших времен.

— Мы повесим звезду на следующее Рождество?

— Если судьба будет к нам благосклоннее.

— Теперь, когда кардинал в опале, мы станем бедны?

— Нет.

Грегори смотрит на пляшущие огоньки в камине.

— Помнишь, как я выкрасил лицо черной краской и нарядился в черную телячью шкуру, как изображал в мистерии дьявола?

— Помню. Конечно, помню.

Его лицо разглаживается.

Энн хотела, чтобы лицо раскрасили ей, но мать сказала, что маленькой девочке негоже ходить чумазой. Почему он не настоял, чтобы дочка сыграла ангела? Впрочем, тогда черноволосой Энн пришлось бы напялить желтый вязаный парик из приходского реквизита, который вечно сползал маленьким ангелам на глаза.

В тот год, когда ангела изображала Грейс, у нее был костюм из павлиньих перьев. Он смастерил его своими руками. По сравнению с ней остальные девочки выглядели растрепанными

гусятами, а когда задевали за углы, перышки облетали. А его Грейс сияла: в волосы были вплетены серебряные нити, плечи укутаны пышным трепещущим великолепием, шуршащий воздух благоухал от ее сладостного дыхания. Томас, сказала Лиззи, твои таланты поистине неисчерпаемы. Таких крыльев город еще не видел.

Грегори встает, хочет пожелать ему доброй ночи. На миг сын припадает к нему, словно ребенок, или словно прошлое — картины в пламени очага — опьянили его.

Когда сын уходит, он перекладывает стопку, помечая письма, готовые к отправке. Думает о Майском бунте. Грегори не спросил, против чего они бунтовали? Против чужеземцев. Тогда он только что вернулся в Англию.

В начале 1530-го он не зовет гостей на Крещение — слишком многим, памятуя о впавшем в немилость кардинале, пришлось бы отклонить приглашение. Вместо этого он берет молодежь в Грейз-инн, на празднество по случаю Двенадцатой ночи, и почти сразу раскаивается в своей затее — еще ни разу на его памяти представление не было таким непристойным.

Студенты-правоведы разыгрывают пьеску про кардинала. Герой пьески с позором бежит из

Йоркского дворца на барке. Одни актеры хлопают простынями, изображая воды Темзы, другие периодически окатывают их водой из кожаных ведер. Когда кардинал с трудом влезает на барку, раздается крик загонщиков, и какой-то олух выбегает на сцену с выводком гончих на поводке. Другие недоумки сетями и шестами тащат барку с кардиналом к берегу.

В следующей сцене в Патни кардинал барахтается в грязи, хочет улизнуть в свою Ишерскую нору. Студенты улюлюкают и визжат, кардинал хнычет и молитвенно складывает руки. Кто из свидетелей той сцены решил слепить из нее комедию? Знать бы кто, будь они прокляты!

А кардинал пурпурной горой возвышается на полу, молотит руками и предлагает Винчестерскую епархию тому, кто подсадит его на мула. Мул — несколько студентов под обтянутым ослиной шкурой каркасом — кривляется тут же, отпуская шуточки на латыни и пукая кардиналу в лицо. Каламбуры про *ебископа* и *пипископа* имели бы успех у метельщиков, но недостойны студентов права. Рассердившись, он встает, не оставляя выбора своим спутникам, которые вынуждены за ним последовать, и направляется к выходу.

Подойдя к старейшинам, он высказывает свое

возмущение: кто допустил подобное? Кардинал Йоркский — больной старик, почти при смерти. Как оправдаетесь вы перед Создателем, когда вместе с вашими учениками в свой черед предстанете перед Ним? Кто эти юноши, храбро порочащие опального епископа, расположения которого они униженно добивались всего несколько недель назад?

Старейшины с извинениями бегут за ним, но их голоса заглушает отразившийся от стен зрительский гогот. Его молодые спутники замедляют шаг, оглядываются. Кардинал предлагает свой гарем из сорока девственниц любому, кто поможет ему оседлать мула. Он сидит на полу и причитает, а вялый и кривой уд, связанный из алой шерсти, болтается из-под складок мантии.

Факелы тускло чадят на морозном воздухе.

— Домой, — говорит он.

— Уже и повеселиться нельзя без его разрешения, — бурчит Грегори.

— Как ни крути, а он тут главный, — возражает Рейф.

Он разворачивается, делает шаг назад.

— В любом случае, гарем из сорока наложниц держал не кардинал, а нечестивый папа Борджиа, Александр — и, уверяю вас, девственниц среди

них не было.

Рейф дотрагивается до его плеча. Ричард напирает слева.

— И незачем меня поддерживать, — говорит он без злости. — Я не кардинал.

Останавливается, со смехом замечает:

— Кажется, представление и впрямь изрядно всех…

— Повеселило, — соглашается Рейф. — А его милость был пяти футов в обхвате.

Во тьме гремят костяные погремушки, всюду горят факелы. Мимо них, распевая, гарцует процессия на деревянных лошадках, у некоторых всадников на голове рога, а к лодыжкам привязаны бубенцы. Рядом с домом их настигает апельсин, катящийся по своим делам вместе с приятелем-лимоном.

— Грегори Кромвель! — кричат ряженые. Из уважения к старшему приподнимают перед Томасом вместо шляп верхний слой кожуры. — Да пошлет вам Господь хороший год.

— И вам, — отвечает он и, обращаясь к лимону, добавляет:

— Передайте отцу, чтобы зашел потолковать о том жилье в Чипсайде.

— Ступайте спать, поздно, — велит он дома, и,

чувствуя, что этого мало, говорит:

— Храни вас Господь.

Они уходят. Он сидит за письменным столом. В тот вечер Грейс стояла у очага, бледная от усталости, сияя глазами, а глазки павлиньего оперения, словно топазы, переливались в отблесках пламени.

— Отойди от огня, детка, а не то твои бесценные крылья вспыхнут, — сказала Лиз. Его девочка отступила в тень, а когда шла к лестнице, перья стали цвета золы и пепла.

— Грейс, ты так и спать ляжешь? — спросил он.

— Только молитву прочту, — ответила она, косясь через плечо. Он пошел вслед, опасаясь огня и неведомых опасностей. Шелестя перышками, Грейс поднялась по лестнице, и ее наряд смешался с темнотой.

Господи, думает он, по крайней мере, теперь моя детка навсегда останется со мной. И мне уже не придется отдавать ее в загребущие руки охотника за приданым, косоротого господинчика благородных кровей. Грейс наверняка захотела бы титул. Раз уж она выросла такой хорошенькой, ее отцу пришлось бы раскошелиться. Леди Грейс. А другую дочку, Энн, я отдал бы за Рейфа.

Будь она чуть постарше. Или Рейф помоложе. И если бы Энн не умерла.

Он снова склоняется над кардинальскими письмами. Вулси просит у европейских правителей поддержки и защиты. Он, Томас Кромвель, хотел бы, чтобы кардинал не писал ничего подобного, или, по крайней мере, выражался осмотрительнее. Не измена ли хотеть, чтобы кто-то воспрепятствовал королевской воле? Несомненно, Генрих так и решит. Кардинал не просит иностранных правителей ради него пойти на Генриха войной, только хочет, чтобы они не поддерживали короля — короля, который больше всего на свете жаждет поддержки.

Он откидывается в кресле, прикрывая ладонью рот, словно не желает обнаружить свои мысли даже перед самим собой. Какое счастье, что я люблю милорда кардинала, что я ему не враг — допустим, я был бы Суффолк, или Норфолк, или сам король — на следующей неделе заточил бы Вулси в темницу.

Открывается дверь.

— Ричард? Не спится? Слишком фривольная была пьеска?

Но Ричард не улыбается в ответ, лицо в тени.

— Хозяин, — говорит юноша, — вы должны ре-

шить. Наш родитель умер, теперь вы наш отец.

Ричард Уильямс и Уолтер (названный в честь деда) Уильямс, его сыновья.

— Садись, — приглашает он.

— Так вы разрешите взять ваше имя?

— Ты меня удивляешь. Судя по тому, как идут мои дела, лучше бы Кромвелям сменить имя на Уильямсов.

— Если вы согласитесь, я никогда от него не отрекусь.

— А что сказал бы твой отец? Ты ведь знаешь, он верил, что происходит от владык Уэльса.

— А когда напивался, говорил, что готов отдать свое княжество за шиллинг.

— Пусть так, но среди твоих предков есть Тюдоры. В некотором роде.

— Прошу вас, не надо! — просит Ричард. — У меня на лбу проступает кровавый пот!

— Зачем же так трагически? — смеется он. — Вот, послушай: у старого короля был дядя, Джаспер Тюдор, отец двух незаконнорожденных дочерей: Джоан и Элен. Элен — мать Гардинера. Джоан, твоя бабка, вышла за Уильяма ап Эвана.

— И это все? Стоило отцу напускать столько туману! Даже если я кузен короля… — Ричард запинается, — и Стивена Гардинера… мне-то

что с того? Мы не придворные, и ко двору не собираемся, а теперь, когда кардинал… — Ричард отводит глаза. — Сэр… когда вы путешествовали, вы думали о смерти?

— Думал, и не раз.

Ричард смотрит на него в упор: и каково оно?

— Я злился. Все казалось суетой. Забраться так далеко. Пересечь море. Умереть ради… — Он пожимает плечами. — Бог его знает.

— Каждый день я ставлю свечу в память отца, — говорит Ричард.

— Помогает?

— Нет, но я все равно ставлю.

— Знает ли отец?

— Понятия не имею. Но знаю, что живые должны утешать живых.

— Твои слова утешают меня, Ричард Кромвель.

Ричард вскакивает, целует его в щеку.

— Спокойной ночи. *Куска'н дауэлл.*

Крепкого сна. Так обращаются к своим. К отцам и братьям. Это важно, какое имя мы выбираем, каким мы его делаем. Люди теряют имена на поле брани, становясь просто телами без роду и племени. Герольдмейстеры не штудируют их родословные, и никто не заказывает молебнов на помин их души. Род Моргана не прервется, хотя

он умер в черный для Лондона год, когда смерть трудилась без устали.

Он дотрагивается до места, где должен висеть образок, который дала ему Кэт. Пусто. Пальцы рассеянно ощупывают горло. Впервые он сознает, почему выбросил образок в море. Ничьи руки не коснутся подарка Кэт. Волны взяли его, волны его упокоили.

Камин в Ишере по-прежнему чадит. Он идет к герцогу Норфолку, который всегда рад его видеть, и спрашивает, что делать с кардинальской челядью.

В этом вопросе оба герцога горят желанием помочь.

— Нет ничего хуже, чем слуги без хозяев, — говорит Норфолк. — Ничего опаснее. Что бы ни говорили о кардинале Йоркском, ему всегда хорошо служили. Пришлите их ко мне, я найду им применение.

Герцог вопросительно смотрит на Кромвеля. Он отворачивается. Сознает свое преимущество, глядит богатой невестой: лукаво, неприступно, холодно.

Он устраивает для герцога заем. Его иностранные партнеры осторожничают.

Кардинал в опале, герцог в фаворе, убеждает

он. Норфолк поднимается неуклонно, как солнце на рассвете, и уже сидит по правую руку Генриха. Томмазо, опомнись, разве это гарантии? Говорят, старый герцог желчного темперамента — что если завтра он преставится? Ты предлагаешь в залог герцогство на этом вашем диком острове, раздираемом гражданскими войнами? И новая как раз на подходе, если ваш упрямый король отвергнет тетку императора и провозгласит свою шлюшку королевой.

Ничего, он найдет способ все утрясти.

— Опять вы со своим списком, мастер Кромвель? — спрашивает Чарльз Брэндон. — Рекомендуете кого-то особо?

— Да, но все эти люди низкого звания и, наверное, мне лучше переговорить с вашим экономом…

— Нет, со мной, — настаивает герцог, который любит быть в курсе всего.

— Они простые трубочисты, едва ли ваша светлость захочет…

— Я беру их, беру, — перебивает Чарльз Брэндон. — Люблю, когда хорошо натоплено.

Лорд-канцлер Томас Мор первым ставит свою подпись под обвинениями против Вулси. По его требованию добавлено еще одно: кардинал обви-

няется в том, что шептал королю в ухо и дышал королю в лицо, а поскольку у кардинала сифилис, стало быть, он имел преступное намерение заразить нашего монарха.

Что в голове у этого человека, думает он. Своей рукой написать и отослать это в набор, дать пищу для сплетен двору и всему королевству: пастухам при стаде и Тиндейловым пахарям, нищим на дорогах, терпеливой скотине в стойлах; вынести такое в мир, готовый поверить всему. В мир, где дуют студеные зимние ветра, а в небе висит блеклое солнце, где в лондонских садах распускаются подснежники.

Хмурое утро, низкое беспросветное небо. Свет оттенка потускневшего олова еле пробивается сквозь стекло. Но как ярко одет Генрих, словно король в новой колоде; какими маленькими кажутся его пустые голубые глаза.

Вокруг Генриха Тюдора толпа придворных; они намеренно не замечают Кромвеля. Улыбается только Гарри Норрис, вежливо желает доброго утра. По знаку короля придворные отходят. В разноцветных плащах — двор собирается на охоту — они клубятся, теснятся, перешептываются, продолжая беседу при помощи кивков и пожиманий плечами.

Король смотрит в окно.

— Как поживает?..

Не хочет произносить вслух имя.

— Он не поправится, пока вновь не обретет расположение вашего величества.

— Сорок четыре, — говорит король. — Сорок четыре обвинения, сударь.

— При всем почтении к вашему величеству, на каждое обвинение у нас есть ответы, и на суде мы готовы их предъявить.

— А здесь и сейчас?

— Если ваше величество изволит присесть.

— Вас не поймаешь на слове.

— Я хорошо подготовился.

Он отвечает, не раздумывая. Король улыбается. Этот легкий изгиб алых губ. У Генриха крохотный, почти женский рот, слишком маленький для его лица.

— Когда-нибудь я непременно выслушаю вас, но сейчас меня ждет милорд Суффолк. Как думаете, развиднеется? Не хотелось бы просидеть взаперти до обедни.

— Думаю, развиднеется, — соглашается он. — Отличный денек погонять по полям зайцев.

— Мастер Кромвель! — Король отворачивается от окна и смотрит прямо на него, пораженный. —

Вы же не разделяете мнения Томаса Мора?

Он ждет, не представляя, о чем речь.

— *La chasse.*[29] Мор считает охоту варварством.

— Вот оно что. Нет, ваше величество, я одобряю любое развлечение, лишь бы вам в радость. Все дешевле, чем воевать. Да только… — Осмелится ли он? — В других странах охотятся на медведей, волков и вепрей. Когда-то они водились и в наших дремучих лесах.

— Мой французский кузен охотится на вепря. Иногда обещает прислать мне вепрей по морю. Однако мне кажется…

— Вам кажется, что Франциск над вами смеется.

— Мы, джентльмены, — Генрих смотрит в упор, — так вот, мы, джентльмены, обычно говорим, что охота готовит нас к войне. И тут возникает щекотливый вопрос, мастер Кромвель.

— Вопрос и вправду щекотливый, — говорит он весело.

— Лет шесть назад вы утверждали в парламенте, что война мне не по карману.

1523-й год. С тех пор минуло семь лет. Сколько

---

[29] Примечания Ольги Дмитриевой: 29
Охота *(фр.).*

длится их разговор? Семь минут? Хватило и семи. Отступишь — и Генрих загонит тебя, как зайца. Пойдешь напролом, и, возможно, король начнет колебаться.

— Ни одному властителю в истории война не была по карману, — говорит он. — Войны не бывают по карману. Что проку твердить: «Того, чем я располагаю, хватит как раз на небольшую кампанию». Вы начинаете войну, и она съедает все ваши деньги, а потом разрушает и разоряет вас.

— Когда в 1513 году я вступил во Францию и захватил Теруан, который вы назвали в своей речи…

— Собачьей дырой, ваше величество.

— Собачьей дырой, — повторяет король. — Почему вы так сказали?

Он пожимает плечами.

— Я там был.

Король вспыхивает:

— Я тоже, во главе моей армии. Так вот, сударь, что я скажу: вы утверждаете, что налоги на войну разоряют страну, но кому нужна страна, которая не поддерживает своего правителя в его начинаниях?

— Я говорил — при всем уважении к вашему величеству, — что нам не осилить годовую

кампанию. Война поглотит весь золотой запас государства. Я читал, что в древности вместо монет имели хождение кусочки кожи. Вот и сказал, что нас ждет возврат в те времена.

— Вы сказали, мне нельзя вести свои войска в бой. Что если меня пленят, страна не сможет заплатить выкуп. Чего вы добиваетесь? Вам нужен король, не умеющий сражаться? Хотите, чтобы я сиднем сидел взаперти, словно хворая девчонка?

— С финансовой точки зрения это было бы идеально.

Король с шумом выдыхает. Мгновение назад он кричал, сейчас — не упустить бы момент! — решает рассмеяться.

— Вы защищаете благоразумие. Благоразумие — добродетель, но не единственная добродетель для правителя.

— Есть еще сила духа.

— Допустим, спорить не стану.

— Сила духа не равноценна храбрости на поле боя.

— Вы собираетесь меня учить?

— Сила духа означает упорство в достижении цели. Стойкость. Мужество смириться с тем, что вы не в силах изменить.

Генрих ходит по комнате. Бум-бум-бум. На

короле охотничьи сапоги, он готов к *la chasse.* Генрих медленно оборачивается, являя себя во всей красе: мощный, широкоплечий, пышущий здоровьем.

— И что же я не в силах изменить?

— Расстояния, расположение гаваней, топографию, людей. Зимние дожди и распутицу. Когда предки вашего величества воевали во Франции, целые провинции на континенте принадлежали Англии. Оттуда мы получали припасы и провизию. Теперь, когда у нас только Кале, сможем ли мы прокормить армию?

Король смотрит сквозь окно на сероватое утро, закусывает губу. Закипает от еле сдерживаемой ярости? Генрих поворачивается, он улыбается.

— Я знаю, — говорит он. — Значит, в следующий раз, когда мы вторгнемся во Францию, нам понадобится побережье.

Ну разумеется. Захватим Нормандию. Или Бретань. Неужели он ждал чего-то другого?

— Сильная позиция. Я не вижу в ваших словах злого умысла. У вас ведь нет опыта в политике и военных кампаниях?

Он качает головой.

— Ни малейшего.

— В той речи, в парламенте, вы заявили, что в

стране есть миллион фунтов золотом.

— Я округлил.

— А как вы рассчитали?

— Меня учили флорентийские банкиры. И венецианские.

Король внимательно смотрит на него.

— Говард утверждает, что вы были простым солдатом.

— И солдатом тоже.

— Кем еще?

— А кем бы хотелось вашему величеству?

Генрих смотрит на него в упор, что бывает редко. Он встречает королевский взгляд прямо, как привык.

— Мастер Кромвель, у вас дурная репутация.

Он склоняет голову.

— Вы не защищаетесь?

— Ваше величество способны разобраться сами.

— Способен. И разберусь.

Стража в дверях отводит пики. В комнату бочком просачиваются придворные, кланяются королю. Их оттесняет Суффолк. Чарльзу Брэндону явно не по себе в тяжелых охотничьих одеждах.

— Готовы? — спрашивает он короля. — А, Кромвель. — Герцог ухмыляется. — Как поживает ваш

рыхлый сановный толстячок?

Король вспыхивает. Брэндону и дела нет.

— Рассказывают, — хмыкает он, — что однажды, завидев с холма живописную долину с ладной церквушкой и ухоженными землями вокруг, кардинал спросил слугу, Робин, кто этим владеет? Хочу получать доход от этого места! Уже получаете, милорд, ответил слуга.

История успеха не имеет, и герцог смеется в одиночку.

— Этот анекдот рассказывают по всей Италии, — замечает Томас. — То об одном кардинале, то о другом.

Брэндон мрачнеет.

— Что, именно эту?

— *Mutatis mutandis.*[30] Слугу звали не Робин.

Король ловит его взгляд, улыбается.

Направляясь к выходу, он проходит мимо придворных и натыкается — на кого бы вы думали? На королевского секретаря!

— Доброе утро, доброе утро, — говорит Томас. Не в его привычке повторять по два раза, но сейчас ситуация к этому обязывает.

Гардинер трет большие посиневшие ладони.

---

[30] Примечания Ольги Дмитриевой: 30
С необходимыми изменениями *(лат.)*.

— Замерзли? — спрашивает он.

— Как прошло, Кромвель? Хорошо вам влетело?

— Вовсе нет, — отвечает он. — Кстати, у него Суффолк, придется подождать. — Проходит вперед, оборачивается. Тупо, словно старый ушиб, ноет в груди.

— Гардинер, нельзя ли это остановить?

— Нет, — отвечает тот, не поднимая глаз. — Вряд ли.

— Ясно, — говорит он и идет к двери. Погоди. Год, два? Неважно, когда-нибудь ты за это заплатишь.

Ишер, два дня спустя. Он не успевает войти в ворота, а навстречу ему через двор несется Кавендиш.

— Мастер Кромвель! Вчера король…

— Тише, Джордж.

— …прислал четыре телеги домашней утвари! Шпалеры, посуда, портьеры — да сами посмотрите! Ваша заслуга?

Кто знает? Напрямую он ни о чем не просил, а если бы просил, то не стал бы скромничать: не эти портьеры, а те, они больше понравятся моему господину. Милорду кардиналу приятнее созерцать богинь, а не дев-великомучениц: так что унесите

святую Агнессу, а Венеру в роще оставьте. Мой господин привык к венецианскому стеклу: что здесь делают эти помятые серебряные кубки?

Он недовольно осматривает присланный скарб.

— Все самое лучшее для вас, голодранцы из Патни, — говорит кардинал, но тут же добавляет, словно извиняясь: — Вещи могли подменить. Кто знает, через сколько рук они прошли.

— Вполне возможно, — соглашается он.

— Как бы то ни было, они, вне всяких сомнений, сделают нашу жизнь удобнее.

— Беда только, — вступает в беседу Кавендиш, — что мы переезжаем. Дому настоятельно требуется уборка и проветривание.

— Да уж, — замечает кардинал, — запах здешних нужников собьет с ног святую Агнессу, благослови Господь ее нежную душу.

— Вы собираетесь обратиться к королевскому совету?

Вулси вздыхает.

— Зачем, Джордж? Я не разговариваю с Томасом Говардом. Не разговариваю с Брэндоном. Я разговариваю с ним.

Кардинал улыбается. Широкой отеческой улыбкой.

Когда они обсуждают расходы на содержание кардинала, он удивлен тем, как быстро Генрих схватывает суть. Вулси всегда говорил, что у короля острый ум, не хуже, чем у отца, но более глубокий. Постарев, прежний король стал мелочен. Он правил железной рукой, держа знать в ежовых рукавицах. Не любят — пусть боятся. Генрих другой, но какой? Вулси смеется и обещает написать руководство по обращению с королем.

Однако когда они гуляют по саду домика в Ричмонде, где король разрешил поселиться кардиналу, Вулси путано вещает о пророчествах, о падении священства в Англии, которое было предначертано, а теперь сбывается.

Даже если не верить в пророчества — а он, Кромвель, не верит — нельзя не признавать очевидного. Если кардинал виновен в том, что осуществлял свои полномочия папского легата, выходит, виновны все священники — от епископов и ниже, — признававшие его полномочия? Наверняка эта мысль приходит в голову не только ему, но его врагам горизонт заслоняет массивная багряная фигура — они боятся возвращения кардинала, готового воздать по заслугам.

— Прошли времена гордых прелатов, — бойко вещает Брэндон при следующей встрече, развяз-

ностью заглушая страх. — Королевство больше не нуждается в кардиналах.

— И это говорит Брэндон! — взрывается кардинал. — Брэндон, взявший в жены королевскую сестру в первый день вдовства! Прекрасно зная, что король задумал отдать ее другому монарху. Да если б я, простой кардинал, не замолвил за него словечко, не сносить бы Брэндону головы!

Я, простой кардинал.

— А какое оправдание он придумал? — бушует Вулси. — «Ах, ваше величество, ваша сестра Мария плачет. Плачет и умоляет меня взять ее в жены. Никогда не видел, чтобы женщина так рыдала!» Вот он и осушил ее слезы, получив в придачу герцогство. А послушать сейчас, так его род восходит к садам Эдема! Томас, я готов обсудить реформу церкви с людьми доброго нрава и признанной учености — с епископом Тунстоллом, с Томасом Мором — но Брэндон! Не ему вещать о гордых прелатах! Да кто он таков? Королевский конюх! Да любая лошадь его умнее!

— Милорд, — вмешивается Кавендиш, — вы преувеличиваете. Чарльз Брэндон — джентльмен, происходит из знатной семьи.

— Джентльмен? Самодовольный болтун, вот кто такой ваш Брэндон! — Обессилев, кардинал

опускается в кресло. — Голова болит. Кромвель, в следующий раз привезите мне более благоприятные вести.

День за днем, получив указания Вулси в Ричмонде, он едет к королю. Постепенно Генрих начинает казаться ему неизведанной территорией, которую он должен завоевать, не имея достаточных припасов.

Он понимает, чему научился от кардинала король: хитроумной дипломатии, науке недоговоренностей. Теперь Генрих применяет эти знания, медленно, на ощупь уничтожая своего министра, сопровождая каждый добрый жест новым обвинением, новой жестокостью. Наконец кардинал не выдерживает.

— Я хочу уехать, — стонет Вулси.

— Винчестер, — предлагает он герцогам. — Милорд кардинал желает проследовать в свой дворец в Винчестере.

— Так близко к королю? Мы не позволим себя одурачить, мастер Кромвель, — заявляет Брэндон.

Он, человек кардинала, так часто встречается с королем, что по Европе ползут слухи о грядущем возвращении Вулси. Говорят, что король вернет кардиналу свое расположение в обмен на церков-

ные богатства. Просачиваются слухи, что король недоволен новым окружением. Норфолк ничего не смыслит в государственных делах, у Суффолка неприятный смех.

— Мой господин не поедет на север, — говорит Томас. — Он не готов.

— А я хочу, чтобы он уехал, — настаивает Говард. — Скажите, что Норфолк велит ему убираться с глаз долой. Иначе — и это тоже передайте — я сам к нему явлюсь и разорву его вот этими зубами.

— Милорд, — он кланяется, — могу я передать не «разорвете», а «покусаете»?

Норфолк подходит к нему вплотную. Глаза налиты кровью, мускулы дергаются.

— Не смей мне перечить, подзаборный… — Герцог тычет указательным пальцем ему в лоб. — Подзаборный оборванец, сучье отродье, чертов крючкотвор!

Герцог стоит, уткнув палец в лоб Кромвелю, словно пекарь, проделывающий ямку в буханке. Плоть Кромвеля неуступчива, тверда и непроницаема, она не желает поддаваться.

До того как покинуть Ишер, он узнает, что одну из кошек, взятых для ловли мышей, угораздило разродиться прямо в кардинальской спальне.

Что за нахальство! Впрочем, вдруг это неспроста — новая жизнь в кардинальских покоях. Возможно, знамение? Он боится знамений иного рода — когда-нибудь мертвая птичка свалится в вечно чадящий камин и — о, горе! — стенаниям кардинала не будет конца.

По крайней мере, его милость доволен: котята лежат на подушке в открытом сундуке, а кардинал наблюдает, как они растут. У одного — черного и вечно голодного — шерстка будто суконная, и желтые глаза. Когда котенка отнимают от матери, Томас забирает его с собой. Дома вытаскивает из-под плаща и протягивает Грегори — котенок спит, уткнувшись в плечо.

— Смотри, Грегори, я великан, меня зовут Марлинспайк.

Грегори подозрительно разглядывает котенка. Отводит глаза, отдергивает руку.

— Пес его загрызет, — говорит сын.

Марлинспайк отправляется на кухню — будет набираться сил и жить соответственно своей кошачьей натуре. Впереди лето, однако тепло не в радость. Иногда, гуляя по саду, он видит подросшего котенка, затаившегося на яблоне или дремлющего на солнцепеке.

Весна 1530-го. Купец Антонио Бонвизи при-

глашает его на ужин в свой высокий красивый особняк в Бишопсгейте.

— Я ненадолго, — говорит он Ричарду, думая, что его ждет унылое собрание голодных и злых гостей: даже находчивый итальянский богач едва ли сумеет найти новый способ копчения угря и соления сельди. Во время поста купцы лишены любимых баранины и мальвазии, еженощной возни на пуховых перинах с женой или любовницей. До самой Пепельной среды они перегрызают друг другу глотки, стараясь урвать кусок пожирнее.

Однако на сей раз собрание оказывается более представительным: приглашен лорд-канцлер с судейскими и олдерменами. Хемфри Монмаута, которого Мор некогда упрятал за решетку, отсадили от великого человека подальше. Мор весел, непринужден; развлекает компанию рассказом о прославленном Эразме, своем дорогом друге.

Завидев Кромвеля, Мор замирает на полуслове и опускает глаза. Лицо лорда-канцлера каменеет.

— Хотите поговорить обо мне? — спрашивает Томас. — Не стесняйтесь, лорд-канцлер, у меня толстая шкура.

Одним махом выпивает стакан вина, смеется.

— А знаете, что сказал обо мне Брэндон? Герцогу никак не удается собрать воедино все то, что он знает о моей жизни. Моих путешествиях. Так вот, вчера он обозвал меня жидом.

— В лицо? — вежливо интересуется хозяин.

— Нет. Король мне сказал. Впрочем, милорд кардинал зовет Брэндона конюхом.

— В последнее время вы зачастили ко двору, Томас. Стали придворным? — спрашивает Хемфри Монмаут.

Все улыбаются. Сама идея кажется абсурдной, а его нынешнее положение временным. Окружение Мора — горожане, среди них нет знатных господ, хотя сам он редкая птица: ученый и острослов.

— Пожалуй, об этом говорить не стоит. Есть деликатные материи, о которых лучше умолчать, — говорит Мор.

Старейшина гильдии суконщиков тянется к Кромвелю через стол и сообщает, приглушив голос:

— Томас Мор сказал, что за трапезой не станет обсуждать ни кардинала, ни леди.

Он, Кромвель, глядит на гостей.

— Иногда король меня удивляет. Я про то, что он готов стерпеть.

— От вас? — спрашивает Мор.

— От Брэндона. Они собирались на охоту, Брэндон вошел и гаркнул: вы готовы?

— Ваш хозяин кардинал не уставал с этим бороться, — говорит Бонвизи. — Пытался отучить приятелей короля от излишней фамильярности.

— Хотел, чтобы фамильярность дозволялась ему одному, — замечает Мор.

— Король волен приближать того, кого сочтет нужным.

— Но есть же границы, Томас, — говорит Бонвизи; за столом смешки.

— Даже королю нужны друзья. Что в том плохого?

— Похвала? От вас, мастер Кромвель?

— Ничего удивительного, — говорит Монмаут. — Всем известно, что мастер Кромвель готов на все ради друзей.

— Мне кажется… — Мор замолкает, глядя в стол. — Не уверен, что кто-либо может считать правителя своим другом.

— Вам виднее, — говорит Бонвизи, — вы знаете Генриха с детства.

— Дружба должна быть не такой… обязывающей, она должна утешать и давать силу. Не быть похожей на… — впервые Мор оборачивается к

нему, словно приглашая к разговору. — Иногда мне кажется, что такая дружба сродни битве Иакова с ангелом.

— Кто знает, — замечает он, — за что они бились?

— Верно, об этом Писание умалчивает. Как и про Каина с Авелем. Кто знает.

Он ощущает за столом легкое беспокойство: зашевелились самые набожные и суровые, или пришло время перемены блюд. Что там? Рыба!

— Когда разговариваете с Генрихом, — говорит Мор, — заклинаю, обращайтесь к его доброму сердцу, а не к его сильной воле.

Он хочет продолжить разговор, но престарелый суконщик машет рукой, чтобы принесли еще вина, и спрашивает:

— Как поживает ваш друг Стивен Воэн? Что нового в Антверпене?

Теперь разговор обращается к торговле: перевозке товаров, процентным ставкам, но это лишь видимость. Довольно заявить: вот то, о чем мы ни в коем случае говорить не станем, — и весь вечер ни о чем другом не будет сказано ни слова. Если бы не лорд-канцлер, мы мирно обсуждали бы пошлины и таможенные склады, и наши мысли не вертелись бы вокруг одинокой фигуры,

облаченной в багрянец, а наши истомленные воздержанием умы не смущали бы видения королевских пальцев, ласкающих упругую, трепетную девичью грудь.

Он откидывается назад и в упор смотрит на Томаса Мора. Разговоры на время затихают. Спустя четверть часа лорд-канцлер, все это время хранивший молчание, не выдерживает. Голос сердитый и низкий, глаза пожирают остатки еды на тарелке.

— Кардинал Йоркский, — заявляет Мор, — обладает неутолимой страстью командовать окружающими.

— Лорд-канцлер, — замечает Бонвизи, — вы так смотрите на свою селедку, словно ненавидите ее.

— Селедка тут ни при чем, — великодушно отвечает гость.

Томас подается вперед, готовый парировать, не спустить оскорбления.

— Кардинал — публичная фигура. Как и вы. Должен ли он держаться в тени?

— Должен. — Мор поднимает глаза. — До некоторой степени. Возможно, ему следовало бы немного умерить аппетит.

— Поздновато давать кардиналу уроки смирения, — замечает Монмаут.

— Его истинные друзья давно твердили ему о смирении, но только впустую.

— Вы причисляете себя к друзьям кардинала? — Он сидит прямо, скрестив руки. — Я передам ему, лорд-канцлер, и, клянусь кровью Христовой, эта новость утешит милорда в изгнании, пока вы здесь клевещете на него перед королем.

— Джентльмены… — обеспокоенный Бонвизи встает.

— Нет, сидите, — говорит он. — Давайте начистоту. Томас Мор скажет вам, что хотел стать простым монахом, но отец отдал его в юриспруденцию. Если бы я мог выбирать, я провел бы всю жизнь в церкви, скажет он. Вы же знаете, как равнодушен я к земным благам, и одни лишь духовные материи занимают мой ум. — Он оглядывает гостей. — Как же, в таком случае, ему удалось стать лордом-канцлером? Вероятно, случайно?

Открывается дверь. Бонвизи вскакивает, на лице облегчение.

— Добро пожаловать, прошу вас. Джентльмены, императорский посол.

Эсташ Шапюи прибывает вместе с десертом. Новый посол, как его по-прежнему называют, хотя он занимает свой пост с осени. Посол медлит

на пороге, и гости имеют возможность налюбоваться: горбатый коротышка в дублете с буфами и разрезами; синий атлас выглядывает из-под черного; ниже — короткие тощие ножки.

— Сожалею, что опоздал, — говорит новый гость, рисуясь. — *Les dépêches, toujours les dépêches.*[31] Такова посольская жизнь. — Шапюи оглядывается и улыбается. — Томас Кромвель. А, *c'est le juif érrant!*[32]

И тут же извиняется, не переставая улыбаться, пораженный успехом своей шутки.

Да садитесь же, говорит Бонвизи. Слуги суетятся, сметают со скатерти крошки, гостям приходится потесниться. За исключением лорда-канцлера, который остается на месте. Подают засахаренные осенние фрукты и вина с пряностями; Шапюи занимает почетное место подле Мора.

— Говорим по-французски, джентльмены, — объявляет Бонвизи.

По традиции императорские послы и послы-испанцы используют французский. Шапюи, как и остальные дипломаты, не считает за труд вы-

---

[31] Примечания Ольги Дмитриевой: 31
Депеши, вечно депеши *(фр.).*

[32] Примечания Ольги Дмитриевой: 32
Вечный жид *(фр.).*

учить английский, бесполезный при следующем назначении. Благодарю, благодарю, приговаривает посол, откидываясь в резном хозяйском кресле — ноги не достают до пола. Мор воодушевляется, и скоро они с послом увлеченно беседуют голова к голове. Он смотрит на них, они отвечают возмущенными взглядами, но разглядывать друг друга никому не возбраняется.

На краткий миг они замолкают, и ему удается вклиниться в разговор.

— Мсье Шапюи, недавно я разговаривал с королем о весьма прискорбных событиях, когда войска вашего господина разорили Вечный город. Не просветите нас? Мы до сих пор теряемся в догадках.

Шапюи трясет головой.

— Весьма, весьма прискорбные события.

— Томас Мор считает, что во всем виноваты тайные магометане — ах да, и, разумеется, мое вездесущее жидовское племя — раньше он, однако, утверждал, что за все в ответе немцы, последователи Лютера, что именно они насиловали девиц и оскверняли святыни. В любом случае, лорд-канцлер говорит, что император должен винить во всем себя, но как следует думать нам? Нужен ваш совет.

— Мой дорогой лорд-канцлер! — посол потрясенно смотрит на Томаса Мора. — Вы сказали такое о моем императоре? — Стрельнув глазами за плечо, Шапюи переходит на латынь.

Гости, которым латынь не внове, сидят и довольно улыбаются.

— Если хотите посекретничать, — любезно советует Томас, — попробуйте греческий. *Allez,*[33] мсье Шапюи, не стесняйтесь. Лорд-канцлер вас поймет.

Конец ужина скомкан. Лорд-канцлер встает, но перед уходом обращается к гостям по-английски:

— Мне кажется, позиция мастера Кромвеля весьма уязвима. Как всем известно, он не друг церкви, а всего лишь друг одного священнослужителя, притом самого порочного во всем христианском мире.

Сухо кивнув на прощанье, лорд-канцлер удаляется. Даже присутствие Шапюи его не удерживает. Тот нерешительно смотрит вслед, закусив губу, словно говоря: я рассчитывал на большую поддержку. Томас замечает привычку посла по-актерски гримасничать. Когда Шапюи думает, он опускает глаза и подносит ко лбу два пальца;

---

[33] Примечания Ольги Дмитриевой: 33
Здесь: Ну же *(фр.).*

когда грустит — испускает вздох; когда смущен — двигает щекой и кривит губы в полуулыбке. Императорский посол похож на комедианта, нечаянно забредшего в чужую пьесу и решившего остаться там, чтобы осмотреться.

Ужин завершен, гости выходят в ранние сумерки.

— Что, слишком рано разошлись? — спрашивает он Бонвизи.

— Томас Мор — мой старинный приятель. Вам не следовало на него нападать.

— Выходит, я испортил ужин? А сами пригласили Монмаута, думаете, он не воспринял это как нападение?

— Нет, Хемфри Монмаут тоже мой друг.

— А я?

— И вы.

Они плавно переходят на итальянский.

— Расскажите, что вы знаете о Томасе Уайетте.

Три года назад Уайетта неожиданно приставили к дипломатической миссии в Италии. Там ему пришлось несладко, но сейчас не о том. Почему его отослали от двора в такой спешке, вот что хотелось бы знать.

— А, Уайетт и леди Анна. Старая история.

Возможно, соглашается он и рассказывает

Бонвизи о лютнисте Марке, который уверен, что Уайетт спал с Анной. Если лакеи и слуги по всей Европе вовсю чешут языками, неужто король не ведает?

— Наверное, в этом и заключается искусство правителя — знать, когда нужно закрыть уши. А Уайетт красавчик, — замечает Бонвизи, — правда, в вашем, английском духе. Высокий, светловолосый, мои земляки на него не надышатся. Откуда вы их берете? Самоуверенный малый да еще и поэт!

Он смеется: его друг Бонвизи, как все итальянцы, не может выговорить «Уайетт» — у него получается «Гуйетт», или что-то в этом роде. Когда-то в добрые старые времена Хоквуд, рыцарь графа Эссекса, отправился в Италию, чтобы грабить и насиловать, — итальянцы выговаривали его имя как Акуто, то есть Игла.

— Да, но Анне… — с его точки зрения она не из тех женщин, что падки на мужскую красоту. — В те времена Анне нужен был муж: имя, положение, позволявшее ей торговаться с королем, заманивать его в свои сети. Уайетт женат. Что он мог ей предложить?

— Стихи? — спрашивает купец. — Он оставил Англию не только ради дипломатической ка-

рьеры. Анна измучила его. Он больше не смел находиться с ней в одной комнате, в одном дворце. — Итальянец трясет головой. — Странный народ эти англичане!

— И не говорите!

— Вам следует быть осторожней. Ее семейство не знает удержу. Они говорят, обойдемся без папы. Почему бы не подписать брачный контракт без его участия?

— Что ж, это поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

— Попробуйте засахаренный миндаль.

Он улыбается.

— Томмазо, могу я дать вам совет? — спрашивает Бонвизи. — С кардиналом покончено.

— Не будьте так уверены.

— Если бы вы его не любили, вы бы и сами это поняли.

— Я видел от кардинала только добро.

— Но сейчас его место на севере.

— Его затравят. Спросите послов. Спросите Шапюи. Спросите, о ком их донесения. Они в Ишере, они в Ричмонде. *Toujours les dépêches.* В тех депешах — про нас.

— Вы только вообразите, в чем его обвиняют! В незаконном правлении!

— Понимаю, — вздыхает он.

— И что вы думаете делать?

— Пожалуй, посоветую ему вести себя потише.

Бонвизи смеется.

— Ах, Томас! Вы же прекрасно понимаете: как только кардинал отправится на север, вы останетесь без хозяина. Вас привечает король, но долго это не продлится. Сейчас вы нужны ему, чтобы торговаться с кардиналом. А что потом?

Он отвечает не сразу.

— Король любит меня.

— Король — любовник ветреный.

— Не для Анны.

— Вот тут я и хочу вас предостеречь. Нет, не из-за Гуйетта, не из-за досужих сплетен, а потому, что скоро все закончится. Она уступит ему, она всего лишь женщина… подумайте, каким глупцом выставил себя тот, кто связывал свои надежды с ее сестрой.

— Да уж.

Он обводит глазами комнату. Вот здесь сидел лорд-канцлер, слева от него — голодные купцы, справа — новый посол. Здесь Генри Монмаут, еретик. Здесь Антонио Бонвизи. Здесь Томас Кромвель. А вот места для призраков: вкрадчивого толстяка Суффолка, Норфолка, звякающего

реликвариями и восклицающего: «Клянусь мессой!» Вот место короля и маленькой мужественной королевы, оголодавшей в пост — ее чрево содрогается под прочной броней платья. А вот леди Анна: беспокойные черные глаза всегда в движении, она ничего не ест, она все замечает, теребя нитку жемчуга на тонкой шее. Вот место для Уильяма Тиндейла, вот — для папы; Климент смотрит на засахаренную айву, порезанную слишком крупно, и его губы — губы Медичи — кривятся. А вот, сочась елеем и жиром, сидит брат Мартин Лютер: хмуро оглядывает собравшихся, сплевывая рыбьи кости.

Входит слуга.

— Мастер, вас спрашивают двое юных джентльменов.

Он поднимает глаза.

— Да?

— Мастер Ричард Кромвель и мастер Рейф. Они пришли вместе со слугами, чтобы отвести вас домой.

Он понимает, ужин был предупреждением: отступись. Он еще вспомнит эту роковую расстановку: окажется ли она роковой? Нежный шорох и шепот камней, дальний грохот оседающих стен и крушащейся штукатурки, валунов, кромсаю-

щих хрупкие черепа. Звук, с которым на головы рушится крыша христианского мира.

— Да у вас тут целая армия, Томмазо, — замечает Бонвизи. — Думаю, осторожность вам не повредит.

— Я всегда осторожен.

Еще один, последний взгляд.

— Спокойной ночи. Славный был ужин, угорь особенно удался. Не пришлете своего повара пошептаться с моим? Я узнал рецепт нового соуса, весьма пикантного: мускатный орех, имбирь, немного сухих порубленных листьев мяты…

— Умоляю вас, — перебивает друг, — ведите себя осторожнее!

— … чуть-чуть, самую малость, чеснока…

— Где бы вам не пришлось ужинать в следующий раз, заклинаю…

— …щепоть хлебных крошек…

— …не садитесь рядом с Болейнами.

II Мой дражайший Кромвель

весна-декабрь 1530 года

Он приезжает в Йоркский дворец ни свет ни заря. Стреноженные чайки в садках выкликают товарок, которые кружат над рекой и с пронзительными воплями ныряют за стены замка. Возчики тянут в гору грузы с барж. Пахнет свежеиспеченным хлебом. Мальчишки волокут от реки вязанки свежих камышей, приветствуют его по имени. Он дает каждому по монетке и останавливается поболтать.

— Собрались к злодейке? А знаете, сударь, что она околдовала нашего короля? У вас есть образок или мощи, чтобы защититься от ее чар?

— Был образок, да потерялся.

— Попросите кардинала, он даст вам другой.

Резкий травяной запах камышей, превосходное утро. Он шагает по знакомым залам Йоркского дворца, видит полузабытое лицо, окликает:

— Марк?

Юноша лениво отлепляется от стены.

— Рановато поднялись. Как поживаете?

Угрюмо жмет плечами.

— Странно, должно быть, снова оказаться в Йоркском дворце, когда все вокруг переменилось.

— Нет.

— Скучаете по милорду кардиналу?

— Нет.

— Всем довольны?

— Да.

— Милорд будет рад услышать.

Про себя он замечает, тебе нет дела до нас, Марк, но нам-то есть дело до тебя. По крайней мере, мне; я не забуду, как ты назвал меня злодеем и предрек мне смерть на плахе. Истинно говорит кардинал: на свете нет безопасных мест, нет надежных стен. Исповедоваться в своих грехах английскому священнику — все равно что кричать о них на весь Чипсайд. Но когда я рассказывал кардиналу об убийстве, когда видел скользнувшую по стене тень, свидетелей не было. А значит, если Марк считает меня убийцей, то лишь потому, что у меня, на его взгляд, внешность душегуба.

Восемь комнат; в последней — где был бы кардинал — он находит Анну Болейн. А вот и старые знакомцы, Соломон и царица Савская, как прежде, рядышком на стене. Сквозняк колышет шпалеру; цветущая царица встрепенулась ему

навстречу, и он ее приветствует: Ансельма, моя госпожа, сотворенная из мягкой шерсти, уж я и не чаял вас узреть.

Кромвель тайно писал в Антверпен, осведомлялся о новостях. Ансельма снова замужем, ответил Стивен Воэн, за молодым банкиром. Что ж, если новый муженек утонет или сломает шею, извести меня. Воэн в ответ удивляется: неужто в Англии перевелись хорошенькие вдовушки и юные девы?

Соседство с пышнотелой царицей не красит хозяйку: Анна тощая и угловатая, с землистым цветом лица. Стоит у окна, пальцы теребят побег розмарина. Завидев Кромвеля, она роняет стебелек, руки прячутся в длинные струящиеся рукава.

В декабре Генрих давал обед в честь отца Анны, нового графа Уилтширского. В отсутствие королевы Анна садится подле короля. Земля промерзла, ледяным холодом веет за столом. До окружения Вулси доходят лишь слухи. Вечно недовольная герцогиня Норфолкская вне себя, что племянница сидит выше нее. Герцогиня Суффолкская, сестра Генриха, отказывается есть. Обе сановные дамы не удостаивают дочь Болейна разговором. Но Анна все же заняла место первой леди королевства.

Кончается пост, и Генрих вынужден вернуться к жене — совесть не дает королю провести Страстную неделю с любовницей. Ее отец за границей по дипломатическим делам, равно как и брат Джордж, теперь лорд Рочфорд. За границей и Томас Уайетт, поэт, которого она мучит. Анне одиноко и скучно в Йоркском дворце, и она снисходит до Кромвеля, хоть какое-то развлечение.

Свора мелких собачек — три штуки — вылетают из-под хозяйкиных юбок и бросаются к нему.

— Не дайте им выскочить, — говорит Анна. Он ловко и нежно сгребает всех трех в охапку — чем не Белла? только у этих лохматые уши и пушистые хвосты, таких держат все купеческие жены по ту сторону Ла-Манша. Пока он держит собачек, они успевают покусать ему пальцы и одежду, облизать лицо и теперь не сводят преданных глаз-бусин, словно всю жизнь ждали его одного.

Двух он осторожно опускает на пол, третью, самую мелкую, подает Анне.

— *Vous êtes gentil,* вы очень добры, — благодарит она. — Надо же, как быстро мои крохи вас признали! Мне не по душе обезьянки, которых держит Екатерина. *Les singes enchaînés.* О, эти лапки, эти крохотные шейки, скованные цепью! А мои детки любят меня ради меня самой.

Анна субтильна. Тонкая кость, узкий стан. Если из двух студентов-правоведов выйдет один кардинал, то из двух Анн — одна Екатерина. Вокруг нее, на низких скамейках, вышивают — или делают вид, будто вышивают, — ее фрейлины. Мария Болейн сидит, прилежно опустив голову, притворяется, что увлечена работой. Нагловатая кузина, Мэри Шелтон, кровь с молоком, разглядывает его во все глаза. Наверняка теряется в догадках, Бог мой, неужели леди Кэри не могла найти никого получше? В тени прячется незнакомая девушка, отвернувшись, уставясь в пол. Кажется, он понимает, почему она прячется. Все дело в Анне. Теперь, передав собачку хозяйке, он тоже опускает глаза.

— *Mors,*[34] — начинает она мягко, — не поверите, мы только о вас и говорим. Король постоянно ссылается на мастера Кромвеля.

Анна произносит его имя на французский манер: Кремюэль.

— Он всегда прав, всегда точен… А, вот еще, мэтр Кремюэль умеет нас развеселить.

— Король любит время от времени посмеяться. А вы, мадам? В вашем теперешнем положении?

---

[34] Примечания Ольги Дмитриевой: 34
Итак *(фр.).*

Она удостаивает его сердитым взглядом через плечо.

— Я редко. Смеюсь. Если задумываюсь, но я стараюсь не думать.

— Жизнь последнее время вас не балует.

Пыльные обрывки, сухие стебли и листья у подола. Анна смотрит в окно.

— Позвольте сформулировать так, — говорит он. — С тех пор как милорд кардинал лишился королевской милости, многого ли вы добились?

— Ровным счетом ничего.

— А между тем никто не пользуется большим доверием христианских владык. Никто не понимает короля так, как он. Подумайте, леди Анна, как благодарен будет вам кардинал, если вы поможете устранить недоразумения и восстановить его доброе имя в глазах короля!

Она не отвечает.

— Подумайте, — не сдается он. — Кардинал — единственный человек в Англии, который может дать вам то, чего вы хотите.

— Хорошо, изложите его аргументы. У вас пять минут.

— Да, конечно, я вижу, как вы заняты.

Анна одаривает его неприязненным взглядом и переходит на французский:

— Откуда вам знать, чем я занята?

— Миледи, на каком языке мы беседуем? Выбор за вами, но определитесь, хорошо?

Краем взгляда он ощущает движение: девушка в тени поднимает глаза. Невзрачная, бледненькая, она потрясена его резкостью.

— Вам правда все равно? — спрашивает Анна.

— Все равно.

— Тогда французский.

Он снова повторяет: только кардинал способен добыть согласие папы, только кардинал успокоит королевскую совесть.

Анна внимает. Этого у нее не отнять. Его всегда удивляло, как женщины умудряются слышать под чепцами и вуалями, но, кажется, Анна действительно слушает. По крайней мере, дает ему высказаться, ни разу не перебив. Наконец она все-таки перебивает, помилуйте, мастер Кремюэль, если этого хочет король, если этого хочет кардинал — первый из его подданных — должна заметить: слишком долго дело не сдвинется с места!

— А она тем временем не молодеет, — еле слышно подает голос сестра.

Едва ли с тех пор как он вошел женщины сделали хоть стежок.

— Могу я продолжить? — говорит он. — Осталась у меня минута?

— Только одна, — говорит Анна. — В пост я ограничиваю свое терпение.

Он уговаривает ее прогнать клеветников, утверждающих, будто кардинал препятствует ее планам. Говорит, как больно кардиналу, что королю не удается осуществить свои чаяния, каковые есть и его, кардинала, чаяния. Ибо лишь на нее возлагают свои надежды подданные его величества, жаждущие обрести наследника престола. Он напоминает Анне о любезных письмах, которые она некогда писала кардиналу; его милость не забыл ни единого.

— Все это хорошо, — говорит Анна, когда он замолкает. — Все это хорошо, мастер Кремюэль, но неубедительно. От кардинала требовалось одно. Одно простое действие, которое он не пожелал выполнить.

— Вы не хуже меня понимаете, насколько непростое.

— Наверное, это выше моего понимания. Как вы считаете?

— Возможно, и выше. Я вас почти не знаю.

Ответ приводит Анну в ярость. Ее сестра ухмыляется. Я вас больше не задерживаю, говорит

Анна. Мария вскакивает и устремляется вслед за ним.

И снова щеки Марии горят, рот приоткрыт. В руках работа; сперва это кажется ему странным, впрочем, возможно, если оставить вышивку возле Анны, та распустит стежки.

— Опять запыхались, леди Кэри?

— Мы уж было решили, она вскочит и залепит вам пощечину! Еще придете? Мы с Шелтон теперь и не знаем, как вас дождаться!

— Ничего, стерпит, — говорит он, и Мария соглашается, да, Анна любит перепалки среди своих. Над чем вы так прилежно трудитесь, спрашивает он. Мария протягивает вышивку, новый герб Анны. На всем подряд? — спрашивает он. А как же, с готовностью подхватывает Мария, сияя улыбкой. На нижних юбках, носовых платках, чепцах и вуалях. У нее столько новой одежды, везде должен быть вышит ее герб, не говоря уже о занавесях, салфетках…

— А как вы?

Она прячет глаза.

— Устала. Издергалась. Рождество выдалось…

— Я слышал, они ссорились.

— Сначала он поссорился с Екатериной, а после пришел искать сочувствия к ней. А она возьми

да и скажи, я ведь просила вас ей не перечить, в спорах она всегда одерживает верх. Не будь он королем, — замечает Мария с явным удовольствием, — любой бы его пожалел. Что за собачью жизнь они ему устроили!

— Ходят слухи, что Анна…

— Пустое. Я узнала бы первой. Если бы она раздалась хоть на дюйм, именно я перешивала бы ей одежду. Только не будет этого, между ними ничего не было.

— Думаете, она вам скажет?

— Тут же! Лишь бы меня позлить.

Мария до сих пор ни разу не подняла глаз, но, кажется, искренне уверена, что снабжает его важными сведениями.

— Когда они наедине, она позволяет ему расшнуровать корсет.

— По крайней мере, король не просит вас помочь.

— Затем он поднимает ее сорочку и целует грудь.

— Надо же, он нашел там грудь?

Мария хохочет; заливисто, совсем не по-сестрински. Должно быть, хохот слышен в покоях Анны, потому что дверь распахивается, и к ним выбегает кроткая фрейлина. Сама серьезность и

сосредоточенность, кожа так нежна, что кажется прозрачной.

— Леди Кэри, — обращается к Марии юная скромница, — леди Анна ждет вас.

Тон такой, словно говорит о двух паучихах.

Мария недовольно хмыкает, ах, ради всего святого, поворачивается на каблуках, изящным заученным движением подхватывает шлейф.

К удивлению Кромвеля, бледнокожая скромница ловит его взгляд, и за спиной у Марии Болейн возводит очи горе.

На обратном пути — восемь комнат отделяют его от прочих сегодняшних дел — он уже знает, что Анна встала у окна, чтобы он хорошенько ее разглядел. Разглядел утренний свет в ложбинке горла, тонкий изгиб бровей и улыбку; и то, как изящно сидит хорошенькая головка на длинной шейке. А также ее ум, рассудительность и строгость. Вряд ли он чего-нибудь от нее добьется, кардиналу не повезло, но попытка не пытка. Это мое первое предложение, думает он, возможно, не последнее.

Лишь однажды Анна одарила его пронзительным взглядом черных очей. Король тоже умеет так смотреть: мягкость его голубых глаз обманчива. Так вот как они смотрят друг на друга! Или

иначе? На миг он понимает — но лишь на миг.

Он стоит у окна. Стайка скворцов расселась на голых ветках среди набухших черных почек. Внезапно — словно из почек выстреливают ростки — скворцы взмахивают крыльями; они поют, перелетают с ветки на ветку, и кажется, что мир состоит из полета, воздуха, крыльев и музыки этих порхающих черных клавиш. — Он смотрит на птиц и радуется: что-то давно потухшее, едва различимое, стремится навстречу весне. Несмело и отчаянно мысли обращаются к предстоящей Пасхе; дни покаяния позади, кончается пост. За этим беспросветным миром должен быть иной. Мир, где все возможно. Мир, в котором Анна может быть королевой, а Кромвель — Кромвелем. На миг он видит этот новый мир — но лишь на миг. Мгновение так мимолетно, и все же его нельзя отменить. Нельзя и вернуть.

Даже в пост найдутся сговорчивые мясники, главное — знать места. Он спускается на кухню в Остин-фрайарз поболтать с шеф-поваром.

— Кардинал болен и получил разрешение не поститься.

Повар стягивает колпак.

— От папы?

— От меня.

Он обегает взглядом ряды ножей и тесаков для рубки костей. Выбирает один, касается лезвия — нож требует заточки — спрашивает:

— Как думаешь, похож я на убийцу? Только честно.

Молчание. Помешкав, Терстон мямлит:

— Видите ли, сударь, должен сказать, что сейчас…

— Ясно, но представь, что я иду в Грейз-инн с бумагами и чернильницей подмышкой.

— Думаю, их должен нести писарь.

— Стало быть, не можешь представить?

Терстон снова стягивает колпак и выворачивает наизнанку, словно его мозги находятся внутри или, по крайней мере, там спрятана подсказка.

— Мне кажется, вы похожи на стряпчего, не на убийцу, нет, не на убийцу. Но если позволите, сударь, по вам сразу видно, что вы в два счета управитесь с разделкой туши.

Он велел приготовить кардиналу мясные рулетики с шалфеем и майораном. Они аккуратно перевязаны и уложены рядком на подносе — кардинальскому повару в Ричмонде останется только запечь. Покажите мне, где в Библии сказано, что нельзя есть мясные рулетики в марте.

Он думает о леди Анне, ее неутоленной потреб-

ности ссориться; о печальных дамах вокруг. Он посылает им корзинки с пирожными из засахаренных апельсинов и меда. Анне шлет тарелку миндального крема. Крем сбрызнут розовой водой, украшен засахаренными лепестками роз и фиалок. Он не настолько низко пал, чтобы самому доставлять угощение, но не так уж далеко от этого ушел. Давно ли он служил на кухне Фрескобальди во Флоренции? Может, давно, но память свежа, будто все было вчера. Он процеживал бульон из телячьей голяшки, болтая на смеси французского, тосканского и лондонского просторечий. Кто-то позвал: «Томмазо, тебя ждут наверху!» Не суетясь, он кивнул поваренку, тот подал таз с водой. Помыл руки, вытер их льняным полотенцем, повесил на гвоздь фартук. Вполне может статься, что фартук висит там до сего дня.

Парнишка младше его самого, стоя на карачках, скреб ступеньки и горланил:

Scaramella va alia guerra
Colla lancia et la rotella
La zombero boro borombetta,

La boro borombo…[35]

— Подвинься, Джакомо, — попросил он.

Тот отстранился, освобождая проход. Луч света стер любопытство с лица, погасил его, растворяя прошлое в прошлом, расчищая место для будущего. *Скарамелла идет на войну…* Но ведь я и вправду был на войне, подумал он.

Он поднялся на второй этаж. В ушах грохот и спотыкание барабанов: *ла дзомберо боро борометта.* Он поднялся на второй этаж и никогда больше не спустится на кухню. В углу меняльной конторы Фрескобальди его ждал стол. Напевая *Scaramella fa la gala — Скарамелла отправляется на праздник,* — он занял свое место. Очинил перо. Мысли теснились, тосканские, кастильские ругательства, проклятья, которые он помнил со времен Патни. Но когда он доверил мысли перу, они легли на бумагу безупречно гладкой латынью.

Не успевает он подняться, а женщины уже знают, что он от Анны.

— Говори, — требует Джоанна, — высокая или

---

[35] Примечания Ольги Дмитриевой: 35

Скарамелла идет на войну
С копьем и щитом,
Та-рам (ит., дальше — имитация воинственных звуков).

низкая?

— Ни то ни другое.

— Я слыхала, высокая. Бледная, как поганка.

— Так и есть.

— Говорят, она очень грациозна, превосходно танцует.

— Мы не танцевали.

— А сам ты что думаешь? — вступает Мерси. — Правда ли, что она евангельской веры?

Он пожимает плечами:

— И не молились.

Алиса, маленькая племянница:

— Какое на ней было платье?

А вот наряд он готов расписать в деталях — от чепца до подола, от ступней до мизинцев: что, откуда и почем. Анна носит круглый чепец по французской моде, который выгодно подчеркивает тонкие скулы. Это объяснение женщины принимают с неодобрением, несмотря на тон, деловой и холодный.

— Она вам не понравилась? — спрашивает Алиса. Понравилась — не понравилась, не мне судить, да и тебе, Алиса, не советую, говорит он, тормоша племянницу и заставляя ее визжать от хохота. Наш хозяин сегодня в духе, говорит малышка Джо. А эта беличья отделка, начинает

Мерси. Серая, отвечает он. А, серая, вздыхает Алиса и морщит носик. Должна сказать, ты стоял очень близко, замечает Джоанна.

— А зубы у нее хорошие? — спрашивает Мерси.

— Ради Бога, женщина! Когда она их в меня вонзит, я тебе сообщу.

Когда кардинал узнает, что Норфолк готов примчаться в Ричмонд и разорвать его собственными зубами, то, смеясь, замечает:

— Мать честная! Коли так, Томас, пора ехать.

Однако чтобы двинуться на север, Вулси нужны деньги. Проблема изложена королевскому совету, в котором нет согласья. Споры продолжаются и при нем.

— Нельзя же, — восклицает Чарльз Брэндон, — чтобы архиепископ пробирался на свою интронизацию[36] тишком, словно лакей, стащивший ложки!

— Если бы ложки! — взрывается Норфолк. — Да он объел всю Англию, стянул скатерть и, клянусь Богом, вылакал винный погреб!

Генрих умеет быть неуловимым. Как-то раз,

---

[36] Примечания Ольги Дмитриевой: 36

Будучи архиепископом Йоркским, Вулси тем не менее до этого времени не бывал в своей северной епархии. Его появление там должно было сопровождаться интронизацией — торжественной церемонией усаживания на архиепископскую кафедру в Йоркском соборе.

придя на аудиенцию к королю, Кромвель был вынужден довольствоваться обществом королевского секретаря.

— Садитесь, — говорит Гардинер, — слушайте. И держите себя в руках, пока я не закончу.

Он смотрит, как Гардинер снует по комнате, Стивен — полуденный демон: вихляя конечностями, каждой черточкой источая яд. Ручищи огромные, волосатые, а когда Стивен сжимает кулак и упирает в ладонь, костяшки хрустят.

Уходя, он уносит с собой слова Гардинера вместе с заключенной в них злобой. На пороге оборачивается, мягко улыбается:

— Ваш кузен кланяется вам.

Гардинер смотрит на него. Брови топорщатся, как собачий загривок. Неужто Кромвель смеет…

— Нет, не король, — успокаивает он секретаря. — Не его величество. Я говорил о вашем кузене Ричарде Уильямсе.

— Никакой он мне не родственник! — выпаливает Гардинер.

— Полноте! Быть королевским бастардом — не позор. По крайней мере, так считают в моей семье.

— В вашей семье? Да что вы понимаете о пристойности? Я не желаю знать этого юнца, не

собираюсь с ним водиться и не намерен ему помогать!

— Право, незачем утруждаться. С недавних пор он зовет себя Ричардом Кромвелем.

Уходя — на сей раз окончательно — он добавляет:

— Пусть совесть вас не гложет, Стивен. Я присмотрю за Ричардом. Ему вы, возможно, и родственник. Но не мне.

Он улыбается, но внутри все кипит от ярости, словно в кровь впрыснули яд и она стала бесцветной, как у змеи. Дома он хватает в охапку Рейфа Сэдлера и лохматит тому волосы.

— Вот и пойми: мальчик или еж? Ричард, Рейф, я полон раскаяния.

— На то и пост, — замечает Рейф.

— Как бы мне хотелось обрести спокойствие! Проникнуть в курятник, не задев ни перышка. Меньше походить на дядю Норфолка и больше — на Марлинспайка.

Долгий разговор с Ричардом, который хохочет над его валлийским. Когда-то знакомые выражения стерлись из памяти, и он то и дело жульничает: произносит английские слова на валлийский манер. Племянницам достаются браслеты с жемчугами и кораллами, купленные

давно, да недосуг было подарить. Он спускается на кухню и весело отдает приказания.

Затем собирает слуг и приказчиков.

— Мы должны все продумать заранее, смягчить кардиналу дорожные тяготы. Передвигаться будем медленно, дабы народ мог выразить его милости свое почтение. Страстную неделю кардинал проведет в Питерборо, оттуда, с остановками, доберется до Саутвелла, где наметим дальнейший путь к Йорку. Комнаты в Саутвеллском дворце вполне пригодны для жилья, однако не мешало бы нанять строителей…

Джордж Кавендиш говорит, что кардинал проводит время в молитвах, в обществе угодливых ричмондских монахов, которые без устали расписывают его милости благотворное воздействие шипов, впивающихся вплоть, сладость соли, щедро насыпаемой на раны, изысканный вкус хлеба с водой и унылые радости самобичевания.

— Хватит, мое терпение лопнуло. Чем скорее кардинал окажется в Йоркшире, тем лучше! — негодует он.

Обращается к Норфолку:

— Так как же, милорд, хотите вы, чтобы он уехал, или нет? Хотите? Тогда идемте со мной к королю.

Норфолк хмыкает. Короля испрашивают об аудиенции. Спустя день или два они встречаются под дверью королевских покоев. Герцог меряет шагами приемную.

— Святой Иуда! — выпаливает Норфолк. — Да тут можно задохнуться! Выйдем на улицу? Или ваш брат стряпчий обходится без воздуха?

Они прохаживаются в саду. Вернее, прохаживается он, герцог тяжело топает и пыхтит.

— Зачем тут цветы? — ворчит Норфолк. — Когда я был ребенком, никаких цветов не было в помине! А все Бекингем. Он завел эту чепуху. Баловство одно.

В 1521 году страстному садовнику герцогу Бекингему отрубили голову за измену. С тех пор не прошло и десяти лет. Печально вспоминать об этом весной, когда из каждого куста доносятся птичьи трели.

Их зовут к королю. Герцог артачится, как норовистый жеребец, глаза вращаются, ноздри раздуты. Кромвель шагает слишком быстро, и Норфолк кладет ему руку на плечо, вынуждая умерить шаг, и вот они тащатся друг за другом, процессия искалеченных вояк. *Scaramella va alia guerra…* Рука Норфолка дрожит.

Но лишь когда они предстают перед королем,

он окончательно понимает, как не по себе старому герцогу в присутствии Генриха Тюдора. Рядом с этим золотым весельчаком Норфолк съеживается под одеждой.

Генрих приветлив. Дивный день, не правда ли? Как дивно устроен этот мир, не находите? Король расхаживает по комнате, широко раскинув руки и декламируя вирши собственного сочинения. Он готов беседовать о чем угодно, только не о кардинале. Норфолк багровеет и начинает бурчать. Аудиенция окончена, они идут к двери.

— Кромвель, стойте, — произносит Генрих.

Они с герцогом обмениваются взглядами.

— Клянусь мессой… — бормочет Норфолк.

За спиной Кромвель делает жест, означающий, ступайте, милорд Норфолк, я вас догоню.

Генрих стоит, скрестив руки, опустив глаза. Он разбирает шепот короля, лишь подойдя совсем близко.

— Тысячи хватит?

На языке вертится ответ: первой из тех десяти, которые, насколько мне известно, вы задолжали кардиналу Йоркскому десять лет назад?

Нет, он не осмелится. В такие минуты Генрих ждет, что ты упадешь на колени: герцог или крестьянин, грузный или тощий, молодой или

дряхлый. Что ты и делаешь. Шрамы ноют: немногим, дожившим до сорока, удалось избегнуть ран.

Король делает знак — можно встать.

— А герцог Норфолк вас отличает. — Генрих удивлен.

Рука на плече, догадывается он: минутное дрожание герцогской длани на плебейских мышцах и костях.

— Герцог всегда помнит о своем статусе и никогда не переходит границ.

Генриха успокаивает ответ.

Непрошеная мысль не дает покоя: что если вы, Генрих Тюдор, лишитесь чувств и рухнете к моим ногам? Будет ли мне дозволено поднять вас или придется звать на подмогу герцога? Или епископа?

Генрих уходит, оборачивается, несмело произносит:

— Каждый день я ощущаю отсутствие кардинала Йоркского.

Пауза, шепот. Берите деньги, с нашим благословением, герцогу не говорите, никому не говорите. Попросите вашего господина обо мне помолиться. Скажите, я сделал, что мог.

Слова, которые он произносит в ответ, так и не

встав с колен, проникновенны и красноречивы.

Генрих смотрит печально:

— Бог мой, а у вас неплохо подвешен язык, мастер Кромвель.

Сохраняя внешнюю торжественность — и борясь с желанием улыбнуться во весь рот, — он выходит. *Scaramella fa la gala…* «Каждый день я ощущаю отсутствие кардинала Йоркского».

Ну что, что он сказал, налетает на него Норфолк. Да так, ничего особенного. Слова порицания, которые я должен передать кардиналу.

Маршрут проложен. Кардинальский скарб грузят на барки до Гулля, оттуда его будут переправлять по суше. Он сбивает цену у лодочников.

Пойми, объясняет он Рейфу, тысяча не так уж много, когда в путь отправляется кардинал.

— Во сколько вам обошлось это безнадежное предприятие?

Есть долги, которые невозможно отдать.

— Я помню тех, кто мне должен, но, видит Бог, и своих долгов не забываю.

— Скольких слуг он взял? — спрашивает он Кавендиша.

— Всего сто шестьдесят.

— Всего. — Кивает. — Хорошо.

Хендон. Ройстон. Хантингдон. Питерборо. Он

высылает гонцов вперед, с подробнейшими указаниями.

В вечер перед отъездом Вулси протягивает ему сверток. Внутри что-то маленькое и твердое. Печать или кольцо.

— Откроете, когда меня не станет.

Люди входят и выходят, вынося из кардинальских покоев сундуки и связки бумаг. Кавендиш слоняется, не зная, куда пристроить серебряную дарохранительницу.

— Вы не едете на север? — спрашивает кардинал.

— Я приеду за вами, как только король призовет вас обратно.

Кромвель верит и не верит своим словам.

Кардинал встает. Момент тягостный. Он, Кромвель, опускается на колени за благословением. Кардинал протягивает руку для поцелуя. От него не ускользает, что кольцо с бирюзой исчезло. Несколько мгновений кардинальская рука медлит на его плече, большой палец застыл на подключичной впадине.

Пора. Все давным-давно сказано, и нет нужды в добавлениях. Ими незачем приукрашивать свои деяния, ни к чему выводить из них мораль. Не время для объятий. И если кардинал не видит

прока в словах, то он и подавно.

Он не успевает дойти до двери, а Вулси уже отворачивается к камину. Подтягивает кресло ближе к огню, поднимает руку, чтобы защититься от яркого пламени. Рука замирает в воздухе: но не между Вулси и камином — между Вулси и закрываемой дверью.

Кромвель выходит во двор, забивается в нишу, куда не проникает солнечный свет, привалывается к стене. Плачет. Только бы нелегкая не занесла сюда Джорджа Кавендиша, который все аккуратно запишет и сделает из этого пьесу.

Он тихо сыплет ругательствами на разных языках, кляня суровость жизни, свою слабость. Мимо снуют слуги, выкликая: лошадь мастера Кромвеля! Эскорт мастера Кромвеля у ворот! Он вытирает слезы и уезжает, щедро раздав монеты.

Дома слуги спрашивают, следует ли теперь закрасить кардинальский герб? Бога ради, ни в коем случае! Напротив, подновите. Он отходит, разглядывает герб.

— Подкрасьте галок. И на шляпу добавьте багрянца.

Он плохо спит. Ему снится Лиз. Узнала бы она его в человеке, каким он поклялся стать: непреклонном, снисходительном, хранителе

королевского спокойствия?

К рассвету он засыпает. Просыпается с мыслью: сейчас кардинал садится на лошадь — почему я не с ним? Пятое апреля. Джоанна встречает его на лестнице, целомудренно целует в щеку.

— Зачем Господь нас испытывает? — шепчет она.

— Боюсь, нам не пройти испытания, — также шепотом отвечает он.

Наверное, придется ехать в Саутвелл самому, говорит он. Я съезжу, вызывается Рейф. Он составляет список: проследи, чтобы дворец архиепископа хорошенько вычистили; кухонную прислугу найми в «Королевском гербе»; не забудь заглянуть в конюшни; разыщи музыкантов. В прошлый раз я заметил прямо у дворцовой стены свинарник: найди владельца, заплати и вышвырни вон. Не пей в «Гербе» — эль там похуже, чем у моего папаши.

— Сэр, — мнется Рейф, — не пора вам оставить кардинала?

— Запомни, это тактическое отступление, не бегство.

Рейф и Ричард думают, что он ушел, а он зарылся в бумагах в соседней комнате. Слышно, как Ричард говорит:

— Он действует по велению сердца.

— Ему не привыкать.

— Но куда отступать генералу, если тот не знает, где враг? Король так двойственен, когда дело касается кардинала.

— Отступать можно прямо в руки врага.

— Иисусе! Думаешь, наш хозяин тоже двойственен?

— По меньшей мере, тройственен, — говорит Рейф. — Что за выгода бросать старика, навеки заслужив имя дезертира? А сохранит верность — глядишь, что-то и выгорит. Для всех нас.

— А ну проваливай, свинтус! Кто еще, кроме него, подумал бы о свинарнике? Томас Мор о свинарниках и не помышляет!

— Нет, Мор принялся бы увещевать свинаря, добрый человек, близится Пасха…

— … готов ли ты принять святое причастие?

Рейф хохочет.

— Кстати, Ричард, а ты готов?

— Кусок хлеба я могу съесть когда угодно.

На Страстной неделе из Питерборо приходят вести: такой толпы, что собралась поглазеть на кардинала, город не видел. Вулси движется на север, а Кромвель следит за ним по карте, которую держит в голове. Стэмфорд, Грэнтем, Ньюарк.

Кардинальский двор прибывает в Саутвелл двадцать восьмого апреля. Кромвель пишет Вулси, чтобы успокоить того и предостеречь. Он боится Болейнов, боится Норфолка — что им стоит подослать в окружение кардинала шпионов?

Посол Шапюи, выйдя от короля, отводит его в сторонку.

— Мсье Кремюэль, я собирался к вам зайти. Мы ведь соседи.

— Буду рад гостю.

— Мне рассказали, что вы часто бываете у короля, чудесно, не правда ли? Ваш старый господин пишет мне каждую неделю. Стал живо интересоваться здоровьем королевы. Спрашивает, бодра ли она духом, умоляет ее поверить, что скоро она вновь займет свое место в королевском сердце. И в королевской постели.

Шапюи смеется, довольный собой.

— Любовница ему не поможет. Нам известно, что вы пытались привлечь ее на сторону кардинала, но потерпели поражение. И теперь чаяния кардинала связаны с королевой.

Вежливость требует спросить:

— А что королева?

— Королева сказала, надеюсь, Господь в своей милости простит кардинала, ибо я его никогда

не прощу.

Шапюи замолкает, ждет. Не дождавшись реакции, продолжает:

— Надеюсь, вы сознаете, какие ужасные последствия вас ждут, если его святейшество — добровольно или под давлением — одобрит развод? Император, дабы защитить свою тетку, объявит Англии войну. Ваши друзья-купцы лишатся доходов, а возможно, и жизни. Ваш Тюдор будет низложен, и на его место придет старая аристократия.

— К чему этот разговор?

— Я готов повторить свои слова любому англичанину.

— Так уж и любому?

От него ждут, что он передаст послание кардиналу: император больше не доверяет Вулси. К чему это приведет? Заставит кардинала искать поддержки у французского короля? И то, и то — измена.

Он воображает кардинала среди каноников Саутвелла, непринужденно восседающим в кресле под высокими сводами капитула, словно посреди лесной опушки, увитой изящной резьбой цветов и листьев. Каменные колонны и перекрытия оживают на глазах, капители украшены ягода-

ми, флероны — словно перевитые стебли; розы свивают черенки; цветы и колосья распускаются на одном побеге. Сквозь листву проглядывают звериные лики: песьи, заячьи, козлиные. Есть и человечьи, такие живые, что, кажется, сейчас состроят гримасу. Наверняка они с изумлением взирают на внушительную фигуру его господина внизу, а по ночам, когда каноники спят, каменные люди пересвистываются и хором распевают.

В Италии он выучил мнемоническую систему, придумал собственные символы, заимствуя их у чащ и полей, молодых рощ и изгородей. Пугливые звери блестят глазами из-под куста; лисы и олени, грифоны и драконы. Люди: монахини, воины, отцы церкви. В руках они держат необычные предметы: святая Урсула — арбалет, святой Иероним — косу, Платон — половник, а Ахиллес — дюжину тернослив в деревянной миске. Бесполезно использовать обычные вещи, знакомые лица. Сравнение должно удивлять, а образы поражать несоразмерностью, нелепостью, даже непристойностью. Ты по своему усмотрению накладываешь придуманные символы на картину мира, и каждый тянет за собой систему слов и образов, которые и приводят в действие механизм памяти. В Гринвиче облезлый кот прищурится

на тебя из-под буфета; в Вестминстере змея с потолочной балки будет пожирать тебя взглядом и шипеть твое имя.

Некоторые образы плоские, на них можно наступить. Некоторые обтянуты кожей и самостоятельно передвигаются: люди с перевернутыми головами; с хвостами с кисточкой на конце, как у геральдического льва. Одни скалятся, как Норфолк, другие таращатся с изумлением, как милорд Суффолк. Одни говорят, другие крякают. Он содержит их в образцовом порядке, и по первому требованию они предстают перед его мысленным взором.

Возможно, из-за того, что он постоянно обращается к этим символам, голова заселена обрывками сотен пьес, тысяч интерлюдий. Наверняка именно эта мнемоническая привычка заставляет его видеть мертвую Лиз на лестнице, Лиз, исчезающую за углом дома в Остин-фрайарз или Степни. Со временем образ мертвой жены сливается с обликом ее сестры Джоанны, и все, что некогда принадлежало Лиз, переходит к ней по наследству: загадочная полуулыбка, испытующий взгляд, нагота. Довольно, говорит он себе, и усилием воли прогоняет ее из своих мыслей.

Рейф скачет на север с посланиями, которые

нельзя доверить бумаге. Поехать бы самому, но, хотя парламент не заседает, он не едет, боится, что кто-нибудь скажет дурное о кардинале, а заступиться будет некому. К тому же его могут потребовать к себе король или леди Анна.

«И пусть я не с вами, — пишет он, — будьте уверены, я всегда при вас, с вашим благословением в душе, жив вашими трудами и молитвами…»

Кардинал отвечает: «мое единственное, самое верное убежище во дни бедствий»; «мой безмерно любимый, мой дражайший Кромвель».

Вулси спрашивает его про перепелов и цветочные семена.

— Семена? — удивляется Джоанна. — Он что, собирается пустить там корни?

В сумерках король печален. Еще один день топтаний на месте в бесконечной кампании, затеянной с целью вновь обрести семейный очаг. Разумеется, Генрих отрицает, что женат на королеве.

— Кромвель, я должен отыскать способ… — Генрих прячет глаза, не желая высказаться напрямую. — Я понимаю, есть законные проволочки. Не стану делать вид, что понимаю, почему мне приходится ждать. И не советую объяснять.

Колледж в Оксфорде, равно как школа в Ип-

свиче, с их землями и доходами от земель, были дарованы кардиналу в бессрочное владение. Теперь Генрих хочет забрать серебряную и золотую посуду, библиотеки, доходы с земель и сами земли. И то сказать: почему бы королю не заполучить то, что ему приглянулось? На колледж и школу пошло достояние двадцати девяти упраздненных — с согласия папы — монастырей. А ныне, заявляет Генрих, что мне до папы и его согласия?

Начало лета. Вечера тянутся бесконечно, воздух и травы благоухают. В такую ночь перед таким мужчиной, как Генрих, не устоит ни одна. Двор полон истомившихся по ласке женщин. Однако после аудиенции Генрих будет гулять по саду с леди Анной и мирно беседовать, ее рука будет покоиться в его руке, а после он уснет в своей пустой постели, а она, как утверждают, — в своей.

Когда король спрашивает, что слышно от кардинала, Кромвель отвечает, что его милость горюет в разлуке с его величеством, а приготовления к интронизации в Йорке идут полным ходом.

— Тогда почему он еще не там? Мне кажется, он нарочно медлит. — Генрих пристально смотрит ему в глаза. — А вы верны своему покровителю — этого у вас не отнимешь.

— Я видел от кардинала только добро. Почему бы мне не хранить ему верность?

— И у вас нет другого господина, кроме кардинала, — говорит король. — Милорд Суффолк спрашивает, откуда вы взялись. Я сказал, что какие-то Кромвели владели землей в Лестершире и Нортгемптоншире. Полагаю, вы потомок незадачливой ветви семейства.

— Нет.

— Вы можете не знать своих предков. Я велю герольдмейстерам покопаться в вашей родословной.

— Ваше величество чрезвычайно добры, но едва ли их ждет успех.

Король злится. Этот Кромвель не принял подарок, который ему предложили — родословную, пусть даже самую завалящую.

— Милорд кардинал утверждал, что вы сирота и выросли в монастыре.

— Очередная его сказка.

— Так он мне врал?

На лице Генриха сменяются несколько выражений: досада, изумление, тоска по временам, которые не вернуть.

— Значит, врал. Он говорил, что из-за этого вам ненавистны монахи. Поэтому вы так усердствуе-

те, исполняя его поручения.

— Причина другая. — Он поднимает глаза. — Вы позволите?

— Ради Бога! — восклицает Генрих. — Хоть кто-то разговорился!

Удивление сменяется пониманием. Генриху не с кем перемолвиться словом. Неважно, о чем, только не о любви, охоте или войне. Теперь, когда Вулси нет рядом, королю не хватает собеседника. Можно послать за священником, но что толку? Все снова сведется к разговорам о любви, об Анне; о том, чего вы так страстно и безнадежно желаете.

— Мое суждение о монахах основано не на предубеждении, а на опыте. Не сомневаюсь, есть образцовые монастыри, но я видел в них лишь расточительство и порок. Если ваше величество захочет увидеть парад семи смертных грехов, почтительно советую не устраивать придворную пантомиму, а без предупреждения посетить один из монастырей. Я видел монахов, живущих как знатные лорды, на жалкие гроши бедняков, покупающих благословение вместо хлеба; это недостойно христианина. Или может, монастыри распространяют свет учености? Разве Гросин, Колет, Линакр, другие великие мужи — монахи?

Нет, они все из университетов. Монахи берут детей и приставляют к черной работе, не удосуживаясь обучить простейшей латыни. Я не виню обитателей монастырей в плотских излишествах — не весь же век поститься! — но я ненавижу лицемерие, обман и праздность: пыльные мощи, нудные проповеди, косность. Когда из монастырей исходило что-то доброе? Они ничего не создают, лишь веками бубнят одно и то же, да и то чудовищно переврав. Монахи создали то, что принято считать нашей историей, однако я им не верю. Куда вернее, что они замолчали то, что им не нравилось, и оставили то, что выгодно Риму.

Король смотрит словно сквозь него, на дальнюю стену.

Он ждет.

— Собачьи дыры, а? — спрашивает Генрих.

Он улыбается.

— А что до нашей истории… — говорит король. — Как вам известно, я собираю свидетельства, манускрипты, суждения. Сравниваю наши порядки с порядками, заведенными в соседних государствах. Возможно, вам следует обсудить это с теми учеными джентльменами. Придать направление их усилиям. Поговорите с доктором Кранмером, он знает, что делать. Я найду

применение деньгам, каждый год утекающим в Рим. Король Франциск гораздо богаче меня. У него вдесятеро больше подданных. Он сам устанавливает налоги, мне же приходится созывать парламент. Иначе народ бунтует. — И добавляет с горечью. — А когда налоги принимает парламент, народ тоже бунтует.

— Не советую вам подражать Франциску, — говорит он. — У него на уме война, а не торговля.

Генрих слабо улыбается.

— Вы можете не соглашаться, но, по моему разумению, король должен воевать.

— Чем оживленнее торговля, тем больше налогов в казне. А если налоги не платят, король всегда может употребить власть.

Генрих кивает.

— Хорошо, начните с колледжей. Обсудите вопрос с моими поверенными.

Гарри Норрис готов проводить его из королевских покоев. Говорит без обычной своей улыбки:

— Не хотел бы я быть его сборщиком налогов.

Вот так всегда, досадует Кромвель, свидетелем важнейшего события в моей жизни стал Генри Норрис!

— Король казнил соратников своего отца. Эмп-

сона, Дадли.[37] Не кардинал ли получил дом, конфискованный у кого-то из них?

Паук выбегает из-под табурета, неся нужный факт.

— Дом Эмпсона на Флит-стрит. Пожалован девятого октября, в первый год нынешнего правления.

— Нынешнего славного правления, — говорит Норрис, словно внося поправку.

В начале лета Грегори исполняется пятнадцать Он отменно сидит в седле, учителя фехтования им не нахвалятся. Его греческий… что ж, его греческий оставляет желать лучшего.

У Грегори затруднение.

— В Кембридже смеются над моими собаками.

— Смеются?

Пару черных борзых трудно не заметить. У них изящные мускулистые шеи и тонкие лапы; добрые серьезные глаза опущены в землю, когда собаки берут след.

— Говорят, зачем ты завел собак, от которых

---

[37] Примечания Ольги Дмитриевой: 37

Ричард Эмпсон и *Эдмунд Дадли* — одиозные министры Генриха VII, выработавшие изощренные методы шантажа и вымогательства денег у представителей аристократических семейств, находившихся под подозрением в нелояльности королю. В начале царствования Генриха VIII были казнены по обвинению в злоупотреблениях и государственной измене (1510).

добрым людям одно беспокойство? Таких увидишь в темноте — не уснешь. Твои собаки впору какому-нибудь извергу. Говорят, я незаконно охочусь с ними в лесу. На барсуков, как мужлан.

— А каких ты хочешь? Белых, с пятнами?

— Мне все равно.

— Я заберу этих. Мне недосуг с ними возиться, а Ричарду или Рейфу на что-нибудь сгодятся.

— А ты не боишься насмешек?

— Полно, Грегори, это же твой отец! — говорит Джоанна. — Никто не посмеет над ним смеяться.

Когда идет дождь и нельзя охотиться, Грегори углубляется в «Золотую легенду». Ему нравятся жития святых.

— Что-то из написанного правда, — рассуждает сын, — что-то выдумка.

Грегори читает «Смерть Артура». Издание новое, все сгрудились вокруг и рассматривают титульную страницу. «Здесь начинается первая история, повествующая о достославном и благородном владыке короле Артуре, некогда правившем великой Британией…» На переднем плане две влюбленные пары. Всадник на гарцующем жеребце, на всаднике сумасбродная шляпа в форме свернувшейся кольцами змеи. Алиса спрашивает, а вы, сэр, в юности носили такие

шляпы? Только мои были побольше, и притом разных цветов на каждый день недели, отвечает Кромвель.

Из-за спины всадника выглядывает дама.

— Это не с леди Анны рисовали? — спрашивает Грегори. — Говорят, король не хочет с нею разлучаться, вот и сажает себе за спину, словно крестьянку.

У женщины на картинке круглые глаза, должно быть, бедняжку укачало. Определенно, это леди Анна. Вдали нарисован маленький, не выше всадника, замок с перекинутой через ров дощечкой, изображающей подъемный мост. Вокруг, словно летающие кинжалы, снуют птицы.

— Наш король происходит от Артура, — говорит Грегори. — А король Артур на самом деле не умер, он ждет своего часа в лесу, или нет, в озере. Ему несколько веков от роду. А еще есть Мерлин, колдун. Он появится позже, увидите. Тут двадцать одна глава. Если дождь не перестанет, дочитаю до конца. Что-то из написанного правда, что-то — выдумка, но все истории хороши.

В следующий раз его призывают ко двору, чтобы передать Вулси послание короля. Бретонский купец, чье судно было захвачено англичанами восемь лет назад, жалуется, что не получил воз-

мещения. Бумаги как сквозь землю провалились. Делом купца занимался Вулси, возможно, кардинал что-нибудь вспомнит?

— Еще бы не помнить, — кивает Кромвель. — Не там ли вместо балласта лежал жемчуг, а трюмы были забиты рогами единорогов?

Упаси Боже, причитает Чарльз Брэндон, но Генрих смеется:

— Там-там!

— Если есть сомнения в сумме возмещения или в праве бретонца, я могу посмотреть.

— Не уверен, что у вас есть право обращения в суд по этому делу.

Тут за него вступается Брэндон, давая неожиданную характеристику:

— Позвольте ему, Гарри. Когда этот малый разберется с бретонцем, окажется, что тот нам кругом должен.

Герцоги не чета простым смертным. Они одаряют вас своей милостью, но не ради того, чтобы наслаждаться вашим обществом — им нужен собственный двор, состоящий из людей, целиком от них зависящих. Ради удовольствия герцог предпочтет общаться с псарем, а не со своим знатным собратом. Он целый час дружески беседует с Брэндоном, обсуждая стати его собак. Сейчас не

сезон охоты на оленя, и гончих откармливают как на убой. Их звонкий лай далеко раздается в вечернем воздухе, в то время как собаки-следопыты — молчаливые, как учили, — встают на задние лапы и, пуская слюни, завистливо смотрят на соседей, опустошающих свои миски. Мальчишки-псари тащат корзины с хлебом и костями, бадьи с потрохами и миски с похлебкой. Чарльз Брэндон шумно принюхивается, словно вдовствующая герцогиня среди розовых кустов.

Псарь выкликает лучшую суку — белую с каштановыми пятнами четырехлетку Барбаду — берет ее за холку и оттягивает веко: зрачок затянут прозрачной пленкой. Убивать суку жалко, а проку от нее никакого. Он, Кромвель, берет собаку за подбородок.

— Пленку можно снять иголкой с кривым острием. Я видел такую. Нужно проворство и твердая рука. Вряд ли это придется ей по душе, но все лучше, чем слепота.

Он проводит ладонью по ребрам суки, чувствуя, как заходится звериное сердечко.

— Игла должна быть очень острой. Вот такой длины. — Он разводит большой и указательный пальцы. — Я сам объясню кузнецу.

— Да вы полезный малый, — косится Брэндон

и отводит его в сторону. — Загвоздка в моей жене, — начинает герцог.

Он молчит.

— Я всегда исполнял любые желания Генриха, всегда был ему верен. Даже когда он грозился отрубить мне голову из-за женитьбы на его сестре. А сейчас я в растерянности. Екатерина — законная королева. Моя жена ее близкая подруга. И вот начинаются эти разговоры, я отдам за нее жизнь, и прочее в том же духе. А тут еще племянница Норфолка! Моя жена — бывшая королева Франции, а ее ставят ниже этой выскочки. Разве можно такое стерпеть? Понимаете?

Он кивает. Понимает.

— Кроме того, — продолжает герцог, — я слышал, Уайетт на пути из Кале.

И что с того?

— Должен ли я сказать ему? В смысле Генриху. Бедняга.

— Милорд, не вмешивайтесь, — говорит Кромвель.

Герцог погружается в то, что у другого человека называлось бы мыслями.

Лето. Генрих охотится. Хочешь застать короля — изволь сначала догнать, нужен ему — снова в путь. Генриху не сидится на месте: то гостит

у друзей в Уилтшире, Сассексе и Кенте, то останавливается в своих дворцах, то в именьях, отобранных у кардинала.

Даже теперь, если королю случается охотиться в обширных угодьях, где оленей выгоняют прямо на лучников, отважная маленькая королева иногда выезжает с луком и стрелами. В отсутствие королевы охотится леди Анна: она обожает погоню. Однако настает пора, когда мужчины оставляют дам, чтобы затеряться в лесах. Загонщики и своры; пробуждение в рассветной дымке; охотники сговариваются; зверь поднят, охота началась. Никогда не знаешь, где и когда закончится день.

Ничего-ничего, смеется Гарри Норрис, если он и дальше будет вас привечать, скоро наступит и ваш черед, мастер Кромвель. Мой вам совет: с утра, как только выедете, ищите подходящую канаву, нарисуйте ее в своем воображении. А когда король загонит трех добрых коней, а рог затрубит снова, вы будете мечтать лишь о том, как отлежаться на прелых листьях, в прохладной стоячей воде.

Он смотрит на Норриса: о, какое самоуничижение. Ты был с моим кардиналом в Патни, когда тот стоял на коленях в грязи. Не ты ли разболтал

об этом двору, миру, недоумкам из Грейз-инн? Ибо если не ты, то кто?

Случается, охотясь в лесу, внезапно обнаруживаешь, что оторвался от шумной толпы и стоишь на берегу реки, которую забыли нанести на карту. Добычи след простыл, но тебе и дела нет. Там можно встретить гнома, живого Христа или заклятого врага. Или нового врага, о чьем присутствии не подозреваешь, пока его лицо не появится среди шуршащих листьев, а в руке не сверкнет кинжал. Можно увидеть женщину, спокойно спящую на ложе из листьев. И на миг — пока не узнаешь ее — почудится, будто встретил старую знакомую.

В Остин-фрайарз непросто остаться одному или вдвоем — с той, о ком думаешь. Каждая буква алфавита следит за тобой. В конторе трудится юный Томас Авери, счетовод, которому ты поручил следить за домашними расходами. Посреди алфавита в саду возникает Марлинспайк, оглядывающий свои угодья острыми золотистыми глазами. Ближе к концу алфавита появляется Томас Риотеслей, или Ризли, — смышленый молодой человек лет двадцати пяти со связями. Сын члена йоркской геральдической палаты, племянник герольдмейстера ордена Подвязки. В свите

Вулси трудился под твоим началом, после — у Гардинера. Ныне делит время между двором и Остин-фрайарз. Дети — Ричард и Рейф — уверяют, что Ризли шпионит для королевского секретаря.

Мастер Ризли высок и рыжеволос, однако лишен склонности рыжих розоветь от удовольствия, а в гневе покрываться пятнами, как свойственно королю. Всегда бледен и холоден, всегда собран и статен. В Тринити-холл блистал в студенческих пьесах и по сию пору сохранил некоторую нарочитость манер; знает себе цену. Ричард и Рейф дразнят его за спиной: «Меня зовут Ри-о-тес-лей, но, чтобы вам не утруждаться, можно просто Ризли». Они уверяют, что он намеренно удлинил себе имя, чтобы изводить наши чернила, а вот Гардинер — известный нелюбовью к длинным именам, — не мудрствуя, укорачивает его до Ли. Довольные своей шуткой, завидев мистера Ризли, они кричат: «Кто там? Ты ли?»

Пощадите мистера Ризли, урезонивает Кромвель насмешников. Выпускник Кембриджа заслуживает вашего уважения.

Ему хочется спросить их, Ричард, Рейф, мастер Риотеслей-зовите-меня-Ризли, похож я на убийцу? Один мальчишка уверяет, что да.

Этим летом потовая лихорадка обходит город

стороной. Лондонцы на коленях возносят благодарственные молитвы. На Иванов день костры жгут всю ночь, а на рассвете с полей приносят белые лилии. Юные дочери дрожащими пальчиками сплетают увядшие бутоны в венки, чтобы прибить их на городские ворота и двери домов.

Та девушка и сама как белый цветок; кроткая фрейлина леди Анны, что строила ему глазки у двери. Следовало бы узнать ее имя, но он не удосужился, выпытывая секреты у Марии. В следующий раз… но что проку об этом думать? Наверняка она из знатной семьи. Нужно написать Грегори, что встретил редкую девушку. Вот узнаю, кто она, и через несколько лет — если буду благоразумен и осторожен в делах — женю тебя на ней.

Ничего такого он Грегори не пишет. В его нынешнем шатком положении в подобных мечтах не больше смысла, чем в посланиях сына: «Дорогой отец, надеюсь, ты здоров. Надеюсь, твоя собака здорова. На сем за недостатком времени заканчиваю».

Лорд-канцлер приглашает:

— Загляните ко мне, поговорим о колледжах Вулси. Король не оставит бедных ученых. Приходите, пока жара не сожгла розы. Оцените мой

новый ковер.

Душный серый день. Барка королевского секретаря уже у причала, тюдоровский стяг висит в знойном воздухе. Новый фасад красного кирпича обращен к реке. Мимо тутовых деревьев он шагает к двери. В галерее под жимолостью стоит Стивен Гардинер. В Челси полно мелкой домашней живности, и, подойдя ближе, он видит на руках у лорда-канцлера Англии ушастого снежно-белого кролика. Вислоухий замер: ни дать ни взять рукавички из горностая.

— Ваш зять Ропер дома? — спрашивает Гардинер. — Нет? Жаль. А я приготовился наблюдать, как он в очередной раз сменит веру.

— Прогуляемся по саду? — предлагает Мор.

— Как прежде: сел бы за стол сторонником Лютера, а к десерту — смородине и крыжовнику — благополучно вернулся бы в лоно церкви.

— Ропер отныне тверд в вере Рима и Англии, — говорит Мор.

— Да и ягода в этом году не уродилась, — роняет Кромвель.

Мор косится на него, улыбается. Пока они идут к дому, хозяин развлекает гостей разговорами. За ними вприпрыжку бежит Генри Паттинсон, слуга Мора, которого тот порой называет своим

шутом и которому многое позволяется. Паттинсон — известный задира. Шут всегда уязвим перед миром, но в случае Паттинсона скорее мир нуждается в защите. Так ли Паттинсон прост, каким кажется? Мор хитер, ему нравится смущать людей. Держать в шутах умника — как раз по нему. Считается, что Паттинсон свалился с колокольни и повредил голову. На поясе слуга носит шнурок с узелками, который иногда зовет четками, иногда — плетью. А иной раз уверяет, что веревка удерживает его от падения.

Со стены взирает на гостей семья лорда-канцлера. Прежде чем узреть семейство во плоти, вы видите их изображения в полный рост. Мор дает гостям время: пусть разглядят домочадцев, свыкнутся с их обликом. Любимица Мэг сидит у ног отца с книгой на коленях. Вокруг лорда-канцлера в свободных позах расположились: сын Джон; Энн Крезакр, воспитанница, жена Джона; Маргарет Гиггс, еще одна подопечная Мора; престарелый отец сэр Джон Мор; дочери Сесиль и Элизабет; Паттинсон таращится прямо на зрителя; жена Алиса, с крестом на шее, склоняет голову у самого края картины. Мастер Гольбейн расположил их в таком порядке по велению заказчика, сохранив для вечности, пока моль,

пламя, плесень или сырость не пожрут холст.

В жизни хозяин дома выглядит куда потрепаннее, чем на картине, закрадывается мысль о смазанных красках; дома Мор ходит в простой шерстяной мантии. Новый ковер для лучшего обзора разложен на двух трехногих скамьях. Фон не красный, а розоватый, но это не корень марены, скорее, алый краситель, смешанный с сывороткой.

— Милорд кардинал любит турецкие ковры, — бормочет Кромвель. — Однажды дож прислал ему шестьдесят штук.

Мягкая шерсть горных баранов, ни один из них не был черен. Там, где узор потемнее, заметно, что шерсть прокрашена неоднородно, и в дальнейшем ковер вылезет именно тут. Он отворачивает край, опытным глазом прикидывает плотность узелков.

— Узел гордесский, а узор определенно из Пергама: восьмиконечные звезды внутри восьмиугольников.

Он расправляет ковер, отходит, смотрит издали — видите, вот тут — делает шаг назад, осторожно кладет руку на изъян, кривоватый ромб. В худшем случае, этот ковер сшили из двух. В лучшем — соткали сельские Паттинсоны или в прошлом

году изготовили где-нибудь в подворотне венецианские невольники. Хорошо бы всю изнанку разглядеть.

— Неужто я попал впросак? — интересуется Мор.

Великолепный ковер, говорит Кромвель вслух, не желая портить хозяину удовольствие, но в следующий раз, замечает про себя, когда надумаете покупать ковры, возьмите с собой меня. Рука скользит по мягкой и плотной поверхности, изъян почти незаметен. Кажется, турецкий, но присягать не стану.

Люди делятся на тех, кто не способен смириться с малейшим изъяном, и тех, кто готов стерпеть отступление от правил. Он принадлежит и к тем, и к другим. Никогда не допустит небрежности в договоре, однако иной раз нарочно не станет придираться к мелочам. Договоры, иски, соглашения пишутся, чтобы их читали, но каждый читает в свете собственных интересов.

— Что скажете, джентльмены? — спрашивает Мор. — На пол ли на стену?

— На пол.

— Томас, нельзя же быть таким расточительным!

Они смеются, словно закадычные приятели.

Идут к птичнику и стоят там, увлеченные разговором, под свист порхающих зябликов. Мимо под присмотром матроны в фартуке ковыляет младенец: внук или внучка. Кроха тянется к зябликам, радостно гугукает, хлопает в ладоши, но тут глазки останавливаются на Стивене Гардинере, и детский ротик кривится. Нянька хватает готового зареветь младенца в охапку. И откуда у вас такая власть над юными душами, спрашивает Кромвель. Стивен в ответ смотрит волком.

Мор берет его под руку.

— Так вот, насчет колледжей. Я разговаривал с королем, да и королевский секретарь меня поддержал, не сомневайтесь. Король заново учредит кардинальский колледж под своим именем, а вот с Ипсвичем, похоже, придется проститься. Сами посудите, Ипсвич… Простите, что говорю это, Томас, но что такое Ипсвич? Родина человека, ныне впавшего в немилость, не более…

— Бедные школяры.

— Да, не спорю. Что ж, не пора ли отужинать?

За столом в парадном покое разговор ведется на латыни. Нужды нет, что хозяйка, жена Мора Алиса, не понимает ни слова. Перед едой ради спасения души заведено читать Писание.

— Сегодня очередь Мэг, — говорит Мор.

Хочет похвастать своей любимицей. Мэг берет книгу, целует ее и, не обращая внимания на бормотание дурака, читает по-гречески. Гардинер сидит зажмурясь: выражение лица совсем не благостное, скорее сердитое. Кромвель разглядывает Маргарет. На вид ей лет двадцать пять. Узкое подвижное лицо, словно лисья мордочка, как у той лисички, которую Мор приручил, однако на всякий случай держит в клетке.

Входят слуги, под взглядом хозяйки расставляют блюда: сюда, мадам? Семейство на картине не нуждается в слугах, они существуют сами по себе.

— Прошу вас, ешьте, — приглашает Мор. — Все, кроме Алисы, она и так скоро в корсет не влезет.

При звуке своего имени жена поворачивает голову.

— Обычно это выражение мучительного недоумения ей не свойственно, — говорит Мор. — Все оттого, что она высоко зачесала волосы, да еще и заколола костяным гребнем. Ей кажется, что у нее слишком низкий лоб, что соответствует истине. Эх, Алиса, Алиса, и как только меня угораздило на тебе жениться!

— Вам нужна была хозяйка в доме, отец, — тихо говорит Мэг.

— Верно, — соглашается Мор. — Ибо одного взгляда на Алису хватит, чтобы исключить всякие мысли о вожделении.

Кромвеля одолевает ощущение странности происходящего, словно время петляет или попалось в силки: он уже разглядывал домочадцев Мора на стене — так, как увековечил их Ганс, — и сейчас они играют себя, натянув на лица выражения отчужденности, довольства, печали, любезности: счастливое семейство. На стене хозяин дома нравится ему больше: там Томас Мор размышляет, о чем — неведомо, но так и должно быть. Художник расположил их столь искусно, что на картине не осталось пространства для чужаков. Чужак может просочиться в картину лишь в виде пятна или кляксы. Вот Гардинер — чем не клякса? Королевский секретарь трясет длинными рукавами, яростно споря с хозяином. Что имел в виду апостол Павел, сказав, что Иисус немного был унижен пред Ангелами? Шутят ли голландцы? Каков истинный герб наследника Норфолка? Уж не гром ли это вдали, или жара никогда не спадет? Как и на картине, Алиса держит на коленях обезьянку на золотой цепочке. На стене обезьянка теребит юбку. В жизни зверек припал к хозяйке, словно малое дитя. Иногда

она наклоняет голову, и они разговаривают на неведомом остальным языке.

Мор не пьет, но гостям предлагает вино. Несколько перемен, блюда не отличить одно от другого: мясо под соусом, словно ил с песком из Темзы; сладкая простокваша, сыр, которые делала одна из дочерей, племянниц, воспитанниц — кто-то из женщин, которыми населен дом.

— Женщин следует приставить к делу, — рассуждает хозяин. — Не могут же они все дни просиживать над книгами! А молодые женщины больше прочих склонны к праздности и непослушанию.

— Дай им только волю, — бормочет себе под нос Кромвель, — и вовсе начнут драться на улицах.

Он с неодобрением разглядывает сыр: помятый и дрожащий, словно физиономия мальчишки-конюха наутро после гулянки.

— Генри Паттинсон сегодня слишком возбужден, — говорит Мор. — Ему не помешало бы кровопускание. Надеюсь, его не перекармливают.

— На сей счет я бы не обольщался, — говорит Гардинер.

Престарелый Джон Мор, которому стукнуло восемьдесят, выходит к столу. Из почтения к его

сединам разговор за столом умолкает — старик и сам не прочь поболтать:

— Слыхали про Хемфри, герцога Глостерского, и нищего, притворившегося слепцом? А про человека, который не подозревал, что Мария была еврейка?

Даже со скидкой на старческое слабоумие Кромвель ожидал большего от прославленного судьи. Тем временем старик переходит к анекдотам о женской глупости и причудах, каковых знает великое множество. А когда старый Мор начинает клевать носом, тему подхватывает его сын, знающий их куда больше. Леди Алиса хмурится. Гардинер, который слышит все это не в первый раз, скрежещет зубами.

— Вот, моя невестка Энн, — начинает Мор.

Молодая женщина, стесняясь, опускает глаза.

— Энн страстно мечтает — могу я рассказать им, милая? — о жемчужном ожерелье. Все уши прожужжала, ну, вы знаете этих трещоток. Вообразите, что сделалось с Энн, когда я дал ей коробку, внутри которой что-то бренчало. А теперь вообразите ее лицо, когда Энн открыла коробку. И что же было внутри? Сухие горошины!

Энн глубоко вздыхает, поднимает глаза — видно, каких усилий ей это стоит, — и говорит:

— Отец, не забудьте рассказать про женщину, которая не верила, что Земля круглая.

— Как же, отличная история! — подхватывает Мор.

Алиса смотрит на мужа с болезненной озабоченностью. А эта и до сих пор не верит, думает он.

После ужина разговор заходит о нечестивом короле Ричарде. Много лет назад Томас Мор начал о нем книгу, но, так и не выбрав между латынью и английским, начал писать на обоих. До сих пор не закончил и не напечатал свой труд. Ричард был рожден для зла, говорит Мор, печать проклятья лежала на нем с рождения.

Кромвель качает головой.

— Зов крови. Королевские игрища.

— Темные времена, — вставляет дурак.

— Пусть же они никогда не вернутся.

— Аминь. — Дурак указывает на гостей. — И эти пусть тоже не возвращаются.

В Лондоне судачат, что в исчезновении двух мальчиков, которым не суждено было выйти из Тауэра, замешан Джон Говард, дед нынешнего герцога Норфолка. Лондонцы говорят — а лондонцы знают, что говорят, — будто в последний раз принцев видели живыми в его стражу. А вот

Томас Мор считает, что ключи убийцам отдал комендант Тауэра Брэкенбери. Но Брэкенбери погиб на Босвортском поле и не может защитить себя из могилы.

На деле Мор дружен с нынешним Норфолком и спешит опровергнуть слухи, будто предок Томаса Говарда помог кому-то исчезнуть с лица земли — тем более двум королевским отпрыскам.

Кромвель видит словно наяву нынешнего герцога: на одной руке бессильно обвисшее детское тельце, копна золотистых волос, кровь капает на землю; в другой руке герцог сжимает кинжал, вроде столового ножа для мяса.

Он отгоняет фантазию. Гардинер тычет пальцем в воздух, склоняет лорда-канцлера к своей точке зрения. Причитания и стоны дурака становятся невыносимы.

— Отец, — просит Маргарет, — отошли Генри.

Мор встает, хватает Генри за руку. Все глаза прикованы к ним. Гардинер спешит воспользоваться затишьем, наклоняется над столом и тихо спрашивает по-английски:

— Мастер Ризли. Напомните мне. Он работает на вас или на меня?

— Я думал, на вас. Сейчас он хранитель малой печати, а значит, в подчинении у королевского

секретаря, не так ли?

— Тогда почему он вечно пропадает у вас в доме?

— Он не подмастерье. Захочет — приходит, захочет — уходит.

— Думаю, он устал от священников. Хочет научиться чему-нибудь от… как вы себя нынче зовете?

— Человеком дела, — отвечает Кромвель просто. — Герцог Норфолк как-то сказал, что я держусь так, будто со мною должны считаться.

— У мастера Ризли глаз наметан на выгоду.

— Надеюсь, не у него одного. Иначе зачем Господь даровал нам глаза?

— Он хочет разбогатеть. Всем известно, что у вас деньги так и липнут к рукам.

Словно тля к хозяйским розам.

— Увы, — вздыхает он. — Не липнут, а утекают. Вы же знаете, Стивен, как я расточителен. Покажите мне ковер, и я тут же влезу на него с ногами.

Дурака выбранили и прогнали. Мор возвращается к столу.

— Алиса, я предупреждал насчет вина. У тебя нос стал багровым.

На застывшем лице жены испуг и досада. Юные

дамы, которые понимают по-латыни, опускают головы, принимаются изучать собственные руки, теребить кольца, подставляя камни к свету. Затем что-то шлепается об стол, и Энн Крезакр, вынужденная перейти на родной язык, восклицает:

— Генри, прекрати!

Комнату опоясывает галерея с окнами в нишах. Высунувшись из окна, дурак швыряет в них сухими корками.

— Не пугайтесь, хозяин! — кричит Паттинсон. — Это сам Господь на вас сыплется!

Дурак попадает в старика, который от неожиданности вздрагивает и просыпается. Сэр Джон растерянно обводит сидящих взглядом; салфеткой вытирает с подбородка слюну.

— Эй, Генри! — кричит Мор. — Ты разбудил моего отца. А еще ты богохульствуешь и переводишь хлеб!

— Да выпороть его, вот и все, — бурчит Алиса.

Кромвель оглядывает собравшихся со странным чувством, которое принимает за жалость; словно сильный удар за грудиной. Он верит, что Алиса женщина добросердечная, и продолжает верить, даже когда, получив дозволение, благодарит хозяйку дома по-английски, а та неожиданно выпаливает:

— Томас Кромвель, почему вы не женитесь?

— Не берут, леди Алиса.

— Глупости! Ваш хозяин впал в немилость, но вы-то сами не обеднели. Денежки за границей, дом в городе. Король вас жалует, муж врать не станет. А мои товарки судачат, что и по мужской части вы не промах.

— Алиса! — восклицает Мор. Улыбаясь, он сжимает и трясет запястье жены. Гардинер смеется: басовитый хохот звучит глухо, словно из подземелья.

Когда они подходят к барке королевского секретаря, на них веет душным ароматом садов.

— Мор ложится в девять, — замечает Стивен.

— С Алисой?

— Говорят, что нет.

— Завели в доме шпиона?

Стивен не удостаивает его ответом.

В сумерках на воде пляшут огоньки.

— Господи, как я голоден! — жалуется королевский секретарь. — Надо было прихватить пару корок или стянуть белого кролика. Я готов проглотить его сырым.

— Думаю, Мор не позволяет себе быть простым и понятным.

— Еще бы. — Гардинер съеживается под бал-

дахином, будто мерзнет. — Однако всем вокруг известны его взгляды, которые он готов отстаивать до конца. Принимая должность, Мор заявил, что не станет заниматься королевским разводом, и король уступил, вот только надолго ли хватит его уступчивости?

— Я говорил не о короле, а об Алисе.

Гардинер смеется.

— По правде сказать, если бы она понимала, что он про нее говорит, то велела бы кухарке ощипать и зажарить муженька!

— А если она умрет? Он о ней пожалеет?

— Женится, не успеет остыть тело. Найдет кого-нибудь еще уродливее.

Кромвель размышляет: тут возможно пари.

— Эта юная особа, Энн Крезакр. Она ведь наследница, сирота.

— Кажется, с ней связан какой-то скандал.

— После смерти отца соседи похитили ее, чтобы выдать замуж за сына. Юнец изнасиловал девочку. Ей было тринадцать. В Йоркшире. Милорд кардинал был в ярости, когда узнал. Желая защитить Энн, он отдал ее под опеку Мору.

— Здесь ей ничто не угрожает.

Кроме унижений.

— С тех пор как сын Мора на ней женился, он

живет за счет ее поместий. Земля приносит ей сотню в год. Энн может позволить себе нитку жемчуга — и не одну.

— Вам не кажется, что Мор недоволен сыном? Юноша совершенно непригоден к делам. Впрочем, говорят, ваш отпрыск тоже не блещет талантами. Скоро и вам придется подыскивать подходящую наследницу.

Кромвель не отвечает. Все так. Джон Мор, Грегори Кромвель. Что сделали мы для сыновей? Вырастили праздных джентльменов, но кто упрекнет нас в том, что мы хотели для них легкой жизни, которой не знали сами? Мор, конечно, великий труженик — в этом ему не откажешь. Вечно читает, пишет, говорит о том, что считает важным для христианского сообщества.

— Впрочем, вы еще можете завести сыновей, — говорит Стивен. — Неужели вы не задумывались о новом браке, как советует Алиса? Она весьма высокого мнения о ваших достоинствах.

Ему становится страшно. Как в случае с Марком: люди воображают то, чего не могут знать наверняка. Он уверен, про них с Джоанной никто не догадывается.

— А вы сами не подумывали о женитьбе?

От воды тянет сыростью.

— Я священник.

— Бросьте, Стивен. У вас должны быть женщины, разве нет?

Молчание так оглушительно и тянется так долго, что становится слышно, как весла опускаются в Темзу и с плеском поднимаются вверх. Слышно даже, как с них стекает вода. С южного берега доносится собачий лай.

— У вас в Патни все такие назойливые? — спрашивает королевский секретарь.

Молчание тянется до Вестминстера. Впрочем, могло быть и хуже. Высаживаясь на берег, Кромвель замечает, что ж, по крайней мере мы избежали соблазна выбросить друг друга за борт.

— Я подожду, пока вода станет похолоднее, — говорит Гардинер. — И позабочусь привязать груз. Не ровен час всплывете. Кстати, чего ради я потащил вас в Вестминстер?

— Мне нужно к леди Анне.

Гардинер взбешен.

— Вы ничего не сказали.

— Я что, обязан сообщать вам о своих планах?

Очевидно, что Гардинер не отказался бы узнать о них побольше. Ходят слухи, король недоволен советом.

— Кардинал в одиночку справлялся с тем, с

чем вы не справляетесь все вместе! — кричит на советников Генрих.

Если милорд кардинал вернется — кто знает, какая прихоть придет в голову королю? Вам не жить, Норфолк, Гардинер, Мор. Вулси милостив, но всему есть предел.

Сегодня дежурит Мэри Шелтон; фрейлина поднимает глаза и жеманно улыбается. Анна хороша в ночной рубашке черного шелка, волосы распущены, изящные босые ножки обуты в домашние туфли тончайшей кожи. Она падает в кресло, словно прошедший день забрал все силы, но взгляд по-прежнему остер и враждебен.

— Где вы были?

— В Утопии.

— Вот как! — Анна оживляется. — И как там?

— Весь ужин на коленях у леди Алисы сидела маленькая обезьянка.

— Ненавижу их.

— Я знаю.

Он ходит по комнате. Обычно Анна держится с ним ровно, но иной раз ей приходит охота взбрыкнуть, изобразить будущую королеву, и тогда она ставит его на место. Сейчас Анна рассматривает мыски своих домашних туфель.

— Говорят, Томас Мор состоит в связи с соб-

ственной дочерью.

— Возможно.

Анна хихикает.

— Она хороша собой?

— Нет, но весьма образована.

— Обо мне говорили?

— Они никогда вас не упоминают.

Много б я дал, чтобы услышать Алисин приговор, думает он.

— О чем же тогда говорили?

— О женских глупостях и пороках.

— Вы так дурно думаете о женщинах? Впрочем, вы правы. Большинство женщин глупы. И порочны. Мне ли не знать — я так долго среди них живу.

— Норфолк и милорд ваш отец с утра до ночи принимают послов. Французский, венецианский, императорский — и это лишь за два дня!

Готовят ловушку для моего кардинала.

— Значит, у вас все-таки есть средства для сбора точных сведений. А говорят, вы потратили на кардинала целую тысячу фунтов.

— Я надеюсь их вернуть. Так или иначе.

— Те, кто получает доходы с кардинальских земель, должны быть вам благодарны.

А разве ваш братец Джордж, лорд Рочфорд, или

отец, Томас граф Уилтширский, не стали богаче в результате падения кардинала? Посмотрите, как одевается Джордж, сколько спускает на лошадей и шлюх. Вот только вряд ли я когда-нибудь дождусь благодарности от Болейнов.

— Я беру свой процент.

Анна смеется.

— И дела у вас идут неплохо.

— Есть разные способы вести дела… Иногда люди просто делятся со мной тем, что знают.

Это предложение. Анна опускает глаза. Она почти согласна войти в число этих людей, но, возможно, не сегодня.

— Мой отец говорит, вас не раскусить. Никогда не угадаешь, кому вы служите. Я-то считаю — впрочем, что значит мнение женщины? — что вы сами по себе и действуете в своих интересах.

И в этом наше сходство, думает он, но помалкивает.

Анна зевает, грациозно, по-кошачьи.

— Вы устали, — говорит он. — Я ухожу. Кстати, зачем вы меня звали?

— Нам хотелось знать, где вы.

— Почему за мною не послал милорд ваш отец? Или ваш брат?

Анна поднимает глаза. Несмотря на поздний

час, ее улыбка все так же проницательна.

— Они не рассчитывают, что вы придете.

Август. В письмах кардинал сетует королю, что его одолевают кредиторы, «и кругом одни лишь беды и горести», но толкуют иное: кардинал дает обеды, приглашая на них местное дворянство; с прежней щедростью творит милостыню, участвует в судебных тяжбах, увещевает заблудших супругов.

В июне Зовите-меня-Ризли отбывает в Саутвелл вместе с королевским камергером Уильямом Брертоном. Им нужна подпись кардинала на прошении, которое Генрих намерен послать Папе. Идея принадлежит Норфолку: епископы и пэры Англии просят Климента даровать королю свободу от брачных уз. Прошение содержит также глухие угрозы, но Климента так просто не запугать — в искусстве мутить воду и стравливать врагов папе нет равных.

Если верить Ризли, кардинал бодр и здоров, а его строительные работы продвинулись дальше латания дыр и щелей. Вулси нанимает стекольщиков, плотников и жестянщиков. Если милорд кардинал решил проложить водопровод, пиши пропало: он на этом не остановится. Вулси строит не церкви, а башни; поселившись в доме, первым

делом составляет план канализации. Скоро начнутся земляные работы, рытье канав и прокладка труб. За трубами последуют фонтаны. Кардинала радостно приветствует народ.

— Народ? — переспрашивает Норфолк. — Народу что кардинал, что макака — все едино. Да чтоб он провалился к чертям, этот народ!

— А кто тогда будет платить налоги? — спрашивает Кромвель, и Норфолк смотрит с опаской, не понимая, шутка это или упрек.

Слухи о кардинальских успехах не радуют его, а пугают. Король простил Вулси, но Генрих помнит обиды, и, возможно, кардиналу еще предстоит ощутить всю тяжесть монаршего гнева. Измыслили сорок четыре обвинения — придумают еще столько же, благо их фантазию ничто не сдерживает.

Норфолк и Гардинер о чем-то шепчутся, завидев Кромвеля, умолкают.

Ризли ходит за ним по пятам, пишет под его диктовку конфиденциальные письма: королю и кардиналу. Никогда не жалуется на усталость, никогда не ропщет на поздний час. Помнит все, что следует помнить. Даже Рейф ему уступает.

Приходит время приобщить девочек к семейному ремеслу. Джоанна сетует, что ее дочка никак

не научится шить, и выясняется, что, неуклюже ковыряя ткань иголкой, Джо изобрела мелкие кривые стежки, которые и повторить-то непросто. Он поручает ей зашивать в холстину его письма на север.

Сентябрь 1530-го. Вулси покидает Саутвелл и короткими перегонами движется к Йорку. Эта часть пути становится триумфальным шествием. Со всей округи поглазеть на кардинала стекается народ, люди поджидают его милость на обочинах в надежде, что тот возложит свои исцеляющие руки на детей. Они называют это конфирмацией, но обряд куда древнее. Тысячи приветствуют его, и кардинал молится за всех.

— Совет держит Вулси под наблюдением, — бросает Гардинер, стремительно проходя мимо Кромвеля. — Дано указание закрыть порты.

— Передайте ему, — говорит Норфолк, — только встречу — сожру живьем, ни хрящика не оставляю.

В письме кардиналу Кромвель дословно повторяет: «ни хрящика не оставлю». Ему кажется, он слышит хруст и клацанье герцогских зубов.

Второго октября кардинал прибывает в свою резиденцию Кэвуд, в десяти милях от Йорка. Интронизация назначена на седьмое ноября.

Ходят слухи, что на следующий день его милость намерен созвать в Йорке собор северного духовенства. Таким способом кардинал заявит о своей независимости; кто-то скажет — неповиновении. Вулси не сообщает о своих планах ни королю, ни престарелому Уорхему, архиепископу Кентерберийскому. Кромвель так и слышит мягкий голос его милости, в котором сквозит легкое удивление, зачем, Томас, зачем им знать?

Его призывает Норфолк. Багровый от злобы герцог брызжет слюной, изрыгая проклятия. Норфолк примерял доспехи, и теперь на нем разрозненные части — кираса и задняя юбка — в которых герцог похож на закипающий котел.

— Он решил окопаться там? Выкроить королевство себе по размеру? Мало ему кардинальской шапки, нет, этому Томасу — чтоб он сдох! — Вулси, этому мясницкому сыну подавай корону!

Кромвель опускает глаза, чтобы герцог не прочел его мысли. Он думает, а ведь из милорда кардинала вышел бы превосходный король: милостивый, учтивый, но и твердый; справедливый, мудрый и проницательный. Его правление могло бы стать золотым веком, его слуги были бы верны до конца; с каким наслаждением правил бы он своим королевством!

Он наблюдает, как кипит и плюется герцог. Вот Норфолк оборачивается, с размаху хлопает себя по стальной ляжке, и слезы — боли? чего-то еще? — застят герцогские глаза.

— Вы считаете меня бессердечным, Кромвель, но я прекрасно понимаю, сколько вы потеряли. Догадываетесь, о чем я? Никто в Англии не сделал бы столько, сколько вы, для опозоренного и впавшего в немилость. И король так думает. Даже Шапюи, императорский посол, говорит, этот, как бишь там, не могу его осуждать. Жаль, что вы встретили Вулси. Жаль, что не служите мне.

— Мы хотим одного, — говорит Кромвель. — Короновать вашу племянницу. Что мешает нам вместе служить этой цели?

Норфолк хмыкает. В словечке «вместе» есть что-то вызывающее, неуместное, но герцогу не хватает слов, чтобы объясниться.

— Не забывайте свое место.

— Я ценю милостивое расположение вашей светлости.

— Вот что, Кромвель, приезжайте ко мне в Кенингхолл, поговорите с моей женой. Она сама не знает, чего хочет! Не нравится, видите ли, что я держу дома девку, каково? Я говорю ей, а куда ее девать? Будет лучше, если мне придется

выходить из дома на ночь глядя? Скакать куда-то зимой, по скользкой дороге! Я не могу ей этого втолковать, может, вы сумеете?

Герцог поспешно добавляет:

— Хотя нет, не сейчас… Куда важнее повидать мою племянницу.

— Как она?

— Анна жаждет крови, — говорит Норфолк. — Она готова скормить кардинальские кишки своим спаниелям, а его руки и ноги прибить к воротам Йорка.

В это хмурое утро глаза Кромвеля устремлены на Анну, однако взгляд различает в полумраке комнаты какое-то смутное движение.

— Доктор Кранмер, только что из Рима, — говорит Анна. — Разумеется, ничего хорошего он не привез.

Они давние знакомцы. Кранмер время от времени исполнял поручения кардинала — впрочем, эка невидаль! — а сегодня улаживает королевские дела. Они опасливо обнимаются: кембриджский богослов, выскочка из Патни.

— Жаль, что вы не преподавали в нашем колледже, я про кардинальский колледж говорю. Его милость всегда о том сокрушался. Мы бы приняли вас со всем возможным почетом.

— Думаю, ему хотелось большей определенности, — усмехается Анна.

— Со всем уважением к вам, леди Анна, но король почти обещал заново учредить колледж. — Кромвель улыбается. — И, возможно, назвать в вашу честь?

На шее Анны висит золотая цепь с крестом. Иногда она принимается ее теребить, спохватывается — и кисти снова ныряют в рукава. Привычка бросается в глаза, люди судачат об уродстве, которое она прячет, однако он подозревает, что это проявление ее скрытности.

— Мой дядя Норфолк утверждает, что Вулси обзавелся отрядом в восемьсот бойцов. Говорят, он состоит в переписке с Екатериной. Еще говорят, что скоро Рим выпустит декреталию, обязывающую короля меня оставить.

— Крайне неблагоразумно для Рима, — подает голос Кранмер.

— Вот именно. Никто не смеет ему указывать. Он простой служка, король Англии или малое дитя? Во Франции подобное невозможно: там священники знают свое место. Как сказал мастер Тиндейл: «Один король, один закон, так установлено Богом во всех земных пределах». Я читала его «Смирение христианина» и даже показала

королю некоторые пассажи. Подданный должен беспрекословно повиноваться государю как самому Господу. Папе следует знать свое место.

Кранмер с улыбкой смотрит на леди Анну как на сообразительное дитя, которое он обучает грамоте.

— Я хочу кое-что вам показать, — говорит Анна, смотрит вбок. — Леди Кэри…

— Прошу вас, — пытается возразить Мария, — не стоит придавать этому значения…

Анна щелкает пальцами. Мария выходит на свет в сиянии светлых волос.

— Дай сюда, — говорит Анна, разворачивает листок бумаги. — Я нашла его в кровати, можете поверить? В ту ночь постель перестилала эта тошнотворная бледная немочь, разумеется, из нее слова не вытянешь, она хнычет, стоит мне только бросить на нее косой взгляд. Так что я понятия не имею, кто это подложил.

Она разворачивает рисунок, на нем три фигуры. В центре — король, большой и важный, и, чтобы отмести последние сомнения, с короной на голове. По обеим сторонам от короля две женщины, у левой нет головы.

— Это королева, Екатерина, — говорит Анна. —

А это я. Анна *sans tête.*[38]

Доктор Кранмер протягивает руку.

— Отдайте мне, я порву.

Анна комкает бумагу.

— Я сама. Это пророчество о том, что королева Англии будет казнена. Но пророчества меня не пугают, и даже если они правдивы, я не отступлюсь.

Мария замерла в той позе, в которой Анна ее оставила: ладони сжаты, словно она все еще держит рисунок в руках. Господи, думает Кромвель, убрать бы эту женщину куда-нибудь подальше от остальных Болейнов. Однажды она сделала мне предложение. Я отверг ее. Сделает снова — снова отвергну.

Анна отворачивается от света. Щеки ввалились — какой бестелесной она кажется! — но в глазах огонь.

— *Ainsi sera,*[39] — говорит она. — Неважно, чьи это происки. Я все равно его заполучу.

На обратном пути они молчат, пока не встречают белокожую девушку, бледную немочь, в руках у нее стопка белья.

---

[38] Примечания Ольги Дмитриевой: 38
без головы *(фр.).*

[39] Примечания Ольги Дмитриевой: 39
так тому и быть *(фр.).*

— А вот и та, что хнычет, — говорит Кромвель. — Так что не советую бросать на нее косые взгляды.

— Мастер Кромвель, — говорит девушка, — говорят, зима будет долгой. Пришлите нам еще ваших апельсиновых пирожных.

— Давненько я вас не видал… Что делали, где пропадали?

— По большей части занималась рукодельем, — говорит она. — Была там, куда пошлют. — На каждый вопрос по отдельности.

— Шпионили.

Она кивает.

— Но похвастать мне нечем.

— Не уверен. Вы такая миниатюрная, такая неуловимая.

Он хотел сделать ей комплимент. Девушка благодарно щурится.

— Я не говорю по-французски. Прошу вас, и вы не говорите. Иначе что я им скажу?

— Для кого вы шпионите?

— Для братьев.

— Знаете доктора Кранмера?

— Нет, — отвечает она, не сообразив, что Кромвель представляет своего спутника.

— А теперь, — велит он, — назовите ваше имя.

— А, ясно. Я дочь Джона Сеймура. Из Вулфхолла.

— Я думал, дочери Сеймура состоят при королеве Екатерине, — удивляется он.

— Не всегда, не сейчас, я уже говорила, я там, куда пошлют.

— Но не там, где вас ценят.

— У меня нет выбора. Леди Анна привечает фрейлин королевы, желающих проводить время в ее обществе. — Она поднимает глаза, бледное лицо пунцовеет. — Таких по пальцам пересчитать.

Все поднимающиеся семейства нуждаются в сведениях. Король объявил себя холостяком, каждой юной деве есть о чем мечтать, и далеко не все в королевстве ставят на Анну.

— Что ж, удачи, — говорит он. — Постараюсь не переходить на французский.

— Буду признательна. — Она наклоняет голову. — Доктор Кранмер.

Он оборачивается ей вслед, на миг в мозгу рождается подозрение, о рисунке в кровати. Хотя нет, вряд ли.

— А вы освоились среди фрейлин, — улыбается доктор Кранмер.

— Не совсем. Я не знаю, которая эта из дочерей,

их по меньшей мере три. Полагаю, сыновья Сеймура честолюбивы.

— Я едва их знаю.

— Эдвард вырос при кардинале, толковый малый. Да и Том не так глуп, каким прикидывается.

— А их отец?

— В Уилтшире. И носа в столицу не кажет.

— Счастливец, — вздыхает про себя доктор Кранмер.

Радости деревенской жизни. Соблазн, который ему неведом.

— Сколько вы прожили в Кембридже до того, как вас призвал король?

— Двадцать шесть лет, — с улыбкой отвечает Кранмер.

Оба в одежде для верховой езды.

— Сегодня в Кембридж?

— Ненадолго. Семья, — Кранмер имеет в виду Болейнов, — хочет, чтобы я всегда был под рукой. А вы, мастер Кромвель?

— У меня дела.

Черными глазками леди Анны сыт не будешь.

Конюхи держат лошадей. Из запутанных складок одеяния доктор Кранмер вытаскивает что-то, завернутое в ткань: морковку, аккуратно раз-

резанную вдоль, разделенное на четвертинки сморщенное яблоко. По-детски озабоченный справедливой дележкой, богослов протягивает ему два ломтика морковки и половинку яблока, остальное скармливает своей лошади.

— Вы обязаны Анне Болейн больше, чем вы думаете. Она о вас хорошего мнения. Не уверен, впрочем, что ей хотелось бы видеть вас своим зятем…

Лошади тянут шеи, щиплют угощение, благодарно прядая ушами. Редкие мгновения мира — словно благословение.

— Начистоту? — спрашивает он.

— Разумеется. — Богослов кивает. — Вам правда хочется знать, почему я не согласился перейти в ваш колледж?

— Я спросил ради поддержания разговора.

— И все же… Мы в Кембридже слышали, сколько вы сделали для его учреждения… студенты и коллеги хвалили вас… от мастера Кромвеля ничто не ускользает. Но говоря откровенно, все эти условия, которыми вы так гордитесь… — Его тон не меняется, оставаясь таким же ровным. — Рыбный подвал. Где погибли студенты…

— Не думайте, что милорд кардинал легко это пережил.

— Я и не думаю, — говорит Кранмер просто.

— Милорд никогда не стал бы уничтожать человека за убеждения. Вам было нечего опасаться.

— Не подумайте, что я еретик. Даже в Сорбонне не нашли к чему придраться. — Слабая улыбка. — Возможно… возможно, все дело в том, что душой я принадлежу Кембриджу.

Он спрашивает у Ризли:

— Неужто и впрямь такой ортодокс?

— Трудно судить. Монахов он точно не жалует. Вы должны поладить.

— В колледже Иисуса его любили?

— Считали строгим экзаменатором.

— Он многое подмечает. Впрочем, уверен в добродетелях Анны. — Кромвель вздыхает. — А мы?

Зовите-меня-Ризли фыркает. Недавно женился — на родственнице Гардинера, — но слабый пол не жалует.

— Доктор Кранмер кажется мне меланхоликом, — говорит Кромвель. — Есть люди, готовые всю жизнь прожить в затворе.

Ризли слегка изгибает красивую бровь.

— Он не рассказывал вам о служанке из трактира?

Кромвель угощает Кранмера нежным мясом

косули. Ужинают вдвоем, и постепенно, шаг за шагом, он вытягивает из богослова его историю. Спрашивает, откуда тот родом, а когда Кранмер отвечает, все равно вы не знаете, говорит: а вдруг? где меня только не носило.

— Если каким-то ветром вас занесло бы в Эслоктон, вряд ли вы бы его запомнили. Стоит отъехать на пятнадцать миль от Ноттингема, тамошние края навсегда выветриваются из головы.

Там нет даже церкви; несколько бедных хижин и дом его отца, в котором семья жила в течение трех поколений.

— Ваш отец джентльмен?

— Разумеется. — Кранмер слегка уязвлен: неужто бывает иначе? — Среди моих родственников Тэмворсы из Линкольншира, Клифтоны из Клифтона, семья Молино, о которой вы наверняка слышали. Или нет?

— А земли у вас было много?

— Жаль, не захватил с собой счетные книги.

— Простите, дельцы все такие…

Оценивающий взгляд. Кранмер кивает.

— Всего ничего. И я не был старшим сыном. Однако отец дал мне надлежащее воспитание. Научил верховой езде, подарил первый лук, первого сокола.

Умер, думает Кромвель, давным-давно умер, но сын до сих пор ищет во тьме отцовскую руку.

— В двенадцать меня отослали в школу. Я там страдал. Учитель был суровый.

— Только к вам? А к остальным?

— По правде сказать, остальные меня заботили мало. Я был слаб, а школьные учителя любят таких мучить.

— Почему вы не пожаловались отцу?

— Сам себя об этом спрашиваю. Вскоре отец умер. Мне было тринадцать. На следующий год мать отправила меня в Кембридж. Я был счастлив избавиться от розги. Не сказать, чтобы светоч учености горел ярко: восточный ветер его задул. Оксфорд, в особенности колледж Магдалины, где был ваш кардинал, — там были тогда лучшие умы.

Если бы вы родились в Патни, думает Кромвель, то каждый день видели бы реку, и воображали, как, постепенно расширяясь, она впадает в море. И даже если вам не суждено было увидеть море, вы представляли бы его по рассказам чужестранцев, приплывших по реке. Вы верили бы, что когда-нибудь и сами непременно попадете туда, где по улицам, вымощенным мрамором, гуляют павлины, где холмы дышат зноем, а ароматы

скошенной травы сбивают с ног. Вы мечтали бы о том, что принесут ваши странствия: прикосновении горячей терракоты, ночном небе дальних краев, неведомых цветах и каменном взгляде чуждых святых. Но если вы родились в Эслоктоне, в полях под бескрайним небом, вы можете представить себе лишь Кембридж — в лучшем случае.

— Кое-кто из моего колледжа, — смущенно говорит Кранмер, — слышал от кардинала, что ребенком вас похитили пираты.

Мгновение Кромвель непонимающе смотрит на богослова, затем растягивает губы в довольной улыбке.

— Как же мне не хватает моего господина! Теперь, когда он на севере, некому стало выдумывать обо мне небылицы.

— Так это неправда? — удивляется доктор Кранмер. — Видите ли, я сомневался, крещены ли вы. Боялся, что при таких обстоятельствах..

— Эти обстоятельства — выдумка. Иначе пираты раскаялись бы и вернули меня обратно.

— Вы были непослушным ребенком? — хмурит брови доктор Кранмер.

— Будь мы тогда знакомы, я поколотил бы за вас вашего учителя.

На миг гость перестает жевать; впрочем, он и раньше не особо налегал на угощение. А ведь где-то в глубине души Кранмер и вправду готов поверить, что я нехристь, и я бессилен убедить его в обратном.

— Скучаете по вашим ученым занятиям? — спрашивает он. — Наверняка ваша жизнь пошла кувырком после того, как король призвал вас на дипломатическую службу и отправил болтаться по бурным морям.

— В Бискайском заливе, на обратном пути из Испании, корабль дал течь. Я исповедовал матросов.

— Представляю, чего вы наслушались, — смеется Кромвель. — И как они старались перекричать шторм.

После рискованного путешествия Кранмер, хотя король остался доволен его миссией, мог вернуться к своим штудиям, если бы, случайно встретив Гардинера, не обронил, что стоит привлечь к королевскому процессу европейские университеты. Правоведы-каноники оказались бессильны, возможно, пришло время богословов. Почему бы нет, сказал король, приведите ко мне доктора Кранмера и поручите ему заняться моим разводом. Ватикан соглашается, впрочем, с

оговоркой, весьма забавной для папы, носящего фамилию Медичи: денег богословам не предлагать.

Идея Кранмера кажется ему пустой затеей, но Кромвель вспоминает об Анне Болейн, о том, что сказала ее сестра: время идет, а Анна не молодеет.

— Допустим, вы соберете сотню ученых из десятка университетов и некоторые заявят, что король прав…

— Большинство…

— Добавьте еще две сотни — и что с того? Климента не убедить, на него можно лишь надавить. И я не о моральном давлении говорю.

— Но мы должны убедить в правоте короля не только Климента! Всю Европу, всех христиан.

— Боюсь, вам не убедить христианок.

Кранмер опускает глаза.

— Я даже жену никогда не мог ни в чем убедить. И не пытался. — Молчание. — Мы оба вдовцы, мастер Кромвель, и если нам предстоит трудиться вместе, не хотелось бы, чтобы вы строили догадки относительно моего брака, или, хуже того, прислушивались к пересудам.

Вокруг них сгущается полумрак, и голос рассказчика то сбивается на шепот, то заикается,

петляет в темноте. За пределами комнаты дом живет обычной вечерней жизнью: со стуком и скрежетом сдвигают столы; откуда-то доносятся приглушенные возгласы и крики. Но он их не замечает, вслушиваясь в рассказ Кранмера.

Джоан, сирота, прислуживала в доме его знакомых. Ни приданого, ни единой родной души. Он ее пожалел. Шепот в обитой деревянными панелями комнате вызывает болотных духов, тревожит мертвых в их могилах: кембриджские сумерки, сырость ползет от низин и топей, лучина горит в пустой подметенной комнате, где они сошлись. Мне оставалось только жениться, говорит доктор Кранмер, да и как мужчине без жены? Из университета пришлось уйти: семейным там не место. Джоан тоже оставила дом, где служила, и, не зная, куда ее пристроить, Кранмер поселил жену в «Дельфине» — заведении, не чужом для него, кое-какие связи — рассказчик опускает глаза — да что скрывать, таверну содержат его родные.

— Тут нечего стыдиться. «Дельфин» — приличное место.

А, так вы там бывали: и рассказчик закусывает губу.

Он изучает доктора Кранмера: его манеру пере-

маргивать, то, как задумчиво он прикладывает палец к подбородку, живые глаза и бледные молитвенные руки. Джоан не была, понимаете, она не была служанкой в таверне, что бы ни говорили люди, а люди судачат. Она была женой с младенцем в утробе, а он нищим богословом, готовым разделить с нею жизнь в честной бедности, только его замыслам не суждено было осуществиться. Кранмер надеялся найти место секретаря или учителя, зарабатывать на хлеб своим пером, но до этого не дошло. Подумывал уехать из Кембриджа, а возможно, из Англии, да не сложилось. До рождения ребенка Кранмер строил планы, рассчитывая на свои связи; когда Джоан умерла родами, это стало ненужным.

— Если бы ребенок выжил, не все еще было бы потеряно. А так никто не знал, утешать меня по случаю потери жены или поздравлять с возвращением в колледж Иисуса. Я принял сан — что мне оставалось? Всю эту историю: женитьбу, нерожденного ребенка, коллеги сочли своего рода помешательством. Словно я заблудился в лесу, а теперь вернулся домой и должен вычеркнуть все из памяти.

— На свете хватает людей холодных, — замечает Кромвель. — Таковы священники, не при вас

будь сказано. Разумеется, они такие из лучших побуждений.

— Это не было помешательством, не было заблуждением. Мы прожили год, и с тех пор не было дня, чтобы я не о ней думал.

Дверь открывается. Алиса принесла свечи.

— Ваша дочь?

Не желая пускаться в объяснения, он говорит:

— Это моя дорогая Алиса. Разве приносить свечи твоя забота?

Она приседает, знак почтения священнослужителю.

— Нет, но Рейф и остальные хотели узнать, о чем вы так долго разговариваете. Они спрашивают, будете ли вы диктовать письмо кардиналу. Джо не выпускает из рук нитку с иголкой.

— Скажи им, что я сам напишу, а завтра с утра отправим. Пусть Джо укладывается.

— А мы не собираемся спать. Мы гоняем борзых Грегори по дому и шумим так, что, того и гляди, мертвых разбудим.

— Теперь мне понятно, почему вы не хотите ложиться.

— Это увлекательно, — говорит Алиса. — У нас манеры судомоек, и никто не возьмет нас замуж. Если бы тетушка Мерси вела себя так, когда была

девочкой, ее бы колотили по голове, пока из ушей не пошла бы кровь.

— Нам повезло, что мы не застали тех времен.

Когда дверь за Алисой закрывается, Кранмер спрашивает:

— Вы не порете детей?

— Мы пытаемся воспитывать их на собственном примере, как учит Эразм. Впрочем, мы и сами не прочь погонять собак и устроить тарарам, так что даже не знаю, что выйдет из такого воспитания.

Улыбнуться гостю или сдержать улыбку? У него есть Грегори, Алиса, Джоанна, малышка Джо, и — где-то в тени, почти незримо — бледная кроха, шпионящая для Болейнов. У него есть соколы в клетках, повинующиеся его голосу. А что есть у этого человека?

— Я думаю о королевских советниках, — говорит Кранмер. — Только вообразите, что за люди его окружают!

А еще есть кардинал, если после всего милорд от него не отвернется. А если кардинал умрет, останутся черные борзые Грегори, лежать в ногах.

— Они умны, ловки, — продолжает Кранмер, — способны добиться своего, но мне кажется — не

знаю, согласитесь ли вы, — что они не понимают королевских нужд и начисто лишены совести, доброты. Любви. Милосердия.

— Это дает мне надежду на возвращение кардинала.

Кранмер всматривается в его лицо:

— Боюсь, это невозможно.

Долго сдерживаемая ярость и боль рвутся из груди.

— Нас пытаются поссорить. Убедить кардинала, что я о нем и думать забыл, забочусь только о собственной выгоде. Что я продался и каждый день хожу на поклон к Анне…

— Вы действительно каждый день видитесь с Анной…

— Но как иначе быть в курсе событий? Милорд кардинал не знает, не в силах понять, что здесь происходит.

— Возможно, вам следует поехать к нему? — тихо спрашивает Кранмер. — Ваш приезд разрушил бы все сомнения.

— Поздно. Капкан расставлен на кардинала, и я не смею двинуться с места.

Холодает, перелетные птицы тянутся к югу, а чернокрылые правоведы сбиваются на полях Линкольнз-инн и Грейз-инн к началу судебной

сессии. Охотничий сезон, или, во всяком случае, сезон, когда король охотился каждый день, завершается. Что бы ни происходило, какое бы поражение или разочарование вас ни постигло, стоит выехать в поле, и все как рукой снимет. Охотник — создание бесхитростное, привычка жить одним днем делает его простодушным. Под вечер король возвращается домой: тело ломит от усталости, перед глазами чехарда листьев и неба. Нет, он не станет читать бумаги. Горести и заботы отступили и не вернутся, покуда после ужина и вина, смеха и застольных баек он вновь и вновь будет вставать на рассвете и скакать навстречу новому дню.

Но зимнего, праздного короля начинает мучить совесть. Гордость Генриха уязвлена, и он готов щедро наградить того, кто избавит его от мук.

Бледное осеннее солнце просвечивает сквозь порхающие листья. Они идут к мишеням. Королю нравится делать несколько дел одновременно: беседовать и целиться.

— Здесь мы будем наедине, — говорит Генрих, — и я открою вам свои мысли.

В действительности их окружает население небольшой деревушки — какого-нибудь Эслоктона. Королям неведомо, что значит остаться

одному. Был ли Генрих наедине с собой хоть раз в жизни, пусть лишь в мечтах? «Наедине» означает без многословного и надоедливого Норфолка; без Чарльза Брэндона, которого Генрих, вспылив, прогнал прочь, велев не приближаться ко двору на расстояние в пятьдесят миль. «Наедине» означает с хранителем королевского лука, его помощниками; с королевскими камергерами — избранными, проверенными друзьями. Двое из них спят в ногах королевской кровати, если его величество не разделяет ложе с королевой; а стало быть, вот уже несколько лет.

Глядя, как Генрих натягивает тетиву, Кромвель думает, наконец-то я вижу его монаршую стать. Дома и за границей, во времена мира и войны, король стреляет из лука несколько раз в неделю, как полагается истинному англичанину. Распрямившись во весь рост, напрягая сильные мышцы рук, плеч и груди, Генрих посылает трепещущую стрелу в центр мишени. Затем опускает лук: кто-то кидается перемотать королевскую руку, кто-то предлагает стрелы на выбор, согбенный раб подает салфетку, чтобы его величество утер со лба пот, а после поднимает ее с земли. Две стрелы уходят в «молоко», и рассерженный правитель Англии прищелкивает пальцами. Господи, утишь ветер!

— С разных сторон мне советуют, — кричит король, — признать свой брак расторгнутым перед лицом христианской Европы и снова жениться, причем как можно скорее.

Кромвель ничего не кричит в ответ.

— Однако есть другие… — порыв ветра уносит конец фразы по направлению к Европе.

— Я из тех других.

— Господи Иисусе, скоро я стану евнухом! Думаете, мое терпение безгранично?

Кромвель не решается сказать, вы до сих пор женаты. До сих пор разделяете кров и двор, ваша жена по-прежнему занимает свое место по левую руку от вас. Вы уверяете кардинала, что она вам сестра, не жена, но если сегодня ветер или непрошеная слеза помешают вам поразить мишень, вы придете плакаться к Екатерине, ибо перед Анной вы не позволите себе слабости или поражения.

Все это время Кромвель наблюдает за королевскими упражнениями. Генрих и ему предлагает лук, что вызывает некоторую панику среди джентльменов, усеявших лужайку и подпирающих деревья, в шелках цвета подгнивших фруктов: багровых, золотистых и фиолетовых. Король стреляет прилично, но назвать его лучником от Бога не повернется язык: прирожденный

лучник натягивает тетиву всем телом.

Сравнить Генриха с Ричардом Уильямсом, ныне Кромвелем. Его дед ап Эван — вот кто был настоящим мастером. Ему не довелось видеть, как тот стреляет, но он готов держать пари, что мышцы у него были как канаты. Разглядывая короля, он убежден, что его прадедом был не лучник Блейбурн, как гласит легенда, а Ричард, герцог Йоркский. В жилах его деда и матери текла королевская кровь. Генрих стреляет как джентльмен, как любитель, король до кончиков пальцев.

А у вас хорошая рука и верный глаз, замечает Генрих. На таком-то расстоянии, пожимает плечами Кромвель. Мы с домочадцами стреляем каждое воскресенье: после проповеди в соборе Святого Павла отправляемся в Мурфилдс, где сражаемся с коллегами по гильдии против мясников и лавочников, а потом вместе обедаем. А еще с виноторговцами соревнуемся. Последние особенно упорны…

Генрих живо оборачивается, а что, если в следующее воскресенье я пойду с вами? Что, если я переоденусь? Простолюдинам такое придется по нраву, разве нет? Иногда король должен показать себя своим подданным, не так ли? Будет весело, правда?

Вряд ли, думает Кромвель. Он не готов поручиться, но на миг ему кажется, что в глазах Генриха блестит слеза.

— Тогда мы обязательно выиграем, — утешает он короля, словно малое дитя. — И виноторговцы заревут, как медведи.

Накрапывает, они скрываются под спасительными кронами. Тень падает на лицо Генриха. Нэн грозится уйти от меня, говорит король, твердит, что свет не сошелся на мне клином, что ее молодость проходит.

Норфолк, в страхе, последняя неделя октября 1530 года:

— Этот малый, — герцог грубо тычет большим пальцем в Брэндона, вернувшегося ко двору, что неудивительно, — несколько лет назад на турнире чуть не отправил короля на тот свет. Генрих поднял забрало — одному Богу известно, зачем, но такое случается. А он возьми да и направь копье в шлем — трах! — копье раскололось, и осколки прошли в дюйме — только вообразите, в дюйме! — от глаза.

Увлекшись показом, Норфолк ушиб правую руку, морщится, но продолжает с прежним пылом:

— А вот еще, год назад, Генрих следует за своим соколом, местность с виду ровная, а на деле кру-

гом овраги да ямы — Генрих берет шест, хочет перепрыгнуть канаву… Чертов шест ломается! И вот уже его величество, не удержавшись, падает ничком в грязь, и если бы слуга его оттуда не вытащил, представить страшно, джентльмены, что могло случиться!

Один вопрос разрешился. Если король в беде, можно его поднимать. Выуживать из канавы. Или откуда случится.

— А если он умрет? — вопрошает Норфолк. — Сгорит в лихорадке, упадет с лошади и сломает шею? Кто тогда? Его бастард Ричмонд? Ничего не имею против, славный малый, да и Анна сказала, надо женить его на моей дочери Мэри. Анна умна, говорит, пусть Говарды будут везде, куда упадет взгляд его величества. Ричмонд устраивает меня во всем, кроме того, что рожден вне брака. Спросите себя, может ли он царствовать? Как Тюдоры добыли корону? По праву рождения? Нет. По праву силы? Именно так! С Божьей помощью они выиграли битву. У старого короля был кулак каких поискать, и большая амбарная книга, куда он записывал обиды. А слышали вы, чтобы он кого-нибудь простил? Да никогда! Вот, господа, пример для правителя.

Норфолк поворачивается к слушателям:

членам королевского совета, придворным и камергерам; к Генри Норрису, его другу Уильяму Брертону, королевскому секретарю Гардинеру, и неизвестно как затесавшемуся среди знати Томасу Кромвелю.

— Старому королю, милостью Божией, наследовали законные сыновья. Но когда Артур умер, Европа встрепенулась, всем хотелось урвать кусочек от Англии. Генриху было тогда всего девять. Если бы старый король не протянул еще немного, войны не миновать. Англией не может править ребенок. А если он еще и незаконнорожденный? Господи, дай мне силы! И снова ноябрь!

Слова Норфолка трудно не понять. И смысл последнего восклицания, исторгнутого из самого герцогского сердца, предельно ясен. В прошлом ноябре Говард и Брэндон ворвались в Йоркский дворец, потребовали у кардинала лорд-канцлерскую цепь и вышвырнули Вулси на улицу.

Воцаряется молчание, затем кто-то кашляет, кто-то вздыхает, кто-то — Генри Норрис, не иначе, — смеется. Он, он проговорился тогда, больше некому.

— У короля есть ребенок, рожденный в браке.

Норфолк оборачивается, мгновенно багровея.

— Мария? Эта говорящая козявка?

— Когда-нибудь она вырастет.

— Мы подождем, — говорит Суффолк. — Ей ведь сейчас четырнадцать?

— А лицо с наперсток! — Герцог демонстрирует собравшимся палец. — Женщина на английском троне, уму непостижимо!

— Ее бабка была королевой Кастилии.

— Женщина не может вести армию.

— Изабелла смогла.

— Кромвель, а вы что тут делаете? — спрашивает герцог. — Господские разговоры слушаете?

— Милорд, ваши вопли услышит последний нищий на улице. В Кале.

Гардинер оборачивается к нему, заинтересовавшись.

— Думаете, Мария может взойти на престол?

Кромвель пожимает плечами.

— Смотря кто будет ей советовать. За кого ее выдадут.

— Пришло время решительных действий. Половина европейских крючкотворов корпит над бумагами Екатерины… Та диспенсация. Эта диспенсация… В английской записано так, в испанской эдак. Плевать. Дело уже не в бумажках.

— А из-за чего спешка? — спрашивает Суффолк. — Ваша племянница понесла?

— Нет! А хорошо бы. Тогда ему пришлось бы что-то предпринять.

— Что? — спрашивает Суффолк.

— Понятия не имею. Пожаловать себе дозволение на развод?

Шарканье, ворчание, вздохи. Кто-то смотрит на герцога, кто-то — себе под ноги. Все здесь хотят, чтобы желание короля исполнилось. От этого зависит их жизнь и будущее. Он видит впереди их путь: извилистая тропа вьется по равнине, горизонт обманчиво чист, равнину пересекают канавы, нынешний Тюдор — лицо и одежда заляпаны грязью — ловит ртом воздух.

— Тот добрый человек, что вытащил короля из канавы, как его звали?

— Мастера Кромвеля заботят деяния простолюдинов, — сухо роняет Норфолк.

А он и не думал, что они помнят. Однако Норрис говорит:

— Я знаю, его звали Эдмунд Моди.

Жаль, что не Мадди,[40] говорит Суффолк. Он смеется в голос. Все на него смотрят.

День всех святых: как говорит Норфолк, снова ноябрь. Алиса и Джо приходят его проведать,

---

[40] Примечания Ольги Дмитриевой: 40
muddy (англ.) — грязный.

ведя Беллу — нынешнюю Беллу — на розовой шелковой ленте. Он поднимает глаза: чем я могу быть полезен двум юным леди?

— Сударь, — начинает Алиса, — уже два года прошло, как умерла тетя Элизабет. Не могли бы вы написать кардиналу, чтобы он попросил папу выпустить ее из чистилища?

— А как же твоя тетя Кэт? Твои кузины, мои дочери?

Девочки переглядываются.

— Нам кажется, они промучились недостаточно долго. Энн Кромвель гордилась, что умеет считать, и хвастала, что учит греческий. А Грейс кичилась своими волосами и врала, будто у нее есть крылья. Нам кажется, им еще рано покидать чистилище. Однако кардинал может и за них заступиться.[41]

И кто тянул тебя за язык? Кто не просит, тот не получает.

— Вы так много сделали для кардинала, он не откажет. — Алиса пытается увлечь его своей затеей. — Король нынче не жалует кардинала;

---

[41] Примечания Ольги Дмитриевой: 41

Приведенный выше диалог отсылает к средневековой католической доктрине Чистилища, согласно которой существовала возможность повлиять на дальнейшую судьбу пребывающих там душ. Считалось, что молитвы, заупокойные службы и покупка индульгенций во искупление грехов умершего могли облегчить переход его души в Рай.

может, папа к нему расположен?

— Говорю вам, — подхватывает Джо, — кардинал пишет папе каждый день. Непонятно, кто только зашивает ему письма. А еще кардинал может послать папе маленький подарочек, вознаграждение за труды. Тетя Мерси сказала, что папа ничего не делает задаром.

— Идемте, — говорит Кромвель.

Девочки снова переглядываются. В дверях он пропускает их вперед. Лапки Беллы стучат по полу. Джо отпускает поводок, но Белла не обгоняет, держится сзади.

Мерси и старшая Джоанна сидят рядком. В комнате висит недоброе молчание. Мерси читает, проговаривая слова про себя. Джоанна уставилась в стену, на коленях вышивка. Мерси закладывает страницу, спрашивает:

— Это что, послы явились?

— Скажи ей, Джо, — говорит он, — скажи матери то, что сказала мне.

Джо хлюпает носом. Алиса берет дело в свои руки.

— Мы хотим, чтобы тетю Лиз выпустили из чистилища.

— Чему вы их учите? — спрашивает он.

Джоанна пожимает плечами.

— У взрослых свои убеждения.

— Господи, что творится под этой крышей! Дети верят, что папа спускается в ад со связкой ключей! Учитывая, что Ричард отрицает святое причастие…

— Что? — удивляется Джоанна. — Что он отрицает?

— Ричард прав, — говорит Мерси. — Когда Господь сказал, сие есть тело Мое, Он имел в виду, это символизирует Мое тело. Он не обращал священников в колдунов.

— Но Он сказал: *сие есть.* Не как бы тело, а тело. Иначе выходит, что Господь соврал, а это немыслимо.

— Господь может все, — говорит Алиса.

— Ах ты, маленькая проказница! — напускается на нее Джоанна.

— Если бы моя мама была тут, она бы тебя стукнула.

— Без рукоприкладств, — говорит он. И добавляет, — пожалуйста.

Остин-фрайарз — мир в миниатюре. В последние годы он больше напоминает поле битвы, чем семейный очаг, или один из тех биваков, где собрались уцелевшие и в отчаянии взирают на искалеченные тела и погубленные надежды.

Однако они по-прежнему под его командой, его последние закаленные в битвах воины. И если они не сгинут в следующей схватке, ему придется учить их хитроумному искусству смотреть в обе стороны: вера и дела житейские, папа и евангельские братья, Екатерина и Анна.

Он глядит на ухмыляющуюся Мерси, на Джоанну, которой кровь бросилась в лицо. Отворачивается от Джоанны, гонит прочь мысли — и не только о богословии.

— Вы ни в чем не виноваты, — говорит он девочкам. Однако детские лица по-прежнему насуплены, и тогда он решает подсластить пилюлю: — Я хочу сделать тебе подарок, Джо, за то, что сшиваешь мои письма кардиналу.[42] И тебе, Алиса. Повод нам ни к чему. Я подарю вам мартышек.

Девочки переглядываются. Джо сражена наповал.

— А вы знаете, где их взять?

— Знаю. Я был в гостях у лорда-канцлера, его жена держит такую. Эта кроха сидит у нее на коленях и слушает все, что та ей скажет.

— Мартышки нынче не в моде, — замечает

---

[42] Примечания Ольги Дмитриевой: 42

Имеется в виду доставка секретной корреспонденции, которую провозили в подкладке одежды, в обуви и т. д.

Алиса.

— Тем не менее мы благодарим вас, — говорит Мерси.

— Тем не менее мы благодарим вас, — повторяет Алиса. — Но при дворе не держат мартышек с тех пор, как там поселилась леди Анна. Чтобы не отстать от моды, нам бы лучше щенков от Беллы.

— Со временем, — говорит он.

Не для всех подводных течений, что бурлят в этой комнате, у него есть объяснение. Он подхватывает собаку и уходит к себе, искать деньги для братца Джорджа Рочфорда. Сажает Беллу на стол, подремать среди бумаг. Белла сосет конец ленты, пытается незаметно стянуть ее с шеи.

Первого ноября тысяча пятьсот тридцатого года Гарри Перси, юному графу Нортумберлендскому, даны полномочия на арест кардинала. Граф прибывает в Кэвуд за двое суток до предполагаемого приезда его милости в Йорк для инвеституры. Кардинала препровождают под охраной в замок Понтефракт, оттуда — в Донкастер, оттуда — в Шеффилд-парк, усадьбу графа Шрусбери. Здесь, в Тэлбот-хаузе, кардинал заболевает. Двадцать шестого ноября в сопровождении двадцати четырех вооруженных стражников прибывает комендант

Тауэра, чтобы эскортировать кардинала дальше на юг. Они отправляются в Лестерское аббатство. Три дня спустя кардинал умирает.

Чем была Англия до Вулси? Мелким никчемным островком, нищим и промозглым.

Джордж Кавендиш приходит в Остин-фрайарз, рассказывает, плачет. Иногда утирает слезы и пускается в рассуждения, но по большей части плачет.

— Мы даже не успели отобедать, — говорит Кавендиш. — Только приступили к десерту, тут входит юный Гарри Перси, весь в дорожной грязи, в руках ключи, которые он отобрал у привратника, на лестнице стража. Милорд встает из-за стола, говорит, Гарри, если б знал, без вас бы не сел. Боюсь, правда, рыбы не осталось. Помолиться, что ли, о чуде?

Я шепнул ему, не богохульствуйте, милорд. Затем Гарри Перси выступил вперед и говорит, милорд, я арестую вас за измену.

Кавендиш ждет. Чего? Что он взорвется от гнева? Он сидит, сцепив пальцы, словно молится. Анна, это она все подстроила и сейчас тайно наслаждается отсроченной местью за себя и своего бывшего любовника, которого кардинал выбранил и отлучил от двора.

— Как он держался? Гарри Перси.

— Трясся, как осиновый лист.

— А что милорд?

— Потребовал бумаги. А Перси сказал, что не все в его приказах предназначено для посторонних глаз. Тогда я отказываюсь следовать за вами, вот так-то, Гарри, заявил милорд. Идемте, Джордж, нужно кое-что обсудить. Они рванулись за ним, подручные графа, и тогда я встал у двери, загородил путь. Милорд кардинал прошел в спальню, взял себя в руки и, обернувшись ко мне, сказал, Кавендиш, взгляните мне в лицо: я не страшусь никого из живущих.

Он, Кромвель, отходит, чтобы не видеть страданий Джорджа. Отворачивается, разглядывает новые панели на стенах — деревянные, с льняными вставками, водит пальцем по желобкам и бороздкам.

— Когда его вывели из дома, горожане собрались на улице. Они стояли на коленях, рыдали и призывали Господни кары на голову Гарри Перси.

Господу незачем беспокоиться, думает он: я сам с Гарри разберусь.

— И мы поскакали на юг. Погода испортилась. Мы прибыли в Донкастер к вечеру, уже стемнело,

но люди на улицах стояли плечом к плечу и держали свечи. Мы думали, надолго их не хватит, однако они простояли всю ночь. А потом свечи погасли, уступили место дневному свету, если это можно назвать светом.

— Должно быть, это подбодрило его. Толпа.

— Да, но к тому времени — говорил ли я?.. кажется, нет — он уже неделю ничего не ел.

— Зачем? Чего ради?

— Кто-то говорит, хотел себя уморить. Не верю я, чтобы христианин… Я предложил ему тарелку печеных груш.

— И он съел?

— Немного, а затем положил руку на грудь и говорит, что-то холодное и твердое внутри, словно точильный камень. И началось.

Кавендиш вскакивает с места и начинает мерить шагами комнату.

— Я позвал аптекаря, он приготовил порошок, который я велел разложить по трем чашкам. Я выпил одну, аптекарь — вторую. Мастер Кромвель, я никому не мог довериться! После лекарств боль утихла, и его милость смеялся и говорил, это меня просто пучило, и я решил, что назавтра все образуется.

— А затем явился Кингстон.

— Мы не знали, как сказать милорду, что за ним приехал комендант Тауэра. А когда сказали, он так и сел на сундук. Уильям Кингстон? Уильям Кингстон? Он без конца повторял имя.[43]

И все это время тяжесть, точильный камень, в груди; сталь, острый нож, в кишках.

— Я сказал ему, не будем отчаиваться, милорд, скоро вы предстанете перед королем и оправдаетесь. И Кингстон меня поддержал, а милорд сказал, вы соблазняете меня раем для дураков, а я знаю, что мне уготовано, знаю, что меня ждет смерть. В ту ночь мы не спали. Милорд мочился черной кровью, а наутро был так слаб, что мы отложили отъезд. Но после все равно тронулись в Лестер.

Дни были короткими-короткими, совсем без света. В понедельник кардинал проснулся в восемь. Я как раз ставил на буфет восковую свечу. И тут его милость говорит, что там за тень у стены? И окликает вас по имени. Да простит меня Господь, я сказал, что вы в пути. Дороги опасны, заметил он. Ну, вы же знаете Кромвеля, говорю я, его сам черт не удержит — сказал, что приедет,

---

[43] Примечания Ольги Дмитриевой: 43

По словам самого Вулси, некогда гадалка предсказала, что смерть настигнет его в Кингстоне, и он всегда избегал этого места. Поэтому кардинал был так поражен, услышав имя вестника своего несчастья.

значит, приедет.

— Джордж, не тяните, мочи нет!

Но Джордж должен выговориться: следующее утро, чашка куриного бульона, но кардинал отказывается есть. Разве сегодня не постный день? Вулси просит унести бульон. Он болен уже восемь дней, мочится кровью, страдает от болей и все время приговаривает, я знаю, смерть близко.

Поймайте милорда в силки — и он непременно найдет, как выпутаться, использует весь свой изворотливый ум и коварство, но обязательно найдет выход. Яд? Если только подсыпанный его собственной рукой.

В восемь утра кардинал испускает дух. В комнате, где он умер, стучат четки; за дверью норовистые кони в стойлах бьют копытами; скудные солнечные лучи падают на лондонскую дорогу.

— Он умер во сне?

Ему хочется услышать, что перед смертью кардинал не страдал. Нет, отвечает Джордж, его милость разговаривал до последнего.

— Что-нибудь обо мне?

Ничего? Ни словечка?

Я обмыл его, приготовил для погребения, продолжает Джордж. Под рубашкой превосходного голландского полотна я обнаружил власяницу…

не следовало говорить вам, я помню, как вы относитесь к таким вещам… милорд стал носить ее после того, как сошелся с монахами в Ричмонде.

— Что с ней стало? С власяницей?

— Лестерские монахи забрали.

— Боже милосердный! Помяните мое слово, они еще на ней наживутся!

— Вообразите, милорда положили в простой деревянный гроб!

И тут Джордж Кавендиш не выдерживает, это последнее унижение выше его сил. Он начинает браниться, страсти Господни, я своими ушами слышал, как они гроб сколачивали! Когда я вспоминаю о флорентийском ваятеле и его гробнице, о черном мраморе и бронзе, об ангелах в голове и в ногах…[44] А мне пришлось смотреть, как он лежит в своей епископской мантии, и я сам разжал его пальцы и вложил посох, а ведь думал, что увижу, как он сжимает его во время церемонии!

---

[44] Примечания Ольги Дмитриевой: 44

Вулси заказал проект своей величественной гробницы итальянскому скульптору Пьетро Торриджано, однако опала помешала воплощению этого замысла. Бронзовые элементы декора, выполненные мастером, были переплавлены в эпоху английской революции по приказу Оливера Кромвеля. Саркофаг черного мрамора, предназначавшийся для кардинала, Генрих VIII намеревался использовать для своего надгробного монумента, однако этого не произошло. Считается, что он был использован при погребении адмирала Нельсона в соборе Святого Павла.

До интронизации ведь оставалось всего два дня! Мы уже все в дорогу упаковали, когда явился Гарри Перси.

— А ведь я умолял его, Джордж, — говорит Кромвель, — умолял довольствоваться, тем, что осталось. Я просил его, уезжайте в Йорк, радуйтесь, что живы. Послушался бы меня, протянул бы еще с десяток лет.

— Мы послали за мэром и городскими чиновниками, иначе пошли бы слухи, что его милость жив и бежал во Францию. Некоторые издевались над его низким происхождением. Господи, жаль, что там не было вас!

— Мне тоже.

— При вас, мастер Кромвель, никто бы не посмел так говорить. Когда стемнело, мы зажгли свечи вокруг гроба и до четырех утра бодрствовали у тела. Потом прочли часы, отслужили заупокойную мессу, и в шесть положили его в склеп.

В шесть утра, в среду, на Святого апостола Андрея.

Я, простой кардинал.

Вулси оставили в склепе, и Кавендиш поскакал на юг, в Хэмптон-корт, к королю, который заявил:

— Я отдал бы двадцать тысяч фунтов, чтобы это оказалось неправдой.

— Кавендиш, — говорит Кромвель, — если вас будут спрашивать о последних словах кардинала, молчите.

Джордж приподнимает бровь.

— Я и молчу. Меня король расспрашивал. Милорд Норфолк.

— Что бы вы ни сказали Норфолку, он извратит ваши слова.

— И все же как государственный казначей он выплатил мне долг по жалованью за три четверти года.

— Какое у вас было жалованье, Джордж?

— Десять фунтов в год.

— Лучше бы вы пришли ко мне.

Таковы факты. Цифры. Если утром владетель преисподней, проснувшись в своих покоях, предложил бы отправить мертвеца обратно из склепа, из могилы — чудо воскрешения за двадцать тысяч фунтов, — Генриху Тюдору нелегко было бы их наскрести. Норфолк — государственный казначей! Какая разница, кому греметь ключами от пустых сундуков?

— А знаете, — говорит он, — если кардинал спросил бы меня, как он любил спрашивать,

Томас, что вы хотите в подарок на Новый год, я сказал бы, что хочу увидеть государственный бюджет.

Кавендиш хочет что-то сказать, начинает, запинается, снова начинает:

— Король сказал мне кое-что. В Хэмптон-корте. «Трое могут хранить секрет, когда двое из них мертвы».

— Кажется, это пословица.

— «Если бы я думал, что мой колпак знает мой секрет, швырнул бы его в огонь».

— Еще одна пословица.

— Он хотел сказать, что больше не станет прислушиваться к советчикам: ни к милорду Норфолку, ни к Стивену Гардинеру, и никому не станет доверять, как доверял кардиналу.

Кромвель кивает. Вполне разумное объяснение.

Кавендиш изможден. Дают о себе знать бессонные ночи, бодрствование у гроба. Секретарь беспокоится из-за денег, которые были у кардинала во время путешествия и исчезли после его смерти. Беспокоится, как вывезти из Йоркшира свои пожитки. Наверняка Норфолк пообещал ему подводу. Он, Кромвель, рассуждает об этом вслух, а про себя думает о короле и, втайне от Джорджа,

один за другим медленно сжимает пальцы в кулак. Мария Болейн нарисовала у меня на ладони сердечко. Генрих, я держу в руке твое сердце.

Когда Кавендиш уходит, он выдвигает потайной ящик стола и вынимает сверток, который Вулси дал ему перед путешествием на север. Пытается развернуть, мешает узелок, он аккуратно распутывает нитку, и неожиданно в ладонь падает перстень с бирюзой, холодный, словно из могилы. Он представляет себе кардинальскую руку: длинные белые пальцы, ни шрама, ни отметины. Руку, долгие годы сжимавшую штурвал государственного корабля. Как ни удивительно, кольцо ему впору.

Кардинальские алые мантии лежат аккуратно сложенные. Однако им не дадут праздно пылиться. Мантии разрежут и нашьют новых одежд. Кто знает, где окажутся эти куски материи спустя годы, где выхватит глаз багровую подушку, стяг или вымпел; блеснет ли алый сполох на подкладке рукава или на нижней юбке у гулящей девки.

Пусть другие едут в Лестер поглазеть, где умер кардинал и потолковать с аббатом. Пусть другие пытаются вообразить, как это было. Другие, не он. Красный фон ковра, багряная грудка малиновки, алый оттиск печати и сердцевина розы: навсегда

схороненный в усыпальнице его внутреннего взора и вызванный из небытия кровавым рубиновым отблеском, кардинал жив и говорит с ним. Взгляни мне в лицо: я не страшусь никого из живых.

В парадном зале Хэмптон-корта дают интермедию «Кардинал спускается в ад». Память возвращает его на год назад, в Грейз-инн. На рамы, сколоченные под присмотром королевских слуг, натянуты холсты с изображением адских мук. Работы велись спешно — плотникам обещали особое вознаграждение за срочность. Задник расписан языками пламени.

Развлечение состоит в следующем: огромную алую фигуру с визгом волокут по полу четверо переодетых чертями лицедеев. Их лица скрывают маски. В руках у чертей трезубцы, которыми они колют мертвого кардинала, заставляя того корчиться и жалобно хныкать. Кромвель надеялся, что его милость умер без мучений, но Кавендиш утверждает обратное. Кардинал ушел в сознании, его последние слова были о короле. А еще раньше он проснулся и спросил, чья это тень, там, у стены.

Герцог Норфолк ходит по залу и довольно фыркает.

— Хороша пьеска! Так хороша, что придется ее напечатать. Клянусь мессой, я сам этим займусь! А на Рождество поставлю у себя.

Анна улыбается, показывает пальцем, хлопает в ладоши. Он никогда не видел ее такой радостной и сияющей. Генрих застыл подле нее. Иногда Генрих смеется, но подойди поближе и увидишь: в глазах короля страх.

Кардинал между тем катается по полу, черти в черных косматых нарядах пинают его, торопят в преисподнюю:

— Эй, Вулси, мы отнесем тебя в ад, где твой хозяин Вельзевул ждет не дождется тебя на ужин!

В ответ алая гора приподнимает голову и спрашивает:

— А какое вино там подают?

Кромвель, забывшись, чуть не прыскает.

— Я не пью английских вин! — продолжает веселить публику мертвец. — На что мне эта кошачья моча, которую хлещет милорд Норфолк?

Анна злорадствует, показывает на дядю. Шум поднимается к потолочным балкам вместе с дымом камина, смехом и болтовней зрителей, завываниями толстого прелата.

Нет, никакого английского вина, заверяют черти кардинала, ведь дьявол — француз. Тут

вступают дудки и свистульки, кто-то затягивает песню. Теперь черти продели голову кардинала в петлю и поднимают его с пола. Тот сопротивляется, и не все его пинки понарошку. Слышно, как черти сопят и отдуваются. Однако их четверо, и алый тюк только хрипит и царапается, а придворные подбадривают палачей:

— Спустите его в ад! Спустите живьем!

Актеры отскакивают назад, кардинал валится на пол и начинает кататься, ловя ртом воздух, а черти колют его вилами, вытаскивая на свет алые вязаные кишки.

Кардинал изрыгает проклятия и портит воздух. В углах зала трещат фейерверки. Уголком глаза Кромвель видит женщину, которая семенит к выходу, зажав рот рукой, но дядюшка Норфолк счастлив:

— Смотрите, палачи вытягивают ему кишки! Да за такое зрелище я готов приплатить!

Кто-то замечает:

— Позор тебе, Томас Говард, ты продал душу, чтобы увидеть падение Вулси.

Головы поворачиваются — и его голова тоже, — но никто не видит говорившего. Он надеется, что это Томас Уайетт. Джентльмены, переодетые чертями, отряхиваются, переводят дух и с криками:

«Хватай его!» — набрасываются на кардинала и волокут его в ад за дальним полотнищем в конце залы.

Кромвель следует за ними. Подбегают пажи с льняными полотенцами, но разгоряченная дьявольская братия расшвыривает их в стороны. Одному пажу заехали локтем в глаз, и он опрокинул себе на ноги таз с кипятком.

Черти, ругаясь, срывают маски и швыряют их в угол; хохочут, стягивают друг с друга наряды из черной шерсти.

— Какой-то хитон Несса, — говорит Джордж Болейн, когда Норрис освобождает его от пут.

Джордж встряхивает головой, белая кожа сияет на фоне грубой шерсти. За руки кардинала волокли Джордж и Генри Норрис.

Те, что тащили его за ноги — Фрэнсис Уэстон и Уильям Брертон — помогают друг другу избавиться от нарядов. Брертон, как и Норрис, в своем возрасте мог бы быть умнее. Джентльмены поглощены друг другом, они смеются, бранятся, кричат, чтобы принесли чистые полотенца, и совсем не замечают наблюдателя, да если б и заметили, что им за дело? Они самозабвенно плещутся в воде, утирают полотенцами пот, выхватывают рубахи из рук пажей и натягивают через голову. Затем,

так и не сняв раздвоенных копыт, с самодовольным видом выходят кланяться.

На полу, под защитой полотнища, остается лежать кардинал. Похоже, заснул.

Он подходит к алому тюфяку, останавливается, смотрит. Ждет.

Актер открывает глаз и говорит:

— Должно быть, это и вправду преисподня, раз тут итальянцы.

Мертвец стягивает маску. Под маской оказывается шут Секстон: мастер Заплатка. Мастер Заплатка, вопивший так отчаянно, когда год назад его отрывали от хозяина.

Заплатка протягивает руку, хочет встать, но Кромвель словно не видит его руки. Чертыхаясь, дурак поднимается на ноги сам, с треском стягивает мантию, ткань рвется. Он, Кромвель, стоит, скрестив руки, правую сжав в кулак. Шут отбрасывает привязанные к телу пухлые подушки. У него тощий торс, грудь заросла жесткой порослью.

— Зачем ты пришел в мою страну, итальянец? Чего тебе на родине не сиделось?

Хоть Секстон и дурак, соображает не хуже прочих. Ему прекрасно известно, что Кромвель — не итальянец.

— Жили бы себе там спокойно, — говорит Заплатка своим обычным, лондонским голосом. — Все-то у вас теперь есть: и собственная крепость, и свой собор, и свой марципановый кардинал на десерт. Пока, через год-другой, кто-нибудь побольше и посильнее не оттеснит вас от корыта.

Он подхватывает мантию, брошенную Секстоном: отвратительного кричащего цвета, наскоро покрашенную дешевым, быстро выцветающим экстрактом красильного дерева, пропахшую чужим потом.

— Как ты мог взяться за эту роль?

— Я берусь за то, за то платят. А сами-то?

Секстон хохочет, визгливым лающим хохотом безумца.

— Не удивительно, что вы не понимаете шуток. Никто сегодня не платит мсье Кремюэлю, престарелому наемнику.

— Престарелому? Не волнуйся, у престарелого наемника хватит сил тебя прикончить.

— Кинжалом, который прячете в рукаве? — Заплатка, издеваясь, отпрыгивает назад. Он, Кромвель, стоит, прислонившись к стене, и разглядывает дурака. Откуда-то слышен плач: наверняка рыдает мальчишка-паж, которому

заехали в глаз, а теперь залепили оплеуху за пролитый кипяток или чтобы не ревел. Детям всегда достается вдвойне: сначала их наказывают за проступок, потом за то, что плачут. Вот и думай: что толку жаловаться? Жестокая наука, но без нее не прожить.

Заплатка кривляется, показывает непристойные жесты — никак готовится к следующему выступлению.

— Я знаю, ты вылез из соседней канавы, Том, — говорит шут и оборачивается к полотнищу, за которым продолжаются королевские увеселения. Заплатка широко расставляет ноги, высовывает язык.

— Рече безумец в сердце своем, несть папа.

Шут оборачивается и ухмыляется.

— Возвращайтесь лет через десять, мастер Кромвель, тогда увидим, кто из нас дурак, а кто безумец.

— Зря ты переводишь на меня свои шутки. Ищи того, кто за них заплатит.

— Дураку рот не заткнешь.

— Еще как заткнешь. Там, где бываю я, тебе придется заткнуться.

— Это где же? В луже, где вас крестили? Приходите через десять лет, если будете живы.

— Если б я умер, ты бы от страха в обморок упал.

— Уж конечно, если вы на меня рухнете, мне не устоять.

— Я размозжу твою голову о стену прямо сейчас. Никто о тебе не заплачет.

— Верно, не заплачут. Выбросят из дома в навозную кучу. Кому нужен один дурак, если в Англии их и без того хватает?

Выйдя на улицу, он удивляется, что там светло. Он-то думал, стоит глубокая ночь. Эти дворики еще помнят Вулси, который их выстроил.[45] Заверни за угол — навстречу шагнет его милость с чертежом в руке, счастливый обладатель шестидесяти турецких ковров, горящий надеждой выписать из Венеции лучших зеркальщиков. «А теперь, Томас, присовокупите к вашему письму пару венецианских любезностей, пару льстивых фраз на местном диалекте, в которых самым деликатным образом дайте им понять, что я не поскуплюсь».

И он напишет, что англичане радушны к чу-

---

[45] Примечания Ольги Дмитриевой: 45

Дворец Хэмптон-корт Вулси построил для себя, декорировав его в соответствии с собственным вкусом, отражавшим увлечение кардинала итальянским ренессансным искусством. Впоследствии он был вынужден «подарить» дворец королю.

жеземцам, а климат в Англии мягок. Золотые птицы поют на золотых ветках, а золотой король восседает на куче золота, распевая песенки собственного сочинения.

В Остин-фрайарз он застает непривычную тишину и пустоту. Поздно; дорога от Хэмптон-корта заняла несколько часов. Он смотрит на стену, где сияет кардинальский герб: багряную шапку, по его указанию, недавно подновили.

— Можете закрасить, — говорит он.

— А что нарисовать вместо герба, сэр?

— Оставьте пустое место.

— Поместить тут изящную аллегорию?

— Вот именно. — Он оборачивается на ходу. — Пустое место.

III Мертвые сетуют из могил

Рождество 1530 года

Стук в дверь после полуночи. Сторож поднимает домашних, и когда он спускается вниз — с лицом, перекошенным яростью, но полностью одетый — к нему бросается Джоанна, простоволосая, в ночной сорочке.

— Что, что им нужно?

Ричард, Рейф и слуги-мужчины оттаскивают ее.

В прихожей стоит камергер Уильям Брертон с вооруженной охраной. Они пришли меня арестовать, думает он и шагает к Брертону.

— Боже милосердный, Уильям! Рано встали или не ложились?

Появляются Алиса и Джо. Он вспоминает ночь, когда умерла Лиз, и его дочери, потерянные и сбитые с толку, также маялись в своих ночных рубашонках. У Джо глаза на мокром месте. Мерси уводит девочек. Спускается Грегори, одетый для выхода.

— Я готов, — произносит он робко.

— Король в Гринвиче, — говорит Брертон. —

Требует вас немедленно.

Королевский камергер выражает нетерпение: пристукивает перчаткой по ладони, отбивает пяткой дробь.

— Ступайте в постель, — обращается Кромвель к домашним. — Если бы король хотел посадить меня в тюрьму, то не позвал бы в Гринвич, так не принято.

Знать бы, как принято.

Он оборачивается к Брертону.

— Что ему от меня понадобилось?

Камергер с любопытством обводит глазами прихожую: ну и как живут эти простолюдины?

— Увы, не могу вас просветить.

Кромвель смотрит на Ричарда, которому до смерти хочется заехать этому знатному сосунку в челюсть. И я был таким когда-то, но сейчас я тих и благостен, как майское утро. Они выходят в темноту и промозглый холод: Ричард, Рейф, он сам, его сын.

Факельщики стоят у входа, у ближайшего причала ждет барка. До дворца Плацентии плыть и плыть, Темза черна, как Стикс. Мальчики сидят напротив, сгрудившись и нахохлившись, словно один родной человек, хотя Рейф ему не родня. Я становлюсь похожим на доктора Кранмера: Тэм-

ворсы из Линкольншира, Клифтоны из Клифтона, семья Молино, о которой вы наверняка слышали, или нет? Он смотрит на звезды, но они кажутся смутными и далекими, впрочем, так и есть.

Как себя вести? Заговорить с Брертоном? Семейные владения в Стаффордшире, Чешире, на границе с Уэльсом. Сэр Рэндал умер в прошлом году, и его сыну достался жирный куш, по меньшей мере тысяча в год от земель, пожалованных короной, еще триста в год — от местных монастырей. Кромвель прикидывает в уме. Не так уж рано он все это унаследовал: Брертон, должно быть, немногим его младше. Папаше Уолтеру Брертоны пришлись бы по душе — такие же вечные возмутители спокойствия. Он вспоминает процесс против них в Звездной палате, лет пятнадцать назад. Вряд ли Брертона вдохновит эта тема, как, впрочем, и любая другая.

Каждое путешествие имеет свой конец; причал или пристань, затянутую туманной пеленой, горящие факелы. Их сразу провожают в личные покои Генриха. Гарри Норрис ждет их; кто ж еще?

— Как он? — спрашивает Брертон.

Норрис закатывает глаза.

— Итак, мастер Кромвель, мы с вами всякий

раз встречаемся при весьма необычных обстоятельствах. Ваши сыновья? — Норрис с улыбкой разглядывает лица. — Хотя вряд ли, если только не от разных матерей.

Кромвель представляет: мастер Рейф Сэдлер, мастер Ричард Кромвель, мастер Грегори Кромвель. Заметив ревнивый блеск в глазах сына, поясняет:

— Это — племянник, а это — сын.

— Заходите один, он ждет, — говорит Норрис и бросает через плечо: — Король боится подхватить простуду. Не захватите коричневый шлафрок, тот, на соболином меху?

Брертон что-то бурчит в ответ. Незавидная работенка — трясти соболями, когда мог бы в Честере будить местное население грохотом барабанов с крепостной стены.

Просторная спальня с высокой резной кроватью. При свечах занавески кажутся чернильно-черными. Кровать пуста. Король сидит на обитом бархатом табурете. Кажется, Генрих один, но в спальне висит теплый и суховатый коричный аромат; первая его мысль, что в темноте прячется кардинал и держит апельсин, начиненный пряностями — Вулси всегда носил такой при себе, бывая на людях. Мертвые, без сомнения, стреми-

лись бы заглушить запах живых, но в темноте королевской опочивальни маячит не внушительная фигура кардинала, а бледный овал, лицо Томаса Кранмера.

Не успевает Кромвель переступить порог, как Генрих поворачивается к нему и говорит:

— Кромвель, во сне ко мне приходил мой умерший брат.

Он не отвечает, да и что тут ответишь? Смотрит на короля, не испытывая ни малейшего желания посмеяться.

— Между Рождеством и Крещением Господь позволяет умершим разгуливать среди живых. Это всем известно.

— Как он выглядел, ваш брат? — мягко спрашивает Кровель.

— Таким, каким я его запомнил… только бледный, очень худой. Вокруг него светился бледный огонь. Но сейчас Артуру было бы сорок пять. Как и вам, мастер Кромвель?

— Примерно.

— Я умею угадывать возраст. Каким бы стал Артур, если бы не умер? Наверное, похожим на отца. Я больше похож на деда.

Сейчас король спросит, а на кого похожи вы? Но нет, Генрих помнит, что у него нет предков.

— Он умер в Ладлоу, зимой. Дороги занесло, пришлось волочить гроб на телеге, запряженной волами. Правитель Англии на телеге, где это видано!

Входит Брертон со шлафроком красновато-коричневого бархата на соболином меху. Генрих встает, сбрасывает одно бархатное одеяние, принимает другое, плотное и мягкое. Соболья подкладка льнет к руке, словно король превратился в покрытое шерстью чудище…

— Его похоронили в Вустере. Но меня вот что тревожит — я не видел его мертвым.

Доктор Кранмер, из тени:

— Мертвые не жалуются из могил. Это придумали живые.

Король запахивает шлафрок.

— Я не видел его лица, когда он умер. Только сейчас, во сне, и тело в бледном сиянии.

— Это не было телом, — говорит Кранмер, — это был образ, родившийся в голове вашего величества. Такие образы *quasi corpora,* подобны телам. Почитайте Августина.

Однако не похоже, что король готов схватиться за книгу.

— В моем сне он стоял и смотрел на меня. И был печален, очень печален. Кажется, сказал, что я

занял его место. Забрал его королевство, его жену. Он вернулся, чтобы меня пристыдить.

— Если брат вашего величества не успел стать королем, — замечает Кранмер с легким нетерпением в голосе, — так на то Божья воля. А что до вашего так называемого брака, то всем известно, что он был совершен против закона Божьего. Никто в Риме не имеет полномочий толковать Божьи установления. Мы признаем, что был грех, но Господь милосерден.

— Но не ко мне! Когда я предстану пред Божьим судом, мой брат будет моим обвинителем. Он вернулся, чтобы устыдить меня, и мне теперь вечно нести эту ношу.

Мысль приводит короля в ярость.

— Мне! Мне одному!

Кранмер хочет что-то сказать, но Кромвель ловит его взгляд и тихонько качает головой.

— Ваш брат Артур, — спрашивает он короля, — что-нибудь говорил в вашем сне?

— Нет.

— Дал вам какой-то знак?

— Нет.

— Тогда что заставляет вас думать, что ваш брат хотел худого? Мне кажется, вы прочли в его лице то, чего там не было, как часто бывает

с мертвыми. Вот послушайте, — он кладет руку поверх монаршей руки, поверх рукава красно-коричневого бархата, и сжимает достаточно ощутимо. — Правоведы говорят: *«Le mort saisit le vif»*. Мертвый хватает живого. Правитель умирает, но его власть передается в момент смерти, без перерыва, без междуцарствия. Ваш брат посетил вас во сне не для того, чтобы пристыдить, а для того, чтобы напомнить: вы облечены властью и живых и мертвых. Это знак, что вам следует обдумать ваше правление. Вдохнуть в него новую жизнь.

Генрих задумчиво смотрит на него, теребит манжету, на лице озадаченность.

— Такое возможно?

И снова Кранмер хочет вмешаться в разговор. И снова Кромвель останавливает богослова.

— Вы знаете, что написано на гробнице Артура?

— *Rex quondam rexque futurus.* Король в прошлом, король в грядущем.

— Ваш отец сделал это утверждение явью. Правитель, пришедший из Уэльса, он исполнил обещание, данное предкам. Вернулся из изгнания и предъявил древние права. Однако недостаточно заявить о своем праве на королевство

— королевством нужно управлять. Каждое новое поколение правителей должно над этим трудиться. Возможно, ваш брат хотел сказать, что желает видеть вас королем, каким мог бы стать сам. Он не исполнил пророчество, но верит, что вам это удастся. Ему — обещание, вам — исполнение.

Взгляд короля останавливается на докторе Кранмере, который сухо замечает:

— Мне нечего возразить. Но я по-прежнему советую вам не верить в сны.

— Сны королей не чета снам простолюдинов, — замечает Кромвель.

— Возможно.

— Но почему сейчас? — спрашивает Генрих здраво. — Почему он явился сейчас? Я правлю уже двадцать лет.

Кромвель закусывает губу, чтобы не выпалить: да потому что вам уже сорок, пора бы и повзрослеть! Сколько раз вы разыгрывали истории об Артуре — сколько было пышных спектаклей и пантомим, сколько бездельников с бумажными щитами и деревянными мечами!

— Потому что время пришло. Потому что вам пора становиться истинным правителем, единственным и верховным главой государства. Спросите леди Анну. Она скажет вам то же.

— Она говорит, — признается король. — Говорит, довольно кланяться Риму.

— А если во сне к вам явится отец, отнеситесь к этому так же. Скажите себе: он пришел придать мне новых сил, укрепить мою руку. Ни один отец не захочет, чтобы сын уступил ему в могуществе.

На лице Генриха медленно проступает улыбка. Прочь от снов, ночных страхов, могильных червей. Генрих встает. Его лицо сияет. Свет камина падает на шлафрок, глубокие складки загораются коричневатым и желтым — цветами земли и глины.

— Кажется, я понял. И знал, за кем посылать. — Король оборачивается и говорит в темноту. — Гарри Норрис! Который час? Четыре? Велите моему капеллану облачаться к мессе.

— Мессу могу отслужить я, — предлагает доктор Кранмер, но Генрих качает головой.

— Нет, вы устали. Я поднял вас среди ночи, джентльмены.

Так прост, так властен. Их выставляют. Они молча шагают мимо охраны, к своим, за ними тенью следует Брертон. Наконец доктор Кранмер замечает:

— Ловко сработано.

Кромвель оборачивается. Хочет, но не смеет

рассмеяться.

— Ловко. «Если во сне к вам явится отец…». Вижу, вам не по нраву вскакивать с постели ни свет ни заря.

— Мои домашние перепугались.

Теперь доктор смущен, словно позволил себе лишнего.

— Разумеется, — бормочет он. — Я не женат и забываю о таких вещах.

— Я тоже не женат.

— Да, я забыл.

— Вам пришлись не по нраву мои слова?

— В любом случае это было превосходно разыграно. Словно вы все продумали заранее.

— Но как?

— Вы правы, вы удивительно находчивы. И все же… ибо Евангелие…

— Я считаю, что сегодня ночью мы славно потрудились ради Евангелия.

— Хотелось бы знать, — говорит Кранмер, обращаясь больше к самому себе, — что для вас Евангелие. Книга с чистыми листами, на которых Томас Кромвель запечатлевает свои желания?

Он останавливается. Кладет руку на плечо богослову и говорит:

— Доктор Кранмер, посмотрите на меня. По-

верьте мне. Я искренен. Разве я виноват, что Господь наделил меня такой злодейской физиономией? Должно быть, у Него были на то свои резоны.

— Не смею судить, — улыбается Кранмер. — Впрочем, Он определенно придал вашему лицу выражение, способное смутить ваших врагов. И это пожатие — когда вы схватили короля за руку, я вздрогнул. И Генрих тоже почувствовал. — Кранмер кивает. — Вы — человек редкой силы духа.

Священникам не привыкать выносить приговор, оценивать: достоин, недостоин. Доктор Кранмер, как любая гадалка, не сообщил ему ничего нового.

— Идемте, — говорит богослов, — ваши мальчики вас заждались.

Рейф, Грегори, Ричард обступают его: что случилось?

— Королю приснился сон.

— Сон? — потрясенно переспрашивает Рейф. — Он поднял нас с постели среди ночи из-за сна?

— Поверьте, — замечает Брертон, — ему довольно и меньшего повода.

— Мы с доктором Кранмером согласились, что королевские сны — не чета снам обычных

людей.

— Это был дурной сон?

— Вначале, но не теперь.

Они таращатся на него, не понимая; все, кроме Грегори.

— В детстве мне снились бесы, мне казалось, они прячутся под кроватью, но ты сказал, что этого никак не может быть, потому что бесы не живут по эту сторону реки, а стражники ни за что не пустят их через Лондонский мост.

— Выходит, ты боишься переходить через мост к Саутуорку? — спрашивает Рейф.

Грегори:

— Саутуорк? Что за Саутуорк?

— Знаете, иногда, — замечает Рейф тоном строгого наставника, — мне кажется, я вижу в Грегори проблеск чего-то, такой крошечный, почти незаметный.

— Тебе бы только издеваться! Борода вон выросла, а все туда же!

— Какая ж это борода? Жалкая рыжая щетина, позор брадобрею.

Мальчики пихаются, не зная, как выразить охватившее их облегчение.

— А мы решили, что король бросил вас в подземелье, — говорит Грегори.

— Ваши дети вас любят, — кивает Кранмер, довольный, благодушный.

— Без хозяина мы никуда, — говорит Ричард.

До рассвета еще много часов. Ночь похожа на беспросветное утро в день смерти кардинала. В воздухе пахнет снегом.

— Думаю, он потребует нас обратно, — говорит Кранмер. — Обдумает то, что вы ему сказали, и, кто знает, возможно, поймет, куда ведут его мысли.

— Все равно я должен показаться в городе.

А еще неплохо бы переодеться, думает он. И ждать развития событий. Брертону он говорит:

— Вы знаете, где меня искать, Уильям.

Кивнув на прощанье, идет прочь.

— Доктор Кранмер, передайте ей, что сегодня мы славно ради нее потрудились.

Обнимает сына за плечи и шепчет:

— Грегори, может быть, мы напишем продолжение твоих любимых историй про Мерлина.

— А я их не дочитал, — говорит Грегори. — Быстро распогодилось.

Вечером того же дня он входит в обшитый деревом кабинет в Гринвиче. Последний день 1530 года. Снимает надушенные амброй перчатки. Поправляет кольцо с бирюзой.

— Совет ждет, — говорит король и смеется, словно одержал личную победу. — Присоединяйтесь, вас приведут к присяге.

Рядом с королем доктор Кранмер: очень бледный, очень тихий. Доктор кивает, ободряя его, и вдруг лицо богослова расцветает в широчайшей улыбке, которая озаряет зимний сумрак.

Следующий час в комнате витает дух импровизации. Король не желает проволочек, поэтому советники собираются наспех. Герцоги справляют Рождество в своих вотчинах. На месте престарелый Уорхем, архиепископ Кентерберийский. Пятнадцать лет назад Вулси вышиб его с поста лорда-канцлера, или, как выражался сам кардинал, освободил от мирских дел, позволив на склоне лет погрузиться в молитвенное созерцание.

— Итак, Кромвель, — говорит архиепископ, — теперь вы советник. Куда катится мир!

У архиепископа морщинистое лицо, глаза дохлой рыбы, а руки слегка дрожат, когда он протягивает ему Библию.

На месте Томас Болейн, граф Уилтширский, главный хранитель малой печати. На месте и лорд-канцлер. Неужто трудно было побриться, раздраженно думает Кромвель. Уделил бы по-

меньше времени бичеванию плоти. Но когда Мор выходит на свет, он понимает: что-то не так, лицо лорда-канцлера осунулось, под глазами синяки.

— Что случилось?

— Вы не слышали? Мой отец умер.

— Такой прекрасный старик. Нам будет не хватать его бесценных советов в области права.

И его нудных баек. Хотя это вряд ли.

— Он умер у меня на руках. — Мор начинает плакать, вернее, съеживаться, словно все его тело сочится слезами. — Он был светом моей жизни. Куда нам до великанов прошлого, мы лишь их бледные тени. Пусть ваши домашние за него помолятся. Представляете, Томас, после его смерти я разом почувствовал груз лет. Словно до сих пор был мальчишкой. Но вот Господь прищелкнул пальцами — и я вижу, что лучшие годы остались позади.

— Знаете, после смерти Элизабет, моей жены…

Он хочет продолжить: моих дочерей, сестры, мой дом опустел, мои родные не снимают траура, а теперь ушел и мой кардинал… Но даже на краткий миг он не признается, что горе иссушило его волю. Нельзя заполучить другого отца, как бы страстно вам о том ни мечталось; а что до жен, так для Мора женщины — пустое место.

— Сейчас вы не поверите мне, но со временем чувства вернутся. К миру, к тому, что предстоит совершить.

— Знаю, вы тоже теряли близких. Что ж, — лорд-канцлер шмыгает носом, вздыхает, трясет головой, — дело не ждет.

Именно Мор начинает читать ему слова присяги. Он клянется быть добросовестными честным, в речах прямым и беспристрастным, в поведении сдержанным, клянется всегда хранить верность своему господину. Он доходит до благоразумия и осторожности, когда дверь распахивается, и на них, как ворон на дохлую овцу, налетает Гардинер.

— Вы не можете проводить церемонию без королевского секретаря! — восклицает он, и Уорхем мягко замечает, Крест Господень, неужто ему придется присягать по новой?

Томас Болейн поглаживает бороду. Замечает кардинальское кольцо: изумление сменяет сардоническая ухмылка.

— Если бы мы не знали процедуры, Томас Кромвель бы нас поправил. При нем через год-два мы станем не нужны.

— Надеюсь, я не доживу, — говорит Уорхем. — Лорд-канцлер, продолжим? Ах, бедный, снова

плачет! Я сочувствую вам, но смерть придет за каждым из нас.

Господи, думает Кромвель, если это все, на что способен архиепископ Кентерберийский, то с его обязанностями справился бы и я.

Он клянется везде и всегда поддерживать власть короля, его превосходство, его полномочия; хранить верность его законным наследникам и преемникам, а сам думает о бастарде Ричмонде, Марии, говорящей козявке, пальце, который Норфолк демонстрировал честной компании.

— Что ж, дело сделано, — говорит архиепископ. — Аминь. Как будто у нас был выбор. Как насчет стакана подогретого вина? Я промерз до костей.

— Теперь вы член королевского совета, — говорит Томас Мор. — Надеюсь, вы скажете королю, что делать надлежит то, что должно, а не только то, что получается. Когда лев осознает свою силу, им трудно управлять.

Снаружи валит мокрый снег. Темные снежинки падают в воды Темзы. Англия раскинулась перед ним; снежные поля, освещенные низким красным солнцем.

Он вспоминает день, когда был разорен Йорк-

ский дворец. Они с Кавендишем стояли над раскрытыми сундуками с кардинальскими облачениями. Мантии, шитые золотом и серебром, узоры в виде звезд, птиц, рыб, оленей, львов, ангелов, цветов и колес Екатерины. Когда их переупаковали в дорожные ящики и заколотили, люди короля стали рыться в сундуках, где лежали альбы[46] и стихари, умело сложенные ровными складками. Передаваемые из рук в руки, невесомые, словно спящие ангелы, ткани мягко сияли на свету. Разверните, оценим качество материи, сказал кто-то. Пальцы запутались в полотняных ленточках. Дайте мне, сказал Кавендиш. Расправленные, они реяли в воздухе, белейшие и легкие, словно крылья бабочки. Когда подняли крышки, комнату заполнил аромат кедра и специй, тяжелый, суховатый, пустынно-горький. Парящие ангелы были сложены в сундук и пересыпаны лавандой, лондонский дождь стучался в стекло, ароматы лета плыли сквозь ранние сумерки.

---

[46] Примечания Ольги Дмитриевой: 46
Альба — длинная белая туника, элемент облачения священника.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I Сделай лицо

1531

Не то от страха и боли, не то от какого-то природного изъяна, от пляски пылинок в пустой комнате или звука охотничьего рога в отдалении, а может, потому, что сегодня эту девочку ни свет ни заря разбудила суета сборов, когда двор ее отца отбывал в другое место, — только она вся съежилась и глаза стали цвета воды в сточной канаве. Еще не покончив со вступительными латинскими формальностями, он заметил, как она вцепилась в спинку кресла, в котором сидит мать. «Мадам, вашей дочери надо сесть». На случай, если за этим последует поединок воль, он берет табурет и с решительным стуком ставит подле Екатерининых юбок.

Королева откидывается назад, напряженная под тугой шнуровкой, и что-то шепчет дочери. Итальянки, с виду такие беспечные, носят под шелками стальные корсеты. Чтобы их раздеть, нужны не только долгие уговоры, но и безграничное терпение.

Мария наклоняется и шепчет по-кастильски,

намекая, что у нее женское нездоровье. Две пары глаз устремляются на него. У Марии взгляд близорукий, несфокусированный; наверное, она видит его, Кромвеля, как расплывчатую тень, сгусток угрозы. Стой прямо, требует королева, как пристало английской принцессе. Мария, глубоко вдохнув, обращает к нему маленькое некрасивое личико, твердое, как ноготь Норфолка; пальцы крепче вцепляются в спинку кресла.

Послеобеденный час, очень жарко, по стене ползут лиловые и золотые квадраты солнечного света из окна. Внизу лежат иссохшие поля. Темза обмелела и отступила от берегов.

Королева говорит по-английски:

— Ты знаешь, кто это? Мастер Кромвель. Он теперь пишет все законы.

Запнувшись на стыке языков, Кромвель спрашивает:

— Мадам, мы будем говорить по-английски или по-латыни?

— Ваш кардинал задал бы тот же вопрос. Как будто я здесь чужеземка. Я отвечу вам, как отвечала ему: «С трех лет я звалась принцессой Уэльской. В шестнадцать приехала сюда, чтобы выйти замуж за милорда Артура. В семнадцать я была вдова и девственница. В двадцать четы-

ре я стала королевой Англии, и, дабы избежать сомнений, скажу, что сейчас мне сорок шесть, я по-прежнему королева и теперь, надо полагать, в некотором роде англичанка». Однако я не стану повторять вам все, что говорила кардиналу. Полагаю, вам осталась от него какая-нибудь запись по этому поводу.

Он чувствует, что надо поклониться. Королева продолжает:

— С начала года в парламент поступают проекты биллей. Прежде мастер Кромвель блистал талантами только на ниве ростовщичества, теперь же открыл в себе дар законодателя — если кому нужно новое уложение, просто обращайтесь к нему. Я слышала, что эти проекты вы на ночь уносите к себе домой в… где ваш дом?

У королевы это звучит как «ваша конура».

Мария говорит:

— Эти законы написаны против церкви. Мне удивительно, что милорды их принимают.

— Ты знаешь, — отвечает королева, — что кардинала Йоркского обвинили, согласно закону о превышении полномочий лицом духовного звания, в узурпации власти милорда твоего отца. Теперь мастер Кромвель и его друзья признали всех служителей церкви виновными в этом

преступлении и требуют с них пеню в сто тысяч фунтов.

— Не пеню. Мы называем это благотворительным пожертвованием.

— Я называю это вымогательством. — Она поворачивается к дочери. — Если ты спрашиваешь, почему церковь не защищают, я отвечу, что в этой стране есть знатные люди, — (Суффолк, имеет в виду она, Норфолк), — которые намерены сокрушить могущество церкви, дабы впредь ни один священник — так они говорят — не забрал себе столько власти, сколько наш покойный легат. Что нам не нужен новый Вулси, я согласна. А вот нападок на епископов не потерплю. Вулси был моим врагом. Но это не меняет моих чувств к матери-церкви.

Он думает: Вулси был мне отцом и другом. Но это не меняет моих чувств к матери-церкви.

— Вы и спикер Одли сговариваетесь при свечах. — Королева упоминает спикера так, словно говорит «ваш кухонный мальчишка». — А когда наступает утро, вы подбиваете короля объявить себя главой английской церкви.

— В то время как, — подхватывает девочка, — здесь, так и в любом другом месте, глава церкви — римский первосвященник, и от престола Свято-

го Петра исходит законность всякой монархии.

— Леди Мария, может, вы сядете? — Он ловит принцессу в тот самый миг, когда ее колени подгибаются, и усаживает на табурет, добавляя: «Это из-за жары», — чтобы она не смутилась. Принцесса поднимает лицо, и в серых близоруких глазах мелькает благодарность; в следующий миг оно вновь каменно-неприступное, как стена осажденного города.

— Вы сказали «подбиваете», — говорит он Екатерине, — однако вашему величеству лучше других известно, что короля невозможно уломать.

— Однако его можно улестить. — Она поворачивается к Марии, схватившейся руками за живот. — Итак, милорд твой отец провозглашен главой английской церкви, а дабы успокоить совесть епископов, добавлена формулировка: «насколько дозволяет закон Христов».

— И что это значит? — спрашивает Мария. — Ничего.

— Ваше величество, это означает все.

— Да. Это очень умно.

— Умоляю вас взглянуть иначе: король определил полномочия, которыми, согласно древним прецедентам…

— …выдуманным в прошлом месяце…

— …обладал и ранее.

Лоб Марии под жестким чепцом блестит от пота. Она говорит:

— То, что определено, можно переопределить, верно?

— О да, — подхватывает ее мать, — и переопределить в пользу церкви — если я покорюсь его желаниям и откажусь от звания супруги и королевы.

Принцесса права, думает он. Тут вполне можно поторговаться.

— В законе нет ничего неотменимого.

— И вы ждете, что я выложу на стол переговоров. — Королева протягивает руки — маленькие, пухлые, короткопалые — показывая, что они пусты. — Только епископ Фишер меня защищает. Только он постоянен. Только ему хватает мужества говорить правду: в палате общин заседают безбожники. — Она со вздохом опускает руки. — А кто убедил моего супруга уехать, не попрощавшись? Раньше он так не поступал. Никогда.

— Он намерен несколько дней поохотиться в Чертей.

— С ней, — говорит Мария, — наедине с этой особой.

— Затем его величество посетит лорда Сандиса в Гилфорде, чтобы посмотреть новую галерею. — Кромвель говорит спокойно, умиротворяюще, почти как кардинал — может быть, даже слишком? — Дальше, чуть позже или раньше, в зависимости от погоды и охоты, он поедет к Уильяму Полету в Бейзинг.

— Когда я должна к нему присоединиться?

— С Божьей помощью король вернется через две недели.

— Две недели, — повторяет Мария. — Наедине с этой особой.

— За этот срок, мадам, вам следует переехать в другой дворец. Король выбрал Мор, в Хертфордшире, очень, как вам известно, удобный.

— Учитывая, что это дом кардинала, я ничуть не сомневаюсь в его пышности, — вставляет Мария.

Мои дочери, думает он, никогда бы не позволили себе говорить в таком тоне, вслух же произносит:

— Принцесса, вы могли бы из милосердия не злословить человека, который не сделал вам ничего дурного?

Мария заливается краской до кромки волос.

— Я не хотела быть немилосердной.

— Покойный кардинал — ваш крестный отец,

и вы должны о нем молиться.

Принцесса бросает на него затравленный взгляд.

— Я молюсь, чтобы Господь сократил срок его пребывания в чистилище.

Екатерина перебивает:

— Отправьте в Хертфордшир сундук. Сверток. Не пытайтесь отправить меня.

— С вами будет весь ваш двор. Дом готов принять двести человек.

— Я напишу королю. Можете передать ему мое письмо. Мое место рядом с ним.

— Я советую вам покориться. Иначе король может… — Он, глядя на принцессу, сводит и разводит руки. Это означает: «разлучить вас».

Девочка перебарывает боль. Мать перебарывает горе и гнев, возмущение и ужас.

— Я этого ждала, — говорит она, — но не думала, что король пришлет такое известие с человеком вроде вас.

Он хмурится; неужто приятнее услышать то же самое от Норфолка?

— Говорят, вы раньше были кузнецом, это правда?

Сейчас она спросит: можете подковать лошадь?

— Кузнецом был мой отец.

— Я начинаю вас понимать. — Она кивает. — Кузнец сам кует свои инструменты.

Полмили известняковых обрывов отражают на него белый жар. В тени надвратной арки Грегори и Рейф пихаются, осыпая друг дружку кулинарными оскорблениями, которым он их научил: Сэр, ты, жирный фламандец, масло на хлеб мажешь! Сэр, ты, итальянский нищий, чтоб твоим детям улитками питаться! Мастер Ризли прислонился к нагретой стене и смотрит на них с ленивой улыбкой; вокруг его головы венком вьются бабочки.

— Это вы ли?

Ризли польщенно улыбается.

— С вас надо писать портрет, мастер Ризли. Лазурный дублет, и освещение как по заказу.

— Сэр! Что сказала Екатерина?

— Что наши прецеденты сфабрикованы.

Рейф: Она хоть понимает, что вы с доктором Кранмером сидели над ними ночь напролет?

— О, порочные забавы! — вставляет Грегори. — Встречать утреннюю зарю с доктором Кранмером!

Он обнимает Рейфа за худые плечи. Как же хорошо вырваться от Екатерины и от этой девочки,

вздрагивающей, как побитая сука.

— Помню, однажды мы с Джованнино… ну, с моим знакомым…

Он осекается. Что это со мной? Я ведь никогда не рассказываю историй из своей жизни.

— Ах, сделайте милость! — просит Ризли.

— Мы изготовили статую — ухмыляющегося божка с крылышками — потом, состарив при помощи цепей и молотков, отвезли ее в Рим и продали одному кардиналу.

Был нестерпимо жаркий день: знойное марево, белая пыль от строящихся домов, далекие раскаты грома…

— Помню, когда кардинал с нами расплачивался, в его глазах стояли слезы. «Только подумать, на эти ножки, на эти прелестные крылышки когда-то, возможно, любовался император Август». Когда Портинари отправились назад во Флоренцию, их шатало от тяжести кошельков с дукатами.

— А вы?

— Я забрал свою долю и остался продать мулов.

Они идут к внутреннему двору. Выйдя на солнце, он прикрывает глаза ладонью, будто хочет что-то рассмотреть за уходящими вдаль дере-

вьями.

— Я сказал Екатерине, чтобы она оставила Генриха в покое, не то он может не отпустить принцессу в Хертфордшир.

Ризли говорит удивленно:

— Однако все уже решено. Король их разлучает. Мария едет в Ричмонд.

Кромвель этого не знал, однако надеется, что никто не успел заметить его короткого замешательства.

— Конечно. Но раз королеву еще не известили, ведь стоило попытаться?

Гляньте, как полезен нам мастер Ризли! Гляньте, как он доставляет нам сведения от секретаря Гардинера. Рейф говорит:

— Это жестоко. Угрожать матери, что у нее отнимут ребенка.

— Жестоко… но вопрос в том, выбрал ли ты себе государя. Потому что так это происходит: ты выбираешь, зная, кто он и каков. И дальше на все его слова ты отвечаешь «да»: да, это возможно, да, это исполнимо. Если тебе не по вкусу Генрих, отправляйся за границу и найди себе другого государя. Только учти: будь здесь Италия, Екатерина давно лежала бы в могиле.

— Но ты же уверял, что чтишь королеву! — воз-

мущается Грегори.

— Да. И чтил бы ее труп.

— Но ты же не станешь ее губить?

Он резко останавливается, берет сына за руку и разворачивает к себе.

— Давай восстановим в памяти наш разговор.

Грегори пытается вырвать руку.

— Нет, Грегори, послушай. Я сказал, что ты находишь способы исполнить королевские желания. Это и значит быть придворным. Теперь пойми: никогда в жизни Генрих не попросит меня или кого-нибудь другого причинить вред королеве. Он что, чудовище? Он и сейчас питает к ней теплые чувства, что неудивительно. И у него есть душа, которую он надеется спасти. Король каждый день исповедуется кому-нибудь из своих капелланов. Думаешь, император или король Франциск делают это так же часто? Смею тебя заверить, сердце Генриха исполнено лучших чувств; могу поручиться, что ни одна душа в христианском мире не вопрошается с такой строгостью.

Ризли говорит:

— Мастер Кромвель, это ваш сын, а не посол.

Он выпускает Грегори.

— Не отправиться ли нам по реке? Там, должно

быть, ветерок.

Нижний двор. Шесть пар псов маются в клетках на колесах, приготовленных к отправке. Псы залезают друг на друга, стучат хвостами, грызутся между собой; их скулеж добавляется к общему полупаническому чувству, охватившему дворец. Это похоже не столько на обычные летние сборы, сколько на поспешное отступление из форта. Потные работники укладывают на телеги королевскую мебель. Двое застряли в дверях с кованым сундуком. Он вспоминает, как сам, избитый подросток, помогал грузить телеги в надежде, что его подвезут. Подходит ближе.

— И как вас, ребята, угораздило?

Он берется за край сундука, помогает им отступить назад в тень, потом одним движением ладони разворачивает сундук под нужным углом, и через мгновение оба молодчика, пыхтя и спотыкаясь, выскакивают на свет с таким ликующим возгласом, будто сами сообразили, как тут управиться. Он говорит, покончите с вещами короля — сразу начинайте грузить вещи королевы, она едет в Мор. Они удивляются: что, правда? А если она откажется? Тогда мы закатаем ее в ковер и отнесем на телегу. Дает каждому по монетке. Не перетруждайтесь, ребята, в такую жару нельзя

много работать. Конюх подводит лошадей, чтобы запрячь в собачьи фургоны; псы, почуяв запах, заходятся истерическим лаем, который слышно даже на реке.

Вода темная, медлительная. На итонском берегу два сомлевших лебедя то выплывают из камышей, то снова в них заплывают. Лодка покачивается на едва заметной ряби. Он спрашивает:

— Ба! Уж не Шон ли Мадок?

— Никогда не забываете лица?

— Такие уродливые — никогда.

— А вы свое-то видели? — Лодочник ел яблоко вместе с сердцевиной; теперь он аккуратно сплевывает косточки за борт.

— Как твой отец?

— Помер. — Шон выплевывает черешок. — Из этих есть кто ваш?

— Я, — говорит Грегори.

— А вот мой. — Шон кивает на рослого парня за соседним веслом, тот краснеет и отворачивается. — Ваш папаша в такую погоду закрывал лавочку. Гасил огонь в кузне и отправлялся рыбачить.

— Стегал воду удилищем и вышибал рыбам мозги, — говорит он. — Хватал их под жабры и орал: «На кого пялишься, зараза чешуйчатая? Я

те дам на меня пялиться!»

— Уолтер Кромвель был не из тех, кто без дела греется на солнце, — объясняет Шон. — Я много чего мог бы о нем рассказать.

У мастера Ризли лицо удивленно-сосредоточенное. Мастеру Ризли невдомек, сколько можно узнать от лодочников, из их быстрого охального говорка. В двенадцать лет Кромвель свободно владел этим языком, и теперь слова приходят сами, природные, неочищенные. Есть прелесть в греческих цитатах, которыми он обменивается с Томасом Кранмером, с Зовите-меня-Ризли — прелесть первозданного наречия, свежего, как сочный молодой плод. Однако ни один эллинист не расскажет тебе, как Шон, что думает Патни о клятых Булленах. Генрих баловался с мамашей — на здоровьице. Баловался с сестрицей — а для чего еще и быть королем? Однако пора и честь знать. Мы же не звери лесные. Шон называет Анну угрем, склизкой ползучей гадиной, и Кромвелю вспоминаются слова кардинала про Мелузину. Шон говорит, она балуется с братом, и он спрашивает: с Джорджем?

— А как бы его ни звали. У них вся семейка такая. Они занимаются французскими мерзостями, ну, знаете…

— Нельзя ли потише? — Он опасливо смотрит назад, как будто за лодкой могут плыть соглядатаи.

— Оттого она за себя спокойна, что не уступит королю, потому как ежели он ее обрюхатит, то спасибо, девонька, а теперь проваливай, вот она и говорит, нет, ваше величество, никак не можно, а ей-то что? Она-то знает, что в ту же ночь братец вылижет ее до печенки, а когда он спросит, сестрица, что мне делать с этим большим кулем, она ответит, не извольте печалиться, милорд братец, затолкайте его в заднюю дверь, там он никакого урона не причинит.

— Спасибо, — говорит он, — я и не знал, как они управляются.

Молодые люди понимают примерно одно слово из трех. Он платит Шону много больше, чем тот запросил. Ну и фантазия у лодочников! Он будет с удовольствием вспоминать измышления Шона. Так непохоже на настоящую Анну.

Дома Грегори спрашивает:

— Надо ли позволять людям такое болтать? Да еще и вознаграждать их деньгами?

— Шон говорил что думает. И если ты хочешь узнать, что у людей на уме…

— Зовите-меня-Ризли тебя боится. Говорит,

когда вы вместе с секретарем Гардинером возвращались из Челси, ты грозился выкинуть его из собственной барки и утопить.

Ему этот разговор помнится совершенно иначе.

— И что, Зовите-меня считает, что я на такое способен?

— Да. Он считает, что ты способен на все.

На Новый год он дарит Анне серебряные вилки с рукоятками из горного хрусталя и надеется, что она будет ими есть, а не втыкать их в людей.

— Венецианские! — Анна с удовольствием вертит вилки, любуясь игрой света в хрустале.

Он принес еще один подарок, завернутый в небесно-голубой шелк.

— Это для девочки, которая все время плачет.

Анна удивлена.

— Вы разве не знаете? — Ее глаза вспыхивают злорадным удовольствием. — Наклонитесь поближе, я шепну вам на ухо. — Она прикасается к нему щекой, и он чувствует легкий аромат: роза, амбра. — Сэр Джон Сеймур? Милейший сэр Джон? *Старый* сэр Джон, как его называют.

Сэр Джон старше его от силы лет на десять-двенадцать, однако благодушие старит. Впечатление такое, что Сеймур удалился на покой, предоста-

вив сыновьям, Эдварду и Тому, блистать при дворе.

— Теперь понятно, почему мы никогда его не видим, — продолжает Анна. — И чем он занимался в деревне.

— Охотился, наверное.

— Да, и поймал в силок Кэтрин Филлол, жену Эдварда. Их застали в самом неподобающем виде, только я не смогла выяснить, где: в его постели или в ее, в поле или на сене. Да, прохладно, однако они друг друга согревали. И теперь сэр Джон сознался во всем — так и сказал в лицо сыну, что имел ее каждую неделю, начиная со дня свадьбы, то есть два года и, скажем, еще шесть месяцев, всего…

— Можно округлить до ста двадцати раз, если учитывать основные посты.

— Прелюбодеи не воздерживаются даже в великий пост.

— Надо же. Я думал, воздерживаются.

— У нее двое детей, так что, допустим, был перерыв на роды… И оба — мальчики. Можете вообразить, каково сейчас Эдварду.

Эдвард Сеймур с чистым орлиным профилем. Да, можно вообразить, каково ему сейчас.

— Он отказался от обоих. Теперь они будут

считаться бастардами. Кэтрин Филлол отправят в монастырь. А надо было бы посадить ее в клетку! Эдвард подал прошение, чтобы брак объявили недействительным. Что до милейшего сэра Джона, думаю, мы нескоро увидим его при дворе.

— А почему шепотом? Наверняка я последний человек в Лондоне, который еще не знал.

— Король не знает. А вам известно, как он благонравен. Так что если кто-нибудь подойдет к его величеству с грубой шуткой по этому поводу, пусть это будем не вы и не я.

— А что дочь? Джейн то есть.

Анна фыркает.

— Бледная немочь? Уехала в Уилтшир. А лучше бы отправилась в монастырь вместе с невесткой. Ее сестра Лиззи удачно пристроена, но нашу мямлю никто не брал замуж, а теперь уж точно не возьмет. — Она вновь замечает подарок и с внезапным подозрением спрашивает: — Что это?

— Книга с узорами для вышивки.

— А… что угодно, лишь бы не перетрудить ее бедную головушку. Почему вы решили сделать ей подарок?

— Мне ее жаль.

А теперь, конечно, еще больше.

— Хм. Она вам что, нравится? — (Правильный

ответ: нет, леди Анна, мне нравитесь только вы.) — Пристало ли вам отправлять ей подарки?

— О, это не Боккаччо.

Она смеется.

— Они могли бы рассказать Боккаччо много нового, эти грешники из Волчьего зала.

На исходе февраля сожгли священника Томаса Хиттона, арестованного епископом Рочестерским Фишером за контрабандный ввоз тиндейловской Библии. Некоторое время спустя гости, вставшие после скромного епископского ужина, повалились на пол в конвульсиях, исходя рвотой; бледных и полуживых от боли, их уложили в постель и поручили заботам лекарей. Доктор Беттс сказал, что они отравились бульоном: по свидетельству опрошенных слуг, только это блюдо ели все присутствовавшие.

Есть яды, которые возникают в природе без чьей-либо злой воли — так что сам он, прежде чем отдавать епископского повара палачам, заглянул бы на кухню и снял пробу с бульона. Однако остальные убеждены, что это убийство.

Повар сознается, что подсыпал в суп белый порошок, полученный от одного человека. От кого? От незнакомца, который сказал, что будет отличной шуткой, если Фишера и его друзей

прихватит понос.

Король вне себя от ярости и страха. Винит еретиков. Доктор Беттс качает головой, теребит нижнюю губу. Его величество, говорит доктор, боится яда сильнее, чем адовых мук.

Станете вы подсыпать в еду неизвестный порошок, потому что незнакомец сказал, что это будет потешно? Повар молчит, а возможно, не в силах ничего сказать. Дознаватели переусердствовали, говорит он Беттсу, интересно, нарочно или по чьему-то указанию. Доктор, любящий слово Божие, отвечает с невеселым смешком: «Если они хотели узнать правду, им следовало пригласить Томаса Мора».

Говорят, что лорд-канцлер в совершенстве освоил двойное искусство: растягивать и сжимать Божьих слуг. Когда еретиков доставляют в Тауэр, Мор стоит и смотрит, как их пытают. Говорят, у себя в Челси он держит арестованных в колодках, читает им наставления и требует: назови своего печатника, назови шкипера, который привез эти книги в Англию. Говорят, он пускает в ход бич, кандалы и тиски, называемые Скевингтонова дочка: в них помещают человека, согнутого в три погибели, и закручивают винт, пока не начнут трескаться ребра. Нужно большое искусство,

чтобы арестант не задохнулся, потому что если он задохнется, от него уже ничего не узнаешь.

За неделю умирают двое из епископских гостей. Сам Фишер выкарабкивается. Он, Кромвель, думает, что повар, возможно, и назвал на допросе какие-то имена, но их обычным подданным знать не положено.

Он идет к Анне. Она, как шип между двумя розами, сидит между своей кузиной Мэри Шелтон и женой своего брата, Джейн, леди Рочфорд.

— Миледи, известно ли вам, что король придумал для епископского повара новую казнь? Его сварят живьем.

Мэри Шелтон ахает и краснеет, будто ее ущипнул ухажер. Джейн Рочфорд цедит: «Vere dignum et justum est, aequum et salutare»,[47] — и переводит для Мэри: «Умно».

На лице Анны — никакого выражения. Даже он, сведущий в стольких языках, ничего не может на нем прочесть.

— Как это будет?

— Я не интересовался. Вам угодно, чтобы я выяснил? Думаю, его подвесят на цепях, чтобы зрители видели, как будет слезать кожа, и слы-

---

[47] Примечания Ольги Дмитриевой: 47
Воистину достойно и праведно, должно и спасительно *(лат.)*.

шали крики.

Надо отдать Анне должное — скажи он сейчас, что ее сварят живьем, она, вероятно, только пожала бы плечами: *се ля ви.*

Фишер месяц лежит в постели, а когда наконец появляется при дворе, похож на ходячий труп. Вмешательство ангелов и святых не помогло исцелить больной желудок и нарастить мясо на кости.

Это дни суровой истины от Тиндейла. Святые вам не друзья и не заступники. Их нельзя нанять за свечи и молитвы, как вы нанимаете работников на сенокос. Христова жертва совершилась на Голгофе; она не совершается на мессе. Священники не помогут попасть в рай; для общения с Богом посредники не нужны. Никакие собственные заслуги вас не спасут; только заслуги живого Христа.

Март. Люси Петит, жена мастера-бакалейщика, члена палаты общин, приходит в Остин-фрайарз. На ней смушковая пелерина — судя по виду, привозная — и скромное платье из серого камлота. Алиса принимает у нее перчатки и украдкой щупает пальцем шелковую подкладку. Он встает из-за стола, берет Люси за руки, усаживает рядом с камином и наливает ей подогретого вина с

пряностями.

— Вот бы это все моему Джону. Вино. Камин, — говорит Люси. Ее руки, сжимающие чашку, сильно дрожат.

Утром того дня, когда в дом на набережной Львов пришли с обыском, валил снег, позже зимнее солнце очистило оконные стекла, превратив обшитые панелями комнаты в резкое чередованье глубоких теней и холодного света. «Это то, о чем я все время думаю, — говорит Люси. — О холоде». И Мор, лицо закутано в меха, на пороге вместе с приставами, готовый обыскать лавку и жилые комнаты. «Я сколько могла, задерживала его любезностями. Я крикнула, дорогой, тут к тебе лорд-канцлер по парламентским делам. — Вино ударило ей в лицо, развязало язык. — Я все спрашивала, вы кушали, сэр, точно? а может все-таки покушаете? и слуги вертелись у него под ногами, — она издает невеселый, кашляющий смешок, — и все это время Джон запихивал бумаги за стенную панель».

— Вы молодец, Люси.

— Когда они поднялись наверх, Джон был готов их встретить — добро пожаловать, лорд-канцлер, в мое смиренное жилище, да только он ведь такой бестолковый — сунул Библию под стол, я как

вошла, сразу увидела… просто чудо, что они не проследили мой взгляд.

За час обыска так ничего и не нашли. А точно у вас нет этих новых книг, Джон, спросил лорд-канцлер, потому что мне сообщили, они у вас есть. (И Тиндейл, во все время разговора, как ядовитое пятно на полу). Не знаю, кто мог вам такое сказать, ответил Джон Петит. Я горжусь им, говорит Люси, протягивая чашку за следующей порцией вина, я горжусь тем, что он держался так смело. Мор сказал, да, правда, сегодня я ничего не нашел, но вам придется пойти с этими людьми в Тауэр. Арестуйте его.

Джон Петит не молод. По распоряжению Мора он спит на охапке соломы, уложенной на каменные плиты; посетителей впускают с единственной целью — чтобы те передали родным, как плохо арестант выглядит.

— Мы отправляли еду и теплую одежду, — говорит Люси. — Нам все вернули со словами «таков приказ лорда-канцлера».

— Существует тариф на взятки. Надо платить тюремщикам. У вас есть деньги?

— Если понадобятся, я обращусь к вам. — Она ставит чашку на стол. — Он не сможет засадить в тюрьму нас всех.

— У него много тюрем.

— Для тела, да. Но что такое тело? У нас могут забрать наше добро, однако Господь возместит нам все сторицей. Могут закрыть книжные лавки, однако книги останутся. У них — древние кости в раках, стеклянные святые в витражах, свечи и капища; нам Господь даровал печатный станок. — Щеки ее горят. Она смотрит на разложенные по столу чертежи. — Что это, мастер Кромвель?

— Планы моего будущего сада. Я надеюсь купить несколько соседних домов. Мне нужна земля.

Она улыбается.

— Сад… первое приятное слово, которое я слышу за долгое время…

— Надеюсь, вы с Джоном еще сможете по нему погулять.

— А это… Будете делать теннисный корт?

— Если заполучу землю. А здесь, как видите, я намерен разбить фруктовый сад.

В глазах ее стоят слезы.

— Поговорите с королем. Мы на вас надеемся.

Шаги Джоанны. Люси в испуге зажимает себе рот.

— Господи, помилуй… В первый миг я приняла

вас за вашу сестру.

— Многие ошибаются, — говорит Джоанна, — и не все замечают свою ошибку. Мистрис Петит, мне очень жаль, что ваш муж в Тауэре, однако вы сами виноваты. Вы и ваши единоверцы больше других клеветали на покойного кардинала, а теперь, небось, все бы отдали, лишь бы его вернуть.

Люси встает, смотрит долгим взглядом через плечо и выходит без единого слова. За дверью слышен голос Мерси — здесь Люси ждет больше женского сочувствия. Джоанна подходит, протягивает к камину замершие руки.

— Что, она считает, ты можешь сделать?

— Пойти к королю. Или к леди Анне.

— И ты пойдешь? Не надо, прошу тебя. — Она вытирает рукой слезу: Люси ее расстроила. — Мор не станет пытать Джона — пойдут разговоры, Сити возмутится. Хотя, конечно, он может умереть в тюрьме. — Джоанна смотрит на него искоса. — А она ведь старая, Люси Петит. Ей не стоит носить серое. Ты заметил, как у нее ввалились щеки? Она уже не сможет родить.

— Я учту.

Джоанна теребит фартук.

— А если все-таки станет?.. И Джон назовет

имена?

— Мне-то что? — Он отводит взгляд. — Мор и без того знает мое имя.

Он говорит с леди Анной. Что я могу поделать? — спрашивает она, и он отвечает, думаю, вам известно, как умилостивить короля. Она смеется: что, отдать мою девственность ради бакалейщика?

Он говорит с королем при всяком удобном случае, однако у Генриха ответ один: лорд-канцлер знает свое дело. Анна оправдывается: я, как вы знаете, самолично вложила книги Тиндейла в руки короля, ваше величество, можно ли Тиндейлу вернуться? Всю зиму идут переговоры, письма летят через Ла-Манш и обратно. Весной Стивен Воэн, его торговый представить в Антверпене, организовал встречу: вечер, сумерки, поле за городом. Когда Тиндейлу вручили письмо Кромвеля, тот заплакал. Я так хочу на родину, я устал укрываться по чужим домам; если король скажет «да» Писанию на английском, пусть сам выберет переводчика, я не напишу больше ни слова. Пусть делает со мной что хочет, пытает меня и сожжет, лишь бы англичане услышали слово Божье.

Генрих не говорит «нет, никогда» — не может сказать, чтобы не огорчить леди Анну. Хотя тин-

дейловский и другие переводы по-прежнему запрещены, король, возможно, когда-нибудь выберет ученого мужа, которому и поручит этот труд.

Однако с началом лета он, Кромвель, понимает, что подошел слишком близко к краю — надо осторожно сдавать назад. Генрих слишком нерешителен, Тиндейл слишком бескомпромиссен. В письмах к Стивену в Амстердам сквозит паника: пора выбираться с тонущего корабля. Он не намерен приносить себя в жертву Тиндейловой суровости. Господи Боже мой, думает он, Мор и Тиндейл друг друга заслуживают — эти упрямые мулы в человеческой оболочке. Тиндейл не соглашается одобрить королевский развод, и монах Лютер, кстати, тоже. Казалось бы, можно чуточку поступиться принципами, чтобы заручиться королевской дружбой, — ан нет, ни в какую.

А когда Генрих спрашивает: «Кто такой Тиндейл, чтобы меня судить?», тот строчит ответ: «Каждый христианин может судить другого христианина».

— Кошка может смотреть на короля. — Он держит на руках Марлинспайка и говорит с Томасом Авери, молодым человеком, которого взял себе в обучение. Мальчик живет у Стивена Воэна,

осваивает обычаи амстердамских торговцев, но в любой день может ворваться в дом на Остин-фрайарз с дорожным мешком подмышкой, крича, чтобы Мерси, Джоанна и девочки шли смотреть, каких он привез сластей и безделушек. Ричарда, Рейфа и Грегори, если тот случается дома, Авери награждает парой шутливых тумаков — мол, я здесь, — однако мешок с запасным джеркином и парой чистых рубах из рук не выпускает ни на миг.

Мальчик идет за ним в кабинет.

— Хозяин, а вы когда путешествовали в чужих краях, по дому не тосковали?

Он пожимает плечами: наверное, будь у меня дом, тосковал бы. Опускает кота на пол, открывает мешок, выуживает четки. Для видимости, поясняет Авери, и он говорит, молодец. Марлинспайк вспрыгивает на стол, трогает мешок лапой, заглядывает внутрь.

— Мыши там только сахарные. — Мальчик оттягивает кота за уши, возится с ним. — У мастера Воэна в доме нет ни собак, и кошек.

— Стивен признает только дела. И очень последнее время строг.

— Он говорит: «Томас Авери, во сколько ты вчера вернулся? Написал ли ты хозяину? Был ли

у мессы?» Будто ему есть дело до мессы! Только что не спрашивает, давно ли я справлял большую нужду!

— Следующей весной ты сможешь вернуться сюда.

За разговором он достает джеркин,[48] выворачивает наизнанку и ножничками начинает распарывать шов.

— Стежок к стежку. Кто шил?

Мальчик мнется, краснеет.

— Женнеке.

Он вытаскивает из-за подкладки тонкий сложенный листок. Разворачивает.

— Глазки у нее, наверное, зоркие.

— Да.

— И хорошенькие? — Он с улыбкой поднимает взгляд. Мальчик смотрит ему в лицо и как будто хочет заговорить, но тут же смущается и вешает голову.

— Просто мучаю тебя, Том, не обижайся. — Он читает письмо Тиндейла. — Если она хорошая девушка, что тут дурного?

— Что пишет Тиндейл?

— Ты вез письмо, не прочитав?

---

[48] Примечания Ольги Дмитриевой: 48

Джеркин — короткое верхнее мужское платье, как правило, без рукавов.

— Я решил лучше не читать. Вдруг…

Вдруг ты окажешься гостем Томаса Мора. Он перекладывает письмо в левую руку, правая сжимается в кулак.

— Пусть только приблизится к кому-нибудь из моих. Я его вытащу из Вестминстера и буду бить головой о мостовую, пока не приведу в разум. Он у меня поймет, что такое любовь к Богу и в чем она должна проявляться!

Мальчик издает короткий смешок и плюхается на табурет. Он, Кромвель, снова смотрит в письмо.

— Тиндейл пишет, что не сможет вернуться в Англию, даже если леди Анна станет королевой — чему он сам, должен отметить, никоим образом не способствует. Пишет, что не поверит гарантиям безопасности, даже за подписью короля, пока Мор жив и на своей должности, потому что Мор говорит, не обязательно держать обещания, данные еретикам. Вот. Можешь сам прочесть. Все равно наш лорд-канцлер невиновность или неведение в зачет не принимает.

Мальчик вздрагивает, но письмо берет. Что это за мир, в котором люди не держат обещаний?

Он говорит мягко:

— Расскажи мне про Женнеке. Хочешь, я напи-

шу ее отцу?

— Нет. — Авери поднимает глаза, хмурится. — Нет, она сирота, воспитанница мастера Воэна. Мы все учим ее английскому.

— То есть денег она тебе не принесет?

Мальчик смущается.

— Думаю, мастер Стивен даст ей приданое…

Тепло, и камин не топится. Свечи еще не зажигали, так что он просто рвет письмо на мелкие клочки. Марлинспайк, навострив уши, съедает обрывок бумаги.

— Благочестивый кот, — говорит он. — Всегда любил слово Божие.

Scriptura sola. Только Писание утешит тебя и направит на путь спасения. Бесполезно молиться резной деревяшке и ставить свечи перед раскрашенной доской. Тиндейл говорит, «Евангелие» означает добрую весть, песни и пляски — в рамках приличий, разумеется. Томас Авери спрашивает:

— Мне правда можно будет вернуться, как только наступит весна?

Джону Петиту в Тауэре разрешили спать на кровати; впрочем, о возвращении узника домой речь не идет.

Как-то в ночном разговоре Кранмер сказал ему:

святой Августин учит нас не спрашивать, где наш дом, ибо в конце концов все мы придем к Богу.

Великий пост изнуряет дух, для чего, собственно, и предназначен. Придя очередной раз к Анне, он видит Марка, который, согнувшись над лютней, наигрывает что-то заунывное, и, мимоходом стукнув того по голове пальцем, бросает:

— Сыграй что-нибудь повеселее, а?

Марк едва не падает с табурета. Ему думается, что они живут, как в тумане: все эти люди, которых так легко напугать, застигнуть врасплох. Анна, очнувшись от своей полудремы, спрашивает:

— Что вы сейчас сделали?

— Ударил Марка. — Он показывает палец. — Вот только им.

Анна спрашивает:

— Марк? О ком вы? А… Его так зовут?

Нынешней весной его задача — быть бодрым и жизнерадостным. Кардинал вечно на что-нибудь жаловался — правда, со своим всегдашним остроумием. И чем больше Вулси брюзжал, тем бодрее отвечал его слуга Кромвель; таков был их негласный договор.

Король тоже постоянно всем недоволен. Голова болит. Герцог Суффолк — тупица. Погода не по

сезону жаркая. Страна катится к чертям собачьим. И еще король боится сглаза, боится, что о нем плохо говорят — по конкретному поводу или абстрактно. И чем больше король тревожится, тем оптимистичней его новый слуга, тем увереннее и тверже себя держит. И чем больше король рявкает и ворчит, тем больше просители стараются попасть к Кромвелю, неизменно учтивому и приветливому.

Дома к нему подходит Джо, чем-то не на шутку озабоченная. Она теперь барышня и по-женски хмурит лоб, в точности как ее мать Джоанна.

— Сэр, как нам красить яйца на Пасху?

— А как вы красили раньше?

— До прошлого года мы рисовали кардинальские шапки. — Говоря, Джо пристально наблюдает за его лицом; в точности моя привычка, думает он. Что ж, твои дети — это не только твои дети. — Нельзя было так делать?

— Отчего же? Жаль, я не знал. Я бы подарил кардиналу такое яйцо — ему бы понравилось.

Джо вкладывает свою мягкую ручонку — детскую, в цыпках, с обгрызенными ногтями — в его ладонь.

— Теперь я в королевском совете, — говорит он. — Можете рисовать короны.

То, что у него с ее матерью, это безумие надо прекращать. Джоанна и сама понимает. Она придумывала любые оправдания, чтобы жить там же, где он, однако сейчас если он в Остин-фрайарз, то она — в Степни.

— Мерси знает, — шепчет как-то Джоанна, проходя мимо.

Удивительно, что Мерси так долго ни о чем не догадывалась, но здесь заключен урок: думаешь, будто люди постоянно за тобой наблюдают, а это просто нечистая совесть заставляет тебя шарахаться от теней. Однако в конце концов Мерси обнаружила, что у нее есть глаза, а кроме глаз — еще и язык, и улучила минутку поговорить наедине.

— Мне сказали, что король нашел способ обойти по крайней мере один камень преткновения — как вступить в брак с леди Анной, если он спал с ее сестрой.

— У нас есть к кому обратиться, — беспечно отвечает Кромвель. — По моему совету доктор Кранмер адресовал вопрос ученым венецианским раввинам, чтобы те сверились с древними текстами.

— Так это не кровосмешение? Если ты не состоял в законном браке с одной из сестер?

— Талмудисты говорят — нет.

— И во сколько это обошлось?

— Доктор Кранмер не знает. Ученые мужи заседают за столом переговоров, а после к ним подходят не столь праведные люди и передают деньги. Одним совершенно не обязательно замечать других.

— В твоем случае это не поможет, — говорит Мерси напрямик.

— В моем случае ничто не поможет.

— Она хочет с тобой поговорить. Джоанна.

— Что тут обсуждать? И так понятно… — И так понятно, что надежды никакой, пусть даже ее муж, Джон Уильямсон, по-прежнему кашляет — и здесь, и в Степни постоянно вполуха вслушиваешься, не раздастся ли на лестнице или в соседней комнате предупреждающее «кхе-кхе»; надо отдать Джону Уильямсону должное, вот уж кто никогда не застанет тебя врасплох. Доктор Беттс порекомендовал Джону свежий воздух, подальше от дыма и копоти.

— Это была минутная слабость, — говорит он. А потом что? Еще одна минутная слабость.

— Ты должен ее выслушать. — Мерси поднимает к нему пылающее лицо. — По совести.

— Для меня это все — часть прошлого. — Голос

у Джоанны дрожит; она поправляет чепец и закидывает вуаль — легкое облако шелка — за плечо. — Я долго не могла поверить, что Лиз и вправду умерла — все ждала, что она сейчас войдет.

Его постоянно мучил соблазн наряжать Джоанну в красивые дорогие платья, и он, по словам Мерси, «швырял» деньги лондонским ювелирам и торговцам тканями, так что женщинам с Остин-фрайарз завидовали все городские кумушки и, заходясь в молитвенном восторге, шептали им вслед: Господи милостивый, к Томасу Кромвелю, деньги-то так и текут, ну чисто благодать Божья.

— И теперь я думаю, — говорит Джоанна, — это случилось оттого, что она умерла, а мы горевали и не могли поверить в ее смерть. И хватит. То есть мы все равно горюем. И всегда будем горевать.

Он понимает ее. Лиз умерла в другую эпоху, когда кардинал был первым лицом в стране, а он — слугой кардинала.

— Если ты надумаешь жениться, — говорит Джоанна, — Мерси кое-кого тебе присмотрела. Впрочем, думаю, и у тебя есть невесты на примете — и ни одной из них мы не знаем. Конечно, — продолжает она, — если бы Джон Уильямсон… прости, Господи, но я каждую зиму думаю, что он

до весны не дотянет, то конечно, Томас, я бы сразу, как дозволяют приличия, чтобы не с кладбища да к алтарю, только ведь церковь не разрешит. Закон не разрешит.

— Кто знает, — говорит он.

Она раскидывает руки, слова так и хлещут:

— Говорят, будто ты намерен, будто ты хочешь сломить епископов и сделать короля главой церкви, отнять у папы церковную десятину и отдать Генриху, чтобы Генрих устанавливал законы по своей воле, мог прогнать жену и обвенчаться с леди Анной, решал, что грех, а что — нет, и кому можно на ком жениться. А принцесса Мария, храни ее Господь, станет незаконнорожденной, и следующим королем будет сын леди Анны.

— Джоанна… когда парламент соберется снова, давай ты придешь и повторишь, что сейчас сказала? Это сбережет всем уйму времени.

Она в ужасе.

— Общины за такое не проголосуют. И лорды тоже. Епископ Фишер такого не допустит. Архиепископ Уорхем. Герцог Норфолк. Томас Мор.

— Фишер болен. Уорхем стар. Норфолк не далее как третьего дня сказал мне: «Я устал, — прости, но я повторяю его выражение, — сражаться под запятнанным знаменем Екатерининой брачной

простыни, а уж смог тогда Артур или нет, теперь один… теперь все равно». — Он на ходу заменяет непроизносимое слово. — «Пусть уж моя племянница Анна покажет, на что способна».

— А на что она способна?

Джоанна, приоткрыв рот, ждет ответа. Слова герцога прокатятся по Грейсчерч-стрит, по мосту, на ту сторону реки, и размалеванные саутуоркские девки понесут их на языке, как заразу. А чего еще ждать от Говардов, от Болейнов, от всей их породы; молчи — не молчи, рано или поздно молва об Аннином нраве облетит и Лондон, и весь мир.

— Она испытывает королевское терпение, — говорит он. — Король жалуется, что Екатерина в жизни с ним не разговаривала, как Анна. По словам Норфолка, Анна обзывает короля хуже, чем собаку.

— Странно, что он ее не выпорет.

— Может, еще и выпорет, как поженятся. Понимаешь, если бы Екатерина отозвала из Рима свою жалобу и согласилась, чтобы дело разбирали в Англии, или папа аннулировал-таки их брак, ничего такого — ничего из того, о чем ты говорила, — не произошло бы, просто… — Он делает плавное движение, будто сворачивает

пергаментный свиток. — Если бы Климент в одно прекрасное утро подошел к столу и спросонок подмахнул левой рукой непрочитанный документ, кто бы его осудил? И остались бы ему его доходы, его власть, потому что Генриху нужно только одно — затащить Анну в постель, однако время идет, и, поверь мне, у Генриха появляются новые желания.

— Да. Например, поступать по-своему.

— Он король. Привык к этому.

— А если папа будет и дальше упорствовать?

— Значит, не получит своей десятины.

— Неужто король приберет к рукам деньги простых христиан? Он и без того богат.

— Тут ты ошибаешься. Король беден.

— Ой. А ему-то это известно?

— Я не знаю, ведомо ли королю, откуда берутся его деньги и куда уходят. Пока был жив милорд кардинал, его величеству довольно было захотеть новый алмаз на шляпу, красавца-скакуна или роскошный дворец — все появлялось само. Сейчас личными средствами государя заведует Генри Норрис, и еще король берет из казны — на мой взгляд, многовато. Генри Норрис, — говорит он, не дожидаясь вопроса, — мой злой рок, — однако не добавляет: «вечно оказывается у Анны,

когда мне надо поговорить с ней наедине».

— Пусть приходит к нам обедать, если проголодается. Не Генри Норрис, конечно, а наш нищий король. — Джоанна встает, видит себя в зеркале и тут же пригибается, словно испугавшись своего отражения. Он наблюдает, как она делает другое лицо: менее озабоченное, рассеянно-любопытное, не столь вовлеченное в разговор — чуточку поднимает брови, слегка выгибает уголки губ. Я мог бы нарисовать ее портрет, думает он, если бы владел кистью, я столько на нее смотрю. Однако от того, что смотришь, мертвые не возвращаются, и чем пристальнее всматриваешься, тем быстрее и дальше они уходят. Он никогда не думал, будто Лиз улыбается с небес, глядя на них с Джоанной. Нет, думает он, на самом деле я отодвигал Лиз в темноту и мрак, и внезапно ему вспоминаются давние слова Уолтера про мать. У нее была деревянная святая, которую она принесла в своем узелке, когда совсем молодой девушкой пришла в Патни с севера, и когда ложилась со мной в постель, рассказывал Уолтер, она поворачивала статуэтку лицом к стене. Боже мой, Томас, кажись, то была святая Фелиция, и уж точно она смотрела куда-то не на нас в ту злополучную ночь, когда я тебя сделал.

Джоанна идет по комнате. Комната большая и наполнена светом. Джоанна говорит:

— Все это… все эти вещи, которые у нас есть. Часы. Новый сундук, который ты выписал из Фландрии, резной, с цветами и птицами. Я своими ушами слышала, как ты сказал Томасу Авери, передай Стивену, мне нужен такой сундук, а цена меня не заботит. И картины с незнакомыми людьми, и, не знаю, лютни там, и книги по музыке, у нас ничего такого не было. В детстве я никогда не смотрелась в зеркало, а теперь смотрюсь каждый день. И гребень — ты подарил мне гребень из слоновой кости. У меня никогда не было своего. Лиз заплетала мне косы и убирала под чепец, а я — ей, и если волосы у нас растрепывались, кто-нибудь сразу кричал, чтобы мы не ходили, как чучела.

Чем нам так любы прошлые тяготы? Почему мы гордимся, словно заслугой, что сносили брань и побои, что дома не было дров для очага и мяса на обед, что родители держали нас в черном теле и бранили по всякому поводу? Даже Лиз, давным-давно, увидев, что он вешает рубашонку Грегори у очага, чтобы согреть, сказала, не надо, а то привыкнет.

— Лиз, — произносит он. — Прости, я хотел сказать, Джоанна…

Сколько ж можно уже, говорит ее лицо.

— Я хочу сделать тебе что-нибудь приятное. Скажи, что тебе подарить.

Он ждет, что она закричит, как все женщины, не думай, будто можешь меня купить, однако она выслушивает, зачарованно, как ему кажется, с лицом внимательно-сосредоточенным, его теорию о том, чем хороши деньги.

— Был во Флоренции один монах, фра Савонарола,[49] который внушил людям, будто красота греховна. Некоторые думают, что тут не обошлось без колдовства. Люди жгли на улицах костры и швыряли туда все, что любили, что сделали своими руками или приобрели на заработанные трудом деньги: шелковые ткани, белье, которое их матери вышили для брачного ложа, стихи, написанные рукою поэта, векселя и завещания, купчие на дома и закладные на землю, собак и кошек, рубашки с плеч и перстни с пальцев, женщины бросали в огонь покрывала, и знаешь,

---

[49] Примечания Ольги Дмитриевой: 49

Джироламо Савонарола (1452–1498) — доминиканский монах, яростный обличитель нравов церкви и папства, а также светских властей, вдохновивший флорентийцев на восстание в 1494 г., в ходе которого они изгнали из города правившее семейство Медичи и восстановили республиканский строй. Савонарола проповедовал труд, аскетизм, отказ от суетных развлечений и удовольствий. В ходе дальнейшей политической борьбы он был отлучен от церкви, схвачен противниками и сожжен в 1498 г.

Джоанна, что хуже всего? они отправили в костер зеркала и теперь не видели своих лиц, не видели, чем отличаются от скотов бессловесных и от несчастной живности, которая корчилась в огне. А, растопив зеркала, они вернулись в пустые жилища и легли на пол, потому что сожгли кровати, и когда они встали на следующее утро, у всех ломило поясницу от спанья на жестком, и не было столов, чтобы сесть завтракать, потому что из столов сложили костры, и не было стульев, потому что стулья порубили на растопку, и не было хлеба, потому что пекари бросили в огонь квашни с опарой, муку и весы. А знаешь, что хуже всего? Они все были трезвы. Накануне они вытащили на улицу бурдюки с вином и… — Он делает движение, будто бросает что-то в костер. — Они были трезвы, головы у всех прояснились, люди смотрели вокруг себя и не знали, что им есть, что пить и на чем сидеть.

— Ты сказал, хуже всего было не это, а зеркала. Невозможность посмотреть на себя.

— Да. По крайней мере, я так думаю. Я всегда смотрю себе в лицо. И у тебя, Джоанна, всегда должно быть хорошее зеркало, чтобы глядеть на себя. Потому что ты женщина, на которую стоит поглядеть.

Можно было бы написать сонет, Томас Уайетт мог бы написать ей сонет, и все равно не произвести такого впечатления. Она отворачивается, но сквозь тончайшую дымку покрывала он видит, как вспыхивают ее щеки. Потому что женщины вечно упрашивают, скажи мне, просто скажи мне хоть что-нибудь, скажи, о чем ты сейчас думаешь. Вот он и сказал.

Они расстаются по-дружески, даже без последнего раза на прощанье. Не то чтобы они расстались совсем, просто у них теперь другие отношения. Мерси говорит: Томас, когда тебя зароют в могилу, ты с твоим умением уболтать кого угодно и оттуда выберешься.

Дома тихо, спокойно; городская суета и шум остались за воротами. Он заказал новые замки, более прочные цепи. Джо приносит ему пасхальное яйцо. «Глянь, это мы оставили для тебя». Яйцо белое, гладкое, без носа и глаз, только из-под скособоченной короны выглядывает одна курчавая прядь цвета луковой шелухи. Ты выбираешь себе государя, зная, каков он. Или не зная?

Девочка говорит:

— Мама просила: скажи дяде, пусть подарит мне кубок из яйца грифона. Это лев с птичьей головой и крыльями, таких теперь больше не

бывает.

Он говорит:

— Спроси маму, какого цвета.

Она целует его в щеку.

Он смотрит в зеркало и видит там всю комнату разом: лютни, портреты, шелковые занавеси. В Риме был банкир по имени Агостино Киджи — на родине, в Сиене, его считали богатейшим человеком мира. Принимая у себя папу, он выставил на стол золотые блюда, а в конце пира, оглядев разморенных вином, пресыщенных кардиналов и груды безобразных объедков — полу-обглоданные кости, устричную скорлупу и апельсиновые корки — сказал: выбросьте это все, чтобы не мыть.

Гости пошвыряли золотые блюда через окно в Тибр, следом полетели грязные скатерти, салфетки парили над водой, словно голодные чайки. Раскаты римского хохота отдавались в римской ночи.

Киджи заранее натянул вдоль реки сети и поставил ныряльщиков, которые выуживали из воды то, что летело мимо сетей. Зоркий эконом стоял на берегу с описью, отмечая в ней булавкой каждый поднятый со дна предмет.

1531-й: год кометы. В летних сумерках под

лодочкой встающего месяца и новой хвостатой звездой мужи в черных одеяниях расхаживают рука об руку по саду, беседуя о спасении. Это Томас Кранмер, Хью Латимер, капелланы и секретари Анны, сорванные с места и принесенные в Остин-фрайарз свежим ветерком богословской дискуссии: где церковь сбилась с пути? Можем ли мы вернуть ее в верное русло?

— Было бы ошибкой, — замечает он, глядя на них из окна, — полагать, будто эти джентльмены хоть в чем-нибудь между собой согласны. Дай им три месяца отдохнуть от Томаса Мора, и они воздвигнут гонения друг на друга.

Грегори сидит на подушке и забавляется с собакой: щекочет ей нос пером и смеется, когда она чихает.

— Сэр, — спрашивает Грегори, — почему все ваши собаки зовутся Беллами и всегда такие маленькие?

Позади за дубовым столом сидит перед астроля-

бией королевский астроном Николас Кратцер[50] и что-то пишет, затем, отложив перо, приподнимает голову.

— Мастер Кромвель, либо мои расчеты неверны, либо вселенная не такова, как мы думаем.

Кромвель спрашивает:

— Почему кометы предвещают дурное? Почему не хорошее? Почему они пророчат гибель государств, а не расцвет?

Кратцер — темноволосый, коренастый — примерно его ровесник, в Англию приехал из Мюнхена, а сюда пришел, чтобы в приятном обществе побеседовать на умные темы, в том числе по-немецки. Когда-то давно Кратцер сделал кардиналу, своему тогдашнему покровителю, золотые солнечные часы. Великий человек разрумянился от удовольствия.

— Говорите, они показывают истинное время, но только если светит солнце? Что ж, куда лучше герцога Норфолка, который не говорит истину

---

[50] Примечания Ольги Дмитриевой: 50

Выходец из Мюнхена, Николаус Кратцер (род. ок. 1487) был весьма благосклонно принят при английском дворе. Получив статус королевского астронома, он изготовлял для Генриха VIII часы, астролябии и прочие научные инструменты. Кратцер был наставником детей Томаса Мора в астрономии, а также читал лекции в Оксфордском университете по приглашению кардинала Вулси. Известен портрет Кратцера работы его друга Ганса Гольбейна (оригинал хранится в Лувре, копия, выполненная в XVI в., — в Национальной портретной галерее в Лондоне).

никогда!

В 1456 году тоже была комета. Астрономы оставили о ней записи, Папа Каликст предал ее анафеме, и, возможно, живы еще два-три старика, видевшие ее своими глазами. Сообщают, что хвост кометы формой напоминал ятаган, и том же году турки осадили Белград. Важно примечать все небесные знамения — монархи нуждаются в указаниях из самых авторитетных источников. Осенью 1524 года все семь планет выстроились в созвездии Рыб, предрекая войну в Германии, появление Лютеровой секты, восстание простолюдинов и гибель ста тысяч императорских подданных, а также три дождливых лета подряд. Разорение Рима предвозвестили, за десять лет до самого события, звуки битвы в небе и под землей: столкновение невидимых воинств, звон стали о сталь, смутные стоны умирающих. Сам он тогда в Риме не был и слышать этого не мог, однако многие рассказывают, что друзья их знакомых слышали.

Он говорит:

— Ну, если вы ручаетесь, что углы измерены верно, я могу проверить расчет.

Грегори спрашивает:

— Доктор Кратцер, а куда деваются кометы,

когда мы на них не смотрим?

Солнце почти село, птицы затихли, через открытые окна из сада доносится аромат пряных трав. Кратцер застыл, сцепив длинные узловатые пальцы: не то молится, не то размышляет над вопросом Грегори. В саду доктор Латимер поднимает голову и машет рукой.

— Хью голоден. Грегори, зови гостей в дом.

— Я прежде перепроверю расчеты, — мотает головой Кратцер. — Лютер говорит, Бог выше математики.

Кратцеру приносят свечи. Зыбкие сферы света дрожат над дубовым столом, который в сумерках кажется почти черным. Губы ученого шевелятся, словно губы монаха, читающего вечерние молитвы, цифры льются с пера на бумагу. Он, Кромвель, обернувшись на пороге, видит, как они вспархивают со стола, скользят по стене и сливаются с тенями в углах.

Из кухни, тяжело ступая, приходит недовольный Терстон.

— Не понимаю, что все о нас думают. Надо срочно давать большой обед, а лучше — два, иначе нам конец. Ваши друзья — любители охотничьей забавы, да и любительницы тоже — прислали нам столько дичи, что можно накормить армию.

— Подари соседям.

— Суффолк присылает по оленю каждый день.

— Мсье Шапюи — наш сосед и вряд ли избалован подарками.

— А Норфолк…

— Вынеси туши к задним воротам и спроси, кто в приходе голоден.

— Но их надо свежевать! Рубить!

— Ладно, я тебе помогу.

— Это немыслимо! — Терстон в отчаянии теребит фартук.

— Мне будет только в удовольствие.

Он снимает кардинальское кольцо.

— Сидите! Сидите! Будьте джентльменом, сэр. Отдайте кого-нибудь под суд! Составьте закон! Сэр, вам следует забыть, что вы когда-то умели рубить мясо.

Он со вздохом опускается обратно на стул.

— Наши благодетели получают письма с выражениями признательности? Мне следовало бы подписывать их самому.

— Десять писцов целый день только и делают, что строчат такие письма.

— Тебе надо взять еще мальчишек на кухню.

— А вам — еще писцов.

Если король требует его к себе, он едет из Лон-

дона туда, где сейчас король. Первое утро августа застает его в группе придворных, наблюдающих, как Анна в костюме девы Марианны стреляет из лука по мишени.

— Уильям Брертон, добрый день, — говорит он. — Вы не в Чешире?

— Именно там, вопреки очевидному свидетельству ваших глаз.

Сам напросился.

— Просто я думал, вы будете охотиться в собственном поместье.

Брертон скалится:

— Я что, должен давать вам отчет в своих действиях?

На зеленой поляне, в зеленых шелках, Анна швыряет лук на траву — тетива негодная, лук негодный, стрелять невозможно.

— Она и в детстве была такой.

Он оборачивается и видит рядом с собой Марию Болейн — на дюйм ближе, чем подошла бы любая другая женщина.

— А где Робин Гуд? — Он смотрит на Анну. — У меня срочные бумаги.

— До заката он их смотреть не будет.

— А после заката он не занят?

— Она продает себя по дюйму. Все джентльме-

ны скажут, это ваша выучка. Чтобы продвинуться от колена еще чуть дальше, король должен всякий раз готовить денежный подарок.

— То ли дело вы, Мария, послушная девочка. Легла на спинку — получила четыре пенса.

— Ну да. Если укладывает король. — Она смеется. — У Анны очень длинные ноги. Казна истощится раньше, чем король дойдет до сладкого. Воевать во Франции куда дешевле.

Мистрис Шелтон протягивает Анне другой лук, но та, отмахнувшись, решительно идет к ним через поляну. Золотая сетка на голове Анны блестит крохотными алмазиками.

— В чем дело, Мария? Вновь покушаешься на репутацию мастера Кромвеля?

Среди придворных раздаются смешки.

— У вас есть для меня приятные новости? — Она берет его под руку, ее голос и взгляд мягчеют. Смешки разом стихают.

В комнате на северной стороне, где не так печет, Анна говорит ему:

— На самом деле это у меня для вас новости. Гардинер получит Винчестер.

Самую богатую из епархий Вулси; он помнит все цифры.

— После такого подарка мастер Стивен, воз-

можно, станет добрее.

Анна улыбается, кривя рот.

— Не ко мне. Он старается убрать с дороги Екатерину, но не для того, чтобы ее место заняла я. И даже от Генриха этого не скрывает. Я бы предпочла, чтобы у короля был другой секретарь. Вы…

— Рано.

Она кивает.

— Да. Возможно. А вы знаете, что Маленького Билни сожгли? Пока мы тут играли в разбойников.

Билни арестовали, когда тот проповедовал в чистом поле и раздавал слушателям листки из тиндейловского Евангелия. В день казни был сильный ветер, который постоянно отдувал пламя от столба — Билни умирал долго.

— Томас Мор сказал, в огне он отрекся от своих заблуждений, — говорит Анна.

— Люди, присутствовавшие на казни, рассказывали мне иное.

— Билни был глупец! — Лицо Анны наливается гневным румянцем. — Говорить надо то, что сохранит тебе жизнь, пока не настанут лучшие времена. Греха в том нет. Ведь вы бы так и поступили?

Он мнется, что вообще-то не в его характере.

— Ой, полноте, наверняка вы об этом думали!

— Билни сам полез в костер. Я всегда говорил, что этим кончится. Он каялся после первого ареста, а пойманным во второй раз нет милосердия.

Анна опускает глаза.

— Какое счастье для меня и для вас, что милосердие Божие безгранично! — Она заметным усилием берет себя в руки. Распрямляет стан. От нее пахнет лавандой и зеленой листвой. В сумерках ее алмазы холодны, как дождевые капли. — Король разбойников скоро вернется. Идемте его встречать.

Заканчивается уборка урожая. Ночи лиловы, комета сияет над жнивьем. Охотники скликают собак. После Крестовоздвижения на оленей больше не охотятся. Когда он был маленьким, в это время года мальчишки, жившие все лето на пустырях, возвращались домой мириться с отцами — обычно старались прошмыгнуть незаметно, когда приход празднует завершение жатвы и все пьяны. С Троицы они жили чем придется: ловили в силки кроликов и птиц, варили их в общем котле, гоняли проходящих девчонок, которые с воплем разбегались от них по домам, холодными дождливыми ночами тайком залезали в сараи, где согревались песнями, шутками и загадками.

В конце лета ему поручают продать котел, и он ходит от двери к двери, расписывая, что это за чудо-вещь.

— Купите котелок, хозяюшка, никогда не будете голодать. Бросьте туда рыбьи головы — выплывет палтус.

— Он дырявый?

— Целее не бывает! Не верите — помочитесь в него. Ну, сколько дадите? Таких котелков не видывали со дней, когда Мерлин был мальчишкой. Бросьте туда мышь из мышеловки — она превратится в запеченную кабанью голову с яблоком во рту.

— Сколько тебе лет? — спрашивает женщина.

— Не скажу.

— Приходи через год — полежим в моей пуховой постели.

— Через год я отсюда сбегу.

— Станешь бродячим фокусником? Будешь показывать всем свой котелок?

— Нет, лучше подамся в разбойники. Или буду поводырем с медведем — это надежнее.

Женщина говорит:

— Желаю успеха.

Вечером после купанья, ужина, пения и танцев его величество изъявляет желание прогуляться.

Король пьет домашнее вино, не крепче сидра, однако сегодня быстро опрокинул первый кубок и потребовал еще, так что Френсис Уэстон вынужден поддерживать захмелевшего монарха под локоток. Выпала обильная роса, и джентльмены с факелами осторожно ступают по мокрой траве, под ногами у них хлюпает. Король глубоко вдыхает сырой воздух.

— Вы не ладите с Гардинером, — говорит его величество.

— Я с ним не ссорился, — учтиво замечает Кромвель.

— Значит, Гардинер поссорился с вами. — Король исчезает во тьме и в следующий миг продолжает из-за горящего факела, словно Господь из неопалимой купины. — Я в силах управиться со Стивеном — как раз такой упрямый и решительный слуга мне сейчас нужен. Мне ни к чему люди, которые неспособны отстаивать свое мнение.

— Вашему величеству следует вернуться в дом. Ночные испарения вредны для здоровья.

— Ну в точности кардинал! — смеется король.

Он подходит к королю слева. У Френсиса Уэстона, молодого и хрупкого, уже немного подгибаются колени.

— Обопритесь на меня, сэр, — советует он, и

король повисает на его плече, сдавливая локтем горло. «Или поводырем с медведем — это надежнее». Ему кажется, будто король плачет.

Он не сбежал на следующее лето ни в разбойники, ни в медвежьи поводыри. В тот год мятежные корнуольцы двинулись на Лондон, чтобы захватить английского короля и подчинить своей корнуольской воле.[51] Страх бежал впереди мятежного войска: все знали, что корнуольцы жгут стога и режут поджилки скоту, предают огню дома вместе с жителями, убивают священников, едят младенцев и топчут священные облатки.

Король резко убирает руку с его плеча.

— Идемте к нашим холодным постелям. Или она только у меня холодная? Завтра — на охоту. Если у вас нет хорошего коня, вам подберут из моих. Проверю, так ли вы неутомимы, как говорил кардинал. Вам с Гардинером надо научиться тянуть в одной упряжке. Этим летом я намерен запрячь вас обоих в плуг.

Королю нужны не подъяремные волы, а неисто-

---

[51] Примечания Ольги Дмитриевой: 51

Имеется в виду восстание в Корнуолле в 1497 г., когда, протестуя против сбора налога на ведение войны с Шотландией, корнуольцы двинулись через всю страну к Лондону, чтобы высказать свои претензии королевским министрам. Армия Генриха VII разгромила их, обратив в бегство значительную часть участников марша, которые вовсе не намеревались сражаться.

вые быки, которые столкнутся лбами, увеча себя в битве за монаршие милости. Пока он не в ладу с Гардинером, у него больше шансов оставаться приближенным слугой. Разделяй и властвуй. Впрочем, он и так властвует.

Хотя парламент еще не созывали, осень выдалась на редкость напряженная. Толстые кипы королевских бумаг приносят почти ежечасно. В домена Остин-фрайарз толпятся купцы из Сити, монахи, священники — все молят уделить им по пять минут. Словно почуяв, что близится некая перемена власти, некое занятное действо, у ворот с утра пораньше собираются кучки лондонцев, глазеют на входящих челядинцев, тыча пальцами: вот человек в ливрее герцога Норфолка, вот посыльный от графа Уилтширского. Кромвель смотрит из окна, и ему кажется, что он их узнает: это сыновья тех самых людей, которые по осени грелись и судачили в дверях отцовской кузни, такие же мальчишки, каким был он сам, нетерпеливо ждущие чего-то нового.

Он смотрит на них и делает подходящее к случаю лицо. Эразм говорит, что всякий раз, выходя из дома, следует придать своим чертам желаемое выражение, натянуть, так сказать, маску. Он натягивает маску, вступая в любой дом, будь то

герцогский дворец или придорожная корчма. Он посылает Эразму деньги, как прежде кардинал. «На хлеб, чернила и перья», — говаривал милорд. Эразм удивлен, поскольку слышал о Томасе Кромвеле только дурное.

С того дня как его включили в королевский совет, он учился придавать лицу нужное выражение: наблюдал, как мелькают в чертах других придворных сомнения, опаска, непокорство, пока их не сменит всегдашняя угодливая полуулыбка. Рейф говорит, не следует доверять Ризли, и он смеется: с Зовите-меня все ясно. Он хорошо устроился при дворе, но начинал у кардинала — а кто нет? Гардинер был его наставником в Тринити-холле; он наблюдал, как мы оба пробиваемся наверх, как обрастаем мускулами — два бойцовых пса, — и никак не решит, на которого ставить. Я бы на его месте, наверное, метался бы точно так же. В мои дни было проще: снимай последнюю рубаху и ставь на Вулси. Ризли и таких, как Ризли, бояться незачем: всегда известно, чего ждать от людей без совести. Покуда ты их прикармливаешь, они тебе служат. Куда непредсказуемее, куда опаснее такие, как Стивен Воэн, пишущий: «Томас Кромвель, ради вас я готов на все». Друзья и единомышленники, чьи объятья

крепки, как на краю пропасти.

Он распорядился, чтобы людям, толпящимся перед домом на Остин-фрайарз, давали пиво и хлеб, а с наступлением заморозков еще и горячий мясной бульон. Терстон ворчит: вы что, решили кормить всю округу? Он смеется: давно ли ты жаловался, что погреба переполнены, а кладовые ломятся от снеди? Апостол Павел учит, что надо уметь жить в скудости и изобилии, в голоде и сытости. Он идет на кухню знакомиться с мальчишками, которых нанял Терстон. Те громко выкрикивают свои имена и занятия, а он с серьезным видом записывает все в книгу: Саймон умеет заправлять салат и бить в барабан, Марк знает наизусть «Отче наш». Все эти *гардзони*[52] наверняка способны учиться. Когда-нибудь и они смогут подняться на второй этаж, как и он, занять место в конторе. Всем им надо выдать теплую и пристойную одежду, а также проследить, чтобы они ее носили, а не продали; по ламбетским дням он помнит, как холодно в кладовых. На кухне у Вулси в Хэмптон-корте, где печные трубы хорошо тянули, залетные снежинки, бывало, кружили под потолком и оседали на балках. Когда мо-

---

[52] Примечания Ольги Дмитриевой: 52
мальчишки *(ит.).*

розным утром он на рассвете выходит из дома в окружении писцов, лондонцы уже ждут. Они пятятся, давая дорогу, и смотрят без приязни или вражды. Он говорит «доброе утро» и «благослови вас Бог», — некоторые отвечают: «Доброе утро!» Они снимают шляпы и, поскольку теперь он королевский советник, стоят с непокрытой головой, пока он не пройдет.

Октябрь: мсье Шапюи, посол императора, обедает в доме на Остин-фрайарз, и одно из блюд в меню — Стивен Гардинер.

— Не успел стать епископом Винчестерским, уже едет за границу, — говорит Шапюи. — Как по-вашему, понравится он королю Франциску? Неужто Генрих думает, что Гардинер преуспеет там, где не справился сэр Томас Болейн? Впрочем, наверное, мнение сэра Томаса может считаться предвзятым, все-таки дама — его дочь. Гардинер более… как вы это называете?.. более неопределенный? Менее заинтересованный, вот. Не вижу, с чего бы Франции поддержать этот брак, разве что Генрих предложит Франциску… что? Деньги? Корабли? Кале?

За столом, где собрались все домашние, мсье Шапюи рассуждал о поэзии и живописи, предавался воспоминаниям о своих университетских

годах в Турине, затем, повернувшись к Рейфу, который прекрасно говорит по-французски, завел речь о соколиной охоте — тема, наиболее уместная в разговорах с молодыми людьми.

— Вам надо как-нибудь поохотиться вместе с хозяином, — говорит Рейф. — Это единственная забава, на которую он хоть иногда находит немного времени.

— Метр Кромвель теперь играет в королевские игры.

Встав из-за стола, Шапюи хвалит обед, музыку, мебель. Видно, как работает мозг дипломата, словно щелкают маленькие шестеренки искусно сработанных часов, превращая наблюдения в шифрованное послание императору Карлу. В кабинете Шапюи вываливает целый ворох вопросов — один за другим, не дожидаясь ответа.

— Как Генрих будет обходиться без секретаря, пока епископ Винчестерский во Франции? Посольство мастера Стивена явно надолго. Может быть, это ваш шанс стать ближе к королю? Скажите, правда ли, что Гардинер — побочный кузен Генриха? И ваш племянник Ричард тоже? Императору трудно иметь дело с королем, в котором так мало царственности. Быть может, оттого он и хочет жениться на бедной дворяночке.

— Я бы не назвал леди Анну бедной.

— Да, король озолотил ее семейство, — ухмыляется Шапюи. — У вас в Англии девицам всегда платят вперед?

— О да, и вам следует это запомнить — мне бы не хотелось, чтобы за вами гнались по улице с дубиной.

— Вы помогаете леди Анне советами?

— Я просматриваю ее счета. Небольшая дружеская услуга.

— Дружеская! Вы знаете, что она ведьма? Она околдовала короля, и теперь ради нее он готов на все — стать изгоем христианского мира, заслужить вечное проклятие. И мне кажется, он отчасти это понимает. Я видел, каков он, когда она на него смотрит: мысли вразброс, душа мечется, словно заяц, которого преследует ястреб. Может, она и вас околдовала. — Мсье Шапюи подается вперед и кладет на его руку свою обезьянью лапку. — Сбросьте чары, *мон шер ами,* вы не пожалеете. Мой государь щедр.

Ноябрь. Сэр Генри Уайетт смотрит на стену в доме на Остин-фрайарз — туда, где раньше был кардинальский герб, а теперь голое место.

— Его нет с нами каких-то двенадцать месяцев, Томас, а мне кажется — куда дольше. Говорят,

будто для стариков один год ничем не отличается от другого, но я вам скажу, что это не так.

Сэр, кричат девочки, не такой уж вы старый, расскажите нам историю. Они тащат гостя к новому бархатному креслу и усаживают, как на трон. Каждой бы хотелось, чтобы сэр Генри был ее отцом, ее дедом. Старший Уайетт служил казначеем и у прежнего Генриха, и у нынешнего, и если Тюдоры бедны, то не по его вине.

Алиса и Джо были в саду, ловили кота. Сэр Генри любит, когда кошкам в доме оказывают почет; по просьбе детей он объясняет, из-за чего.

— Некогда, — начинает сэр Генри, — царствовал в Англии жестокий тиран по имени Ричард Плантагенет.

— Ой, они были просто ужас какие, эти Плантагенеты! — выпаливает Алиса. — А вы знаете, что некоторые из них до сих пор живы?

Общий смех.

— Правда-правда! — кричит Алиса. Щеки ее горят.

— … и я, ваш слуга Уайетт, рассказывающий эту историю, был брошен Ричардом в темницу с одним-единственным зарешеченным окошком…

Я спал на соломе, рассказывает сэр Генри. Наступила зима, но в темнице не было огня. Не

было ни еды, ни воды, потому что тюремщики про меня забыли. Ричард Кромвель слушает, подперев голову рукой, потом смотрит на Рейфа и оба, как по команде, поворачиваются к Томасу. Он делает успокаивающий знак рукой, мол, пусть будет так, без подробностей. Они знают, что сэра Генри не забыли в Тауэре. Тюремщики прижигали его каленым железом. Вырвали ему зубы.

— Что мне оставалось делать? — продолжает сэр Генри. — На мое счастье, темница была сырой, и я пил воду, которая текла по стенам.

— А что вы ели? — тихо и зачарованно спрашивает Джо.

— Ну вот мы и подошли к самому интересному.

Однажды, говорит сэр Генри, когда я думал, что наверняка умру, если чего-нибудь не съем, что-то заслонило свет. Я поднял глаза к решетке и увидел кошку — обычную черно-белую лондонскую кошку. «Здравствуй, кисонька», — сказал я ей. Она мяукнула и выронила то, что держала в зубах. Угадайте, что это было?

— Голубь! — кричит Джо.

— Мистрис, либо вы сами были узницей, либо слышали эту историю раньше.

Девочки забыли, что у сэра Генри не было по-

вара, не было вертела и огня. Молодые люди отводят глаза, ежась при мысли о том, как узник скованными руками рвет массу перьев, кишащих птичьими блохами.

— Какое-то время спустя за окном раздались колокольный звон и крики: «Тюдор! Тюдор!» Если бы не кошка с ее подарком, я не дожил бы до этого дня, не услышал, как ключ поворачивается в замке и сам король Генрих кричит: «Уайетт, вы здесь? Выходите и получите награду!»

Можно простить рассказчику некоторое преувеличение. Король Генрих не приходил в темницу, но приходил Ричард: смотрел, как тюремщик калит на огне железо, слушал крики Генри Уайетта, брезгливо отшатывался от вони паленого мяса и командовал продолжать пытку.

Говорят, Маленький Билни в ночь накануне казни сунул пальцы в пламя свечи и молил Христа научить его сносить боль. Очень неразумно увечить себя перед испытанием; впрочем, разумно или нет, но сейчас Кромвель об этом думает.

— А теперь, сэр Генри, — просит Мерси, — расскажите нам про львицу, пожалуйста. Мы не уснем, если не услышим эту историю.

— По справедливости ее должен рассказывать мой сын. Будь он здесь…

— Будь здесь ваш сын, — говорит Ричард, — дамы смотрели бы на него во все глаза и вздыхали — да, и ты, Алиса! — так что им было бы не до историй!

Оправившись после заключения, сэр Генри стал влиятельным человеком при дворе и некий почитатель прислал ему в дар львенка. Львенок оказался девочкой. Я растил ее в Алингтонском замке, как родное дитя, рассказывает сэр Генри, и, как все девицы, она выросла своевольной. Однажды, по моей собственной небрежности, она вышла из клетки. Леонтина, звал я, постой, я отведу тебя назад, но она бесшумно приникла к земле и посмотрела на меня; ее глаза горели огнем. И тут я понял, что я ей не отец, несмотря на всю прошлую заботу; я ее обед.

Алиса в ужасе прижимает руку ко рту.

— Сэр Генри, вы подумали, что настал ваш последний час!

— О да, и так бы оно и случилось, не выйди во двор мой сын Томас. Он сразу увидел, в какой я опасности, и позвал, Леонтина, иди сюда. Она повернула голову, и в то же мгновение я сделал шаг назад, потом еще и еще. Смотри на меня, говорил Томас. В тот день он был одет очень ярко, ветер развевал его пышные рукава, свободную накидку

и волосы — вы ведь знаете, они у него белокурые и длинные. Наверное, он казался столпом пламени — высоким и трепещущим на ветру. Леонтина замерла в недоумении, а я отступал, отступал, отступал…

Леонтина поворачивается, приникает к земле, оставляет отца, начинает подбираться к сыну. Слышите, как ступают ее мягкие лапы, чувствуете запах крови у нее изо рта? (Тем временем сэр Генри Уайетт, в холодном поту, пятится, пятится, пятится в безопасность.) Мягким чарующим голосом, молитвенно-напевно, Том Уайетт говорит с львицей, просит святого Франциска открыть ее жестокое сердце для милосердия. Леонтина смотрит. Слушает. Открывает пасть. Рычит. «Что она сказала?»

«Фи, фа, фо, фам, кровь англичанина чую там».

Том Уайетт неподвижен, как статуя. Конюхи с сетями подкрадываются к львице. В футе от Тома она вновь замирает, прислушиваясь. Уши ее подрагивают. Он видит розовую струйку слюны на могучей челюсти, чувствует запах псины от львиной шерсти. Она изготовилась к прыжку. Том чует ее дыхание. Видит, как дрожат напряженные мускулы, как разевается пасть. Прыжок — и она падает, крутясь в воздухе, прямо на стрелу,

вонзившуюся ей в ребра, кричит, стонет; вторая стрела входит в густой мех, и Леонтина, скуля, кружится на месте. На нее набрасывают сеть. Сэр Генри, хладнокровно приблизившись к львице, выпускает третью стрелу ей в горло.

Умирая, она рычит. Кашляет кровью, бьет лапами. У одного из конюхов до сих пор шрам от ее когтя. Шкура висит на стене в Аллингтоне.

— Приезжайте в гости, юные дамы, — говорит сэр Генри. — Увидите, какая она была огромная.

— Молитвы Тома услышаны не были, — со смехом замечает Ричард. — Святой Франциск, как я понимаю, не вмешался.

— Сэр Генри! — Джо тянет старика за рукав, — вы не рассказали самого главного.

— Ах да. Забыл. Потом мой героический сын отошел в кусты, и его стошнило.

Дети с шумом выдыхают и дружно принимаются хлопать. В свое время история достигла двора, и король — о ту пору молодой и чувствительный — был глубоко потрясен. Даже и сейчас, видя Тома, его величество кивает и шепчет про себя: «Том Уайетт. Укротитель львов».

Отдав должное ежевике со сливками (как раз для беззубых десен), сэр Генри говорит: «Если позволите, полслова наедине», и они удаляются

в кабинет. На вашем месте, говорит сэр Генри, я попросил бы назначить меня хранителем королевских драгоценностей. Этот пост, пока я его занимал, позволял мне следить за доходами короны.

— Попросить как?

— Через леди Анну.

— Может быть, ваш сын обратится к ней с такой просьбой?

Сэр Генри смеется, вернее, хмыкает, показывая, что оценил шутку. Если верить пьяницам в кентских кабаках и дворцовым слугам (например, Марку), Томас Уайетт получил от Анны все, на что может надеяться джентльмен, даже в публичном доме.

— Я намерен в этом году удалиться от двора, — продолжает сэр Генри. — Пора составлять завещание. Могу я назначить вас своим душеприказчиком?

— Почту за честь.

— Я не знаю другого человека, которому мог бы доверить свои дела. У вас очень надежная рука.

Он с недоуменной улыбкой пожимает плечами: ничто в мире не кажется ему надежным.

— Понимаю, — говорит Уайетт. — Наш общий друг в багряной мантии едва не утянул вас на

дно. Но гляньте на себя: вы едите миндаль в окружении домочадцев, у вас все зубы на месте, ваши дела идут в гору, а люди вроде Норфолка с вами учтивы. — Нет надобности добавлять: «В то время как год назад они вытирали о вас ноги». Сэр Генри преломляет пальцами коричную вафлю и бережно, словно гостию, кладет на язык — причастие мирских даров. Даже сейчас, через сорок лет после Тауэра, его мучают боли в изувеченных деснах. — Томас, я хочу вас кое о чем попросить… Вы приглядите за моим сыном? Будете ему отцом?

— Тому сколько, двадцать восемь? Возможно, он не обрадуется второму отцу.

— Больше, чем я, вы не навредите. Я много в чем раскаиваюсь, особенно в том, как его женил… Ему было семнадцать, он не хотел этого брака, хотел я ради поддержания связей с кентскими соседями — она дочь барона Кобема. Том всегда был пригожим, добрым и учтивым, казалось бы, чего еще? — но не знаю, была ли она верна ему хоть месяц. Ну и он отплатил ей той же монетой… весь Аллингтон полон его шлюх, открой шкаф — оттуда вывалится девка. Отправился за границу, и что из этого вышло? Угодил в итальянскую тюрьму, мне никогда не понять, что там

случилось. После Италии стал уж совсем шальной. Терцет написать — пожалуйста, а вот сесть и посмотреть, куда сплыли его деньги… — Сэр Генри трет подбородок. — В общем, сами знаете. При всех его недостатках, в Англии не сыщешь второго такого храбреца, как мой Том.

— Может, спустимся вниз и присоединимся к обществу? Для нас каждое ваше посещение — праздник.

Сэр Генри с усилием встает; он дороден, хотя ест только кашу и толченые овощи.

— Томас, как так случилось, что я состарился?

В гостиной разыгрывают спектакль: Рейф изображает Леонтину, все остальные покатываются со смеху. Не то чтобы мальчишки не поверили в историю про львицу, им просто хочется добавить в нее собственных красок. Ричард стоит на складном табурете и тихонько повизгивает, будто от страха. Кромвель решительно сдергивает мальчика за руку и говорит:

— Вы завидуете Тому Уайетту.

— Не сердитесь, хозяин! — Рейф, вновь обретя человеческую форму, плюхается на скамью. — Расскажите про Флоренцию. Что еще вы там делали, вы и Джованнино.

— Не знаю, стоит ли. Вы из этого тоже сделаете

фарс.

Расскажите, расскажите, упрашивает дети, а Рейф вкрадчиво мурлычет.

Кромвель озирается по сторонам.

— А точно Зовите-меня-Ризли здесь нет? Ну… в свободные дни мы сносили дома.

— Сносили? — переспрашивает Генри Уайетт. — И как же?

— Взрывали. Конечно, с дозволения владельца. Если только дом был не совсем ветхий, не грозил рухнуть на прохожих. Деньги мы брали только за порох. Не за оценку состояния дома.

— Весьма основательную, надо думать?

— Куча возни ради удовольствия на несколько секунд. Впрочем, некоторые из ребят потом всерьез зарабатывали этим на хлеб, для нас же во Флоренции это была скорее забава, вроде рыбалки. По крайней мере, она не оставляла нам времени и желания бедокурить. — Он мнется. — Ну, почти не оставляла.

Ричард спрашивает:

— Зовите-меня рассказал Гардинеру? Про вашего купидона?

— А ты как думаешь?

Король сказал ему, я слышал, вы изготовили поддельную статую. Король смеялся, но, возмож-

но, сделал для себя мысленно заметку; смеялся, потому что шутка против церковников, против кардиналов, а его величество сейчас расположен над ними шутить.

Секретарь Гардинер:

— Статуя, статут — невелика разница.

— В юриспруденции одна буква меняет все. Однако мои прецеденты не сфабрикованы.

— Просто излишне широко толкуются? — спрашивает Гардинер.

— Ваше величество, Констанцский собор даровал вашему предшественнику, Генриху V, такую власть над английской церковью, какой не получал еще ни один христианский монарх.

— Однако эта власть никогда не применялась, по крайней мере последовательно. Отчего так?

— Не знаю. По слабости?

— А теперь у нас более сильные советники?

— Более сильные короли, ваше величество.

За спиной у Генриха Гардинер корчит ему страшную рожу. Кромвель только что не хохочет вслух.

Год близится к концу. Приходите на скромный постный ужин, говорит Анна. Мы едим вилка-

ми.[53]

Он приходит, но общество ему не по вкусу. Анна завела себя комнатных собачек из числа королевских камергеров. Это Генри Норрис, Уильям Брертон, такого рода люди; здесь же, разумеется, ее брат, лорд Рочфорд. В их окружении Анна резка, с комплиментами разделывается безжалостно, словно хозяйка, сворачивающая шеи предназначенным на обед жаворонкам. Если отмеренная улыбка на миг сходит с ее лица, все они подаются вперед, готовые на что угодно, лишь бы угодить своей госпоже. Такого сборища глупцов еще поискать.

Сам он может быть где угодно, бывал где угодно. Воспитанный на застольных беседах в семействе Фрескобальди, в семействе Портинари, а позже — у кардинала, среди остроумцев и ученых, он вряд ли потеряет лицо в обществе ничтожеств, которыми окружила себя Анна. Видит Бог, эти джентльмены прилагают все усилия, чтобы он ощутил неловкость; он привносит уверенность, невозмутимость, язвительный стиль. Норрис, человек неглупый, да и давно уже не юнец, отупляет себя общением с подобными собеседниками,

[53] Примечания Ольги Дмитриевой: 53

Обычай пользоваться индивидуальными вилками в XVI в. был еще в новинку как при французском, так и при английском дворе.

а зачем? Ради того, чтобы быть подле Анны. Это почти шутка; впрочем, шутка, которую никто не смеет повторить вслух.

В тот первый вечер Норрис провожает его до дверей, берет за рукав, останавливает.

— Вы правда этого не видите? В Анне?

Он мотает головой.

— И каков же ваш идеал? Пухленькая немочка из тех, что вы встречали за границей?

— Мой выбор никогда не совпадет с выбором короля.

— Если это совет, преподайте его сыну вашего друга Уайетта.

— Думаю, молодой Уайетт все просчитал. Том женат и говорит себе: муки сердца преврати в стихи. Разве мы не умнеем с годами, переходя от влюбленностей к истинной любви?

— Вот я перед вами, — говорит Норрис. — Неужто я поумнел?

Кромвель протягивает Норрису платок — вытереть лицо, и вспоминает плат Вероники, на котором запечатлелся нерукотворный образ страждущего Христа. Интересно, проступят ли на ткани благородные черты Генри Норриса, и если да, вешать ли портрет на стену? Норрис отворачивается и замечает с легким смешком:

— Уэстон — молодой Уэстон, вы его знаете — ревнует к музыканту, которого она по вечерам приглашает петь. К слуге, который подбрасывает дров в камин, к горничной, которая снимает с нее чулки. Весь вечер, пока вы были здесь, он считал: гляньте, вот опять она смотрит на этого жирного мясника, за два часа она посмотрела на него пятнадцать раз.

— Жирным мясником был кардинал.

— Для Фрэнсиса все мастеровые одинаковы.

— Я заметил. Счастливо оставаться.

Счастливого пути, Том, говорит Норрис и хлопает его по плечу — рассеянно, почти как равного, почти как если бы они были друзьями; взгляд вновь обращен к Анне, шаг вновь обращен к соперникам.

Все мастеровые одинаковы? Вот уж нет! Чтобы стать мясником, довольно силы и острого топора, но без кузнеца откуда возьмется топор? Откуда возьмутся молотки, серпы, косы, ножницы и рубанки? Доспехи и наконечники стрел, пики и пушки? Якоря для кораблей? Гвозди и петли, засовы и кочерги? Вертела и котлы, стремена и удила, заклепки и пряжки? Откуда возьмутся кухонные ножи?

Он вспоминает день, когда пришла весть о

корнуольцах. Сколько ему было, двенадцать? Он только что почистил большие мехи и теперь их смазывал. Вошел Уолтер, глянул.

— Надо законопатить.

— Хорошо. (Обычный разговор с Уолтером.)

— Само не законопатится.

— Хорошо, хорошо! Я этим и занимаюсь.

Он поднимает голову. В дверях стоит их сосед Оуэн Мадок.

— Они идут. Вся округа вооружается. Генрих Тюдор готов драться. Королева и малыши в Тауэре.

Уолтер вытирает рот.

— Сколько еще?

Мадок говорит:

— А Бог их знает. Эти гниды умеют летать.

Томас выпрямляется. В руке у него четырехфунтовый молот с прочной ясеневой рукоятью.

На следующий день они работали до упаду. Уолтер ковал своим друзьям доспехи, Томасу досталось точить все, чем можно резать, рубить, протыкать мятежников. Мужчины в Патни не сочувствуют нехристям: мы платим подати, отчего же корнуольцам не платить? Женщины страшатся за свою честь. «Священник сказал, они блудят только с родными сестрами, — говорит Томас, — так что тебя, Бет, никто не тронет. А еще

поп сказал, срамной уд у них холодный и в чешуе, как у дьявола. Может, тебе понравится».

Бет чем-то в него швыряет, он уворачивается. Если в доме что-то разбито, значит, «я кинула это в Томаса».

— Поди тебя разбери, что тебе по вкусу! — говорит он.

Слухи множатся. Корнуольцы работают под землей, поэтому у них черные лица. Они плохо видят, поэтому их можно поймать в сеть. Король платит по шиллингу за каждого пойманного корнуольца, за крупного — два. А какого они роста, если пускают стрелы по ярду?

Все домашние предметы рассматриваются в новом свете: вертела, шпиговальные иглы, все, чем можно обороняться на близком расстоянии. Соседи тянутся в Уолтерову пивоварню, словно ожидают, что корнуольцы выпьют до капли весь английский эль. Оуэн Мадок приходит и просит выковать ему охотничий кинжал: гарда, желобок для стока крови, двенадцатидюймовое лезвие.

— Двенадцать дюймов? — переспрашивает он. — Да ты им себе ухо отрежешь!

— Послушаем, что ты запоешь, когда тебя схватят корнуольцы. Они насаживают таких мальцов на вертел и жарят на костре.

— А ты не можешь просто пришибить их веслом?

— Я тебя пришибу, чтобы меньше языком болтал! — орет Мадок. — О тебе еще до рождения шла дурная слава, сучонок паршивый!

Он показывает Мадоку нож, который сделал для себя и повесил на шею под рубахой: короткое лезвие, похожее на острый клык.

— Пресвятая Дева! — говорит Мадок. — Смотри, полегче с этой штуковиной.

Он спрашивает у сестры Кэт — положив четырехфунтовый молот на подоконник в «Пегасе», — почему обо мне дурная слава шла еще до рождения?

Спроси Моргана Уильямса, отвечает она. Хватает его за голову, целует. Ой, Том, Том, не суйся ты туда, пусть *он* дерется.

Кэт надеется, что корнуольцы убьют Уолтера. Она этого не говорит, но он понимает.

Когда я стану главой семьи, говорит он, все переменится, вот увидишь.

Морган объясняет, краснея (смущается неподобающей темы), что мальчишки, завидев его мать на улице, бежали за ней с криком: «Гляньте-ка, старая кобыла жеребая!»

Бет говорит:

— А еще у корнуольцев есть великан по имени Болстер, он влюблен в святую Агнессу, а она у них на знаменах, так что он идет на Лондон вместе с ними.

— Великан? — хмыкает он. — Вот *такого* роста?

— Погоди, — говорит Бет. — Увидишь его — живо разучишься шутки шутить.

Окрестные кумушки, рассказывает Морган, глядя на его мать, притворно охали и прицокивали языками: трудненько ей будет разродиться, гляньте, она уже сейчас ни в одну дверь не проходит!

Когда он появился на свет, крича, со сжатыми кулаками и мокрыми черными кудрями, Уолтер отправился шляться по улицам в компании дружков, горланя: «Сюда, красотки мои!» и «Эй, неплодные! Кому ребеночка заделать?»

Дату никто не записал. Он говорит Моргану, ну и отлично. У меня нет гороскопа, а значит, нет и судьбы.

Судьба распорядилась, чтобы сражения в Патни не было. Женщины уже приготовили хлебные ножи, мужчины держали под рукой плотницкие тесла и мясницкие топоры. Однако военная мясорубка Тюдора перемолола восставших раньше, в

Блэкхите. Теперь страшиться было некого. Кроме Уолтера.

Сестра Бет говорит:

— А знаешь про великана, Болстера? Он узнал, что святая Агнесса умерла. От горя он отсек себе руку, кровь потекла в пещеру, которую нельзя заполнить, потому что там внизу дыра — через морское дно, к центру земли, до самого ада. И так он умер.

— Хорошо, а то я из-за него весь извелся.

— Умер до следующего раза, — говорит сестра Бет.

Итак, он родился в неведомый день. В три года собирал хворост для кузни.

— Видали моего? — говорил Уолтер, ласкового трепля его по голове. Отцовские пальцы пахли дымом, ладонь была твердая и черная.

В последние годы, разумеется, ученые мужи не раз пытались вычислить дату его рождения по характеру и судьбе. Юпитер в благоприятном аспекте указывает на процветание. Восход Меркурия обещает умение легко и убедительно говорить. Если Марс не в Скорпионе, то я не знаю своего ремесла, говорит Кратцер. Его матери было пятьдесят два, и все думали, что она не сможет ни зачать, ни разродиться. Она таилась от всех,

прятала живот под широкой одеждой, пока было можно. Он родился и все спросили: ой, что это?

В середине декабря Джеймс Бейнхем, барристер из Миддл-темпла, кается в ереси перед епископом Лондонским. В Сити говорят, Бейнхема пытали, сам Мор задавал ему вопросы, стоя рядом с палачом, пока тот вращал ворот дыбы, требовал назвать, кто еще в судебных иннах заражен лютеровым лжеучением. Через несколько дней сожгли вместе монаха и кожевника. Монах вез книги через Норфолкские порты и, на свою голову, через док святой Екатерины, где поджидал с приставами лорд-канцлер. У кожевника нашли собственноручно переписанное сочинение Лютера «О свободе христианина». Всех их он знал: униженного и раздавленного Бейнхема, монаха Бейфилда, Джона Тьюксбери, который, видит Бог, не был доктором богословия. Так заканчивается год: в клубах дыма, в облаке человеческого пепла над Смитфилдом.

В первое утро нового года он просыпается до света и видит рядом с кроватью Грегори.

— Отец, надо вставать и ехать. Тома Уайетта арестовали.

В следующий миг он уже на ногах. Первая

мысль: Томас Мор нанес удар в сердце Анниного кружка.

— Куда его увезли? В Челси?

Грегори обескуражен.

— Почему в Челси?

— Король не может допустить… слишком близко… У Анны есть книги, она их ему показывала… он сам читал Тиндейла… кого Мор арестует следующим, короля?

Он берет рубаху.

— Мор тут ни при чем. Несколько остолопов устроили в Вестминстере дебош: прыгали через костер, били окна, как это обычно бывает… — Голос у Грегори усталый. — Затем подрались с дозорными, их отвели в участок, а сейчас прибежал мальчишка с запиской: не соблаговолит ли мастер Кромвель приехать и сделать стражнику новогодний подарок?

— Боже… — Он садится на постель, внезапно остро сознавая свою наготу: ступни, икры, ляжки, срам, волосатую грудь, щетину — и внезапно проступивший на плечах пот. Натягивает рубаху. — Поеду как есть. И мне надо прежде позавтракать.

Грегори говорит зло:

— Ты обещал быть ему отцом, вот и будь.

Он встает.

— Позови Ричарда.

— Я поеду с тобой.

— Езжай, если хочешь, но Ричард мне нужен на случай осложнений.

Никаких осложнений, просто долгий торг. Уже светает, когда молодые джентльмены, побитые, всклокоченные, в разорванной одежде цепочкой выходят во двор.

— Фрэнсис Уэстон, доброе утро, сэр, — говорит Кромвель, а про себя думает: «Знал бы, что ты здесь, не стал бы выкупать». — Почему вы не при дворе?

— Я там, — отвечает Фрэнсис, дыша вчерашними винными парами. — В Гринвиче, не здесь. Понятно?

— Раздвоение. Конечно, — говорит он.

— О, Господи. Господи Иисусе Христе. — Томас Уайетт щурится от слепящего снега, трет виски. — Больше никогда.

— До следующего года, — хмыкает Ричард.

Кромвель поворачивается и видит, как на улицу, волоча ноги, выходит последний из молодых джентльменов.

— Фрэнсис Брайан. Я мог бы догадаться, что без вас тут не обошлось. Сэр.

Кузен леди Анны дрожит от первого новогоднего морозца, как мокрый пес.

— Клянусь грудями святой Агнессы, пробирает!

Дублет на Фрэнсисе порван, ворот у рубашки болтается, одна нога в башмаке, другая — без, чулки спадают. Пять лет назад на турнире ему выбили глаз; повязка, видимо, свалилась в драке, и видна сморщенная, нездорового цвета глазница. Фрэнсис обводит двор единственным уцелевшим оком.

— Кромвель? Я не помню, чтобы вы были с нами вчера ночью.

— Я был у себя в постели и предпочел бы в ней оставаться.

— Ну так езжайте обратно! — Фрэнсис, рискуя упасть, вскидывает руки. — У какой из городских женушек вы нынче ночуете? У вас, небось, по одной на каждый день святок?

Он уже готов хохотнуть, но тут Брайан добавляет:

— У вас ведь, у сектантов, женщины общие?

— Уайетт, — поворачивается он к Тому. — Скажите своему другу прикрыться, пока не отморозил срам. Ему уже и без глаза не сладко.

— Скажите спасибо! — орет Томас Уайетт, раз-

давая приятелям тычки. — Скажите спасибо мастеру Кромвелю и отдайте, сколько мы должны. Кто еще приехал бы в такую рань с открытым кошельком, да еще в праздник? Мы могли просидеть здесь до завтра.

Не похоже, что у них на круг наберется хотя бы шиллинг.

— Ничего, — говорит он. — Я запишу на счет.

II «Ах, чем бы милой угодить?»

Весна 1532

Пришло время пересмотреть договоры, на которых стоит мир: между правителем и народом, между мужем и женой. Договоры эти держатся на усердном попечении одной стороны об интересах другой. Господин и супруг защищают и обеспечивают, супруга и слуга повинуются. Над хозяевами, над мужьями — Господь. Он ведет счет нашим непокорствам, нашим человеческим безумствам и простирает Свою десницу. Десницу, сжатую в кулак.

Вообразите, что обсуждаете эти материи с Джорджем, лордом Рочфордом. Джордж не глупее других, образован, начитан, однако сегодня больше занят огненно-алым атласом в прорезях бархатного рукава: поминутно тянет ткань пальцами, делая еще пышнее, так что похож на жонглера, катающего мячи на руке.

Пришло время сказать, что такое Англия, ее пределы и рубежи; не просто измерить и счесть береговые форты и пограничные стены, а оценить ее способность самой решать собственные

дела. Пришло время сказать, кто такой король, как он должен оберегать свой народ от любых посягательств извне, будь то военное вторжение или попытки указывать англичанам на каком языке им разговаривать с Богом.

Парламент собирается в середине января. Задача на март — сломить сопротивление епископов, недовольных новым порядком, ввести в действие законы, по которым — хотя платежи приостановлены уже сейчас — церковные доходы не будут поступать в Рим, а король станет главой церкви не только на бумаге. Палата общин составляет петицию против церковных судов, столь произвольных в своих решениях, столь зарвавшихся в определении своей юрисдикции. Документ ставит под сомнение сферу их полномочий, само их существование. Бумаги проходят через множество рук, но под конец он сам сидит над ними целую ночь, с Рейфом и Зовите-меня-Ризли, вписывает поправки между строк. Его цель — побороть оппозицию: Гардинер, хоть и состоит при короле секретарем, счел своим долгом возглавить атаку прелатов на новый закон.

Король посылает за мастером Стивеном. Гардинер входит в королевские покои: волосы на загривке дыбом, сам весь сжался, как мастифф,

которого тащат к медведю. У короля для человека такой комплекции необычно высокий голос, который в минуты ярости становится пронзительно-визгливым. Клирики — его подданные или только наполовину? А может, и вовсе не подданные, если клянутся в верности Риму? Не правильнее ли будет, кричит король, чтобы они присягали мне?

Стивен выходит из королевских покоев и прислоняется к стене, на которой резвятся нарисованные нимфы. Вынимает платок и, позабыв, зачем вынул, комкает ткань в огромной лапище, наматывает на ладонь, как повязку. По лицу катится пот.

Он, Кромвель, зовет слуг:

— Милорду епископу дурно!

Приносят скамеечку, Стивен смотрит на нее, смотрит на него, затем садится с опаской, будто не доверяет работе плотника.

— Как я понимаю, вы слышали?

Каждое слово.

— Если король посадит вас в тюрьму, я прослежу, чтобы вы не остались без самого необходимого.

— Черт бы вас побрал, Кромвель! Да кто вы вообще! Какой пост занимаете? Вы никто. Ничто.

Мы должны выиграть спор, а не просто раздавить несогласных. Кромвель виделся с Кристофером Сен-Жерменом, престарелым юристом, к чьим словам прислушивается вся Европа. В Англии нет человека, говорил Сен-Жермен, который не видел бы, что церковь нуждается в реформах, и чем дальше, тем больше; если церковь не способна сама себя реформировать, пусть ее реформируют король и парламент. К такому мнению я пришел, размышляя над этим вопросом несколько десятков лет.

Конечно, говорит старик, Томас Мор со мной не согласен. Возможно, время Томаса Мора прошло. Нельзя жить в Утопии.

Кромвель приходит к королю, и тот обрушивается на Гардинера: неверный, неблагодарный! Как может быть моим секретарем человек, возглавивший моих противников! (Давно ли Генрих превозносил Гардинера именно за независимость взглядов?) Он слушает молча, смотрит на Генриха, пытается усмирить бурю своим спокойствием, окутать короля тишиной, в которой тот услышит собственный голос. Великое дело — уменье отвратить гнев Льва Англии.

— Думаю… — мягко произносит Кромвель, — с позволения вашего величества, я думаю… Епис-

коп Винчестерский, как все мы знаем, любит поспорить. Но не с монархом. Он не стал бы перечить вашему величеству азарта ради. — Пауза. — Следовательно, его взгляды, хоть и ошибочные, вполне искренни.

— Да, но… — Король осекается. Генрих наконец услышал свой голос: тот самый, которым кричал на опального кардинала. Гардинер не Вулси — хотя бы потому, что никто о нем не пожалеет. Однако Кромвелю важно, чтобы строптивый епископ пока сохранил свой пост; Кромвеля заботит репутация Генриха в Европе, поэтому он говорит:

— Ваше величество, Стивен верой и правдой служил вам в качестве посла. Лучше прибегнуть к разумному убеждению, нежели всей тяжестью монаршей немилости подтолкнуть его к решительным действиям. Такой курс более приятен и более сообразен требованиям чести.

Он внимательно смотрит на короля. Генрих весьма чуток ко всему, что затрагивает честь.

— Это ваш совет на все времена?

Он улыбается.

— Нет.

— Так вы не считаете, что я всегда должен править в духе христианской кротости?

— Не считаю.

— Мне известно, что вы недолюбливаете Гардинера.

— Тем больше у вашего величества оснований прислушаться к моему совету.

Кромвель думает, Стивен, за тобой должок. И в свое время вексель будет предъявлен к оплате.

У себя дома он принимает парламентариев, джентльменов из судебных иннов и городских ливрейных компаний. Томас Одли, спикер, приходит вместе со своим протеже Ричардом Ричем, золотоволосым юношей, красивым, как вербный херувим, очень ясно, здраво и по-мирски мыслящим, и с Роуландом Ли, искренним неутомимым священником, меньше всего похожим на церковника. В последние месяцы Кромвель потерял многих друзей в Сити: одних сгубила болезнь, других — палачи. Томас Сомер, которого он знал много лет, умер, выйдя из Тауэра, куда его бросили за распространение Евангелия на английском. Сомер, любитель красивой одежды и быстрых скакунов, казался несгибаемым, пока не попал в руки лорда-канцлера. Джон Петит на свободе, но так слаб здоровьем, что не может заседать в палате общин и вообще не выходит из своей комнаты. Кромвель навещает Джона; больно слышать, как

мучительно тот дышит. Весна 1532 года, наконец-то теплые деньки, но больному не лучше. Словно грудь стиснута железным обручем, жалуется Джон, и этот обруч стягивается все туже и туже. Томас, если я умру, вы позаботитесь о Люси?

Временами, гуляя по саду с депутатами палаты общин или капелланами Анны, он остро чувствует отсутствие доктора Кранмера по правую руку от себя. Кранмер уехал в январе с посольством к императору, а по пути должен посетить немецких ученых-богословов, заручиться их согласием на брак короля.

— Что я буду делать, если в ваше отсутствие его величеству приснится сон? — спросил он, провожая Кранмера.

Тот улыбнулся.

— В прошлый раз вы все истолковали сами, я только кивал.

Он смотрит на Марлинспайка, который лежит, свесив лапы, на черном суку. «Джентльмены, это кот кардинала». Марлинспайк при виде гостей шмыгает вдоль стены и, подняв хвост трубой, исчезает неведомо куда.

В кухне *гардзони* учатся печь вафли. Для этого нужны глазомер, точность и твердая рука. Этапов много, и на каждом легко допустить ошибку.

Тесто должно быть определенной густоты, половинки вафельницы — тщательно смазаны жиром и раскалены. Они смыкаются со звериным визгом, валит пар. Если испугаешься и ослабишь хватку, будешь отскабливать от них вязкую массу. Надо выждать, пока пар перестанет идти, и начать отсчет. Если замешкаешься, в воздухе запахнет горелым. Успех и неудачу разделяют доли секунды.

Внося в парламент билль о приостановке платежей Риму, он потребовал, чтобы депутаты разошлись на две стороны. Порядок более чем необычный,[54] члены палаты возмущены, однако покорно расходятся: те, кто за билль, в одну сторону, те, кто против, — в другую. Присутствующий в зале король внимательно смотрит, кто его поддержал, и вознаграждает своего советника одобрительным кивком. В палате лордов такая тактика не сработает: король вынужден трижды лично отстаивать законопроект. Старая аристократия вроде Эксетеров, имеющих собственные притязания на корону, на стороне Екатерины и папы и не боится говорить об этом королю — пока не боится. Однако теперь он знает своих врагов и

[54] Примечания Ольги Дмитриевой: 54

Вопреки утверждению автора практика «разделения» в ходе голосования в парламенте не была необычной, хотя к ней прибегали нечасто.

старается, по мере возможности, их расколоть.

Как только у кухонных мальчишек получилась одна приличная вафля, Терстон велит им испечь еще сотню. Скоро оно становится второй натурой — быстрое движение, которым еще мягкую вафлю вываливаешь на деревянную лопаточку и с нее — на решетку для сушки, чтобы стала хрустящей. Удачные вафли — со временем они все будут удачными — украшают эмблемой Тюдоров и складывают по дюжине в инкрустированные шкатулки, в которых их подадут на стол: каждый хрустящий золотистый диск надушен розовой водой. Он посылает партию вафель Томасу Болейну.

Уилтшир считает, что как отец будущей королевы заслуживает особого титула, и дает понять, что не обиделся бы на обращение «монсеньор». После беседы с Болейнами — отцом и сыном — а также их друзьями, он, Кромвель, идет к Анне через покои Уайтхолла. Месяц от месяца ее положение все выше, но ему ее слуги кланяются. При дворе и в Вестминстере, где у него присутствие, он одет соответственно своему джентльменскому статусу, ни на йоту пышнее: в свободные куртки лемстерской шерсти, такой тонкой, что она струится, как вода, таких темных лиловых и

синих оттенков, словно в них просочилась ночь; на темных волосах — черная бархатная шапочка, светлого только и есть, что быстрые глаза и движения крепких, мясистых рук, да еще — отблеск огня на бирюзе Вулси.

В Уайтхолле — бывшем Йоркском дворце — по-прежнему идут работы. На Рождество король подарил Анне спальные покои. Его величество ввел ее туда сам, чтобы услышать, как она ахнет при виде занавесей серебряной и золотой парчи по стенам и резной кровати под алым атласным балдахином, расшитым изображениями цветов и детей. После Генри Норрис рассказал ему, что Анна не вскрикнула от восторга, только обвела взглядом опочивальню и улыбнулась. Лишь после этого она вспомнила об этикете и сделала вид, будто от оказанной чести лишилась чувств; король подхватил ее, и только очутившись в его объятиях, она ахнула. Я искренне надеюсь, сказал Норрис, что каждый из нас хоть раз в жизни исторгнет у женщины такой звук.

После того как Анна, преклонив колени, выразила свою признательность, Генрих, разумеется, вынужден был удалиться, выйти из сияющего великолепия, ведя ее под руку, назад к новогоднему столу, к гостям, которые пристально изучали вы-

ражение его лица и в тот же день распространили новость по всему миру в посланиях, обычных и шифрованных.

Когда, пройдя через бывшие покои кардинала, Кромвель застает Анну сидящей с дамами, она уже знает, или делает вид, будто знает, что сказали ее отец и брат. Они думают, что водительствуют ее тактикой, но она сама себе лучший тактик и стратег: умеет оглянуться и понять, что сделано не так. Его всегда восхищали люди, способные учиться на ошибках. Однажды — уже весна, и за открытым окном суетятся прилетевшие ласточки — она говорит:

— Вы как-то сказали мне, что лишь кардинал может дать королю свободу. А знаете, что я сейчас думаю? Как раз Вулси это бы и не удалось. Он был так горд, что хотел стать Папой. Будь он смиреннее, Климент бы ему не отказал.

— Возможно, в ваших словах что-то есть.

— Думаю, нам следует извлечь урок, — замечает Норрис.

Они разом оборачиваются. Анна спрашивает: «Вот как?», а он: «И какой же урок?»

Норрис в растерянности.

— Вряд ли кто-нибудь из нас станет кардиналом, — говорит Анна. — Даже Томас, который

метит высоко, не претендует на этот сан.

— Не знаю, я бы не стал биться об заклад. — Норрис выскальзывает из комнаты, как может выскользнуть только лощеный джентльмен, оставив Кромвеля наедине с дамами.

— Итак, леди Анна, — говорит он, — размышляя о покойном кардинале, находите ли вы время помолиться за его душу?

— Я думаю, что Господь ему судья, а мои молитвы ничего изменить не могут.

Мария Болейн произносит мягко:

— Анна, он тебя дразнит.

— Если бы не кардинал, вы бы вышли за Гарри Перси.

— По крайней мере, — бросает она резко, — я имела бы достойный статус супруги, в то время как сейчас…

— Ах, кузина, — говорит Мэри Шелтон, — Гарри Перси сошел с ума, это все знают. Он расточает свое состояние.

Мария Болейн смеется.

— Моя сестра считает, это от несчастной любви к ней.

— Миледи, — поворачивается Кромвель к Анне, — вам бы не понравилось в доме у Гарри Перси. Как все северные лорды, он держал бы вас

в холодной, продуваемой всеми ветрами башне, дозволяя спускаться только к обеду. И вот сидите вы за пудингом из овсяной крупы, замешенной на крови добытого в набеге скота, входит ваш супруг и повелитель, размахивая мешком — ах, милый, что тут, неужели подарок? — да, мадам, коли соблаговолите принять, — и вам на колени из мешка выкатывается отрубленная голова шотландца.

— Какой ужас! — шепчет Мэри Шелтон. — Так они там живут?

Анна смеется, прикрывая рот рукой.

— А вы, — продолжает он, — предпочитаете на обед куриную грудку-пашот под сливочным соусом с эстрагоном. И сыр, привезенный испанским послом для Екатерины, но загадочным образом очутившийся в моем доме.

— Ах, о чем мне еще мечтать? — восклицает Анна. — Шайка разбойников подкарауливает на дороге Екатеринин сыр…

— Совершив этот подвиг, я вынужден удалиться, оставив вас… — Он указывает на лютниста в углу, — с влюбленным, пожирающим вас глазами.

Анна бросает взгляд на Марка.

— И впрямь пожирает. Верно. Отослать его? В

доме хватает и других музыкантов.

— Не надо! — просит Мэри. — Он милый.

Мария Болейн встает.

— Я просто…

— Сейчас у леди Кэри будет очередная беседа с мастером Кромвелем, — произносит Мэри Шелтон воркующим тоном, будто сообщает нечто очень приятное.

Джейн Рочфорд: она вновь предложит ему свою добродетель.

— Леди Кэри, что вы такое намерены сказать, о чем нельзя говорить при нас?

Однако Анна кивает. Он может идти. Мария может идти. Очевидно, Марии предстоит передать ему нечто столь деликатное, чего Анна не может сказать сама.

За дверью:

— Иногда мне просто необходимо выйти на воздух.

Он ждет.

— Джейни наш брат Джордж, вам известно, что они терпеть друг друга не могут? Он с ней не спит и, если не ночует у другой женщины, до утра просиживает у Анны. Они играют в карты. В «Папу Юлия», до самой зари. Вы знаете, что король платит ее карточные долги? Ей нужно больше денег,

нужен собственный дом, не слишком далеко от Лондона, где-нибудь у реки…

— Чей дом она присмотрела?

— Нет-нет, она не собирается никого выселять.

— У домов обычно есть хозяева.

Тут ему приходит в голову неожиданная мысль. Он улыбается.

Мария продолжает:

— Как-то я посоветовала вам держаться от нее подальше. Однако теперь мы не можем без вас обойтись. Даже мои отец и дядя так говорят. Ничто не делается без короля, без его расположения, а сегодня если вы не с Генрихом, он спрашивает: «Где Кромвель?» — Она отступает на шаг и оглядывает его с головы до пят, словно незнакомца. — И моя сестра тоже.

— Мне нужна должность, леди Кэри. Мало быть советником — мне нужен официальный пост при дворе.

— Я ей скажу.

— Я хотел бы пост при сокровищнице. Или в казначействе.

Мария кивает.

— Она сделала Тома Уайетта поэтом. Гарри Перси — безумцем. Наверняка у нее есть какие-нибудь соображения, что можно сделать из вас.

На третий или четвертый день парламентской сессии Томас Уайетт приходит с извинениями за то, что в Новый год поднял его до зари.

— У вас есть полное право на меня сердиться, но я прошу, не надо. Сами знаете, что такое Новый год. Чашу пускают по кругу, и каждый должен пить до дна.

Он смотрит, как Уайетт расхаживает по комнате — любопытство, природная подвижность и отчасти смущение не позволяют тому сесть и произнести покаянные слова лицом к лицу. Поворачивает глобус, упирается указательным пальцем в Англию. Разглядывает картины, маленький домашний алтарь, вопросительно оглядывается через плечо; это моей жены, объясняет Кромвель я сохранил в память о ней. На мастере Уайетте светлый джеркин из стеганой парчи, отделанный соболиным мехом, который ему, вероятно, не по средствам, и дублет из рыжего шелка. Глаза голубые, мягкие, и грива золотых волос, теперь уже немного поредевших. Время от времени Уайетт подносит пальцы ко лбу, словно еще мучается новогодним похмельем, а на самом деле проверяет, не увеличились ли залысины за последние пять минут. Замирает перед зеркалом; очень часто. Господи, как же меня угораздило

— буянить на улице с толпой! Стар я для такого. А вот для лысины еще слишком молод. Как вы думаете, женщинам это важно? Очень? А если я отпущу бороду, она отвлечет… Скорее всего, нет. Впрочем, наверное, все равно отпущу. Королю борода идет, вы согласны?

Он спрашивает:

— Неужто отец ничего вам не советовал?

— Советовал. Стакан молока с утра. Айва, запеченная в меду — думаете, поможет?

Только бы не засмеяться! Кромвель старается относиться к ней серьезно, к своей новой роли Уайеттова отца.

— Я хотел спросить: не советовал ли вам отец держаться подальше от женщин, которые нравятся королю?

— Я держался. Помните, ездил в Италию? Потом еще год был в Кале. Сколько можно держаться подальше?

Вопрос из его собственной жизни. Действительно, сколько можно? Уайетт садится на скамеечку, упирается локтями в колени, стискивает пальцами виски. Слушает биение собственного пульса, смотрит отрешенно — может, сочиняет стихи? Поднимает голову.

— Отец говорит, после смерти Вулси вы — са-

мый умный человек в Англии. Так может быть, вы поймете, если я скажу — один-единственный раз, и повторять не буду. Если Анна не девственница, то я тут ни при чем.

Он наливает гостю вина.

— Крепкое, — говорит Уайетт, опустошив бокал. Смотрит через стекло на свои пальцы. — Наверное, надо сказать все.

— Если надо, скажите сейчас, и больше не повторяйте.

— А за шпалерой точно никого нет? Кто-то мне сказал, что среди слуг в Челси есть ваши люди. В наши дни нельзя доверять даже собственной челяди — повсюду шпионы.

— Скажите, когда их не было, — говорит Кромвель. — В доме у Мора жил мальчик, Дик Персер, сирота, которого Мор взял из гильдии. Не могу сказать, что Мор сам убил его отца — только посадил в колодки и бросил в Тауэр, а тот возьми да умри. Дик сказал другим мальчикам, что не верит, будто в церковной облатке присутствует Бог, и Мор приказал выпороть его перед всеми домашними. Я забрал Дика сюда. А что еще оставалось? Я готов взять любого, кого Мор будет притеснять.

Уайетт с улыбкой трогает рукой царицу Сав-

скую, читай — Ансельму. Король подарил Кромвелю шпалеру Вулси — вначале года, в Гринвиче, заметил, как он здоровается с ней взглядом, и спросил с мимолетной усмешкой: вы знакомы с этой женщиной? Был знаком. Кромвель объяснил, повинился. Неважно, ответил король, за каждым из нас есть грехи молодости, на всех не женишься… И добавил, тихо: я имел в виду, что она принадлежала кардиналу Йоркскому, потом, резче: вернетесь домой, приготовьте для нее место, она переселяется к вам.

Он наливает один бокал себе, другой — Уайетту, говорит:

— Гардинер поставил у ворот своих людей, смотреть, кто входит и выходит. Это городской дом, не крепость — но если сюда заберется кто-нибудь, кому здесь быть не след, мои домашние с удовольствием его вышвырнут. Мы все не прочь подраться. Я бы предпочел оставить свое прошлое позади, да не дают. Дядя Норфолк постоянно напоминает, что я был простым солдатом, и даже не в его войске.

— Вы так его называете? — Уайетт смеется. — Дядя Норфолк?

— Между собой. Однако я могу не напоминать, что сами Говарды думают о своем положении.

Вы росли по соседству с Болейнами и не станете ссориться с Уилтширом, какие бы чувства ни питали к его дочери. Надеюсь, вы ничего к ней не питаете.

— Два года, — говорит Уайетт, — я умирал от мысли, что другой к ней прикоснется. Однако что я мог ей предложить? Я женат, а к тому же — не герцог и не принц. Думаю, я нравился Анне, а может, ей нравилось держать меня при себе рабом. Ее это забавляло. Наедине она разрешала мне себя целовать, и я думал… но вы знаете, у Анны такая тактика, она говорит, да, да, да, а потом сразу — нет.

— А вы, конечно, образцовый джентльмен?

— По-вашему, я должен был ее изнасиловать? Когда она говорит «нет», она не кокетничает — Генрих это знает. А назавтра она снова позволяла себя целовать. Да, да, да, нет. А хуже всего ее намеки, почти похвальба, что она говорит «нет» мне и «да» другим.

— Кому?

— Ах, имена… имена испортили бы ей удовольствие. Все должно быть устроено так, чтобы, видя любого мужчину, при дворе или в Кенте, ты думал: это он? Или он? Или вот он? Чтобы ты постоянно спрашивал себя, чего тебе недостает,

почему ты никак не можешь ей угодить?

— Думаю, стихи вы пишете лучше всех — можете утешаться этим. Стихи его величества несколько однообразны, не говоря уже о том, что как-то все о себе да о себе.

— Его песня «В кругу друзей забавы» — когда я ее слышу, мне хочется завыть по-собачьи.

— Да, королю за сорок. Больно слушать, когда он поет о днях, когда был молод и глуп.

Он изучает Уайетта. Вид у юноши немного рассеянный, словно от неутихающей головной боли. Уверяет, будто Анна его больше не мучает, а по виду не скажешь. Он рубит безжалостно, как мясник:

— Так сколько, по-вашему, у нее было любовников?

Уайетт смотрит себе под ноги. Смотрит в потолок. Говорит:

— Десять? Ни одного? Сто? Брэндон пробовал убедить Генриха, что она — порченый товарец. Король отослал Брэндона от двора. А если бы попытался я? Сомневаюсь, что вышел бы живым из комнаты. Брэндон заставил себя говорить, потому что думает: рано или поздно она уступит Генриху, и что тогда? Разве он не поймет?

— Наверняка она это продумала. К тому же

король тут плохой судья. С Екатериной ему потребовалось двадцать лет, чтобы понять, что брат его опередил.

Уайетт смеется:

— Когда придет тот день или та ночь, Анна вряд ли сможет ему такое сказать.

— Послушайте. Вот мое мнение. Анна не беспокоится за первую брачную ночь, потому что ей нечего страшиться. — Он хочет сказать, потому что Анна живет не плотью, а расчетом, потому что за ее алчными черными глазами — холодный изворотливый мозг. — Я думаю, женщина, способная сказать «нет» королю — не раз и не два, — способна сказать «нет» любому числу мужчин, включая вас, включая Гарри Перси, включая всякого, кого ей угодно мучить ради забавы, пока она идет к тому положению, которое для себя наметила. Так что, я думаю, да, из вас сделали дурака, но не совсем так, как вы полагаете.

— Это следует понимать как слова утешения?

— Если они вас утешат. Будь вы и впрямь ее любовником, я бы за вас тревожился. Генрих верит в ее девственность. Во что еще ему верить? Но как только король женится, он начнет ревновать.

— А он женится?

— Я серьезно работаю с парламентом, поверьте

мне, и думаю, что сумею уломать епископов. А дальше — Бог знает… Томас Мор говорит, когда в правление короля Иоанна Англия была под папским отлучением, скот не плодился, зерно не спело, трава не росла, а птицы падали на землю. Но если до такого дойдет, — он улыбается, — мы всегда можем отыграть назад.

— Анна меня спросила: Кромвель, во что он на самом деле верит?

— Так вы беседуете? И даже обо мне? Не только да, да, да, нет? Я польщен.

Вид у Томаса Уайетта несчастный.

— А вы не ошибаетесь? Насчет Анны?

— Все возможно. Сейчас я верю тому, что она сама говорит. Мне так удобнее. Нам с ней так удобнее.

Провожая гостя до дверей:

— Заглядывайте к нам в ближайшее время. Мои девочки наслышаны о вашей красоте. Шляпу можете не снимать, если боитесь, что они разочаруются.

Уайетт играет с королем в теннис и знает, что такое уязвленная гордость. Выдавливает улыбку.

— Ваш отец рассказал нам историю про львицу. Мальчишки даже спектакль поставили. Может, заглянете как-нибудь и сыграете в нем собствен-

ную роль?

— А, львица. Задним числом не могу поверить, что это был я. Стоять на открытом месте и приманивать ее к себе. — Пауза. — Больше похоже на вас, мастер Кромвель.

Томас Мор приходит в Остин-фрайарз, отказывается от еды, отказывается от питья, хотя, судя по виду, нуждается и в том, и в другом.

Кардинал не принял бы отказа. Его милость усадил бы Мора за стол и заставил есть взбитые сливки с вином и пряностями. Или, будь сейчас весна — начало лета, дал бы гостю большую тарелку клубники и очень маленькую ложку.

Мор говорит:

— В последние десять лет турки захватили Белград. Жгли костры в великой библиотеке Буды. Всего два года назад они стояли у ворот Вены. Зачем вы хотите проделать еще одну брешь в стенах христианского мира?

— Король Англии — не язычник. И я тоже.

— Ой ли? Я не знаю, молитесь вы Богу Лютера и немцев, или языческому божку, которого отыскали в своих путешествиях, или английскому божеству собственного сочинения. Может быть, ваша вера продается. Вы служили бы султану, если бы вас устроила цена.

Эразм вопрошает, рождала ли природа что-либо добрее, любезнее и гармоничнее, чем нрав Томаса Мора?

Кромвель молчит. Сидит за письменным столом — Мор застал его за работой, — подперев голову руками. Поза, возможно, дает ему некое боевое преимущество.

У лорда-канцлера вид такой, будто он сейчас разорвет на себе одежды — они бы от этого только выиграли. Зрелище жалкое, но он решает не жалеть Мора.

— Мастер Кромвель, вы думаете, раз вы советник, вам можно за спиной короля вести переговоры с еретиками. Вы ошибаетесь. Я знаю все о вашей переписке с Воэном. Знаю, что он встречался с Тиндейлом.

— Вы мне угрожаете? Мне просто интересно.

— Да, — печально отвечает Мор. — Именно этим я и занимаюсь.

Он чувствует, как между ними — не государственными мужами, а людьми — смещается баланс власти.

Когда Мор уходит, Ричард говорит:

— Напрасно он так. В смысле, угрожал вам. Сегодня, благодаря должности, ему это сошло с рук. Завтра — кто знает?

Кромвель думает, мне было, наверное, лет девять, я убежал в Лондон и видел, как старуха пострадала за веру. Воспоминания вплывают в него, и он идет, словно подхваченный их течением, бросая через плечо:

— Ричард, посмотри, есть ли у лорда-канцлера эскорт. Если нет, приставь к нему наших и постарайся, чтобы его усадили на лодку в Челси. Не хватало только, чтобы он шатался по Лондону, пугая своими речами каждого, к чьим воротам подойдет.

Последнюю фразу он неожиданно для себя произносит по-французски. Ему представляется Анна, которая протягивает к нему руки. *Maître Cremuel, à moi.* Он не помнит, в каком году, но помнит, что в апреле, и еще помнит крупные капли дождя на светлых молодых листьях. Не помнит, за что злился Уолтер, но помнит холодный нутряной страх и бьющееся о ребра сердце. В те дни, если нельзя было спрятаться у дяди Джона в Ламбете, он уходил в Лондон — искал, где можно заработать пенни, бегал с поручениями по набережной, таскал корзины, помогал нагружать тачки. Если свистели, он подходил, и только чудом, как понимает задним числом, не втянулся в такие дела, за которые могут заклеймить или вы-

пороть, не кончил дни одним из сотен маленьких утопленников в водах Темзы. В таком возрасте еще не думаешь своей головой. Если кто-нибудь говорил, там интересно, он бежал, куда указывали. И он ничего не имел против той старухи, просто никогда не видел, как сжигают на костре.

В чем она провинилась? — спросил он, и ему ответили: она лоллардка. Из тех, кто говорит, что Бог на алтаре — просто кусок хлеба. Обычного хлеба, какой печет булочник? — переспросил он. Они сказали, пропустите мальчика вперед, пусть увидит поближе, ему это пойдет на пользу: впредь будет всегда ходить к мессе и слушать священника. Его вытолкнули в первый ряд. Давай сюда, малыш, встань со мной, сказала женщина в чистом белом чепце, широко улыбаясь. И еще она сказала: за то, что смотришь, тебе прощаются все грехи. А те, кто принесет вязанку дров, будут на сорок дней меньше мучиться в чистилище.

Когда приставы вели лоллардку, зрители кричали и улюлюкали. Он увидел, что она бабушка — старенькая-престаренькая. На ней не было ни чепца, ни покрывала; волосы, казалось, вырваны из головы клоками. Люди в толпе говорили: это она сама их вырвала, от отчаяния. За лоллардкой шествовали два священника — важно,

словно жирные серые крысы, с крестами в розовых лапках. Женщина в чистом чепце стиснула его плечо, как мать, если бы у него была мать. Смотри, сказала она, восемьдесят лет старухе, и так погрязла в грехе. Мужчина рядом заметил: мяса-то на костях всего ничего, сгорит быстро, если ветер не переменится.

А в чем ее грех? — спросил он.

Я тебе объяснила. Она говорит, будто святые — просто деревяшки.

Как столб, к которому ее привяжут?

Да, именно.

Столб тоже сгорит.

К следующему разу сделают новый, сказала женщина, снимая руку с его плеча. В следующий миг она выбросила кулаки в воздух и завопила истошно, пронзительно, как дьяволица: у-лю-лю! Напирающая толпа подхватила крик. Все протискивались вперед, кричали, свистели, топали ногами. При мысли о предстоящем зрелище его бросило разом в жар и в холод. Он повернулся к женщине, которая была его матерью в этой толпе. Смотри, сказала она и ласково-ласково развернула лицом к столбу. Смотри хорошенько. Приставы сняли цепи и привязывали старуху к столбу.

Столб был установлен в груде камней. Подошли какие-то джентльмены и священники, может, епископы, он не разбирался. Они призывали лоллардку отречься от своей ереси. Он стоял близко и видел, как шевелятся ее губы, но не слышал слов. А если она сейчас передумает, ее отпустят? Нет, эти не отпустят, хохотнула женщина. Гляди, она призывает на помощь сатану. Джентльмены отошли. Приставы придвинули к старухе дрова и тюки с соломой. Женщина тронула его плечо. Будем надеяться, дрова сырые, а? Отсюда хорошо видать, прошлый раз я стояла в задних рядах. Дождь перестал, выглянуло солнце, и когда подошел палач с факелом, пламя было едва различимо — скорее как колыхание угря в мешке, чем как огонь. Монахи пели и протягивали лоллардке крест, и только когда они попятились от первых клубов дыма, зрители увидели, что костер горит.

Они с ревом хлынули вперед. Приставы теснили их жезлами, кричали назад, назад, назад. Толпа отступила и тут же, с гиканьем и пеньем, будто это игра, вновь стала напирать. Дым мешал смотреть, зрители, кашляя, разгоняли его руками. Чуете, запашок пошел? Жарься-жарься, старая свинья! Он задержал дыхание. Из дыма неслись крики лоллардки. Вот, теперь-то она

призывает святых, говорили в толпе. А знаешь, нагнувшись, зашептала ему женщина, что в огне они истекают кровью? Некоторые думают, они просто съеживаются, а я видела раньше и знаю.

К тому времени, как дым рассеялся и стало хорошо видно, старуха уже пылала. Толпа ликующе завопила. Все вокруг говорили, она долго не протянет, но ему показалось, что прошло еще очень много времени, прежде чем крики затихли. Неужто никто о ней не молится? — спросил он, и женщина ответила: а что толку? Даже после того как кричать стало нечему, приставы по-прежнему ворошили дрова. Они ходили вокруг костра, затаптывали отлетевшую солому, а головешки башмаками придвигали назад к огню.

Когда зрители, оживленно болтая, двинулись по домам, тех, кто стоял с подветренной стороны, можно было отличить по серым от золы лицам. Он тоже хотел домой, но вспомнил про Уолтера, который сказал, что живого места на нем не оставит, поэтому досмотрел, как приставы железными прутами отковыривали от цепей прижаренные человечьи останки. Подойдя к приставам, он спросил, каким должно быть пламя, чтобы сгорели кости. Он думал, они разбираются, но они не поняли вопроса. Люди, если они не

кузнецы, думают, будто весь огонь одинаковый. Отец научил его отличать оттенки красного: малиново-красный, вишнево-красный и, наконец, тот огненно-алый, который называют багряным.

Старухин череп остался на земле, большие кости тоже. Изломанная грудная клетка была не больше собачьей. Пристав железным прутом подцепил череп за глазницу и поставил на камни, лицом к себе, потом размахнулся что есть силы, чтобы разнести его вдребезги, но промазал (еще по замаху было видно, что не попадет). Маленький, похожий на звездочку осколок отлетел в грязь, но сам череп остался стоять. Тьфу ты, нелегкая, сказал пристав. Хочешь попробовать, малец? Один хороший удар — и в лепешку.

Обычно он на любое предложение отвечал «да», но сейчас попятился, пряча руки за спиной. Кровь Господня, сказал пристав, хотел бы я иметь возможность быть таким разборчивым. Вскоре после этого начался дождь. Приставы вытерли руки, высморкались на землю и ушли. Ломы они побросали рядом с останками лоллардки. Он выбрал себе один на случай, если потребуется оружие. Потрогал острый конец, срезанный как у зубила, и попытался сообразить, сколько отсюда до дома и придет ли за ним Уолтер, а еще что

значит «живого места не оставлю» — это ножом изрезать или в огне сжечь? Надо было спросить приставов, пока те не ушли — наверняка слуги закона в таком разбираются.

В воздухе по-прежнему пахло горелым мясом. Он задумался, где теперь лоллардка — в аду или еще где-нибудь рядом, но призраки его не пугали. Для господ тут же, рядом, стояла трибуна, и хотя навес уже убрали, от дождя можно было укрыться под дощатым настилом. Он помолился о старухе, думая, что уж вреда-то по крайней мере не будет. Молясь, шевелил губами. Вода собралась на настиле в лужу и капала в щель. Он считал время между каплями, ловил их в горсть — просто так, для развлечения. Начало смеркаться. В обычный день он бы уже проголодался и побрел на поиски еды.

В сумерках пришли какие-то люди; по тому, что среди них были женщины, он понял, что они не стражники и не станут его обижать. Они встали вокруг столба на груде камней. Он вынырнул из-под настила и подошел к ним, сказал, хотите, расскажу, что здесь было? Однако никто не поднял головы и не ответил. Они встали на колени, и он подумал, что они молятся. Я тоже о ней молился, сказал он.

Правда? Хороший мальчик, сказал один мужчина, не поднимая глаз. Если бы этот человек на меня посмотрел, подумал он, то увидел бы, что я не хороший мальчик, а дрянной сорванец, который бегает со своей собакой и забывает приготовить соляной раствор для кузницы, и когда Уолтер кричит, где бадья для закаливания, ее нет. Живот схватило при воспоминании, что *о* он не сделал и почему отец обещал не оставить на нем живого места.

Он увидел, что пришедшие не молятся, а ползают на четвереньках. Это были друзья лоллардки, они пришли ее собрать. Одна из женщин — она стояла на коленях, расправив юбки, — держала в руках глиняную миску. Он всегда хорошо видел, даже в сумерках, поэтому вытащил из грязи осколок кости. Вот, сказал он. Женщина протянула миску. Вот еще.

Один мужчина стоял в стороне. А этот почему не помогает? — спросил он.

Это часовой. Свистнет, если появится стража.

Она нас заберет?

Быстрей, быстрей, сказал другой мужчина.

Когда миска наполнилась, державшая ее женщина сказала: «Дай руку».

Он послушался. Женщина опустила пальцы в

миску и мазнула ему по тыльной стороне ладони жирной золой.

— Джоанна Боутон, — сказала она.

Теперь, вспоминая все это, он дивится своей дырявой памяти. Женщину, чьи останки унес в ту ночь на собственной коже, он не забыл, но вот отчего куски его детской жизни не складываются в одно целое? Он не помнит, как вернулся домой и что сделал с ним Уолтер, да и вообще почему он убежал, не приготовив раствор. Может, думает он, я рассыпал соль и побоялся сказать? Скорее всего, так. Ты боишься и потому не выполняешь, что тебе поручено; несделанная работа рождает еще больший страх; в какой-то момент нестерпимый ужас гонит тебя куда глаза глядят. Тогда ребенок оказывается в толпе и видит убийство.

Он никому об этом не говорил. Можно рассказывать Рейфу и Ричарду истории из своего прошлого (в пределах разумного), однако он не намерен отдавать частицы себя. Шапюи часто приходит обедать и пытается отковырять от его жизни кусочки, как отковыривает мясо от кости.

Кто-то мне сказал, что ваш отец был ирландцем. Ждет, насторожив уши.

Впервые об этом слышу, отвечает он, но уверяю вас, отец был загадкой даже для меня самого.

Шапюи шмыгает носом и говорит: у ирландцев очень буйный нрав.

— Скажите, правда ли, что вы покинули Англию в пятнадцать лет, сбежав из тюрьмы?.

— Конечно, — отвечает он. — Ангел разбил мои цепи.

У Шапюи все услышанное идет в дело. «Я спросил Кремюэля, так ли это, и он ответил богохульством, непригодным для ушей вашего императорского величества». Посол всегда находит, чем заполнить очередное донесение. Если нет новостей, шлет сплетни — те, что черпает из сомнительных источников, и те, что скармливает императору сознательно. Английского Шапюи не знает, так что получает новости на французском от Томаса Мора, на итальянском — от Антонио Бонвизи и Бог весть на каком языке — на латыни? — от Стоксли, епископа Лондонского, у которого тоже часто обедает. Шапюи внушает императору, что англичане недовольны королем и поддержат испанцев, если те высадятся в Англии. Вот здесь посол глубоко заблуждается. Англичане любят Екатерину — по крайней мере, таково общее впечатление. Они могут не одобрять или не понимать последних решений парламента. Однако инстинкт ему подсказывает: они спло-

тятся перед лицом иностранного вторжения. Екатерину любят, забыли, что она испанка, потому что она здесь давным-давно. Это те же люди, что громили дома чужеземцев в майский бунт подмастерьев. Те же люди, черствые, упрямые, привязанные к своему клочку земли. Сдвинуть их может только превосходящая сила — скажем, коалиция императора и Франциска. Впрочем, конечно, нельзя исключить возможность, что такая коалиция будет создана.

После обеда он провожает Шапюи к телохранителям, рослым фламандцам, которые от нечего делать болтают, в том числе о нем. Шапюи знает, что он жил в Нидерландах. Неужели думает, будто он не понимает по-фламандски? Или это какой-то изощренный двойной блеф?

Были дни, не так давно, после смерти Лиз, когда с утра, прежде чем с кем-нибудь заговорить, надо было решать, кто он и зачем. Когда, пробудясь, искал мертвых, которых видел во сне. Когда его дневное «я» трепетало на пороге возвращения к яви.

Однако нынешние дни — не те дни.

Временами, когда Шапюи заканчивает выкапывать из могилы кости Уолтера и сочинять Кромвелю другую жизнь, он чувствует почти

неодолимое желание выступить в защиту отца, в защиту своего детства. Однако бесполезно оправдываться. Бесполезно объяснять. Мудро — скрывать прошлое, даже если нечего скрывать. Отсутствие фактов — вот что пугает людей больше всего. В эту зияющую пустоту они изливают свои страхи, домыслы, вожделения.

14 апреля 1532 года король назначает его хранителем драгоценностей. С этого поста, сказал Генри Уайетт, вы сможете наблюдать за королевскими доходами и расходами.

Король кричит во всеуслышание:

— Почему, скажите, почему я не могу дать место при дворе сыну честного кузнеца?

Он улыбается про себя такой характеристике Уолтера, куда более лестной, чем все, что навыдумывал испанский посол. Король говорит:

— Тем, кто вы сейчас, вас сделал я. И никто другой. Все, что у вас есть, — от меня.

Трудно обижаться на короля за эту детскую радость. Генрих в последнее время так благодушен, так сговорчив и щедр — надо прощать ему мелкие проявления тщеславия. Кардинал говорил, англичане простят королю все, кроме новой подати. И еще кардинал говорил, неважно, как официально зовется пост. Пусть только другой

член совета на время отвернется: когда посмотрит снова, он увидит, что я выполняю его работу.

Как-то апрельским днем он сидит в вестминстерском присутствии, и туда входит Хью Латимер, только что из Ламбетского дворца, где находился под стражей.

— Ну? — говорит Хью. — Извольте оторваться от своей писанины и пожать мне руку.

Он встает из-за стола и обнимает Хью: пыльная черная куртка, мышцы, кости.

— Так вы произнесли перед Уорхемом речь?

— Экспромтом по обыкновению. Она лилась сама, как из уст младенца. Может, старик, чувствуя близость собственного конца, утратил вкус к сожжениям. Он весь усох, словно стручок на солнце, и слышно, как громыхают кости. Так или иначе, я перед вами.

— В каких условиях вас держали?

— Голые стены — моя библиотека. По счастью, я все нужные тексты ношу в голове. Уорхем отпустил меня с предупреждением. Сказал, если я не понюхал огня, то понюхал дыма. Мне такое и раньше говорили. Уж, наверное, лет десять, как я стоял по обвинению в ереси перед Багряным Зверем. — Смеется. — Но Вулси вернул мне разрешение проповедовать. И еще поцеловал на

прощанье. И перед этим сытно накормил. Итак? Скоро ли у нас будет королева, любящая слово Божье?

Он пожимает плечами.

— Мы… послы ведут переговоры с французами. Дело движется к миру. У Франциска целая свора кардиналов, их голоса в Риме будут не лишними.

— По-прежнему пресмыкаемся перед Римом?

— Приходится.

— Мы должны обратить Генриха. Обратить его к слову Божию.

— Возможно. Но не сразу. Постепенно.

— Я хочу попросить епископа Стоксли, чтобы мне разрешили навестить Бейнхема. Пойдете со мной?

Бейнхем — барристер, которого в прошлом году арестовал и пытал Мор. Перед самым Рождеством задержанный предстал перед епископом Лондонским, отрекся и к февралю был отпущен. Всякий человек хочет жить, что тут удивительного? Однако, выйдя на свободу, Бейнхем лишился сна. Однажды в воскресенье он с Библией Тиндейла в руках вышел на середину церкви и перед всем народом исповедал свою веру. Теперь он в Тауэре, ждет, когда объявят дату казни.

— Так что? Идете или нет?

— Я не хочу давать лорду-канцлеру оружие против себя.

Я мог бы поколебать решимость Бейнхема, думает он. Сказать: верь во что хочешь, брат, поклянись в том, чего от тебя требуют, и скрести за спиной пальцы. Только теперь не важно, что скажет Бейнхем. Нет милости тем, кто отрекался прежде, они должны гореть.

Хью Латимер уходит размашистой походкой. Милость Божия с Хью, когда тот идет к реке, и когда садится в лодку, и когда выходит из лодки у стен Тауэра, а коли так, зачем ему Томас Кромвель?

Мор говорит, допустимо лгать еретикам или понуждать их к признанию хитростью. Они не имеют права хранить молчание, даже если собственные слова их обличают. Если они молчат, ломайте им пальцы, жгите каленым железом, вздергивайте на дыбу. Это законно, мало того, это богоугодно, — говорит Мор.

В палате общин есть группа депутатов, которые обедают со священниками в таверне «Голова королевы». Они утверждают (и слова эти вскорости разносятся по всему Лондону), что всякий, поддержавший развод короля, проклят. Бог, го-

ворят эти джентльмены, всецело на их стороне; на заседаниях присутствует ангел со свитком, который смотрит, кто как голосует, и помечает черным имена тех, кто боится Генриха больше, чем Всевышнего.

В Гринвиче монах по имени Уильям Пето, глава английского отделения францисканского ордена, произносит перед королем проповедь, взяв за основу текст о злосчастном Ахаве — седьмом царе Израиля, жившем во дворце из слоновой кости. По наущению нечестивой Иезавели он воздвиг языческий алтарь и включил жрецов Ваала в свою свиту. Пророк Илия сказал Ахаву, что псы будут лизать его кровь. Разумеется, так и вышло, ведь помнят только успешных пророков. Псы Самарии лизали кровь Ахава. Его сыновья погибли и лежали непогребенными на улицах. Иезавель выбросили из окна. Дикие псы разорвали ее в клочья.

Анна говорит:

— Я — Иезавель. Вы, Томас Кромвель, — жрец Ваала. — Глаза ее горят. — Поскольку я женщина, то через меня грех входит в мир. Я — врата дьявола, мною нечистый искушает человека, к которому не смеет подступиться напрямик. Так представляется им. Мне представляется, что у

нас слишком много неграмотных священников, которым нечем себя занять. И я желаю папе, императору и всем испанцам утонуть в море. А если кого и выкинут из окна… *alors,*[55] Томас, я знаю, кого хотела бы выкинуть. Только у маленькой Марии дикие псы не найдут и клочка мяса, а Екатерина такая жирная, что приземлится, как на подушки.

Томас Авери возвращается в Англию, ставит дорожный сундучок со всеми пожитками на плиты двора и, словно ребенок, вскидывает руки, обнимает хозяина. Весть о его назначении достигла Антверпена. Стивен Воэн от радости побагровел, как свекла, и выпил целый кубок вина, даже не разбавив водой.

Заходи, говорит Кромвель, тут пятьдесят человек ждут встречи со мной, но пусть ждут дальше, а ты заходи и рассказывай, как там все. Томас Авери сразу начинает говорить, но, переступив порог дома, умолкает. Смотрит на шпалеру, подаренную королем. Потом на хозяина. Потом снова на шпалеру.

— Кто эта дама?

— Не догадываешься? — Он смеется. — Царица

---

[55] Примечания Ольги Дмитриевой: 55
в таком случае *(фр.).*

Савская в гостях у Соломона. Подарок короля. Из бывших вещей кардинала. Король увидел, что она мне нравится. А он любит делать подарки.

— Наверняка очень дорого стоит. — Авери смотрит на шпалеру уважительным взглядом юного счетовода.

— Посмотри, — говорит он юноше. — У меня тут еще один подарок, как тебе? Возможно, единственное доброе, что вышло из монастыря. Брат Лука Пачоли писал ее тридцать лет.

Книга переплетена в темно-зеленую кожу с золотым тиснением по краям, золотой обрез так и сияет. На застежках — круглые гранатовые кабошоны, почти черные, просвечивающие.

— Даже страшно открывать, — говорит юноша.

— Прошу. Тебе понравится.

Это «Сумма арифметики». Кромвель открывает застежки. На первой странице гравюра — портрет автора с раскрытой книгой и двумя циркулями.

— Недавно отпечатана?

— Не совсем, но мои венецианские друзья только сейчас обо мне вспомнили. Вообще же я был ребенком, когда Лука ее писал, а тебя тогда не было и в помине. — Он едва прикасается к страницам кончиками пальцев. — Здесь он пишет о геометрии, видишь чертежи? А здесь — что

не следует ложиться спать, не сведя приход и расход.

— Мастер Воэн цитирует эту максиму. Мне из-за нее приходилось сидеть до зари.

— И мне. — Много ночей во многих городах. — Лука был человек бедный. Родился в Сан-Сеполькро. Дружил с художниками, стал превосходным математиком в Урбино — это городок в горах, где великий кондотьер граф Федериго собрал библиотеку более чем в тысячу томов. Лука преподавал в университете Перуджи, затем Милана. Не понимаю, как такой человек мог оставаться монахом; впрочем, иных математиков и алгебраистов бросали в тюрьму как колдунов, и, возможно, он считал, что церковь его защитит… Я слушал его в Венеции, двадцать лет назад, примерно в твоем возрасте. Он говорил о пропорциях — в здании, музыке, живописи, правосудии, хозяйстве, государстве, как должны быть уравновешены права и власть государя и подданных, и как тщательно богатым людям следует вести бухгалтерию, молиться и помогать бедным. О том, как должна выглядеть печатная страница. Каким должен быть закон. И что делает красивым человеческое лицо.

— Я узнаю об этом из его книги? — Томас Авери

смотрит на царицу Савскую. — Думаю, тот, кто делал шпалеру, знал.

— Как Женнеке?

Юноша благоговейно перелистывает страницы.

— До чего красивая книга! Наверное, венецианские друзья очень вас почитают.

Значит, Женнеке больше нет, думает он. Либо умерла, либо полюбила другого.

— Иногда, — говорит Кромвель, — итальянские друзья присылают мне стихи, однако я думаю, вся поэзия здесь… Не в том смысле, что страница цифр — стихотворение, а в том, что прекрасно все точное, все соразмерное в своих частях, все пропорциональное… ты согласен?

Чем царица Савская так приковала взгляд Авери? Юноша не мог видеть Ансельму, даже слышать о ней не мог. Я рассказал о ней Генриху, думает он. В один из тех вечеров, когда сообщил королю мало, а король мне — много: как он дрожит от страсти, думая об Анне, как пытался утолить вожделение с другими женщинами, чтобы мыслить, говорить и действовать разумно, и как у него ничего с ними не получилось. Странное признание, однако король видит в этом оправдание себе, своей цели. Я преследую

одну лань, говорит Генрих, дикую и робкую, она уводит меня с троп, по которым ступали другие, одного в чащу леса.

— А теперь, — объявляет он, — мы положим эту книгу на твой стол, пусть тебя утешает, когда на душе такое чувство, будто все не сходится.

Он возлагает большие надежды на Томаса Авери. Не так сложно нанять мальчишку, который будет суммировать числа в графах и подкладывать бумажку тебе на стол, чтобы ты ее подписал и спрятал в сундук. Но зачем? Страница из бухгалтерской книги — как стихи, нельзя покивать и забыть, ей надо открыть сердце. Над нею как над Писанием надо размышлять, учиться поступать правильно. Люби ближнего. Изучай рынок. Умножай благо. В следующем году увеличь прибыль.

Казнь Джеймса Бейнхема назначена на тридцатое апреля. Бесполезно просить короля о помиловании. Генрих с давних пор зовется Защитником веры и не хочет ронять свой титул.

В Смитфилде на трибуне для знатных лиц он встречает венецианского посла, Карло Капелло. Они раскланиваются.

— В каком качестве вы здесь, Кромвель? Как друг еретика или в соответствии со своим постом? И, кстати, какой у вас пост? Один дьявол знает.

— В таком случае он и даст вашему превосходительству необходимые пояснения при следующей личной встрече.

Объятый языками пламени, умирающий кричит:

— Господь да простит сэра Томаса Мора!

15 мая епископы подписывают соглашение. Они не станут принимать новых церковных законов без дозволения короля и представят все ныне существующие на рассмотрение комиссии, в состав которой войдут миряне — члены парламента и представители, назначенные королем. Они не станут собирать конвокации без королевского разрешения.

На следующий день Кромвель в Уайтхолле, в галерее, откуда видны внутренний двор и сад, где дожидается король и нервно расхаживает Норфолк. Анна тоже в галерее. На ней платье узорчатого дамаста, такого плотного, что узкие белые плечи будто поникли под тяжестью ткани. Иногда, потворствуя воображению, он представляет, как кладет руку Анне на плечо и ведет пальцем от ямочки между ключицами к подбородку или вдоль линии грудей над корсажем, словно ребенок, читающий по складам.

Она поворачивается. На губах — полу-улыбка.

— А вот и он. Без цепи лорда-канцлера. Интересно, куда он ее задевал?

Томас Мор ссутулен, подавлен. Норфолк — напряжен.

— Мой дядя добивался этого не один месяц, — говорит Анна, — но король стоял на своем. Не хотел терять Мора. Хотел быть хорошим для всех. Ну, вы понимаете.

— Король знает Мора с младых ногтей.

— Грехи юности.

Они переглядываются и улыбаются.

— Гляньте-ка, — говорит Анна. — Как вы думаете, что там у него в кожаном мешочке? Не государственная ли печать?

Когда печать забирали у Вулси, он растянул процесс на два дня. А вот сейчас сам король, в своем собственном раю, ждет, протянув руку.

— И кто теперь? — спрашивает Анна. — Вчера вечером Генрих сказал, от моих лордов-канцлеров одни огорчения. Может, мне и вовсе обойтись без лорда-канцлера?

— Юристам это не понравится. Кто-то должен управлять двором.

— Тогда кого вы предложите?

— Посоветуйте королю спикера. Одли не подведет. Если король сомневается, пусть назначит

его временно. Однако я думаю, все будет хорошо. Одли — хороший юрист и независимый человек, однако умеет быть полезным. И понимает меня.

— Надо же! Хоть кто-то вас понимает. Идем вниз?

— Не можете устоять?

— Как и вы.

Они спускаются по внутренней лестнице. Анна легко, одними пальцами, опирается на его руку. В саду на деревьях развешены клетки с соловьями. Птицы спеклись на солнце, не поют. Фонтан мерно роняет капли в чашу. От клумб с пряными травами тянет ароматом тимьяна. Из дворца доносится чей-то смех, и тут же умолкает, как будто захлопнулась дверь. Кромвель наклоняется, срывает веточку тимьяна, втирает в ладонь запах, переносящий в другое место, далеко-далеко отсюда. Мор кланяется Анне. Она отвечает небрежным кивком, потом низко приседает перед Генрихом и становится рядом, потупив взор. Генрих сжимает ее запястье: хочет что-то сказать или просто побыть наедине.

— Сэр Томас? — Кромвель протягивает руку. Мор отворачивается, затем, передумав, все же пожимает ладонь. Пальцы бывшего лорда-канцлера холодны, как остывшая зола.

— Что будете теперь делать?

— Писать. Молиться.

— Я посоветовал бы писать поменьше, а молиться побольше.

— Это угроза? — улыбается Мор.

— Возможно. Мой черед, вы не находите?

Когда Генрих увидел Анну, его лицо озарилось. Сердце короля горит: тронешь — обожжешься.

Кромвель находит Гардинера в Вестминстере, в одном из дымных задних дворов, куда не заглядывает солнце.

— Милорд епископ!

Гардинер сводит густые черные брови.

— Леди Анна просила меня подыскать ей загородный дом.

— А при чем тут я?

— Позвольте мне развернуть перед вами мою мысль, — говорит он, — так, как она развивалась. Дом должен быть где-нибудь у реки, чтобы добираться до Хэмптон-корта. До Уайтхолла и Гринвича на барке. Пригоден для жилья, чтобы ей не ждать, пока отделают заново. С хорошими садами… И тут я вспомнил: а как насчет особняка в Хэнворде, который король отдал Стивену в аренду, когда назначил его своим секретарем?

Даже в полутемном дворе видно, как мысли

одна за другой проносятся в мозгу Стивена. О мой ров и мостики, мой розарий и клубничные грядки, мой огород и ульи, мои пруды и плодовые деревья, ах, мои итальянские терракотовые медальоны, мои инкрустации, моя позолота, мои галереи, мой фонтан из морских раковин, мой парк с оленями.

— Было бы весьма учтиво предложить ей аренду самому, не дожидаясь указаний короля. Благое дело, чтобы сгладить епископскую строптивость? Полно, Стивен. У вас есть и другие дома. Вам не придется ночевать в стогу.

— А если бы пришлось, — говорит епископ, — вы прислали бы слуг с собаками, чтобы выставить меня и оттуда.

Крысиный пульс Гардинера убыстряется, черные влажные глаза блестят. Внутренне епископ верещит от возмущения и сдерживаемой ярости. Впрочем, если подумать, для Гардинера даже проще, что вексель предъявлен к оплате так быстро и средства вернуть долг нашлись.

Гардинер по-прежнему секретарь, но он, Кромвель, видится с Генрихом почти каждый день. Если королю нужен совет, Кромвель либо даст его сам, либо найдет человека, сведущего в нужном вопросе. Если король чем-то недоволен, Кромвель

скажет, с вашего королевского дозволения предоставьте это мне. Если король весел, Кромвель готов смеяться, если король опечален, Кромвель будет предупредителен и мягок. Последнее время Генрих скрытничает, что не ускользнуло от зорких глаз испанского посла.

— Он принимает вас в личных покоях, не в официальной приемной, — говорит Шапюи, — не хочет, чтобы знать видела, как часто он с вами совещается. Будь вы других габаритов, вас можно было бы проносить в корзине с бельем. А так придворные злопыхатели наверняка обо всем докладывают своим друзьям, недовольным вашим возвышением, распространяют порочащие слухи, ищут вас погубить. — Посол улыбается. — Ну что, попал ли я не в бровь, а в глаз, если мне позволительно прибегнуть к такому выражению?

Из письма Шапюи к императору, прошедшему через руки мастера Ризли, узнает кое-что о себе. Зовите-меня читает ему вслух:

— Здесь написано, что ваше происхождение темно, а юность прошла в опасных авантюрах, что вы закоренелый еретик и позорите должность советника, но лично он находит вас человеком приятного нрава, щедрым и гостеприимным…

— Я знал, что нравлюсь Шапюи. Надо бы попро-

сить у него место.

— Он пишет, что вы втерлись в доверие к королю, пообещав сделать его самым богатым монархом христианского мира.

Кромвель улыбается.

На исходе мая из Темзы вылавливают двух исполинских рыбин — вернее, их выбрасывает, снулых, на глинистый берег.

— Я должен что-то в связи с этим предпринять? — спрашивает он Джоанну, когда та сообщает ему новость.

— Нет, — отвечает она. — По крайней мере, я не думаю. Это знамение, верно? Знак свыше, вот и все.

В конце лета приходит письмо от доктора Кранмера из Нюрнберга. Прежде тот писал из Нидерландов, просил совета в переговорах с императором, в которых чувствовал себя не вполне уверенно, — это не его стезя. Затем из прирейнских городов: есть надежда, что император пойдет на союз с лютеранскими князьями ради их поддержки против турок. Кранмер пишет, как мучительно пытается освоить традиционную английскую дипломатию: предлагать дружбу английского короля, сулить английское золото, а в итоге не дать ровным счетом ничего.

Однако это письмо необычное. Оно надиктовано писцу, и речь идет о действии Святого Духа в человеческом сердце. Рейф прочитывает все до конца и указывает на краткую приписку рукой самого Кранмера в левом нижнем углу: «Кое-что произошло. Дело не для письма, может иметь нежелательную огласку. Некоторые скажут, что я поспешил. Возможно, мне потребуется ваш совет. Храните это в тайне».

— Что ж, — говорит Рейф, — давайте побежим по Чипсайду с криком: «У Томаса Кранмера есть тайна, и мы не знаем, в чем она состоит!»

Через неделю в Остин-фрайарз заходит Ганс; он снял дом на Мейден-лейн, а пока живет в Стилярде, дожидаясь, пока закончат отделку.

— Дайте-ка взглянуть на вашу новую картину, Томас, — говорит Ганс, входя. Останавливается перед портретом. Складывает руки на груди. Отступает на шаг. — Вы знаете этих людей? Хорошо ли передано сходство?

Два итальянских банкира, партнеры, один в шелках, другой в мехах, смотрят на зрителя, но жаждут обменяться взглядами; ваза с гвоздиками, астролябия, щегол, песочные часы с наполовину пересыпавшимся песком, за аркой окна — кораблик под шелковыми полупрозрачными парусами

на зеркальном море. Ганс отворачивается довольный.

— И как ему удается это выражение глаз — жесткое и в то же время хитрое?

— Как у Элсбет?

— Толстая. Грустная.

— Еще бы! Вы приезжаете, награждаете ее ребенком, уезжаете снова.

— Я не хороший муж. Просто посылаю домой деньги.

— Надолго к нам?

Ганс сопит, ставит кубок с вином на стол и рассказывает о том, что оставил позади: о Базеле, о швейцарских кантонах и городах. О восстаниях и решающих битвах. Образы не образы. Статуи не статуи. Это тело Христово, это не тело Христово, это вроде как тело Христово. Это Его кровь, это не Его кровь. Священникам можно жениться, священникам нельзя жениться. Таинств семь, таинств три. Мы целуем Распятие и встаем перед ним на колени, мы рубим Распятие и сжигаем на городской площади.

— Я не поклонник папы, но сил больше нет. Эразм сбежал во Фрайбург к папистам, теперь я убежал к юнкеру Хайнриху. Так Лютер называет вашего короля. «Его непотребство, король Ан-

глии». — Ганс утирает рот. — А я хочу работать и получать за это деньги. И желательно, чтобы какой-нибудь сектант не замазал мои фрески побелкой.

— Вы ищете у нас мира и спокойствия. — Кромвель качает головой. — Вы опоздали.

— Сейчас я шел по Лондонскому мосту и видел, что кто-то изуродовал статую Мадонны. Отбил Младенцу голову.

— Это уже давно. Наверное, старый чертяка Кранмер буянил. Вы знаете, каков он во хмелю.

Ганс широко улыбается.

— Вы по нему скучаете. Кто бы подумал, что вы подружитесь!

— Старый Уорхем дышит на ладан. Если он умрет летом, леди Анна попросит Кентербери для моего друга.

— Архиепископом будет не Гардинер? — удивляется Ганс.

— Он безнадежно рассорился с королем.

— Он сам свой худший враг.

— Я бы так не сказал.

Ганс смеется.

— Высокая честь для доктора Кранмера. Он откажется. Слишком много помпы. Он предпочитает свои книги.

— Он согласится. Это его долг. Лучшие из нас вынуждены идти против собственной натуры.

— Даже вы?

— Против моей натуры было слышать, как ваш покровитель угрожает мне в моем доме, и терпеть. А я терпел. Вы были в Челси?

— Да. Там грустно.

— Во избежание лишних разговоров объявлено, что он ушел в отставку по нездоровью.

— Он говорит, у него болит вот здесь, — Ганс трет грудь, — и боль усиливается, когда он садится писать. А все остальные выглядят неплохо. Семейство на стене.

— Теперь вам не надо искать заказов в Челси. Король поручил мне перестройку Тауэра. Мы ремонтируем укрепления. Король нанял строителей, художников, золотильщиков. Мы переделываем старые королевские апартаменты и строим новые для королевы. Понимаете, у нас в стране король и королева проводят ночь перед коронацией в Тауэре. Так что, когда пробьет час Анны, у вас не будет недостатка в работе. Предстоят шествия, пиршества. Город закажет королю в подарок золотую и серебряную посуду. Поговорите с ганзейскими купцами — наверняка и они захотят отличиться. Пусть думают уже сей-

час. Советую поспешить, пока сюда не съехалась половина ремесленников Европы.

— Король закажет ей новые драгоценности?

— Он не настолько повредился в уме. Она получит Екатерининых.

— Я бы хотел ее написать. Анну Болейн.

— Не знаю. Возможно, она не захочет, чтобы ее разглядывали.

— Говорят, она некрасива.

— Возможно. Вы бы не стали писать с нее Весну. Или лепить статую Девы. Или аллегорию Мира.

— Так кто она? Ева? Медуза? — Ганс смеется. — Не отвечайте.

— У нее очень сильный характер, *esprit.* Вряд ли вы сумеете передать это на картине.

— Вижу, вы в меня не верите.

— Я убежден, что некоторые сюжеты вам неподвластны.

Входит Ричард.

— Приехал Фрэнсис Брайан.

— Кузен леди Анны. — Кромвель встает.

— Вам надо ехать в Уайтхолл. Леди Анна крушит мебель и бьет зеркала.

Кромвель вполголоса чертыхается.

— Накормите мастера Гольбейна обедом.

Фрэнсис Брайан хохочет так, что лошадь под

ним нервно вздрагивает и шарахается, грозя задавить прохожих. К тому времени как они добираются до Уайтхолла, ему, Кромвелю, кое-как удается собрать по частям историю. Анна только что узнала, что жена Гарри Перси, Мэри Тэлбот, подает в парламент прошение о разводе. Два года, утверждает Мэри, муж не делил с ней ложе, а когда она наконец спросила, почему, ответил, что не в силах больше скрывать: они не женаты и никогда не были женаты, потому что его законная супруга — Анна Болейн.

— Миледи в ярости. — Брайан хихикает; усыпанная драгоценностями повязка на глазу подмигивает. — Она говорит, Гарри все погубит. Никак не решит: зарубить его одним махом или публично резать на кусочки в течение сорока дней, как принято в Италии.

— Слухи об этом виде казни сильно преувеличены.

Он никогда не видел Анну в припадке неконтролируемой ярости и не очень верил, когда о том рассказывали. И вот его вводят в комнату, она расхаживает взад-вперед, маленькая и напряженная, словно ее прошили насквозь и слишком туго стянули нитку. Три дамы — Джейн Рочфорд, Мэри Шелтон и Мария Болейн — следят за Анной

взглядом. Небольшой ковер, место которому, вероятно, на стене, лежит на полу, скомканный. «Битое стекло мы вымели», — сообщает Джейн Рочфорд. Сэр Томас Болейн, монсеньор, сидит за столом перед грудой бумаг, рядом, на табурете, его сын Джордж, подпер голову руками, рукава взбиты только наполовину. Герцог Норфолкский смотрит на незажженные дрова в камине — возможно, пытается воспламенить их взглядом.

— Закройте дверь, Фрэнсис, — говорит Джордж, — и никого больше не впускайте.

Из присутствующих в комнате он один — не Говард.

— Я предложила сложить вещи и отправить Анну в Кент, — говорит Джейн Рочфорд. — Гнев короля, стоит ему вспыхнуть…

Джордж:

— Молчи, не то я могу тебя ударить.

— Я просто честно дала совет. — Джейн Рочфорд, храни ее Господь, из тех женщин, которые не умеют вовремя остановиться. — Мастер Кромвель, король распорядился провести расследование. Дело будет разбираться в совете, на сей раз без всякого давления. Гарри Перси должен дать показания свободно. Король не может делать то, что уже совершил и намеревается совершить, ради

женщины, скрывшей тайный брак.

— Если б я только мог с тобой развестись! — говорит Джордж. — Если бы у тебя был тайный брак! Но видит Бог, никакой надежды: поля черны от женихов, бегущих в другую сторону.

Монсеньор поднимает руку:

— Прошу тебя.

Мария Болейн говорит:

— Какой прок звать мастера Кромвеля, если мы не расскажем ему, что произошло? Король уже говорил с госпожой моей сестрой.

— Я все отрицаю, — говорит Анна. Как будто перед нею король.

— Хорошо, — кивает он. — Хорошо.

— Граф признавался мне в любви, да. Писал мне стихи, и я, будучи девушкой юной, не видела в этом вреда.

Он только что не смеется.

— Стихи? Гарри Перси? Они у вас сохранились?

— Нет. Конечно нет. Ничего на бумаге.

— Это упрощает дело, — мягко произносит Кромвель. — И разумеется, не было никаких обещаний либо контракта и даже речи о них.

— И, — вставляет Мария, — никакого рода близости. Моя сестра — известная девственница.

— И что ответил король?

— Он вышел из комнаты, — говорит Мария, — оставив Анну стоять.

Монсеньор поднимает голову. Откашливается.

— В данной ситуации существует большое число разнообразных подходов, и мне представляется, что, возможно….

Норфолк взрывается. Ходит взад-вперед, стуча каблуками, как сатана в миракле.

— Клянусь смердящим саваном Лазаря! Покуда вы перебираете подходы, милорд, и выражаете мнения, госпожу вашу дочь позорят на всю страну, слух короля отравляют клеветой, а благосостояние семьи рушится у вас на глазах!

— Гарри Перси. — Джордж поднимает руки. — Послушайте, дадут мне сказать? Как я понимаю, Гарри Перси однажды уже отказался от своих претензий, а то, что удалось уладить один раз…

— Да, — говорит Анна, — но тогда дело уладил кардинал, а кардинала, к величайшему прискорбию, нет в живых.

Наступает тишина. Сладостная, как музыка. Кромвель, улыбаясь, смотрит на Анну, монсеньора, Норфолка. Жизнь — золотая цепь, и Господь порой вешает на нее изящную безделушку. Чтобы продлить мгновение, он идет через комнату

и поднимает брошенный ковер. Узкий ткацкий станок. Темно-синий фон. Асимметричный узел. Исфахан? Маленькие существа чинно вышагивают через сплетение цветов.

— Смотрите, — говорит он. — Знаете, кто это? Павлины.

Мэри Шелтон подходит и заглядывает ему через плечо.

— А такие, вроде змей с ножками?

— Скорпионы.

— Матерь Божия! Они ведь кусаются?

— Жалят. — Кромвель говорит: — Леди Анна, коли папа не в силах помешать вам сделаться королевой, а я думаю, он не силах, то уж Гарри Перси не должен становиться для вас препятствием.

— Так уберите его, — говорит Норфолк.

— Я понимаю, почему вам, как родственникам, неудобно…

— Убрать его самим, — заканчивает Норфолк. — Проломить ему голову.

— Фигурально выражаясь, — уточняет он. — Милорд.

Анна садится. На женщин не смотрит. Маленькие руки сжаты в кулаки. Монсеньор шуршит бумагами. Джордж в задумчивости снял шапочку и теперь играет драгоценной булавкой — пробует

на палец острие.

Кромвель скатал ковер и протягивает Мэри Шелтон.

— Спасибо, — шепчет та, краснея, будто он предложил что-то фривольное.

Джордж вскрикивает: игра с булавкой закончилась уколотым пальцем. Дядя Норфолк зло бросает:

— Болван великовозрастный!

Фрэнсис Брайан идет за ним к дверям.

— Благодарю, сэр Фрэнсис, меня провожать не надо.

— Я хотел бы пойти с вами и узнать, что вы будете делать.

Он резко останавливается, упирает ладонь Брайану в грудь, разворачивает того вбок и слышит удар головой о стену.

— Я спешу.

Кто-то его окликает. Из-за угла появляется мастер Ризли.

— Трактир «Марк и лев». В пяти минутах ходьбы отсюда.

Зовите-меня поручил своим людям следить за Гарри Перси с тех самых пор, как тот приехал в Лондон. Кромвель опасался, что недоброжелатели Анны при дворе — герцог Суффолкский с

женой и наивные люди, верящие в возвращение Екатерины, — встречаются с графом и убеждают его держаться той версии прошлого, которую считают полезной. Однако по всему выходит, что таких встреч не было — разве что в купальнях на Суррейском берегу.

Зовите-меня резко сворачивает в проулок, и они выходят в грязный двор трактира. Кромвель оглядывается по сторонам: два часа хорошенько поработать метлой, и место стало бы вполне пристойным. Золотисто-рыжая шевелюра Ризли горит, словно маяк. У поскрипывающего над головой евангелиста Марка тонзура, как у монаха. Лев маленький, синий, улыбающийся.

Зовите-меня трогает его за руку.

— Сюда.

Они уже готовы юркнуть в боковую дверь, когда сверху раздается пронзительный свист. Две девицы высовываются в окошко и с хохотом вываливают голые груди на подоконник.

— Господи! — говорит он. — И здесь дамы из рода Говардов!

Внутри «Марка и льва» полно слуг в ливрее Перси — одни лежат головой на столе, другие — под столом. Сам граф Нортумберлендский пьет в отдельном кабинете. Здесь можно было бы

побеседовать без свидетелей, если бы не окно в общее помещение, откуда то и дело заглядывают ухмыляющиеся хари.

Граф его замечает.

— Хм. Я догадывался, что вы придете.

Запускает пятерню в стриженые волосы, и они топорщатся, будто щетина.

Он, Кромвель, подходит к окошку, поднимает палец и захлопывает ставень перед встрепенувшимися зрителями. Однако когда он садится напротив юноши, голос его вкрадчив, как всегда.

— Итак, милорд, чем я могу вам помочь? Вы утверждаете, что не можете жить с женой. В красоте она не уступит ни одной женщине королевства, а если у нее и есть изъяны, то я о них не слышал. Почему бы вам не поладить?

Однако Гарри Перси — не пугливый сокол, которого надо успокаивать лаской. Гарри Перси кричит и плачет:

— Если мы не поладили в день свадьбы, как мы поладим теперь! Она меня ненавидит, потому что знает: наш брак незаконен. Или только королю дозволено быть совестливым? Когда он сомневается в законности своего брака, то кричит об этом на весь христианский мир, когда я сомневаюсь в законности моего, он присылает последнего из

своих слуг, чтобы уговорами спровадить меня домой. Мэри Тэлбот знает, что я обручен с Анной, знает, кого я люблю и буду любить всегда. Прежде я говорил правду: мы заключили контракт при свидетелях, а посему мы оба не свободны. Кардинал угрозами заставил меня отречься от своих слов; отец сказал, что лишит меня наследства. Теперь мой отец умер, и я больше не боюсь говорить правду. Пусть Генрих король, но он хочет отнять чужую жену. Анна Болейн по закону моя супруга, и каково ему будет в день Суда, когда он предстанет перед Создателем, нагой и без свиты?

Он дослушивает речь, становящуюся все более бессвязной… истинная любовь… обеты… поклялась отдать мне свое тело… дозволяла мне такие вольности, какие возможны только между женихом и невестой…

— Милорд, — говорит он. — Вы сказали, что должны были сказать. Теперь выслушайте меня. Вы растратили почти все состояние. Я знаю, как вы это сделали. Вы набрали долгов по всей Европе. Я знаю ваших кредиторов. Одно мое слово — и все ваши долги потребуют к оплате.

— И что ваши банкиры мне сделают? У них нет армий.

— Армий не будет и у вас, милорд, если ваши

сундуки пусты. Слушайте внимательно и постарайтесь понять. Ваш графский титул — от короля. Ваша обязанность — оборонять северные границы. Перси и Говарды защищают нас от Шотландии. Теперь допустим, что Перси не может выполнять эту свою обязанность. Ваши люди не станут сражаться за спасибо.

— Они — мои арендаторы. Их долг сражаться.

— Однако, милорд, им нужно снаряжение, оружие, провиант, им нужны исправные крепостные стены и форты. Если вы не в силах все это обеспечить, вы хуже чем бесполезны. Король отберет ваш титул, ваши земли и замки и отдаст их тому, кто справится лучше.

— Не отдаст. Король чтит древние титулы. И древние права.

— Тогда это сделаю я. Скажем так: я оставлю от вас пустое место. Я и мои друзья-банкиры.

Как бы объяснить? Миром правят не из приграничных крепостей и даже не из Уайтхолла, что бы ни думал Гарри Перси. Миром правят из Антверпена, из Флоренции, из мест, о которых Гарри Перси представления не имеет: из Лиссабона, откуда кораблики под шелковыми парусами уходят на запад, в солнце и зной. Не из-за крепостных стен, а из контор, не по зову боевой трубы, а по

стуку костяшек счет; миром правит не скрежет пушечного механизма, а скрип пера на векселе, которым оплачены и пушка, и пушечный мастер, и порох, и ядра.

— Воображаю вас без денег и титула, — говорит он. — Воображаю вас в домотканой одежде, приносящим в лачугу кролика, добытого на охоте. И воображаю вашу законную супругу Анну, разделывающую этого кролика. Желаю вам всяческого счастья.

Гарри Перси роняет голову на стол, заливаясь слезами ярости.

— Никакого предварительного договора не было, — говорит Кромвель. — Никакие глупые обещания не имеют законной силы. Всякое взаимное согласие существовало исключительно в вашем воображении. И еще, милорд. Если вы хоть раз упомянете о «вольностях», — он вкладывает в одно слово столько брезгливости, что хватило бы на целую речь, — которые якобы дозволяла вам леди Анна, то будете отвечать передо мной, перед Говардами и Болейнами, и Джордж Рочфорд не станет с вами миндальничать, а милорд Уилтшир растопчет вашу гордость; что до герцога Норфолкского — если тот услышит, как вы бросаете тень на репутацию его племянницы, то отыщет

вас в любой норе и откусит вам яйца. Теперь, — прежним благожелательным тоном, — вам все ясно, милорд? — Кромвель идет через комнату и открывает окошко. — Можно заглядывать.

Появляются лица; точнее, тянущиеся вверх лбы и глаза. В дверях он задерживается и оборачивается к графу.

— Для полной ясности: если вы думаете, будто леди Анна вас любит, вы глубоко заблуждаетесь. Она вас ненавидит. Лучшее, что вы можете для нее сделать, — если не умереть, то хотя бы отречься от слов, которые сказали своей бедной жене, и присягнуть в том, что от вас требуется, дабы расчистить ей путь к трону.

По пути домой он говорит Ризли:

— Мне искренне его жаль.

Зовите-меня хохочет так, что вынужден прислониться к стене.

На следующее утро Кромвель встает рано, чтобы успеть на заседание королевского совета. Герцог Норфолкский занимает место во главе стола, потом, узнав, что прибудет сам король, пересаживается. «Уорхем тоже здесь», — говорит кто-то. Дверь открывается; долгое время ничего не происходит, наконец медленно-медленно, шажок за шажком, входит дряхлый прелат. Садится.

Кладет руки на стол. Они сильно дрожат. Голова трясется. Кожа пергаментная, как на рисунке Ганса.[56] Обводит взглядом стол, медленно, по-змеиному моргая.

Кромвель пересекает комнату, встает напротив Уорхема и осведомляется о здоровье — чистая формальность, поскольку всякому видно, что архиепископ умирает. Спрашивает:

— Провидица, которую вы приютили в своей епархии, Элизабет Бартон. Как она поживает?

Уорхем поднимает глаза.

— Чего вы хотите, Кромвель? Моя комиссия ничего против нее не нашла. Вам это известно.

— Мне сообщили, она говорит, что если король женится на леди Анне, он процарствует не больше года.

— Не поручусь. Своими ушами я такого не слышал.

— Как я понял, епископ Фишер приезжал на нее посмотреть.

— Или чтобы она на него посмотрела. Либо то, либо другое. А что тут дурного? Господь и впрямь ее отметил.

— Кто за ней стоит?

---

[56] Примечания Ольги Дмитриевой: 56

Портрет архиепископа Уорхема (Уорема) — рисунок работы Ганса Гольбейна — хранится в Королевской коллекции в Виндзорском замке.

Голова у архиепископа трясется так, будто вот-вот соскочит.

— Возможно, она неправа. Возможно, ее сбили с толку. В конце концов, это простая деревенская девушка. Но что у нее дар, я не сомневаюсь. Когда к ней приходят, она сразу видит, что у человека на сердце. Какие грехи тяготят его совесть.

— Вот как? Надо будет к ней съездить. Интересно, угадает ли она, что тревожит меня?

— Тише, — говорит Томас Болейн. — Здесь Гарри Перси.

Входит граф с двумя сопровождающими. Глаза красные, запах блевотины наводит на мысль, что он не дал слугам себя помыть. Появляется король. День жаркий, и его величество в палевом шелке. Рубины на пальцах — как кровавые пузыри. Король садится. Устремляет круглые голубые глаза на Гарри Перси.

Томас Одли — исполняющий обязанности лорда-канцлера — задает вопросы. Предварительный договор? Нет. Какого-либо рода обещания? Никакой телесной — приношу извинения, что вынужден упомянуть, — близости? Клянусь честью, нет, нет и нет.

— Как ни прискорбно, нам мало вашего честного слова, — говорит король. — Дело зашло

слишком далеко, милорд.

Гарри Перси испуган.

— Что еще я должен сделать?

— Подойдите к его милости Кентербери. Он приведет вас к присяге на Библии.

По крайней мере, это то, что архиепископ пытается сделать. Монсеньор сунулся было помочь, Уорхем отталкивает его руку. Хватаясь за стол, так что сползает скатерть, старик встает на ноги.

— Гарри Перси, вы много раз шли на попятную, делали заявление и брали свои слова обратно. Теперь вы здесь, чтобы вновь от них отречься, но уже не только перед людьми. Итак… готовы ли вы положить руку на Библию и поклясться передо мной, в присутствии короля и совета, что не состояли в блудной связи с леди Анной и не заключали с ней брачного договора?

Гарри Перси трет глаза. Протягивает руку. Произносит дрожащим голосом:

— Клянусь.

— Дело сделано. Поневоле задумаешься, из-за чего вообще сыр-бор? — Герцог Норфолкский подходит к Гарри Перси и берет того за локоть. — Ну что, приятель, надеюсь, больше мы об этом не услышим?

— Говард, он принес клятву, и довольно. Кто-ни-

будь, помогите архиепископу, ему нехорошо. — Король снова повеселел; обводит советников благодушным взглядом. — Господа, прошу в мою часовню, где Гарри Перси скрепит свою клятву святым причастием. Остаток дня мы с леди Анной проведем в размышлениях и молитвах. Прошу меня не беспокоить.

Уорхем, шаркая, приближается к королю:

— Епископ Винчестерский облачается, чтобы отслужить вам мессу. Я уезжаю в свою епархию.

Король, склонившись, целует архиепископское кольцо.

— Генрих, — говорит Уорхем, — я вижу, что вы приблизили к себе людей без чести и совести. Я вижу, что вы обожествляете свои похоти, к огорчению и стыду всех христиан. Я был вам верен, даже когда это шло вразрез с моими убеждениям. Я многое для вас сделал, но то, что я сделал сегодня, было последним.

В Остин-фрайарз его дожидается Рейф.

— Да?

— Да.

— И что теперь?

— Теперь Гарри Перси сможет занять еще денег и тем ускорить свое разорение, чему я охотно поспособствую. — Кромвель садится. — Думаю, со

временем я отберу у него графство.

— Каким образом, сэр?

Он пожимает плечами.

— Вы же не хотите, чтобы Говарды еще больше усилили свое влияние на севере?

— Нет. Наверное нет. — Он молчит, размышляя. — А найди-ка мне, что там у нас есть про Уорхемову провидицу.

Покуда Рейф ищет, он открывает окно и смотрит в сад. Розы на кустах поблекли от солнца. Бедная Мэри Тэлбот, думает он, ее жизнь теперь легче не станет. Несколько дней, всего несколько дней, она, а не Анна, была в центре внимания двора. Он вспоминает, как Гарри Перси приехал арестовать кардинала, с ключами в руках, как поставил стражу у постели умирающего.

Кромвель высовывается в окно. Интересно, если посадить персиковые деревья, они примутся? Входит Рейф со свертком бумаг.

Он разрезает ленточку, разворачивает письма и меморандумы. Вся эта нехорошая история началась шесть лет назад, когда к статуе Богородицы в заброшенной часовне на краю кентских болот начали стекаться паломники, и некая Элизабет Бартон принялась устраивать для них представления. Чем отличилась статуя? Ходила, наверное.

Или плакала кровавыми слезами. Девушка — сирота, воспитанная в доме одного из земельных агентов Уорхема. Из родственников у нее — сестра. Он говорит Рейфу:

— Она ничем не выделялась лет до двадцати, потом вдруг заболела, а выздоровев, сподобилась видений и начала говорить чужими голосами. Утверждает, будто видела святого Петра у врат рая, с ключами. Архангела Михаила, взвешивающего души. Если спросить у нее, где твои покойные родственники, она ответит. Коли они в раю, она говорит высоким голосом, коли в аду — низким.

— Смешно, наверное, звучит, — замечает Рейф.

— Ты так думаешь? Каких непочтительных детей я воспитал! — Он смотрит в бумаги, затем поднимает голову. — Иногда она по девять дней ничего не ест. Иногда падает на землю. Хм, неудивительно. Склонна к судорогам и трансам. Бедняжка. С ней беседовал милорд кардинал, но… — перебирает бумаги, — здесь никаких записей. Интересно, что между ними произошло. Вероятно, кардинал уговаривал ее поесть, а она отказывалась. Теперь… — читает, — … она в монастыре в Кентербери. У разрушенной часовни починили крышу, и деньги текут туда рекой.

Происходят исцеления. Хромые ходят, слепые прозревают. Свечи зажигаются сами собой. Паломники валят валом. Откуда у меня чувство, будто я уже слышал эту историю? Блаженная окружена толпой священников и монахов, которые обращают взор людей к небу, а сами тем временем облегчают их кошельки. Естественно допустить, что те же священники и монахи поручили ей высказываться по поводу королевского брака.

— Томас Мор тоже к ней ездил, не только Фишер.

— Да, я помню. И… глянь-ка!.. она получила от Марии Магдалины письмо с золотыми буквицами.

— И смогла его прочесть?

— Выходит, что да. — Он понимает глаза. — Как ты думаешь? Король готов терпеть поношения, если они исходят от святой девственницы. Видать, привык. От Анны его величество слышит и не такое.

— Возможно, он боится.

Рейф бывал с ним при дворе и понимает Генриха лучше многих, знающих короля целую жизнь.

— О да. Он верит в простых девушек, которые беседуют со святыми. И склонен верить в проро-

чества, тогда как я… Знаешь, я думаю, какое-то время мы не будем ее трогать. Посмотрим, кто к ней ездит. Кто делает пожертвования. Некоторые знатные дамы посещают блаженную — хотят узнать свое будущее и отмолить матерей из чистилища.

— Миледи Эксетер, — говорит Рейф.

Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский — внук старого короля Эдуарда и, таким образом, ближайший родственник Генриха. Очевидная кандидатура для императора, если тот когда-нибудь высадится с войсками, чтобы сбросить Генриха и посадить на престол кого-то другого.

— На месте Эксетера я бы не позволял своей жене увиваться вокруг полоумной монашенки, укрепляющей ее фантазии, будто со временем она сделается королевой. — Он начинает складывать бумаги. — А еще эта девица уверяет, что может воскрешать мертвых.

На похоронах Джона Петита, пока женщины остаются наверху, с Люси, Кромвель проводит внизу импровизированное собрание, чтобы поговорить с купцами о беспорядках в городе. Антонио Бонвизи, друг Мора, говорит, что пойдет домой.

— Да благословит вас Святая Троица и да дарует

вам процветание, — произносит Бонвизи, направляясь к дверям вместе с плавучим островком холода, вызванного его неожиданным приходом. На пороге останавливается. — Если надо будет помочь мистрис Петит, я с большой охотой…

— Нет нужды. Она вполне обеспечена.

— Но позволит ли ей гильдия продолжать мужнино дело?

— С этим я разберусь, — обрывает Кромвель.

Бонвизи кивает и выходит.

— И как он посмел сюда заявиться! — У Джона Парнелла из гильдии суконщиков давние счеты с Мором. — Мастер Кромвель, то, что вы взяли заботы на себя, означает ли это… собираетесь ли вы поговорить с Люси?

— Я? Нет.

Хемфри Монмаут говорит:

— Может, сперва собрание, а сватовство потом? Мы обеспокоены, мастер Кромвель, как, наверное, и вы, и король… Мы все… — обводит взглядом собравшихся, — полагаю, теперь, когда Бонвизи ушел, здесь остались лишь те, кто сочувствует делу, за которое пострадал наш покойный друг Петит, однако наша обязанность — сохранять мир, отмежеваться от кощунников…

В прошлое воскресенье в одном из городских

приходов, в самый торжественный момент мессы, при возношении святых даров, когда священник возгласил: *«Hoc est enim corpus meum»*,[57] раздались выкрики: «Хок эст корпус, фокус-покус». А в соседнем приходе, при перечислении святых, когда иерей просит Бога даровать нам общение с мучениками и апостолами, *«cum Joanne, Stephano, Matthia, Barnaba, Ignatio, Alexandra, Marcellino, Petro…»*,[58] кто-то заорал: «И не забудь меня с моей двоюродной сестрицей Кэт, и Дика, который торгует рыбой в Лиденхолле, и его сестру Сьюзан, и ее собачку Пунш!»

Он прикрывает рот рукой.

— Если собачке потребуется защита в суде, вы знаете, где меня найти.

— Мастер Кромвель, — говорит ворчливый старшина гильдии скорняков, — вы нас собрали, подайте же нам пример серьезности.

— На улицах распевают баллады о леди Анне, — говорит Монмаут, — слова которых я не могу повторить в этом обществе. Слуги Томаса Болейна жалуются, что их обзывают и забрасывают

---

[57] Примечания Ольги Дмитриевой: 57

«Яко сие есть Тело Мое» *(лат.)*.

[58] Примечания Ольги Дмитриевой: 58

«с Иоанном, Стефаном, Матфием, Варнавою, Игнатием, Александром, Марцелином, Петром…» *(лат.)*.

навозом. Хозяевам следует приглядывать за своими подмастерьями и доносить, когда те ведут себя ненадлежащим образом.

— Кому?

Кромвель говорит:

— Ну, например, мне.

В Остин-фрайарз он застает Джоанну — она нашла предлог, чтобы не уезжать в Степни: простыла.

— Спроси, что я знаю, — говорит Кромвель.

Она честно трет пальцем кончик носа.

— Попробую угадать. Ты знаешь, сколько денег у короля в казне с точностью до шиллинга.

— До фартинга. Нет, другое. Спроси меня, любезная сестрица.

Она делает еще несколько неудачных попыток, и наконец он говорит:

— Джон Парнелл женится на Люси.

— Что? Ведь Джон Петит еще не остыл в могиле. — Она отводит взгляд, перебарывая чувства. — А вы, сектанты, как я погляжу, держитесь вместе. У Парнелла в доме тоже попахивает ересью. Я слышала, его слуга — в тюрьме епископа Стоксли.

Ричард Кромвель заглядывает в дверь.

— Хозяин. Тауэр. Кирпичи. Пять шиллингов

за тысячу.

— Нет.

— Хорошо.

— Казалось бы, Люси могла найти человека, с которым ей жилось бы спокойно.

Он идет к двери.

— Ричард, постой! — Оборачивается к Джоанне. — Думаю, она таких просто не знает.

— Сэр?

— Сбей цену на шесть пенсов и проверь каждую партию. Отбери по нескольку кирпичей и прояви к ним повышенный интерес.

Джоанна, из комнаты: — И вообще, ты поступил умно.

— Например, измерь их… Джоанна, ты вправду думала, что я могу жениться по оплошности? Сгоряча?

— Простите? — говорит Ричард.

— Если ты начнешь измерять кирпичи, продавец испугается, и ты по его лицу увидишь, собирался ли он тебя надуть.

— Наверняка ты кого-нибудь себе присмотрел. Какую-нибудь знатную даму. Король дал тебе новую должность…

— Да, в отделении пошлин канцлерского суда… Я бы не сказал, что это прямая дорожка к амурной

истории.

Ричард, стуча каблуками, сбегает по лестнице.

— Знаешь, о чем я думаю? — спрашивает Кромвель.

— Ты думаешь, надо обождать. Пока она, та женщина, станет королевой.

— Я думаю, что цена растет из-за перевозки. Даже если баржей по реке. Надо будет расчистить участок и построить свой кирпичный завод.

Воскресенье, первое сентября, в Виндзоре. Анна, преклонив колени перед королем, получает титул маркизы Пемброкской. Рыцари ордена Подвязки наблюдают со своих церемониальных мест, рядом с ней знатнейшие дамы королевства, дочь Норфолка Мария (герцогиня гневно отказалась, сопроводив свой отказ божбой) держит на подушке ее корону; Говарды и Болейны торжествуют. Монсеньор гладит бороду, кивает и улыбается, слушая тихие поздравления французского посла. Епископ Гардинер зачитывает новый титул Анны. Она в алом бархате и горностае, черные волосы по-девичьи распущены и змеистыми локонами ниспадают на грудь. Вместе с титулом она получает доходы от пятнадцати поместий — их обеспечил он, Кромвель.

Поют «Te Deum».[59] Звучит проповедь. Когда церемония окончена и дамы наклоняются, чтобы поднять шлейф Анны, он замечает отблеск синевы, как от зимородкова крыла и, вглядевшись, видит среди дам из рода Говардов младшую дочь Сеймура. Боевой конь поднимает голову при звуке трубы, а знатные дамы вскидывают подбородок и улыбаются, однако, когда оркестр играет туш и процессия выходит из капеллы Святого Георгия, ее бледное лицо по-прежнему обращено долу, а глаза смотрят под ноги, словно она боится упасть.

На пиру Анна сидит рядом с Генрихом, за разговором опускает черные ресницы. Она почти у цели, почти добилась своего, тело напряжено, как тетива, кожа в золотистой пыльце с оттенком абрикоса и меда, а когда губы раздвигаются в улыбке — что происходит часто, — видны маленькие острые зубки. Она хочет забрать себе Екатеринину барку — уничтожить вензеля «Г&Е», убрать все эмблемы прежней владелицы. Король послал к Екатерине за драгоценностями: Анна возьмет их во Францию, куда они вскорости собираются. Кромвель провел с ней вечер, два вечера,

---

[59] Примечания Ольги Дмитриевой: 59
«Тебя, Бога, (хвалим)» *(лат.).*

три теплых сентябрьских вечера, пока королевские ювелиры делали эскизы, а он как хранитель королевских драгоценностей давал им советы. Анна хочет заказать новые гарнитуры. Сперва Екатерина уперлась — она-де не отдаст достояние английской королевы в руки женщины, позорящей христианский мир, — и лишь прямой приказ короля заставил ее уступить.

Анна обо всем ему рассказывает; она говорит со смехом: «мой Кромвель». Ветер попутный, прилив благоприятствует — Кромвель чувствует подошвами силу волн, влекущих вперед. Спикера Одли, его друга, наверняка утвердят в должности лорда-канцлера — король к нему привыкает. Старые придворные подали в отставку, чтобы не служить Анне; новый казначей двора, сэр Уильям Полет, — соратник по временам Вулси. Почти все новые придворные — соратники по тем временам. А кардинал не брал на службу дураков.

После мессы и посвящения Анны в титул он заходит к Гардинеру — тот меняет церемониальное облачение на более приличествующее светскому торжеству.

— Будете танцевать? — Кромвель сидит на каменном подоконнике, вполглаза следит за тем, что происходит во дворе: музыканты несут

трубы и лютни, арфы и ребеки, гобои, виолы и барабаны. — У вас неплохо получится. Или, став епископом, вы больше не танцуете?

Мысли Стивена заняты своим.

— Вы не думаете, что стать маркизой в собственном праве — более чем достаточно для любой женщины? Теперь она ему уступит. Дай-то Бог, чтобы до Рождества она понесла.

— Так вы желаете ей успеха?

— Я желаю королю успокоиться, и чтобы из этого что-нибудь вышло.

— А знаете, что Шапюи про вас говорит? Якобы у вас в доме живут две женщины, переодетые мальчиками.

— Вот как? — хмурится Гардинер. — Полагаю, все лучше, чем два мальчика, переодетых женщинами. Вот это было бы возмутительно.

Епископ отрывисто смеется. Они вместе идут на пир. Тра-ля-ля-ля, поют музыканты. «В кругу друзей забавы[60] век будут мне по нраву».[61] Душа музыкальна по своей природе, утверждают философы. Король приглашает Тома Уайетта петь

---

[60] Примечания Ольги Дмитриевой: 60

Авторство этого поэтического текста по традиции приписывают самому Генриху VIII.

[61] Примечания Ольги Дмитриевой: 61

Пер. А. Петровой.

вместе с собой и музыкантом Марком. «Ах, чем бы милой угодить? Для милой что мне совершить?»

— Все, что угодно, — говорит Гардинер. — Насколько я вижу, предела нет.

Кромвель говорит:

— Король добр к тем, кто верит в его доброту.

За музыкой никто, кроме епископа, не услышит.

— Ну, — отвечает Гардинер, — тут надо иметь невероятно гибкий ум. Как у вас.

Он говорит с мистрис Сеймур.

— Смотрите.

Она показывает свои рукава с каймой цвета зимородкова крыла — из того самого ярко-синего шелка, в который он завернул книгу с рисунками для вышивания. Как там в Вулфхолле, спрашивает он сколь можно деликатнее — в таких выражениях осведомляются о жизни в семействе, где произошел инцест.

Она отвечает всегдашним звонким голоском:

— Сэр Джон отменно здоров. Впрочем, сэр Джон всегда отменно здоров.

— А остальные?

— Эдвард злится, Том не находит себе места, госпожа моя матушка скрежещет зубами и хлопает дверьми. Урожай зреет, яблоки наливаются,

молочницы при коровах, капеллан при молитвах, курицы несутся, лютни настроены, а сэр Джон… сэр Джон, как всегда, отменно здоров. Почему бы вам не придумать какое-нибудь дело в Уилтшире и не заехать к нам? Да, и если у короля будет новая жена, ей понадобятся новые фрейлины, и моя сестра Лиз займет место при дворе. Ее муж — губернатор Джерси. Антони Отред, вы его знаете? Я бы сама охотно присоединилась к королеве, да, говорят, она вновь переезжает и свита ее уменьшится.

— Будь я вашим отцом… Нет, — торопливо поправляется Кромвель. — Будь я вправе давать советы, я порекомендовал бы вам служить леди Анне.

— Маркизе, — говорит она. — Да, смиряться полезно. Она учит нас всех умерять гордыню.

— Просто сейчас ей приходится нелегко. Думаю, добившись своей цели, она станет мягче.

Еще не договорив, он понимает, что это не так.

Джейн опускает голову, смотрит на него из-под ресниц.

— Вот мое смиренное личико. Подойдет?

Он смеется.

— Оно откроет вам любые двери.

Пока танцоры, обмахиваясь веерами, отды-

хают после галиард, паван и аллеманд, они с Уайеттом поют а капелла солдатскую песенку: «Скарамелла ушел на войну, с копьем, со щитом». Она печальна, невзирая на слова, как всякая песня в предсумеречный час, когда полутьма приглушает человеческий голос. Чарльз Брэндон спрашивает:

— О ком это? О женщине?

— Нет, о юноше, который ушел на войну.

— И что с ним сталось?

«Scaramella fa la gala».

— Для него война — сплошной праздник.

— Да, славные были деньки, — говорит герцог. — Лучше, чем сейчас.

Король поет сильным, красивым, протяжным голосом: «Когда в чащобе я бродил».[62] Некоторые дамы, перебрав крепкого итальянского вина, плачут.

В Кентербери архиепископ Уорхем лежит на холодном камне, на глаза ему кладут монеты, словно хотят навсегда запечатлеть королевский профиль в мозгу усопшего. Потом тело опустят под плиты собора, в сырую черную пустоту рядом с костями Бекета. Анна сидит неподвижно, как

---

[62] Примечания Ольги Дмитриевой: 62

Авторство этого поэтического текста по традиции приписывают самому Генриху VIII.

статуя, устремив взор на короля. Движется только рука — она гладит собачку на коленях, снова и снова, наматывает на палец завитки шерсти. Когда затихает последняя нота, вносят свечи.

Октябрь, и все едут в Кале — кавалькада в две тысячи человек растянулась от Виндзора до Гринвича, от Гринвича через зеленые кентские поля до Кентербери; с герцогом едет сорок свитских, с маркизом — тридцать пять, с графом — двадцать четыре, виконт обойдется двадцатью, а Кромвель — Рейфом и одним писарем, которых можно приткнуть в любую крысиную нору на корабле. Король встречается с братской Францией — та обещала замолвить перед папой словцо за его новый брак. Франциск предлагает женить одного из трех своих сыновей — трех сыновей! вот кого Господь любит! — на племяннице папы Екатерине Медичи и обещает поставить условием, что братской Англии дадут уладить свои матримониальные дела в собственной юрисдикции, в суде английских епископов.

Прошлое свидание монархов, названное «Встречей на поле золотой парчи», устраивал кардинал. Король говорит, нынешняя поездка обойдется дешевле, но как только речь заходит о частностях, выясняется, что его величество хочет

того побольше и этого вдвое — еще богаче, еще пышнее, еще грандиознее. Генрих везет во Францию своих поваров и свою кровать, священников и музыкантов, собак и соколов, а также свою новоиспеченную маркизу, которую вся Европа считает его любовницей. Везет претендентов на престол, в том числе Йорка лорда Монтегю и Ланкастеров Невиллей, дабы показать, как они покорны и как прочен трон Тюдоров. Везет свою золотую посуду, постельное белье, своих пирожников, своих щипальщиков птицы и отведывателей пищи, даже собственное вино — на первый взгляд, перебор, но кто знает?

Рейф, помогая упаковывать бумаги, замечает:

— Я понимаю, что Франциск будет просить у папы одобрения на новый брак нашего короля, но никак не соображу, зачем это Франциску.

— Вулси всегда говорил, что цель соглашения — само соглашение. Не важно, каковы условия, главное — что они есть. Важна добрая воля. Когда она иссякает, соглашение нарушается, что бы ни было записано в условиях.

Важны шествия, обмен подарками, королевские игры в шары, турниры, придворные спектакли — это не вступление, а сам процесс. Анна, хорошо знающая французский двор и

французский этикет, рассказывает о возможных затруднениях.

— Если прибудет с визитом папа, король Франции обязан будет выйти ему навстречу, возможно, даже во двор. Монархи же, завидев друг друга, должны пройти равное число шагов. И это работает, если только один монарх не станет делать очень маленькие шаги, вынуждая второго пройти большее расстояние.

— Клянусь Богом, это низость! — взрывается Чарльз Брэндон. — Неужто Франциск так поступит?

Анна смотрит на него из-под полуопущенных век.

— Милорд Суффолк, готова ли госпожа ваша супруга к путешествию?

Суффолк багровеет.

— Моя жена — бывшая королева Франции.

— Мне это известно. Франциск будет рад снова ее повидать. Он находил ее очень красивой. Хотя, конечно, тогда она была молода.

— Моя сестра по-прежнему красива, — умиротворяюще произносит Генрих, однако Чарльз Брэндон разражается криком, подобным раскату грома:

— Вы ждете, что она будет прислуживать вам?

Дочери Болейна? Подавать вам перчатки, мадам, садиться за стол ниже вас? Так запомните — этому не бывать!

Анна поворачивается к Генриху, стискивает его руку.

— Он унижает меня в вашем присутствии.

— Чарльз, — говорит Генрих, — выйдите и возвращайтесь, когда овладеете собой. Не раньше.

Вздыхает, делает знак рукой: Кромвель, идите за ним.

Суффолк вне себя от ярости.

— На свежем воздухе приятнее, милорд, — говорит Кромвель.

Уже осень: мокрые листья хлопают на ветру, как флаги миниатюрных армий.

— Мне в Виндзоре всегда чудился некоторый холодок, а вам, милорд? Я об общем положении вещей, не только о замке. — Его голос журчит тихо, успокаивающее. — Будь я королем, я старался бы больше времени проводить в Уокинге. Вам известно, что там никогда не бывает снега? По крайней мере, не было последние двадцать лет.

— Будь вы королем? — Брэндон ускоряет шаг. — Если Анна Болейн может сделаться королевой, то почему бы и нет?

— Беру свои слова назад. Мне следовало выра-

зиться смиреннее.

Брэндон сопит.

— Она, моя жена, никогда не появится в свите этой распутницы.

— Милорд, вам лучше считать ее целомудренной, как считаем мы все.

— Ее воспитала мать, известная потаскуха, доложу я вам. Это она, Лиз Болейн, бывшая Лиз Говард, первая затащила Генриха в постель. Уж поверьте мне — я самый старый его друг. Ему было семнадцать, и он не знал, куда вставлять. Отец воспитывал его, как монашку.

— Теперь никто из нас не верит в эту историю. Про жену монсеньора.

— *Монсеньора!* Силы небесные!

— Ему нравится, когда его так называют. Вреда в этом нет.

— Ее воспитывала сестрица Мария, а Мария росла в борделе. Знаете, как они это делают во Франции? Супруга мне рассказала… Ну, не рассказала, а написала на бумаге, по-латыни. Мужчина возбуждается, и женщина берет его член в рот! Вообразите только! И можно ли называть целомудренной особу, которая вытворяла такие мерзости?

— Милорд… если ваша супруга не хочет ехать во

Францию, если вы не в силах ее убедить… давайте скажем, что она больна. Небольшая уступка ради вашего старинного друга. Это позволит ему избежать… — Он чуть было не говорит «ее попреков», но быстро поправляется: —…позволит избежать неловкости.

Брэндон кивает. Они по-прежнему идут к реке, и он пытается шагать медленнее — не хочет уходить далеко, потому что Анна уже ждет его с известием, что Брэндон извинился. Герцог поворачивается к нему, на лице — страдание.

— Тем более, что это правда. Она ведь и впрямь больна. Ее маленькие прелестные… — Брэндон складывает ладони чашечкой, — совсем усохли. Я все равно ее люблю. Она стала вся прозрачная. Я ей говорю, Мария, когда-нибудь я проснусь и не смогу найти тебя в постели — приму за нитку на простыне.

— Очень вам сочувствую, — говорит он.

Суффолк трет лицо.

— О Боже. Ладно, идите к Гарри. Скажите ему, что мы не можем.

— Раз ваша супруга не может ехать в Кале, стоит поехать вам.

— Я бы не хотел ее оставлять, понимаете?

— Анна злопамятна, — говорит Кромвель. — Ей

трудно угодить, но ее очень легко задеть. Милорд, доверьтесь моим советам.

Брэндон сопит.

— А что еще остается? Вы теперь всем заправляете, Кромвель. Вы нынче все. Мы спрашиваем себя, как такое случилось? — Герцог тянет носом. — Но, клянусь кровью Христовой, так ни черта и не возьмем в толк.

«Клянусь кровью Христовой», — так мог бы божиться Томас Говард, старший из герцогов. Когда он заделался толмачом при герцогах, истолкователем их слов? Он спрашивает себя, но так ни черта не возьмет в толк. Когда он возвращается к королю и будущей королеве, те смотрят друг на друга влюбленными глазами. «Герцог Суффолкский шлет свои извинения», — говорит он. Да, да, кивает король, приходите завтра, только не слишком рано. Можно подумать, они уже муж и жена, и впереди у них жаркая ночь, полная супружеских ласк. Можно было бы подумать, да только Мария Болейн сказала ему, что маркизатом король купил себе лишь право гладить внутреннюю сторону Аннина ляжки. Мария поведала это вслух и даже не на латыни. Обо всем, что происходит, когда они с Генрихом остаются наедине, Анна сообщает родственникам,

не опуская ни малейшей подробности. Поневоле восхитишься ее просчитанной точностью, ее самообладанием. Она бережет себя, как солдат бережет порох, чтобы хватило подольше; подобно анатому в падуанской медицинской школе, она делит свое тело на части и каждой дает название: вот моя ляжка, вот моя грудь, вот мой язык.

— Может быть, в Кале, — говорит он. — Может быть, там король добьется того, чего хочет.

— Она должна быть уверена. — Мария идет прочь, затем останавливается и оборачивается, лоб нахмурен. — Анна говорит «мой Кромвель». Мне это не по душе.

В следующие дни возникает новый мучительный вопрос: какая августейшая французская дама будет принимать Анну? От королевы Элеоноры, разумеется, согласия не дождешься — она сестра императора и возмущена тем, что его непотребство бросил Екатерину. Сестра Франциска, королева Наваррская, чтобы не встречать любовницу английского короля, сказалась больной. «Уж не та же ли это болезнь, что у бедной герцогини Суффолкской?» — спрашивает Анна. Быть может, предлагает Франциск, будет удобно, если новую маркизу встретит герцогиня Вандомская, его собственная официальная фаворитка?

У Генриха от ярости разболелись зубы. Приходит доктор Беттс с сундучком лекарств. Сильное снотворное вроде помогает, однако просыпается король по-прежнему таким обиженным, что в следующие часы кажется, будто единственное решение — вообще отменить поездку. Как они не уяснят, что Анна — не любовница, а будущая жена? Впрочем, Франциску, чьи ухаживания никогда не длятся больше недели, этого не понять. Образец рыцарства? Христианнейший король? Да у него на уме один гон, но я вам скажу, когда он ослабеет, другие олени поднимут его на рога. Спросите любого охотника!

Наконец решение найдено: будущая королева останется в Кале, на английской почве, где никто ее не оскорбит, пока король будет с Франциском в Булони. Кале — город маленький, там легче поддерживать порядок, даже если народ в порту кричит: «Путана!» и «Великая английская блудница!» А если на улицах будут распевать скабрезные песенки, всегда можно сделать вид, что мы их не понимаем.

В Кентербери, где, кроме королевской свиты, собрались паломники со всего света, каждый дом забит от подвала до чердака. Они с Рейфом поселились в сносных условиях и близко к королю,

но многие лорды ютятся по вонючим трактирам, рыцари — по задним комнатушкам борделей, а паломникам осталось место только в конюшнях да под открытым небом. По счастью, для октября погода необычно теплая. В прошлые годы король отправился бы поклониться мощам Бекета и сделал щедрое пожертвование. Однако непокорный Бекет — не тот архиепископ, какого мы сейчас хотим ставить в пример. В соборе еще висит дымка ладана от похорон Уорхема, молитвы за упокой его души — немолчное гудение, как от тысячи ульев. Кранмеру, который где-то в Германии, с двором императора, отправлены письма. Анна уже называет его «нашим будущим архиепископом». Никто не знает, когда Кранмер доберется до Англии. Со своей тайной, говорит Рейф.

Конечно, отвечает он, со своей тайной, записанной на уголке листа.

Рейф посетил гробницу Бекета. Впервые. Возвращается ошарашенный, говорит, рака усыпана драгоценными камнями размером с гусиное яйцо.

— Знаю. Как ты думаешь, они настоящие?

— Показывают череп, скрепленный серебряной пластиной, говорят, это череп Бекета, раздробленный рыцарями. За деньги к нему можно

приложиться. И еще блюдо с фалангами его пальцев. Его засморканный носовой платок. Кусок башмака. И флакон, который они встряхивают — говорят, там его кровь.

— В Уолсингеме есть флакон с молоком Богородицы.

— Боже, молоко-то они из чего сделали? Кровь — явно вода с какой-то минеральной краской, она там плавает комочками.

— Ладно, бери это гусиное перо, выдернутое из крыла архангела Гавриила, и напишем Стивену Воэну. Пусть едет за Кранмером, поторопит того домой.

— Да уж, поскорее бы, — говорит Рейф. — Сейчас, хозяин, погодите, только смою Бекета с рук.

Король, хоть и не идет к гробнице, хочет показаться народу вместе с Анной. После мессы, вопреки всем советам, Генрих шагает в толпе, окруженный придворными, стража чуть позади. Анна стремительно поворачивает голову на тонком стебельке шеи, стараясь разобрать, что о ней говорят. Люди тянут руки, чтобы коснуться короля.

Норфолк, рядом с Кромвелем, деревянный от напряжения, стреляет глазами из стороны в сторону. «Не нравится мне эта затея, мастер Кром-

вель». Сам он, некогда проворный в обращении с кинжалом, следит за движениями ниже уровня глаз. Однако единственный предмет в пределах видимости, которым можно кого-нибудь убить, — огромное Распятие в руках у монаха. Народ расступается, пропуская целую процессию: францисканцы, приходские священники, бенедиктинцы из аббатства и, в толпе монахов, — молодая женщина в бенедиктинской рясе.

— Ваше величество!

Генрих оборачивается.

— Клянусь Богом, это блаженная! — Стражники делают шаг вперед, но Генрих останавливает их движением руки. — Дайте мне на нее взглянуть.

Она рослая и не очень молодая, лет, наверное, двадцати восьми, смуглое некрасивое лицо раскраснелось от волнения. Девица протискивается к королю, и на мгновение он видит Генриха ее глазами: ало-золотая приапическая туша, багровое лицо, тянущаяся к ней мясистая лапища.

— Мадам, вы что-то хотели мне сказать?

Девица пытается сделать реверанс, однако Генрих крепко держит ее за локоть.

— Небеса и святые, с которыми я беседую, — говорит она, — сказали мне, что еретиков, которые вас окружают, надо бросить в один большой ко-

стер, и если вы его не зажжете, то сгорите сами.

— Каких еретиков? Кто они? Я не приближаю к себе еретиков.

— Вот одна!

Анна приникает к королю, тает, как воск, на его алом с золотом джеркине.

— И если вы вступите в какую-либо форму брака с этой недостойной женщиной, то не процарствуете и семи месяцев.

— Семи месяцев?! Полноте, мадам, разве нельзя было округлить? Пророки не говорят «семь месяцев».

— Так сказали мне небеса.

— А когда семь месяцев истекут, кто меня сменит? Кто станет королем вместо меня?

Монахи пытаются оттащить блаженную от короля: такое в их планы не входило.

— Лорд Монтегю, у него кровь. Маркиз Эксетер, он королевской крови. — Теперь монахиня уже сама силится высвободить локоть из королевской хватки. — Я видела госпожу вашу матушку, — говорит она, — в языках бледного пламени.

Генрих выпускает ее руку, словно обжегшись.

— Мою матушку? Где?

— Я хотела найти кардинала Йоркского. Я обыскала рай, ад и чистилище, но его там нет.

— Она ведь сумасшедшая, да? — говорит Анна. — Если она сумасшедшая, ее нужно выпороть. Если нет — повесить.

Один из священников объявляет:

— Мадам, она великая праведница. Ее глаголы внушены небом.

— Уберите ее от меня! — требует Анна.

— Тебя поразит молния! — кричит монахиня Генриху. Тот нервно смеется.

Норфолк проталкивается вперед, рычит сквозь сжатые зубы:

— Уведите ее в тот бордель, из которого вытащили, пока она не испробовала вот этого, клянусь Богом!

Герцог потрясает сжатыми кулаками.

В давке один из монахов ударил другого Распятием, блаженную уволакивают, она пророчествует на ходу, гул толпы нарастает, Генрих, крепко держа Анну за руку, пятится туда, откуда пришел. Он, Кромвель, идет за монахами и, как только толпа редеет, трогает одного из них за плечо.

— Я был слугой Вулси, — говорит он. — Я хотел бы побеседовать с блаженной.

Посовещавшись между собой, монахи пропускают его к девице.

— Сэр? — спрашивает она.

— Не могли бы вы еще раз поискать кардинала? Если я сделаю пожертвование?

Она пожимает плечами. Один из францисканцев говорит:

— Это должно быть значительное пожертвование.

— Как вас зовут?

— Отец Рисби.

— Я очень богат и заплачу, сколько скажете.

— Вы хотите просто узнать местонахождение усопшего, чтобы молиться о нем самостоятельно, или предполагаете сделать вклад на помин души?

— Как посоветуете. Однако, разумеется, я должен быть уверен, что он не в аду, чтобы не тратиться на мессы впустую.

— Мне надо посоветоваться с отцом Бокингом, — говорит девица.

— Отец Бокинг — ее духовный наставник.

Он кивает. «Приходите за ответом», — говорит блаженная и, повернувшись, исчезает в толпе. Он дает монахам деньги для неведомого отца Бокинга, который, судя по всему, устанавливает здесь цены и ведет бухгалтерию.

Король удручен. А как еще должен чувствовать себя человек, которому сказали, что его поразит

молния? К вечеру Генрих жалуется на боль в голове, лице и челюсти. «Подите прочь, — говорит его величество докторам, — все равно от вас никакого проку. А вы, сударыня, — это уже Анне, — велите вашим дамам вас уложить. Я не хочу разговоров. Пронзительные голоса мне мучительны».

Норфолк бурчит себе под нос: у Тюдора вечно все не слава богу.

В Остин-фрайарз, когда у кого-нибудь течет из носа или подвернулась нога, мальчишки разыгрывают интерлюдию под названием: «Если бы Норфолк был доктором Беттсом». Болит зуб? Вырвать! Прищемил палец? Отруби себе руку! Болит голова? Долой ее с плеч, новая вырастет!

Пятясь к выходу, Норфолк замирает на полушаге.

— Ваше величество, она не сказала, что молния вас убьет.

— Верно! — радостно подхватывает Брэндон.

— Живой, но низложенный с трона, живой, но черный и обугленный? Вот счастье-то! — Перечислив свои горестные обстоятельства, Генрих кричит слугам, чтобы принесли дров, пажу — чтобы согрел вина. — Неужто король Англии должен сидеть с пустым кубком возле гаснущего

камина?! — Монарх, похоже, и вправду замерз. — Она говорит, что видела мою матушку.

— Ваше величество, — произносит Кромвель осторожно, — известно ли вам, что ваша матушка изображена на одном из витражей в соборе? И когда сквозь витраж бьет солнце, может показаться, будто она окружена светом. Думаю, это и видела монахиня.

— Вы не верите в ее видения?

— Полагаю, она не отличает происходящего вовне от того, что творится у нее в голове. Такое бывает. Наверное, ее стоит пожалеть, но не слишком сильно.

Король хмурится. Говорит:

— Я любил матушку. — Потом: — Бекингем очень полагался на видения. Один монах сказал ему, что он станет королем.

Нет надобности добавлять, что Бекингем казнен за государственную измену больше десяти лет назад.

Когда двор отправляется в Кале, Кромвель идет вместе с королем на «Ласточке». Стоит на палубе, смотрит, как удаляется английский берег. Рядом герцог Ричмондский, незаконный сын Генриха, взволнованный тем, что первый раз в жизни вышел в море на корабле, да еще с отцом. Фицрой

— миловидный белокурый мальчик лет тринадцати, высокий, но тоненький, вылитый Генрих в его годы, полностью осознает свое положение.

— Мастер Кромвель, — говорит мальчик, — я не видел вас с тех пор, как Вулси удалили от двора.

Мгновенная неловкость.

— Я рад, что вы процветаете. Потому что в книге «О придворном» сказано, что люди низкого происхождения часто богато одарены природой.

— Вы читаете по-итальянски, сэр?

— Нет, но отрывки из книги перевели мне на английский. Очень полезное для меня чтение. — Пауза. Мальчик поворачивает голову и говорит тихо: — Я очень жалею, что кардинал умер. Потому что теперь моим опекуном стал герцог Норфолкский.

— И я слышал, вашу светлость женят на его дочери Мэри.

— Да. А я не хочу.

— Почему?

— Я ее видел. У нее грудь плоская.

— Однако она умна, милорд. А то, о чем вы сказали, время наверняка исправит, прежде чем вы сочетаетесь браком. Если вам переведут ту часть книги Кастильоне, где речь идет о достоинствах благородных дам, вы увидите, что Мэри Говард

наделена ими сполна.

Дай-то Бог, чтобы этот брак не оказался таким же, как у Гарри Перси или Джорджа Болейна. И для девушки в том числе. Кастильоне утверждает: женщины могут понять все то же, что и мужчины, у них такие же чувства, такие же способности, они так же любят и ненавидят. Кастильоне безумно любил свою жену Ипполиту, однако та умерла, прожив с ним только четыре года. Он написал ей элегию, но так, словно пишет сама Ипполита, словно умершая разговаривает с супругом.

За кормой корабля чайки кричат, как погибшие души. Король выходит на палубу сообщить, что голова прошла. Кромвель говорит:

— Ваше величество, мы беседовали о книге Кастильоне. У вас было время ее прочесть?

— Конечно. Он восхваляет *spezzaturata* — искусство все делать изящно без видимых усилий. Это умение следует воспитывать в себе и государям. — Генрих добавляет неуверенно: — У короля Франциска оно есть.

— Да. Однако помимо *spezzaturata* следует постоянно выказывать на людях сдержанность. Я подумываю заказать перевод и презентовать его милорду Норфолку.

Король улыбается — наверняка вспомнил Томаса Говарда в Кентербери, угрожающего побить монахиню.

— Непременно презентуйте.

— Лишь бы он не усмотрел в этом упрека. Кастильоне пишет, что мужчине не следует завивать волосы и выщипывать брови. А как вам известно, милорд делает и то, и другое.

Юный Фицрой хмурится.

— Милорд Норфолк?

Генрих гогочет совсем не по-королевски, без всякого изящества и сдержанности. Вот и славно. Корабельные доски скрипят. Король, чтобы удержать равновесие, берется за поручень. Ветер наполняет паруса. Солнечные зайчики прыгают по воде. «Через час мы будем в порту».

В Кале, последнем оплоте Англии на французской почве, у него много друзей, покупателей, клиентов. Он прекрасно знает город, Водяные и Фонарные ворота, церкви Святого Николая и Божьей Матери, башни и валы, рынки, дворцы и набережные, губернаторский дом, особняки Уэтхиллов и Уингфилдов с их тенистыми садами, где местные аристократы живут в блаженном удалении от Англии, которую, по собственным словам, уже не понимают. Знает городские укрепления

(разваливающиеся) и земли за ними с их лесами, деревушками и болотами, шлюзами, дамбами и каналами. Знает дорогу на Булонь и дорогу на Гравелин — территорию императора; знает, что и Франциск, и Карл могли бы взять Кале одним решительным наступлением. Англичане владеют городом двести лет, но на улицах куда чаще слышишь французскую и фламандскую речь.

Короля встречает губернатор. Лорд Бернерс, воин и ученый, воплощенная былая добродетель, если бы не хромота и явная озабоченность предстоящими крупными тратами, мог бы служить идеальной иллюстрацией к книге «О придворном». Губернатор даже сумел разместить короля и маркизу в смежных комнатах.

— Полагаю, это весьма уместно, милорд, — говорит он Бернерсу. — Лишь бы у двери с обеих сторон были прочные щеколды.

Мария сказала Кромвелю, еще до спуска на берег:

— Раньше она не соглашалась, теперь она согласна, но не согласен он. Говорит, ребенок должен быть зачат в законном супружестве.

Монархи проведут пять дней в Булони, затем пять дней в Кале. Анна расстроена, что ей придется ждать здесь одной. Это спорная территория,

на которой может произойти все что угодно. А у него тем временем есть дело в Кале. Он оставляет Рейфа и потихоньку уходит в трактир на заднем дворе Кокуэлл-стрит.

Это заведение самого низкого разбора, здесь пахнет древесным дымом, рыбой и сыростью. На стене — тусклое зеркало, в котором он ловит отражение собственного лица. Оно бледное, только глаза живые. Малоприятная неожиданность — в такой дыре столкнуться нос к носу с самим собой.

Он садится и ждет. Через пять минут в дальнем конце комнаты ощущается какое-то шевеление, однако ничего не происходит. Чтобы скоротать время, он начинает перебирать в голове цифры прошлогодних поступлений в казну от герцогства Корнуольского, и уже готов перейти к отчету, представленному канцлером Честера, когда перед ним материализуется темная фигура в мантии. Старик трясущейся походкой идет к столу, вскоре появляются и двое других. Они совершенно одинаковые: глухое покашливание, длинные бороды. Следуя некой иерархии, дружно сопя, они усаживаются на противоположную скамью. Он ненавидит алхимиков, а они явно этой породы: непонятные пятна на одежде, сле-

зящиеся глаза, шмыганье носов, отравленных едкими испарениями. Он приветствует гостей на французском. Они дрожат от холода, и один спрашивает на латыни, можно ли им что-нибудь выпить. Он зовет мальчишку-слугу и без особой надежды спрашивает, что тот посоветует.

— Выпить в другом месте, — любезно подсказывает мальчишка.

Приносят кувшин чего-то кислого. Старики отпивают по большому глотку, и он спрашивает:

— Кто из вас мэтр Камилло?

Они обмениваются взглядами. Времени на это уходит столько же, сколько требовалось старухам-грайям,[63] чтобы передать друг другу единственный глаз.

— Мэтр Камилло уехал в Венецию.

— Зачем?

Покашливание.

— За советом.

— Однако он намерен вернуться во Францию?

— Весьма вероятно.

— Я хотел бы купить то, что у вас есть, для своего господина.

---

[63] Примечания Ольги Дмитриевой: 63

Граи — Энио, Пемфредо и Дино — в греческой мифологии порождение морских божеств, сестры горгон, у которых был один зуб и один глаз на троих.

Молчание. Может, думает он, убрать вино и не выставлять, пока они не скажут чего-нибудь дельного? Один из алхимиков, словно угадав его мысль, хватает кувшин. Руки дрожат, и вино проливается на стол. Остальные возмущенно блеют.

— Вы принесли чертежи? — спрашивает он.

Они снова переглядываются.

— О нет.

— Однако они есть?

— Чертежей, как таковых, не существует.

Старики в горестном молчании смотрят, как пролитое вино впитывается в грубо отесанную столешницу. Один пальцем расковыривает проеденную молью дырку на рукаве.

Он кричит мальчишке, чтобы принес еще кувшин.

— Мы и рады бы вам угодить, — говорит старший из алхимиков, — однако сейчас мэтру Камилло покровительствует король Франции.

— Он намерен построить королю модель?

— Возможно.

— Работающую модель?

— Всякая модель по своей природе — работающая.

— Если у него обнаружится хоть малейший повод для недовольства, мой господин Генрих

охотно примет его в Англии.

Входит мальчишка с кувшином. Все умолкают. Беседа возобновляется лишь после того, как дверь за мальчишкой хлопает. На сей раз Кромвель сам разливает вино по кружкам. Старики вновь переглядываются, и один говорит:

— Магистр убежден, что ему не подойдет английский климат. Туман. К тому же у вас на острове — сплошные ведьмы.

Разговор ни к чему не привел. Однако надо бы довести дело до конца. Выходя, он говорит слуге.

— Можешь пойти вытереть со стола.

— Я лучше подожду, пока они опрокинут второй кувшин, мсье.

— Тоже верно. Отнеси им что-нибудь поесть. Чем у вас кормят?

— Похлебкой. Я бы не советовал. С виду — вода, в которой шлюха стирала нижнюю юбку.

— Я и не знал, что девицы в Кале что-то стирают. Читать умеешь?

— Немного.

— Писать?

— Нет, мсье.

— Надо учиться. А пока пусти в ход свои глаза. Я хочу знать, придет ли еще кто-нибудь с ними поговорить, будут ли они доставать чертежи,

пергаменты, свитки — что-либо в таком роде.

— А что это, мсье? Что они продают?

Он почти готов ответить — в конце концов, какой от этого вред? — однако не может подобрать слов.

На второй день переговоров в Булони ему передают, что король Франции хочет его видеть. Генрих долго раздумывает, прежде чем дать согласие: лицом к лицу монархи встречаются только с другими монархами, аристократами и высшими иерархами церкви. С самой высадки на берег Брэндон и Говард, на корабле бывшие с ним запанибрата, держатся холодно, давая французам понять, что невысоко его ставят: это-де причуда Генриха, новоявленный советник, которого скоро сменит барон, виконт или епископ.

Посланец-француз говорит ему:

— Это не аудиенция.

— Конечно, — отвечает он. — Я понимаю.

Франциск проводит не-аудиенцию в окружении немногочисленных придворных. Он длинный и тощий, как жердь, локти и колени торчат в разные стороны, большие костлявые ступни поминутно елозят в больших мягких туфлях.

— Кремюэль, — говорит Франциск. — Я хочу в

вас разобраться. Вы — валлиец.

— Нет, ваше величество.

Печальные собачьи глаза обводят его с ног до головы, с головы до пят.

— Не валлиец.

Он видит, что ставит французского короля в тупик. Если он — не захудалый вассал Тюдоров, то как получил пропуск ко двору?

— Меня приставил к королевским делам покойный кардинал.

— Знаю, — отвечает Франциск, — однако думаю, что за этим есть что-то еще.

— Возможно, — говорит он сухо, — но отнюдь не валлийское происхождение.

Франциск упирает палец в кончик крючковатого носа, пригибая его еще ближе к подбородку. Выбери себе государя: мало радости каждый день смотреть на такую физиономию. То ли дело гладкий бело-розовый крепыш Генрих! Франциск отводит взгляд.

— Говорят, вы некогда сражались за честь Франции.

Гарильяно. Он опускает глаза, будто припомнил неприятное уличное происшествие: давку с членовредительством.

— В прискорбнейший день.

— И все же… такое забывается. Кто теперь помнит Азенкур?

Кромвель, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться, вслух говорит:

— Верно. Поколение-два… может быть, три-четыре — и от этих событий не останется даже памяти.

— По слухам, вы пользуетесь большим доверием известной дамы. — Франциск чмокает губой. — Скажите, мне крайне любопытно, о чем думает мой брат-король. Считает ли он, что она — девственница? Сам я ее не пробовал. При здешнем дворе она была слишком юная, да и плоская, как доска. А вот ее сестра…

Ему хочется прекратить этот разговор, но королю не скажешь: «Помолчи». Франциск скользит голосом по голой Марии, от подбородка до пальцев ног, затем переворачивает ее, как оладушек, и повторяет все то же, от затылка до пят. Служитель подает чистую льняную салфетку, и Франциск, закончив говорить, промакивает уголок рта.

— Довольно, — произносит Франциск. — Я вижу, вы не подтверждаете свое валлийское происхождение, а значит, моя теория неверна.

Уголки рта идут вверх, локти двигаются, колени подрагивают: не-аудиенция окончена.

— Мсье Кремюэль, — говорит король, — мы можем больше не встретиться. Ваша неожиданная удача может оказаться недолговечной. Итак, разрешите пожать вам руку как солдату Франции. И поминайте меня в своих молитвах.

Он кланяется.

— Молю о вас Бога, сэр.

На выходе один из придворных встает и со словами: «Подарок его величества» — вручает ему пару вышитых перчаток.

Другой, наверное, был бы польщен и сразу их примерил, он же ощупывает подарок и находит, что искал. Аккуратно встряхивает перчатку, подставив горсть.

Затем идет прямиком к Генриху. Король на солнечной площадке играет в кегли с французскими вельможами. Генрих катает шары так, будто сражается на турнире: с гиканьем, стонами, выкрикиванием счета, воплями и проклятьями. Король поднимает голову, спрашивает глазами: «Ну как?» Он глазами отвечает: «Наедине». Взгляд короля говорит: «Позже». Ни слова не произнесено вслух, и все это время король продолжает шутить с другими игроками, затем, не сводя глаз с катящегося шара, говорит:

— Видите моего советника? Предупреждаю,

никогда не играйте с ним ни во что. Ибо он не чтит вашу родословную. У него нет ни герба, ни имени, однако он уверен, что рожден побеждать.

Один из французов замечает:

— Умение достойно принимать проигрыш — искусство, которое воспитывает в себе всякий благородный человек.

— Я тоже надеюсь воспитать его в себе, — говорит Кромвель. — Когда увидите пример, которому я мог бы следовать, не будете ли так добры мне на него указать?

Ибо все они, как он видит, нацелены на выигрыш, на то, чтобы урвать себе толику английского золота. Азартные игры — не порок, если они тебе по средствам. Может, стоило бы выдать королю специальные игровые жетоны, подлежащие оплате лишь в особой палате Вестминстера, в присутствии определенного должностного лица, после утомительной волокиты и взяток служащим, с приложением особой печати. Это сэкономило бы много денег.

Однако королевский шар уверенно катится к цели. Генрих выигрывает. Со стороны французов слышны вежливые хлопки.

Оставшись наедине с королем, он говорит:

— Вот, думаю, вам понравится.

Генрих удивлен. Толстым указательным пальцем, розовым английским ногтем трогает рубин на ладони.

— Хороший камень, — говорит король. — Можете мне поверить. — Пауза. — Кто здесь лучший ювелир? Попросите его зайти ко мне. Камень темный, не узнать невозможно. Я надену это кольцо на встречу с Франциском. Пусть видит, как мне служат. — Короля разбирает веселье. — Впрочем, я выплачу вам его стоимость. — Кивает: можете идти. — Разумеется, вы сговоритесь с ювелиром, чтобы завысить цену, а разницу поделите между собой… но я буду щедр.

Сделай лицо.

Король хохочет.

— Как бы я доверил мои дела человеку, неспособному позаботиться о своих? Когда-нибудь Франциск предложит вам пенсион. Соглашайтесь. Кстати, о чем он вас спрашивал?

— Спросил, валлиец ли я. Ему этот вопрос представлялся важным, но я, увы, обманул его ожидания.

— Вы никогда не обманываете ожиданий, — говорит Генрих. — Если когда-нибудь обманете, я тут же скажу.

Два часа. Два короля. Ну как тебе, Уолтер? Он

стоит на соленом ветру, разговаривая с мертвым отцом.

Оба короля в Кале. После пира Анна танцует с Франциском. Щеки порозовели, глаза под золоченой маской сверкают огнем. Когда она приподнимает маску и смотрит на французского короля, на лице у нее странная полуулыбка, не вполне человеческая, как будто под маской — другая маска. У Франциска отпадает челюсть и текут слюнки. Анна за руку ведет короля к дивану в оконной нише. Они разговаривают по-французски час, шепотом, ее изящная темная головка склоняется к его голове; иногда смеются, глядя друг другу в глаза. Без сомнения, тема беседы — условия нового соглашения; Франциск, кажется, вообразил, что текст договора — у Анны за корсажем. В какой-то момент он берет ее за руку. Она легонько упирается, и на миг впечатление такое, будто он хочет положить ее пальцы на свой омерзительный гульфик. Всем известно, что Франциск недавно лечился ртутью, однако никто не знает, помогло ли лечение.

Генрих танцует с женами местной знати. Чарльз Брэндон, позабыв про больную супругу, заставляет партнерш вскрикивать, подбрасывая их в воздух так, что взлетают юбки. Однако взгляд

Генриха то и дело устремляется через зал к Анне, к Франциску. Хребет парализован страхом. На лице — агонизирующая улыбка.

Наконец Кромвель решает: я должен это прекратить. И тут же удивляется самому себе: неужто я, как и пристало верноподданному, люблю своего короля?

Он вытаскивает Норфолка из темного угла, куда тот спрятался, чтобы не заставили танцевать с супругой губернатора.

— Милорд, заберите оттуда вашу племянницу. На сегодня дипломатии довольно. Король ревнует.

— Что? Какого дьявола ему теперь не так?

Однако герцог с первого взгляда понимает, что творится, и, чертыхнувшись, идет через зал — наперерез танцующим, не в обход. Хватает Анну за руку, перегибает ее запястье, словно хочет сломать.

— С вашего позволения, сир. Мадам, идемте танцевать.

Рывком ставит ее на ноги. И они танцуют, если это можно назвать танцем: ничего подобного здесь сегодня не видели. У герцога громовой топот сатанинских копыт, у нее — полуобморочные подскоки, одна рука висит, словно подбитое

крыло.

Король наблюдает за ними со спокойным, праведным удовлетворением. Анну следовало наказать, и кому это сделать, если не родственнику? Французские придворные ухмыляются, сбившись в кучку. Франциск смотрит, сощурив глаза.

В тот вечер король удаляется рано, прогоняет даже камергеров, только Гарри Норрис снует туда-сюда в сопровождении слуги: относит королю вино, фрукты, большое одеяло, грелку: похолодало. Дамы тоже стали резкими и раздражительными. Анна на кого-то кричит. Хлопают двери. Кромвель разговаривает с Томасом Уайеттом, когда на них налетает мистрис Шелтон.

— Госпожа требует Библию!

— Мастер Кромвель может прочесть весь Новый завет наизусть, — любезно подсказывает Уайетт.

Мэри смотрит затравленно.

— Кажется, ей для присяги.

— Тогда я не гожусь.

Уайетт ловит фрейлину за руку.

— Кого вы сегодня ночью согреваете, юная Шелтон?

Она вырывается и бежит прочь, требуя Библию.

— Я вам скажу, кого, — говорит Уайетт. — Генри Норриса.

Он смотрит вслед фрейлине.

— Она бросает жребий?

— Я был в числе счастливцев.

— Король?

— Возможно.

— В последнее время?

— Анна вырвала бы обоим сердце и зажарила на вертеле.

Кромвель не хочет уходить далеко на случай, если Генрих его потребует, и в конце концов садится играть в шахматы с Эдвардом Сеймуром.

— Ваша сестра Джейн… — начинает он.

— Странная она, да?

— Сколько ей сейчас?

— Не знаю… лет двадцать, наверное. Она ходила по Вулфхоллу, говоря: «Это рукава Томаса Кромвеля», и никто не понимал, о чем речь. — Эдвард смеется. — Очень довольная собой.

— Отец ее уже просватал?

— Были какие-то разговоры. А что?

— Просто мешаю вам обдумывать ход.

Распахивается дверь и влетает Том Сеймур.

— Привет, дедуля! — кричит он, сбивает с брата берет и ерошит ему волосы. — Вставай! Нас ждут

женщины!

— Мой друг, — кивок в сторону Кромвеля, — не советует. — Эдвард отряхивает берет. — Говорит, они такие же, как англичанки, только грязнее.

— Глас бывалого человека? — спрашивает Том.

Эдвард старательно надевает берет.

— Сколько лет нашей сестре Джейн?

— Двадцать один — двадцать два. А что?

Эдвард смотрит на доску, тянется к ферзю. Понимает, что в западне. Уважительно вскидывает взгляд.

— Как вам это удалось?

Позже он сидит перед чистым листом бумаги, собирается написать Кранмеру и отправить письмо неведомо куда: искать «нашего будущего архиепископа» по всей Европе. Берет перо, но не пишет. В голове крутится разговор с Генрихом про рубин. Его господин уверен, что он готов пуститься на мелкое жульничество, как в ту пору, когда продавал кардиналам поддельных купидонов. Однако в таких случаях оправдываться — только усиливать подозрения. Если Генрих не вполне ему доверяет, что тут удивительного? Государь одинок: в зале совета, в опочивальне и, наконец, пред дверьми ада — нагой, как сказал Гарри Перси, вдень последнего суда.

Поездка загнала все дворцовые интриги и дрязги в тесное пространство, ограниченное городскими стенами Кале. Придворные, как карты в колоде, плотно прижаты друг к другу, но их бумажные глаза ничего не видят. Интересно, думает он, где-то сейчас Томас Уайетт, в какие неприятности влез? Заснуть явно не удастся; не потому, что сон прогнала тревога об Уайетте. Он подходит к окну. Луна, словно отверженная, влачит за собой черные лохмотья облаков.

В саду горят установленные на подставках факелы, но он идет прочь от света. Плеск волн о берег мерен и настойчив, как биение собственного сердца. Он чувствует, что в темноте кто-то есть; в следующий миг слышится шелест юбок, слабое грудное «ах», и на локоть ему ложится женская рука.

— Вы, — говорит Мария.

— Я.

— Знаете? Они отодвинули щеколды. — Она издает короткий, недобрый смешок. — Сейчас Анна в его объятиях, нагая, как при рождении. Назад пути нет.

— Мне казалось, сегодня у них была ссора.

— Да. Они любят ссориться. Она сказала, что Норфолк сломал ей руку, Генрих назвал ее Магда-

линой и еще кем-то, не помню. Вроде бы все это были римлянки. Не Лукреция.

— Да уж. По крайней мере надеюсь, что так. Зачем ей нужна была Библия?

— Чтобы он принес брачный обет. При свидетелях. При мне. При Норрисе. Теперь они женаты перед Богом. И еще он поклялся, что сразу по возвращении в Англию обвенчается с ней по всем правилам, а весной будет коронация.

Он вспоминает монахиню в Кентербери: если вы вступите в какую-либо форму брака с этой недостойной женщиной, то не процарствуете и семи месяцев.

— Ну вот, — говорит Мария, — теперь главное, чтобы у него получилось.

— Мария. — Он берет ее за руку. — Не пугайте меня.

— Генрих робок. Он думает, будто от него ждут королевских подвигов. Впрочем, если он оробеет, Анна знает, что делать. — Она добавляет торопливо: — В смысле, я дала ей все нужные наставления. — Кладет руку ему на плечо. — Так как насчет нас с вами? Мы много потрудились, чтобы их свести, и, думаю, заслужили отдых.

Молчание.

— Вы ведь больше не боитесь моего дяди Нор-

фолка?

— Мария, я смертельно боюсь вашего дяди Норфолка.

И все же не из-за этого, а из-за чего-то другого он медлит в неуверенности. Мария касается губами его губ. Спрашивает:

— О чем вы думаете?

— Думаю, что не будь я преданнейшим слугой короля, еще можно было бы успеть на следующий корабль.

— И куда бы мы отправились?

Он не упомнит, чтобы кого-нибудь приглашал с собой.

— На восток. Хотя, признаюсь, начинать сначала там нелегко.

На восток от Болейнов. На восток от всех. Ему вспоминается Средиземное море, не эти северные воды, и в особенности одна ночь, теплая ночь в Ларнаке: огни беспокойной набережной за окном, шлепанье невольничьих ног по кафелю, запах благовоний и кориандра. Он обнимает Марию и натыкается на что-то мягкое, неожиданное: лисий мех.

— Очень предусмотрительно.

— О, мы привезли все, что у нас есть. На случай, если придется задержаться тут до зимы.

Отблеск света на коже. Шея у Марии очень белая, очень нежная. Герцог в доме; здесь, сейчас, возможно все. Он раздвигает пальцами мех и находит плечи: теплые, надушенные и чуть влажные. Чувствует, как бьется жилка на ее шее.

Шаги. Он оборачивается, в руке кинжал. Мария повисает на его локте. Острие кинжала упирается в мужской дублет под грудиной.

— Ладно-ладно, — произносит по-английски раздраженный голос. — Уберите оружие.

— О Боже! — восклицает Мария. — Вы чуть не убили Уильяма Стаффорда.

Он заставляет незнакомца выйти на свет и, только увидев лицо, убирает кинжал. Ему неизвестно, кто такой Уильям Стаффорд. Чей-то конюший?

— Уильям, я думала, вы не придете.

— Как я вижу, в таком случае вы бы в одиночестве не остались.

— Вы не представляете, каково это — быть женщиной. Ты думаешь, будто о чем-то с мужчиной условилась, а выясняется — ничего подобного. Думаешь, он придет, а он не приходит.

Это — вопль сердца.

— Доброй ночи, — говорит он. Мария поворачивается, как будто хочет сказать: «не уходите». —

Пора мне помолиться и в постель.

С моря налетел сильный ветер: скрипят мачты в порту, в городе дребезжат окна. Завтра, наверное, будет дождь. Он зажигает свечу и берется за письмо, однако не может сосредоточиться. Ветер рвет с деревьев листву. Образы движутся за стеклом, чайки проносятся как призраки: белый чепец Элизабет, когда та провожала его до дверей в последнее утро. Только не было этого: она спала во влажной постели, под одеялом желтого турецкого атласа. Жребий, который привел его сюда, привел и к тому утру пять лет назад, когда он выходил из дома женатым человеком с бумагами Вулси под мышкой. Был ли он тогда счастлив? Трудно сказать.

В ту ночь на Кипре, теперь уже давнюю, он готов был уйти из банка или хотя бы попросить, чтобы его отправили с рекомендательными письмами на Восток. Ему хотелось увидеть Святую землю, ее растения и людей, поцеловать камни, по которым ступали апостолы, торговаться в неведомых закоулках странных городов и черных шатрах, где закутанные женщины порскают по углам, как тараканы. В ту ночь решалась его судьба. Глядя в окно на огни набережной, он слышал в комнате позади грудной смех и тихое «аль-хамду

лиллах»,[64] с которым женщина встряхнула в руке кубики из слоновой кости, затем стук. Когда наступила тишина, он спросил: «Ну и что там?»

Больше — Восток. Меньше — Запад. Азартные игры — не порок, если они тебе по средствам.

— Три и три.

Это много или мало? Не сразу сообразишь. Судьба не подтолкнула его решительно, а так, легонько тронула за плечо.

— Я еду домой.

— Только не сегодня. Уже прилив.

На следующее утро он чувствует богов за спиной, как ветер. Он повернул к Европе. Домом тогда было узкое здание на тихом канале, за тяжелыми деревянными ставнями. Ансельма на коленях, золотисто-нагая под длинным ночным платьем зеленого дамаста, отливающего при свечах чернотой, на коленях перед маленьким серебряным алтарем у себя в комнате, про который она говорила: «Это самое ценное, что у меня есть». Подожди минутку, сказала Ансельма. Она молилась на родном языке, то вкрадчиво-умильно, то почти с угрозой, и, видимо, выпросила у серебряных святых чуточку снисхождения, а мо-

---

[64] Примечания Ольги Дмитриевой: 64
«Хвала Аллаху» *(араб.).*

жет, углядела за их блистательной праведностью некую лазейку-щелочку, потому что встала и со словами: «Теперь можно», — потянула шелковую шнуровку, чтобы он мог коснуться ее грудей.

III Ранняя обедня

Ноябрь 1532

Рейф стоит над ним, говорит, уже семь. Король ушел к мессе.

Он провел ночь с призраками.

— Мы не хотели вас будить. Вы никогда не спите допоздна.

Ветер вздыхает в трубах. Пригоршня дождя ударяет в окно, как щебень, за ней другая.

— Возможно, погода задержит нас в Кале.

Пять лет назад, уезжая во Францию, Вулси попросил его следить за положением дел при дворе и отписать, как только Генрих и Анна разделят ложе. Он спросил тогда: а как я узнаю, что это произошло? Кардинал ответил: «Думаю, это будет видно по его лицу».

К тому времени, как он дошел до церкви, ветер утих и дождь перестал, однако улицы превратились в грязь; местные жители, вышедшие поглазеть на знать, все сплошь на ходулях и с плащами, накинутыми на голову, как новое племя безголовых исполинов. Он протискивается через толпу зевак, затем шепчет плотно стоящим

джентльменам: *s'il vous plait, c'est urgent,*[65] дайте дорогу великому грешнику. Он смеются и расступаются.

Анна входит под руку с губернатором. Тот напряжен — видимо, разыгралась подагра, но предупредителен, шепчет любезности, на которые не получает ответа. Лицо Анны — нарочито непроницаемо. Король ведет супругу Уингфилда, болтает с ней весело, на Анну не смотрит вовсе. Король выглядит большим, добродушным. Шарит взглядом в толпе, отыскивает его, Кромвеля. Улыбается.

Выходя из церкви, Генрих надевает шляпу. Шляпа большая, новая. И на этой шляпе — перо.

[65] Примечания Ольги Дмитриевой: 65
пожалуйста, это срочно *(фр.).*

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I Anna Regina[66]

1533

Двое малышей сидят на скамье в Остин-фрайарз, выставив вперед пятки. Оба еще в детских платьицах, не поймешь, кто мальчик, а кто девочка. Пухлые мордашки под чепчиками сияют. Их вид, сытый и довольный — очевидная заслуга молодой матери, Хелен Барр, которая тем временем рассказывает свою историю: дочь разорившегося мелкого торговца из Эссекса, жена Мэтью Барра, который ее бил, а потом и вовсе бросил — указывает на младшего — «вот с ним в пузе».

Соседи привычно идут к нему со своими бедами: у кого-то дверь покосилась, кому-то чужие гуси мешают гоготом, кому-то не дают спать склочные муж и жена в доме напротив, которые ночь напролет бранятся и швыряют посуду. Эти мелочные заботы съедают его время, но уж лучше Хелен Барр, чем соседские гуси. Мысленно он наряжает ее в узорчатый бархат, который видел вчера — шесть шиллингов за ярд — вместо видав-

---

[66] Примечания Ольги Дмитриевой: 66
Королева Анна *(лат.).*

шего виды шерстяного платья. Руки женщины загрубели от тяжелой работы — он добавляет перчатки.

— Может статься, его уже и в живых-то нету. Муж был пьяницей и задирой, каких мало. Его приятель говорит, убили твоего муженька, ищи на дне реки. А другие видели его с дорожной сумой на причале в Тилбери. Вот и разбери, кто я теперь: жена или вдова?

— Я попробую разузнать. Хотя для тебя лучше, если он сгинул. На что живешь?

— Как муж пропал, шила паруса, потом перебралась в Лондон искать его, нанималась на поденную работу. Раз в год в монастыре у собора Святого Павла стираю простыни. Сестры хвалили меня, сказали, что дадут тюфяк на чердаке, только они с детьми не пускают.

Вот оно, церковное милосердие, ему не впервой такое слышать.

— Незачем тебе гнуть спину на этих ханжей. Будешь жить тут. Работа найдется. В доме хватает народу, сама видишь, я строюсь.

Она порядочная женщина, думает он, раз не обратилась к самому очевидному способу заработать, хотя, выйди она на улицу, отбою не будет.

— Мне сказали, ты хочешь научиться грамоте,

чтобы читать Писание.

— Я сошлась тут с женщинами, они отвели меня в подвал в Бродгейте, который называют ночной школой. Я и раньше знала про Ноя, волхвов и Авраама, а вот про апостола Павла услыхала впервые. На ферме у нас жили домовые, они сквашивали молоко и вызывали грозу, но мне сказали, они нехристи. И все равно зря мы там не остались. Отцу не давалась городская работа.

Хелен не сводит с детей тревожных глаз. Малыши сползли со скамейки и приковыляли к стене, где на их глазах рождается рисунок; каждый шажок заставляет Хелен обмирать от страха. Юный немец, которого Ганс приставил к несложным работам, поворачивает рисунок — по-английски он не говорит — показать, чем занимается. Видишь, роза. Три льва, смотри, прыгают. Две черные птицы.

— Красный! — вопит малыш постарше.

— Она знает цвета, — поясняет зардевшаяся от гордости Хелен. — А еще считает до трех.

На месте, где раньше был герб Вулси, красуется его собственный, недавно пожалованный: три вздыбленных золотых льва на лазурном поле, на поясе червленая роза с зелеными шипами между двумя корнуольскими галками.

— Смотри, Хелен, — говорит он, — эти черные птицы — эмблема Вулси. — Он смеется. — А ведь многие надеялись никогда больше их не увидеть!

— Среди наших не все вас понимают.

— Ты про тех, из ночной школы?

— Они говорят, как может кто-то держаться евангельской веры и любить такого человека?

— Мне никогда не была по душе его заносчивость, ежедневные процессии, роскошь. Однако от основания Англии никто не служил ей с большим рвением. А когда его милость приближал тебя, — добавляет он грустно, — он становился так прост, так любезен… Хелен, переберешься сегодня?

Кромвель думает о монахинях, которые стирают простыни раз в год. Воображает потрясенное лицо кардинала. Прачки следовали за его милостью, как шлюхи за армейским обозом, разгоряченные от ежечасных трудов. В Йоркском дворце стояла ванна высотой в человеческий рост, а комнату на голландский манер согревала печь. Сколько раз ему приходилось говорить о делах с распаренной кардинальской головой, торчащей из горячей воды. Ванну забрал Генрих и теперь плещется в ней с избранными друзьями, которые

покорно терпят, если господину захочется от души макнуть их в воду.

Художник протягивает кисть старшей девочке. Хелен сияет.

— Осторожно, детка, — говорит она.

На стене возникает синее пятно. Такая маленькая, а такая умелая, хвалит художник. *Gefällt es Ihnen, Herr Cromwell, sind Sie stolz darauf?*

Художник спрашивает, — переводит он для Хелен, — нравится ли мне, горжусь ли я собой. Важно, что вами гордятся друзья, говорит Хелен.

Я вечно перевожу: если не языки, то людей. Анну Генриху. Генриха Анне. Сейчас король так нуждается в сочувствии, а она колючая, словно репейник. Временами глаза короля останавливаются на других женщинах — и тогда Анна срывается с места и несется в свои покои. Он, Кромвель, мечется между ними, словно площадной поэт, неся заверения всепоглощающей страсти обеим сторонам.

Еще нет трех, а в комнате уже стемнело. Он подхватывает младшего из детей, который тут же обмякает у него на плече, проваливается в сон, словно на ходу врезался в стену.

— Хелен, — говорит он, — мой дом полон бойких молодых людей, и все они будут учить тебя

грамоте, задаривать подарками и скрашивать твою жизнь. Учись, не отказывайся от подарков, будь счастлива среди нас, но если кто-нибудь позволит себе лишнее, говори мне или Рейфу Сэдлеру. Мальчишке с рыжей бородкой. Впрочем, он давно уже не мальчишка.

Скоро двадцать лет, как он забрал Рейфа из отцовского дома; стоял такой же хмурый день, дождь хлестал как из ведра, а сонный мальчуган притулился к плечу, когда он вносил его в дом на Фенчерч-стрит.

Из-за штормов они застряли в Кале на десять дней. В Булони потерпели крушение корабли, Антверпен затопило, под водой оказалась значительная часть побережья. Кромвель хочет написать друзьям, узнать, живы ли, не разорены ли, но дороги размыты, да и сам Кале стал островком, на котором правит счастливый монарх. Он испрашивает аудиенцию — дела не ждут, — но получает ответ: «Сегодня утром король не сможет вас принять. Он с леди Анной сочиняет музыку для арфы».

Они с Рейфом переглядываются и уходят.

— Остается надеяться, что из-под их пера выйдет достойная пьеска.

Томас Уайетт и Генри Норрис надираются в

грязной таверне. Клянутся друг другу в вечной дружбе, а на заднем дворе их челядь лупит друг дружку и валяет в грязи.

Марии Болейн нигде не видно. Вероятно, они со Стаффордом тоже нашли тихое местечко и сочиняют музыку.

В полдень, при свечах, лорд Бернерс показывает ему свою библиотеку: живо ковыляет от стола к столу, бережно листает древние фолианты, которые переводит. Вот роман о короле Артуре.

— Поначалу я едва не бросил. История слишком неправдоподобна, но мало-помалу мне открылась ее мораль.

О том, что за мораль ему открылась, лорд Бернерс умалчивает.

— А вот Фруассар[67] по-английски. Его величество сам велел мне заняться переводом. Пришлось согласиться, король пожаловал мне пятьсот фунтов. Не желаете посмотреть мои переводы с итальянского? Я делал их для себя, не для печати.

Они проводят вечер за манускриптами и продолжают обсуждать их за ужином. Генрих

---

[67] Примечания Ольги Дмитриевой: 67

Жан Фруассар (1338 — ок. 1400) — французский историк, «Хроники» которого содержали ценные свидетельства по политической истории Англии и Франции в XIV в.

даровал лорду Бернерсу пожизненный пост канцлера казначейства, но поскольку тот не в Лондоне, должность не приносит его светлости ни денег, ни влияния.

— Мне известно, что вы человек дела. Не согласитесь посмотреть мои счета? Вряд ли вы найдете их в идеальном состоянии.

Лорд Бернерс оставляет его наедине с писульками, которые называет своими счетами. Часы идут, ветер шуршит в кровле, колышется пламя свечи, дождь молотит в стекло. Он слышит шарканье хозяйской больной ноги, в дверях возникает встревоженное лицо.

— Ну как?

Ему удалось обнаружить лишь долги. Вот что бывает, когда посвящаешь жизнь ученым изысканиям и служишь королю за морем вместо того чтобы набивать мошну, работая зубами и локтями при дворе.

— Жаль, что вы не обратились ко мне раньше. Всегда можно что-то исправить.

— Откуда мне было знать, что вам можно довериться, мастер Кромвель? Мы обменялись письмами, только и всего. Дела Вулси, королевские дела. Я совсем вас не знал. И до сего времени не думал, что сподоблюсь.

В день отплытия появляется мальчишка из таверны алхимиков.

— Наконец-то! Что принес?

Мальчишка демонстрирует пустые ладони и тараторит на своеобразном английском:

— *On dit*[68] маги вернулись в Париж.

— Я разочарован.

— Вас не так-то просто найти, господин. Я пошел туда, где остановились *le roi Henri* со своей *Grande Putaine,*[69] спрашиваю *je cherche milord Cremuel,*[70] а они давай смеяться, еще и поколотили.

— Потому что никакой я не милорд.

— Уж тогда и не знаю, какие милорды в вашей стране!

Он предлагает мальчишке монетку за услуги, тот мотает головой.

— Я хочу поступить к вам на службу, мсье. Надоело сидеть на месте.

— Как тебя звать?

— Кристоф.

— А фамилия у тебя есть?

---

[68] Примечания Ольги Дмитриевой: 68
говорят *(фр.).*

[69] Примечания Ольги Дмитриевой: 69
король Генрих, вельможная шлюха *(фр.).*

[70] Примечания Ольги Дмитриевой: 70
я ищу милорда Кремюэля *(фр.).*

— *Ça ne fait rien.* [71]

— Родители?

Пожимает плечами.

— Сколько лет?

— Сколько дадите.

— Читать ты умеешь. А драться?

— А что, придется много драться *chez vous?*[72]

Мальчишка широк в плечах, такого подкормить — и через пару лет его с ног не собьешь. На вид не больше пятнадцати.

— Были неприятности с законом?

— Во Франции, — роняет Кристоф небрежно, как другой сказал бы «в Китае».

— Ты вор?

Мальчишка втыкает в воздух воображаемый ножик.

— Что, до смерти?

— Ну, на живого тот малый не тянул.

Кромвель усмехается.

— Ты уверен, что хочешь зваться Кристофом? Сейчас ты еще можешь сменить имя, потом будет поздно.

— Вы поняли меня, мсье.

---

[71] Примечания Ольги Дмитриевой: 71
неважно *(фр.).*

[72] Примечания Ольги Дмитриевой: 72
у вас *(фр.).*

Иисусе, еще бы. Ты мог быть моим сыном. Он пристально вглядывается в мальчишку: нет, он не из тех юных разбойников, о которых говорил кардинал, оставленных им по берегам Темзы, и, весьма вероятно, у иных рек, иных широт. Глаза Кристофа сияют незамутненной голубизной.

— Тебя не пугает путешествие по морю? — спрашивает Кромвель. — В моем доме многие говорят по-французски. Скоро ты станешь одним из нас.

Теперь, в Остин-фрайарз, Кристоф донимает его расспросами.

— Эти маги, что у них было? Карта зарытых сокровищ? Наставление по сборке, — мальчишка машет руками, — летающей машины? Машины, которая производит взрывы, или боевого дракона, изрыгающего пламя?

— Ты слыхал о Цицероне? — спрашивает Кромвель.

— Нет, но хотел бы. Раньше я и про епископа Гардинера не слыхал. *On dit* вы отняли его клубничные грядки и отдали их королевской любовнице, и теперь он… — Кристоф замолкает, снова машет руками, изображая боевого дракона, — не даст вам покоя в этой жизни.

— И в следующей. Я его знаю.

Гардинер еще легко отделался. Он хочет ска-

зать, она больше не любовница, но тайна — хотя совсем скоро о ней узнают все — принадлежит не ему.

Двадцать пятое января 1533 года, рассвет, часовня в Уайтхолле, служит его друг Роуланд Ли, Анна и Генрих венчаются, скрепляя обещание, данное в Кале. Никаких пышных церемоний, горстка свидетелей, молодые почти бессловесны, даже обязательное «да» приходится вытягивать из них чуть ли не силой. Генри Норрис бледен и печален: ну не жестокость ли заставлять его дважды смотреть, как Анну отдают другому?

Камергер Уильям Брертон выступает свидетелем.

— Так вы здесь или где-нибудь еще? — спрашивает Кромвель. — Вы утверждали, что умеете находиться в двух местах сразу, точно святой угодник.

Брертон злобно щурится.

— Вы писали в Честер.

— По делам короля, и что с того?

Они переговариваются вполголоса — в эту минуту Роуланд соединяет руки жениха и невесты.

— Предупреждаю еще раз, держитесь подальше от моих семейных дел. Иначе наживете неприятности, о которых и не помышляете, мастер

Кромвель.

Анну сопровождает единственная дама — ее сестра. Когда они удаляются — король тянет жену за собой, новобрачных ждет арфа, — Мария оборачивается, широко улыбается ему и разводит на дюйм большой и указательный пальцы.

Она всегда говорила: я узнаю первой. Именно я буду расставлять ей корсаж.

Он вежливо отзывает Брертона и говорит: вы пожалеете о том, что мне угрожали.

Затем возвращается к себе в Вестминстер. Интересно, король уже знает? Вряд ли.

Садится за бумаги. Приносят свечи. Он видит тень своей руки, тень движется по бумаге; ладонь, свободная, не затянутая в бархат перчатки. Ему хочется, чтобы между ним и шероховатостью бумаги, черной вязью букв не было ничего; он снимает перстень Вулси и рубин Франциска — на Новый год Генрих вернул ему камень в оправе, сделанной ювелиром из Кале, заявив в приступе королевской откровенности: пусть это будет наш тайный знак, Кромвель, запечатайте им письмо, и я буду знать, что оно от вас, даже если потеряете свою печать.

Наперсник Генриха Николас Кэрью, стоящий рядом, замечает, надо же, а кольцо его величества

вам впору. Впору, соглашается Кромвель.

Он медлит. Перо подрагивает.

Пишет: «Королевство Англия есть империя». *Королевство Англия есть империя, каковою и почитается в мире, управляемая верховным главой и королем…*[73]

В одиннадцать, когда наконец-то светает, он обедает у Кранмера на Кэннон-роу, где тот живет в ожидании официального вступления в должность и переезда в Ламбетский дворец, упражняясь пока в новой подписи: Томас, архиепископ Кентерберийский. Скоро архиепископ будет обедать как полагается ему по статусу, но сегодня, словно нищий богослов, отодвигает бумаги, чтобы слуга постелил скатерть и поставил тарелки с соленой рыбой. Кранмер благословляет трапезу.

— Не поможет, — говорит Кромвель. — Кто вам готовит? Придется прислать своего человека.

— Итак, свадьба состоялась?

Очень в духе Кранмера шесть часов терпеливо ждать, не поднимая голову от книги.

---

[73] Примечания Ольги Дмитриевой: 73

Здесь Кромвель обдумывает текст, который ляжет в основу парламентского «Акта об апелляциях» в Рим (1533), где впервые недвусмысленно провозглашался «имперский» статус Англии, король которой не имел над собой иных владык, кроме Всевышнего.

— Роуланд справился. Ни Анну с Норрисом не обвенчал, ни короля с ее сестрицей.

Он встряхивает салфетку.

— Я кое-что знаю, но вам придется меня улестить.

Кромвель надеется, что, пытаясь вытянуть у него секрет, Кранмер выдаст тайну, о которой намекнул на полях письма. Но, очевидно, речь шла о мелких недоразумениях, давным-давно забытых. И поскольку архиепископ Кентерберийский продолжает неловко ковыряться в чешуе и костях, он говорит:

— Анна уже носит дитя.

Кранмер поднимает глаза.

— Если вы будете сообщать об этой новости таким тоном, люди решат, что без вашей помощи не обошлось.

— Вы не удивлены? Не рады?

— Интересно, что это за рыба? — спрашивает Кранмер с легким недоумением. — Разумеется, рад. Но я и так знаю, этот брак чист — почему бы Господу не благословить его потомством? И наследником.

— Наследником прежде всего. Прочтите. — Он протягивает Кранмеру бумаги, над которыми трудился. Тот умывает рыбные пальцы и подает-

ся вперед, к пламени свечи.

— Значит, после Пасхи обращения к папе, — замечает он, не переставая читать, — будут считаться нарушением закона и королевской прерогативы. Отныне о тяжбе Екатерины следует забыть. И я, архиепископ Кентерберийский, могу рассмотреть королевское дело в английском суде. Что ж, долго собирались.

— Это вы долго собирались, — смеется Кромвель.

Кранмер узнал о чести, оказанной ему королем, в Мантуе и двинулся в обратное путешествие кружным путем: Стивен Воэн встретил его в Лионе, спешно переправил через сугробы Пикардии и посадил на корабль.

— Почему вы медлили? Каждый мальчишка мечтает стать архиепископом, разве нет? Впрочем, кроме меня. Я мечтал о медведе.

Кранмер пристально смотрит на него:

— Это легко устроить.

Грегори как-то спросил, как понять, шутит ли доктор Кранмер? И не поймешь, ответил тогда Кромвель, его шутки редки, как яблоневый цвет в январе. А теперь и ему самому несколько недель трястись от страха: неровен час, наткнешься на медведя под собственной дверью.

Он собирается уходить, Кранмер поднимает глаза:

— Разумеется, официально я ничего не знаю.

— О ребенке?

— О свадьбе. Если предстоит рассматривать дело о предыдущем браке короля, негоже мне знать, что нынешний уже заключен.

— Конечно, — говорит Кромвель. — Зачем Роуланд вскочил ни свет ни заря, касается лишь самого Роуланда.

Он уходит, оставляя Кранмера над остатками трапезы, похоже, в раздумьях, как собрать рыбу заново.

Поскольку разрыв с Ватиканом еще не оформлен, для введения в сан нового архиепископа необходимо одобрение папы. Посланцам в Риме поручено говорить то, обещать се, *pro tern,*[74] лишь бы Климент согласился.

— Вы представляете, сколько стоят папские буллы? — Генрих ошеломлен. — И ничего не поделаешь, придется платить! А сама церемония! Разумеется, — добавляет король, — все должно быть устроено как нельзя лучше, тут скупиться нечего.

---

[74] Примечания Ольги Дмитриевой: 74
на время *(лат.).*

— Это будут последние деньги, которые ваше величество отошлет в Рим, положитесь на меня.

— А знаете, — король искренне удивлен, — оказывается, у Кранмера за душой ни пенни. Он ничего не может внести.

От лица короны Кромвель берет в долг у старого знакомца, богатого генуэзца Сальваго. Чтобы убедить того дать ссуду, посылает гравюру, о которой давно мечтает Себастьян. На гравюре юноша в саду, глаза обращены к окну, в котором скоро появится его возлюбленная: ее аромат уже висит в воздухе, птицы в кустах всматриваются в пустой проем, готовые разом запеть при появлении дамы; в руках у юноши книга в форме сердца.

Кранмер сутра до ночи заседает в задних комнатах Вестминстера, сочиняет оправдания для короля. Хотя брак Екатерины с его братом не был осуществлен, жених и невеста имели намерение вступить в брак, и одно это намерение создает между ними родственную связь. Кроме того, в те ночи, которые они провели вместе, супруги определенно намеревались зачать наследников, даже если не осуществили это должным образом. Чтобы не выставлять лжецами ни Генриха, ни Екатерину, члены комитета измышляют причины, по которым брак мог быть осуществлен

частично. Им приходится вообразить все те постыдные неудачи, которые могут произойти в супружеской спальне.

И нравится вам эта работа, спрашивает Кромвель. Глядя на согбенных невзрачных людей, заседающих в комитетах, он решает, что супружеская несостоятельность знакома им не понаслышке. В документах Кранмер именует королеву «светлейшей», стремясь разделить безмятежное лицо Екатерины и унизительные мальчишеские ерзания по ее бедрам.

Тем временем Анна, тайная королева Англии, отрывается от компании джентльменов, прогуливающихся по галерее в Уайтхолле. Она хохочет и вприпрыжку несется прочь; ее, словно опасную умалишенную, пытаются схватить, но Анна вырывается, не переставая хохотать.

— Знаете, я с ума схожу по яблокам, мне все время хочется яблок. Король сказал, что я жду ребенка, а я говорю ему нет, нет, неправда…

Она словно заведенная крутится на месте, вспыхивает, слезы градом брызжут из глаз, как из сломанного фонтана.

Томас Уайетт протискивается сквозь толпу.

— Анна… — Он хватает ее за руки и притягивает к себе. — Анна, ш-ш-ш, милая, ш-ш-ш…

Захлебываясь в рыданиях, Анна припадает к его плечу. Уайетт прижимает ее к себе; затравленно озирается, словно голым очутился на большой дороге и высматривает прохожего с плащом, чтобы прикрыть срам. Среди зевак оказывается Шапюи; посол со значительным видом удаляется, торопливо перебирая крохотными ножками, на лице ухмылка.

Новость летит к императору. Лучше бы положение Анны открылось после того, как старый брак будет аннулирован, а новый признан в глазах Европы, однако жизнь не балует королевских слуг; как говаривал Томас Мор, на пуховой перине в Царство Божие не въедешь.

Два дня спустя он беседует с Анной наедине. Она вписалась в оконный проем и, словно кошка, жмурится в скудных лучах зимнего солнца. Протягивает ему руку, едва ли осознавая, кто перед ней; ей и вправду все равно? Он касается кончиков пальцев; черные глаза распахиваются, словно ставни в лавке: доброе утро, мастер Кромвель, поторгуемся?

— Я устала от Марии, — говорит она, — и с удовольствием от нее избавлюсь.

Мария, дочь Екатерины?

— Ее нужно выдать замуж, прочь с моих глаз.

Я не желаю ее видеть. Не желаю думать о ней. Я давно решила отдать ее в жены какому-нибудь проходимцу.

Кромвель по-прежнему ждет.

— Полагаю, она станет хорошей женой тому, кто додумается приковать ее цепями к стене.

— Вот оно что, Мария, ваша сестра.

— А вы о ком подумали? А, — усмехается она, — вы о Марии, королевской приблуде? Что ж, ее тоже хорошо бы выдать замуж. Сколько ей?

— В этом году семнадцать.

— Все такая же карлица? — Анна не ждет ответа. — Я найду для нее какого-нибудь старца, почтенного немощного старикашку, который не сможет ее обрюхатить и которому я заплачу, чтобы держал ее подальше от двора. Но что делать с леди Кэри? За вас она выйти не может. Мы дразним Марию, говорим ей, что вы — ее избранник. Некоторые дамы благоволят простолюдинам. Мы говорим ей, ах, Мария, только подумай, лежать в объятиях кузнеца, ты млеешь от одной мысли…

— Вы счастливы? — спрашивает он.

— Да, — Анна опускает глаза, складывает маленькие руки под грудью. — Из-за этого. Вы знаете, — задумчиво протягивает она, — меня желали всегда, но теперь меня ценят. Оказывает-

ся, это не одно и то же.

Он молчит, не мешает Анне следовать ходу мыслей, которые ей приятны.

— У вас есть племянник, Ричард, тоже Тюдор, хоть я и не совсем понимаю, с какого боку.

— Я нарисую вам генеалогическое древо.

Анна с улыбкой качает головой.

— Не стоит. В последнее время, — ее рука скользит вниз, к животу, — я с трудом вспоминаю по утрам собственное имя. Меня всегда удивляло, отчего женщины так глупы, теперь я знаю.

— Вы упомянули моего племянника.

— Я видела его с вами. Такой решительный, как раз для нее. Ей нужны меха и драгоценности, но вы ведь сумеете их раздобыть? И по младенцу каждые два года. А уж от кого, это вы сами разберетесь.

— Кажется, у вашей сестры уже есть кавалер.

Это не месть, просто ему нужна ясность.

— Правда? Ее кавалеры… приходят и уходят, порой весьма неподходящие, вам ли не знать. — Разумеется, он в курсе. — Приводите их ко двору, ваших детей. Дайте мне на них посмотреть.

Анна вновь закрывает глаза. Он оставляет ее веки млеть в слабых лучах февральского солнца.

Король пожаловал ему апартаменты в старом

Вестминстерском дворце — на случай, когда он засиживается там допоздна. И тогда он мысленно проходит по комнатам Остин-фрайарз, собирая памятные зарубки там, где их оставил: на подоконнике, под табуретами, в тканых цветочных лепестках у ног Ансельмы. Вечерами он ужинает с Кранмером и Роуландом Ли, который целыми днями расхаживает между подчиненными, подгоняя нерадивых. Иногда к ним присоединяется Одли, лорд-канцлер, но ужинают без церемоний, словно перемазанные чернилами школяры, — просто сидят и разговаривают, пока Кранмеру не приходит время ложиться. Он хочет разобраться в этих людях, обнаружить их слабости. Одли — благоразумный юрист, который просеивает каждую строчку обвинительного заключения, как повар мешок риса. Красноречив, упорен, целеустремлен; сейчас его цель — заручиться доходом, достойным лорда-канцлера. Что до веры, то тут возможен торг; Одли верит в парламент, в королевскую власть, осуществляемую через парламент, а его религиозные убеждения… скажем так, довольно гибки. Неизвестно, верит ли в Бога Роуланд, что, впрочем, не мешает ему метить в епископы.

— Роуланд, — просит Кромвель, — не возьмешь

к себе Грегори? Кембридж дал ему все, но, вынужден признать, Грегори нечего дать взамен.

— Поедет со мной на север, — говорит Роуланд, — я задумал пощипать перышки тамошним епископам. Грегори славный малый, не самый способный, но не беда. По крайней мере, найдем ему полезное применение.

— А как насчет духовной карьеры? — спрашивает Кранмер.

— Я сказал полезное! — рявкает Роуланд.

В Вестминстере клерки Кромвеля снуют туда-сюда, разносят новости, сплетни и бумаги. Он держит при себе Кристофа, якобы для присмотра за платьем, а на деле — чтобы себя развлечь. Ему не хватает ежевечернего музицирования в Остин-фрайарз, женских голосов за стеной.

Почти всю неделю он проводит в Тауэре, убеждает каменщиков не прекращать работу в дождь и туман; проверяет счета казначея; составляет опись королевских драгоценностей и посуды. Он призывает смотрителя Монетного двора и предлагает выборочно проверить вес королевской монеты.

— Английская монета должна быть вне подозрений, чтобы торговцам за морем не приходило в голову ее взвешивать.

— У вас имеются на это полномочия?

— Неужели вам есть что скрывать?

Он составляет для короля отчет, в котором подробно расписывает доходы и расходы казны. Отчет предельно лаконичен. Король читает, перечитывает, переворачивает лист в ожидании сложностей и неприятных сюрпризов, но сзади пусто, приходится верить своим глазам.

— Тут нет ничего нового, — говорит Кромвель, чуть ли не извиняясь. — Покойный кардинал держал все расчеты в голове. С разрешения вашего величества я займусь Монетным двором.

В Тауэре он навещает Джона Фрита. По его просьбе, в которой не смеют отказать, узника поместили в чистую сухую камеру с теплой постелью, сносной едой, возможностью получать вино, бумагу и чернила, хотя он и советует Фриту прятать написанное, заслышав скрип замка. Пока тюремщик отворяет камеру, Кромвель стоит, боясь поднять глаза, но Джон Фрит резво вскакивает из-за стола, кроткий молодой человек, эллинист, и говорит, мастер Кромвель, я знал, что вы придете.

Он жмет холодную сухую руку в чернильных пятнах. Удивительно, что при такой субтильности юноша дожил до своих лет. Он был одним из

тех, кого, за неимением иной темницы, заперли в подвале кардинальского колледжа. Когда летняя зараза проникла под землю, Фрит лежал в темноте рядом с мертвыми телами, пока о нем не вспомнили и не выпустили его на свет.

— Мастер Фрит, — говорит Кромвель, — если бы я был в Лондоне, когда вас арестовали…

— А пока вы были в Кале, Томас Мор не дремал.

— Что заставило вас вернуться в Англию? Нет, не говорите, если это касается Тиндейла, мне лучше не знать. Говорят, в Антверпене вы обзавелись женой? Единственное, чего король не стерпит, впрочем, нет, не единственное — он ненавидит женатых священников. И Лютера, а вы переводили его на английский.

— Вы верно изложили суть обвинений.

— Помогите мне вас вызволить. Если я добьюсь для вас аудиенции у короля… вам следует знать, король весьма сведущ в богословии… сможете ли вы смягчить свои ответы?

В камере горит камин, но от сырости и испарений Темзы никуда не деться.

Голос Фрита еле различим.

— Король по-прежнему верит Томасу Мору, а Мор написал королю, — тут губы Фрита трога-

ет легкая улыбка, — что я — Уиклиф, Лютер и Цвингли в одном лице, один сектант внутри другого, словно фазан, зашитый в каплуне, которого зашли в гуся. Мор собирается мною отобедать, так что не портите отношения с королем, умоляя о милосердии. А что до смягчения ответов… моя вера тверда, и перед любым судом я готов…

— Не надо, Джон.

— Перед любым судом я готов утверждать то, что скажу перед судом высшим: причастие — всего лишь хлеб, нам нет нужды в покаянии, а чистилище — выдумка, о которой нет ни слова в Писании.

— Если к вам придут люди и скажут, идемте с нами, Фрит, следуйте за ними. Они придут от меня.

— Вы думаете, что сможете вывезти меня из Тауэра?

В Тиндейловской Библии сказано: с Богом нет невозможного.

— Пусть не из Тауэра, пусть вас допросят, дадут возможность оправдаться. Не отказывайтесь от спасения.

— А для чего? — Фрит терпелив, словно разговаривает с юным учеником. — Вы же не будете прятать меня в своем доме, пока король не сме-

нит гнев на милость? Уж лучше я выйду в город и у собора Святого Павла заявлю лондонцам то, что говорил раньше.

— Ваше свидетельство не может подождать?

— Пока Генрих смягчится? Я прожду до старости.

— Тогда вас сожгут.

— А по-вашему, я не выдержу боли? Вы правы, не выдержу. Но мне не оставили выбора. Как говорит Мор, не велика доблесть стоять в огне у столба, если тебя к нему приковали. Я не могу переписать свои книги. Не могу перестать верить в то, во что верю. Это моя жизнь, я не могу прожить ее заново.

Он уходит. Четыре часа: на реке почти нет лодок, над водой висит пронизывающий туман.

На следующий день, свежий и ясный, король осматривает строительство вместе с французским послом; рука Генриха дружески покоится на плече де Дентвиля, вернее, на толстой простежке Дентвилева дублета. Француз натянул на себя столько одежды, что, кажется, с трудом протиснется в дверь, но его все равно трясет.

— Нашему другу стоит размяться, согреть кровь, — говорит король, — но лучник из него никудышный. В прошлый раз его так трясло,

что я боялся, как бы он не угодил стрелой себе в ногу. Он жалуется, что мы не умеем обращаться с соколами, и я предложил ему поохотиться с вами, Кромвель.

Обещание краткого отдыха? Король уходит вперед, оставляя их вдвоем.

— Не так уж и холодно, — замечает посол, — но стоять посреди поля, когда ветер свистит в ушах, — для меня смерть! Когда же снова пригреет?

— В июне, не раньше. Но соколы летом линяют. Я выпускаю своих не раньше августа, так что *nil desperandum,*[75] мсье, милости прошу.

— Вы не отложите коронацию?

Вот так всегда: легкая болтовня в устах посла — лишь прелюдия к серьезному разговору.

— Заключая соглашение, мой господин не ожидал, что Генрих станет выставлять напоказ свою якобы жену и ее громадный живот. Ему следовало вести себя осмотрительнее.

Кромвель качает головой. Никаких проволочек. Генрих утверждает, что его поддерживают епископы, лорды, судебная власть, парламент и народ; коронация Анны — случай это доказать.

---

[75] Примечания Ольги Дмитриевой: 75
никогда не отчаивайтесь *(лат.).*

— Зря вы тревожитесь, — говорит он послу. — Завтра мы принимаем папского нунция. Вот увидите, мой господин с ним поладит.

Сверху, со стены, раздается голос Генриха:

— Поднимайтесь, сэр, посмотрите на мою реку сверху.

— И вас удивляет, отчего меня трясет? — выпаливает француз. — Отчего я трепещу перед ним? Моя река. Мой город. Мое спасение, скроенное для меня. Сшитый по моей мерке английский Бог.

Посол тихо чертыхается и начинает подъем.

Когда папский нунций прибывает в Гринвич, Генрих берет его под руку и проникновенно жалуется на нечестивых советников. Рассказывает, как мечтает о скорейшем примирении с папой Климентом.

Можно наблюдать за королем каждый день в течение десятилетий и всегда видеть разное. Выбери себе государя: Кромвель не устает восхищаться Генрихом. Порой король несчастен, порой слаб, то ведет себя как дитя, то — как мудрый правитель. Бывает, оценивает свою работу придирчиво, как художник, бывает — сам не видит, что делает. Не родись Генрих королем, стал бы странствующим лицедеем, верховодил бы в труппе бродячих комедиантов.

По приказу Анны Кромвель приводит ко двору племянника, берет с собой и Грегори. Рейфа король уже знает: тот всегда рядом.

Генрих долго и пристально вглядывается в Ричарда.

— Да-да, что-то есть, определенно что-то есть.

С его точки зрения, в лице Ричарда нет ничего тюдоровского, но король явно не прочь заполучить еще одного родственника.

— Ваш дед, лучник Ап Эван, был славным слугой моему отцу. Вы отлично сложены. Я хотел бы увидеть вас на турнире в цветах Тюдоров.

Ричард кланяется. Король, образец учтивости, поворачивается к Грегори:

— И вы, мастер Грегори, тоже весьма приятный юноша.

Когда король отходит, лицо Грегори расцветает детской радостью. Юноша вцепляется в свой рукав — там, где Генрих его коснулся, — словно вбирая пальцами королевскую милость.

— Какой он необыкновенный, какой величественный! Кто бы мог подумать! И сам со мной заговорил! — Грегори оборачивается к отцу. — Везет тебе, можешь разговаривать с ним хоть каждый день.

Ричард бросает на двоюродного брата косой

взгляд. Грегори бьет Ричарда по руке.

— Что твой дед, лучник — видел бы он твоего отца! — Большой палец Грегори оказывается лучником а указательный Морганом Уильямсом. — А вот я давным-давно занимаюсь на арене. Скачу на сарацина, кидаю копье прямо в черное сарациново сердце!

— То ли еще будет, дурачок, — спокойно замечает Ричард, — когда вместо деревянного магометанина перед тобой окажется живой рыцарь! Да и стоит такая забава недешево: турнирные доспехи, конюшня…

— Все это мы можем себе позволить, — говорит Кромвель. — Прошли времена, когда мы топали по-солдатски, на своих двоих.

После ужина он просит Ричарда зайти. Возможно, зря он излагает замысел Анны как деловое предложение.

— Особо не надейся. Мы еще не получили королевского согласия.

— Но она же меня совсем не знает! — говорит Ричард.

Это не довод; он ждет серьезных возражений.

— Я не стану тебя неволить.

Ричард поднимает глаза.

— Точно?

Скажи, когда, когда это я кого-нибудь неволил, начинает Кромвель. Ричард перебивает:

— Согласен, сэр, никогда, вы умеете убеждать, однако сила вашего убеждения такова, что иной предпочел бы хорошую взбучку.

— Я понимаю, леди Кэри старше тебя, но она очень красива, пожалуй, самая красивая женщина при дворе. И она вовсе не так ветрена, как утверждают некоторые, и в ней нет ни капли злобы, как в ее сестре.

А ведь она и вправду была мне хорошим другом, думает он.

— Вместо того чтобы остаться непризнанным кузеном короля, ты станешь его свояком. Для всех нас выгода очевидна.

— Скажем, титул. Для меня и для вас. Отличные партии для Алисы и Джо. А Грегори? Грегори достанется, по меньшей мере, графиня.

Ричард говорит ровным голосом. Убеждает себя, что брак того стоит? Как тут понять! Для Кромвеля сердца многих, пожалуй, большинства людей — открытая книга, но порой читать в сердцах дальних куда проще, чем заглянуть в душу близким.

— Томас Болейн станет моим тестем, а Норфолк — настоящим дядюшкой.

— Вообрази его физиономию!

— О, ради такого зрелища можно пройти по горячим углям босиком.

— Тебе решать. Никому не говори.

Ричард кивает и, не сказав больше ни слова, выходит. Однако «никому не говори» для него означает «никому, кроме Рейфа», потому что спустя десять минут заходит Рейф и становится перед ним, высоко подняв брови. Лицо напряженное, как у всех рыжеволосых, вздумавших пошевелить почти невидимыми бровями.

— Не рассказывай Ричарду, что Мария Болейн когда-то предлагала себя мне, — говорит он. — Между нами ничего нет. Тут тебе не Волчий зал, если ты об этом.

— А если у невесты на уме другое? Что же вы Грегори на ней не жените?

— Грегори еще мал, а Ричарду двадцать три, самое время обзавестись семьей, если есть на что. А тебе и того больше, так что ты следующий.

— Пора убираться, пока вы не нашли для меня очередную Болейн. — Рейф поворачивает к двери и мягко замечает: — Только одно, сэр. Думаю, это смущает и Ричарда… Мы поставили наши жизни и будущее на эту женщину, а между тем она не только непостоянна, но и смертна, а история ко-

ролевского брака учит: младенец в утробе — еще не наследник в колыбели.

В марте приходят вести из Кале: скончался лорд Бернерс. Тот вечер в библиотеке, ненастье, бушевавшее за окном, кажутся последней мирной гаванью, последними часами, которые Кромвель провел для себя. Он хочет предложить за библиотеку хорошую цену, чтобы поддержать леди Бернерс, — но манускрипты успели спрыгнуть со столов и ускакать: что-то ушло племяннику Фрэнсису Брайану, что-то другому родственнику, Николасу Кэрью.

— Может быть, вы простите ему долги? — спрашивает он Генриха. — По крайней мере, пока жива жена? Вы ведь знаете, он не оставил…

— Сыновей, — завершает фразу король. Мыслями Генрих устремлен вперед: когда-то и я пребывал в сем несчастливом статусе, но совсем скоро у меня родится наследник.

Король дарит Анне майоликовые чаши: снаружи намалевано слово *maschio,*[76] внутри — пухлые светловолосые младенцы с крошечными кокетливыми фаллосами. Анна смеется. Итальянцы считают, мальчики любят тепло,

---

[76] Примечания Ольги Дмитриевой: 76
сын, мальчик *(ит.).*

говорит король. Согревайте вино, пусть веселит кровь, никаких фруктов и рыбы.

— А как вы думаете, — спрашивает Джейн Сеймур, — это уже решено, или Господь решит потом? Интересно, знает ли сам младенец? Если бы мы могли заглянуть внутрь, то поняли ли бы, кто там?

— Джейн, следовало оставить тебя в Уилтшире, — говорит Мэри Шелтон.

— Незачем потрошить меня, чтобы удовлетворить ваше любопытство, мистрис Сеймур, — вступает Анна. — Это мальчик, и никто не смеет говорить или думать иначе.

Анна хмурится, и вы видите, как она собирается, ощущаете великую силу ее воли.

— Хотела бы я родить ребеночка, — говорит Джейн.

— Не увлекайся, — советует ей леди Рочфорд. — Если у тебя вырастет живот, придется замуровать тебя заживо.

— Ее семейство, — замечает Анна, — позор дочери не смутит. В Вулфхолле неведомы приличия.

Джейн краснеет и начинает дрожать.

— Я никого не хотела обидеть.

— Оставьте ее, — говорит Анна, — это все равно что травить мышку.

— Ваш билль еще не прошел, — поворачивается к Кромвелю Анна. — Отчего задержка?

Билль, запрещающий апеллировать к Риму. Он говорит о противодействии, но Анна лишь недовольно поднимает бровь.

— Мой отец поддержал вас в палате лордов, да и Норфолк. Кто смеет нам противиться?

— Билль пройдет к Пасхе.

— Женщина, которую мы видели в Кентербери; говорят, сторонники печатают книги ее пророчеств.

— Возможно, но я приму меры, чтобы их не читали.

— Говорят, в день Святой Екатерины, когда мы были в Кале, она видела так называемую принцессу Марию в короне.

Анна сбивается на яростную скороговорку, вот мои враги, эта пророчица и те, кто с ней; Екатерина, которая сговаривается с императором; ее дочь Мария, мнимая наследница; старая наставница Марии Маргарет Пол, леди Солсбери со всем своим семейством; ее сын лорд Монтегю; ее сын Реджинальд Пол, который сейчас в изгнании, по слухам, претендует на трон — пусть вернется в Англию и тем докажет свою лояльность. Генри Куртенэ, маркиз Эксетер, тоже лелеет надежды,

но когда родится мой сын, ему придется смириться с неизбежным. Леди Эксетер, Гертруда, вечно жалуется, что истинной знати перешли дорогу люди низкого происхождения, и вам прекрасно известно, кого она имеет в виду.

Миледи, мягко перебивает Анну сестра, вам нельзя расстраиваться.

— Я не расстроена. — Рука Анны лежит на животе. — Эти люди желают моей смерти, — добавляет она тихо.

Дни коротки и сумрачны, настроение Генриха им под стать. Шапюи вертится и гримасничает перед королем, словно приглашает Генриха на танец.

— Я с недоумением прочел умозаключения доктора Кранмера…

— Моего архиепископа, — недовольно перебивает король: обошедшаяся недешево церемония все-таки состоялась.

— …относительно королевы Екатерины…

— Вы о супруге моего покойного брата, принцессе Уэльской?

— …ибо вашему величеству известно, что диспенсация узаконила ваш брак, безотносительно того, был ли осуществлен предыдущий.

— Я не желаю больше слышать слово «диспен-

сация», — говорит Генрих. — Не желаю слышать из ваших уст упоминания о моем так называемом браке. У папы нет власти узаконить кровосмешение. Я такой же муж Екатерине, как и вы.

Шапюи кланяется.

— Будь наш брак законен, — Генрих готов сорваться, — разве Господь покарал бы меня, лишив наследников!

— Мы не можем знать наверняка, что достойная Екатерина уже не способна иметь детей.

На губах посла играет ехидная ухмылка.

— Как вы думаете, зачем я все это предпринял? — настойчиво требует король. — Считаете, мною движет похоть? Вы вправду так считаете?

Зачем я уморил кардинала? Разделил страну? Расколол церковь?

— Это было бы сумасбродство, — бормочет Шапюи.

— Однако вы думаете именно так. Так говорите императору. Вы ошибаетесь. Я служу своей стране, сэр, и если ныне вступаю в брак, благословленный Господом, то для того лишь, чтобы жена родила мне законного наследника.

— Нельзя поручиться, что у вашего величества родится сын. Или хотя бы живой младенец.

— А почему бы нет? — Генрих багровеет, вска-

кивает на ноги, слезы брызжут из глаз. — Чем я отличаюсь от других мужчин? Чем? Скажите, чем?

Императорский посол — настоящий охотничий терьер, маленький, но упорный, однако даже он понимает: если ты довел государя до слез, надо сдавать назад. Пытаясь загладить оплошность — расшаркиваясь, заученно унижаясь — Шапюи замечает:

— Благополучие страны и благополучие Тюдоров — не одно и то же, не так ли?

— В таком случае кого вы прочите на трон? Куртенэ? Или Пола?

— Особы королевской крови не заслуживают такого презрительного тона. — Шапюи трясет рукавами. — По крайней мере, теперь я официально уведомлен о положении леди, тогда как раньше мог только догадываться о нем по ее безрассудным выходкам, коим был свидетелем… Вы понимаете, Кремюэль, сколько поставили на тело одной-единственной женщины? Будем надеяться, с нею не случится ничего дурного.

Кромвель берет посла под руку, разворачивает лицом к себе.

— О чем вы?

— Будьте любезны, не трогайте мой рукав.

Благодарю. Скоро вы опуститесь до драки, что меня не удивляет, учитывая ваше происхождение. — Посол хорохорится, но за бравадой — страх. — Оглянитесь вокруг! Своей непомерной гордыней и самонадеянностью она оскорбляет вашу знать. Даже собственный дядя не выносит ее выходок. Старые друзья короля ищут предлоги, чтобы держаться подальше от двора.

— Подождите коронации, вот увидите, они мигом сбегутся обратно.

Двенадцатого апреля, на Пасху, Анна вместе с королем присутствует на торжественной мессе, где молятся за королеву Англии. Его билль прошел лишь накануне; Кромвель ожидает скромной награды, и, перед тем как королевская чета отправится разговляться, Генрих жалует ему пост канцлера казначейства, который занимал покойный лорд Бернерс.

— Бернерс желал, чтобы он достался вам, — улыбается Генрих. Король любит делать подарки, по-детски предвкушая радость того, кого облагодетельствовал.

Во время мессы мысли Кромвеля далеко. Что ждет его дома: шумные гуси, уличные драки, младенцы, оставленные у церковных дверей, буйные подмастерья, которых придется учить

уму-разуму? Интересно, Алиса и Джо покрасили яйца? Девочки выросли, но с удовольствием пользуются детскими привилегиями, пока их не сменит другое поколение. Пора искать им достойных мужей. Энн, если б не умерла, уже вышла бы за Рейфа, сердце которого до сих пор свободно. Он думает о Хелен Барр; как легко ей дается грамота, как быстро она стала незаменимой в Остин-фрайарз. Теперь он уверен, что ее муж не вернется, нужно сказать ей об этом, сказать, что отныне она свободна. Она добродетельна и не выкажет своей радости, но разве не облегчение узнать, что ты больше не принадлежишь такому человеку?

Пока идет служба, Генрих не умолкает ни на минуту; шелестит бумагами, передает их советникам. Лишь во время освящения Святых Даров король опускается на колени в приступе благочестия: происходит чудо, облатка становится Господом. После слов священника: *«Ite, missa est»*,[77] Генрих шепотом велит Кромвелю следовать за собой, одному.

Однако сначала придворные должны выразить почтение Анне. Фрейлины отступают назад, оставляя ее в одиночестве на залитом солнечным

---

[77] Примечания Ольги Дмитриевой: 77
Идите, месса окончена *(лат.)*.

светом пятачке. Он разглядывает их, джентльменов и советников; праздник, собрались старые друзья Генриха. Вот сэр Николас Кэрью — его поклон новой королеве безупречен, но уголки губ кривятся. Сделайте лицо, Николас Кэрью, ваше породистое знатное лицо. В ушах голос Анны: вот мои враги; он добавляет в список Кэрью.

За парадными залами личные покои короля, доступные лишь избранным друзьям и слугам, куда не пускают ни послов, ни шпионов. Это вотчина Генри Норриса, который сдержанно поздравляет Кромвеля с новым назначением и удаляется на бархатных лапках.

— Кранмер созвал суд, чтобы утвердить формальное расторжение… — Генрих сказал, что не хочет слышать о своем предыдущем браке, поэтому не произносит это слово. — Я просил его созвать суд в Данстебле, оттуда до Амтхилла, где живет… она, десять-двенадцать миль. Если захочет, она может прислать своих поверенных или явиться сама. Посетите ее тайно, поговорите…

Удостоверьтесь, что от Екатерины не придется ждать сюрпризов.

— А на время вашего отсутствия пришлите ко мне Рейфа.

Приятно быть понятым с полуслова, и у короля

поднимается настроение.

— Я рассчитываю, что на время он заменит мне вас. Славный юноша. И гораздо лучше, чем вы, владеет собой. Я видел, как вы на совете прикрывали рукой рот. Иногда меня самого разбирает смех.

Генрих падает в кресло, прячет глаза. Кромвель видит, что король снова готов расплакаться.

— Брэндон говорит, моя сестра умирает. Доктора бессильны. Знаете, какие у нее были волосы, чистое золото — у моей дочери такие же. В семь лет она была вылитая сестра, словно святая на фреске. Что мне с ней делать?

До него не сразу доходит, что вопрос адресован ему.

— Будьте с ней ласковы, сэр. Утешьте ее. Она не должна страдать.

— Но я собираюсь объявить ее незаконнорожденной. Я должен оставить Англию своим законным наследникам.

— Решение примет парламент.

— Верно, — Генрих шмыгает носом, — после коронации Анны. Кромвель, еще одно слово — и завтракать, я голоден как волк. Я думал о моем кузене Ричарде…

Он перебирает в уме английскую знать, но нет,

кажется, король говорит о его Ричарде, Ричарде Кромвеле.

— Леди Кэри… — Голос короля теплеет. — Я подумал и решил, что не стоит. По крайней мере, сейчас.

Кромвель кивает, догадывается о мотивах. Когда догадается Анна, придет в ярость.

— Какое облегчение, — говорит король, — когда ничего не нужно разжевывать. Вы рождены, чтобы меня понимать.

Можно сказать и так. Он появился на свет лет за шесть до короля, и эти годы не прошли даром. Генрих срывает с головы вышитый колпак, отбрасывает в сторону, запуская в волосы пятерню. Как и золотая шевелюра Уайетта, волосы Генриха поредели, обнажив массивный череп. Сейчас король похож на деревянную статую, грубую копию себя или одного из своих предков, великанов, некогда бродивших по Британии и не оставивших следов, кроме как во снах жалких потомков.

Получив дозволение, Кромвель возвращается в Остин-фрайарз. В кои-то веки ему дарован день отдыха. Насытившись, толпа у ворот рассеялась. Первым делом он спускается на кухню, наградить повара подзатыльником и золотой монетой.

— Сотня разверстых ртов, клянусь! — воскли-

цает Терстон. — И увидите, к ужину снова будут тут как тут.

— Жаль, что у нас в стране столько нищих.

— Как же, нищие, держи карман шире! Блюда, которые готовятся на этой кухне, такого отменного качества, что к нам захаживают, закрыв лица капюшонами, чтобы их не узнали, даже олдермены. Есть вы или нет, у нас всегда полон дом гостей: французы, немцы, флорентийцы, все клянутся, что знают вас, все заказывают обеды по своему вкусу, а на кухне толпятся их слуги: там отщипнул, тут отхлебнул. Пора жить скромнее или придется строить новую кухню.

— Что-нибудь придумаю.

— Мастер Рейф говорит, что для Тауэра вы прикупили целую каменоломню в Нормандии. Вы, мол, подкопались под французов, и они все попадали в ямы.

Такой прекрасный камень цвета масла. Четыреста рабочих на жаловании, и если кто-то стоит без дела, его тут же переводят на строительство в Остин-фрайарз.

— Терстон, пусть отхлебывают, лишь бы ничего не подсыпали.

Он помнит, как чуть не преставился епископ Фишер; если, конечно, дело было не в грязном

котле и не в прокисшем супе. Котлы Терстона всегда безукоризненно чисты. Он наклоняется над кипящим варевом.

— Где Ричард?

— Чистит лук на заднем крыльце. А, вы про мастера Ричарда? Наверху. Обедает, да все там.

Он поднимается наверх. Ошибиться невозможно — на пасхальных яйцах его лицо. На одном Джо нарисовала ему головной убор, волосы и по меньшей мере два подбородка.

— И то правда, отец, — замечает Грегори, — ты становишься все тучнее. Стивен Воэн тебя не узнает, когда приедет.

— Мой господин кардинал прибавлялся, как луна, — говорит Кромвель. — Чудно, ведь он почти никогда не обедал — то одно, то другое — а когда наконец усаживался за стол, в основном вел беседы. Бедный я, бедный. С прошлого вечера не преломил и куска хлеба.

Преломив хлеб, говорит:

— Ганс хочет меня написать.

— Надеюсь, он поторопится, — говорит Ричард.

— Ричард…

— Ешьте свой обед.

— Мой завтрак. После, идем со мной.

— Счастливый женишок! — дразнится Гре-

гори.

— А ты, — сурово одергивает его отец, — отправляешься на север с Роуландом Ли. И если ты считаешь деспотом меня, посмотрим, что ты запоешь под его началом.

В кабинете он спрашивает:

— Как подготовка к турниру?

— Кромвели никому не дадут спуску.

Он боится за сына; боится, что Грегори упадет, поранится, убьется. Переживает и за Ричарда, эти юноши — надежда его рода.

— Счастливый женишок? — спрашивает Ричард.

— Король сказал — нет. Не из-за моей семьи или твоей — он назвал тебя кузеном. Должен заметить, Генрих как никогда к нам расположен. Но Мария нужна ему самому. Ребенок родится в конце лета, король боится подходить к Анне, а снова жить монахом не желает.

Ричард поднимает глаза.

— Он сам так сказал?

— Дал понять. И я говорю как понял. Неприятное открытие, но, думаю, мы переживем.

— Я бы не удивился, будь сестры похожи…

— Возможно, ты прав.

— А ведь он глава нашей церкви. Немудрено,

что чужеземцы смеются.

— Если бы король был обязан являть пример в частной жизни, его поведение, возможно, и вызывало бы… удивление… но для меня… видишь ли, меня волнует, как он правит страной. Стань он деспотом, упраздни парламент, правь единолично, не считаясь с палатой общин… но он так не поступает. Поэтому мне все равно, как король управляется со своими женщинами.

— Но не будь он королем…

— Верно. Тогда его следовало бы запереть. И все же, если не брать в расчет Марию, разве его поведение предосудительно? Он не плодит бастардов, как шотландские короли. Кто назовет имена его женщин? Мать Ричмонда да Болейны. Генрих умеет быть скрытным.

— Возможно, они известны Екатерине.

— Кто знает про себя, будет ли верен в браке? Ты?

— Мне может не представиться случая.

— Напротив. Я нашел тебе жену. Дочь Томаса Мерфина. Породниться с лордом-мэром — неплохая партия. А состояние у тебя будет не меньше, чем у нее, об этом я позабочусь. Да и Франсис к тебе расположена. Я спрашивал.

— Вы сделали ей предложение за меня?

— Вчера за обедом. Есть возражения?

— Никаких, — смеется Ричард, откидываясь на спинку стула. Его тело — мощное и крепкое, так восхитившее короля — омывает волна облегчения.

— Франсис, хорошо. Франсис мне по нраву.

Мерси одобряет. Кромвель понятия не имеет, как она отнеслась бы к леди Кэри — свои планы он с женщинами не обсуждал.

— Пора подыскать пару и для Грегори, — говорит она. — Я знаю, он еще очень юн, но некоторые мужчины взрослеют, только обзаведясь сыновьями.

Над этим он не задумывался, но, возможно, Мерси права. В таком случае у Англии есть надежда.

Спустя два дня он возвращается в Тауэр. Между Пасхой и Троицей, когда Анну должны короновать, время летит незаметно. Он осматривает апартаменты королевы, велит поставить жаровни, чтобы высушить штукатурку. Надо поскорее расписать стены; он надеялся на Ганса, но тот

занят портретом де Дентвиля[78] — посол умоляет Франциска отозвать его на родину, отправляя с каждым кораблем новое слезное послание. Никаких охотничьих сцен, грозных святых с орудиями пыток; для новой королевы — лишь богини, голубки, белокрылые соколы да полог из зеленых листьев. Вдали города на холмах, на переднем плане — храмы, рощи, поваленные колонны и жаркая синева, заключенные, как в раму, в орнаментальную кайму витрувианских цветов: ртуть и киноварь, жженая охра, малахит, индиго и пурпур.

Он разворачивает эскизы. Сова Минервы простерла крыла. Диана натягивает лук. Белая голубка выглядывает из веток. Он оставляет указания мастеру: «Лук позолотить. Глаза у всех богинь должны быть черными».

Словно прикосновение крыла во тьме, его захлестывает ужас: что если Анна умрет? Генриху

---

[78] Примечания Ольги Дмитриевой: 78

Имеется в виду работа Ганса Гольбейна над двойным портретом, широко известным под названием «Послы» (1533). На нем изображены французские дипломаты Жан де Дентвиль и Жорж де Селв. Картина насыщена символическими деталями, отсылающими к существу вопроса, который послы обсуждали в Лондоне. Согласно одной из версий, часы, присутствующие среди прочих атрибутов, указывают на 11 апреля 1533 г. — дату, вплоть до которой Генрих VIII был согласен ждать решения папы по поводу своего развода. Она знаменовала трагический водораздел в истории Англии, за которым разрыв с Римом стал неминуем.

потребуется новая женщина. Он приведет ее в эти покои. А если она окажется голубоглазой? Придется стереть лица и нарисовать их заново на фоне все тех же городов, тех же лиловых холмов.

На улице дерутся, он останавливается посмотреть. Каменщик и старшина кирпичников молотят друг друга досками. Он стоит в кругу их товарищей.

— Чего дерутся-то?

— Да так, каменщики схлестнулись с кирпичниками.

— Как Ланкастеры с Йорками?

— Точно.

— Ты слыхал про битву при Тоутоне? Король сказал мне, там полегло больше двадцати тысяч англичан.

Собеседник разевает рот.

— С кем же они бились?

— Друг с другом.

Вербное воскресенье, лето тысяча четыреста шестьдесят первое. Армии двух королей встретились в метель. Эдуард, дед нынешнего короля, вышел победителем, если тут уместно говорить о победе. Горы трупов запрудили реку. Бессчетные раненые, спотыкаясь в лужах собственной крови, разбредались кто куда: слепые, изувеченные,

полумертвые.

Дитя в утробе Анны — гарантия того, что гражданская война не повторится; начало, обновление, обещание иной страны.

Он делает шаг вперед, велит драчунам разойтись, дает каждому по тумаку; каменщики разлетаются в стороны: английские рохли, кости хилые, зубы крошатся. Победители при Азенкуре. Хорошо, Шапюи не видит.

Он скачет в Бедфордшир с небольшой свитой, когда деревья уже покрылись зеленью. Кристоф едет рядом и донимает вопросами: вы обещали рассказать про Цицерона и Реджинальда Пола.

— Цицерон был римлянином.

— Полководцем?

— Нет, войну он оставлял другим. Как я, к примеру, могу оставить ее Норфолку.

— А, Норферк. — Кристоф изобрел собственный способ именовать герцога. — Тот, кто мочится на вашу тень.

— Господи, Кристоф! Правильно — плюет на чью-то тень.

— Но мы ведь о Норферке говорим. А что Цицерон?

— Мы, законники, стараемся запомнить все его речи. Если б сегодня у кого-нибудь было столько

мудрости, сколько у Цицерона, он был бы…

Кем, интересно?

— …он был бы на стороне короля.

Кристоф не впечатлен.

— А Пол — полководец?

— Священник, хотя не совсем… Он занимает церковные должности, но в сан не посвящен.

— Почему?

— Чтобы иметь возможность жениться. Опасным его делает кровь. Видишь ли, Пол — Плантагенет. Его братья здесь, под присмотром, а Реджинальд за границей, и мы боимся, что он вместе с императором замышляет заговор.

— Пошлите кого-нибудь его убить. Хотите, я съезжу?

— Нет, Кристоф, кто тогда будет защищать от дождя мои шляпы?

— Как хотите. — Кристоф пожимает плечами. — Но я с удовольствием убью этого Пола, только скажите.

Поместье Амтхилл, некогда хорошо укрепленное, славится грациозными башенками и превосходными воротами. С холма открывается обширный вид на леса; красивое место, в таком доме хорошо набираться сил после болезни. Его построили на деньги от французских войн, в те

дни, когда англичане еще побеждали.

В соответствии с новым статусом Екатерины, ныне вдовствующей принцессы Уэльской, Генрих урезал ей свиту, но она по-прежнему окружена священниками и духовниками, придворными с собственным штатом слуг, дворецкими и стольниками, лекарями и поварами, поварятами, арфистами, лютнистами, птичниками, садовниками, прачками, аптекарями, целой свитой фрейлин, отвечающих за ее гардероб, камеристками и горничными.

Когда Кромвель входит, Екатерина делает приближенным знак удалиться. Он не сообщал о своем приезде, но, должно быть, шпионы сидят вдоль дороги. Так или иначе, она подготовилась: на коленях молитвенник, в руках вышивка. Он преклоняет колени, кивает на книгу и работу.

— Либо то, либо другое, мадам.

— Стало быть, сегодня говорим по-английски? Встаньте, Кромвель. Не будем тратить ваше драгоценное время, выбирая язык, как в прошлый визит. Теперь вы занятой человек.

Покончив с формальностями, Екатерина объявляет:

— Во-первых, я не появлюсь на судилище в Данстебле. Вы ведь поэтому приехали? Я его не

признаю. Моя тяжба в Риме, дожидается решения его святейшества.

— Стало быть, папа не торопится? — улыбается он Екатерине.

— Ничего, я подожду.

— Но король желает устроить свои дела.

— У него есть кому это поручить. Я не называю этого человека архиепископом.

— Климент подписал буллы.

— Папу ввели в заблуждение. Доктор Кранмер — еретик.

— Вы и короля считаете еретиком?

— Нет. Всего лишь схизматиком.

— Если созовут собор, король подчинится его решению.

— Будет поздно, если к тому времени его отлучат от церкви.

— Мы все — полагаю, и вы, мадам — верим, что до этого не дойдет.

— *Nulla salus extra ecclesiam.* Вне церкви нет спасения. Даже короли не избегнут высшего суда. Генрих знает это и страшится.

— Мадам, уступите ему. Возможно, завтра все изменится. Стоит ли окончательно разрывать отношения с королем?

— Говорят, дочь Томаса Болейна ждет ребенка.

— Это так, однако…

Ей ли не знать, что беременности заканчиваются по-разному. Екатерина угадывает, отчего он запнулся, размышляет над его словами, кивает.

— Я могу представить обстоятельства, в которых он ко мне вернется. Я имела возможность изучить ее характер: в ней нет ни терпения, ни доброты.

Неважно; главное, что нужно Анне, — везение.

— Думайте о дочери. На случай, если у них не будет детей. Умиротворите его, мадам. Возможно, он признает ее наследницей. Если вы отступитесь, король дарует вам любые почести.

— Почести! — Екатерина встает; вышивка соскальзывает с колен, молитвенник шлепается на пол с глухим кожаным стуком, а серебряный наперсток катится в угол. — Прежде чем вы изложите свои нелепые предложения, мастер Кромвель, позвольте мне предложить вам главу из моей истории. После смерти милорда Артура я пять лет бедствовала. Не могла заплатить слугам. Мы покупали самую дешевую, несвежую еду, черствый хлеб, вчерашнюю рыбу — любой завалящий торговец мог похвастать лучшим столом, чем дочь Испании. Покойный король Генрих не позволял мне вернуться к отцу, говорил, что

тот ему должен — он торговался за меня, как те женщины, что продавали нам тухлые яйца. Я доверилась Божьей милости, я не отчаялась, но я познала всю бездну унижения.

— Так зачем вы хотите вновь его испытать?

Лицом к лицу. Пожирают друг друга глазами.

— Если только, — говорит Кромвель, — король ограничится унижением.

— Говорите яснее.

— Если вас обвинят в измене, то будут судить как любую из его подданных. Ваш племянник грозит нам вторжением.

— Этому не бывать.

— И я о том толкую, — его голос теплеет. — Император занят турками и, уж простите, мадам, не настолько привязан к своей тетке, чтобы собрать еще одну армию. Однако мне говорят: откуда вам знать, Кромвель? Надо укреплять гавани, собирать войска, готовить страну к войне. Шапюи, как вам известно, без устали уговаривает Карла объявить нам блокаду, задерживать наши товары и суда. В каждой депеше императорский посол призывает к войне.

— Я понятия не имею, о чем пишет Шапюи в своих депешах.

Ложь столь отчаянная, что он невольно вос-

хищается, но, кажется, эта бравада забирает у Екатерины все силы. Она садится в кресло и, опередив его, нагибается за вышивкой. Пальцы у нее опухшие, от простого усилия перехватывает дух. Отдышавшись, она снова обращает к нему взвешенную и спокойную речь:

— Мастер Кромвель, я знаю, что разочаровала вас. То есть вашу страну, которая стала и моей страной. Король был мне хорошим мужем, а я не смогла исполнить первейший долг любой жены. Тем не менее я была, я есть его жена — неужели вы не понимаете, я не в силах признать, что двадцать лет состояла при нем шлюхой? И пусть я принесла Англии мало добра, но я не желаю ей зла.

— Однако сейчас вы несете ей зло помимо воли, мадам.

— Ложь не спасет Англию.

— Именно так считает доктор Кранмер. И именно поэтому он аннулирует ваш брак, в вашем присутствии или без вас.

— Доктор Кранмер тоже будет отлучен. Неужели это его не остановит? Неужели он так погряз в грехе?

— Сотни лет у церкви не было такого самоотверженного защитника, как новый архиепископ,

мадам.

Он думает о словах Бейнхема перед казнью: восемь столетий лжи и только шесть лет правды и света; шесть лет, с тех пор как Писание на английском пришло в Англию.

— Кранмер не еретик. Он верит в то же, во что верит король. Реформирует лишь то, что нуждается в реформе.

— Я знаю, чем все кончится. Вы отберете земли у церкви и отдадите королю.

Екатерина смеется.

— Молчите? Я угадала! Именно так вы и поступите.

В ее тоне сквозит отчаянная беспечность умирающего.

— Мастер Кромвель, можете уверить короля, что я не приведу сюда армию. Скажите ему, что каждый день я за него молюсь. Те, кто не знает короля так, как знаю я, скажут: «Он добьется своего, чего бы это ни стоило». Но я-то вижу, Генриху важно быть на правой стороне. Он не похож на вас; вы набиваете своими грехами переметные сумы и кочуете из страны в страну, а когда устанете, наймете мулов, и скоро за вами кочует целый караван вместе с погонщиками. Генрих может ошибаться, однако ему необходимо прощение.

Поэтому я всегда верила и продолжаю верить, что когда-нибудь он сойдет с неправедного пути и обретет душевный мир. А мир — это то, в чем все мы так нуждаемся.

— Как гладко у вас получается, мадам. Мир — это то, в чем все мы так нуждаемся. Чистая аббатиса. Вы никогда не задумывались над тем, чтобы принять постриг?

Улыбка, широкая улыбка в ответ.

— Мне будет жаль, если мы больше не увидимся. С вами куда занятнее беседовать, чем с герцогами.

— Придет черед и герцогов.

— Я готова. Есть вести о миледи Суффолк?

— Король сказал, что она умирает. Брэндон не находит себе места.

— Охотно верю, — бормочет она. — Ее вдовья доля французской королевы умрет вместе с нею, а это значительная часть его дохода. Впрочем, вы наверняка устроите ему заем под чудовищный процент.

Екатерина поднимает глаза.

— Моя дочь удивится вашему приезду. Ей кажется, что вы к ней добры.

Насколько он помнит, он лишь подал Марии табурет. Как уныла ее жизнь, если она способна

оценить такую малость.

— Ей следовало стоять, пока я не разрешу сесть.

Ее изнемогающая от боли дочь. Екатерина может улыбаться, но не уступит ни дюйма. Юлий Цезарь, Ганнибал, и те были не так неумолимы.

— Скажите, — Екатерина осторожно прощупывает почву, — читает ли король мои письма?

Генрих рвет их или бросает в огонь, не вскрывая. Говорит, ее любовные признания вызывают в нем отвращение. Ему, Кромвелю, не хватает духу сказать Екатерине правду.

— В таком случае обождите час, пока я ему напишу. Или останетесь до утра? Отужинайте с нами.

— Благодарю вас, но я должен возвращаться. Завтра совет. Да и мулам тут негде приткнуться. Не говоря уже о погонщиках.

— О, мои стойла полупусты. Король об этом позаботился. Боится, что я обманом выберусь отсюда, доскачу до побережья и морем сбегу во Фландрию.

— А вы?

Он поднимает наперсток и подает хозяйке; она подкидывает наперсток на ладони, словно игральную кость.

— А я остаюсь здесь. Или там, куда меня отправят. Как пожелает король. Как надлежит жене.

Пока короля не отлучат от церкви, думает он. Это освободит вас от всех уз как жену, как подданную.

— Это тоже ваше, — говорит он.

Открывает ладонь, на ней игла, острым концом к Екатерине.

В городе судачат, будто Томас Мор впал в бедность. Они с королевским секретарем Гардинером смеются над слухами.

— Какая бедность? Алиса была богатой вдовой, когда он на ней женился, — говорит Гардинер. — А еще у него есть собственные земли. Да и дочери хорошо пристроены.

— Не забывайте о королевской пенсии.

Он собирает бумаги для Стивена, который готовится выступить главным советником Генриха на суде в Данстебле. Успел перелопатить все показания на процессе в Блэкфрайарз — кажется, будто все это происходило в прошлом веке.

— Силы небесные, — говорит Гардинер, — осталось хоть что-то, чего вы не раскопали?

— Если я доберусь до дна этого сундука, то отыщу любовные письма вашего батюшки к вашей матушке. — Он сдувает пыль с послед-

ней пачки. — Вот они. — Бумаги шлепаются на стол. — Стивен, можем ли мы что-нибудь сделать для Джона Фрита? В Кембридже он был вашим учеником. Не бросайте его.

Гардинер мотает головой и углубляется в бумаги, что-то бормочет, время от времени восклицая: «Нет, кто бы мог подумать!»

Кромвель добирается до Челси на лодке. Бывший лорд-канцлер сидит в кабинете, Маргарет едва слышно бубнит по-гречески; он слышит, как Мор поправляет ошибку.

— Оставь нас, дочь, — говорит Мор при его появлении. — Нечего тебе делать в этой нечистой компании.

Однако Маргарет поднимает глаза и улыбается, и Мор с опаской — вероятно, боится потревожить больную спину — встает с кресла и протягивает руку.

Нечистым назвал его Реджинальд Пол, сидящий в Италии. Причем для Пола это не образ, не фигура речи, а святая правда.

— Говорят, вы не придете на коронацию, так как не можете позволить себе новый дублет. Епископ Винчестерский готов купить вам дублет за собственные деньги, лишь бы узреть ваше лицо на церемонии.

— Стивен? Неужто?

— Клянусь.

Он предвкушает, как, вернувшись в Лондон, попросит у Гардинера десять фунтов.

— Или пусть гильдии скинутся на новую шляпу и дублет.

— А в чем идете вы? — мягко спрашивает Маргарет, словно забавляет двух малых детей, с которыми ее попросили посидеть.

— Для меня что-то шьют. Я не вникаю. Только бы меня не заставляли плясать от радости.

На мою коронацию, сказала Анна, не пристало вам наряжаться как поверенному. Джейн Рочфорд записывала, словно секретарь. Томас должен быть в темно-красном.

— Мистрис Ропер, — спрашивает Кромвель, — а вам не любопытно посмотреть коронацию?

Отец не дает Маргарет вставить слова:

— Это день стыда для англичанок. Знаете, что говорят на улицах? Когда придет император, жены обретут утраченные права.

— Отец, вряд ли кто-нибудь осмелится сказать такое при мастере Кромвеле.

Кромвель вздыхает. Мало удовольствия знать, что все беззаботные юные шлюхи на твоей стороне. Все содержанки и сбившиеся с пути дочери.

Теперь Анна замужем и пытается стать примерной женой. Залепила пощечину Мэри Шелтон, рассказывает леди Кэри, за то, что та написала в ее молитвеннике невинную загадку.

Ныне королева сидит очень прямо, в животе шевелится младенец, в руках вышивка, и когда ее приятели Норрис и Уэстон с шумной компанией вваливаются в покои, чтобы припасть к ногам госпожи, смотрит так, словно те усеивают ее подол пауками. Без цитаты из Писания на устах к ней в эти дни и не подходи.

Кромвель спрашивает:

— Блаженная пыталась с вами увидеться? Пророчица?

— Пыталась, — отвечает Мэг, — но мы ее не приняли.

— Она виделась с леди Эксетер, та сама ее пригласила.

— Леди Эксетер неумная и много мнящая о себе женщина, — замечает Мор.

— Блаженная сказала ей, что она станет королевой Англии.

— Могу лишь повторить свои слова.

— Вы верите в ее видения? В их божественную природу?

— Нет, она самозванка. Хочет привлечь к себе

внимание.

— И только?

— Эти молоденькие дурочки все как одна. У меня полон дом дочерей.

Он молчит.

— Вам повезло.

Мэг поднимает глаза, вспоминает о его утратах, хоть и не слышала, как Энн Кромвель спросила: за что дочке Мора такая преференция?

— Она не первая, — говорит Мэг. — В Ипсвиче жила девочка двенадцати лет, из хорошей семьи. Говорят, она творила чудеса, совершенно бескорыстно. Умерла молодой.

— А еще была дева из Леоминстера, — с мрачным удовлетворением подхватывает Мор. — Говорят, сейчас она шлюха в Кале, смеется с клиентами над трюками, которые вытворяла.

Значит, святых девственниц Мор не жалует. В отличие от епископа Фишера. Тот привечает блаженную и часто с ней видится.

Словно услышав его мысли, Мор говорит:

— Впрочем, у Фишера другое мнение.

— Фишер верит, что она может воскрешать мертвых.

Мор поднимает бровь. Кромвель продолжает:

— Но только чтобы они покаялись и получили

отпущение, после чего оживший труп вновь падает замертво.

— Понятно, — улыбается Мор.

— А вдруг она ведьма? — спрашивает Мэг. — Про них есть в Писании, могу привести цитаты.

Не стоит, говорит Мор.

— Мэг, я показывал тебе, где положил письмо?

Маргарет встает, ниткой закладывает страницу в греческой книге.

— Я писал этой девице, Бартон… теперь сестре Элизабет, она приняла постриг. Советовал ей не смущать людей, не донимать короля своими пророчествами, избегать общества сильных мира сего, прислушиваться к своим духовникам, но главное — сидеть взаперти и молиться.

— Как надлежит всем нам, сэр Томас. Следуя вашему примеру. — Кромвель живо кивает. — Аминь. Полагаю, вы храните копию?

— Принеси, Мэг, иначе мы от него не отделаемся.

Мор в нескольких словах объясняет дочери, где лежит письмо. Хорошо хоть не велит ей наскоро состряпать подделку.

— Отделаетесь, скоро ухожу. Не хочу пропустить коронацию. У меня и новый дублет имеется. Так не составите нам компанию?

— Составите друг другу компанию в аду.

Он успел забыть, каким непреклонным и суровым бывает Мор; о его способности зло шутить самому и не понимать чужих шуток.

— Королева в добром здравии, — говорит Кромвель. — Ваша королева, не моя. Кажется, ей по душе жизнь в Амтхилле. Да вы и сами знаете.

Я не состою в переписке с вдовствующей принцессой, не моргнув глазом, заявляет Мор. Вот и хорошо, кивает Кромвель, потому что я слежу за двумя францисканцами, которые доставляют ее письма за границу, — кажется, они всем орденом заняты только тем, чтобы вредить королю. Если я схвачу этих монахов и не смогу убедить — а вы знаете, я бываю очень убедителен — признаться добром, придется вздернуть их на дыбу и ждать, в ком первом проснется благоразумие. Разумеется, я бы с радостью отпустил их домой, накормив и напоив на прощанье, но я подражаю вам, сэр Томас. В таких делах вы — мой учитель.

Кромвель должен успеть сказать ему все до того, как вернется Маргарет Ропер. Легким стуком по столу он привлекает внимание хозяина.

Джон Фрит, говорит он. Попросите аудиенцию у Генриха. Он будет счастлив. Уговорите его встретиться с Джоном наедине. Я не прошу вас

соглашаться с Джоном, я знаю, вы считаете его еретиком, пусть, но скажите королю, что Фрит — чистая душа, превосходный ученый, он должен жить. Если он заблуждается, вы сможете его убедить, с вашим-то красноречием, что-что, а убеждать вы умеете, куда мне до вас. Кто знает, еще и обратите его в истинную веру. Но если он умрет, вам уже никогда не спасти его душу.

Шаги Маргарет.

— Это, отец?

— Отдай ему.

— Копия с копии?

— А чего вы ждали? Нам приходится быть осторожными, — говорит Маргарет.

— Мы с вашим отцом обсуждали монахов. Могут ли они считаться добрыми подданными короля, если должны хранить верность главам орденов, подданным Франциска и императора?

— Они же не перестают быть англичанами.

— Такие ныне редки. Отец вам объяснит.

Он кланяется Маргарет. Пожимая жилистую руку Мора, задерживает взгляд на своей руке. Она белая, господская, гладкая, а он-то думал, ожоги, память о кузне, не сойдут никогда.

Дома его встречает Хелен Барр.

— Закидывал сети, — говорит он, — в Челси.

— Поймали Мора?

— Не сегодня.

— Прислали ваш дублет.

— Да?

— Темно-красный.

— О Боже! — смеется он. — Хелен…

Она вопросительно смотрит на него.

— Я не нашел вашего мужа.

Хелен опускает руки в карман, шарит там, словно что-то ищет; стискивает руки.

— Значит, он умер?

— Будем считать, что умер. Я разговаривал с человеком, который видел, как он утонул, его свидетельству можно доверять.

— Значит, я смогу выйти замуж. Если возьмут.

Хелен смотрит ему в лицо, молчит, просто стоит. Время идет.

— А где ваша картина? С юношей, который держит сердце в виде книги? Или книгу в виде сердца?

— Я отдал ее генуэзцу.

— Зачем?

— Пришлось заплатить за архиепископа.

Она с неохотой отводит глаза от его лица.

— Пришел Ганс. Ждет вас. Злится, говорит, время — деньги.

— Я возмещу.

Ганс с трудом выкроил для него время в предпраздничных приготовлениях. По заказу ганзейских купцов художник строит на Грейсчерч-стрит гору Парнас — мимо нее Анна поедет на коронацию — и сегодня должен выбрать муз, а тут еще Томас Кромвель опаздывает! Ганс так яростно топает башмаками в соседней комнате, будто двигает мебель.

Фрита ведут в Кройдон, на допрос к Кранмеру. Новый архиепископ мог бы встретиться с узником в Ламбете, но Кройдон дальше, и путь туда лежит через лес. В самой глуши ему говорят, как бы нам тебя не упустить. Леса в сторону Уондсворта глухие, можно спрятать целую армию. Будем рыскать тут два дня, нет, больше, но если все время забирать к востоку, в сторону Кента, твой след простынет, прежде чем мы доберемся до реки.

Однако Фрит знает свою дорогу; она ведет к смерти. Они стоят на тропе, посвистывают, болтают о погоде. Один мочится, отвернувшись к дереву, другой следит за полетом сойки. Но когда они оборачиваются, узник спокойно ждет.

Четыре дня. Пятьдесят барок, украшенных на средства городских ливрейных компаний, на

снастях — флажки и колокольцы; два часа до Блэквелла, ветер легкий, но свежий, как он и заказал Богу в своих молитвах. А теперь пусть ветер уляжется, якорь брошен у пристани Гринвичского дворца, королева садится в свою барку — бывшую Екатеринину, в двадцать четыре весла: рядом фрейлины, стражники, все украшение двора, все знатные гордецы, клявшиеся, что не придут на коронацию. Три сотни матросов, флаги и вымпелы трепещут на ветру, музыка несется к берегам, усеянным лондонцами. Вниз по течению, вслед за водяным драконом, изрыгающим огонь, в сопровождении дикарей, разряжающих хлопушки. Морские суда палят из пушек.

Когда они достигают Тауэра, из-за туч выходит солнце. Темзу словно охватывает пламя. Анна сходит на берег, Генрих приветствует жену горячим поцелуем, распахивает на ней плащ, демонстрируя Англии ее живот.

Пока Генрих посвящает в рыцари толпу Говардов и Болейнов, своих друзей и сторонников, Анна отдыхает.

Дядя Норфолк пропускает церемонию. Генрих отослал его к королю Франциску, в подтверждение самых искренних связей между королевствами. Норфолк — граф-маршал и должен проводить

коронацию, но его заменяет другой Говард, а кроме того, есть он, Томас Кромвель, отвечающий за все, включая погоду.

Он беседует с Артуром, лордом Лайлом, который будет председательствовать за пиршественным столом, Артуром Плантагенетом, тихим пережитком минувшего века. Сразу после коронации Плантагенету предстоит заступить на место покойного лорда Бернерса, получив от него, Кромвеля, соответствующие инструкции. У Лайла длинное костлявое лицо Плантагенетов, он высок, как его отец король Эдуард, у которого было не счесть бастардов, но ни один не достиг таких высот, как этот старец, преклоняющий скрипучее колено перед дочерью Болейна. Хонор, его вторая супруга, на двадцать лет моложе мужа, хрупкая и маленькая, игрушечная жена. В платье темно-желтого шелка, на руках — коралловые браслеты с золотыми сердечками, на лице выражение вечного недовольства, переходящее в сварливость.

Хонор мерит его взглядом с ног до головы.

— Так вы и есть Кромвель?

Если заговорит с тобой в таком тоне мужчина, ты предложишь ему отойти в сторонку и попросишь кого-нибудь подержать твой плащ.

День второй: Анну вводят в Вестминстер. Он встает до рассвета, смотрит с зубчатой стены, как редеют облака над Бермондсейской отмелью и на смену утренней прохладе приходит ровная золотистая жара.

Шествие возглавляет свита французского посла, затем следуют судьи в алом, рыцари ордена Бани в сине-фиолетовых облачениях древнего покроя, епископы, лорд-канцлер Одли со свитой, знать в темно-красном бархате. Шестнадцать дюжих рыцарей несут Анну в белом паланкине, колокольчики звенят при каждом шаге, каждом дыхании; королева в белом, кожа словно мерцает изнутри; на лице торжественная всезнающая улыбка, волосы забраны самоцветным обручем. За паланкином дамы на лошадях под белым бархатом, престарелые вдовы в каретах, с кислой миной на лице.

На каждом перекрестке процессию встречают живые картины и статуи, восхваление добродетелей королевы и дары от городского купечества; белокрылый сокол — эмблема Анны — увенчан короной и увит розами; шестнадцать здоровяков топчут цветы, аромат поднимается, словно дым. Чтобы лошадиные копыта не скользили, землю по приказу Кромвеля посыпали гравием, а

толпу на случай давки и волнений оттеснили за ограждение; все лондонские приставы на службе, чтобы впоследствии никто не сказал: коронация Анны, как же, помню, в тот день у меня вытянули кошель. Фенчерч-стрит, Леденхолл, Чип, собор Святого Павла, Флит, Темпл-бар, Вестминстер-холл. Фонтанов с вином больше, чем с обычной водой. А сверху на них взирают другие лондонцы, чудища, живущие на высоте — несметные каменные мужчины, женщины и звери, существа, что не человеки и не звери, клыкастые кролики и летучие зайцы, птицы о четырех лапах и крылатые змеи, бесенята с выпученными глазами и утиными клювами, люди в венках из листьев с козлиными и бараньими мордами, свитые в кольца твари с кожаными крыльями, волосатыми ушами и раздвоенными копытами, ревущие и трубящие в роги, покрытые перьями и чешуей. Иные хохочут, иные поют или скалятся. Львы и монахи, ослы и гуси, черти, жрущие младенцев, беспомощно сучащих ножками. Каменные и свинцовые, железные и мраморные, визжащие и хихикающие, улюлюкающие, кривляющиеся и блюющие с контрфорсов, крыш и стен.

Вечером, получив разрешение короля, он возвращается в Остин-фрайарз. Навещает соседа

Шапюи, укрывшегося за ставнями, заткнувшего уши, чтобы не слышать фанфар и пушечной пальбы. Он заходит в хвосте комической процессии, которую возглавляет Терстон с цукатами — подсластить дурное настроение посла — и превосходным итальянским вином, подарком Суффолка.

Шапюи встречает его без улыбки.

— Что ж, вам удалось преуспеть там, где не смог кардинал, и Генрих получил то, что хотел. Я говорю своему господину, который способен взглянуть на вещи беспристрастно, Генрих жалеет, что не приблизил Кромвеля раньше. Давным-давно бы своего добился.

Кромвель хочет сказать, это кардинал, это он научил меня всему, но Шапюи не дает вставить слово.

— Подходя к запертой двери, кардинал поначалу пытался улестить ее: о, прекрасная отзывчивая дверца! — затем действовал хитростью. Вы такой же, ничем не лучше. — Посол наливает себе герцогского вина. — Только в конце вы просто вышибаете дверь плечом.

Вино из тех настоящих благородных вин, в которых Брэндон знает толк. Шапюи смакует вино и жалуется, не понимаю, ничего-то я не понимаю

в этой непросвещенной стране. Кранмер теперь папа? Или Генрих? Или, может быть, вы? Мои люди, толкавшиеся сегодня в городе, говорят, мало кто приветствовал любовницу, почти все призывали Божье благословение на Екатерину, законную королеву.

Вот как? Не ведаю, о каком городе речь.

Шапюи фыркает: и впрямь не поймешь, вокруг короля одни французы, и она, Болейн, наполовину француженка, полностью на их содержании, все ее семейство в кармане у Франциска. Но вы, Томас, надеюсь, вы им не служите?

Что вы, дорогой друг, ни в коей мере.

Шапюи плачет; благородное вино развязало послу язык.

— Я подвел моего господина императора, подвел Екатерину.

— Не печальтесь, — успокаивает он посла.

Завтра будет новая битва, новый мир.

На рассвете он в аббатстве. Начало в шесть. Генрих будет наблюдать за церемонией из зарешеченной ложи. Когда он просовывает голову внутрь, король уже нетерпеливо ерзает на бархатной подушке, а коленопреклоненный слуга подает завтрак.

— Со мной завтракает французский посол, —

говорит Генрих, и на обратном пути Кромвель встречает этого господина.

— Говорят, с вас написали портрет, мэтр Кремюэль. С меня тоже. Вы его видели?

— Нет еще. Ганс слишком занят.

Даже в такое прекрасное утро, в помещении под ребристыми сводами, посол умудрился посинеть от холода.

— Что ж, — обращается Кромвель к де Дентвилю, — эта коронация — признание того, что наши народы достигли совершенного согласия. Как углубить эту близость? Что скажете, мсье?

Посол кланяется.

— Самое трудное позади?

— Мы должны сохранить полезные связи, если нашим правителям пристанет охота снова разбраниться.

— Встреча в Кале?

— Через год.

— Не раньше?

— Ни к чему без крайней нужды подвергать моего короля опасностям морского путешествия.

— Нужно это обсудить, Кремюэль.

Плоской ладонью посол хлопает его по груди, над сердцем.

В девять процессия готова выступить. Анна в

мантии алого бархата с отделкой из горностая. Ей нужно пройти семьсот ярдов по синей ткани, протянутой к алтарю, на лице — отрешенность. Вдовствующая герцогиня Норфолкская держит шлейф, епископ Винчестерский и епископ Лондонский с обеих сторон вцепились в подол длинной мантии. И Гардинер, и Стоксли выступают со стороны короля на суде о разводе, но, если судить по их виду, оба не прочь оказаться подальше от виновницы процесса. На высоком лбу Анны блестит пот, а поджатые губы, к тому времени когда она доходит до алтаря, кажется, и вовсе втягиваются внутрь. Кем установлено, что края мантии должны поддерживать епископы? Правило записано в фолиантах столь древних, что разрушить их может простое прикосновение, не говоря уж о дыхании. Лайл помнит их наизусть. Пожалуй, стоит снять копии и напечатать, думает Кромвель.

Он делает мысленную зарубку и направляет свою волю на Анну: лишь бы она не споткнулась, простираясь ниц перед алтарем. Служители выступают вперед, чтобы поддержать ее на последних двенадцати дюймах, перед тем как живот коснется освященных плит. Он ловит себя на том, что молится: это дитя, чье не до конца

сформированное сердечко бьется по соседству с каменным полом, да будет благословенно. Пусть вырастет сыном своего отца, как его дяди-Тюдоры; пусть будет жестким, бдительным, способным выжать все из благосклонности фортуны. Если Генрих проживет еще лет двадцать — Генрих, творение Вулси, — и оставит это дитя наследником, я выращу собственного правителя: во славу Господа и ради процветания Англии. Ибо я буду еще в силе, Норфолку почти шестьдесят, а его отцу было семьдесят, когда он сражался при Флоддене. Я не уподоблюсь Генри Уайетту, отошедшему от дел, ибо ради чего тогда жить?

Анна с трудом поднимается на ноги. Кранмер, в облаке ладана, вкладывает ей в руку скипетр, жезл из слоновой кости, и на миг опускает корону святого Эдуарда на ее голову, чтобы тут же возложить убор полегче: ловкий трюк, руки Кранмера словно всю жизнь тасовали короны. Прелат выглядит слегка польщенным, как будто кто-то предложил ему стакан теплого молока.

Приняв миропомазание, она удаляется, Anna Regina, в приготовленные для нее покои, готовиться к пиру в Вестминстер-холле, тает в облаке воскурений. Кромвель бесцеремонно расталкивает знать — все вы, все вы клялись, что ноги

вашей здесь не будет, — и ловит взгляд Чарльза Брэндона, констебля Англии, готового въехать в зал на белом коне. Он отрывает глаза от сияющей громадной фигуры; Чарльз вряд ли меня переживет. Обратно к Генриху, в темноту. В последний миг его внимание привлекает мелькнувший за углом край багровой мантии; видимо, кто-то из судей покинул процессию.

Венецианский посол заслоняет обзор, но Генрих машет ему рукой.

— Кромвель, разве моя жена не хороша, разве она не прекрасна? Не могли бы вы пойти к ней и передать… — король оглядывается в поисках подарка, срывает с пальца кольцо, — вот это?

Король целует кольцо.

— И это тоже.

— Надеюсь, что смогу передать ваш пыл, — говорит Кромвель и вздыхает, совсем как Кранмер.

Король смеется. Его лицо сияет.

— Это мой лучший, лучший день!

— Подождите рождения наследника, — кланяется венецианец.

Дверь открывает Мэри Говард, юная дочь Норфолка.

— Нет, ни в коем случае, — говорит она, — ни за что. Королева одевается.

Ричмонд прав: грудей у нее нет. Пока. Ей четырнадцать. Нужно очаровать эту юную Говард, думает он, и принимается опутывать девушку комплиментами, восхищаться платьем и украшениями, пока из покоев не раздается приглушенный, словно из могилы, голос. Мэри Говард отпрыгивает в сторону, ах, раз она сама вас зовет, можете войти.

Прикроватные занавеси плотно задернуты. Кромвель распахивает их. Анна лежит в сорочке, плоская, как тень, только холмом вздымается огромный шестимесячный живот. В парадной мантии ее положение было почти незаметно. Если б не тот священный миг, когда Анна лежала ниц на полу, ему, Кромвелю, было бы трудно поверить, что королева Англии и это тело, распростертое, словно жертва на алтаре — груди под сорочкой выпирают, босые ноги отекли — и впрямь одно.

— Матерь Божья, и дались вам эти женщины Говардов! Для такого безобразного мужчины вы слишком самоуверенны. Дайте я на вас посмотрю. — Она поднимает голову. — И это темно-красный? Слишком мрачный. Так-то вы исполняете мои приказы!

— Ваш кузен Фрэнсис Брайан сказал, что я по-

хож на ходячий синяк.

— Кровоподтек на теле политики, — смеется Джейн Рочфорд.

— Справитесь? — спрашивает Кромвель с сомнением, почти с нежностью. — Вы устали.

— Она выдержит, — в голосе Марии нет и следа сестринской гордости. — Разве не для этого она рождена на свет?

— Король видел? — спрашивает Джейн Сеймур.

— Король гордится ею. — Кромвель обращается к Анне, вытянувшейся на своем катафалке. — Сказал, никогда еще вы не были так прекрасны. Прислал вам это.

Анна издает слабый звук, что-то среднее между благодарностью и стоном: опять алмаз?

— И поцелуй, который я посоветовал королю доставить самому.

Она не протягивает руку за подарком, и он испытывает почти непреодолимое желание положить кольцо ей на живот и удалиться. Вместо этого он передает подарок ее сестре.

— Пир начнется, когда вы будете готовы, ваше королевское величество, не раньше. Хорошенько отдохните.

Она со стоном выпрямляется.

— Я готова.

Мэри Говард бросается к ней и начинает неумело, по-девичьи, словно гладит птенца, растирать ей ноги.

— Поди прочь, — недовольно бурчит помазанная королева. Она выглядит больной. — Где вы пропадали вчера? Толпа приветствовала меня, я слышала собственными ушами. Говорят, народ любит Екатерину, на деле женщины ее просто жалеют. От нас они получат больше. Они еще полюбят меня, когда родится ребенок.

— Но мадам, — вступает Джейн Рочфорд, — они любят Екатерину, потому что она дочь помазанных монархов. Смиритесь, мадам, они никогда не полюбят вас… больше, чем любят сейчас… Вот и Кромвель вам скажет. Их чувства не имеют отношения к вашим достоинствам. Так вышло. Стоит ли обманываться?

— Довольно об этом, — произносит Джейн Сеймур.

Кромвель оборачивается и видит нечто удивительное: малышка выросла.

— Леди Кэри, — говорит Джейн Рочфорд, — мы должны облачить вашу сестру. Проводите мастера Кромвеля. Наверняка вам есть о чем поболтать, так что не нарушайте традицию.

За дверью он оборачивается:

— Мария?

Замечает круги у нее под глазами.

— Да?

В ее тоне ему слышится: «Да, и что теперь?»

— Я сожалею, что брак с моим племянником не сложился.

— А я и не напрашивалась, — криво улыбается она. — Теперь я никогда не увижу ваш дом, о котором столько наслышана.

— И что же вы слышали?

— Про сундуки, лопающиеся от золотых монет.

— Мы бы такого не допустили. Заказали бы сундуки повместительнее.

— Говорят, там лежат деньги короля.

— Все деньги принадлежат королю. На них его портрет. Мария, — он берет ее руку, — я не смог убедить его отказаться от вас. Он…

— А вы пытались?

— В моем доме вам бы такое не грозило. Впрочем, вы, сестра королевы, вправе рассчитывать на лучшую партию.

— Сомневаюсь, что в сестринские обязанности входит то, чем я занимаюсь по ночам.

Она родит Генриху еще ребенка, и Анна задушит его в колыбели.

— Ваш приятель Уильям Стаффорд при дворе. Вы по-прежнему друзья?

— Вообразите, в каком восторге он от моего теперешнего положения. Однако по крайней мере теперь я в фаворе у отца. Монсеньор вспомнил про дочь. Боже упаси, чтобы король объезжал кобылок из другого стойла.

— Когда-нибудь это закончится. Они вас отпустят. Король обеспечит вас, выделит пенсию. Я замолвлю словечко.

— Пенсию? Грязной половой тряпке? — взвивается Мария; она сломлена; крупные слезы катятся по лицу. Он ловит и смахивает слезинки, шепчет слова утешения, больше всего на свете желая оказаться подальше отсюда. Уходя, оборачивается и смотрит на нее, одиноко стоящую у двери. Во что бы то ни стало нужно ей помочь, думает он, она теряет привлекательность.

Генрих наблюдает с галереи Вестминстер-холла, как занимает почетное место за столом его королева, ее фрейлины, цвет английского дворянства. Король сыт, и теперь обмакивает в корицу тонкие ломтики яблока. Рядом с ним, *encore les ambassadeurs,*[79] Жан де Дентвиль — кутается в

---

[79] Примечания Ольги Дмитриевой: 79
снова послы *(фр.).*

меха, спасаясь от июньской прохлады — и второй посол, друг Дентвиля, епископ Лаворский в великолепной парчовой мантии.

— Это было весьма впечатляюще, Кремюэль, — говорит де Сельв; проницательные карие глаза сверлят его, ничего не упуская. От него тоже ничего не ускользает: строчки и швы, крой и глубина окраски; он восхищен насыщенным цветом епископской мантии. Говорят, эти двое французов евангельской веры, но при дворе Франциска им негде развернуться, жалкий кружок богословов, к которым, тщеславия ради, благоволит король; у Франциска нет ни своего Томаса Мора, ни своего Эразма, неудивительно, что его гордость уязвлена.

— Взгляните на мою королеву. — Генрих перевешивается через перила. С таким же успехом мог бы сидеть внизу. — Она стоит пышной церемонии, не правда ли?

— Я велел вставить новые стекла, — говорит Кромвель, — чтобы любоваться королевой во всей красе.

— *Fiat lux,*[80] — бормочет де Сельв.

— Она была на высоте, — замечает де Дент-

---

[80] Примечания Ольги Дмитриевой: 80
Да будет свет *(лат.).*

виль. — Шесть часов на ногах. Можно поздравить ваше величество с обретением супруги, по-крестьянски выносливой. Не сочтите мои слова неуважением.

В Париже лютеран жгут на кострах. Он хотел бы обсудить это с послами, но ароматы жареных лебедей и павлинов, поднимающиеся снизу, мешают развить тему.

— Господа, — спрашивает Кромвель (музыка набегает, словно рябит серебром волна на мелководье), — знаком ли вам некий Гвидо Камилло?[81] Я слышал, он принят при дворе вашего господина.

Французы переглядываются. Кажется, он застал их врасплох.

— А, это тот, что построил деревянный ящик, — бормочет Жан. — Знаком.

— Театр, — говорит Кромвель.

Де Сельв кивает.

---

[81] Примечания Ольги Дмитриевой: 81

Джупио «Дельминио» Камилло (ок. 1480–1544) — итальянский философ, одержимый идеей создания универсальной системы классификации всего сущего, которую он намеревался облечь в форму «Театра». В 1530 г. он преподнес королю Франциску I рукопись, озаглавленную «Theatro della Sapientia», после чего оставался под его покровительством во Франции до 1537 г. Вернувшись в Италию, он продолжал работать над своим проектом до конца жизни. Текст его трактата «Идея театра» был впервые опубликован в 1550 г. во Флоренции. Его модель «театра» вызвала большой интерес в качестве мнемонической техники, облегчающей запоминание информации.

— В котором вы и есть пьеса.

— Эразм писал нам об этом, — замечает Генрих через плечо. — Камилло нанял столяров, которые изготовили деревянные полки и ящички, одни внутри других. Система для запоминания речей Цицерона.

— Не только, если позволите. Это античный театр по плану Витрувия, но пьесы в нем не ставят. Как говорит милорд епископ, вы — владелец театра — становитесь в центре и смотрите вверх. Вас окружает упорядоченная система человеческих знаний. Похоже на библиотеку, только в каждой книжке спрятана следующая, а в ней другая, поменьше. Хотя и это не все.

Король хрустит анисовыми цукатами.

— На свете и так слишком много книг, и каждый день появляются новые. Человеку не под силу прочесть все.

— Не понимаю, откуда вы столько знаете! — удивляется де Сельв. — Однако приходится верить на слово, мэтр Кремюэль. Гвидо говорит только на своем итальянском диалекте, да и то с запинкой.

— Лишь бы вашему господину было в радость тратить на это деньги, — замечает Генрих. — А он случаем не колдун, ваш Гвидо? Не хочется, чтобы

Франциск попал в сети колдуна. Кстати, Кромвель, я отослал Стивена обратно во Францию.

Стивена Гардинера. Значит, французам не по душе иметь дело с Норферком. Неудивительно.

— Как долго продлится его миссия? — спрашивает Кромвель.

Де Сельв ловит его взгляд:

— А кто будет исполнять обязанности королевского секретаря?

— Кромвель, кто ж еще. Надеюсь, вы не против? — улыбается Генрих.

На пороге главного зала ему преграждает путь мастер Ризли. Сегодня большой день для геральдов, их помощников, сыновей и друзей; жирные куски плывут прямо в руки. Он говорит это Ризли, на что тот возражает: жирный кусок приплыл в руки вам. Что ж, это можно было предвидеть — Генрих устал от Винчестера, от педантичной критики каждого своего шага; королю надоело спорить, теперь он женат и склонен стать более *douceur*.[82] Это с Анной-то? спрашивает Кромвель. Зовите-меня смеется. Вам лучше знать, но если она и вправду остра на язык, тем нужнее Генриху покладистые министры. Держите Сти-

---

[82] Примечания Ольги Дмитриевой: 82
мягкий, любезный *(фр.)*.

вена за границей, и скоро король утвердит вас в должности.

Нарядно одетый Кристоф маячит неподалеку, пытаясь привлечь внимание Кромвеля. Вы позволите, спрашивает он Ризли, но тот дотрагивается до его темно-красного дублета, словно на удачу, и говорит: вы хозяин дома, устроитель пиров, вам король обязан своим счастьем, вы добились того, чего не смог добиться кардинал, и даже большего. Смотрите — Ризли показывает на знатных господ, которые позабыли, что не собирались сюда приходить, и сейчас уплетают обед из двадцати трех блюд, — даже пир выше всяких похвал; все под рукой, не успеют гости подумать о чем-то, оно тут как тут.

Он склоняет голову, Ризли удаляется, он подзывает Кристофа. Не хотел болтать лишнего при Зовите-меня, заявляет тот, а то Рейф говорит, этот тип тут же помчится на задних лапках к Гардинеру, доносить. А теперь, сэр, у меня для вас сообщение. Вас ждет архиепископ, сразу по окончании пира.

Он поднимает глаза на помост, где под величественным балдахином восседают Анна с архиепископом. Оба застыли перед пустыми тарелками — впрочем, Анна пытается делать вид,

будто ест. Оба разглядывают гостей.

— Я тоже поскачу на задних ножках, — повторяет он понравившуюся фразу. — Куда?

— В его старое жилище, он сказал, вы знаете. Еще сказал никому не говорить. И никого с собой не брать.

— Ты можешь пойти, Кристоф. Ты никто.

Мальчишка ухмыляется.

Кромвель осторожничает не зря: глупо разгуливать одному в темноте, в окрестностях аббатства, среди пьяных толп. Увы, глаз на спине у него нет.

Они уже почти у Кранмера, когда усталость вдруг опускается на плечи железным плащом.

— Постой, — говорит он Кристофу.

Несколько ночей Кромвель почти не смыкал глаз. В темноте делает глубокий вдох; холодно и темно, хоть глаз выколи. Комнаты заброшены, пусты и молчаливы. Откуда-то сзади, с вестминстерских улиц, доносится слабый крик, словно кто-то аукается в лесу после сражения.

Кранмер поднимает глаза от письменного стола.

— Эти дни не забудутся, — говорит архиепископ. — Те, кто пропустил их, не поверят очевидцам. Король вас хвалил. Думаю, он хотел, чтобы я

передал вам его слова.

— Мне странно, неужели меня когда-то волновало, сколько заплатить каменщикам в Тауэре? Какой мелочью кажется это теперь. А завтра турнир. Мой Ричард будет сражаться пешим и в одиночку.

— Он их всех уложит, — заявляет Кристоф. — Хрясь — и готово.

— Тс-с, — шипит Кранмер. — Чтоб я тебя больше не слышал, дитя. Кромвель, идемте.

Хозяин открывает низкую дверцу в задней стене, опускает голову, и в проеме Кромвель видит слабо освещенный стол, табурет и юную кроткую женщину, склонившуюся над книгой.

Она поднимает голову.

— *Ich bitte Sie, ich brauch eine Kerze.* [83]

— Кристоф, принеси свечу.

Кромвель узнает книгу, которую читает женщина: трактат Лютера.

— Вы позволите? — Он забирает у нее книгу.

Читает, мысли скачут между строк. Кто она, беглянка, которую Кранмер прячет? Понимает ли архиепископ, чем рискует? Он успевает прочесть половину страницы, когда появляется винова-

---

[83] Примечания Ольги Дмитриевой: 83
Пожалуйста, принесите свечу *(нем.).*

тый Кранмер.

— Эта женщина?..

— Моя жена Маргарита, — говорит Кранмер.

— Боже милосердный! — Он швыряет Лютера на стол. — Что вы наделали! Где вы ее взяли? Очевидно, в Германии. Так вот почему вы не спешили возвращаться! Теперь мне все ясно. Но зачем?

— У меня не было выхода, — мямлит Кранмер.

— Вы понимаете, что с вами сделает король, если тайна откроется? Парижский палач изобрел механизм с противовесом — хотите, нарисую? — который опускает и поднимает еретика из пламени, чтобы толпа хорошенько рассмотрела агонию. Теперь Генриху понадобится такой же. Или король закажет устройство, которое будет в течение сорока дней откручивать вам голову.

Женщина поднимает глаза.

— *Mein Onkel…* [84]

— Кто он?

Она называет теолога Андреаса Осиандера, нюрнбержца, лютеранина. Ее дядя, его друзья, и все образованные люди города считают…

— Возможно, мадам, в вашей стране и верят,

---

[84] Примечания Ольги Дмитриевой: 84
Мой дядя… *(нем.).*

что пастору полагается иметь жену, но не здесь. Доктор Кранмер вас не предупредил?

— Прошу вас, скажите, о чем она говорит. Проклинает меня? Хочет вернуться домой? — спрашивает Кранмер.

— Нет, она говорит, вы к ней добры. Что на вас нашло?

— Я же писал вам, что у меня есть тайна.

Писал на полях письма.

— Но это безумие — держать ее здесь, под носом у короля.

— Я поселил ее в деревне, но она так хотела посмотреть церемонию!

— Она что, и на улицу выходила?

— Но ведь ее никто не знает!

Верно. Чужеземцу легко затеряться в большом городе; еще одна юная женщина в аккуратном чепце и платье, еще одна пара глаз среди тысяч других; иголка в стоге сена.

Кранмер шагает к нему, протягивает руки, на которых еще так недавно было священное миро: тонкие длинные пальцы, бледные прямоугольники ладоней, испещренные знаками морских путешествий и брачных союзов.

— Я прошу вас как друга. Ибо на этом свете у меня нет друга ближе, чем вы, Кромвель.

У него не остается другого выхода, кроме как сжать эти худые пальцы в ладонях.

— Хорошо, что-нибудь придумаем. Спрячем вашу жену. Но меня удивляет, почему вы не оставили ее в родительском доме, пока мы не убедим короля перейти на нашу сторону.

Голубые глаза Маргариты мечутся между ними. Она встает, отодвигает стол — и его сердце падает. Он уже видел это движение, его жена так же опиралась на столешницу, помогая себе встать. Маргарита высока ростом, и ее живот выпирает прямо над столом.

— Иисусе!

— Я надеюсь, будет дочь, — говорит архиепископ.

— Когда? — спрашивает он Маргариту.

Вместо ответа она берет его руку и прижимает к своему животу. Отмечая коронацию, младенец танцует: спаньолетта, эстампи рояль. Вот пятка, а вот локоток.

— Вам нужна помощница, — говорит он. — Женщина, которая будет за вами приглядывать.

Кранмер выходит вместе с ним.

— Насчет Фрита…

— Да?

— С тех пор как его перевели в Кройдон, я

трижды беседовал с ним наедине. Достойный молодой человек, чистая душа. Я провел с ним несколько часов — и не жалею ни об одной секунде, — но так и не смог убедить его свернуть с пути.

— Ему следовало бежать там, в лесу. Вот его путь.

— Мы не вольны… — Кранмер опускает глаза. — Простите, но не всем дано умение выбирать из многих путей.

— А значит, вам придется передать арестанта Стоксли, Фрита взяли в его епархии.

— Когда король даровал мне этот пост, когда он настаивал, я и помыслить не мог, что мне придется убеждать Джона Фрита отступиться от его веры.

Добро пожаловать в наш низкий мир.

— Я больше не могу откладывать.

— Как и ваша жена.

Улицы вокруг Остин-фрайарз пустынны. Дым факелов затмевает звезды. Сторожа у ворот, трезвые, с удовольствием отмечает Кромвель. Останавливается перекинуться с ними словом; большое искусство — спешить, но не подавать виду.

Войдя в дом, он говорит:

— Мне нужна мистрис Барр.

Почти все его домочадцы ушли смотреть фейерверки и танцевать, появятся не раньше полуночи. Он сам разрешил: кому тогда праздновать коронацию Анны, если не им?

Выходит Джон Пейдж: чего желаете, сэр? Уильям Брабазон, с пером в руке, из бывшего окружения Вулси, королевские дела не ждут. Томас Авери, весь в заботах: деньги все время в движении, приход, расход. Когда Вулси впал в немилость, свита покинула кардинала, но слуги Томаса Кромвеля оставались с ним до конца.

Наверху хлопает дверь. Растрепанный Рейф сбегает вниз, стуча башмаками. Молодой человек выглядит смущенным.

— Сэр?

— Тебя я не звал. Хелен дома?

— Зачем она вам?

Появляется Хелен. На ходу завязывает чистый чепец.

— Собирайся, пойдешь со мной.

— Надолго, сэр?

— Не могу сказать.

— Мне придется уехать из Лондона?

Он размышляет, нужно все устроить, жены и дочери горожан, которым можно доверять,

найдут служанок и повитуху, опытную матрону, которая передаст ребенка Кранмера ему в руки.

— Возможно, ненадолго.

— Дети…

— О детях не беспокойся.

Она кивает и убегает. Если бы все подчиненные были так проворны.

— Хелен! — в ярости зовет Рейф. — Куда вы ее посылаете, сэр? Вы не можете просто увести Хелен из дома среди ночи…

— Могу, — возражает он мягко.

— Я должен знать.

— Поверь, не должен. — Кромвель сдается. — Ладно, только не сейчас, я устал, Рейф, и спорить не собираюсь.

Он мог бы поручить это Кристофу или другим нелюбопытным домочадцам: вырвать Хелен из тепла Остин-фрайарз в монастырский холод; или отложить решение до утра. Но из головы нейдет одиночество Кранмеровой жены, город *en fête,*[85] пустынная Кэнон-роу, где грабители рыщут в тени монастырских стен. Уже во времена короля Ричарда эта сторона прославилась воровскими шайками, которые выходили на промысел после

---

[85] Примечания Ольги Дмитриевой: 85
празднующий *(фр.).*

заката, а утром, как рассветет, просили убежища в церкви — надо думать, за часть добычи. Нужно заняться этим местом; мои люди достанут и грабителей, и монахов-укрывателей из-под земли, хорьками залезут в любую нору.

Полночь: мшистое дыхание камня, скользкая от городских испарений мостовая. Хелен вкладывает руку в его ладонь. Слуга впускает их, не поднимая глаз; Кромвель сует ему монетку, чтобы и дальше смотрел в пол. Архиепископа не видать; хорошо. Горит лампа. Он толкает дверь. Жена Кранмера съежилась на крохотной кровати.

Он обращается к Хелен:

— Вот женщина, которая нуждается в твоем милосердии. Ты все видишь сама. Она не говорит по-английски. В любом случае, ты не должна спрашивать ее имя.

Затем, жене Кранмера:

— Это Хелен. У нее двое детей. Она вам поможет.

Не открывая глаз, мистрис Кранмер еле заметно кивает и улыбается, но когда Хелен накрывает руку женщины своей нежной ладонью, тянется, чтобы ее погладить.

— Где ваш муж?

— *Er betet.* [86]

— Надеюсь, он не забудет помянуть меня в своих молитвах.

В день, когда Фрита сжигают на костре, Кромвель охотится с королем в Гилфорде. Дождь начался перед рассветом, порывистый ветер мотает верхушки деревьев: дождливо во всей Англии, в полях мокнет урожай. Однако Генрих по-прежнему в отличном расположении духа. Король садится писать Анне в Виндзор. Вертит перо, переворачивает лист, наконец сдается: напишите за меня, Кромвель, я скажу, о чем.

Вместе с Фритом к столбу привяжут Эндрю Хьюитта, портновского подмастерья.

Екатерина во время родов держала в руке реликвию, пояс Пресвятой Девы, говорит Генрих. Я его выписал.

Не думаю, что королева согласится его взять.

И не забыть про особые молитвы Святой Маргарите. Женские дела.

Они сами разберутся, сэр.

Позже он узнает, как умер Фрит и его товарищ; ветер без конца сдувал от них пламя. Смерть — злая шутница, зовешь ее, а она нейдет; прита-

---

[86] Примечания Ольги Дмитриевой: 86
Он молится *(нем.).*

илась во тьме, закрыв лицо черной тканью.

В Лондоне снова потовая лихорадка. Король, оплот всех своих подданных, каждый день ощущает все симптомы до единого.

Сейчас Генрих уставился на дождь за окном. Ничего, еще распогодится, утешает себя король, Юпитер благоприятствует. Итак, скажите ей, скажите королеве…

Кромвель ждет, перо замерло в руке.

Нет, хватит, давайте сюда, Томас, я подпишу.

Он думает, что король нарисует сердце, но легкомысленные ухаживания позади, брак — дело серьезное. *Henricus Rex.*

У меня колики, головная боль, тошнота и перед глазами черные точки, говорит король, значит, я заразился?

Вашему величеству нужно отдохнуть. И запастись мужеством.

Вы же знаете, как говорят: утром пел, к полудню помер. Неужели можно сгореть за два часа?

Я слыхал, умереть можно и от страха.

К полудню из-за туч выглядывает солнце. Генрих, хохоча, скачет под мокрыми от дождя деревьями.

В Смитфилде лопатой сгребают останки Фрита, его молодость и мягкость, ученость и мило-

видность: комок слякоти и кучка обугленных костей.

У короля два тела. Первое существует в пределах физического, его можно измерить, что частенько проделывает Генрих: талию, икру, другие части. Второе — его двойник-правитель, ускользающий, бестелесный, который может находиться в нескольких местах сразу. Генрих охотится, а его двойник сочиняет законы. Один сражается — другой молится о ниспослании мира. На одном держится таинство управления государством, другой поедает утку с зеленым горошком.

Папа провозглашает его женитьбу на Анне незаконной. Угрожает отлучить короля от церкви, если тот не вернется к Екатерине. Христианский мир отринет нечестивца, подданные восстанут, и Генриха ждет позорное изгнание. Ни в одном христианском сердце не найдет сочувствия, а когда король сгинет, его труп зароют в яме вместе с собачьими костями.

Кромвель учит Генриха называть папу епископом Римским. Смеяться при упоминании его имени. Даже неуверенный смешок лучше прежнего преклонения.

Кранмер приглашает провидицу Элизабет Бар-

тон в свой дом в Кенте. У нее было видение Марии, бывшей принцессы, в королевской короне? Да. И Гертруды, леди Эксетер? Да. Либо та, либо другая, мягко замечает архиепископ. Я говорю, что вижу, возражает блаженная. Кранмер записывает, что пророчица — самоуверенная хвастунья, привыкшая болтать с архиепископами, и теперь видит в нем нового Уорхема — тот прислушивался к каждому ее слову.

Она — мышка в кошачьих лапах.

Королева Екатерина вместе со своим поредевшим двором вновь снимается с места, переезжает во дворец епископа Линкольнского в Бакдене. Старый дом красного кирпича с большими садами, спускающимися к рощам, полям и болотам. Сентябрь принесет Екатерине первые осенние плоды, октябрь одарит туманами.

Король велит Екатерине отдать крестильную рубашку ее дочери Марии. Выслушав ответ королевы, он, Томас Кромвель, хохочет. Ей следовало родиться мужчиной, своими деяниями она посрамила бы героев древности. Перед Екатериной кладут документ, в котором к ней обращаются «вдовствующая принцесса»; ему показывают, где ее перо распороло бумагу, когда она зачеркивала свой новый титул.

Короткими летними ночами слухи падают во влажную почву. На рассвете они уже торчат из мокрой травы, словно шампиньоны. Ранним утром домочадцы Томаса Кромвеля ищут повитуху. Он прячет в своем загородном доме чужестранку, подарившую ему дочь. Не смей защищать мою честь, говорит он Рейфу. У меня таких женщин пруд пруди.

Не сомневайтесь, они поверят, соглашается Рейф. В городе толкуют, что у Томаса Кромвеля непомерная…

Память, перебивает он. Толстенные конторские книги. Чудовищная система, в которой значатся (под своими именами, а также по тяжести проступков) те, кто осмелился мне перечить.

Все астрологи наперебой твердят, что у короля родится сын. Но лучше не иметь дел с этой публикой. Несколько месяцев назад некто предложил ему изготовить для короля философский камень, а когда гостю вежливо указали на дверь, обозлился и, как свойственно алхимикам, начал пророчествовать, что король умрет до конца года. В Саксонии, утверждает алхимик, живет старший сын покойного короля Эдуарда; вы решили, что его кости схоронены под тауэрской мостовой — где, ведомо лишь убийце, — но вас обманули, он

жив, здоров, и готов предъявить права на трон.

Кромвель считает в уме: королю Эдуарду Пятому, доживи тот до сего дня, в ноябре стукнуло бы шестьдесят четыре. Староват для драки, замечает он алхимику и отправляет того в Тауэр, пораскинуть мозгами.

Из Парижа никаких вестей. Что бы ни замышлял мэтр Гвидо, он скрытничает.

— Томас, — говорит Ганс Гольбейн, — я закончил ваши руки, а до лица никак не доберусь. Обещаю, осенью портрет будет готов.

Вообразите, в каждой книге скрыта другая книга, в каждой букве на каждой странице раскрывается новый том; и все эти книги не имеют объема. Вообразите знание, уменьшенное до своей сути, внутри картины, знак — в месте, не занимающем места. Вообразите, что человеческий мозг расширился, и внутри открылись новые пространства, жужжащие, словно ульи.

Лорд Маунтджой, управляющий Екатерины, прислал ему перечень того, без чего английская королева не может разродиться. Его забавляет эта вежливая передача полномочий; двор живет заведенным порядком, меняются только действующие лица, ясно одно: именно Кромвель, по мнению лорда Маунтджоя, отвечает за все.

Он едет в Гринвич, подновить апартаменты, приготовленные для Анны. Прокламации (пока без даты) отпечатаны и готовы возвестить народу Англии и правителям Европы о рождении принца. Оставьте место, советует он, после слова «принц», возможно, придется вписать еще буквы… На него смотрят как на предателя, и он решает махнуть рукой.

Когда женщина уединяется, чтобы произвести на свет дитя, ставни плотно закрывают. Ее держат в темноте, и роженице остается только спать. Сны уносят ее далеко, от *terra firma*[87] к топям, пристани, реке, где туман висит над дальним берегом, а земля и небо неразделимы; здесь ей предстоит отправиться навстречу жизни или смерти, закутанная фигура на корме правит ладьей. Молитвы, что звучат там, мужчинам слышать не дано. Там заключаются сделки между женщиной и ее Господом. Река подвержена приливам и отливам; ее течение может перемениться меж двумя росчерками скользящего по бумаге пера.

Двадцать шестого августа 1533 года королеву отвозят в тайные комнаты Гринвича. Муж це-

---

[87] Примечания Ольги Дмитриевой: 87
суша, твердая земля *(лат.).*

лует ее, *адье и бон вояж*, в ответ — ни улыбки, ни звука. Анна очень бледна и очень серьезна; маленькая, усыпанная драгоценностями головка гордо поднята, ниже колышется шатер тела; шаги осторожны и мелки, в руках молитвенник. На причале Анна оборачивается: один долгий взгляд. Она смотрит на Кромвеля, смотрит на архиепископа. Последний взгляд, затем фрейлины подхватывают королеву под руки, и она ставит ногу на корму.

II Плевок дьявола

Осень-зима 1533 года

Это поразительно. В момент потрясения глаза короля открыты, тело готово к *atteint,*[88] броня, принимающая удар, крепка, движения выверены. Лицо не краснеет и не бледнеет. Голос не дрожит.

— Жива? — спрашивает король. — Возблагодарим же Господа за Его милость. И вы, милорды, примите мою благодарность за столь утешительное известие.

Генрих репетировал, думает Кромвель. Как и мы все.

Король удаляется в свои покои. Бросает через плечо:

— Назовите ее Елизаветой. Турниры отменить.

— А остальные церемонии? — мямлит Болейн.

Нет ответа. Все остается в силе, говорит Кранмер, пока не получим иных указаний. Я буду крестным отцом… принцессы. Запинается. Не может поверить. Кранмер просил дочь — ее и

---

[88] Примечания Ольги Дмитриевой: 88
удар, касание *(фр.).*

получил. Архиепископ провожает глазами удаляющуюся спину Генриха.

— Он не спросил про королеву. Как она.

— А какое это теперь имеет значение? — Эдвард Сеймур произносит вслух то, что остальные думают про себя.

Генрих оборачивается на ходу.

— Милорд архиепископ. Кромвель. Вы двое.

В личных покоях:

— Вы могли такое вообразить?

Другой улыбнулся бы, но не он. Король падает в кресло. Хочется положить Генриху руку на плечо, как любому живому существу, нуждающемуся в сочувствии, однако Кромвель сдерживает порыв и просто сжимает ладонь, где хранится королевское сердце.

— Когда-нибудь мы закатим для нее великолепную свадьбу.

— Никому-то она не нужна. Даже собственной матери.

— Ваше величество еще молоды, — говорит Кранмер. — Королева сильна и здорова, а род ее славен своей плодовитостью. У вас еще будут дети. Возможно, Господь уготовил для принцессы великую судьбу.

— Дорогой друг, а ведь вы правы, — нереши-

тельно произносит Генрих и оглядывается, словно ища опоры, дружеского послания от Господа, начертанного на стене, хотя известны лишь прецеденты противоположного свойства.

Король глубоко вздыхает, встает и отряхивает рукава. Улыбается, и можно поймать — словно птицу в полете — миг, когда одной лишь силой воли из жалкого страдальца Генрих превращается в надежду нации.

— Словно воскрешение Лазаря, — шепчет Кромвель Кранмеру.

Скоро Генрих вышагивает по Гринвичскому дворцу, следя за приготовлениями к празднованию. Мы еще молоды, говорит король, в следующий раз обязательно будет мальчик. Когда-нибудь мы закатим для нее великолепную свадьбу. Поверьте мне, Господь уготовил для принцессы великую судьбу.

Лица Болейнов светлеют. Воскресенье, четыре пополудни. Кромвель поддразнивает самонадеянных клерков, которым теперь предстоит втискивать несколько лишних букв, затем рассчитывает, во сколько обойдется содержание двора юной принцессы. Он предлагает взять Гертруду, леди Эксетер, в крестные матери. Вольно ей являться лишь блаженной, в ее видениях!

Пусть предстанет перед всем двором у купели, с натужной улыбкой держа на руках Аннину дочь.

Блаженная, которую перевезли в Лондон, живет уединенно. Постель мягка, а голоса — голоса женщин из дома Кромвеля — не тревожат ее молитв; ключ в смазанном замке поворачивается с хрустом ломаемой птичьей косточки.

— Она ест? — спрашивает он Мерси.

За двоих. Как ты, Томас, хотя нет, пожалуй, тебе она уступает.

— А как же ее намерение питаться одними облатками?

— Они ведь не видят, как она обедает. Священники и монахи, сбившие ее с пути.

Без пригляда монахиня ведет себя как обычная женщина, не отвергающая телесных нужд; как любое существо, стремящееся выжить, но, кажется, уже поздно. Ему по душе, что Мерси не причитает, ах, бедная безобидная овечка. То, что пророчица не безобидна, становится ясно, как только ее доставляют в Ламбетский дворец для допроса. Казалось бы, деревенская девочка должна оробеть при виде внушительного лорда-канцлера Одли с его сверкающей цепью. Добавьте архиепископа Кентерберийского, и юная монашка затрепещет. Ничуть не бывало. Блаженная

разговаривает с Кранмером снисходительно, будто тот ничего не смыслит в религиозной жизни. Когда архиепископ спрашивает: «Откуда вы это знаете?» — она сочувственно улыбается: «Мне ангел сказал».

На второй допрос Одли приводит Ричарда Рича, вести запись и вообще помогать, чем сочтет нужным. Теперь он сэр Ричард, генеральный стряпчий. В студенческие годы Рич славился острым языком и непочтительностью к старшим, кутежами и отчаянной игрой. Впрочем, если бы о нас судили по тому, какими мы были в двадцать, кто осмелился бы ходить с высоко поднятой головой? У Рича обнаружился талант к составлению законов, в котором тот уступает лишь ему, Кромвелю. Лицо в обрамлении мягких белокурых волос сморщилось от усердия; мальчишки из Остин-фрайарз прозвали Рича «сэр Кошель». Глядя, с каким важным видом генеральный стряпчий раскладывает бумаги, и не поверишь, что перед тобой бывший позор Иннер-Темпла.[89] О чем он и сообщает Ричу вполголоса, пока они ждут пророчицу. А как поживает ваша

[89] Примечания Ольги Дмитриевой: 89

Иннер-Темпл (Внутренний Темпл) — одна из ведущих юридических корпораций Лондона, готовившая специалистов в области английского общего права.

аббатиса из Галифакса, мастер Кромвель? — парирует Рич.

Он не говорит, ах, выдумки, как не отрицает ни одну из историй, придуманных кардиналом.

— А, пустяки, в Йоркшире так принято.

Ему кажется, девчонка слышала разговор, потому что сегодня, занимая свое место, она одаривает его тяжелым взглядом.

Пророчица расправляет юбки, подтягивает рукава и спокойно ждет, когда ее начнут развлекать. Его племянница Алиса Уэллифед сидит на табурете у двери на случай обморока или иного недомогания. Впрочем, судя по виду, скорее уж Одли лишится чувств, чем пророчица.

— Вы позволите мне?.. — спрашивает Рич. — Начать?

— Почему бы нет? — говорит Одли. — Вы молоды и рьяны.

— Поговорим о твоих пророчествах: ты всегда изменяешь срок бедствий, которые предсказываешь, но насколько мне известно, ты утверждала, что король, если вступит в брак с леди Анной, процарствует всего месяц. Месяц прошел, леди Анну короновали, она подарила его величеству прекрасную дочь. Что скажешь теперь?

— Я скажу, что пусть в глазах мира он король, в

глазах Господа, — она пожимает плечами, — уже нет. Он не больше король, чем вот этот человек, — показывает на Кранмера, — архиепископ.

Однако Рич упрямо гнет свою линию.

— Стало быть, нет ничего зазорного в том, чтобы его свергнуть? Подослать к королю убийц? Посадить на трон другого?

— А вы как считаете?

— И из всех претендентов на трон ты выбрала Куртенэ, не Полей. Генри, маркиза Эксетерского — не Генри, лорда Монтегю. Или, — интересуется он сочувственно, — ты их не различаешь?

— Еще чего! — пророчица вспыхивает. — Я встречалась с обоими джентльменами.

Рич делает пометку.

— Куртенэ, лорд Эксетер, происходит от дочери короля Эдуарда, — говорит Одли. — Лорд Монтегю — от брата короля, герцога Кларенса. Как ты оцениваешь их притязания? Ибо если вести речь о королях истинных и мнимых, сам Эдуард, как утверждают, был зачат своей матерью от простого лучника. Тебе что-нибудь об этом известно?

— Ей-то откуда знать? — удивляется Рич.

Одли округляет глаза.

— Как же, она ведь беседует со святыми на небесах. Им ли не ведать!

Кромвель смотрит на Рича и читает его мысли. В книге Никколо сказано: мудрый правитель уничтожает завистников. Будь я, Рич, королем, я бы казнил всех претендентов вместе с их семьями.

Пророчице задают следующий вопрос: как объяснить, что она видела двух королев?

— Вероятно, это решится в бою, — говорит Кромвель. — Хорошо иметь несколько королей и королев про запас, если в планах гражданская война.

— В войне нет необходимости, — отвечает пророчица.

Вот как! Сэр Кошель выпрямляется в кресле: это что-то новенькое.

— Господь нашлет на Англию чуму. Не пройдет и полугода, Генрих умрет. И она, дочь Томаса Болейна.

— И я?

— Вы тоже.

— Все мы, сидящие в этой комнате? Кроме тебя, разумеется. Даже Алиса Уэллифед, не сделавшая тебе ничего дурного?

— Все женщины в вашем доме еретички, чума пожрет их тела и души.

— А как насчет принцессы Елизаветы?

Она оборачивается, адресуя свои слова Кран-

меру:

— Говорят, когда вы крестили ее, то подогрели воду. Лучше бы вы налили в купель кипятка.

Господь милосердный, восклицает Рич, нежный отец крошки-дочери, и отбрасывает перо.

Кромвель кладет ладонь на руку генерального стряпчего. Естественно подумать, что в утешении нуждается его племянница, но Алиса только ухмыльнулась, услышав из уст блаженной свой приговор.

— Она не сама додумалась до слов о кипятке, — объясняет он Ричу. — Так болтают на улицах.

Кранмер цепенеет; блаженная нанесла ему удар, теперь преимущество на ее стороне.

— Вчера я видел принцессу, — говорит Кромвель. — Она жива и здорова, несмотря на домыслы злопыхателей.

Он намеренно спокоен, нужно дать архиепископу время прийти в себя.

Обращается к пророчице:

— Скажи, удалось ли тебе обнаружить кардинала?

— Кого? — удивляется Одли.

— Сестра Элизабет обещала поискать моего бывшего господина в его странствиях: в раю ли, аду, в чистилище. Я предложил оплатить дорож-

ные издержки, передал ее сподвижникам аванс — как продвигаются поиски?

— Вулси мог бы прожить еще пятнадцать лет, — заявляет пророчица. Он кивает: блаженная повторила его собственные слова. — Однако Господь покарал его, в назидание остальным. Я видела, как черти спорили о его душе.

— И каков итог?

— Никакого. Я все обыскала. Думаю, Господь его отверг. Но однажды ночью я увидела кардинала. — Она надолго замолкает. — Его душа томилась среди нерожденных.

Воцаряется молчание. Кранмер съеживается в кресле. Рич деликатно грызет кончик пера. Одли крутит пуговицу на рукаве, пока нитка не натягивается.

— Если желаете, я помолюсь за него, — говорит дева. — Господь прислушивается к моим просьбам.

— Будь рядом твои советчики — отец Бокинг, отец Голд, отец Рисби и прочие — они бы начали с торга. Я бы предложил цену, а твои духовные наставники постарались ее взвинтить.

— Постойте, — Кранмер кладет руку на грудь, — давайте вернемся назад. Лорд-канцлер?

— Куда скажете, милорд архиепископ. Будем

ходить кругами хоть до второго пришествия.

— Ты видишь чертей?

Кивок.

— Они являются тебе…

— В виде птиц.

— И то ладно, — сухо замечает Одли.

— Нет, сэр, Люцифер смердит. Его когти кривы. Петух, измазанный в крови и дерьме.

Кромвель смотрит на Алису. Нужно ее отослать. Что сделали с этой женщиной?

— Должно быть, неприятное зрелище, — говорит Кранмер. — Но насколько я знаю, чертям свойственно являться в разных обличиях.

— Так и есть. Они морочат вас. Дьявол приходит в виде юноши.

— Неужели?

— А однажды ночью привел женщину. В мою келью. — Она замолкает. — Лапал ее.

Говорит Рич:

— Дьявол известный бесстыдник.

— Не более, чем вы.

— А что потом, сестра Элизабет?

— Задрал ей юбку.

— Она не сопротивлялась? — спрашивает Рич. — Удивительно.

Говорит Одли:

— Не сомневаюсь, князь Люцифер знает толк в обольщении.

— Перед моими глазами, на моей кровати, он совершил с нею грех.

Рич делает пометку.

— Эта женщина, ты ее знаешь?

Нет ответа.

— А дьявол не пытался заняться этим с тобой? Можешь не стесняться. Тебя не осудят.

— Он улещивал меня, такой важный в своем лучшем синем шелковом дублете. А чулки усыпаны алмазами сверху донизу.

— Алмазами сверху донизу, — повторяет он. — Должно быть, тебя одолевал соблазн?

Она мотает головой.

— Но ведь ты привлекательная молодая женщина. Ты достаточно хороша для любого мужчины.

Она поднимает глаза, на губах слабая тень улыбки.

— Я — не для мастера Люцифера.

— Что он сказал, когда ты его отвергла?

— Он просил меня стать его женой.

Кранмер прижимает руки к лицу.

— Я ответила, что дала обет целомудрия.

— Он не разгневался, когда ты ему отказала?

— Еще как разгневался! Плюнул мне в лицо.

— Другого я от него не ждал, — замечает Рич.

— Я вытерла лицо салфеткой. Слюна была черной и смердела адом.

— На что похож адский запах?

— На гниль.

— И где теперь эта салфетка? Надеюсь, ты не отдала ее прачке?

— У отца Эдварда.

— Он показывает ее толпе? За деньги?

— За пожертвования.

Кранмер отнимает руки от лица.

— Предлагаю прерваться.

— Четверти часа хватит? — спрашивает Рич.

— Говорил я вам, он молод и рьян, — замечает Одли.

— Перенесем на завтра, — предлагает Кранмер. — Мне нужно помолиться, и четверти часа мне мало.

— Но завтра воскресенье, — подает голос монашка. — Как-то раз один человек отправился в воскресенье на охоту и свалился в бездонную адскую яму.

— Значит, все-таки не бездонную, раз ад его принял, — замечает Рич.

— Жалко, я не охочусь, — говорит Одли. — Господь свидетель, я бы рискнул.

Алиса встает и делает знак стражникам. Блаженная, широко улыбаясь, поднимается на ноги. Она заставила архиепископа вздрогнуть и похолодеть, а генеральный стряпчий чуть не прослезился от ее слов об ошпаренных младенцах. Ей кажется, она побеждает, но она проигрывает, проигрывает, все время проигрывает. Алиса опускает нежную ладонь ей на плечо, однако блаженная стряхивает ее руку.

Снаружи Ричард Рич говорит:

— Придется ее сжечь.

— Как бы нам ни претили ее россказни о встречах с покойным кардиналом и дьяволе в келье, — возражает Кранмер, — она просто пытается подражать, как ее учили, историям дев, которых Рим почитает святыми. Я не могу задним числом осудить их за ересь, как не вижу ереси в ее бреднях.

— Я имел в виду — сжечь за измену.

Костер — наказание для женщин, мужчин за измену душат до полусмерти, оскопляют и потрошат.

— Она не совершила ничего дурного, — замечает Кромвель. — Ей можно вменить в вину только намерения.

— Намерение поднять бунт, сместить короля

— разве это не измена? Слова могут быть истолкованы как измена, есть прецеденты, сами знаете.

— Я бы удивился, — говорит Одли, — если бы это обстоятельство ускользнуло от Кромвеля.

Их словно преследует вонь дьявольской слюны, и, чуть ли не толкаясь, они выскакивают на свежий воздух, мягкий и влажный: в нежный аромат листвы, в золотисто-зеленое шуршание. Он понимает, что в грядущие годы измена обретет новые, неведомые прежде формы. Когда принимался последний акт об измене, никто не мог распространять свои слова в виде книг или листовок, поскольку до печатных книг еще не додумались. На краткий миг его охватывает зависть к мертвым, служившим королю во времена не столь торопливые; ныне измышления продажных и отравленных умов разносятся по Европе за какой-нибудь месяц.

— Нужны новые законы, — говорит Рич.

— Я этим займусь.

— И еще, ее надо поместить в более суровые условия. Мы чрезмерно мягки. Хватит с ней играть.

Кранмер уходит, сутулясь, подолом метя листву. Сияя цепью, Одли поворачивается к нему, твердо намереваясь сменить тему:

— Так значит, вы говорите, принцесса здорова?

Принцесса без пеленок лежит на подушке у ног Анны: вечно недовольный багровый комочек человеческой плоти, с торчащим рыжим хохолком и привычкой взбивать ножками рубашонку, демонстрируя свой главный недостаток. Кто-то пустил слух, что дитя Анны родилось с зубами, шестью пальцами на каждой руке, к тому же мохнатое, как обезьянка, поэтому ее родитель не устает выставлять голенькую малышку перед послами, а мать показывает дочь всем и каждому без пеленок в надежде опровергнуть слухи.

Король определил местом пребывания принцессы Хэтфилд, и Анна предлагает:

— Можно избежать ненужных трат и одновременно соблюсти этикет, если двор испанской Марии будет распущен, а сама она присоединится ко двору Елизаветы, моей дочери.

— В каком качестве?

Малышка молчит, но лишь потому, что засунула в ротик кулачок и с увлечением его сосет.

— В качестве служанки. На что еще она может рассчитывать? Ни о каком равенстве речи нет. Мария — незаконнорожденная.

Краткая передышка позади: визг принцессы

разбудит мертвых. Анна отводит глаза, лицо расцветает в улыбке затаенного обожания, она тянет руки к дочери, но не успевает дотянуться: со всех сторон, суетясь и хлопоча, к малютке устремляются служанки; вопящее создание подхвачено с подушки, спеленуто и унесено прочь. Глаза королевы с грустью смотрят, как плод ее чрева умыкает шумная процессия.

— Думаю, она проголодалась, — мягко произносит Кромвель.

Вечер субботы: обед в Остин-фрайарз в честь неуловимого Стивена Воэна: Уильям Беттс, Ганс, Кратцер, Зовите-меня-Ризли. Разговор ведется на нескольких языках, Рейф Сэдлер переводит — умело, ненавязчиво, вертя головой из стороны в сторону: темы высокие и низкие, искусство правления и сплетни, богословие Цвингли, жена Кранмера. О ней судачат и в Стилъярде, и в городе; Воэн спрашивает:

— Может Генрих знать и не знать?

— Весьма вероятно. Генрих — правитель весомых достоинств.

Весомее день ото дня, смеется Ризли; доктор Беттс замечает, людям его склада необходимо движение, в последнее время короля беспокоит нога, старая рана; но стоит ли удивляться, если

Генрих, никогда не щадивший себя на охоте и в турнирах, дожив до своих лет, заимел пару болячек. В этом году ему исполняется сорок три, и я был бы признателен вам, Кратцер, если бы вы поделились своими суждениями о том, что в будущем обещают планеты человеку, в чьей небесной карте так сильно влияние воздуха и огня; между прочим, разве я не предупреждал о Луне в Овне (знаке вспыльчивом и опрометчивом), не благоприятствующей устойчивости браков?

Что-то мы не слышали о Луне в Овне те двадцать лет, что Генрих был женат на Екатерине, замечает Кромвель. Нас делают не звезды, доктор Беттс, а обстоятельства и *necessita,*[90] решения, которые мы принимаем под давлением обстоятельств; наши добродетели, правда, одних добродетелей мало — временами нас выручают наши грехи. Вы не согласны?

Он кивает Кристофу, веля наполнить бокалы. Говорят о Монетном дворе, где Воэн получил должность, о Кале, где заправляет Хонор Лайл, оттеснившая мужа-губернатора. Он думает о Гвидо Камилло в Париже, раздраженно выша-

---

[90] Примечания Ольги Дмитриевой: 90
необходимость *(ит.).*

гивающем между деревянными стенками своей машины, и знаниях, которые невидимо, сами по себе, растут в ее пустотах и полостях. Думает о святой девственнице — ныне признанной не святой и не девственницей, — ужинающей с его племянницами. О коллегах-дознавателях: Кранмер на коленях погружен в молитву, сэр Кошель хмурится над записями сегодняшнего допроса, Одли — чем же занят лорд-канцлер? Полирует цепь, решает он. Он хочет под шумок спросить у Воэна, жила ли в его доме некая Женнеке? Что с ней стало? Однако Ризли прерывает ход его мыслей:

— Когда мы увидим портрет моего хозяина? Вы давно над ним трудитесь, Ганс, пора и честь знать. Мы сгораем от нетерпения, хотим увидеть, каким вы его нарисовали.

— Он все еще пишет французских послов, — говорит Кратцер. — Де Дентвиль хочет забрать картину с собой, когда его отзовут…

За столом смешки: французский посол без конца упаковывает и распаковывает вещи, ибо Франциск всякий раз велит ему оставаться на месте.

— В любом случае, я надеюсь, он заберет его не сразу, — говорит Ганс, — я хотел выставить

портрет, с прицелом на будущие заказы. Хочу, чтобы портрет увидел король, я думаю написать его, как по-вашему, это можно устроить?

— Я ему передам, — говорит он просто. — Найду подходящее время.

Он оглядывает стол, наблюдает, как Воэн лучится от гордости, словно Юпитер на расписном потолке.

Гости встают из-за стола, лакомятся засахаренным имбирем и фруктами, Кратцер делает несколько набросков. Астроном рисует солнце и планеты, вращающиеся на своих орбитах в соответствии со схемой отца Коперника. Показывает, как мир вертится на оси; никто из гостей не спорит. Ногами вы ощущаете рывки и тяжесть, горы со стоном отрываются от подножий, океаны с шумом накатывают на берег, головокружительные вершины Альп движутся, рябь пронизывает рвущееся на свободу сердце немецких лесов. Мир уже не тот, каким был в его с Воэном юности, не тот, что при кардинале.

Гости расходятся, когда появляется Алиса в плаще. Ее сопровождает Томас Ротерхем — один из его подопечных.

— Не волнуйтесь, сэр, с сестрой Элизабет сидит Джо, а мимо Джо муха не пролетит.

Вот как? Девчонка, вечно глотавшая слезы над кривыми стежками? Маленькая неряха, любившая побарахтаться под столом с мокрой собакой и подразнить на улице лоточника?

— У вас есть время со мной поговорить? — спрашивает Алиса.

Конечно, отвечает он, берет Алису за руку, сжимает ладонь; к его удивлению Томас Ротерхем бледнеет и выскальзывает из комнаты.

В кабинете Алиса зевает.

— Простите, но приглядывать за ней — тяжкий труд, да и время так тянется.

Заправляет под чепец выбившуюся прядь.

— Она скоро сломается. Это перед вами она храбрится, а по ночам рыдает, понимает, что мошенница. Но даже когда плачет, хочет знать, какое впечатление производит, подглядывает из-под век.

— Я хочу скорее с этим покончить, — говорит он. — Вдобавок ко всем беспокойствам, которые она причинила, нам — а трое или четверо из нас ученые богословы и правоведы — надоело выступать в этом балагане, каждый день сражаясь с какой-то соплячкой.

— Почему вы не схватили ее раньше?

— Не хотел, чтобы она прикрыла свою лавочку.

Было любопытно увидеть, кто прибежит на ее свист. Леди Эксетер, епископ Фишер, монахи, два десятка безрассудных священников, имена которых я знаю, и сотни, которых пока не знаю.

— И теперь король всех казнит?

— Надеюсь, очень немногих.

— Вы склоните его к милосердию?

— Скорее, к терпению.

— А что будет с нею? Сестрой Элизабет?

— Мы предъявим ей обвинение.

— Ее посадят в темницу?

— Нет, я попрошу короля отнестись к ней снисходительно, он всегда… обычно он с уважением относится к представителям духовенства. Впрочем, Алиса, — он видит, что племянница готова утонуть в слезах, — я вижу. С тебя довольно.

— Нет-нет, мы — солдаты вашей армии.

— Эта блаженная напугала тебя, толкуя о мерзких предложениях, которыми смущал ее дьявол?

— Нет, это Томас Ротерхем, это он предложил мне… он хочет на мне жениться.

— Ах, вот оно что! — Он доволен. — А почему Томас сам не пришел?

— Боится, что вы так посмотрите на него… как вы умеете смотреть, словно взвешиваете.

Как подпиленную монету?

— Алиса, он владеет изрядным куском Бедфордшира, и под моим приглядом разорение его поместьям не грозит. Если вы любите друг друга, разве стану я возражать? Ты умная девочка, Алиса. Твои родители, — он смягчает голос, — тобою бы гордились.

Вот и открылась причина Алисиных слез. Девушке приходится просить разрешения у дяди, потому что прошедший год ее осиротил. В день, когда умерла его сестра Бет, он был в отъезде с королем. Генрих, боясь заразы, не принимал гонцов из столицы, поэтому сестру успели схоронить прежде, чем он узнал, что она слегла. Когда новость наконец доползла до них, король утешал его, похлопывал по плечу, говорил о своей сестре, красавице с золотыми, как у сказочной принцессы, локонами, бродящей ныне в райских кущах, отведенных для особ королевской крови, ибо невозможно представить ее в местах унылых и безрадостных, в запертом склепе чистилища, где только пепел и серная вонь, где кипит смола и тучи набухают ледяным дождем.

— Алиса, вытри слезы, иди к Томасу Ротерхему, прекрати его страдания. Завтра в Ламбетский дворец вместо тебя отправится Джо, раз уж она так непреклонна, как ты утверждаешь.

В дверях Алиса оборачивается.

— Я ведь увижу ее? Элизу Бартон? Мне хотелось бы увидеться с ней, прежде чем…

Прежде чем ее казнят. Алиса не наивна. Что ж, к лучшему. Посмотрите, что делает с наивными жизнь; циничные и погрязшие в грехе используют их, а выжав, втаптывают в грязь.

Он слышит, как Алиса сбегает по ступенькам. Зовет, Томас, Томас… Это имя поднимет полдома, оторвет от молитвы, выдернет из постели, я здесь, вы меня звали? Он запахивает подбитый мехом плащ и выходит посмотреть на звезды. Вокруг дома светло; в саду, где идет строительство, горят факелы, котлованы выкопаны под фундамент, рядом высятся холмы вырытой земли. Огромный деревянный каркас нового крыла заслоняет небо; ближе — новые посадки, городской сад, где Грегори однажды сорвет с дерева плоды, и Алиса, и ее сыновья. У него уже есть плодовые деревья, но он хочет посадить вишни и сливы заморских сортов, и поздние груши, чтобы, на тосканский манер, оттенять их хрусткую прохладную мякоть соленой треской. В следующем году он задумал разбить сад в охотничьих угодьях в Кэнонбери, отдушину от городской суеты, летний домик среди лугов. Дом в Степни тоже расширяется, за

строительством присматривает Джон Уильямсон. Удивительное дело, наступившие времена семейного благоденствия излечили его от запущенного кашля. Мне нравится Джон Уильямсон, и как только я мог, с его женой… Из-за ворот доносятся вопли и плач, Лондон никогда не затихает; сколько людей лежит в могилах, но еще больше разгуливает по улицам, пьяные драчуны падают с Лондонского моста, воры, нашедшие прибежище в церкви, выходят на промысел, саутуоркские шлюхи выкликают цену, словно мясники, продающие убоину.

Он возвращается в дом, к письменному столу. В маленьком сундучке он хранит книгу жены, ее часослов. В книгу вложены молитвы на отдельных листках — их убрала туда Лиз. Скажи имя Господа тысячу раз — и лихорадка отступит. Но ведь она не отступит! Беспощадная хворь придет и убьет тебя. Рядом с именем первого мужа она написала его имя, но имя Томаса Уильямса не зачеркнула. Даты рождения детей — и вписанные его рукой даты смерти дочерей. Он находит пустое место, где сделает запись о свадьбах детей сестры: Ричарда и Франсис Мерфин, Алисы и его воспитанника.

Возможно, я уже привык без Лиз, думает он. Ка-

залось, эта тяжесть никогда не перестанет давить на грудь, но бремя уже не мешает жить дальше. Я снова могу жениться, разве не об этом без конца твердят все вокруг? Я уже забыл Джоанну Уильямсон: она перестала быть для меня прежней Джоанной. Ее тело больше не имеет надо мной власти; плоть, оживавшая под ненасытными пальцами, стала обычной плотью увядающей горожанки, женщины без особых примет. Он ловит себя на мысли, что давно не вспоминает об Ансельме, теперь она всего лишь женщина со шпалеры, женщина из переплетенных нитей.

Он тянется за пером, говорит себе: я привык жить без Лиз. Привык ли? Он застывает с пером в руке; прижимает страницу и вычеркивает имя ее первого мужа. Я столько лет хотел это сделать.

Поздно. Он закрывает ставни; луна зияет ввалившимися глазницами пьяницы из подворотни. Кристоф, складывая его одежду, спрашивает:

— В вашем королевстве есть оборотни?

— Все волки передохли, когда извели леса. Этот вой издают лондонцы.

Воскресенье: в розоватом свете утра они покидают Остин-фрайарз, его люди в новых серых ливреях забирают монашку вместе с охраной из дома, где она содержалась. Удобнее было бы

иметь под рукой барку королевского секретаря, думает он, чем нанимать лодку всякий раз, как надо переправиться через реку. Он уже был у мессы; Кранмер настаивает, чтобы теперь они прослушали мессу все вместе. Он смотрит на блаженную — по ее лицу ручьем текут слезы. Алиса права: она устала врать.

К девяти блаженная успевает размотать клубок, который наматывала годами. Пророчица кается так горячо и страстно, что Рич не успевает записывать. Она обращается к ним как к людям бывалым, умудренным в житейских делах:

— Вы знаете, как это бывает. Ты случайно что-то обронишь, а люди спрашивают, о чем это ты, что ты имела в виду? Ты говоришь, что у тебя было видение, и они уже не хотят слышать ничего другого.

— Трудно разочаровывать людей? — спрашивает он. Да, трудно. Трудно остановиться. Отступишься — и тебя затопчут.

Она кается, что ее видения — выдумка, она никогда не беседовала с ангелами. Не воскрешала мертвых; все это обман. Не совершала чудес. Письмо от Марии Магдалины написал отец Бокинг, а буквы позолотил монах, сейчас вспомню, как его имя. Ангелы — ее собственная выдумка,

ей казалось, она их видит, но теперь она знает, что то были лишь солнечные зайчики на стене. Их голоса — и не голоса вовсе, а пение ее сестер в часовне, плач женщины, которую избивали или грабили на дороге, а то и вовсе звон посуды на кухне; вопли и стоны проклятых душ — скрежет табурета и визги брошенной собаки.

— Теперь я знаю, что эти святые не настоящие. Не такие настоящие, как вы.

Что-то внутри нее сломалось, и он гадает, что именно.

— Меня отпустят обратно в Кент?

— Посмотрим.

Сидящий с ними Хью Латимер смотрит исподлобья: к чему обманывать, давать ложные обещания? Нет-нет, постойте, я сам разберусь.

— Перед тем как ты отправишься куда бы то ни было, — мягко говорит Кранмер, — тебе придется публично признать свой обман. Публично покаяться.

— Она толпы не боится, верно?

Все эти годы она забавляла народ на большой дороге, теперь ей снова предстоит кривляться перед толпой, но в ином представлении: каяться в Лондоне перед собором Святого Павла и, возможно, в провинции. Кромвель чувствует, что ей

нравится новая роль мошенницы, как нравилась и предыдущая, святой.

Он говорит Ричу, Никколо учил, что безоружный провидец всегда терпит поражение. Я упомянул об этом, Рикардо, улыбается он, потому что вы любите следовать букве.

Кранмер подается вперед и спрашивает, ваши сторонники, Эдвард Бокинг и прочие, они были вашими любовниками?

Блаженная ошеломлена: вопрос исходит от самого доброго из ее судей. Она смотрит на Кранмера, словно кто-то из них двоих сморозил глупость.

Кромвель вполголоса замечает, возможно, любовники — не совсем верное слово.

Довольно. Для Одли, Латимера, Рича он говорит:

— Я займусь теми, кто шел за ней, и теми, кто ее направлял. Она сгубит многих, если мы дадим делу ход. Фишера определенно, Маргарет Пол возможно, Гертруду и ее мужа — вне всяких сомнений. Леди Марию, королевскую дочь, весьма вероятно. Томаса Мора нет, Екатерину нет, но изрядное число францисканцев.

Суд встает, если суд — подходящее слово. Джо поднимается с места. Она вышивала, вернее,

наоборот, спарывала гранаты с Екатерининой вышивки — остатков пыльного королевства Гранады на английской земле. Джо складывает работу, опускает ножницы в карман, поддергивает рукава и вдевает иголку в ткань. Затем подходит к пророчице и кладет руку ей на плечо.

— Пора прощаться.

— Уильям Хокхерст, — говорит блаженная, — вспомнила. Монах, который золотил буквы.

Ричард Рич делает пометку.

— Пожалуй, хватит на сегодня, — советует Джо.

— Вы пойдете со мной, мистрис? Куда меня поведут?

— Никто с тобой не пойдет, — отвечает Джо. — Ты еще не поняла, сестра Элиза. Ты отправляешься в Тауэр, а я — домой, обедать.

Лето 1533 года запомнилось безоблачными днями, клубничным изобилием в лондонских садах, гудением пчел и теплыми вечерами — в самый раз для прогулок среди роз под крики молодых уличных бражников. Пшеница уродилась даже на севере, деревья сгибаются под тяжестью перезрелых плодов. Словно король повелел жаре не кончаться, двор пылает яркими красками,

не замечая наступления осени. Монсеньор отец королевы сияет, как солнце, а вокруг него вращается мелкая, но не менее яркая полуденная планета, его сын Джордж Рочфорд. Однако никому не перетанцевать Брэндона, когда тот скачет по залу, волоча за собой четырнадцатилетнюю жену, наследницу, некогда обрученную с его сыном, которой многоопытный Чарльз нашел лучшее применение.

Сеймуры оставили бурные семейные ссоры, их влияние растет.

— Мой брат Эдвард, — говорит Джейн Сеймур, не поднимая глаз, — на прошлой неделе улыбнулся.

— Надо же! Что его подвигло?

— Он прослышал о болезни жены. Старой жены. Той, которую отец… ну, вы знаете.

— Она умрет?

— Весьма вероятно. И тогда он возьмет новую. Но держать ее будет в своем доме в Элвтеме, теперь он и на милю не подойдет к Волчьему залу. А если отцу случится гостить у брата, ее запрут в бельевой, пока он не уедет.

Сестра Джейн Лиззи тоже при дворе, с мужем, губернатором Джерси, который приходится родственником новой королеве. Лиззи в кружевах

и бархате, черты лица столь же строги и четки, сколь расплывчаты и нерезки черты ее сестры; взгляд светло-карих глаз дерзок и выразителен. Джейн шепчет ей вслед: глаза у нее словно вода, в которой мысли скользят стремительными золотыми рыбками, такими крохотными, что их не поймать ни сетью, ни багром.

Джейн Рочфорд, которой явно нечем себя занять, замечает, как Кромвель разглядывает сестер.

— У Лиззи Сеймур наверняка есть любовник, — говорит она, — невозможно поверить, что этот огонь зажег ее муж. Он был стар еще во времена шотландских войн.

Сестры похожи, замечает она, та же манера наклонять голову и поджимать губы.

— Если б не это, — ухмыляется Джейн Рочфорд, — я решила бы, что их мать не уступала своему мужу. В свое время она славилась красотой, Марджери Вентворт. Никто не знает, что там случилось, в Уилтшире.

— Даже вы? Я удивлен, леди Рочфорд. Кажется, вам ведомы все тайны.

— Вы и я, мы держим глаза открытыми. — Она опускает голову, словно адресуя слова своему телу. — Если пожелаете, я буду держать их откры-

тыми там, куда вам нет доступа.

Господи, чего она хочет? Уж не денег ли?

— С чего вдруг? — спрашивает, холоднее, чем намеревался.

Она поднимает глаза и смотрит в упор.

— Мне нужна ваша дружба.

— Она не требует никаких условий.

— Я могла бы вам помочь. Вашу союзницу леди Кэри отослали в Хивер, к дочери. Она не нужна, раз Анна вернулась к своим обязанностям в супружеской спальне. Бедняжка Мария! — Она смеется. — Господь отмерил ей немало, но она никогда не умела этим пользоваться. Скажите, что вы станете делать, если королева больше не родит?

— Пустые страхи. Ее мать производила на свет по младенцу в год. Болейн жаловался, что она его разорит.

— Вы замечали, когда у мужчины рождает сын, он приписывает все заслуги себе, а когда дочь — во всем виновата жена? А если они не производят потомства, говорят, что жена бесплодна. Почему бы не предположить, что его семя испорчено?

— То же и в Писании. Всегда винят каменистую землю.

Каменистая земля, заросшая тернием бесплод-

ная пустыня.

После семи лет брака Джейн Рочфорд по-прежнему бездетна.

— Мой муж хочет моей смерти, — говорит она беспечно.

Он не находит слов для ответа, просто не готов к ее откровениям.

— Если я умру, — говорит она все так же беззаботно, — прошу вас как друга, распорядитесь, чтобы мое тело вскрыли. Я боюсь яда. Мой муж и его сестра часами сидят взаперти, а уж она-то разбирается в ядах. Анна хвастала, что угостит Марию завтраком, от которого та не оправится.

Он ждет.

— Я про Марию, дочь короля. Хотя я не сомневаюсь, Анна, не колеблясь, расправится и с собственной сестрой.

Она снова поднимает на него глаза.

— Не обманывайте свое сердце, если вы честны с самим собой, вы не откажетесь узнать то, что знаю я.

Она одинока, думает он, и у нее звериное сердце; Леонтина в клетке. Она принимает на свой счет все косые взгляды и перешептывания. Джейн Рочфорд боится, что женщины вокруг ее жалеют — больше всего на свете она ненавидит

чужую жалость.

— Что вы знаете о моем сердце? — спрашивает он.

— Я знаю, кому вы его отдали.

— Тогда вам известно больше, чем мне.

— Мужчинам это свойственно. Я скажу вам, в кого вы влюблены. Почему вы не попросите ее руки? Сеймуры небогаты. Они с радостью уступят вам Джейн по сходной цене.

— Вы заблуждаетесь, я стараюсь не для себя. У меня в доме хватает юных неженатых джентльменов и воспитанников, о чьем будущем я пекусь.

— Ой-ой-ой, вот как вы запели! — дразнит она. — Скажите это кому-нибудь другому. Младенцам в колыбели. Или в палате общин, где вам не впервой врать. Но не думайте, что проведете меня.

— Для леди, предлагающей свою дружбу, у вас грубоватые манеры.

— Привыкайте, если нуждаетесь в моих сведениях. Зайдите в покои Анны, и что вы увидите? Королева молится. Королева в платье, усыпанном жемчужинами размером с горошину, шьет сорочку для нищенки.

Он с трудом удерживается от улыбки. Порт-

рет весьма точен. Анна очаровала Кранмера. Архиепископ считает ее образцом праведной женщины.

— Так вас интересует, как обстоят дела на самом деле? Думаете, она перестала любезничать с шустрыми юнцами? Все эти воспевающие ее прелести стишки, загадки и песенки, думаете, она их не поощряет?

— Для этого у нее есть король.

— Анна не дождется от короля доброго слова, пока ее живот снова не округлится.

— Но что может этому помешать?

— Ничего. Если он займется своим делом.

— Осторожнее, — улыбается он.

— Разве обсуждать то, что творится в спальнях правителей, — страшная измена? Вся Европа судачила о Екатерине, лишили ее невинности или нет, а если да, то знает ли она об этом. — Джейн хихикает. — По ночам Гарри беспокоит нога. Он боится, что королева лягнет его в порыве страсти. — Она подносит руку к губам, но слова просачиваются между пальцами. — Однако если Анна лежит под ним тихо, он недоволен: так-то вы, мадам, заботитесь о продолжении моего рода?

— Не знаю, что ей и делать.

— Она жалуется, что он ее не удовлетворяет. А король, после семилетней борьбы, боится признать, что охладел так скоро. Он выдохся еще до того, как они покинули Кале, вот что я вам скажу.

Что ж, похоже на правду; возможно, ожидание обессилило их. Однако король продолжает осыпать королеву подарками. Да и ссорятся они по-прежнему горячо, трудно поверить, что их страсть охладела.

— Поэтому, — продолжает она, — учитывая его больную ногу и ее привычку лягаться, недостаток усердия с его стороны и желания — с ее, вероятность того, что вскорости она произведет на свет принца Уэльского, крайне мала. Раньше он менял женщин как перчатки. Если его тянет на новизну, так ли она безгрешна? К ее услугам собственный брат.

Он смотрит на нее.

— Помилуй Бог, что вы такое говорите, леди Рочфорд?

— Чтобы переманивать на ее сторону его друзей, а вы что подумали? — Она испускает хриплый смешок.

— Вы-то сами что имели в виду? Вы давно при дворе, вам не внове эти игры. Никого не заботит,

что женщина принимает стихи и комплименты, даже если она замужем. Ей прекрасно известно, что тем временем ее супруг расточает любезности другим дамам.

— О да, ей это известно. А уж мне и подавно. На расстоянии в тридцать миль не осталось ни одной прелестницы, которой Рочфорд не посвятил свои вирши. Однако если вы считаете, что ухаживания прекращаются на пороге спальни, вы наивнее, чем я думала. Можете сколько угодно сходить с ума по дочери Сеймура, но незачем подражать ей в овечьей бестолковости.

Он улыбается.

— На овец клевещут. Пастухи утверждают, что овцы узнают друг друга, отзываются на имена, заводят друзей.

— А знаете, кто имеет доступ во все спальни? Этот мелкий проныра Марк, этот всеобщий посредник! Мой муж расплачивается с ним перламутровыми пуговицами, цукатами и перьями для шляпы.

— Неужто у лорда Рочфорда не хватает денег?

— А вы знаете способ увеличить их количество?

— Почему бы нет? — Что ж, думает он, по крайней мере, в одном мы совпали — в беспричинной

неприязни к Марку. В доме Вулси у него были обязанности: Марк учил детей-хористов. Здесь просто живет при дворе, болтается поблизости от покоев королевы.

— По-моему, он безобиден.

— Он торчит, как бельмо на глазу. Забыл свое место. Выскочка без роду и племени, который выбился в люди, пользуясь смутными временами.

— То же самое вы можете сказать и обо мне, леди Рочфорд. Да вы и говорите.

Томас Уайетт приезжает в Остин-фрайарз на телеге, привозит корзины лесного ореха, бушели кентских яблок.

— Дичь прибудет следом, — говорит Уайетт, спрыгивая на землю. — Я вез свежие плоды, не туши.

Волосы пропахли яблоками, одежда в пыли.

— Сейчас вы устроите мне взбучку за то, что я чуть не испортил дублет, который стоит…

— Больше, чем возчик зарабатывает за год.

Уайетт виновато опускает глаза.

— Я забыл, что вы — мой отец.

— Я вас пристыдил, теперь можно и поболтать по-свойски. — Солнце палит. Кромвель тонким ножичком срезает с яблока кожуру, и она ложится на его бумаги, как тень яблока, зеленая на

белых исписанных листах. — Вы там не видели леди Кэри?

— Мария Болейн в деревне… Какие буколические радости сразу приходят на ум! Думаю, она предается любовным утехам на сеновале.

— Я интересуюсь, куда за ней посылать, — говорит он, — когда ее сестра вновь не сможет выполнять супружеские обязанности.

Уайетт садится между стопками бумаг. В руке яблоко.

— Кромвель, допустим, вы уехали из Англии на семь лет. Или, как рыцарь в сказке, семь лет проспали зачарованным сном. Вы смотрите вокруг и дивитесь, кто все эти люди?

Нынешнее лето Уайетт поклялся провести в Кенте. Читать и писать в дождливую погоду, охотиться в солнечную. Однако наступила осень, ночи удлинились, и несчастного вновь потянуло к Анне. Уайетт верит, что сердце его не обманывает, а если лукавит Анна, то трудно понять, в чем именно. Говоря с ней теперь, нельзя шутить. Смеяться. Надо признавать ее воплощением совершенства, иначе она найдет способ отомстить.

— Мой старый отец рассказывает о временах Эдуарда, говорит, теперь-то вы понимаете, почему королю не след жениться на своей подданной,

на англичанке.

Беда в том, что несмотря на все перемены, произведенные Анной при дворе, там остались люди, знавшие ее прежде, когда она только приехала из Франции и принялась обольщать Гарри Перси. Они вечно твердят о ее недостоинстве. О том, что она не человек, а змея. Или лебедь. *Una Candida cerva.* Одна-единственная белая лань в серебристо-зеленой чаще; она трепещет и ждет возлюбленного, который из лани превратит ее обратно в богиню.

— Отправьте меня снова в Италию, — просит Уайетт. — Ее темные, жгучие, чуть раскосые глаза — они меня преследуют. По ночам она приходит в мою одинокую постель.

— Одинокую? Что-то не верится.

Уайетт смеется.

— Вы правы. В этом я себе не отказываю.

— Вы слишком много пьете. Разбавляйте воду вином.

— А ведь могло быть совсем иначе.

— Все могло быть совсем иначе.

— Вы никогда не думаете о прошлом.

— Я о нем не говорю.

Уайетт просит:

— Отправьте меня куда-нибудь.

— Отправлю. Когда королю понадобится посол.

— Правда ли, что Медичи сватают принцессу Марию?

— Не принцессу Марию. Вы хотели сказать, леди Марию. Я просил короля подумать об этом предложении. Однако они для него недостаточно знатны. Знаете, если бы Грегори выказал хоть какой-нибудь интерес к банковскому делу, я бы нашел ему невесту во Флоренции. Приятно было бы видеть в доме итальянку.

— Отправьте меня туда. Придумайте дело, в котором я был бы полезен вам или королю, а то тут я сам себе хуже чем бесполезен и всех раздражаю.

Кромвель говорит:

— Клянусь иссохшими костями Бекета! Прекратите же себя жалеть!

У Норфолка свое мнение о друзьях королевы. Выражая его, герцог весь трясется, позвякивая образками; кустистые брови лезут на лоб. Уж эти мне дамские угодники! Норрис, вот уж от кого не ждал. И сынок Генри Уайетта. Пишет стишки! Распевает песенки! Трещит, как сорока!

— Какой прок разговаривать с женщинами? — вопрошает герцог. — Кромвель, вы ведь с ними не разговариваете? О чем с ними говорить? Ведь и не придумаешь!

Я побеседую с Норфолком, решает он, как только тот вернется из Франции, посоветую предостеречь Анну. Франциск принимает папу в Марселе, и Генриха должен представлять старший из английских пэров. Гардинер уже там. Для меня каждый день праздник, говорит он Тому Уайетту, пока этих двоих тут нет.

Уайетт все о своем:

— Мне кажется, у короля новое увлечение.

На следующий день Кромвель следит за тем, как Генрих обводит взглядом придворных дам, и не замечает ничего, кроме естественного мужского интереса; только Кранмер считает, что, посмотрев на женщину дважды, ты обязан на ней жениться. Король танцует с Лиззи Сеймур, задерживает руку на ее талии. Анна наблюдает холодно, поджав губы.

На следующий день он ссужает Эдварду Сеймуру деньги на очень выгодных условиях.

Сырым осенним утром, в предрассветных сумерках, все его домочадцы отправляются в насквозь вымокший лес. Нельзя приготовить *torta di funghi*, грибной пирог, не собрав ингредиентов.

Ричард Рич приходит в восемь — с лицом озадаченным и обиженным.

— Меня остановили у ваших ворот, сэр, и спро-

сили, где грибы, сегодня никто не входит сюда без грибов. — Гордость Рича уязвлена. — Вряд ли у лорда-канцлера потребовали бы грибы.

— Потребовали бы, Ричард. Однако через час вы будете есть их запеченными в сметане, а лорд-канцлер — нет. Ну что, приступим к делам?

Весь сентябрь он одного за другим арестовывал священников и монахов, близких к блаженной. Они с сэром Кошелем сидят за бумагами, проводят допросы. Клирики, угодив под замок, тут же отрекаются от Бартон, наговаривают друг на друга: я никогда в нее не верил, меня убедил отец такой-то, а сам я ни сном ни духом. Что до связей с женой Эксетера, с Екатериной, с Марией — каждый торопится доказать свою непричастность и обвинить брата во Христе. Люди из окружения Бартон постоянно виделись и переписывались к Эксетерами. Сама блаженная побывала во многих главных монастырях королевства — в Сионском аббатстве, у картезианцев в Шине, у францисканцев в Ричмонде. Он знает об этих визитах от своих людей. В каждом монастыре среди монахов есть недовольные; он выбирает из них тех, кто поумнее, и они доносят ему обо всем. Сама Екатерина с монахиней не встречалась. Да и зачем? У нее есть посредники — Фишер и Гертруда, жена

лорда Эксетера.

Король говорит:

— Не могу поверить, что Генри Куртенэ мне изменил. Рыцарь ордена Подвязки, великолепный боец на турнирах, друг детства. Вулси хотел нас рассорить, но я не поддался. — Король смеется. — Брэндон, помните Гринвич, Рождество… какой это был год? Когда мы кидались снежками.

Как же тяжело вести дела с людьми, которые поминутно вспоминают древние родословные, детскую дружбу, события тех времен, когда ты еще торговал шерстью на антверпенской бирже. Суешь им под нос свидетельства, а они роняют умильную слезу: ах, как мы тогда играли в снежки!

— Послушайте, — говорит Генрих, — виновата только жена Куртенэ. Едва он обо всем узнает — захочет от нее избавиться. Она слаба и переменчива, как все женщины, не может удержаться от интриг.

— Так простите ее, — говорит Кромвель. — Даруйте ей помилование. Пусть эти люди будут вам обязаны — так они скорее избавятся от глупых чувств к Екатерине.

— Думаете, что способны покупать сердца? — спрашивает Чарльз Брэндон. По тону ясно, что

ответ «да» сильно огорчил бы герцога.

Сердце такой же орган, как любой другой, его можно взвесить на весах.

— Мы предлагаем не деньги. У меня довольно свидетельств, чтобы отправить под суд всех Эксетеров, всех Куртенэ. Если мы не станем этого делать, то подарим им свободу и земли. А также возможность смыть позор со своего имени.

Генрих говорит:

— Его дед оставил горбуна и перешел на сторону моего отца.

— Если мы их простим, они сочтут, что нас можно морочить и дальше, — говорит Чарльз.

— Вряд ли, милорд. Отныне я буду пристально следить за ними.

— А Поли, лорд Монтегю, как вы предлагаете поступить с ним?

— Не давать ему оснований думать, что его простят.

— Пусть попотеет от страха? — спрашивает Чарльз. — Не очень-то мне по нраву ваше обхождение со знатью.

— Эти люди получат, что заслужили, — говорит король. — Помолчите, милорд, мне надо подумать.

Пауза. Брэндон хочет сказать: Кромвель, каз-

ните их за измену, но со всем уважением к знатности, однако не смеет произнести таких слов вслух. Внезапно лицо герцога проясняется.

— О, я вспомнил Гринвич! Снега в тот год намело по колено. До чего же мы были молоды, Гарри! Теперь такого снега не бывает.

Кромвель собирает бумаги и откланивается. Воспоминания грозят растянуться на весь вечер, а у него много дел.

— Рейф, скачи в Вест-Хорсли. Скажи жене Эксетера, что король считает всех женщин слабыми и переменчивыми, хотя, по-моему, он видел достаточно свидетельств обратного. Пусть она сядет и напишет, что ума у нее не больше, чем у блохи. Что она невероятно легковерна даже для женщины. Пусть пресмыкается и лебезит. Посоветуй ей, какие выражения подобрать, ты сумеешь. Чем униженнее будет письмо, тем лучше.

Самоуничижение витает в воздухе. Из Кале сообщают, что Франциск упал перед папой ниц и облобызал его туфлю. Генрих разражается непристойной бранью и рвет донесение в клочья.

Кромвель собирает обрывки с пола, складывает их на столе и читает.

— А Франциск, как ни странно, сдержал данное вам обещание, — говорит он королю. — Убедил

папу отложить буллу об отлучении. Англия получила передышку.

— Хоть бы папа Климент поскорее сдох, — вздыхает Генрих. — Видит Бог, он ведет беспутную жизнь, да и болеет постоянно, давно бы уже умер. Иногда, — продолжает король, — я молюсь о переходе Екатерины в вечную жизнь. Это дурно?

— Щелкните пальцами, ваше величество, и сотня монахов сбежится объяснить вам, что дурно, а что нет.

— Я предпочел бы услышать от вас. — Гнетущая, нервная тишина. — Если Климент умрет, кто станет следующим негодяем на этом месте?

— Я бы поставил на Александра Фарнезе.

— Правда? — Генрих выпрямляется в кресле. — Кто-то заключает пари?

— Против Фарнезе ставят только самые отчаянные. За эти годы он так прикормил римскую толпу, что, когда придет время, она задаст кардиналам страху.

— Напомните мне, сколько у него детей.

— Я знаю о четырех.

Король разглядывает шпалеру на ближайшей стене — белоплечая женщина идет босиком по ковру из весенних цветов.

— У меня скоро может быть еще ребенок.

— Королева с вами говорила?

— Пока нет.

Однако Кромвель, как и все, видел румянец на щеках Анны, гладкость ее лица, слышал повелительные нотки в голосе, когда она оказывала благоволение и раздавала награды приближенным. В последнюю неделю благоволения больше, чем недовольства; супруга Стивена Воэна, камеристка, говорит, что у королевы не было в срок обычного женского. Король говорит: «У нее не было в срок…» — и осекается, покраснев, как школьник. Идет через всю комнату, раскрывает объятия и стискивает его, сияя, как звезда; массивные руки в сверкающих перстнях мнут черный бархат.

— На сей раз наверняка. Англия наша!

Боевой клич из самого сердца, как будто Генрих стоит на поле битвы средь окровавленных знамен, у ног лежат поверженные враги, а корона Англии, скатившаяся с головы узурпатора, валяется в терновом кусте.

Кромвель с улыбкой высвобождается из королевских объятий, расправляет записку, которую смял, когда король сдавил его медвежьей хваткой, — разве ж это объятия, когда мужчины мутузят друг друга кулачищами, словно хотят

повалить?

— Томас, вас обнимать — все равно что причал. Из чего вы сделаны? — Король берет записку, охает. — И это все мы должны разобрать за сегодняшнее утро? Весь список?

— Тут всего-то пятьдесят пунктов. Управимся быстро.

До конца дня он не перестает улыбаться. Кому есть дело до Климента и его булл? С тем же успехом папа мог бы встать на Чипе, где народ забросает его грязью. Или под рождественскими гирляндами — которые мы в бесснежные зимы посыпаем мукой — и распевать: «Хей нонно-ной, фа-ля-ля, в роще зелено-о-ой».

Холодным днем в конце ноября блаженная и шестеро главных ее сторонников приносят покаяние у креста перед собором Святого Павла. Они стоят в кандалах, босые, на пронизывающем ветру. Толпа большая и шумная, проповедь увлекательная: толпе рассказывают, что блаженная вытворяла по ночам, пока ее сестры спали, и какими сказками про бесов запугивала легковерных. Зачитывают признание Бартон, в конце которого она просит лондонцев молиться о ней и взывает к королевскому милосердию.

Никто бы не узнал в Бартон ту цветущую деви-

цу, которую они видели в Ламбете. Она исхудала и постарела на десять лет. Ее не мучили — он бы не позволил пытать женщину, да и вообще признаний ни из кого выбивать не пришлось. Скорее наоборот — стоило большого труда остановить арестованных, дабы те своими измышлениями не втянули в эту историю пол-Англии, запутав и осложнив дело. Священника, который постоянно лгал, Кромвель просто запер водной камере с доносчиком, человеком, задержанным за убийство. Отец Рич тут же принялся спасать его душу, пересказывать пророчества блаженной и для вящего впечатления сыпать именами своих высокопоставленных знакомых. Жаль их всех, на самом деле. Однако надо было показать лжепровидицу народу; теперь он повезет ее в Кентербери, чтобы сестра Элизабет покаялась у себя на родине. Надо ослабить влияние людей, которые запугивают нас наступлением последних времен, моровыми поветриями и проклятиями. Надо прогнать посеянный ими страх.

Томас Мор здесь, протискивается к нему через толпу горожан. Проповедник как раз покидает кафедру, арестантов уводят с помоста. Мор трет замерзшие руки, дует на них.

— Преступление Бартон в том, что ее исполь-

зовали.

Он думает, почему Алиса отпустила вас без перчаток?

— При всех свидетельствах, которые у меня есть, — говорит Кромвель, — я все равно не пойму, как она проделала путь от болот до публичного эшафота у собора Святого Павла. Ибо совершенно точно она нисколько на этом не нажилась.

— Как вы сформулируете обвинения? — спрашивает Мор с бесстрастным любопытством, как юрист юриста.

— Общее право не занимается женщинами, которые утверждают, будто могут летать или воскрешать мертвых. Я проведу через парламент акт о государственной измене. Смертная казнь для главных участников. Для сообщников — пожизненное тюремное заключение, конфискация имущества, штрафы. Король, думаю, будет умерен. Даже милостив. Для меня важнее не наказать этих людей, а расстроить их планы. Мне не нужен суд с десятками обвиняемых и сотнями свидетелей, который растянется на годы.

Мор хочет что-то сказать, но мнется.

— Бросьте, — говорит Кромвель, — вы в бытность лордом-канцлером сделали бы то же самое.

— Возможно. По крайней мере, я чист. — Пауза. Мор говорит: — Томас. *Во имя Христа, вы знаете, что это так.*

— По крайней мере, пока так считает король. Надо постараться, чтобы королевская память не ослабела. Возможно, вам стоит написать ему письмо, осведомиться о здоровье принцессы Елизаветы.

— Это я могу сделать.

— Ясно дав понять, что вы признаете ее права и титулы.

— Никаких затруднений. Брак заключен и должен быть признан.

— Не сможете заставить себя вознести хвалы супруге короля?

— Зачем королю нужно, чтобы кто-то другой хвалил его жену?

— Допустим, вы напишете открытое письмо. Скажете, что наконец прозрели и теперь признаете естественное верховенство короля над церковью. — Он смотрит на арестантов — их сажают на телеги. — Сейчас повезут в Тауэр. — Пауза. — Вам не стоит мерзнуть. Идемте ко мне, отобедаем.

— Нет, — качает головой Мор, — лучше уж я позволю ветру трепать меня на реке и вернусь

домой голодным. Если бы вы вложили в мои уста только пищу — но вы же вложите в них еще и слова.

Он смотрит, как Мор исчезает в толпе расходящихся по домам олдерменов, и думает: Мор не откажется от своей позиции. Не позволят гордость и боязнь упасть в глазах европейских ученых. Нужно придумать для него какой-нибудь выход, не связанный с унижением. Небо расчистилось и сияет безупречной лазурью. Лондонские сады пестрят ягодами. Впереди суровая зима, однако он ощущает в себе силу пробиться, как росток пробивается из мертвого древесного ствола. Слово Божье распространяется, все больше людей видят новую истину. Подобно Хелен Барр, они знали про Ноя и потоп, но не слышали про апостола Павла. Могли перечислить скорби Пресвятой Богородицы и затвердили, что грешники попадут в ад. Однако им оставались неведомы многие чудеса и речения Христа, слова и деяния апостолов, простых людей, которые, подобно лондонской бедноте, занимались немудреным ремеслом, не требующим слов. Евангельская истина куда больше, чем им представлялось. Он говорит своему племяннику Ричарду, нельзя рассказать часть и на этом остановиться или

выбрать отрывки по своему усмотрению. Люди видели свою религию нарисованной на стенах церквей или вырезанной из камня, а теперь Божье перо очинено, и Он готов начертать Свои слова в книге их сердец.

Однако на тех же лондонских улицах Шапюи усмотрел недовольство и убежден, что город готов открыть свои ворота императору. Кромвель не видел разграбление Рима, но оно иногда ему снится: черные внутренности на древних мостовых, умирающие в фонтанах, колокольный трезвон в болотном тумане, отблески факелов на стенах — предвестье поджогов. Рим пал, и все вместе с ним; не захватчики, а папа Юлий разрушил древнюю базилику Святого Петра, простоявшую тысячу двести лет на том самом месте, где император Константин собственными руками проложил первую канаву, двенадцать мер земли, по одной в память каждого из апостолов; на том самом месте, где псы рвали христиан, зашитых в шкуры диких зверей. На двадцать пять футов приказал углубиться Юлий, чтобы заложить основание своего нового собора, сквозь двенадцать столетий рыбьих костей и пепла; землекопы разбивали кирками черепа святых. Там, где приняли смерть святые, теперь стоят

призрачно-белые глыбы мрамора: дожидаются Микеланджело.

Священник несет гостию, без сомнения, какому-то умирающему лондонцу; прохожие снимают шапки и встают на колени, но из окна в верхнем этаже высовывается мальчишка и кричит: «Покажи нам твоего воскресшего Христа! Покажи нам твоего чертика из табакерки!» Кромвель поднимает голову и до того, как окно захлопывается, успевает различить ярость на мальчишеском лице.

Он говорит Кранмеру, людям нужна хорошая власть, такая, которой не стыдно подчиняться. Столетиями Рим заставлял их верить в то, во что могут верить лишь дети. Уж конечно они признают, что естественнее подчиняться английскому королю, действующему согласно воле Бога и парламента.

Через два дня после встречи с продрогшим Мором Кромвель отправляет леди Эксетер королевское прощение. Оно сопровождается едкими словами короля, адресованными ее мужу. День Святой Екатерины; в память о той, кому угрожали мученичеством на колесе, мы все идем по кругу к нашему предназначению. По крайней мере, в теории. На деле он никогда не видел, как

кто-нибудь старше двенадцати лет ходил в этот день кругами.

Нерастраченная мощь отдается в костях, как дрожь сжатого в руке топорища. Можешь рубануть, а можешь удержаться, и тогда по-прежнему ощущаешь в себе отголосок несделанного.

На следующий день, в Хэмптон-корте, сын короля герцог Ричмондский женится на дочери Норфолка Мэри. Анна устроила этот брак, чтобы еще больше возвысить Говардов, а также чтобы Генрих не женил своего бастарда на какой-нибудь заморской принцессе. Она убедила короля отказаться от богатого приданого, которого тот вправе был ожидать, и теперь, празднуя свой успех, присоединяется к танцам: узкое лицо сияет, в волосы вплетены алмазные подвески. Генрих не может оторвать от нее глаз, и он, Кромвель, тоже.

Остальные взгляды привлекает к себе Ричмонд, который резвится, как жеребенок: крутится, подпрыгивает, скачет, выступает чинно, демонстрируя богатство свадебного наряда. Гляньте на него, говорят пожилые дамы, и увидите, каким был в юности Генрих: тот же румянец, та же нежная, как у девушки, кожа.

— Мастер Кромвель, — настаивает Ричмонд, —

скажите моему отцу королю, что я хочу жить с женой. Он велит мне возвращаться к себе, а Мэри оставляет при королеве.

— Король заботится о вашем здоровье, милорд.

— Мне почти пятнадцать.

— До вашего дня рождения еще полгода.

Блаженная улыбка на лице юноши сменяется каменным выражением.

— Полгода ничего не значат. В пятнадцать лет мужчина уже все может.

— Да уж, — замечает стоящая рядом леди Рочфорд. — Король твой отец представил в суде свидетелей, которые сообщили, что его брат в пятнадцать очень даже мог, и не один раз за ночь.

— Кроме того, следует подумать и о здоровье вашей супруги.

— Жена Брэндона моложе моей, а он с нею спит.

— Всякий раз, как ее видит, — добавляет леди Рочфорд. — Я сужу по ее несчастному лицу.

Ричмонд готовится к долгому спору, возводит вокруг себя земляные валы прецедентов.

— А разве моя прабабка, леди Маргарита Бофорт, не родила в тринадцать лет принца, который стал Генрихом Тюдором?

Босворт, изорванные штандарты, кровавое поле; запятнанная родильная простыня. Никого бы из нас не было, думает Кромвель, если бы не это потаенное: отдайся мне, милая.

— Насколько я знаю, это не улучшило ни ее здоровье, ни ее нрав. И детей у нее больше не было. — Внезапно он чувствует, что не в силах продолжать спор, и говорит устало, не допускающим возражений тоном: — Проявите благоразумие, милорд. Попробовав первый раз, вы в следующие года три будете хотеть только этого. Так всегда бывает. А у вашего отца на вас другие планы. Возможно, он отправит вас правителем в Дублин.

Джейн Рочфорд говорит:

— Не печалься, мой ягненочек. Все поправимо. Мужчина и женщина всегда могут сойтись, было бы желание с ее стороны.

— Позволите сказать вам по-дружески, леди Рочфорд? Вмешиваясь в это дело, вы рискуете навлечь неудовольствие короля.

— Пустяки, — беспечно отвечает она, — красивой женщине Генрих все простит. А желание молодых вполне естественно.

Мальчик говорит:

— Почему я должен жить как монах?

— Как монах? Да они блудливее козлов! Спро-

сите мастера Кромвеля.

— Я подозреваю, — говорит Ричмонд, — что нашего соединения не желает королева. Она не хочет, чтобы внук у короля появился раньше сына.

— Ты разве не знаешь? — Джейн Рочфорд поворачивается к юноше. — Не слышал, что Ла Ана *enceinte?*[91]

Так называет Анну Шапюи. На лице мальчика неприкрытое отчаяние. Джейн говорит:

— Боюсь, милый мой, к лету ты утратишь свое положение. Как только у короля родится законный сын, тебе позволят сношаться, сколько душе угодно. Ты никогда не будешь править, а твои дети не станут наследниками.

Нечасто увидишь, как надежды королевского сына гасят, словно свечу, так же быстро и тем же умелым движением, отточенным многолетней привычкой. Джейн даже пальцев не облизнула.

Ричмонд говорит убитым голосом:

— Может снова родиться девочка.

— Надеяться на это — почти измена, — замечает леди Рочфорд. — А даже если и так, она родит третьего ребенка и четвертого. Я думала, она

---

[91] Примечания Ольги Дмитриевой: 91
беременна *(фр.).*

больше не зачнет, но я ошиблась, мастер Кромвель. Она доказала свою плодовитость.

Кранмер в Кентербери, идет босиком по песчаной дорожке, чтобы торжественно взойти на свою кафедру. Сразу после церемонии интронизированный примас наводит порядок в аббатстве Христа, члены которого горячо поддержали лжепророчицу. Долгое это дело — говорить с монахами, разобраться с каждым по отдельности. Роуланд Ли приезжает, чтобы его ускорить. Грегори с Роуландом, а Кромвель сидит в Лондоне, читает письмо от сына, не длиннее и не содержательнее школьных: «На сем, за недостатком времени, заканчиваю…»

Он пишет Кранмеру, будьте милосердны к здешним монахам, они всего лишь подпали под дурное влияние. Пощадите того, кто золотил письмо от Магдалины. Пусть сделают королю денежный подарок, трехсот фунтов будет довольно. Вычистите аббатство Христа и всю епархию; Уорхем был архиепископом тридцать лет и везде насадил родственников, его незаконный сын — архидьякон, пройдитесь по ним новой метлой. Выпишите людей из ваших родных краев, унылых клириков, рожденных под трезвыми небесами.

Что-то такое у него под ногой, не хочется думать, что. Он отодвигает стул: это полу-обглоданная мышка, подарок от Марлинспайка. Он нагибается за ней и вспоминает сэра Генри Уайетта в темнице. Пышно разодетого Вулси в Кардинальском колледже. Бросает мышку в огонь. Трупик шипит и съеживается, кости вспыхивают с негромким глухим хлопком. Он берет перо и пишет Кранмеру: вышвырните из епархии оксфордцев, замените их знакомыми нам кембриджцами.

Пишет сыну: приезжай домой, проведем вместе Новый год.

Декабрь. Угловатая, как льдышка, в голубых отсветах заснеженного двора за открытой дверью, Маргарет Пол выглядит так, будто сошла с церковного витража; платье поблескивает осколками стекла, хотя на самом деле это алмазы. Он вынудил ее, графиню, явиться к нему домой, и теперь она с плантагенетовским высокомерием смотрит на него из-под тяжелых век. Короткое приветствие обдает его холодом. «Кромвель». Больше ничего.

Маргарет Пол переходит к делу:

— Принцесса Мария. Почему она должна покинуть эссекское поместье?

— Оно нужно милорду Рочфорду. Там большие

охотничьи угодья. Мария присоединится к свите своей августейшей сестры в Хэтфилде. Собственные фрейлины ей там не понадобятся.

— Я готова оставаться при ней за свой счет. Вы не можете мне запретить.

А вот и могу.

— Я всего лишь исполняю волю короля, и вы, полагаю, не меньше меня желаете ей следовать.

— Это воля его любовницы. Мы с принцессой не верим, что такова воля самого короля.

— Постарайтесь поверить, мадам.

Леди Маргарет смотрит на него сверху вниз, с высоты своего пьедестала: она дочь Кларенса, племянница старого короля Эдуарда. В ее времена люди его звания, говоря с такими, как она, преклоняли колени.

— Я была в свите Екатерины со дня их свадьбы. Принцессе я вторая мать.

— Кровь Христова, мадам, вы считаете, ей нужна вторая мать? Ее и одна-то в гроб вгонит.

Они смотрят друг на друга через пропасть.

— Леди Маргарет, если позволите дать вам совет… лояльность вашей семьи под сомнением.

— Так утверждаете вы. За это вы и разлучаете меня с Марией — в наказание. Будь у вас свидетельства, вы отправили бы меня в Тауэр вместе с

Элизабет Бартон.

— Это противоречило бы желанию короля, который очень вас чтит, мадам. Вашу родословную, ваш преклонный возраст.

— У него нет свидетельств.

— В июне прошлого года, сразу после коронации королевы, ваш сын лорд Монтегю и ваш Джеффри Пол обедали с леди Марией. Всего через две недели Монтегю обедал с ней снова. И что же они обсуждали?

— Это вопрос?

— Нет, — с улыбкой отвечает он. — Мальчик, который подавал спаржу, у меня на жаловании. И мальчик, который резал абрикосы, тоже. Они говорили об императоре, о том, как убедить его вторгнуться в Англию. Как видите, леди Маргарет, ваши близкие многим обязаны моему долготерпению. Надеюсь, в будущем они отплатят королю верностью.

Он не говорит: я хочу использовать ваших сыновей против их неуемного братца в Генуе. Не говорит: ваш сын Джеффри тоже у меня на жаловании. Джеффри Пол подвержен страстям и переменчив, неизвестно, чего от него ждать. В этом году Кромвель заплатил ему сорок фунтов, рассчитывая на его верность Кромвелю.

Графиня кривит губы.

— Принцесса не покинет свой дом безропотно.

— Милорд Норфолк намерен съездить в Болье и побеседовать с ней. Разумеется, она может выказать герцогу свое несогласие.

Он посоветовал Генриху не ущемлять Марию ни в чем, не лишать нынешнего статуса. Не давать ее кузену императору повода к войне.

Генрих вспылил.

— Вы сами пойдете к королеве и скажете, что Марию надо оставить принцессой? Потому что, мастер Кромвель, я не пойду. А если королева придет в ярость и у нее от волнения случится выкидыш, виноваты будете вы. И не ждите от меня милосердия!

Выйдя от короля, он прислоняется к стене, закатывает глаза и говорит Рейфу:

— Силы небесные, немудрено, что кардинал состарился до срока. Теперь король считает, что она может выкинуть от злости. На прошлой неделе я был его соратником, на этой он угрожает мне расправой.

Рейф говорит:

— Хорошо, что вы не такой, как кардинал.

И впрямь: кардинал ждал от своего государя благодарности и обижался, когда ее не получал.

При всех своих дарованиях Вулси оставался пленником чувств, они-то и подтачивали его силы. Он, Кромвель, больше не подвластен переменам настроений, поэтому почти никогда не устает. Препятствия можно устранить, недовольство — утишить, узлы — распутать. Сейчас, на исходе 1533 года, его дух тверд, воля крепка, оборона несокрушима. Придворные видят, что он в силах направлять события. Он способен рассеять чужие страхи, дать людям ощущение устойчивости в этом зыбком мире: веру в этот народ, в эту династию, в этот жалкий дождливый остров на краю света.

Под конец дня он для отдыха просматривает реестр Екатерининых земель и решает, что можно перераспределить. Сэр Николас Кэрью, не любящий его и не любящий Анну, неожиданно для себя получает новые поместья, в том числе два по соседству со своими суррейскими владениями, и тут же просит встречи, чтобы выразить благодарность. С такими просьбами теперь обращаются к Ричарду, который следит за расписанием Кромвеля, и тот отвечает: «Только через послепослезавтра». Как говаривал кардинал, хочешь, чтобы люди тебя уважали, заставь их ждать.

Кэрью входит с тщательно подготовленным лицом. Холодный, самодовольный, царедворец до мозга костей, уголки губ чуточку приподняты. Итог — девичья усмешка, несообразная с пышной бородой.

— О, я убежден, что подарок вполне заслужен, — отмахивается Кромвель от благодарностей. — Король знает вас с детства, а вознаграждать старых друзей для его величества — всегда радость. Ваша супруга, насколько я знаю, близка к леди Марии? Я не ошибся? Тогда пусть, — продолжает он мягко, — даст ей добрый совет: повиноваться королю. Его величество в последнее время раздражителен, и я не могу отвечать за последствия непокорства.

Второзаконие учит нас, что дары ослепляют глаза мудрых. Кэрью, по убеждению Кромвеля, не так уж мудр, но принцип все равно действует: королевский друг если не ослеплен, то по меньшей мере ошеломлен такой щедростью.

— Считайте это ранним рождественским подарком, — говорит Кромвель, придвигая Кэрью бумаги.

В Остин-фрайарз расчищают кладовые и строят надежные хранилища. Праздновать будут в Степни. Ангельские крылья перевозят туда

— он хочет сохранить их до времени, когда в доме вновь будет ребенок подходящего возраста. Он смотрит, как их выносят, трепещущие под саваном тонкого полотна, как грузят на телегу рождественскую звезду.

— И как же с ней управляться, с этой жуткой машиной? — спрашивает Кристоф.

Кромвель стягивает с одного из лучей полотняный чехол, показывает Кристофу позолоту.

— Матерь Божия! — изумляется мальчик. — Это звезда, которая ведет в Вифлеем! А я думал — орудие пытки.

Норфолк едет в Больe сказать Марии, что та должна перебраться в Хэтфилд и служить маленькой принцессе под началом королевиной тетки, леди Анны Шелтон. Последующий разговор герцог излагает в скорбном тоне.

— Королевиной тетки? — переспрашивает Мария. — Королева только одна, и это моя мать.

— Леди Мария… — начинает Норфолк. От этих слов бывшая принцесса разражается слезами, убегает к себе в комнату и запирается на щеколду.

Суффолк едет в Бакден склонять Екатерину к новому переезду. Она слышала, будто ее хотят поселить в еще более гиблом месте, и говорит,

что сырость ее убьет. Поэтому она тоже захлопывает дверь, задвигает щеколды и на трех языках велит Суффолку уходить. Я никуда не поеду, говорит Екатерина, разве что вы взломаете дверь, свяжете меня и увезете силой. На такое Чарльз пока не готов.

Брэндон пишет в Лондон, просит указаний. В каждой строчке сквозит жалость к себе: неужто мне торчать на болотах в праздники, когда дома меня ждет четырнадцатилетняя жена? Письмо зачитывают в совете, и он, Кромвель, хохочет. Безудержное веселье увлекает его в новый год.

По дорогам королевства бродит молодая женщина, рассказывает, что она — принцесса Мария и король выгнал ее из дома. Самозванку видели чуть ли не по всей стране — на севере, в Йорке и на востоке, в Линкольне. Простые люди кормят ее, принимают на ночлег, дают в дорогу денег. Он велел задержать эту женщину, но пока она неуловима. Непонятно, что с ней делать после ареста. Взвалить на себя бремя пророчества и плестись по зимним дорогам без всякой защиты — уже суровое наказание. Он воображает ее, крошечную бурую фигурку, бредущую к горизонту по размокшим пустым полям.

III Глаз художника

1534

Когда Ганс приносит в Остин-фрайарз готовый портрет, он пугается. Вспоминает, как Уолтер говорил: смотри в глаза, когда врешь.

Взгляд медленно ползет вверх от нижнего края рамы. Перо, ножницы, бумаги, печать в мешочке и тяжелый том с золотым обрезом, переплетенный в зеленую кожу с золотым тиснением. Ганс сперва попросил его Библию, но счел ее слишком простой и затертой. Он обшарил дом в поисках книги побогаче и нашел-таки роскошный том на столе Томаса Авери — работу монаха Пачоли[92] о том, как вести счета, подаренную старыми друзьями-венецианцами.

Он смотрит на руку, лежащую на столе, в кулаке зажата бумага. Странно разглядывать себя по частям, меру за мерой. Ганс сделал его кожу гладкой, как у куртизанки, но в движении, в

---

[92] Примечания Ольги Дмитриевой: 92

Лука Бартоломео Пачоли (1445–1517) — выдающийся итальянский математик, автор многочисленных трудов по арифметике, алгебре, геометрии, один из основоположников современной системы бухгалтерии.

этих сжатых пальцах — уверенность палача, хватающего кинжал. На пальце кардинальский перстень с бирюзой.

Когда-то у него был свой перстень с бирюзой, подарок от Лиз на рождение Грегори. С камнем в форме сердца.

Он поднимает глаза к лицу на портрете. Не намного привлекательнее, чем на пасхальных яйцах, которые расписывает Джо. Ганс поместил свою модель в замкнутое пространство, задвинув в глубину картины массивным столом. Пока Ганс рисовал, у Кромвеля было время поразмышлять, унестись мыслями в иную страну, но на картине его взгляд непроницаем.

Он просил написать его в саду, однако Ганс заартачился: от каждого лишнего движения меня бросает в пот, стоит ли усложнять?

На картине на нем зимняя одежда. Кажется, что под ней субстанция более плотная, чем у прочих людей, более сжатая, вроде доспехов. Он предвидит день, когда и вправду придется в них облачиться. Здесь и за границей (теперь не только в Йоркшире) хватает людей, готовых, не раздумывая, броситься на него с кинжалом.

Впрочем, вряд ли кинжал дойдет до сердца. Надо же, из чего вы сделаны, удивлялся король. Он

улыбается. Лицо на портрете хранит каменное выражение.

— Хорошо. — Кромвель выходит в соседнюю комнату. — А теперь можете посмотреть.

Они толпятся у картины, отпихивая друг друга. Короткое оценивающее молчание. Молчание длится.

— Он сделал вас дороднее, чем вы есть, дядя, — говорит Алиса. — Кажется, он перестарался.

— Как учит нас Леонардо, покатые поверхности лучше отражают удары ядер, — замечает Ричард.

— Мне кажется, в жизни вы не такой, — произносит Хелен Барр. — Черты ваши, но выражение передано неверно.

— Он приберегает его для мужчин, Хелен, — возражает Рейф.

— Пришел императорский посол, впустить? — спрашивает Томас Авери.

— Ему тут всегда рады.

Вбегает Шапюи. С видом знатока становится перед картиной, отклоняется назад, подается вперед. На нем шелка, отороченные мехом куницы.

— Господи ты боже мой, он похож на танцующую обезьянку! — прикрыв рот рукой, шепчет Джоанна.

— Увы, боюсь, что нет, — говорит Эсташ. —

Нет, нет и нет, на этот раз ваш протестантский художник сел в лужу. Вас невозможно представить одного, Кремюэль, вы всегда среди людей, изучаете лица, словно собираетесь их рисовать. Вы заставляете окружающих думать не «как он выглядит?», а «как выгляжу я?» — Шапюи отворачивается, делает оборот на месте, словно таким способом хочет поймать сходство. — Впрочем, взглянув на портрет, не всякий посмеет стать у вас на пути. И в этом смысле портрет удался.

Когда Грегори возвращается из Кентербери, Кромвель ведет его посмотреть на картину, даже не дав снять плащ и смыть дорожную грязь; ему важно узнать мнение сына до того, как мальчик услышит суждения остальных домочадцев.

— Твоя мать всегда говорила, что выбрала меня не за красоту. Когда привезли картину, я обнаружил, что заблуждался относительно своей внешности. Я привык думать о себе таком, каким вернулся из Италии, двадцать лет назад, еще до твоего рождения.

Грегори стоит рядом, плечо к плечу, молча разглядывая портрет.

Он ощущает, что сын выше него, — что ж, для этого не надо быть очень высоким. Мысленно отступает назад, оглядывая Грегори глазами жи-

вописца: юноша снежной кожей и светло-карими глазами, стройный ангел на фреске, испещренной пятнами сырости, в далеком городе на холме. Он воображает Грегори на пергаменте, пажом, скачущим через лес, черные кудри выбились из-под золотой повязки; тогда как юноши, окружающие его, молодежь Остин-фрайарз, жилисты, как боевые псы, их волосы вечно всклокочены, а глаза остры, как лезвия мечей. В Грегори есть все, думает он, что должно быть. Все, на что я мог надеяться: открытость, мягкость, сдержанность и рассудительность, с которой тот обдумывает свои слова, прежде чем высказаться. Он ощущает такую нежность к сыну, что готов разрыдаться.

Затем поворачивается к картине:

— Боюсь, Марк был прав.

— Что за Марк?

— Один глупый мальчишка, который всюду таскается за Джорджем Болейном, однажды сказал, что я похож на убийцу.

— А то ты не знал! — удивляется Грегори.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I Супрематия

1534

В праздничные дни между Рождеством и Новым годом, когда весь двор веселится, а Чарльз Брэндон в болотах орет на запертую дверь, он перечитывает Марсилия Падуанского.[93] В лето 1324-е Марсилий написал сорок две пропозиции. Как только святки заканчиваются, он идет с некоторыми из этих пропозиций к королю.

Одни королю известны, о других тот слышит впервые. Одни готов сейчас принять всей душой, про другие помнит, что их разоблачили как еретические. Утро ясное, жгуче-морозное, ветер с реки режет, как нож. Мы летим на всех парусах, не страшась волн.

Марсилий учит, что Христос пришел в этот мир не правителем и не судьей, а подданным — подданным того государства, которое застал. Он не

---

[93] Примечания Ольги Дмитриевой: 93

Марсилий Падуанский (ок. 1270–1342) — итальянский мыслитель, ректор Парижского университета. Выступал против притязаний папства на верховенство над светскими правителями и светскую власть. В трактате «Защитник мира» (1324) выступал за разделение духовной и светской властей при верховенстве последней.

стремился к власти и не говорил, что апостолы должны повелевать людьми. Он не ставил никого из своих учеников над другими — если сомневаетесь, перечитайте стихи про Петра. Христос не назначал пап, не давал своим последователям права устанавливать законы и взимать подати — права, на которые претендуют нынешние церковники.

Генрих замечает:

— Кардинал мне об этом не говорил.

— А вы бы сказали, будь вы кардиналом?

Если Христос не наделил своих последователей земной властью, как можно утверждать, что нынешние государи получают ее от пап? На самом деле все пресвитеры — подданные, как установил Христос. Народом управляет монарх, он и постановляет, кто женат и кому можно жениться, кто законный ребенок, а кто — нет.

Каким образом монарх получает власть? Ее дает ему законодательный орган, действующий в интересах граждан. Воля народа, выраженная через парламент, наделяет короля полномочиями.

Когда он это излагает, Генрих настораживается, будто заслышал поступь народа, идущего вышвырнуть его из дворца. О нет, спешит успокоить Кромвель, Марсилий не признает законности за

мятежниками. Граждане имеют право объединиться и низвергнуть деспота. Однако он, Генрих, не деспот, а монарх, правящий в согласии с законом. Генриху нравится, когда народ на улицах Лондона приветствует его криками, однако мудрый монарх не всегда самый популярный — это ему известно.

Еще о пропозициях Марсилия. Христос не раздавал ученикам земли, монополии, должности и чины. Все это — в ведении мирской власти. Как может обладать собственностью человек, давший обет бедности? Как могут монахи быть землевладельцами?

Король говорит:

— Кромвель, при вашем умении считать…

Смотрит вдаль, теребя серебряную обшивку манжеты.

— Законодательный орган, — продолжает он, — должен заботиться о содержании священников и епископов, а прочие церковные богатства использовать на общественное благо.

— Вот только как это богатство высвободить? — говорит Генрих. — Думаю, раки можно было бы вскрыть. — Король, усыпанный драгоценностями с головы до ног, думает в первую очередь и том богатстве, которое можно взвесить на весах. —

Если бы нашлись смельчаки…

Это очень характерно для Генриха: забегать вперед, причем не туда, куда ты ведешь. Он намеревался мягко направить короля к перераспределению собственности: восстановить древние права суверена, вернуть то, что принадлежит ему по старинному праву. Он еще вспомнит этот разговор, когда Генрих первым предложит взять зубило и выковырять у святых сапфировые глаза. Однако он готов следовать за мыслью короля.

— Христос научил нас, что следует делать в его воспоминание. Он оставил нам хлеб и вино, тело и кровь. Что еще нужно? Нигде не сказано, что Он предписывал делать раки и торговать частицами мощей, ногтями и волосами или что Он учил молиться каменным изображениям.

— Могли бы вы прикинуть… хотя… нет, вряд ли. — Генрих встает. — Что ж, день солнечный…

Жаль сидеть в четырех стенах. Кромвель собирает бумаги. «Дальше я закончу сам». Генрих встает, облачается в охотничий джеркин на двойной простежке. Он думает: негоже нашему королю быть беднейшим в Европе. В Испанию и Португалию течет золото из Америки. А где наше богатство?

Оглядитесь.

По его прикидкам, церковники владеют третью Англии. Скоро Генрих спросит, как перевести ее под власть короны. Это как с ребенком: приносишь коробку, и он спрашивает, а что там? Потом ложится спать и забывает, а на следующий день снова спрашивает. Пока коробку не вскроют и подарки не достанут, ребенок не успокоится.

Скоро открытие парламента. Кромвель говорит королю: ни один парламент в истории не трудился так, как я заставлю трудиться этот.

Генрих отвечает:

— Делайте все, что надо. Я вас поддержу.

Это как услышать слова, которых ждал всю жизнь. Как услышать совершенную поэтическую строку на языке, который знал до рождения.

Он уходит домой счастливый, но за углом его поджидает кардинал: пухлый, как подушка, в своем багровом облачении, на лице — мятежный задор. Вулси говорит: а вы знаете, что все ваши заслуги он припишет себе, а промахи свалит на вас? Когда фортуна вам изменит, вы ощутите ее удары — вы, не он.

Он говорит, мой дорогой Вулси. (Теперь, когда кардинал отошел в мир иной, он обращается к нему не как к господину, а как к коллеге.) Мой дорогой Вулси, не совсем так. Когда Брэндон чуть

копьем не выбил королю глаз, тот винил не Брэндона, а себя, что не опустил забрало.

Кардинал говорит, вы думаете, это турнир? Думаете, тут есть уложения, правила, судьи, следящие, чтобы все было по чести? Однажды, когда вы будете застегивать доспехи, вы поднимете голову и увидите короля, мчащего во весь опор прямо на вас.

Кардинал исчезает, хохотнув.

Еще до первого заседания палаты общин его противники собираются обсудить тактику. Ему известно, что происходит на этих встречах. Слуги входят и выходят, метод, отработанный на Полях, действует безотказно. В доме хватает молодых людей, которые не считают зазорным надеть фартук и внести пудинг или кусок говядины. Нынче многие английские джентльмены просят его взять к себе своих сыновей, племянников, воспитанников, чтобы те освоили науку государственного управления, изящную секретарскую скоропись, навыки ведения зарубежной переписки, узнали, какие книги надо прочесть будущему придворному. Он со всей ответственностью берется за воспитание доверенных ему шумных юнцов: мягко забирает у них из рук кинжалы и перья, выясняет, что по-настоящему стоящего

кроется за молодой спесью пятнадцати — двадцатилетних, что они ценят и за что готовы стоять до конца. Унижая и ломая человека, ничего о нем не узнаешь. Надо выспросить, что он умеет, что умеет он один во всем мире.

Юнцы дивятся его расспросам и открывают душу. Похоже, никто с ними прежде не разговаривал. Отцы так уж точно.

Первое дело — приставить этих буйных невежд к смиренным занятиям. Он учат псалмы. Учатся орудовать обвалочными и разделочными ножами и лишь потом, исключительно для самозащиты и не на формальном уроке, осваивают *эстоК* — тот смертельный удар под ребра, простое движение запястья, которое гарантированно достигает цели. Кристоф предлагает себя в инструкторы. Эти мсье, говорит, известное дело, белоручки. То ли оленю голову отрезают, то ли крысе хвост, уж не знают, что отправить в подарок дражайшему папа. Только мы с вами, хозяин, да Ричард Кремюэль знаем, как спровадить ублюдка на тот свет, чтобы даже не вскрикнул.

Еще до конца зимы некоторые из бедняков, томящихся у ворот, оказываются в доме. Уши и глаза у неграмотных не хуже, чем у знати, а быстро соображать можно и без университетской

степени. Грумы и псари слышат то, что графы говорят не для посторонних. Мальчишка с дровами и мехами приходит на заре растопить камин и ловит выбалтываемые спросонок тайны.

Как-то неожиданно солнечным, обманчиво-теплым днем в Остин-фрайарз приходит Зовите-меня-Ризли. Рявкает «доброе утро, сэр», бросает куртку, садится за стол и со скрипом придвигает табурет. Берет перо, разглядывает. «Ну, что у вас для меня?» Глаза блестят, кончики ушей порозовели.

— Как я понимаю, вернулся Гардинер, — говорит Кромвель.

— Откуда вы знаете? — Зовите-меня бросает перо, вскакивает и начинает расхаживать по комнате. — Ну почему он такой? Цепляется к каждому слову, сыплет вопросами, ответов не слышит.

— В Кембридже вам это было по душе.

— А, тогда, — бросает Ризли с глубоким презрением к себе юному. — Считалось, что это воспитывает в нас умение мыслить. Не знаю.

— Мой сын Грегори говорит, университетская практика диспутов его утомляет. Он зовет ее практикой бесплодных споров.

— Похоже, Грегори — не полный тупица.

— Мне было бы приятно думать, что так.

Зовите-меня заливается краской.

— Я не хотел вас обидеть, сэр. Вы же знаете, Грегори не такой, как мы. Слишком хороший для этого жестокого мира. Но и таким, как Гардинер, тоже быть не обязательно.

— Когда мы собирались у кардинала, мы предлагали планы, и каждый раз возникали споры. Однако мы доводили их до конца, а потом улучшали планы и проводили их в жизнь. В королевском совете не так.

— А чего еще от них ждать? От Норфолка? От Чарльза Брэндона? Они спорят с вами, потому что вы — это вы. Они будут спорить, даже если согласны. Даже если знают, что вы правы.

— Я так понимаю, Гардинер вам угрожал.

— Сказал, что уничтожит меня. — Ризли стискивает руки. — Мне безразличны его слова.

— Напрасно. Винчестер — влиятельный человек, и если он говорит, что уничтожит, значит, намерен это сделать.

— Он обвинил меня в двурушничестве. Сказал, пока он был за границей, я должен был блюсти его интересы, а не ваши.

— Как я понимаю, вы служите государственному секретарю, кто бы ни исполнял эту должность.

А если… — долгая пауза, — если… Ризли, я делаю вам такое предложение. Если меня утвердят на этом посту, вы получите малую печать.

— Я стану начальником канцелярии?

Видно, как Зовите-меня в уме суммирует доходы.

— А теперь идите к Гардинеру, принесите извинения, и пусть он предложит вам что-нибудь получше. Обезопасьте себя.

Зовите-меня медлит в нерешительности, лицо встревоженное.

— Беги, малыш! — Кромвель сует Ризли куртку. — Гардинер по-прежнему секретарь и еще может получить свои печати назад. Только передай ему, что он должен сам за ними сюда прийти.

Зовите-меня смеется. Ошарашенно трет лоб, словно побывал в драке. Накидывает куртку.

— Мы неисправимы, да?

Голодные псы. Волки, которые грызутся над падалью. Львы, дерущиеся у тел христиан.

Король приглашает его и Гардинера обсудить билль, который он намерен провести через парламент, чтобы закрепить трон за Анниными детьми. Королева с ними; он думает: многие придворные видятся со своими женами реже, чем

король. Если Генрих на охоте, то и Анна на охоте. Если Генрих на верховой прогулке, то и Анна с ним. Все друзья короля — теперь и ее друзья.

У нее привычка: читать, заглядывая Генриху через плечо. Вот и сейчас так; пальцы тем временем путешествуют вдоль его шеи, под слоями шелка, коготки забираются под расшитый ворот рубахи и чуть-чуть, самую малость, отводят ткань от бледной королевской кожи. Генрих гладит ее руку — рассеянно, бездумно, как будто они наедине. В проекте говорится, снова и снова, и, как видно, без всякого преувеличения: «ваша дражайшая и всемерно обожаемая супруга королева Анна».

Епископ Винчестерский смотрит, разинув рот. Как мужчина он не может оторвать глаз от этого зрелища, как епископ вынужден деликатно кашлянуть. Анна не обращает внимания: по-прежнему гладит короля и читает билль, потом внезапно вскидывает глаза, возмущенная: здесь говорится о моей смерти! «В случае же, если вашу дражайшую и всемерно обожаемую супругу королеву Анну постигнет кончина…»

— Я не вправе исключить этот пункт, — говорит Кромвель. — Парламент может все, мадам, кроме того, что противоречит законам природы.

Она вспыхивает.

— Я не умру родами. Я крепкая.

А вот Лиз во время беременности не глупела. Скорее становилась еще приземленнее и бережливее, проводила ревизию шкафов и кладовых. Анна забирает у Генриха проект, гневно потрясает им в воздухе. Она злится на бумагу, ревнует к чернилам. Говорит:

— Тут написано, если я умру, скажем, умру сейчас, скажем, умру от лихорадки до разрешения от бремени, он может взять себе новую жену.

— Милая, — произносит король, — я не могу представить себе другую на твоем месте. Это чисто умозрительно. Он должен предусмотреть и такой случай.

— Мадам, — вступает в разговор Гардинер, — позвольте мне вступиться за Кромвеля: он всего лишь учитывает возможные исходы. Вы же не хотите обречь его величество на вечное вдовство? И никто из нас не знает своего часа.

Анна не замечает Винчестера, будто его здесь нет.

— И еще тут говорится, если у короля будет сын, этот сын унаследует престол. «Наследники мужеского пола, зачатые в законном браке». А что будет с моей дочерью?

— Она по-прежнему принцесса Англии, — от-

вечает Генрих. — Если ты заглянешь дальше, там сказано…

Закрывает глаза. Боже, дай мне сил.

Гардинер спешит вмешаться:

— Если у короля не будет сыновей, прижитых в законном браке, королевой станет ваша дочь. Вот что предлагает Кромвель.

— Но почему это должно быть записано именно так? И где здесь сказано, что испанская Мария — незаконнорожденная?

— Леди Мария исключена из линии наследования, — говорит Кромвель, — так что вывод очевиден, нет надобности добавлять что-либо еще. Вы должны простить холодность выражений. Мы стремимся сделать закон лаконичным, так что здесь нет ничего личного.

— Клянусь Богом! — ухмыляется Гардинер. — Уж если это не личное, что тогда личное?

Король, похоже, пригласил сегодня Стивена нарочно, чтобы унизить. Завтра, разумеется, все будет наоборот: Кромвель увидит Генриха, прогуливающегося с Винчестером под ручку в заснеженном саду. Он говорит:

— Мы хотим скрепить акт присягой. Подданные его величества должны поклясться, что принимают закон о престолонаследии, изложенный

в этом документе и ратифицированный парламентом.

— Присягой? — переспрашивает Гардинер. — Что это за акт, который необходимо скреплять клятвой?

— Всегда найдутся те, кто скажет, что парламент подкуплен, или введен в заблуждение, или почему-либо не вправе представлять народ. Опять-таки есть люди, которые считают, что парламент не может устанавливать законы в определенных сферах — это компетенция Рима. Я убежден, что они заблуждаются. Рим не имеет юридической власти над Англией. В своем билле я намерен сделать утверждение. Довольно скромное. Я его составил, парламент, смею надеяться, примет, король, смею надеяться, подпишет. Тогда я попрошу страну скрепить его клятвой.

— И как же вы намерены это осуществить? — глумится Стивен. — Разошлете своих молодчиков из Остин-фрайарз по городам и весям приводить к присяге каждого встречного и поперечного?

— А почему бы и нет? Или вы считаете, что все, кто не епископы, — скоты? Присяга всякого христианина одинаково ценна. Поглядите на любую часть этого королевства, милорд епископ, и увидите упадок, обнищание. Мужчины и женщины

скитаются по дорогам. Овцеводы захватили все: селянина выгоняют из дома, землепашца лишили земли. За поколение эти люди могут научиться читать. Пахарь мог бы взять книгу. Поверьте мне, Гардинер, Англия способна быть иной.

— Я вас разозлил, — замечает Гардинер, — и вы, разозлившись, неверно поняли вопрос. Я спрашивал, не хороша ли их клятва, а скольких из них вы намерены привести к присяге. Однако, разумеется, поскольку вы провели через палату общин билль против овец…

— Против овцеводов, — с улыбкой поправляет Кромвель.

Король говорит:

— Гардинер, это нужно, чтобы помочь простым людям — никому не дозволяется держать больше двух тысяч овец…

Епископ перебивает короля как маленького ребенка.

— Две тысячи, да, так что пока ваши комиссары будут разъезжать по графствам, считая овец, может быть, они заодно приведут к присяге пастухов? И этих ваших пахарей, пока еще не обучившихся грамоте? И каждую потаскуху, которую найдут в канаве?

Епископ говорит с таким пылом, что Кромвеля

разбирает смех.

— Милорд, я приведу к присяге тех, чья клятва необходима для надежности престолонаследия и единства страны. У короля есть чиновники, есть мировые судьи, и лорды совета подадут другим пример — или я с ними разберусь.

Генрих добавляет:

— Епископы тоже присягнут. Надеюсь, они не заартачатся.

— Нам нужны новые епископы, — говорит Анна. Она называет своего друга, Хью Латимера. Его друга, Роуланда Ли. Значит, у нее все-таки есть список, который она носит в голове. Лиз заготавливала овощи. Анна назначает пресвитеров.

— Латимер? — Гардинер качает головой, но не может сказать вслух, что королева покровительствует еретикам. — Роуланд Ли, как мне доподлинно известно, никогда в жизни не стоял за кафедрой. Некоторые люди приходят в церковь только из честолюбия.

— И благородно пытаются это скрыть.

— Я не сам выбрал для себя этот путь, — говорит епископ, — но, видит Бог, Кромвель, я честно им иду.

Кромвель смотрит на Анну. Ее глаза торжествующе блестят. От нее не ускользает ни единое

слово.

Генрих говорит:

— Милорд Винчестер, вы долго пробыли за границей по посольским делам.

— Надеюсь, ваше величество согласится, что к вашей пользе.

— И тем не менее вы невольно пренебрегали делами своей епархии.

— Как пастырь вы должны заботиться о своих овцах, — говорит Анна. — Возможно, считать их.

Гардинер кланяется:

— Мои овцы надежно присмотрены.

Что еще может сделать король? Самолично спустить епископа с лестницы, кликнуть стражу, чтобы того уволокли силой? Генрих произносит негромко:

— И все же не стану вас удерживать. Можете со спокойной душой съездить в свою епархию.

От пса, когда тот готов броситься в драку, идет особый запах. Сейчас он наполняет комнату. Анна брезгливо отводит взгляд, Стивен кладет руку на грудь, словно хочет вздыбить шерсть, стать больше, прежде чем оскалить клыки.

— Я вернусь к вашему величеству через неделю, — говорит Стивен. Елейные слова вырываются из глотки, как утробный рык.

Король хохочет.

— А пока нам по душе Кромвель. Мы довольны его обхождением.

Как только Винчестер выходит, Анна вновь прижимается к королю, стреляет глазами, словно предлагает ему разделить тайну. Она по-прежнему туго зашнурована; единственный внешний признак беременности — чуть набухшая грудь. Никто официально не объявляет, что королева ждет наследника: когда речь идет о женской утробе, ничего нельзя знать наверняка. Возможны ошибки. Однако весь двор уверен, что она носит под сердцем дитя, и сама Анна так говорит: яблоки на сей раз не упоминаются, все, на что ее тянуло тогда, теперь вызывает отвращение — так что по всем признакам будет мальчик. Билль, который он намерен предложить палате общин, не предвосхищает несчастье, как думается Анне, а напротив, упрочивает ее статус. В этом году ей исполнится тридцать три. И как он мог столько лет смеяться над ее плоской грудью и желтоватой кожей? Теперь, когда она королева, даже Кромвель видит, что Анна — красавица. Черты правильные, точеные, головка маленькая, как у кошки, шея отливает минеральным блеском, словно припудренная золотой обманкой.

Генрих говорит:

— Как посол Стивен несомненно хорош, однако я не могу держать его при себе. Я доверял ему в самом важном, а теперь он против меня. — Качает головой. — Я ненавижу неблагодарность. Ненавижу вероломство. Вот за что я ценю вас. Вы не отступились от своего господина, когда того постигла беда. Для меня это — лучшая рекомендация. — Можно подумать, беда постигла Вулси без всякого участия короля. Можно подумать, с вершины власти его сбросила молния. — И еще меня огорчает Томас Мор.

Анна говорит:

— Когда будете составлять билль против лжепророчицы Бартон, включите туда, кроме Фишера, еще и Мора.

Кромвель качает головой.

— Не выйдет. Парламент не примет. Против Фишера довольно свидетельств, и члены палаты общин его не любят, он говорит с ними, словно с турками. Однако Мор приходил ко мне еще до ареста Бартон и доказал свою полную непричастность.

— Но это его напугает, — говорит Анна. — Так пусть испугается. Страх лишает человека воли. Мне случалось такое наблюдать.

Три часа дня. Вносят свечи. Он сверяется с журналом Ричарда: Джон Фишер ждет. Сейчас надо вызвать в себе злость. Он пробует думать о Гардинере, но его разбирает смех.

— Сделайте лицо, — говорит Ричард.

— Вы не поверите, но Гардинер мне должен. Я оплатил его назначение на Винчестерскую епархию.

— Стребуйте с него долг, сэр.

— Я уже забрал для королевы его дом. Он до сих пор горюет. Я не хочу припирать Стивена к стене — надо оставить ему путь к отступлению.

Епископ Фишер сидит, возложив костлявые руки на трость черного дерева.

— Доброе утро, милорд, — говорит Кромвель. — Почему вы так легковерны?

Епископ удивлен, что они не начали с молитвы, тем не менее бормочет благословение.

— Вам следует молить короля о прощении. Сошлитесь на свои лета и телесную немощь.

— Я не знаю, в чем моя вина. И что бы вы ни воображали, я еще не выжил из ума.

— А я думаю, что выжили. Иначе как бы вы поверили этой Бартон? Увидев на улице кукольный балаган, вы не станете кричать: «Ах, как они ступают деревянными ножками, как машут

деревянными ручками! Слушайте, как они дудят в свои трубы!» Ведь не станете же?

— Я никогда не видел кукольного балагана, — печально говорит Фишер. — По крайней мере такого, как вы описываете.

— Но вы в него попали, милорд епископ! Оглянитесь! Это все — один большой балаган.

— Однако очень многие ей поверили, — кротко отвечает Фишер. — Сам Уорхем, тогдашний архиепископ Кентерберийский. Десятки, сотни набожных и образованных людей. Они засвидетельствовали ее чудеса. И она не могла прямо говорить о том, что открыли ей небеса. Мы знаем, что Господь изъявляет свою волю через своих служителей. У пророка Амоса сказано…

— Не тычьте мне в нос пророком Амосом! Она угрожала королю. Предсказывала ему смерть.

— Предсказывать не значит желать. А уж тем более — замышлять.

— Она никогда не предсказывала того, чего не желала. Она встречалась с недругами короля и обнадеживала их, описывая им, как все будет.

— Если вы о лорде Эксетере, — говорит епископ, — то король его уже простил, как и леди Гертруду. Будь они виновны, король привлек бы их к суду.

— Одно из другого не вытекает. Генрих стремится к миру и потому решил их помиловать. Возможно, он помилует и вас, но прежде вам следует признать свою вину. Эксетер не печатал инвективы против короля, а вы печатали.

— Какие инвективы? Покажите.

— Вы подписывали их чужим именем, милорд, однако меня не обмануть. Больше вы ничего не опубликуете.

Фишер вскидывает глаза. Видно, как движутся кости под сухой старческой кожей; пальцы сжимают трость с рукоятью в виде золоченого дельфина.

— Ваши заграничные издатели теперь работают на меня. Стивен Воэн предложил им более высокую плату.

— Вы преследуете меня из-за развода, — говорит Фишер. — Не из-за Элизабет Бартон, а потому, что королева Екатерина просила у меня совета, и я его дал.

— Когда я требую соблюдать закон, вы говорите, что я вас преследую? Не пытайтесь увести меня от своей провидицы, не то я отправлю вас к ней и запру в соседней камере. Поверили бы вы, если бы она увидела коронацию Анны за год до самого события и объявила, что небеса благоволят ново-

му браку короля? Не сомневаюсь, в таком случае вы бы объявили ее ведьмой.

Фишер трясет головой, уводит в сторону:

— Знаете, я всю жизнь мучился вопросом: Мария Магдалина и Мария, сестра Марфы — одно ли это лицо? Элизабет Бартон сказала мне твердо, что — да. У нее не было ни малейших сомнений.

Кромвель смеется.

— О, это ее ближайшие знакомые, она запросто к ним заглядывает. Не раз ела с Богородицей из одной миски. А теперь послушайте, милорд, святая простота была хороша в свое время, но оно миновало. Идет война. Если вы не видите за окном воинов императора, не обманывайтесь: мы воюем, и вы в стане врага.

Епископ молчит, слегка покачиваясь на табурете. Фыркает.

— Теперь я понимаю, почему Вулси взял вас на службу. Вы негодяй, как и он. Я сорок лет ношу священнический сан и никогда не видел таких подлецов, как те, что сейчас у трона. Таких нечестивых советников.

— Заболейте, — говорит Кромвель. — Слягте в постель. Это мой вам совет.

Билль против кентской девственницы и ее сообщников поступает в палату лордов утром

двадцать первого февраля, в субботу. Там значится имя Фишера и, по настоянию короля, Мора. Он отправляется в Тауэр к Бартон — выяснить, не хочет ли она перед смертью рассказать что-нибудь еще.

Она пережила эту зиму, когда ее возили по стране и в каждом городе заставляли повторять признание, стоя на эшафоте, на пронизывающем ветру. Он приносит свечу и видит, что она обмякла на табурете, как плохо увязанный тюк с тряпьем. Воздух разом холодный и затхлый. Она поднимает голову и говорит, словно продолжая недавно прерванный разговор:

— Мария Магдалина сказала мне, что я умру.

Возможно, думает он, она разговаривала со мной у себя в голове.

— А день она назвала?

— Вы хотите его знать? — спрашивает Бартон, и у него мелькает мысль: уж не проведала ли она, что парламент, возмущенный тем, что в список включили Мора, готов отложить принятие билля до весны. — Я рада, что вы пришли, мастер Кромвель. Здесь ничего не происходит.

Даже самые долгие, самые изощренные допросы ее не запугали. На какие только ухищрения он ни шел, чтобы притянуть к делу Екатерину, — все

безрезультатно. Он спрашивает:

— Тебя хорошо кормят?

— О да. И одежду мне стирают. А я все вспоминаю, как ходила в Ламбет к архиепископу. Так было хорошо. Река, народ суетится, лодки разгружают. Вы знаете, что меня сожгут? Лорд Одли сказал, что меня сожгут.

Она говорит об Одли, как о старинном друге.

— Надеюсь, тебе заменят казнь на более легкую. Это решает король.

— Я ночами бываю в аду, — говорит она. — Господин Люцифер показал мне кресло, сделанное из человеческих костей и обитое огненными подушками.

— Для меня?

— Христос с вами, нет конечно. Для короля.

— Вулси больше не видели?

— Кардинал все там же. — То есть среди нерожденных. Долгая пауза, за время которой ее мысль вновь уплывает в другую сторону. — Говорят, тело горит час. Матерь Мария меня прославит. Я буду купаться в пламени, как в ручье. Для меня оно будет прохладным. — Она смотрит ему в лицо, но, увидев его выражение, отводит взгляд. — Иногда в дрова подкладывают порох, да? Чтобы горели быстрее. Скольких сожгут со мной?

Шестерых. Он называет имена.

— Их могло быть и шестьдесят, ты понимаешь? И всех сгубило твое тщеславие. — Говоря это, он думает: верно и то, что ее сгубило их тщеславие. И еще он видит, что она не прочь была бы утащить с собой шестьдесят человек, сгубить семейства Полей и Куртенэ — ведь это упрочило бы ее славу. Если так, странно, что она не указала на Екатерину. Какой триумф для пророчицы — уничтожить королеву! Вот как я должен был действовать — сыграть на ее ненасытном честолюбии.

— Я вас больше не увижу? — спрашивает она. — Или вы будете при моем мученичестве?

— Этот трон, — говорит он, — кресло из костей. Лучше о нем помолчать. Чтобы не дошло до короля.

— Думаю, ему стоит знать, что ждет его после смерти. А что он мне сделает хуже того, что уже присудил?

— Не хочешь сказать, что беременна? Казнь отложат.

Она краснеет.

— Я не беременна. Вы надо мной смеетесь.

— Я всякому посоветовал бы выгадать несколько недель жизни, любым способом. Скажи, что тебя обесчестили в дороге. Что стражники над

тобой надругались.

— Тогда мне придется сказать, кто это был, и этих людей приведут к судье.

Он качает головой, жалея Бартон.

— Стражник, который насилует арестантку, не сообщает ей своего имени.

Впрочем, видно, его совет ей не по душе. Он уходит. Тауэр — целый город, и вокруг уже громыхает обычная утренняя суета. Стража и работники Монетного двора здороваются с ним, начальник королевского зверинца подходит сказать, что пришло время кормежки — звери едят рано, — и не угодно ли вам будет посмотреть? Премного благодарен, отвечает он, как-нибудь в другой раз. Сам он еще не ел, и его слегка мутит. От клеток пахнет несвежей кровью, слышно урчание и приглушенный рык. Высоко на стене невидимый стражник насвистывает старую песенку, потом затягивает припев. Я веселый лесник, поет стражник. Вот уж неправда!

Он ищет взглядом своих гребцов. Бартон выглядит не ахти — если она больна, то доживет ли до казни? Ее не истязали, только заставляли бодрствовать ночь или две кряду, не больше, чем сам он бодрствовал на королевской службе, а меня, думает он, это не заставило никого оговорить.

Сейчас девять утра; в десять обед с Норфолком и Одли; по крайней мере, можно надеяться, что они не будут рычать, как звери в зверинце, обдавая его смрадом. Бледное солнце украдкой смотрит из-за облаков, над рекой завивается дымка — белые росчерки тумана.

В Вестминстере герцог гонит прочь слуг.

— Если захочу вина, сам себе налью! Вон, пошли все вон! И дверь закройте! Поймаю у замочной скважины — освежую и засолю!

Кромвель, кряхтя, садится на стул.

— А что если я встану перед ним на колени и скажу, Генрих, Христа ради, вычеркните Томаса Мора из билля об опале?

— Что если мы все встанем на колени? — подхватывает Одли.

— Да, и Кранмер тоже. Мы не дадим ему отвертеться от этого миленького спектакля.

— Король клянется, — говорит Одли, — что если билль не примут, он сам придет в парламент, если надо, в обе палаты, и будет настаивать.

— И сядет в лужу, — отвечает герцог, — при всем честном народе. Бога ради, Кромвель, отговорите его. Позволил же он Мору уползти в Челси и нянчиться там со своей бесценной совестью, хоть и знал, что тот думает. Бьюсь об заклад, кро-

ви Мора требует моя племянница. Она на него злится. Женская месть.

— Думаю, на него злится король.

— А это, на мой взгляд, слабость, — объявляет Норфолк. — Что королю до Мора с его суждениями?

Одли неуверенно улыбается.

— Вы назвали короля слабым?

— Назвал короля слабым?! — Герцог подается вперед и трещит Одли в лицо, как говорящая сорока: — Что это, у лорда-канцлера прорезался собственный голос? Обычно вы ждете, пока заговорит Томас Кромвель, а потом чирик-чик-чик, да, сэр, нет, сэр, как скажешь, Том Кромвель.

Дверь открывается, и в нее заглядывает Зовите-меня-Ризли.

— Клянусь Богом! — взрывается герцог. — Будь у меня арбалет, я бы отстрелил вам башку. Я велел никого не впускать!

— Пришел Уилл Ропер. С письмами от тестя. Мор желает знать, как вы с ним поступите, сэр, если признали, что по закону он чист.

— Скажите Уиллу, мы репетируем, как будем на коленях просить короля, чтобы тот вычеркнул Мора из списка.

Герцог опрокидывает в глотку вино из кубка

— которого собственноручно себе налил — и с грохотом ставит кубок на стол.

— Ваш кардинал говорил, Генрих скорее отдаст полцарства, чем поступится своим капризом.

— Однако я его уговариваю… и вы, лорд-канцлер, ведь тоже?..

— О да! — восклицает герцог. — Если Том уговаривает, то и лорд-канцлер туда же. Курлы-мурлы!

Зовите-меня хлопает глазами.

— Можно пригласить Уилла?

— Так мы согласны? Молим на коленях?

— Я без Кранмера не пойду, — объявляет герцог. — С какой стати мирянину утруждать суставы?

— Позвать милорда Суффолка тоже? — спрашивает Одли.

— Нет. У него сын при смерти. Наследник. — Герцог утирает рукой рот. — Без месяца восемнадцать лет. — Перебирает реликварии, образки. — У Брэндона только один сын. И у меня. И у вас, Кромвель. И у Томаса Мора. У всех по одному. Дай Бог Чарльзу сил, придется ему, не щадя себя, заводить новых детей с новой женой. — Лающий смешок. — Если бы я мог отправить в отставку старую жену, я бы тоже взял себе славненькую

пятнадцатилетку. Да только поди ее сплавь!

Одли багровеет:

— Милорд, вы женаты, и благополучно женаты, двадцать лет!

— А то я без вас не знаю. Все равно что заталкивать себя в старый кожаный мешок. — Костлявая рука герцога стискивает его плечо. — Добудьте мне развод, Кромвель, а? Вы с милордом архиепископом придумайте какую-нибудь лазейку. Обещаю, из-за моего развода никого не убьют.

— А кого убивают? — спрашивает Ризли.

— Мы собираемся убить Томаса Мора, разве нет? Точим нож на старика Фишера.

— Боже упаси. — Лорд-канцлер встает, запахивает мантию. — О смертной казни речи не идет. Мор и епископ Рочестерский всего лишь соучастники.

— Что, — говорит Ризли, — безусловно, тоже тяжкое преступление.

Норфолк пожимает плечами.

— Сейчас или позже — разница невелика. Мор не примет вашу присягу. И Фишер тоже.

— Я совершенно убежден, что они ее примут, — говорит Одли. — Мы приведем неоспоримые доводы. Ни один разумный человек не откажется присягнуть будущему наследнику престола ради

блага своей страны.

— Значит, Екатерина тоже должна присягнуть, — говорит герцог, — чтобы дети моей племянницы правили без помех? А как насчет Марии — вы и ее намерены привести к присяге? А если они откажутся, что вы будете делать? Отволочете их на Тайберн и вздернете, на радость их родичу-императору?

Они с Одли обмениваются взглядами. Одли говорит:

— Милорд, вам не следует пить до обеда так много вина.

— О, чирив-чив-чив, — отвечает герцог.

Неделю назад он навещал в Хэтфилде двух августейших особ, принцессу Елизавету и леди Марию, дочь короля.

— Упаси тебя Бог перепутать титулы, — сказал он Грегори по дороге.

Грегори ответил:

— Ты уже жалеешь, что взял не Ричарда.

Ему не хотелось уезжать из Лондона, когда в парламенте такое жаркое время, но король настоял: обернетесь за два дня, я хочу, чтобы вы своими глазами взглянули, что там у них и как. Снег тает, по дорогам бегут ручьи, в рощицах, где всегда тень, на лужах еще по-прежнему лед. Когда

они переправлялись через реку в Хертфордшир, ненадолго выглянуло солнце; терновник тянет корявые ветки с белыми цветочками — хочет вручить ему петицию против излишне долгой английской зимы.

— Я здесь бывал, давно. Тогда это был дворец кардинала Мортона, архиепископа Кентерберийского. Весной, когда заканчивалась судебная сессия и становилось теплее, он перебирался сюда. Мне было лет девять-десять. Дядя Джон сажал меня на провиантскую телегу с лучшими сырами и паштетами, чтобы их не стащили при остановке.

— А охраны у вас не было?

— Охраны-то он и боялся.

— *Quis custodiet ipsos custodes?* [94]

— Я, очевидно.

— А что бы ты сделал?

— Не знаю. Покусал их?

Старый кирпичный фасад оказался ниже, чем ему помнилось, но с детскими воспоминаниями так всегда. Пажи и джентльмены выбегают во двор, конюхи берут лошадей под уздцы и ведут на конюшню, в доме ждет подогретое вино — со-

---

[94] Примечания Ольги Дмитриевой: 94
Кто будет стеречь сторожей? (Ювенал, «Сатиры»).

всем не так его встречали здесь прежде. Таскать воду и дрова, топить печи — тяжелое занятие для ребенка, но он упорно работал наравне со взрослыми, голодный и грязный, пока кто-нибудь не замечал, что он валится с ног, или пока не падал на самом деле.

Всем этим странным хозяйством заведует сэр Джон Шелтон, но Кромвель подгадал время, когда сэр Джон в отъезде: ему надо поговорить с женщинами, а не слушать, как Шелтон после обеда разглагольствует о лошадях, собаках и своих юношеских подвигах. Впрочем, на пороге он жалеет о своем решении: по лестнице старческой походкой семенит леди Брайан, мать одноглазого Фрэнсиса, воспитательница маленькой принцессы. Ей почти семьдесят, она давным-давно бабушка, и он видит, как шевелятся ее губы, до того как может различить голос: ее милость спала до одиннадцати, кричала до полуночи, измучилась совсем наша ласточка, часик подремала, проснулась квелая, щечки красные, заподозрили лихорадку, разбудили леди Шелтон, подняли врачей, уже зубки режутся, опасное время! Дали успокаивающую микстурку, к рассвету угомонилась, проснулась в девять, покушала…

— Ой, мастер Кромвель! — говорит леди Брай-

ан. — Да неужто это ваш сын! Какой статный, благослови его Бог, да какой высокий! А лицом-то как пригож, наверное, в мать. А сколько ему годочков?

— Столько, что он уже сам умеет говорить.

Леди Брайан обращает к Грегори счастливое лицо, словно предвкушая, что сейчас они вместе прочтут детский стишок. Вплывает леди Шелтон.

— Добрый день, господа. — Секундная заминка: должна ли тетка королевы сделать реверанс перед хранителем королевских драгоценностей? Подумав, леди Шелтон решает, что не должна. — Полагаю, леди Брайан уже сполна отчиталась вам о своей подопечной?

— О да, и, возможно, теперь мы можем выслушать отчет о вашей.

— Вы не хотите посетить леди Марию?

— После того как ее предупредят…

— Конечно. Я вхожу к леди Марии без оружия, хотя моя племянница Анна и советует ее бить. — Она окидывает его взглядом, проверяя, какое впечатление произвела; воздух потрескивает, словно перед грозой. И как женщинам такое удается? Не исключено, что этот трюк можно освоить. Он не столько видит, сколько чувствует,

как его сын отступает назад, пока не упирается в буфет, в котором выставлена уже довольно внушительная коллекция золотой и серебряной посуды, подаренной принцессе Елизавете. Леди Шелтон говорит:

— Мне поручено, если леди Мария не будет меня слушать — и здесь я дословно цитирую королеву, — бить ее смертным боем, приблуду этакую.

— О, матерь Божия! — стонет леди Брайан. — Я ведь и Марию тоже воспитывала, уж такая она была упрямица в детстве — если с годами не исправилась, то и бейте, раз позволили. Вы ведь сперва захотите посмотреть на малютку, господа? Идемте со мной. — Хваткой няньки или стражника она берет Грегори за локоть и продолжает трещать без умолку: в таком возрасте жар это так страшно! Вдруг, не приведи Господи, корь. Или оспа. Когда у шестимесячного ребенка жар, это может быть любая болезнь… Говоря, леди Брайан часто облизывает пересохшие губы. На горле пульсирует жилка.

Он понимает, зачем Генрих послал его сюда. То, что здесь происходит, в письме не изложишь. Он спрашивает леди Шелтон:

— Вы хотите сказать, королева в письме рас-

порядилась бить леди Марию? Этими самыми словами?

— Нет, это были устные указания. — Она обгоняет его на ходу. — Вы считаете, что я должна им следовать?

— Пожалуй, нам лучше побеседовать наедине, — тихо отвечает он.

— Можно и наедине, — бросает она через плечо.

Маленькая Елизавета туго спеленута в несколько слоев, кулачки примотаны, и хорошо, потому что вид у нее такой, будто она не прочь двинуть тебе в глаз. Жесткие рыжие волосенки выбились из-под чепчика, глаза смотрят настороженно — он никогда не видел, чтобы младенец в колыбели выглядел таким обидчивым.

Леди Брайан спрашивает:

— Ведь правда похожа на короля?

Он мнется, не желая обидеть ни одну из родственных сторон.

— Насколько может быть похожа юная дама.

— Будем надеяться, комплекцией она не в него, — замечает леди Шелтон. — Он ведь еще раздался, да?

— Все говорят, что похожа, кроме Джорджа Рочфорда. — Леди Брайан склоняется над колы-

белью. — А его послушать, так она — вылитая Болейн.

— Мы знаем, что моя племянница почти тридцать лет блюла себя в чистоте, — говорит леди Шелтон, — но даже Анна не сумела бы зачать непорочно.

— И волосы, — добавляет он.

— Точно, — вздыхает леди Шелтон. — Не в обиду ее милости и со всем почтением к его величеству, она у нас светленькая, что твой поросеночек — хоть на ярмарку вези.

Она пытается заправить рыжие волосенки под чепчик. Младенец сморщивает личико и возмущено икает.

Грегори хмуро смотрит на принцессу:

— Она может быть чья угодно.

Леди Шелтон прикрывает рот, пряча улыбку:

— Вы хотели сказать, Грегори, что все младенцы на одно лицо? Идемте, мастер Кромвель.

Она берет его за рукав и тянет прочь. Леди Брайан остается перепеленывать малютку — опять та сбила все пеленки. Он бросает на ходу: «Бога ради, Грегори!» В Тауэр можно угодить и за меньшее. Леди Шелтон он говорит:

— Я не понимаю, как Мария может быть приблудой. Ее родители честно верили, что состоят

в браке.

Она останавливается, поднимает брови.

— Скажете ли вы это моей племяннице-королеве? В лицо?

— Уже сказал.

— А она?

— Знаете, леди Шелтон, будь у нее в руке топор, она бы попыталась отрубить мне голову.

— Тогда и я вам скажу, можете, если хотите, передать моей племяннице. Будь Мария и впрямь приблудой, будь она приблудой последнего безземельного джентльмена в Англии, от меня она все равно видела бы только доброту. Потому что она славная девушка, и надо иметь каменное сердце, чтобы не испытывать к ней жалости.

Она стремительным шагом, волоча шлейф по каменным плитам, идет в центральную часть дома. Навстречу им попадаются прежние слуги Марии, он узнает лица; под эмблемами Генриха у них на одежде следы эмблем бывшей хозяйки. Он смотрит по сторонам и все узнает. Останавливается перед парадной лестницей. Прежде ему не разрешали по ней бегать: для мальчишек вроде него, с дровами или углем, была черная лестница. Как-то он нарушил правило и на верхней ступеньке получил из темноты удар в ухо. Кто там

подкарауливал? Сам кардинал Мортон?

Он трогает камень, холодный, как надгробие: сплетенье виноградных лоз и неведомых цветов. Леди Шелтон смотрит с вопросительной улыбкой, не может понять, что его остановило.

— Может, нам стоит сменить дорожное платье, прежде чем идти к леди Марии. Она может оскорбиться…

— А если вы промедлите, она тоже оскорбится. Так или иначе, она найдет, что поставить вам в вину. Я сказала, что жалею ее, но о как же с ней непросто! Она не выходит ни к обеду, ни к ужину, потому что не хочет сидеть ниже маленькой принцессы. А моя племянница постановила, чтобы ей не носили еду в комнату, кроме хлеба на завтрак, как всем нам…

Леди Шелтон подводит их к закрытой двери.

— Вы по-прежнему называете эту комнату синей?

— Ваш отец бывал здесь раньше, — обращается леди Шелтон к Грегори.

— Мой отец везде бывал, — отвечает тот.

Она поворачивается к ним:

— Успеха вам. И, кстати, она не откликается на «леди Марию».

Комната длинная, почти без мебели, и холод,

словно камердинер, встречает их у входа. Синие шпалеры сняли, оставив голую штукатурку. У почти погасшего камина сидит Мария: сгорбленная, маленькая и пронзительно-юная. Грегори говорит: она похожа на эльфийского подменыша.

Бедный эльфийский подменыш! Ест по ночам, питается хлебными крошками и яблочной кожурой; если рано утром спуститься по лестнице тихо-тихо, можно застать его сидящим в золе.

Мария поднимает глаза, и — удивительное дело! — ее миниатюрное личико светлеет.

— Мастер Кромвель.

Она встает, делает шаг и тут же едва не падает, запутавшись в подоле.

— Сколько времени прошло с нашей последней встречи в Виндзоре?

— Трудно сказать, — серьезно отвечает он. — За эти годы вы успели расцвести.

Мария хихикает; ей уже почти восемнадцать. Она растерянно озирается, ища глазами, на чем сейчас сидела. «Грегори», — говорит он, и его сын делает стремительный шаг вперед, подхватывает бывшую принцессу, пока та не села мимо табурета. Движение похоже на танцевальное па — даже и от Грегори может быть прок.

— Простите, что заставляю вас стоять. Вы мо-

жете, — она машет рукой в неопределенную сторону, — сесть на сундук.

— Думаю, нам хватит сил постоять. А вот вам, полагаю, нет. — Он ловит на себе взгляд Грегори: сын смотрит так, будто никогда не слышал его смягчившегося тона. — Вас ведь не оставляют сидеть одну возле потухшего огня?

— Слуга, который приносит дрова, не хочет обращаться ко мне «принцесса».

— Обязательно ли вам с ним говорить?

— Нет, но если я стану молчать, это будет уловка.

Умница, осложняй себе жизнь чем только можешь.

— Леди Шелтон рассказала мне про затруднения с… про обеденные затруднения. Что если я пришлю врача?

— У нас есть врач. Вернее, у девочки.

— Я могу прислать более толкового. Он пропишет вам режим и потребует, чтобы сытный завтрак приносили сюда, в комнату.

— Мясо? — спрашивает Мария.

— Много мяса.

— А кого вы можете прислать?

— Скажем, доктора Беттса.

Ее лицо смягчается.

— Я его помню по двору в Ладлоу. Когда я была принцессой Уэльской. Была и остаюсь. Как вышло, что я больше не наследница трона, мастер Кромвель? Разве это законно?

— Законно то, что решил парламент.

— Есть закон выше парламента. Закон Божий. Спросите епископа Фишера.

— Я не умею определять Божий Промысел и, Господь свидетель, не считаю епископа Фишера достойным его истолкователем. Воля парламента, напротив, выражена вполне отчетливо.

Она закусывает губу, не желает на него смотреть.

— Я слышала, доктор Беттс теперь еретик.

— Он верит в то же, во что ваш отец король.

Он ждет. Мария поднимает голову, впивается серыми глазами в его лицо.

— Я не назову еретиком милорда моего отца.

— Правильно. Лучше, чтобы эти ловушки сперва проверили ваши друзья.

— Я не понимаю, как вы можете быть мне другом, если вы друг этой особы. Маркизы Пемброкской.

Она не хочет именовать Анну королевой.

— Положение упомянутой дамы таково, что ей не нужны друзья, только слуги.

— Пол говорит, вы — сатана. Мой кузен Реджинальд Пол. Который бежал в Геную. Он сказал, при рождении вы были такой же, как все другие христианские души, но потом в вас вошел дьявол.

— А вам известно, леди Мария, что я бывал тут ребенком? Лет девяти-десяти. Мой дядя был у Мортона поваром, а я, сопливый мальчишка, на заре складывал хворост для растопки печей и сворачивал шеи курам. — Он говорит серьезным тоном. — Как вы думаете, дьявол тогда в меня вошел? Или раньше, примерно в том возрасте, когда другие принимают крещение? Как вы понимаете, мне хотелось бы знать.

Мария наблюдает за ним искоса; на ней старомодный жесткий чепец домиком, из-под которого она смотрит, как лошадь, которой набросили на голову тряпку, а та сползла. Он говорит мягко:

— Я не сатана. И милорд ваш отец не еретик.

— А я не приблуда.

— Конечно. — Он повторяет то же, что сказал Анне Шелтон: — Ваши родители верили, что состоят в браке. Это не означает, что их брак был законным. Вы ведь понимаете разницу?

Она трет пальцем под носом.

— Да, понимаю. Только на самом деле их брак

был законным.

— Скоро королева приедет навестить свою дочь. Если вы просто выкажете ей уважение как супруге своего родителя…

— Только она его сожительница…

— …ваш отец вернет вас ко двору и вы получите все, чего лишены сейчас: тепло и приятное общество. Послушайте меня, я желаю вам добра. Королева не ждет от вас дружбы, ей нужен лишь декорум. Прикусите язык и сделайте реверанс. Это займет одно мгновение и переменит все. Помиритесь с ней сейчас, до того, как она родит. Потому что если будет мальчик, у нее не останется поводов с вами ладить.

— Она меня боится, — говорит Мария, — и будет бояться, даже если родит мальчика. Она боится, что я выйду замуж и мои сыновья станут ей угрозой.

— Кто-нибудь говорит с вами о замужестве?

Сухой недоверчивый смешок.

— Еще в младенчестве меня помолвили с французским дофином. Затем с императором, потом с французским королем, с его старшим сыном, с его вторым сыном, со всеми его сыновьями, сколько их ни на есть, потом один раз опять с императором и один раз с его кузеном. Меня сватали без

передышки. Однако когда-нибудь я выйду замуж на самом деле.

— Но только не за Пола.

Она вздрагивает, и он понимает, что кто-то ей такую мысль подсказал: может быть, прежняя воспитательница Маргарет Пол, а может, Шапюи, который ночи напролет изучает генеалогию английской знати — укрепить ее притязания, сделать их неоспоримыми, выдать полу-испанку Тюдор за коренного Плантагенета.

Он говорит:

— Я видел Пола. Знал его еще до отъезда. Вам такой не годится. Вашему мужу нужна будет твердая рука, чтобы крепко держать меч. Пол похож на старуху, которая сидит в углу и боится леших и домовых. В жилах у него не кровь, а святая вода, и говорят, он рыдает в три ручья, если его слуги убьют муху.

Мария улыбается и тут же затыкает рот рукой, как кляпом.

— Вот и правильно, — кивает он. — Никому ничего не говорите.

Мария произносит, не отнимая пальцев ото рта:

— Я не могу читать. Не вижу букв.

— Что, вам не дают свечей?!

— Нет, я хочу сказать, у меня слабеет зрение. И голова все время болит.

— Вы много плачете?

Она кивает.

— Доктор Беттс привезет лекарства. А до тех пор пусть кто-нибудь читает вам.

— Мне читают. Читают Тиндейлово Евангелие. Вы знаете, что епископ Тунстолл и Томас Мор нашли в этом так называемом Писании две тысячи ошибок? Там больше еретического, чем в священной книге магометан.

Сказано с вызовом, однако он видит, что ее глаза наполняются слезами.

— Все это исправимо, — говорит он.

Мария встает; в первый миг ему кажется, что сейчас она, забывшись, уткнется с рыданиями в его дорожную куртку.

— Доктор приедет на днях. А пока я велю, чтобы вам растопили камин и подали ужин. Куда захотите.

— Дайте мне повидаться с матерью.

— Сейчас король этого не допустит. Однако все может измениться.

— Отец меня любит. Это все она, эта подлая женщина, нашептывает ему всякие гнусности.

— Леди Шелтон будет к вам добра, если только

вы ей позволите.

— Что мне до ее доброты? Я переживу Анну Шелтон, поверьте. И ее племянницу. И всех, кто посягает на мой титул. Пусть делают что хотят. Я молода. Я могу подождать.

Он выходит, Грегори за ним, завороженно оглядываясь на девушку, которая вновь садится у погасшего камина, складывает руки и с каменным лицом принимается ждать.

— Этот ее кроличий мех, — говорит Грегори, — такое впечатление, будто его грызли.

— Да уж, она истинная дочь Генриха.

— А разве кто-то сомневался?

Он смеется.

— Нет, не в этом смысле. Представь… если бы у старой королевы были любовники, избавиться от нее не составило бы труда, но как очернить женщину, которая делила ложе только с одним мужчиной? — Он осекается; даже тем, кто безусловно поддерживает короля, трудно упомнить, что по официальной версии Екатерина была женой принца Артура. — Мне следовало сказать, только с двумя мужчинами. — Он окидывает сына взглядом. — Мария ни разу не посмотрела на тебя, Грегори.

— А по-твоему должна была?

— Леди Брайан считает, что ты чрезвычайно мил. Разве для женщины это не естественно?

— Я не заметил в ней ничего естественного.

— Найди кого-нибудь, кто растопит камин. А я распоряжусь насчет ужина. Вряд ли король хочет уморить ее голодом.

— А ты ей понравился, — говорит Грегори. — Странно.

Он понимает, что сын говорит искренне.

— Разве такого не может быть? Мне кажется, дочери меня любили. Бедняжка Грейс, я так и не знаю, понимала ли она толком, кто я.

— Она тебя обожала, когда ты сделал ей ангельские крылья. Говорила, что будет хранить их всегда-всегда. — Сын отворачивается; в голосе как будто страх. — Рейф утверждает, что скоро ты будешь вторым человеком в королевстве. Что это уже и теперь так, неофициально. Что король поставит тебя выше лорда-канцлера и всех остальных. Даже выше Норфолка.

— Рейф забегает вперед. Послушай, сын, не говори никому о Марии. Включая Рейфа.

— Я услышал больше, чем следовало?

— Что, по-твоему, будет, если король завтра умрет?

— Мы будем скорбеть.

— А кто займет трон?

Грегори кивает в сторону леди Брайан, в сторону девочки в колыбели.

— Так сказал парламент. Или королем станет сын королевы, который еще не родился.

— Но произойдет ли это? На самом деле? Еще не родившийся младенец? Девочка, которой нет и года? При регентстве Анны? Болейны были бы рады, это да.

— Тогда Фицрой.

— Надо ли искать так далеко?

Взгляд Грегори обращается к дверям комнаты, из которой они вышли.

— Вот именно, — говорит Кромвель. — И вот что, Грегори. Очень разумно составлять планы на полгода, на год вперед, но грош им цена, если у тебя нет планов на завтрашний день.

После ужина он беседует с леди Шелтон. Леди Брайан уходит спать, потом спускается их урезонить.

— Вы так за ночь совсем не отдохнете!

— Да-да, — машет на нее Анна Шелтон. — Проснемся квелые, кушать не захотим.

Когда слуги, зевая, уходят, а свечи догорают, они перебираются в другие покои, поменьше и потеплее, продолжают беседу там. Вы дали Ма-

рии добрый совет, говорит леди Шелтон, хорошо бы она ему последовала, боюсь, ей предстоят трудные времена. Она говорит о своем брате Томасе Болейне: эгоистичнее человека я не знаю, и не мудрено, что Анна такая хищница, что она от него слышала, кроме разговоров о деньгах, да как выдвинуться за счет других; он бы продал дочерей голыми на берберийском невольничьем рынке, если бы рассчитывал получить хорошую цену.

Он улыбается, представив, как в окружении слуг с ятаганами торгуется за Марию Болейн; затем вновь переносит внимание на ее тетку. Та посвящает его в секреты Болейнов, он не посвящается в свои секреты, хоть ей и кажется, что посвятил.

Когда он входит в спальню, Грегори уже спит, но приоткрывает глаза и спрашивает:

— Дорогой отец, где ты был, в постели у леди Шелтон?

Это бывает, но не с женщинами из семейства Болейн.

— Чудные сны тебе снятся. Леди Шелтон тридцать лет замужем.

— Я думал после ужина посидеть с леди Марией… надеюсь, я не сказал чего плохого? Только

она такая язвительная. Я не могу разговаривать с такой язвительной девушкой.

Грегори взбрыкивает на перине и тут же засыпает снова.

Когда Фишер наконец приходит в себя и молит короля о прощении, он ссылается на болезнь и старческую немощь. Король отвечает, что не отзовет билль, однако, по своему обыкновению, помилует тех, кто признал свою вину.

Блаженную повесят. Кромвель молчит о троне из костей, только сообщает Генриху, что она больше не пророчествует, и надеется, что на Тайберне, с петлей на шее, она не выставит его лжецом.

Когда советники встают на колени и умоляют вычеркнуть из списка имя Томаса Мора, король уступает. Возможно, Генрих только этого и ждал: чтобы его уговорили. Анны с ними нет; не исключено, что в ее присутствии все повернулось бы иначе.

Они выходят, отряхивая колени. Ему кажется, он слышит смех кардинала из какой-то невидимой части комнаты. Достоинство Одли не пострадало, а вот Норфолк взвинчен, потому что не сумел подняться сам — подвели суставы, — и пришлось им с Одли вдвоем поднимать герцога с колен.

— Я думал, буду стоять там еще час, — говорит тот. — Умоляя и упрашивая.

— Штука в том, — обращается Кромвель к Одли, — что Мор по-прежнему получает из казны пенсион. Думаю, пора это прекратить.

— Он получил передышку. Дай Бог, чтобы одумался. Он привел в порядок свои дела?

— Переписал все, что мог, на детей. Я слышал от Ропера.

— Стряпчие! — ворчит герцог. — Если я впаду в опалу, кто позаботится о моих делах?

Норфолк вспотел; Кромвель умеряет шаг, Одли тоже; пока они топчутся, Кранмер нагоняет их, как запоздалая мысль. Он оборачивается и берет архиепископа под руку. Тот присутствует на всех заседаниях парламента: на скамье епископов, где в последнее время подозрительно много свободных мест.

Папа подгадал время — как раз когда Кромвель проводит через парламент свои великие билли — чтобы наконец-то вынести вердикт по делу о браке Екатерины, с которым столько тянул, — он уже думал, папа хочет сойти в могилу, не сказав ни да, ни нет. Решение Климента: диспенсация обоснована, брак действителен. Сторонники императора жгут на улицах Рима фейерверки.

Генрих высокомерно-насмешлив и выражает свое отношение танцами. Анна еще танцует, хотя живот уже заметен; летом ей нужно будет себя беречь. Кромвель помнит руку короля на талии Лиззи Сеймур. Дальше дело не пошло — Лиззи не дурочка. Теперь король увивается вокруг маленькой Мэри Шелтон — подбрасывает ее в воздух, щекочет, стискивает и доводит до беспамятства комплиментами. Это ничего не значит; он видит, как Анна вздергивает подбородок и, откинувшись в кресле, бросает какое-то тихое замечание; глаза лукавы, вуаль на миг задевает джеркин наглеца Фрэнсиса Уэстона. Очевидно, что Анна намерена терпеть Мэри Шелтон, даже умасливать. Лучше не выпускать короля за пределы семьи, а сестры под рукой нет. Где Мария Болейн? В деревне; наверняка, как и он, ждет не дождется тепла.

И лето приходит, без паузы на весну, утром в понедельник, словно новый слуга с сияющим лицом, — тринадцатого апреля. Они в Ламбете — Одли, Кромвель и архиепископ. Солнце бьет в окна. Он смотрит вниз на дворцовый сад. Так начинается «Утопия»: друзья беседуют в саду. На дорожке королевские капелланы дурачатся, словно школяры: Хью Латимер повис на плечах

у двух собратьев-клириков, так что ноги оторвались от земли. Для полного счастья им не хватает только мяча.

— Мастер Мор, — говорит он, — что если вам прогуляться на солнышке? А через полчаса мы вас снова вызовем и предложим присягнуть; вы дадите нам другой ответ, не так ли?

Мор встает; слышно, как щелкают суставы.

— Томас Говард стоял ради вас на коленях! — говорит Кромвель. Кажется, это было недели назад. Работа за полночь и постоянные дискуссии по утрам вымотали его, зато обострили чувства, и он спиной ощущает, что Кранмер вот-вот сорвется. Надо выставить Мора на улицу, пока этого не произошло.

— Не знаю, что, по-вашему, изменят полчаса, — говорит Мор. Тон беззлобный, добродушно-шутливый. — Конечно, для вас они многое могут изменить.

Мор попросил, чтобы ему показали акт о престолонаследии. Одли разворачивает документ, и Мор принимается читать, хотя читал уже раз десять.

— Очень хорошо. Однако я надеюсь, что выразился вполне ясно. Я не могу присягнуть, но не скажу ни слова против вашей присяги и не стану

отговаривать тех, кто намерен ее принять.

— Вы прекрасно знаете, что этого недостаточно.

Мор кивает и стремительным зигзагом идет к двери, задевая угол стола, так что Кранмер вздрагивает и бросается ловить качнувшуюся чернильницу.

Мор прикрывает за собой дверь.

— Итак?

Одли сворачивает документ и постукивает им по столу, глядя туда, где стоял Мор. Кранмер говорит:

— Послушайте, я придумал. Что если мы позволим ему присягнуть тайно? Он клянется, но мы обещаем никому не говорить. Или, если не может дать эту присягу, мы спросим, какая бы его устроила?

Кромвель смеется.

— Вряд ли король с этим согласится. — Одли вздыхает. Тук, тук, тук. — После всего, что мы сделали для него и для Фишера. Его имя вычеркнуто из билля. Фишера оштрафовали, а не бросили в темницу до конца жизни. И мы же теперь это расхлебывай.

— Блаженны миротворцы, — цедит Кромвель. Ему хочется кого-нибудь задушить.

Кранмер говорит:

— Мы побеседуем с Мором еще раз. Если он не хочет присягать, пусть хоть приведет основания.

Кромвель, чертыхнувшись вполголоса, отворачивается от окна.

— Мы знаем его основания. Вся Европа их знает. Мор против развода. Мор считает, что король не может быть главой церкви. Скажет он это? Ни за что, уж поверьте. А знаете, что бесит больше всего? Меня бесит, что я участвую в пьесе, которую он сочинил, от начала и до конца. Меня бесит, что мы тратим время, которое могли бы употребить на что-нибудь дельное, что наша жизнь уходит, и мы успеем состариться, прежде чем доиграем этот фарс. А больше всего меня бесит, что сэр Томас Мор сидит в зрительном зале и злорадно посмеивается, когда я сбиваюсь и путаю слова, потому что он сам написал роли. Писал их все эти годы.

Кранмер, как мальчишка-слуга, наливает ему вина, подходит бочком:

— Вот.

В руках архиепископа чаша неизбежно обретает сакральный смысл: не разбавленное водой вино, но некая двусмысленная смесь, это Моя кровь, это похоже на Мою кровь, это более-менее

похоже на Мою кровь; сие творите в Мое воспоминание. Кромвель протягивает кубок обратно. Северные немцы получают перегонкой крепкое зелье — *аквавите;* оно бы сейчас лучше помогло.

— Зовите Мора, — говорит он.

Мгновение, и Мор в дверях, негромко чихает.

— Бросьте, — улыбается Одли, — так ли надлежит являться герою?

— Уверяю вас, я ни в коей мере не стремлюсь быть героем, — отвечает Мор. — Там траву скосили.

Снова чихает, поправляет мантию, садится в поставленное ему кресло. А в первый раз отказался.

— Так-то лучше, — говорит Одли. — Я знал, что воздух пойдет вам на пользу.

Поднимает глаза, мол, давайте к нам, но он, Кромвель, дает понять, что останется, где стоял, у окна.

— Уж и не знаю, — добродушно говорит Одли. — Сперва один не садится. Теперь другой. Вот, — придвигает Мору бумагу, — имена пресвитеров, которые вчера принесли клятву и подали вам пример. И вам известно, что все члены парламента согласились. Почему не соглашаетесь вы?

Мор смотрит из-под бровей:

— Нам всем сейчас здесь неуютно.

— Там, куда отправитесь вы, много неуютнее, — говорит Кромвель.

— Надеюсь, это будет не ад, — улыбается Мор.

— Если вы, присягнув, обречете себя на погибель, то как насчет остальных? — Кромвель рывком отделяется от стены, хватает бумагу и шлепает ее на плечо Мору. — Они все прокляты?

— Я не могу отвечать за их совесть, только за свою собственную. Если я принесу вашу присягу, то буду проклят.

— Многие позавидовали бы вашему умению читать волю Божью, — говорит Кромвель. — Впрочем, вы с Богом давно запанибрата, верно? Меня изумляет ваша дерзость. Вы говорите о своем Творце как о приятеле, с которым в воскресенье вместе удили рыбу.

Одли подается вперед.

— Давайте проясним. Вы не можете присягнуть, потому что вам не позволяет совесть?

— Да.

— Не соблаговолите ли объяснить более внятно?

— Нет.

— Вы возражаете, но не станете говорить, почему?

— Да.

— В данном случае для вас неприемлем статут, или форма присяги, или сама идея присяги как таковая?

— Я предпочел бы не отвечать.

Кранмер вмешивается:

— В вопросах, затрагивающих совесть, всегда остается место для сомнений…

— О да, но это не каприз. Я долго и прилежно советовался с собой, и в данном вопросе голос моей совести вполне отчетлив. — Мор склоняет голову набок, улыбается. — Разве с вами не так, милорд?

— И все же наверняка есть какие-то сомнения. Вы ученый, привыкли к дебатам и разногласиям, так что наверняка спрашиваете себя: почему столько образованных мужей думает так, а я — иначе? Одно бесспорно: естественный долг подданного — покорствовать королю. К тому же давно, вступая в должность в совете, вы клялись ему повиноваться. Почему же не повинуетесь? — Кранмер моргает. — Противопоставьте свои сомнения этой непреложности и присягните.

Одли откидывается в кресле и закрывает глаза, словно говоря: никто из нас лучше не скажет.

Мор говорит:

— Когда вы вступали в сан архиепископа,

назначенного папой, вы присягнули Риму, но утверждают, будто во время всей церемонии вы держали в кулаке сложенную записку, где говорилось, что вы клянетесь против своей воли. Или это неправда? Утверждают, будто текст записки составил мастер Кромвель.

Одли резко открывает глаза: лорду-канцлеру кажется, что Мор отыскал для себя лазейку. Однако за улыбкой Мора прячется злоба.

— Я не пойду на такие фокусы, — мягко произносит Мор, — не стану ломать комедию перед моим Господом Богом, не говоря уже об английских верующих. Вы говорите, что за вами большинство. Я говорю, что оно за мной. Вы говорите, за вами парламент, а я говорю, что за мною ангелы и святые, и весь сонм усопших христиан, все поколения с основания церкви Христовой, тела единого и нераздельного…

— О, ради Христа! — вскипает он. — Ложь не перестает быть ложью из-за того, что ей тысяча лет. Ваша нераздельная церковь ничего так не любит, как терзать собственных чад, жечь их и рубить, когда они отстаивают свою совесть, вспарывать им животы и скармливать внутренности псам. Вы зовете себе на помощь историю, но что она для вас? Зеркало, которое льстит Томасу Мору.

Однако у меня есть другое зеркало, и в нем отражается опасный честолюбец. Я поворачиваю его, и в нем отражается убийца, ибо один Бог ведает, скольких вы утащите за собой — им достанутся только страдания, но не ваш ореол мученика. Вы не простая душа, так что не пытайтесь упрощать. Вы знаете, что я вас уважал. Уважал с детства. Мне легче было бы потерять сына, легче было бы видеть, как ему отрубят голову, чем смотреть, как вы отказываетесь от присяги на радость всем врагам Англии.

Мор поднимает глаза и мгновение выдерживает его взгляд.

— Грегори — милый юноша. Не желайте ему смерти. Если он что-нибудь делает не так, он исправится. То же самое я говорю о своем сыне. На что он годен? И все же он стоит больше любого дискуссионного вопроса.

Кромвель готов прибить Мора за один этот добродушный тон.

Кранмер в отчаянии трясет головой:

— Это не дискуссионный вопрос.

— Вы упомянули своего сына, — говорит Кромвель. — Что будет с ним? С вашими дочерьми?

— Я посоветую им присягнуть. Я не предполагаю в них моей щепетильности.

— Я не об этом, и вы прекрасно меня поняли. Вы хотите поработить их императору? Вы — не англичанин.

— Вы сам едва ли англичанин, — говорит Мор. — Французский солдат, итальянский банкир. Едва выйдя из отрочества, вы бежали на чужбину, спасаясь от тюрьмы или от петли, грозивших вам за вашу юношескую необузданность. Я скажу вам, кто вы, Кромвель. Вы итальянец до мозга костей, со всеми их страстями и пороками. Ваша неизменная обходительность — я знал, что когда-нибудь она кончится. Это монета, которая слишком часто переходила из рук в руки. Тонкий слой серебра стерся, и мы видим низкий металл.

Одли ухмыляется:

— Вы, кажется, не следите за трудами мастера Кромвеля на Монетном дворе. Деньги, которые он чеканит — высшей пробы.

Одли не может не зубоскалить, такой уж у лорда-канцлера характер; кто-то должен сохранять спокойствие. Кранмер бледен и в поту, у Мора на виске пульсирует жилка. Кромвель говорит:

— Мы не можем отпустить вас домой. Однако мне представляется, что вы сегодня не в себе. Поэтому, чем отправлять в Тауэр, мы, очевидно, попросим аббата Вестминстерского подержать

вас под арестом у себя дома… Вы согласны, милорд Кентербери?

Кранмер кивает. Мор говорит:

— Мне не следовало насмехаться над вами, мастер Кромвель. Теперь я вижу, что вы мой самый дорогой и заботливый друг.

Одли кивает страже. Мор встает легко, словно мысль об аресте добавила ему молодых сил; впечатление несколько подпорчено тем, что он по обыкновению поддергивает мантию и, делая семенящее движение, как будто запутывается в своих ногах. Ему, Кромвелю, вспоминается Мария в Хэтфилде: как та встала и тут же забыла, где ее табурет. Мора наконец спроваживают из комнаты.

— Теперь наш друг получил в точности что хотел, — говорит Кромвель.

Он прикладывает руку к окну и видит отпечатки своих пальцев на старом бугристом стекле. С реки натянуло облаков; лучшая часть дня позади. Одли идет к нему через комнату и неуверенно встает рядом.

— Если бы только Мор указал, какие части присяги для него неприемлемы, можно было бы что-нибудь добавить, чтобы снять возражения.

— Забудьте. Если он что-нибудь укажет, ему

конец. Теперь единственная его надежда в молчании, и та призрачная.

— Король мог бы согласиться на какой-то компромисс, — говорит Кранмер. — А вот королева, боюсь, нет. Да и впрямь, — продолжает архиепископ слабым голосом, — с какой стати ей соглашаться?

Одли кладет руку ему на локоть.

— Мой дорогой Кромвель. Кто в силах понять Мора? Его друг Эразм советовал ему держаться подальше от власти, для которой он не создан, и был совершенно прав. Ему не следовало принимать мой нынешний пост. Он сделал это исключительно в пику Вулси, из ненависти к тому.

Кранмер говорит:

— Эразм советовал ему воздерживаться и от богословия тоже. Или я ошибаюсь?

— Как вы можете ошибаться? Мор публикует все письма своих друзей. Даже содержащиеся в них упреки обращает к своей выгоде — смотрите, мол, на мое смирение, я ничего не скрываю. Он живет на публику. Каждая посетившая его мысль излагается на бумаге. Он ничего не держал при себе до сего дня.

Одли, перегнувшись через него, распахивает окна. Через подоконник в комнату перехлесты-

вает птичий гомон — заливистый, громкий свит дрозда-дерябы.

— Думаю, Мор напишет отчет о сегодняшнем дне, — говорит Кромвель, — и отошлет печатать за границу. В глазах Европы мы предстанем дураками и мучителями, а он — невинным страдальцем и автором блистательных афоризмов.

Одли похлопывает его по плечу — хочет утешить. Однако кому это под силу? Он безутешный мастер Кромвель: непостигаемый, неизъяснимый и, возможно, неупраздняемый.

На следующий день король за ним посылает. Он думает, Генрих хочет распечь его за неспособность привести Мора к присяге.

— Кто будет сопровождать меня на эту фиесту? — спрашивает Кромвель. — Мастер Сэдлер?

Как только он входит, Генрих грозным движением руки велит приближенным освободить ему место. Лицо мрачнее тучи.

— Кромвель, разве я был вам дурным государем?

Незаслуженная доброта вашего величества… ваш ничтожный слуга… если не оправдал ожиданий в чем-либо конкретном, умоляю всемилостивейше простить…

Он может так говорить часами. Научился у

Вулси.

Генрих перебивает:

— Милорд архиепископ считает, что я не воздаю вам по заслугам. Однако, — обиженный тон человека, которого неправильно поняли, — я славлюсь своей щедростью. — Генрих явно озадачен: как же так вышло? — Вы станете государственным секретарем. Награды воспоследуют. Не понимаю, почему я не сделал этого раньше. Но скажите мне: на вопрос о лордах Кромвелях, которые некогда были в Англии, вы ответили, что никак с ними не связаны. Вы ничего с тех пор не надумали?

— Сказать по чести, я больше об этом не вспоминал. Я не возьму ни чужое платье, ни чужой герб, иначе покойник встанет из могилы и разоблачит меня как самозванца.

— Милорд Норфолк говорит, вы нарочно выставляете свое низкое происхождение напоказ, желая ему досадить. — Генрих берет его под руку. — Отныне куда бы я ни ехал — хотя этим летом мы воздержимся от дальних поездок, учитывая состояние королевы, — вам будут отводить комнаты рядом с моими, чтобы мы могли разговаривать, когда мне потребуется, и по возможности смежные, чтобы никого за вами не посылать. —

Король улыбается придворным, и те приливают, как волна. — Разрази меня Бог, — продолжает Генрих, — если умышленно вами пренебрегал. Я знаю, кто мне друг.

На улице Рейф говорит:

— Разрази его Бог… Как же он страшно божится! — Обнимает хозяина. — Что ж, лучше поздно, чем никогда. Но послушайте, я должен вам кое-что рассказать, пока мы не дома.

— Говори сейчас. Что-то хорошее?

Подходит джентльмен и говорит:

— Господин секретарь, ваша барка готова доставить вас домой.

— Надо мне завести дом возле реки, — произносит Кромвель. — Как у Мора.

— И оставить Остин-фрайарз? — спрашивает Рейф. — Вспомните свой теннисный корт. Сады.

Король все подготовил втайне. Герб Гардинера сбили, и над флагом с розой Тюдоров сейчас поднимают флаг с гербом Кромвеля. Он впервые поднимается на борт собственной барки, и на реке Рейф сообщает свои новости. Качание суденышка под ногами едва ощутимо. Флаги обвисли. Все еще утро, мглистое, пегое; кожа, ткань или свежая листва — там, где на них попадает солнце — поблескивают, словно яичная скорлупа. Углы

сглажены, весь мир лучится и напоен влажным зеленым ароматом.

— Я уже полгода женат, — говорит Рейф, — и никто не знает, только вы теперь знаете. Я женился на Хелен Барр.

— О, кровь Христова! — восклицает он. — В моем собственном доме! О чем ты думал?

Рейф безмолвно выслушивает все: ни гроша за душой, ни связей, ни положения, ничего, кроме красивой мордашки, ты мог бы жениться на богатой наследнице. Вот погоди, я сообщу твоему отцу! Он будет в ярости, скажет, что я за тобой не доглядел.

— А вообрази, что вдруг объявится ее муж!

— Вы сказали ей, что она свободна. — Рейф дрожит.

— Кто из нас свободен?

Он вспоминает, как Хелен спросила: «Так я могу снова выйти замуж? Если кто-нибудь меня возьмет?» Вспоминает ее долгий многозначительный взгляд, которого тогда не понял. С тем же успехом она могла пройтись перед ним колесом, он бы не заметил: для него разговор был окончен, и мысли уже двинулись в другую сторону. Если бы я сам перед нею не устоял, кто бы меня осудил за женитьбу на бедной прачке — да хоть на уличной

попрошайке? Люди сказали бы: вот чего хотел мастер Кромвель, упругую женскую плоть, мудрено ли, что он пренебрег богатыми вдовушками. Ему не нужны деньги, не нужны связи, он волен следовать своим влечениям, он уже сегодня государственный секретарь, а завтра — кто знает?

Он смотрит на воду, то бурую, то прозрачную под солнцем, но всегда подвижную: в глубине ее рыбы, водоросли; утопленники колышут неживыми руками. На илистый берег выбрасывает пряжки от ремней, осколки стекла, мелкие монетки со стершимся профилем короля. Как-то в детстве он нашел подкову. Лошадь в реке? Ему казалось это большим везением. Однако отец сказал: если бы подковы приносили счастье, я был бы королем Страны Обжор.

Первым делом он идет на кухню рассказать Терстону новости.

— Ну, — весело говорит повар, — вы так и так эту работу исполняете. — Смеется. — Епископ Гардинер сгорит от злости. Его кишки изжарятся в собственном жиру. — Сдергиваете подноса окровавленное полотенце. — Видите этих перепелок? У осы и то больше мяса.

— Потушить их в мальвазии? — предлагает он.

— Что, три дюжины? Только вино переводить.

Для вас, если хотите, могу и потушить. Это от лорда Лайла из Кале. Будете ему писать, скажите, пусть следующий раз, как захочет сделать вам подарок, шлет жирненьких или никаких. Запомните?

— Запишу для памяти, — серьезно отвечает он. — Думаю, теперь совет будет время от времени собираться здесь, когда без короля. Можно будет сперва кормить всех обедом.

— Верно. — Терстон хихикает. — Норфолку не помешало бы нарастить мясца на его тощие ноги.

— Терстон, ты можешь больше не пачкать руки. У тебя довольно помощников — надень золотую цепь и расхаживай между ними.

— А вы разве так поступаете? — Птичья тушка шмякается на поднос, Терстон счищает с пальцев налипшие перья. — Нет уж, я лучше сам. На случай, если все повернется иначе. Я не говорю, что так будет, но вспомните кардинала.

Он вспоминает Норфолка: велите ему убираться с глаз долой, иначе я сам к нему явлюсь и разорву его вот этими зубами.

Могу я сказать не «разорвете», а «покусаете»?

На память приходит пословица: *homo homini lupus est,* человек человеку волк.

— Итак, — говорит он Рейфу, — ты сделал себе имя, мастер Сэдлер. Подал отличный пример, как человек может сгубить свою будущность. Отцы будут указывать на тебя сыновьям.

— Я ничего не мог с собой поделать, сэр!

— Это как?

Рейф отвечает насколько может сухо:

— Я был охвачен сильнейшей страстью.

— И что это за ощущение? Вроде сильнейшего гнева?

— Наверное. Возможно. Чувствуешь себя более живым.

Интересно, думает он, влюблялся ли кардинал? Впрочем, какие могут быть сомнения? Всепоглощающая любовь Вулси к Вулси опалила всю Англию.

— Скажи мне, в тот вечер, после коронации… — Он встряхивает головой, перебирает бумаги на столе: письма от мэра Гулля.

— Я все расскажу, что ни спросите, — говорит Рейф. — Понять не могу, как я вам сразу не открылся. Только Хелен, моя жена, она думала, нам лучше хранить тайну.

— А теперь, как я понимаю, она ждет ребенка, и скрывать больше нельзя?

Рейф краснеет.

— В тот вечер, когда я пришел в Остин-фрайарз, чтобы отвезти ее к жене Кранмера, она спустилась… — его глаза движутся, словно снова видят ту картину, — она спустилась без чепца, а ты выбежал следом, взъерошенный, и был очень на меня зол…

— Да. — Рейф непроизвольно приглаживает волосы, будто сейчас это что-то исправит. — Все ушли на праздник. Тогда мы впервые сошлись, но это был не блуд. Она поклялась быть навеки моей.

Он думает, хорошо, что я взял к себе в дом не бесчувственного юнца, думающего только о своей выгоде. Тот, кто не знает порывов, не ведает и настоящей радости. Под моим покровительством Рейф может позволить себе следовать душевным порывам.

— Слушай, Рейф. Это… ну, видит Бог, это глупость, но не катастрофа. Скажи отцу, что мое возвышение обеспечит твою карьеру. Конечно, он будет рвать и метать. На то они и отцы. Он скажет, будь проклят день, когда я отдал сына в распутный дом Кромвеля. Но мы его урезоним. Постепенно.

До сих пор Рейф стоял, теперь оседает на табурет — голова запрокинута, руки стиснули виски,

облегчение разливается по всему телу. Кого он так боялся? Меня?

— Послушай, как только твой отец увидит Хелен, он поймет, если только он не…

Если только что? Надо быть мертвым и в могиле, чтобы не увидеть ее прекрасное, дерзкое тело, ее кроткие глаза…

— Только надо снять полотняный фартук и нарядить ее как мистрис Сэдлер. И конечно, тебе потребуется свой дом. Тут я могу помочь. Я буду скучать по детям, я к ним привязался, и Мерси тоже, мы все их любим. Если хочешь, чтобы твой ребенок был первым в доме, мы можем оставить их здесь.

— Спасибо. Но Хелен с ними не расстанется. Мы уже все меж собой решили.

Значит, у меня в Остин-фрайарз больше не будет детей, думает он. Во всяком случае, пока я не оторвусь от королевских дел и не выделю время для ухаживаний; и пока не научусь слушать женщину, когда та ко мне обращается.

— Чтобы твой отец смягчился, скажем ему вот что: отныне, если я отлучаюсь от короля, с ним остаешься ты. Мастер Ризли пусть занимается шифрами и слежкой за иностранными послами — эта работа как раз для его хитрой натуры. Ри-

чард будет в мое отсутствие за старшего в доме и конторе, мы же с тобой станем обхаживать Генриха как две нянюшки, исполняя каждый его каприз. — Он смеется. — Ты джентльмен по рождению. Король может приблизить тебя к себе, назначить камергером. Мне это было бы полезно.

— Я этого не ждал. Даже не думал о таком! — Рейф опускает глаза. — Конечно, я не смогу представить Хелен ко двору.

— В нынешнем мире — да. И я не думаю, что он изменится при нашей жизни. Однако ты сделал выбор. Не раскаивайся в нем ни сейчас, ни потом.

Рейф говорит с чувством:

— Разве я мог что-то от вас скрыть? Вы все видите!

— Хм. Только до определенного предела.

После ухода Рейфа он приступает к вечерней работе: бумага за бумагой ложится в свою стопку. Его билли приняты парламентом, но всегда есть следующий билль, который надо готовить. Составляя законы, проверяешь слова на прочность. Если закон предполагает наказание, имей силу наказывать: не только бедных, но и богатых, не только в Сассексе и Кенте, но и в Корнуолле, на

границе с Шотландией и в болотах Уэльса. Он составил присягу, проверку на верность Генриху, и намерен привести к ней всех мужчин по городам и весям, а также всех сколько-нибудь значимых женщин: богатых вдов, землевладелиц. Его комиссары пройдут по холмам и долам, требуя от людей, едва слышавших об Анне Болейн, признать наследником ребенка в ее утробе. Если человек знает, что короля зовут Генрихом, пусть клянется; плевать, что он путает нынешнего монарха с его отцом или каким-нибудь другим Генрихом. Народ не помнит своих государей; их черты на монетах, которые он в детстве выуживал из речного ила, были едва ощутимой неровностью под пальцами; даже дома, счистив грязь, он не мог разобрать, кто на них. Это кто, король Цезарь? — спросил он. Уолтер сказал, дай глянуть, и тут же с отвращением отбросил монетку, сказав, это фартинг одного из тех королей, которые воевали во Франции. Иди зарабатывай, сказал отец, и выкинь из головы Цезаря — когда Адам лежал в колыбели, Цезарь уже был стариком.

Он мог бы пропеть: «Кто джентльменом был спервоначала, когда Адам пахал, а Ева пряла?» — Уолтер погнался бы за ним и, если бы догнал,

навешал оплеух: это бунтарская песенка, у нас с бунтовщиками разговор короткий. Мятежные корнуольцы из дней его детства лежат в неглубоких могилах, но всегда есть другие корнуольцы. А под Корнуоллом, под всей Англией и дальше, под топкими болотами Уэллса и гористым шотландским приграничьем есть другая земля, куда вряд ли доберутся его комиссары. Кто приведет к присяге хобгоблинов, обитающих в дуплах и колючих изгородях? Диких людей в лесной чаще? Святых в нишах? Духов священных источников, чьи голоса звучат в шелесте жухлой листвы? Выкидышей, зарытых в неосвященную землю? Незримых покойников, что теснятся зимой у кузниц и сельских очагов, силясь согреть голые кости? Ибо и они — его соотечественники, несметные поколения мертвецов, застящих живым свет: бескровные призраки господина и слуги, монашки и шлюхи, попа и монаха — они пожирают живую Англию, высасывают соки из ее будущего.

Он смотрит в бумаги на столе, но мысли далеко. Моя дочь Энн сказала: «Я выбираю Рейфа». Он закрывает лицо руками; Энн Кромвель встает перед ним, десяти-одиннадцати лет от роду, коренастая и решительная, как боец, ее маленькие глаза не

мигают, уверенные в своей власти над судьбой.

Он трет веки. Перебирает бумаги. Что это? Аккуратный писарский почерк, все слова разборчивы, но смысла в них нет.

> Два ковра. Один разрезан на куски.
> 2 простыни, 2 подушки, 1 тюфяк.
> 2 тарелки, 4 миски, 2 блюдца.
> Один таз, весом 12 фунтов, 4 пенса за фунт; приобретен аббатисой за 4 шиллинга.

Он переворачивает бумагу, пытаясь понять, откуда она взялась, и осознает, что смотрит на опись имущества Элизабет Бартон, оставшегося в монастыре. Все это отошло королю: доска, служившая столом, три наволочки, два подсвечника, плащ стоимостью пять шиллингов. Старая пелерина пожертвована младшей монахине обители. Еще одна монахиня, сестра Алиса, получила одеяло.

Он сказал Мору: «Пророчества ее не обогатили». Делает для себя пометку: «Передать Элизабет Бартон деньги для палача». Последним, кого она увидит, поднимаясь по лестнице, будет палач с протянутой лапищей. Блаженная должна дать ему монету, иначе перед смертью ее ждут лишние мучения. Она думала о том, за какое время

сгорает тело, но не о том, сколько повешенный задыхается в петле. Англия немилосердна к беднякам. За все надо платить, даже за то, чтобы тебе переломили шею.

Семья Томаса Мора присягнула. Он сам при этом присутствовал, и леди Алиса ясно дала понять, что считает Кромвеля ответственным за неспособность урезонить ее мужа.

— Спросите его, о чем он, во имя Господа, думает. Спросите, он что, считает это умно: оставить жену без поддержки, сына — без совета, дочерей — без защиты, и всех нас — во власти такого человека, как Томас Кромвель?

— Ну вот, и вам досталось, — с тихой полуулыбкой произносит Мэг, беря его руки в свои. — Мой отец очень тепло о вас отзывался. О вашей учтивости и вашей резкости, которую считает не менее для себя лестной. Он говорит, что надеется, вы его понимаете. Как он понимает вас.

— Мэг! Вы в силах посмотреть мне в глаза?

Еще одно женское лицо, поникшее под тяжестью жесткого чепца: Мэг теребит вуаль, словно они стоят на ветру и тонкая ткань в силах ее защитить.

— Я уговорю короля повременить день-другой. Думаю, ему самому не хочется отправлять ва-

шего отца в Тауэр, он только и ждет малейшего намека на…

— Капитуляцию?

— Поддержку. И тогда… награда превысит все ожидания.

— Сомневаюсь, что король может предложить ту награду, к которой он стремится, — говорит Уилл Ропер. — Увы. Идем, Мэг, надо увести твою мать, пока она не устроила сцену. — Ропер протягивает руку. — Мы знаем, что вы не мстительны, сэр. Хотя, видит Бог, он не был другом вашим друзьям.

— Вы сами были когда-то их братом.

— Люди меняют взгляды.

— Всецело согласен. Скажите это своему тестю.

Неутешительные слова для прощания. Я не позволю Мору, да и его семье, думает Кромвель, тешиться иллюзией, будто они меня понимают. Как им меня понять, если мои мотивы скрыты от меня самого?

Он делает пометку: Ричарду Кромвелю явиться к аббату Вестминстерскому, чтобы сопроводить арестованного сэра Томаса Мора в Тауэр.

Почему я медлю?

Дадим-ка ему еще день.

Пятнадцатое апреля 1534 года. Он зовет клерка

разобрать завтрашние бумаги, а сам остается у камина. Полночь, свечи почти догорели. Он берет одну и поднимается наверх. В ногах большой одинокой кровати храпит, разметавшись, Кристоф. Боже, думает он, как комична моя жизнь. «Проснись!» — он не кричит, а шепчет, и когда Кристоф не просыпается, начинает катать того взад-вперед, как тесто на доске. Наконец мальчишка открывает глаза и выдает затейливое французское богохульство.

— Мой добрый хозяин, я не знал, что это вы, мне снилось, что я пирожок. Простите, я вдребезги пьян, мы отмечали союз прекрасной Хелен со счастливчиком Рейфом.

Кристоф поднимает сжатый кулак и делает непристойный жест, потом рука безвольно падает на грудь, веки сами собой закрываются. Последний раз икнув, Кристоф снова проваливается в сон.

Кристоф тяжел, как упитанный щенок бульдога. Он стаскивает слугу на лежанку; тот сопит, бормочет, но больше не просыпается.

Кромвель складывает одежду и читает молитвы. Кладет голову на подушку. «7 простынь, 2 подушки, один тюфяк». Он засыпает, едва задув свечу, но во сне к нему приходит дочь Энн. Она

скорбно поднимает левую руку, показывая, что на пальце нет обручального кольца, потом закручивает волосы в жгут и наматывает себе на шею, как удавку.

Преполовение лета: женщины спешат в покои королевы со стопками чистых простынь. Глаза пустые, напуганные, поступь торопливая, сразу понятно — их лучше не останавливать. Разводят огонь в камине, жгут окровавленное тряпье. Если есть что хоронить, эта тайна надежно сберегается женщинами.

В ту ночь, ссутулившись в оконной нише, под острыми, как ножи, звездами, Генрих сказал ему: я виню Екатерину. Ее утроба поражена недугом. Все эти годы она меня обманывала: она не могла выносить мальчика и знала об этом от своих врачей. Екатерина утверждает, что по-прежнему меня любит, а на самом деле сживает меня со свету. Она приходит по ночам, с холодными руками и холодным сердцем, и ложится между мной и женщиной, которую я люблю. Она кладет руку на мои чресла, и от ее ладони пахнет могилой.

Лорды и леди дают служанкам и повитухам деньги, спрашивают, какого пола был ребенок, но женщины отвечают то так, то эдак. Да и неизвестно, что хуже: если Анна зачала еще девочку

или если выкинула мальчика.

Преполовение лета: по всему Лондону жгут костры, все короткие ночи напролет. По улицам бродят драконы, пускают из ноздрей дым и лязгают механическими крыльями.

II Карта христианского мира

1534–1535

— Хотите место Одли? — спрашивает его Генрих. — Только скажите.

Лето кончилось. Император не напал. Папа в могиле вместе со своим вердиктом; игру можно начинать по новой. Он оставил дверь приоткрытой, самую малость, чтобы новый епископ Римский мог разговаривать с Англией. Сам он предпочел бы захлопнуть дверь наглухо, но здесь не до личных предпочтений.

Кромвель задумывается: надо ли становиться канцлером? Хорошо бы иметь пост в судебной иерархии, так почему не высший?

— Мне не хотелось бы трогать Одли. Если ваше величество им довольны, то и я тоже.

Он помнит, что Вулси как лорд-канцлер вынужден был торчать в Лондоне, когда король находился в другом месте. Да, Вулси много заседал в судах, но у нас довольно стряпчих.

Генрих говорит, просто скажите, что, по-вашему, лучше. Мольба влюбленного: что же тебе подарить? Король говорит, Кранмер убеждает

меня, слушайте Кромвеля; если ему нужен пост, налог, пошлина, закон или королевская прокламация, дайте их.

Место начальника судебных архивов свободно. Это древний пост главы одной из важнейших канцелярий Англии. Все эти высокоученые мужи, по большей части епископы, которые лежат под мраморными надгробьями с латинскими надписями, перечисляющими их добродетели, станут его предшественниками. Он никогда не чувствовал себя таким живым, как сейчас, когда срывает с дерева этот сочный плод.

— Вы были правы насчет кардинала Фарнезе, — говорит Генрих. — Теперь у нас новый папа — я должен был сказать, епископ Римский, — и я выиграл свое пари.

— Вот видите, — отвечает Кромвель, улыбаясь. — Кранмер был прав. Слушайтесь моих советов.

Двор веселится, узнав, как римляне отметили смерть папы Климента: вскрыли гробницу и протащили голое тело по улицам.

Дом архивов на Чансери-лейн — престранное место; он в жизни не видел ничего диковиннее. Внутри пахнет плесенью, пылью и свечным салом. Сразу за кособоким фасадом начинается

лабиринт узких коридоров с низкими дверьми. Интересно, были наши предки карликами или просто не умели как следует подпирать потолки?

Дом построен триста лет назад тогдашним Генрихом в качестве убежища для евреев, желавших перейти в христианство. Если они решались на этот шаг — весьма разумный для тех, кто хотел спастись от преследований, — то должны были передать все имущество короне. Это справедливо, что после корона обеспечивала им кров и пропитание до конца дней.

Кристоф впереди него бежит вглубь дома.

— Гляньте!

Ведет пальцем через огромную паутину, оставляя в ней длинную прореху.

— Бессердечный мальчишка! Ты разрушил ее дом! — Он разглядывает иссохшую жертву Ариадны: лапка, крылышко. — Идем, пока она не вернулась.

Через пятьдесят лет после создания приюта евреев навеки изгнали из королевства. Однако дом никогда не пустовал; даже и сейчас здесь живут две женщины. Я к ним загляну, говорит он.

Кристоф простукивает стены и потолок с таким видом, будто знает, что ищет.

— А не дашь ли ты стрекача, — с удовольствием произносит он, — если на твой стук ответят?

— О, Господи! — Мальчишка крестится. — Тут, небось, человек сто померло, и евреев, и христиан.

За штукатуркой точно лежат мышиные скелетики: сотни поколений, некогда проворные лапки отбегали свое и обрели вечный покой. Запах их живых потомков чувствуется в воздухе. Вот работа для Марлинспайка, если мы сумеем его поймать. Кардинальский кот одичал, разгуливает по лондонским садам, соблазняясь запахом карпов в монастырских прудах, и — кто знает — возможно, ходит за реку понежиться на руках у продажных женщин, подле дряблых грудей, натертых розовыми лепестками и амброй. Он воображает, как Марлинспайк мурлычет, потягивается, отказываясь возвращаться домой.

— Какой из меня начальник архивов, если я не могу призвать к порядку собственного кота? — говорит он Кристофу.

— У бумаг нет лап, не убегут. — Кристоф пинает деревянный порожек. — Видите? Он рассыпается под ногой.

Оставит ли он привычный уют Остин-фрайарз ради крохотных окошек с тусклыми стекла-

ми, ради этих скрипучих коридоров и древних сквозняков? «Отсюда ближе до Вестминстера», — говорит он. Уайтхолл, Вестминстер и река, секретарской баркой вниз до Гринвича или вверх до Хэмптон-корта. Я буду часто наведываться в Остин-фрайарз, обещает он себе, почти каждый день. Он строит окованное железом хранилище для ценностей, которые доверяет ему король; все их можно быстро обратить в живые деньги. Сокровища привозят на обычных телегах, правда, под охраной вооруженных всадников. Чаши упакованы в специальные кожаные футляры, блюда путешествуют в холщовых мешках, переложенные белой шерстяной тканью по семь пенсов за ярд. Драгоценные камни завернуты в шелк и уложены в шкатулки с новыми блестящими замками; ключи от этих замков у него. Влажно поблескивают огромные океанские жемчужины, в сапфирах — весь жар Индии. Иные камни похожи на ягоды, которые срываешь, гуляя вечером по округе: гранаты — терн, розовые алмазы — шиповник.

Алиса говорит:

— За пригоршню таких камней я бы сбросила любую королеву в христианском мире.

— Счастье, что король с тобой незнаком, Али-

са.

Джо замечает:

— А я бы предпочла лицензии на заморскую торговлю. Или военные контракты. На ирландских войнах кто-нибудь здорово обогатится. Бобы, мука, солод, лошади…

— Я выясню, что можно для тебя сделать, — говорит он.

Дом в Остин-фрайарз арендован на девяносто девять лет. Там будут жить его праправнуки — какие-то неведомые лондонцы. Когда они возьмут в руки документы на дом, прочтут его имя. Его герб будет красоваться над их дверью. Он кладет руку на перила парадной лестницы, смотрит на пляску пылинок в снопе света из высокого окна. Когда я последний раз стоял вот так? В Хэтфилде, в начале года: подняв голову, вслушивался в давно умолкшие звуки. Если я ездил в Хэтфилд, наверняка туда ездил и Томас Мор. Может быть, его-то легкие шаги я различил сквозь время?

Чей же это все-таки был кулак из ниоткуда?

Поначалу он думал перевезти на Чансери-лейн бумаги и клерков, чтобы Остин-фрайарз снова стал домом. Но для кого? Он достал часослов Лиз и на странице, где она отмечала семейные события, сделал поправки, дополнения. Рейф скоро пере-

едет в Хакни, новый дом уже почти готов; Ричард строится рядом, будет жить там со своей женой Франсис. Алиса выходит за его воспитанника Томаса Ротерхема. Ее брат Кристофер принял сан и получил приход. Заказано свадебное платье для Джо: она идет под венец с его другом, правоведом Джоном ап Райсом, которым он восхищается и на чью преданность рассчитывает. Я хорошо позаботился о своих близких, думает Кромвель; никто не бедствует, никто не страдает, все надежно устроены в этом ненадежном мире. Он медлит, глядя на сноп света, то золотистый, то голубоватый, когда на солнце находит облако. Если кто-то хочет спуститься по его душу, пусть спустится сейчас. Дочь Энн с ее громоподобным топотом; он бы сказал ей, давай обмотаем тебе копыта тряпьем, как лошадке? Грейс, бесшумная, как круженье пылинок в воздухе — они были, и вот их нет.

Лиз, спустись.

Однако Лиз молчит: не уходит и не остается. Она с ним и не с ним. Он отводит взгляд. Итак, этот дом станет конторой. Как любое место, где он будет жить. Мой дом там, где мои бумаги и мои клерки; в остальное время мой дом рядом с королем, куда бы тот ни отправился.

— Теперь, когда мы переезжаем в Дом архивов, я могу сказать, *cher maître*,[95] как я рад, что вы меня не бросили. Без вас меня тут дразнили бы тупицей и говорили, что у меня вместо головы репа.

— Ну, — он оглядывает Кристофа, — голова у тебя и впрямь похожа на репу. Спасибо, что обратил мое внимание.

Перебравшись в Дом архивов, он оценивает свое положение: неплохо. Два поместья в Кенте он продал, но король пожаловал ему имение в Монмаутшире, а еще одно, в Эссексе, он покупает сам. Кроме того, он присмотрел землю в Хакни и Шордиче и собирается арендовать участки, прилегающие к дому в Остин-фрайарз; там намечено кое-какое строительство, а потом можно будет обнести все общей стеной. Готовы землемерные планы и описи четырех имений — по одному в Бедфордшире и Монмаутшире и двух в Эссексе — для передачи в управление, чтобы доходы от них шли Грегори. Все это мелочи по сравнению с тем, чего он намерен добиться. Что будет должен ему Генрих.

Тем временем его издержки напугали бы

---

[95] Примечания Ольги Дмитриевой: 95
дорогой хозяин *(фр.)*.

человека более слабого. На осуществление королевских желаний нужны люди и средства. Траты советников короля огромны, а ведь многие не вылезают из ломбарда и каждый месяц приходят к нему, латать дыры в бюджете. Он продолжает давать им в долг и пока не требует возврата: в Англии расплачиваются не только деньгами. Он чувствует, как вокруг него раскидывается огромная паутина, сеть полученных и оказанных услуг. За близость к королю положено платить, а он сейчас ближе к государю, чем кто-либо иной. Тем временем из уст в уста передается молва: помоги Кромвелю, и он поможет тебе. Будь верен, прилежен, блюди его интересы, и ты без награды не останешься. Тем, кто ему служит, обеспечены карьера и покровительство. Он добрый друг и хозяин — так говорят о нем повсюду. В остальном — старая песня. Его отец был кузнец, бесчестный пивовар, ирландец, преступник, еврей; он сам — в прошлом суконщик, да нет, не суконщик, а стригаль, а теперь колдун — кто, кроме колдуна, мог бы забрать такую власть? Шапюи пишет о нем императору: его молодость покрыта мраком, однако он весьма приятен в обхождении, а дом содержит на самую широкую ногу. Владеет множеством языков, пишет Шапюи, и весьма

красноречив, однако, добавляет посол, его французский всего лишь *assez bien.*[96]

Он думает: для тебя и это слишком. Теперь хватило бы и кивка.

Последние месяцы совет трудится без устали. Все лето шли переговоры с шотландцами, теперь с ними заключен мир, но взбунтовались ирландцы. Только Дублинский замок и Уотерфорд верны королю; мятежные лорды предлагают императорским войскам свои услуги и свои порты. Ирландия — гнусная дыра, доходы от которой не покрывают королю расходов на содержание войск, но и уйти оттуда нельзя — ее вмиг займут другие. Там почти нет закона; ирландцы считают, что убийство можно загладить денежным возмещением, и, как валлийцы, исчисляют человеческую жизнь в головах скота. Народ разоряют податями и штрафами, конфискациями и просто грабежом среди бела дня; благочестивые англичане воздерживаются от мяса по средам и пятницам, ирландцы же, как гласит шутка, еще набожнее — они не едят мяса и во все остальные дни. Их владетельные лорды жестоки и дерзки, коварны и вероломны; кровная месть, вымога-

---

[96] Примечания Ольги Дмитриевой: 96
удовлетворительный *(фр.).*

тельство и захват заложников — главные занятия знати. Верность Англии они не ставят ни во что, никому не хотят служить и предпочитают силу закону. А вожди кланов не признают никаких ограничений своей власти. Они говорят, что на своей земле владеют всем: папоротником на склоне и вереском на пустоши, травой на лугу и ветром, который ее колышет, каждым человеком, и как скотом; в голодные зимы они забирают у людей хлеб, кормят им охотничьих псов.

Разумеется, они не хотят быть англичанами: ведь Англия не позволит им владеть рабами. У Норфолка по-прежнему есть крепостные, и даже когда суд постановляет их отпустить, герцог ждет денежного возмещения. Король предлагает отправить Норфолка в Ирландию, но тот отвечает, что и так там насиделся и поедет с одним условием: если ему выстроят мост, чтобы в конце недели возвращаться домой, не замочив ног.

Они с Норфолком сражаются в зале совета. Герцог бушует, Кромвель сидит, сложив руки на груди, и спокойно смотрит. Надо отправить в Дублин юного Фицроя, говорит он совету. Пусть поучится королевскому ремеслу: людей посмотрит и себя покажет.

Ричард говорит ему:

— Может быть, нам поехать в Ирландию, сэр?

— Думаю, я свое отвоевал.

— А я хотел бы попасть на войну. Каждый мужчина должен через это пройти.

— В тебе говорит твой прадед, лучник ап Эванс. Думай пока о том, как достойно выступить на турнире.

Ричард успел зарекомендовать себя отменным бойцом. Все более или менее так, как говорит Кристоф: хрясь! — и они лежат. Можно подумать, рыцарское искусство у племянника в крови, как у знатных лордов, с которыми тот состязается. Ричард выступает в цветах Кромвеля, и королю это по сердцу, как по сердцу все, кто отважен и силен. Сам король из-за больной ноги все чаще остается зрителем. Когда боль накатывает, Генрих пугается, когда отпускает, не находит себе места. Не зная, как будет чувствовать себя завтра, король остерегается затевать большие турниры, хлопотные и дорогостоящие. Если он все-таки выезжает на поле, то при своем опыте, весе, росте, при своих отличных конях и бойцовском характере обычно побеждает, однако для спокойствия предпочитает знакомых противников.

Генрих говорит:

— Император, года два-три назад… он ведь стра-

дал от дурных гуморов в бедре, верно? Говорят, из-за сырости. Однако владения Карла столь обширны, что ему ничего не стоит сменить климат. А в моем королевстве погода всюду одинакова.

— О, полагаю, в Дублине куда хуже.

Генрих с тоской смотрит, как льет за окном.

— А когда я проезжаю по улицам, мне кричат вслед. Люди встают из канав и кричат, чтобы я взял Екатерину обратно. Как бы им понравилось, если бы я вмешивался в их семейную жизнь?

Даже когда погода проясняется, королевские страхи не идут на убыль.

— Она сбежит и соберет против меня армию. Екатерина. От нее чего угодно можно ждать.

— Она сказала мне, что не сбежит.

— А по-вашему, она никогда не лжет? Я знаю, что это не так. У меня есть доказательства. Она солгала про свою девственность.

Ну да, конечно, устало думает он.

Генрих не верит в мощь вооруженной стражи, ключей и замков. Думает, нанятый императором ангел коснется их, и запоры рассыплются. В поездки король берет большой железный замок, который вешает на дверь особый слуга. Всю королевскую пищу пробуют специальные люди, а в постели проверяют, нет ли там отравленных

иголок; и все равно Генрих боится, что его умертвят во сне.

Осень. Томас Мор худеет — и прежде поджарое тело стало, как щепка.

Кромвель позволяет Антонио Бонвизи передать арестанту еду.

— Хоть, правду сказать, вы в Лукке не умеете готовить. Я бы и сам что-нибудь ему послал, да если он заболеет, сами понимаете, что люди скажут. Он любит блюда из яиц. Любит ли что-нибудь еще — не знаю.

Вздох.

— Молочные пудинги.

Он улыбается. Сейчас мясоед.

— Немудрено, что он такой худосочный.

— Я знаю его сорок лет, — говорит Бонвизи. — Целую жизнь, Томмазо. Вы же не станете его мучить? Пообещайте мне, если можете, что никто не будет его мучить.

— Почему вы думаете, будто я такой же, как он? Послушайте, мне нет надобности давить. Это сделают его друзья и близкие. Я ведь прав?

— Нельзя ли просто оставить его в покое? Забыть?

— Если позволит король.

Он разрешает Мэг Ропер навещать арестанта

в Тауэре. Отец и дочь гуляют по саду под руку. Иногда он смотрит на них из окна в доме коменданта.

К ноябрю такое отношение доказало свою бесполезность и даже хуже: все обернулось против него, как бродячая собака, которую ты из доброты подобрал на улице, а она вцепилась тебе в руку. Мэг говорит:

— Он сказал мне, он просил передать друзьям, что не даст никаких клятв, а если мы услышим, что он присягнул, значит, его вынудили жестоким обращением. И если в совете покажут бумагу с его подписью, мы должны знать: он ее не ставил.

От Мора теперь требуют под присягой признать Акт о супрематии, в котором перечислены все полномочия, принятые королем в последние два года. Акт не назначает короля главой церкви, как утверждают некоторые; акт констатирует, что король был и остается главой церкви. Если люди не принимают новых идей, дадим им старые. Если им нужны прецеденты, у него есть прецеденты. Во второй редакции, которая вступит в силу с нового года, прописано, что квалифицируется как государственная измена. Измена — не признавать титулы или юрисдикцию Генриха, хулить

его устно или письменно, называть еретиком или схизматиком. Закон даст управу на монахов, которые сеют панику, утверждая, будто испанцы вот-вот высадятся и коронуют леди Марию. На священников, которые в проповедях вопят, что король тащит англичан за собой в геенну. Разве монарх много требует, когда предлагает своим подданным держаться в рамках приличий?

Это что-то новое, говорят ему, наказывать за слова. Нет, отвечает он, не сомневайтесь, это старое. Мы лишь придали форму тому, что судьи в своей мудрости уже определили как прецедентное право. Разъяснительная мера. Я за полную четкость в законах.

После того как Мор отказывается признать этот второй документ, принимается билль о конфискации его имущества в пользу короны. Об освобождении теперь не может быть и речи, вернее, никто теперь не поможет Мору, кроме самого Мора. Долг Кромвеля — сообщить арестанту, что отныне тому запрещается принимать посетителей и гулять в саду.

— Не на что смотреть, в это время года. — Мор поднимает глаза к узкой серой полоске неба в высоком окне. — Мне по-прежнему можно читать книги? Писать письма?

— Пока да.

— А Джон Вуд остается со мной?

Слуга.

— Да, конечно.

— Он время от времени приносит мне кое-какие новости. Говорят, среди королевских войск в Ирландии началась потовая лихорадка? Надо же, не в сезон.

Не только потовая лихорадка, но и чума. Только он не станет говорить этого Мору, как и того, что вся Ирландская кампания — позорная неудача и перевод денег; надо было послушать Ричарда и ехать туда самому.

— Потовая лихорадка косит многих, — говорит Мор, — так быстро, во цвете лет. А если и выздоровеешь, будешь не в силах сражаться с дикими ирландцами, в этом я уверен. Помню, как Мэг болела; она тогда чуть не умерла. А вы болели? Нет, вы никогда не болеете, как я понимаю. — Мор еще какое-то время болтает ни о чем, затем вскидывает голову. — Скажите, есть ли новости из Антверпена? Говорят, Тиндейл там. Говорят, он прячется в домах английских купцов и не смеет выйти на улицу. Говорят, он в тюрьме, почти как я.

Это так или почти так. Тиндейл трудился в

бедности и безвестности, и теперь его мир сжался до размеров каморки. А тем временем в городе по велению императора печатников клеймят и ослепляют, братьев и сестер убивают за веру: мужчинам рубят головы, женщин жгут на костре. Липкая паутина, протянутая Мором по всей Европе, по-прежнему действует; паутина из денег. У Кромвеля есть основания думать, что за Тиндейлом следят, но никакими ухищрениями, при том, что Стивен Воэн в Антверпене, не удалось выяснить, кто из англичан, приезжающих в крупный торговый город, — агенты Мора.

— В Лондоне Тиндейлу было бы спокойнее, — говорит Мор. — Здесь его оберегали бы вы, защитник заблуждений. Только посмотрите, что творится в Германии. Вы видите, Томас, к чему ведет нас ересь? Она ведет в Мюнстер.

В Мюнстере власть захватили сектанты, анабаптисты. Худший кошмар — когда просыпаешься, парализованный, и думаешь, что умер, — счастье по сравнению с тем, что творится там. Городских старшин выбросили из ратуши, их место заняли воры и безумцы, объявившие, что пришли последние дни и все должны креститься заново. Несогласных выгнали за городские стены, нагишом, умирать на снегу. Теперь город осажден

собственным князем-епископом, который надеется взять защитников измором. Защитники, говорят, по большей части женщины и дети; их держит в страхе портной по фамилии Бокельсон, недавно короновавший себя королем Иерусалимским. По слухам Бокельсон и его присные установили многоженство, как предписывает Ветхий завет, и многие женщины предпочли смерть на виселице или в реке изнасилованию по Авраамову закону. Под видом того, что все теперь будет общее, «пророки» творят разбой среди бела дня. Говорят, они захватили дома богачей, сожгли их письма, изрезали картины, пустили искусные вышивки на половые тряпки и порвали все документы, кто чем владеет, чтобы не вернулись старые времена.

— Утопия, — говорит Кромвель, — не правда ли?

— Я слышал, они жгут книги из городских библиотек. Сочинения Эразма сгорели в пламени. Какими дьяволами надо быть, чтобы жечь милейшего Эразма? Но без сомнения, без сомнения, — кивает Мор, — порядок в Мюнстере скоро восстановят. Филипп Гессенский — друг Лютера; уж конечно, он одолжит доброму епископу пушки и пушкарей. Один еретик уничтожит другого.

Братья передрались, вы видите? Как бешеные псы, пускающие слюну, рвут друг другу кишки при встрече.

— Я вам скажу, чем все закончится в Мюнстере. Кто-нибудь из осажденных сдаст город.

— Вы так думаете? У вас такой вид, будто вы хотите предложить пари. Увы, я и прежде не имел обыкновения биться об заклад, а теперь еще и король забрал все мои деньги.

— Такой человек, портной, забирает власть на месяц-два…

— Суконщик, сын кузнеца, забирает власть на год-два…

Он встает, подхватывает плащ: черная шерсть, мерлушковая подкладка. Мор сверкает глазами: ага, я обратил вас в бегство. И тут же, обычным тоном, словно гостю после обеда: неужто вам уже пора? Может, побудете еще?

Вскидывает подбородок.

— Так я больше не увижу Мэг?

В голосе пустота, боль, пробирающая до сердца. Кромвель отворачивается, говорит буднично:

— Вам надо произнести несколько слов. Вот и все.

— А. Просто слова.

— Если вы не хотите произносить, я их напишу.

Поставите снизу свое имя, и король будет счастлив. Я отряжу свою барку, вас доставят в Челси, к причалу на краю вашего сада — не на что смотреть в это время года, как вы сказали, зато каким теплым будет прием! Леди Алиса ждет — уже одна ее стряпня сразу вернет вам силы, — Алиса стоит рядом с вами, смотрит, как вы едите, и едва вы утираете рот, хватает вас на руки, целует в жирные от баранины губы, ах, муженек, как же я по тебе соскучилась! Она несет вас в спальню, запирает дверь, прячет ключ в карман и рвет с вас одежду, пока вы не остаетесь в одной рубашке, из-под которой торчат худые белые ноги, — что ж, согласитесь, тут женщина в своем праве. На следующий день — только вообразите! — вы поднимаетесь до рассвета, спешите в привычную келью, бичуете себя, требуете принести хлеб и воду, а к восьми утра вы уже в своей власянице, поверх накинут старый шлафрок — тот самый, кроваво-красный, с прорехой… ноги на скамеечке, и единственный сын приносит вам почту… ломаете печать своего возлюбленного Эразма… А прочтя письма, вы сможете — скажем, если не будет дождя — пойти к своим птицам, к своей лисичке в клетке, и сказать им: я тоже был узником, а теперь я на воле, потому что Кромвель показал

мне выход… Разве вы этого не хотите? Разве вы не хотите вернуться домой?

— Вам надо написать пьесу, — говорит Мор восхищенно.

Кромвель смеется:

— Может, еще напишу.

— Это лучше Чосера. Слова. Слова. Просто слова.

Он оборачивается. Смотрит на Мора. Как будто освещение переменилось. Открылось окно в страну, где дуют холодные ветры его детства.

— Та книга… Это был словарь?

Мор хмурится.

— Простите?

— Я поднялся по лестнице в Ламбете… минуточку… Я взбежал по лестнице в Ламбете, неся вам питье и пшеничный хлебец на случай, если вы ночью проснетесь и захотите есть. Было семь вечера. Вы читали, а когда подняли голову, прикрыли ее руками, — он раскрывает ладони крыльями, — словно защищая. Я спросил вас, мастер Мор, что в этой большой книге? А вы ответили, слова, слова, просто слова.

Мор склоняет голову набок.

— Когда это произошло?

— Думаю, мне было лет семь.

— Чепуха, — искренне говорит Мор. — Мы не были тогда знакомы. Хотя… — хмурит лоб, — вы, наверное, были… а я…

— Вы собирались в Оксфорд. Вы не помните, да и с какой стати? — Кромвель пожимает плечами. — Я подумал, вы надо мной посмеялись.

— Вполне возможно, — говорит Мор. — Если эта встреча и впрямь была. А теперь вы приходите сюда смеяться надо мной. Говорите про Алису. Про мои худые белые ноги.

— Полагаю, это все же был словарь. Вы точно не помните?.. Что ж… моя барка ждет, и я не хочу держать гребцов на холоде.

— Дни здесь очень длинные, — говорит Мор. — А ночи еще длиннее. У меня болит в груди. Дышать тяжело.

— Так вперед, в Челси! Доктор Беттс придет с визитом: ай-ай-ай, Томас Мор, до чего вы себя довели! Зажмите нос и выпейте эту гадкую микстуру…

— Иногда мне кажется, что я не увижу утра.

Кромвель открывает дверь.

— Мартин!

Мартину лет тридцать, светлые волосы под беретом заметно поредели, лицо худощавое, улыбчивое. Мартин родился в Колчестере, в семье

портного, читать учился по Евангелию Уиклифа, которое отец хранил на крыше под соломой. Это новая Англия; Англия, в которой Мартин может вытащить старую книгу и показать соседям. У него есть братья, все — евангельской веры. Жена вот-вот должна разродиться третьим.

— Есть новости?

— Пока нет. Но ведь вы согласитесь быть крестным? Томас — если мальчик, если девочка — то как назовете, сэр.

Рукопожатие, улыбка.

— Грейс, — говорит он. От него ожидается денежный подарок — обеспечить ребенку будущее. Он снова поворачивается к больному, который теперь сгорбился за столом.

— Сэр Томас говорит, по ночам ему трудно дышать. Принесите ему тюфяки, подушки, что найдете — пусть сидит, если так легче. У него должны быть все возможности дожить до того, чтобы одуматься, выказать верность королю и вернуться домой. А теперь, желаю вам обоим доброго вечера.

Мор поднимает глаза.

— Я хочу написать письмо.

— Конечно. Вам принесут бумагу и чернила.

— Я хочу написать Мэг.

— В таком случае напишите ей что-нибудь человеческое.

Письма Мора чужды обычному человеческому. Они адресованы Мэг, но рассчитаны на друзей в Европе.

— Кромвель!..

Голос Мора разворачивает его назад.

— Как королева?

Мор всегда точен, никогда не назовет королевой Екатерину. Вопрос означает: как Анна? Но что тут можно ответить? Он выходит за дверь. В узком окошке сизая мгла сменилась вечерней синью.

Он слышал ее голос из соседней комнаты: тихий, неумолимый. И гневные крики Генриха: «Это не я! Не я!»

Во внешней приемной Томас Болейн, монсеньор: узкое лицо напряжено. Рядом прихлебатели Болейнов, переглядываются: Фрэнсис Уэстон, Фрэнсис Брайан. В углу, пытаясь выглядеть как можно более незаметным, лютнист Марк Смитон — он-то что здесь делает? Не вполне семейный конклав: Джордж Болейн в Париже, ведет переговоры. Родилась мысль выдать двухлетнюю принцессу Елизавету за сына французского короля; Болейны всерьез считают, что у них это

получится.

— Какое событие так огорчило королеву? — спрашивает он удивленно, словно в остальное время она — спокойнейшая из женщин.

Уэстон отвечает:

— Леди Кэри… она, так сказать…

Брайан фыркает:

— Брюхата очередным бастардом.

— Хм. А вы не знали? — Приятно видеть их потрясенные лица. — Я думал, это дело семейное.

Брайанова повязка ему подмигивает — сегодня она ядовито-желтого цвета.

— А вы, должно быть, очень внимательно за ней следили, Кромвель.

— В чем я, увы, не преуспел, — говорит Болейн. — Она говорит, отец ребенка — Уильям Стаффорд, и она за ним замужем. Вы знаете этого Стаффорда?

— Мельком. Что ж, — бодро говорит он, — каковы наши действия? Марк, музыкальное сопровождение не потребуется — отправляйся куда-нибудь, где можешь быть полезен.

С королем только Генри Норрис, с королевой — Джейн Рочфорд. Широкое лицо Генриха бело.

— Мадам, вы вините меня в том, что было еще до нашего знакомства.

Остальные тоже вошли и теперь теснятся за его спиной. Генрих говорит:

— Милорд Уилтшир, неужто у вас нет управы на ваших дочерей?

— Кромвель знал! — хмыкает Брайан.

Монсеньор начинает говорить, запинаясь — и это Томас Болейн, дипломат, прославленный своей отточенной речью. Анна перебивает отца.

— С чего бы ей беременеть от Стаффорда? Я не верю, что ребенок его. Зачем бы он на ней женился, если не из честолюбия? Что ж, он просчитался, потому что теперь ноги ее не будет при дворе! Хоть бы она и на коленях ко мне приползла, я не стану ничего слушать. Пусть подохнет с голоду!

Будь Анна моя жена, думает он, я бы ушел из дома на весь вечер. Лицо заострилось, движения дерганые — сейчас ей лучше не давать в руки острые предметы. «Что делать?» — шепчет Норрис. Джейн Рочфорд стоит, прислонившись к шпалере, на которой нимфы переплетаются в древесной листве; ее подол в каком-то воспетом поэтами ручье, вуаль задевает облако с выглядывающей из-за него богиней. Она поднимает голову; на лице выражение сдержанного торжества.

Я мог бы вызвать архиепископа, думает Кромвель, при нем Анна не посмеет кричать и топать

ногами. Теперь она схватила Норриса за рукав — что это означает?

— Моя сестра все нарочно затеяла, чтобы меня позлить! Она думает, что будет расхаживать с пузом, жалеть меня и насмехаться надо мной, потому что я потеряла ребенка.

— Я совершенно убежден, что если вникнуть в вопрос… — начинает ее отец.

— Прочь! — кричит Анна. — Убирайтесь и скажите ей… скажите мистрис Стаффорд, что она больше не член моей семьи! Я ее не знаю. Отныне она не Болейн.

— Идите, Уилтшир, — добавляет Генрих тоном учителя, обещающего школяру порку. — Я поговорю с вами позже.

Кромвель говорит королю невинным голосом:

— Ваше величество, может, не будем сегодня заниматься делами?

Генрих смеется.

Леди Рочфорд бежит рядом с ним. Он не замедляет шаг, так что ей приходится подобрать юбки.

— Вы правда знали, господин секретарь? Или сказали для того лишь, чтобы посмотреть на их лица?

— Где мне с вами тягаться? Вы видите мои уловки.

— Счастье, что я вижу уловки леди Кэри.

— Так это вы ее разоблачили?

Кто же еще? — думает Кромвель. Ну конечно, мужа Джорджа рядом нет, шпионить ей не за кем.

Постель Марии закидана ворохом шелков — оранжевых, вишневых, малиновых — словно перина занялась огнем. На табуретах и на подоконниках — лифы, спутанные ленты и непарные перчатки. Зеленые чулки — не те ли самые, которые она показала до самого колена, несясь к нему в тот день, когда предложила на ней жениться?

Он стоит в дверях.

— Уильям Стаффорд, хм?

Мария выпрямляется, раскрасневшаяся, в руке — бархатная домашняя туфля. Теперь, когда тайна раскрыта, она ослабила шнуровку. Взгляд скользит мимо него.

— Спасибо, Джейн, неси это сюда.

— Простите, сударь. — Джейн Сеймур на цыпочках проходит мимо, неся стопку сложенного белья. Следом юноша волочит желтый кожаный ларь.

— Ставь тут, Марк.

— Смотрите, господин секретарь, — говорит Смитон, — я здесь полезен.

Джейн встает на колени и открывает ларь.

— Подложить батист?

— Не надо батиста. Где вторая туфля?

— Советую поторопиться, — предупреждает леди Рочфорд. — Если дядя Норфолк тебя увидит, то побьет палкой. Твоя августейшая сестра считает, что отец твоего ребенка — король. Она говорит, с какой стати им быть Уильяму Стаффорду.

Мария фыркает.

— Все-то ей известно! Как будто Анна знает, что значит выйти за человека ради него самого. Передай ей, что Уильям меня любит. Он обо мне заботится — и больше никто в целом мире!

Кромвель наклоняется и шепчет:

— Мистрис Сеймур, я и не знал, что вы близки с леди Кэри.

— Никто больше ей не поможет.

Джейн не поднимает головы; склоненная шея порозовела.

— Этот мой надкроватный полог, — говорит Мария. — Снимите его.

На пологе — гербы ее мужа Уилла Кэри, умершего лет, наверное, семь назад.

— Гербы я могу спороть.

Ну конечно, кому нужен покойник с его эмблемами?

— Где мой золоченый таз, Рочфорд, не ты его взяла? — Мария пинает желтый ларь, сплошь украшенный геральдическими соколами Анны. — Если это у меня увидят, то отнимут, а мои вещи выбросят на дорогу.

— Если вы можете подождать час, — говорит он, — я пришлю вам сундук.

— С надписью «Томас Кромвель»? Нет у меня часа. Вот что! — Она начинает сдирать с кровати простыни. — Увязывайте тюки!

— Фу! — говорит Джейн Рочфорд. — Бежать, как служанка, укравшая столовое серебро? К тому же в Кенте тебе эти вещи не понадобятся. У Стаффорда, небось, ферма? Скромная усадьба? Впрочем, ты можешь их продать. Что тебе наверняка придется сделать.

— Мой дорогой брат поможет мне, как только вернется из Франции. Он не оставит меня без средств.

— Позволю возразить. Лорд Рочфорд, как и я, будет возмущен, что ты опозорила родню.

Мария поворачивается к ней, вскидывая руку, как кошка, выпускающая когти.

— Это лучше, чем день твоей свадьбы, Рочфорд! Это все равно что дом, полный подарков. Ты не умеешь любить, ты не знаешь, что такое любовь,

ты можешь только завидовать тем, кто знает, и радоваться их неприятностям. Ты несчастная злюка, которую ненавидит муж, и я тебя жалею, и жалею свою сестру Анну. Я в жизни не поменялась бы с ней местами! Лучше делить ложе с бедным и честным джентльменом, который тебя любит, чем быть королевой и удерживать мужа старыми бордельными штучками, — да, я знаю, король сказал Норрису, как Анна его ублажает, и поверь мне, ребенка так не зачнешь. А теперь она боится каждой женщины при дворе — ты что, на нее смотрел? ты уже и раньше на нее смотрел! Семь лет она добивалась короны, и спаси нас Бог от исполнения молитв! Она думала, каждый день будет, как коронация. — Мария, тяжело дыша, запускает руку в ворох своих пожитков и бросает Джейн Сеймур два рукава. — Вот, милая, возьми с моим благословением. У тебя одной здесь доброе сердце.

Джейн Рочфорд выходит, хлопнув дверью.

— Пусть ее, — шепчет Джейн Сеймур. — Не думайте вы о ней!

— Скатертью дорожка! — зло бросает Мария. — Я должна радоваться, что она не стала копаться в моих вещах и предлагать цену.

В тишине ее слова хлопают, плещут, словно

птицы, которые бьются от страха и гадят на стены: король сказал Норрису, как Анна его ублажает. По ночам она пускает в ход свои искусные приемы. Он перефразировал — куда же без этого. Бьюсь об заклад, Норрис ловил каждое слово. Господи Иисусе, что за люди! В дверях лютнист Марк слушает, приоткрыв рот.

— Марк, если будешь стоять здесь и шлепать губами, как рыба, я велю тебя выпотрошить и зажарить.

Лютнист исчезает.

Тюки, которые упаковала мистрис Сеймур, похожи на птиц с перебитыми крыльями. Он перевязывает их по новой — не шелковым шнуром, а прочной веревкой.

— Вы всегда носите с собой веревку, господин секретарь? — Мария вскрикивает: — Ах, моя книга любовных стихов! Она у Шелтон! — и выбегает из комнаты.

— Да, книгу ей надо взять, — замечает он. — В Кенте стихов не пишут.

— Леди Рочфорд сказала бы, что сонетами не согреешься. Впрочем, мне никто сонетов не писал, — говорит Джейн, — так что я тут не судья.

Лиз, думает он, отпусти меня. Разожми свои мертвые руки. Неужто тебе жаль для меня этой

девочки, такой маленькой и худенькой, такой некрасивой?

— Джейн!

— Да, господин секретарь!

Она закатывается на перину. Садится, вытаскивая из-под себя юбки, встает, держась за столбик балдахина, и, подняв руки, начинает отцеплять полог.

— Спускайтесь. Я сам это сделаю. И я пришлю за мистрис Стаффорд телегу. Ей самой все не унести.

— Я справлюсь. Государственный секретарь не занимается балдахинами.

— Государственный секретарь занимается всем. Странно, что я не шью королю рубашек.

Джейн покачивается над ним, ее ноги утопают в перине.

— Королева Екатерина шьет. До сих пор.

— Вдовствующая принцесса Екатерина. Спускайтесь.

Она спрыгивает, юбки колышутся и шуршат.

— Даже после всего, что между ними произошло. Только на прошлой неделе прислала дюжину.

— Мне казалось, король ей запретил.

— Анна говорит, их надо порвать и использо-

вать на… ну, вы понимаете, в нужниках. Король был очень зол. Возможно потому, что ему неприятно слово «нужник».

— Это верно, — говорит Кромвель. Король ненавидит грубые слова и не раз строго обрывал придворных, пытавшихся рассказать сальную историю. — Так это правда, что сказала Мария? Что королева боится?

— Сейчас он вздыхает по Мэри Шелтон. Да вы сами знаете. Наблюдали.

— Однако это, без сомнения, вполне невинно. Король должен быть галантным до тех пор, пока наденет длинный шлафрок и будет сидеть у огня с капелланами.

— Объясните это Анне — она не понимает. Она хочет отослать Шелтон прочь. Ее отец и брат не соглашаются. Шелтон — их родственница, и уж если король глядит на сторону, то пусть это будет кто-то из своих. Кровосмешение в наши дни так модно! Дядя Норфолк… я хотела сказать, его светлость….

— Ничего, — рассеянно говорит он, — я его тоже так называю.

Джейн закрывает ладошкой рот. У нее детские пальчики с крохотными розовыми ногтями.

— Я буду вспоминать это, когда окажусь в де-

ревне без всяких развлечений. А он вам говорит «дорогой племянник Кромвель»?

— Вы оставляете двор?

Без сомнений, она собралась замуж. За кого-то в деревне.

— Я надеюсь, месяца через три меня отпустят.

В комнату врывается Мария со злобной гримасой на лице. Она прижимает к животу — теперь уже вполне заметному — две вышитые подушки, в свободной руке золоченый таз, а в тазу — книга стихов. Мария бросает подушки и раскрывает кулак: в таз с грохотом, словно игральные кости, сыплется пригоршня серебряных пуговиц.

— Все было у Шелтон. Вот сорока!

— Все равно королева меня не любит, — говорит Джейн. — И я соскучилась по Вулфхоллу.

Для новогоднего подарка королю он заказал Гансу миниатюру: Соломон на троне приветствует царицу Савскую. Это аллегория, объясняет он. Король принимает плоды церкви и дань своего народа.

Ганс смотрит на него испытующее. «Я понял». Делает наброски. Соломон исполнен величия. Царица стоит спиной к зрителю, невидимое лицо поднято к царю.

— А мысленно, — спрашивает он, — вы видите

ее лицо, хоть оно и скрыто?

— Вы оплатили затылок, — отвечает Ганс, — его и получайте. — Трет лоб, потом сдается. — Неправда. Я ее вижу.

— Это какая-то случайная встречная?

— Не совсем. Скорее женщина из детских воспоминаний.

Они сидят перед шпалерой, которую подарил ему король. Взгляд художника обращается к ней.

— Эта женщина. Она принадлежала Вулси, затем королю, теперь вам.

— Уверяю вас, в жизни у нее нет двойника.

Разве что в Вестминстере есть очень скрытная и многоликая шлюха.

— Я знаю, кто она. — Ганс многозначительно кивает, сжав губы; глаза дразнят, как у собаки, которая стащила платок, чтобы ты за нею побегал. — Слышал в Антверпене. Почему вы не заберете ее сюда?

— Она замужем. — Он неприятно поражен, что в Антверпене кто-то обсуждает его личные дела.

— Думаете, она с вами не поедет?

— Много лет прошло. Я изменился.

— *Ja.* Теперь вы богаты.

— Но что про меня скажут, если я уведу женщину у мужа?

Ганс пожимает плечами. Они такие циничные, эти немцы. Мор говорит, лютеране совокупляются в церкви.

— И к тому же… — говорит Ганс.

— Что?

Ганс вновь пожимает плечами: ничего.

— Ничего. Вздернете меня на дыбу и потребуете ответа?

— Я никого не вздергиваю на дыбу. Только угрожаю.

— Ладно, — произносит Ганс умиротворяюще, — я просто о всех тех женщинах, которые мечтают выйти за вас замуж. Каждая англичанка мечтает отравить мужа и заранее составляет список женихов. И во всех этих списках вы — первый.

В свободные моменты — их на неделе выпадает два или три — он разбирал бумаги Дома архивов. Хотя евреи изгнаны из королевства, какие только обломки человеческих кораблекрушений ни прибивало сюда судьбой; за три столетия здание пустовало лишь месяц. Он пробегает глазами отчеты прежних попечителей, с любопытством разглядывает расписки на древнееврейском, оставленные умершими насельниками. Некоторые прожили в этих стенах, таясь от лондонцев,

по пятьдесят лет. Идя по коридорам, он ощущает ступнями следы их ног.

Он идет навестить двух последних обитательниц — молчаливых и настороженных женщин неопределенного возраста, записанных как Кэтрин Уэтли и Мэри Кук.

— Что вы делаете? — спрашивает он, подразумевая «что вы делаете со своим временем?»

— Мы молимся.

Они разглядывают его, пытаясь понять, чего ждать, хорошего или дурного. Лица их говорят: у нас ничего не осталось, кроме наших историй; с какой стати мы будем ими делиться?

Он отправляет им в подарок дичь, но не знает, станут ли они есть мясо из рук не-еврея. Томас Кристмас, приор церкви Христа в Кентербери, прислал ему двенадцать яблок, завернутых, каждое по отдельности, в серую ткань, — редкий сорт, который особенно хорош с вином. Он отдает яблоки крещеным еврейкам вместе с вином, которое сам для них выбрал.

— В тысяча триста пятьдесят третьем году, — говорит он, — в доме оставалась всего одна насельница. Мне горько думать, что она жила тут в полном одиночестве. Последним местом ее жительства указан город Эксетер, но хотелось бы

знать, как она туда попала. Ее звали Кларисия.

— Мы ничего о ней не знаем, — отвечает Кэтрин или, может быть, Мэри. — Да и откуда нам.

Она щупает яблоки, не понимая, что это большая ценность — лучший подарок, какой смог измыслить приор. Если они вам не понравятся, говорит он, да и если понравятся тоже, у меня есть груши для запекания. Кто-то прислал мне пять сотен.

— Видимо, очень хочет, чтобы на него обратили внимание, — говорит Кэтрин или Мэри, а другая добавляет: — Пять сотен фунтов было бы лучше.

Женщины смеются, но без искренности: он понимает, что им никогда не подружиться. Красивое имя, Кларисия. Надо было предложить его для дочери тюремщика. Так могут звать женщину-мечту — женщину, которую ты видишь насквозь.

Закончив новогодний подарок королю, Ганс говорит:

— Это мой первый его портрет.

— Надеюсь, скоро будет еще.

Ганс знает, что у него есть английская Библия, почти законченный перевод. Он подносит палец к губам: сейчас слишком рано об этом говорить, может быть, через год.

— Если вы посвятите ее Генриху, тот не сможет отказаться. Я бы изобразил его на титуле как главу церкви, со всеми регалиями. — Ганс расхаживает по комнате, прикидывая вслух расходы на бумагу, печать, возможную прибыль. Лукас Кранах рисует титульные листы Лютеру. — Гравюры с Мартином и его женой идут нарасхват. А у Кранаха все похожи на свиней.

Верно. Даже у его обнаженных умильные свиные мордочки, ноги крестьянок и жесткие хрящеватые уши.

— Но если я буду писать короля, наверное, придется ему польстить. Показать, каким он был пять лет назад. Или десять.

— Хватит и пяти. Иначе он может усмотреть издевку.

Ганс чиркает себя пальцем по горлу, сгибает колени, высовывает язык, как повешенный, — видимо, предусмотрел все способы казни.

— Надо будет изобразить непринужденное величие.

Ганс улыбается во весь рот:

— За этим дело не станет!

Конец года приносит с собой холода и странный, водянисто-зеленоватый свет. Письма ложатся на стол с легким шелестом, как снежинки:

от докторов богословия из Германии, от послов из Франции, от Марии Болейн из Кента.

— Ты только послушай, — говорит он Ричарду, сломав печать. — Мария просит денег. Пишет, что осознает свою опрометчивость. Что любовь затмила ей разум.

— Любовь, значит?

Он читает. Она и на минуту не сожалеет, что вышла за Уильяма Стаффорда. Она могла бы выбрать себе другого мужа, знатного и титулованного. Однако «уверяю вас, господин секретарь, я нашла в нем столько честности, что будь моя воля выбирать, я предпочла бы лучше просить милостыню вместе с ним, чем быть величайшей королевой христианского мира».

Она не смеет писать своей сестре королеве. Отцу, дяде и брату — тоже. Они так жестоки. Поэтому пишет ему. Легко можно вообразить, как Стаффорд заглядывает Марии через плечо, и та бросает со смехом: Томас Кромвель, я когда-то возбудила *его* надежды.

Ричард говорит:

— Я уже почти не помню, что должен был жениться на Марии.

— То были иные времена, не то, что сейчас.

И Ричард счастлив; вот как оно все поверну-

лось, мы сумели обойтись без Болейнов. Однако ради замужества Анны Болейн весь христианский мир перевернули вверх дном; ради рыжего поросеночка в колыбели; что если Генрих и впрямь пресытился и вся затея проклята?

— Позови Уилтшира.

— Сюда, в Дом архивов?

— Придет и сюда, только свистни.

Он унизит Уилтшира — в обычной своей дружелюбной манере — и заставит выделить Марии содержание. Дочь честно работала на отца, добывала ему почести своим лоном — пусть теперь ее обеспечивает. Ричард будет сидеть в полутьме и записывать. Это напомнит Болейну о делах семилетней давности. Шапюи сказал ему, в этом королевстве вы теперь то же, что кардинал, и даже больше.

Алиса Мор приходит к нему в Рождественский сочельник. Свет резкий, как лезвие старого кинжала, и в этом освещении Алиса выглядит старой.

Он встречает ее как принцессу, ведет в комнату, заново обитую панелями и покрашенную, где горит жаркий огонь — дымоход недавно прочистили, и тяга отличная. Воздух пахнет сосновым лапником.

— Вы здесь празднуете? — Ради него Алиса постаралась прихорошиться: туго затянула волосы под усыпанным жемчужинами чепцом. — Я помню, как тут было темно и сыро. Муж всегда говорил, — (он отмечает, что она употребила прошедшее время), — мой муж говорил, заточите Кромвеля в самое глубокое подземелье, и к вечеру он будет сидеть на бархатной подушке, есть соловьиные язычки и ссужать тюремщиков деньгами.

— Он часто говорил о том, чтобы заточить меня в подземелье?

— Это были только разговоры. — Она нервничает. — Я подумала, вы могли бы устроить мне встречу с королем. Он всегда учтив и добр к женщинам.

Кромвель качает головой. Если допустить Алису до короля, она начнет вспоминать, как тот приезжал в Челси и гулял по саду. Расстроит Генриха, заставит думать про Мора, который временно забыт.

— Его величество очень занят с французскими послами. Хочет в этом году устроить особо пышное празднование. Доверьтесь моим суждениям.

— Вы были к нам очень добры, — нехотя говорит Алиса. — Я спрашиваю себя, почему. У вас

всегда какая-нибудь уловка.

— Родился ловкачом, — отвечает он. — Ничего не могу с собой поделать. Алиса, почему ваш муж такой упрямец?

— Я понимаю его не больше, чем Святую Троицу.

— Так что мы будем делать?

— Надо, чтобы он изложил королю свои резоны. Наедине. Если король заранее пообещает отменить все наказания.

— То есть даст ему лицензию на государственную измену? Этого король не может.

— Святая Агнесса! Томас Кромвель говорит, чего не может король! Всякий петух важно расхаживает по двору, пока не придет служанка и не свернет ему шею.

— Таков закон. Обычай этой страны.

— Я считала, что Генриха поставили выше закона.

— Мы не в Константинополе, леди Алиса. Впрочем, я ничего не имею против турок. Сейчас мы всецело за магометан. Пока они отвлекают императора.

— У меня почти не осталось денег, — говорит она. — Приходится каждый раз изыскивать пятнадцать шиллингов на его недельное со-

держание. Он мне не пишет. Только ей, своей дорогой Мэг. Она ведь не моя дочь. Будь здесь его первая жена, я бы ее спросила, сразу ли Мэг такой уродилась. Она скрытная. Помалкивает и про себя, и про него. Теперь вот рассказала, что он давал ей отстирывать кровь со своих рубашек, что он носил под бельем власяницу. Я думала, что после свадьбы я уговорила его от этого отказаться, но откуда мне было знать? Он спал один и закрывал дверь на щеколду. Если у него и свербело от конского волоса, он мне не говорил, чесался сам. Во всяком случае, все это было между ними двоими, мне никто не докладывал.

— Алиса…

— Не думайте, что я ничего к нему не питаю. Он не для того на мне женился, чтобы жить как евнух. Все у нас было, иногда. — Она краснеет, скорее от злости, чем от смущения. — А когда это так, невольно чувствуешь, что человеку может быть холодно, что он может быть голоден, мы же одна плоть. Болеешь за него, как за ребенка.

— Вытащите его оттуда, Алиса, если это в ваших силах.

— Скорее уж в ваших. — Она печально улыбается. — А ваш Грегори приехал на Рождество? Я, помнится, говаривала мужу, вот бы Грегори

Кромвель был мой сыночек. Я бы запекла его в сахарной глазури и съела.

Грегори приезжает на праздники с письмом от Роуланда Ли, где говорится, что мальчик сокровище и может возвращаться, когда захочет.

— Так мне снова к нему ехать, — спрашивает Грегори, — или мое обучение закончено?

— В этом году ты будешь оттачивать свой французский.

— Рейф говорит, меня воспитывают, как принца.

— Больше мне пока практиковаться не на ком.

— Дражайший отец… — Грегори берет на руки собачку, прижимает к себе, чешет ей загривок. Кромвель ждет. — Рейф и Ричард говорят, что когда я всему выучусь, ты женишь меня на какой-нибудь старой вдове с большим состоянием и черными зубами, что она будет изводить меня своей похотью и помыкать мною, завещает мне все в обход своих детей от первого брака, и они меня отравят.

Спаниель на руках у сына, извернувшись, смотрит на него кроткими, круглыми, удивленными глазами.

— Они тебя дразнят. Если бы я знал такую женщину, то сам бы на ней женился.

Грегори кивает.

— Тобой бы она не смела помыкать. И наверняка у нее были бы большие охотничьи угодья — ты мог бы надолго туда уезжать. И дети ее тебя бы боялись, даже если они взрослые. — Судя по голосу, сын уже почти утешился. — А что это у тебя на карте? Вест-Индия?

— Шотландская граница, — мягко объясняет он. — Земли Гарри Перси. Вот, давай покажу. Это поместья, которые он отдал за долги кредиторам. Мы не можем этого так оставить, потому что непонятно, кто теперь защищает границу.

— Говорят, он болен.

— Или сошел сума, — равнодушно говорит он. — Наследника у него нет, а поскольку он не спит с женой, то вряд ли и будет. С братьями он рассорился, королю должен кучу денег. Будет только справедливо объявить наследником короля. И я ему это растолкую.

Грегори потрясен.

— Ты хочешь отобрать у него графство?

— Что-нибудь мы ему оставим, по миру не пойдет.

— Это из-за кардинала?

Гарри Перси остановил кардинала в Кэвуде, по пути на юг. Вошел с ключами в руках, забрыз-

ганный дорожной грязью: милорд, я арестую вас за государственную измену. Посмотрите на меня, сказал кардинал, я не страшусь никого из живущих.

Кромвель говорит:

— Грегори, поди поиграй. Возьми Беллу и попрактикуйся с ней во французском — она от леди Лайл из Кале. Я скоро освобожусь. Мне надо оплатить счета королевства.

В Ирландию — очередная поставка: бронзовые пушки и чугунные ядра, прибойники и совки, дымный порох и четыре хандредвейта серы, пятьсот тисовых луков и два барреля тетивы, по двести лопат, кирок, ломов, мотыг и лошадиных шкур, сто топоров, одна тысяча подков, восемь тысяч гвоздей. Мастер Корнелис не получил денег за колыбель для королевского ребенка — того самого, что так и не увидел свет. Мастер требует двадцать шиллингов, уплаченных Гансу за Адама и Еву — роспись колыбели, а также возмещение за атлас, золотую бахрому с кистями и серебро, из которого отлиты райские яблоки.

Он договаривается с флорентийскими агентами о найме ста аркебузиров для ирландской кампании. Они, в отличие от англичан, не отказываются воевать в лесу или в горах.

Король говорит, удачи вам в Новом году, Кромвель, и в следующих. Он думает, удача здесь ни при чем. Из его новогодних подарков Генриху больше всего понравились царица Савская, рог единорога и устройство для выжимания сока из апельсинов с золотой королевской монограммой.

В начале года король жалует ему титул, какого не было еще ни у кого: генерального викария по делам церкви. Слухи о том, что монашеские обители скоро закроют, ходят по королевству уже года три, если не больше. Теперь у него есть власть инспектировать и реформировать монастыри; закрывать, если сочтет нужным. В Англии едва ли сыщется аббатство, о делах которого он не осведомлен либо по временам службы у кардинала, либо по письмам, которые приходят каждый день — одни монахи жалуются на аббатов, которые чинят им обиды или сеют крамолу, другие хотели бы получить должность и будут по гроб жизни обязаны, если за них замолвят словечко.

Он спрашивает Шапюи:

— Вы когда-нибудь бывали в Шартрском соборе? Идешь по лабиринту, выложенному на полу, и кажется, будто в нем нет никакого смысла, однако, проделав все повороты, оказываешься

точно в центре. Там, где и должен быть.

Официально они с послом едва здороваются. Неофициально Шапюи шлет ему бочонок отличного оливкового масла. Он в ответ посылает каплуна. Посол прибывает лично в сопровождении слуги, который тащит головку пармезана.

Шапюи выглядит скорбным и замерзшим.

— Ваша бедная королева справляет Рождество в скудости. Она так боится еретиков, которыми окружил себя ее супруг, что приказала готовить всю пищу в собственных покоях. А Кимболтон — скорее конюшня, чем дворец.

— Чепуха, — резко отвечает Кромвель, протягивая послу глинтвейн. — Мы только что перевели ее из Бакдена, где она жаловалась на сырость. Кимболтон — отличное место.

— С вашей точки зрения — потому что там толстые стены и широкий ров.

В камине трещат поленья, по комнате плывет аромат меда и корицы, дополняя благоухание сосновых веток, которыми украшены стены.

— А принцесса Мария больна, — говорит посол.

— Леди Мария всегда больна.

— Тем больше причин о ней беспокоиться! — Впрочем, Шапюи тут же смягчает тон. — Если бы

им разрешили видеться, обеим стало бы легче.

— Легче сбежать.

— У вас нет сердца. — Шапюи отпивает вина. — Вы знаете, что император готов быть вашим другом? — Многозначительная пауза, затем посол вздыхает. — Ходят слухи, что Ла Ана вне себя. Что Генрих увлечен другой дамой.

Кромвель набирает в грудь воздуха и начинает говорить. У Генриха нет времени на других дам — король слишком занят подсчетом денег. Сделался очень скрытным, не хочет, чтобы парламент знал о его доходах. Мне так трудно вытянуть у него что-нибудь на университеты или хотя бы на бедных. Думает только об артиллерии. Армии. Кораблях. Маяках. Фортах.

Шапюи кривится. Посол понимает, когда его кормят баснями, — а если бы не понимал, и удовольствия бы никакого не было.

— Так мне отписать своему господину, что английский король целиком поглощен войной и не думает о любви?

— Войны не будет, если ваш господин ее не начнет. А на это, пока турки поджимают, у него вряд ли найдется время. Ах, я знаю, сундуки императора бездонны, и он может стереть нас с лица земли, когда пожелает. — Улыбка. — Но зачем это

императору?

Судьбу народов решают эти двое, с глазу на глаз, в маленькой комнате. Забудьте про коронации, конклавы, торжественные процессии. Мир меняет передвинутая костяшка на счетах, движение пера, умеряющее резкость фразы, вздох женщины, которая прошла, оставив после себя аромат розовой воды или цветущего апельсина, ее рука, задергивающая полог над кроватью, тихое касание тел. Король — мастер видеть целое — должен теперь учиться работать над мелочами, ведомый разумной алчностью. Достойный сын своего бережливого отца, Генрих знает, чем владеет каждая английская семья, держит в голове все достояние своих подданных, до последнего ручья и рощицы. Теперь, когда под власть короны переходят владения церкви, надо знать их стоимость. Закон, кто чем владеет, — как и весь свод законов — подобен обросшему корабельному днищу или замшелой крыше. Однако стряпчих предостаточно, и много ли надо умения, чтобы скоблить, где скажут? Пусть англичане суеверны, боятся будущего и не понимают, что такое Англия, — хороших счетоводов среди них хватает. В Вестминстере скрипит перьями тысяча клерков, но Генриху, думает Кромвель, понадобятся новые

люди, новые органы, новое мышление. Тем временем он, Кромвель, отправляет по стране своих комиссаров. *Valor ecclesiasticus.*[97] Я завершу ее в шесть месяцев, говорит он. Да, никто прежде этого не делал, однако за его плечами уже много такого, к чему другие не смели бы даже подступиться.

Как-то в начале весны он возвращается из Вестминстера продрогший. Лицо болит, словно его кости исхлестало ветром; в памяти отчетливо стоит день, когда отец возил его физиономией по булыжникам: башмак Уолтера маячит где-то рядом. Ему хочется в Остин-фрайарз, где установлены печи и в доме тепло. И вообще, оказаться в собственных стенах.

Ричард говорит:

— Вы не можете каждый день работать по восемнадцать часов.

— Кардинал мог.

Ночью ему снится, что он в Кенте. Просматривает счета Бейхемского аббатства, которое надо закрыть по указанию Вулси. Вокруг теснятся монахи, лица такие злые, что он, чертыхнувшись, говорит Рейфу: укладывай расходные книги,

---

[97] Примечания Ольги Дмитриевой: 97
Оценка церкви *(лат.).*

грузи на мула, будем смотреть их за ужином и стаканом доброго белого бургундского. Разгар лета. Они едут верхом (нагруженный мул плетется следом) через заброшенный монастырский виноградник, потом через лесистый сумрак в чаще широколиственной зелени на дне долины. Он говорит Рейфу, мы с тобой как две гусеницы, ползущие по листу салата. Они выезжают из леса в море света, впереди замок Скотни — солнце золотит серые стены надо рвом.

Он просыпается. Приснился ему Кент, или он там был? На коже по-прежнему лежит солнечная рябь. Он зовет Кристофа.

Ничего не происходит. Он лежит тихо, без движения. Никто не идет. Рано; с нижнего этажа не доносится ни звука. Ставни закрыты. Звезды пытаются пробиться сквозь них, буравя дерево стальными остриями. Он думает, что, возможно, позвал Кристофа не наяву, а во сне.

Учителя Грегори прислали целый ворох счетов. Кардинал стоит подле кровати в полном церемониальном облачении. Кардинал становится Кристофом, открывает ставни, движется силуэтом на фоне окна.

— У вас лихорадка, хозяин?

Он ведь знает ответ, откуда-то. Почему он дол-

жен знать все, делать все?

— О да, итальянская, — бросает он небрежно, словно говоря: какие пустяки.

— Так звать врача-итальянца? — неуверенно спрашивает Кристоф.

Рейф здесь. Весь дом здесь. Чарльз Брэндон здесь. Он думает, что Брэндон наяву, пока не входят Морган Уильямс, давно умерший, и Уильям Тиндейл, который сейчас в Антверпене и не смеет показаться на улице. По лестнице уверенно, зловеще гремят подкованные железом отцовские башмаки.

Ричард Кромвель кричит: «Неужто нельзя потише?» Когда Ричард кричит, сразу видно, кто тут валлиец; в обычный день я бы этого не заметил, думает Кромвель и закрывает глаза. Под веками движутся дамы: прозрачные, как ящерицы, с хвостами-шлейфами. Королевы Англии, змеи с черным раздвоенным жалом, гордо вскинув голову, волочат по полу окровавленные юбки. Они убивают и едят своих детей, это все знают. Высасывают у них мозг из костей еще до рождения.

Кто-то спрашивает, хочет ли он исповедаться.

— А это обязательно?

— Да, сударь, иначе все подумают, что вы сектант.

Однако мои грехи — моя сила, думает он; грехи, которые я совершил, а другие не сумели. Я крепко прижимаю их к себе — они мои. К тому же я намерен явиться на суд со списком; я скажу, мой Творец, у меня здесь пятьдесят пунктов или чуть больше.

— Если надо исповедаться, пусть придет Роуланд.

Епископ Ли в Уэльсе, говорят ему. Быстрее чем за неделю не доберется.

Приходит доктор Беттс с целой толпой других врачей — всех их прислал Генрих.

— Это лихорадка, которую я подхватил в Италии, — говорит он им.

— Допустим, что так, — хмурится доктор Беттс.

— Если я умираю, вызовите Грегори, мне надо ему кое-что сказать. Если нет, то не отрывайте его от учебы.

— Кромвель, — говорит Беттс, — да вас из пушки не убьешь. Если под вами затонет корабль, волны вынесут вас на берег.

Он слышит, как они говорят про его сердце, и злится: в книгу моего сердца можно заглядывать только мне, это не тетрадь, которая лежит на прилавке, и каждый приказчик в ней что-нибудь царапает. Ему дают выпить лекарство. Вскоре

после этого он возвращается к своим расчетным книгам. Строчки убегают и цифры путаются; стоит подвести итог в одном столбце, общая сумма исчезает и все начисто теряет смысл. Однако он упорно складывает и складывает, пока действие яда и целебной микстуры не проходит и он не просыпается. Столбцы чисел по-прежнему перед глазами. Беттс думает, он отдыхает, как предписано, однако у него в голове, невидимо для других, разгуливают человечки-циферки, спрыгнувшие со страниц гроссбуха. Они тащат дрова для кухонной печи, однако доставленные мяснику туши превращаются обратно в оленей и преспокойно чешут бока о стволы. Певчие птицы для фрикассе обросли перьями и расселись по веткам, еще не порубленным на хворост; мед, которым их должны были приправить, вернулся в пчелу, а пчела улетела в улей. Он слышит шум этажом ниже, но это какой-то другой дом, в другой стране: звенят, переходя из рук в руки, монеты, скрипят по каменному полу деревянные сундуки. Он сам что-то рассказывает на тосканском, на говоре Патни, на солдатском французском и на варварской латыни. Может, это Утопия? А в центре страны, представляющей собой остров, расположен Амаурот, что означает «призрачный город».

Он устал распутывать, что это за мир. Устал улыбаться врагу.

Из конторы приходит Томас Авери, садится рядом, держит его руку. Приходит Хью Латимер, читает псалмы. Кранмер приходит и смотрит опасливо: должно быть, боится, что он спросит в бреду, как поживает ваша жена Грета.

Кристоф говорит:

— Эх, был бы здесь ваш прежний господин кардинал, он бы вас утешил. Добрый был человек.

— Да что ты о нем знаешь?

— Я ведь его ограбил, сэр. А вы не знали? Украл его золотую посуду.

Он пытается сесть.

— Кристоф! Так это ты был тем мальчишкой в Компьени?

— Я конечно. Таскал наверх горячую воду для купанья и каждый раз выносил в пустом ведре золотой кубок. Мне стыдно, что я его обокрал, он был такой *gentil.*[98] «Опять с ведром, Фабрис? (Фабрисом меня звали в Компьени, сэр.) Покормите беднягу». Я попробовал абрикос, прежде никогда не ел.

— А разве тебя не поймали?

---

[98] Примечания Ольги Дмитриевой: 98
милый *(фр.).*

— Поймали моего хозяина, великого вора. Устроили облаву, поймали и заклеймили. А мне, как видите, суждена была лучшая участь.

Я помню, говорит он, я помню Кале, алхимиков, мнемоническую машину. «Гвидо Камилло строит ее для Франциска, чтобы тот стал мудрейшим королем в мире, однако этот болван все равно не научится ею пользоваться».

Он бредит, говорит доктор Беттс, жар усиливается, но Кристоф возражает, нет, правда, один человек в Париже построил душу. Это здание, но оно живое. Внутри там много полок, и на этих полках лежат пергаменты с письменами, они вроде ключей и открывают ларец, а в нем ключ, содержащий другой ключ, только они не из металла, а ящики — не из дерева.

А из чего? — спрашивает кто-то.

Они из души. Они только и останутся, когда сожгут все книги. И они позволят нам помнить не только прошлое, но и будущее, видеть все формы и все обычаи, какие когда-либо появятся на земле.

Беттс говорит, он весь пылает. Ему вспоминается Маленький Билни, как тот накануне казни поднес руку к свече, проверяя, какая будет боль. Пламя опалило тощую плоть; наверняка Билни

хныкал, как ребенок, и сосал обожженную руку, а наутро Норичские приставы потащили его на то место, где их деды жгли лоллардов. Даже когда его лицо совсем обгорело, ему по-прежнему совали папистские хоругви: ткань обуглилась и бахрома пылала, черноглазые мадонны закоптились, как селедка, и съежились в дыму.

Он вежливо, на нескольких языках, просит воды. Только немножко, говорит доктор Беттс, по глоточку. Он слышал про остров под названием Ормуз. Это самое жаркое место в мире, там нет ни деревьев, ни травы, только соль. Стоя посредине, видишь пепельную равнину на тридцать миль во все стороны; дальше лежит усыпанный жемчугами берег.

Ночью приходит его дочь Грейс, и она светится: сияние идет из-под лучащихся волос. Она смотрит на него ровно, не мигая, пока не наступает утро. Тогда открывают ставни, звезды гаснут, луна и солнце висят вместе на бледном небе.

Проходит неделя. Ему лучше. Он требует, чтобы принесли работу, но доктора не разрешают. Нельзя, чтобы дело встало, говорит он, а Ричард отвечает, сэр, вы нас всех натаскали, мы ваши ученики, вы создали думающую машину, которая работает как живая, и вам нет надобности

приглядывать за ней каждую минуту и каждый день.

И все равно, говорит Кристоф, уверяют, что король Анри стонет, словно от боли: о, где Кремюэль?

Приходит известие из дворца. Генрих сказал, я еду его навестить. Если это итальянская лихорадка, я не заражусь.

Он с трудом верит своим ушам. Генрих сбежал от Анны, когда та болела потовой лихорадкой; а ведь это было в самый разгар влюбленности.

Он говорит, пришлите ко мне Терстона. Его кормят как выздоравливающего: нежирным мясом птицы. Теперь он говорит: приготовим… ну, скажем, поросенка, фаршированного и запеченного, я видел такого на пиру у папы. Тебе будут нужны курица, сало и козья печень, все мелко порубленное. Фенхель, майоран, мята, имбирь, масло, сахар, грецкие орехи, яйца и немного шафрана. Некоторые добавляют сыр, но в Лондоне нужного сыра все равно нет, к тому же я считаю, что это лишнее. Если чего-нибудь из этого нет, пошли к повару Бонвизи, он даст.

Он говорит: «Скажите соседу, приору Джорджу, пусть не выпускает своих монахов на улицу, пока здесь король, а не то как бы их не реформировали

слишком быстро». Он убежден, что все должно идти очень медленно, постепенно, чтобы народ увидел справедливость происходящего: не стоит вышвыривать монастырскую братию на улицы. Монахи, живущие рядом с его домом, позорят свой орден, но они хорошие соседи. Вечерами из их окон доносятся звуки веселой пирушки, днем монахов можно встретить у «Колодца с двумя ведрами», прямо перед его воротами. Церковь аббатства больше похожа на ярмарку, и торгуют там всяким товаром, в том числе и живым. В округе немало молодых холостяков из итальянских торговых домов, приезжающих в Лондон на год. Он часто принимает их у себя и знает, что встав из-за его стола (и выболтав ему все, что он хотел знать о состоянии рынка), молодые люди направляются прямиком в монастырь, где предприимчивые лондонские девицы прячутся от дождя в ожидании клиентов.

Король приезжает семнадцатого апреля. На заре льет дождь. К десяти утра воздух упоительно свеж. Он в кресле; встает. Мой дорогой Кромвель! Генрих крепко целует его в обе щеки, берет за руки и (дабы он не считал себя единственным сильным мужчиной в королевстве) решительно усаживает обратно.

— Сидите и не спорьте, — требует Генрих. — Раз в жизни не спорьте со мной, господин секретарь.

Обе хозяйки, Мерси и его свояченица Джоанна, разодеты, как Божья Матерь Уолсингамская в праздник. Они низко приседают. Генрих высится над ними, в джеркине из серебряной парчи, с золотой цепью, на пальцах сверкают индийские изумруды. Король не помнит, кто кому приходится, что более чем простительно.

— Сестра господина секретаря? — спрашивает Генрих Джоанну. — О нет, виноват. Теперь я вспомнил, что вы потеряли свою сестру Бет в тот же год, когда умерла моя любезная сестрица.

Это такая простая, человечная фраза из уст короля; при напоминании о недавней утрате у обеих женщин текут по щекам слезы; Генрих утирает их пальцем, сперва одной, потом другой, и вот они уже снова улыбаются. Молодиц, Алису и Джо, король кружит в воздухе, как бабочек, целует в губы и говорит, эх, был бы я помоложе. Вы замечали, господин секретарь, что чем старше становишься, тем больше хорошеют девушки? Грустно, не правда ли?

Что ж, отвечает он, у старости есть свои преимущества: в восемьдесят лет уродина покажется красоткой. Мерси говорит королю запросто,

как соседу — полноте, сударь, какие ваши годы! Генрих разводит руки и демонстрирует себя обществу: «В июле будет сорок пять!»

Все недоверчиво ахают. Генрих доволен.

Король идет по комнате, разглядывает картины, спрашивает, кто на них изображен. Смотрит на Ансельму, царицу Савскую. Берет на руки Беллу и разговаривает с ней на жутком французском супруги губернатора Кале, так что все покатываются со смеху. «Леди Лайл прислала королеве песика, еще меньше. Он наклоняет голову и навостряет уши, словно спрашивая, почему вы со мной разговариваете? Королева дала ему кличку Пуркуа». Король говорит про Анну с обожанием, голос становится, как мед. Женщины улыбаются, довольные, что король подает такой пример супружеской любви. «Вы ведь его знаете, Кромвель, видели у нее на руках. Она везде его носит. Порой, — и тут король рассудительно кивает, — я думаю, она любит его больше, чем меня. Да, я на втором месте после песика».

Он сидит, улыбается, есть не хочет — смотрит, как Генрих ест с серебряных тарелок, сделанных по эскизу Ганса.

Генрих ласково обращается к Ричарду, называет того кузеном и просит постоять рядом, а всех

остальных отойти — королю надо побеседовать со своим советником. Что если Франциск то или Франциск се, не должен ли я сам отправиться через пролив, чтобы о чем-нибудь договориться, отправитесь ли вы, когда снова будете на ногах? Что если ирландцы, что если шотландцы, что если все взбунтуются и у нас будут войны, как в Германии, и крестьяне начнут короноваться на царство, что если эти лжепророки, что если Карл меня низложит и отдаст трон Екатерине, у нее такой горячий нрав, и народ ее любит, Бог весть за что, потому что я ее не люблю.

Если это случится, отвечает он, я встану с этого кресла, возьму меч и сам выйду на бой.

Отобедав, король сидит рядом с ним и тихо рассказывает о себе. Апрельский день, свежий после ливня, напомнил Генриху смерть отца. Король говорит о своем детстве: я жил в Элтемском дворце, и у меня был шут по кличке Гусь. Когда мне было семь, на Лондон шли мятежные корнуольцы под предводительством великана, помните? Отец отправил нас под защиту тауэрских стен, а я сказал, выпусти меня, позволь мне сражаться! Я не боялся великана с запада, но я боялся свою бабку Маргариту Бофорт — у нее были лицо, как череп, и хватка, как у скелета, когда она стиски-

вала мне руку.

Пока мы были маленькие, говорит Генрих, нам всегда твердили: ваша бабушка родила милорда вашего отца, когда ей было всего тринадцать. Ее прошлое было как занесенный над нами меч. Гарри, что я слышу, ты смеешься в Великий пост? В то время как я, будучи чуть старше тебя, родила Тюдора. Гарри, что я вижу, ты танцуешь, ты играешь в мяч? Вся ее жизнь была один сплошной долг. Она держала у себя в Уокингском дворце двенадцать нищих и как-то заставила меня встать перед тазом на колени и мыть им ноги, страшные, желтые, хорошо еще, что меня не вырвало. Каждое утро она приступала к молитве в пять — вставала на подушечку и плакала от боли в коленях. А когда случался праздник — свадьба, крестины или просто веселье, знаете, что она делала? Всякий раз. Без единого исключения. Она плакала.

Принц Артур был для нее всем — светом очей и пресвятым ангелом.

— Когда вместо него королем стал я, она слегла и умерла от злости. И знаете, что она мне сказала на смертном одре? — Генрих фыркает. — Во всем слушайся епископа Фишера! Лучше бы она велела Фишеру слушаться меня!

Проводив короля и свиту, Джоанна приходит с ним посидеть. Они разговаривают тихо, хотя и не произносят ничего недолжного.

— Что ж, все прошло успешно.

— Надо будет сделать подарки поварам.

— Все слуги были молодцы. Я рада, что на него поглядела.

— Не разочарована?

— Я не думала, что он такой ласковый. Теперь я понимаю, почему Екатерина так за него билась — не только за корону, которую считает своей по праву, но и за такого мужа. В него трудно не влюбиться.

— Сорок пять! — громогласно встревает Алиса. — Я думала, ему уже не по летам!

— Ты легла бы с ним за пригоршню гранатов! — фыркает Джо. — Сама сказала.

— А ты — за экспортные лицензии!

— Прекратите, девчонки! — одергивает он. — Слышали бы вас ваши мужья.

— Наши мужья отлично нас знают, — говорит Джо. — Мы с гонором, верно? В Остин-фрайарз за робкими скромницами не приходят. Даже странно, что дядя нас не вооружил.

— Обычай не дает. Не то бы я отправил вас в Ирландию.

Когда они со смехом выходят из комнаты, Джоанна наклоняется к нему и шепчет, ты не поверишь тому, что я сейчас скажу.

— Давай проверим.

— Генрих тебя боится.

Он мотает головой. Кто может испугать Льва Англии?

— Вот тебе крест! Надо было видеть его лицо, когда ты сказал, что возьмешь меч.

Приезжает герцог Норфолкский, грохочет по двору, пока слуги держат украшенного плюмажем коня.

— Печенка, а? Моя печенка ни к черту. За последние пять лет я весь иссох! Только гляньте! — Герцог вскидывает костлявую руку. — Всех врачей в королевстве перепробовал — не знают, как лечить. Зато счета присылают исправно.

Норфолк, как доподлинно известно Кромвелю, никогда не платит по счетам.

— И колики эти треклятые, — продолжает герцог, — из-за них я в земной жизни как в чистилище. Иногда всю ночь не слезаю со стульчака.

— Вашей милости надо вести более размеренный образ жизни, — говорит Рейф, подразумевая: не заглатывать еду в один присест. Не мчаться все время взмыленным, как почтовая лошадь.

— А я буду, уж поверьте. Племянница объявила, что не хочет ни видеть меня, ни слышать. Я уезжаю в свое поместье Кенинг-холл — там Генрих и найдет меня, если пожелает. Господь да подаст вам исцеление, господин секретарь. Святой Уолтер, говорят, помогает, когда работа невмочь. А святой Убальд — от головной боли, я проверял, действует. — Герцог сует руку за пазуху. — Привез вам образок. С благословением папы. То есть епископа Римского. — Бросает образок на стол. — Подумал, может, у вас нет.

Герцог выходит. Рейф берет образок.

— Наверняка на нем проклятие.

Слышно, как герцог на лестнице громко сетует:

— Я думал, он при смерти! Мне сказали, что при смерти!

Он говорит Рейфу:

— Ну, спровадили.

Рейф ухмыляется:

— И Суффолка тоже.

Генрих так и не получил тридцать тысяч фунтов штрафа, который наложил на Суффолка за женитьбу на своей сестре. Время от времени король вспоминает про эти деньги, и сейчас как раз такой случай. Брэндон вынужден был отдать зем-

ли в Оксфордшире и Беркшире и сейчас скромно живет в дальнем поместье.

Кромвель блаженно закрывает глаза: я сумел обратить в бегство двух герцогов.

Приходит сосед Шапюи.

— Я сообщил в депеше своему господину, что король вас посетил. Мой господин изумлен, что монарх отправился к подданному, и даже не лорду. Однако я отписал в ответ, видели бы вы, сколько Кромвель для него сделал.

— Ему бы такого слугу, — говорит он. — Однако, Эсташ, вы старый лицемер. Вы сплясали бы на моей могиле.

— Ах, дорогой Томас, с кем бы я спорил, если бы вас не стало?

Томас Авери тайком от врачей приносит ему книжку с шахматными задачами Луки Пачоли. Очень скоро он уже решил все и даже составил свои на чистых листах в конце. Ему приносят почту, и он узнает, какие еще ужасы произошли в последнее время. Говорят, что мюнстерский

портной,[99] король Иерусалимский и супруг шестнадцати жен, повздорил с одной из них и отрубил ей голову на ярмарочной площади.

Он возвращается в мир. Сбей его с ног — он встанет. Смерть пришла с инспекцией, смерила его, дохнула в лицо и ушла. Он немного похудел — это видно по одежде — и некоторое время чувствует себя легким, не укорененным в земле: каждый день исполнен возможностями, и все они влекут вверх. Болейны сердечно поздравляют его с выздоровлением, и правильно: где бы они без него были. Кранмер при встрече то и дело стискивает ему руку.

С их последней встречи король остриг волосы. Его величество рассчитывал, что так станет менее заметна растущая лысина (не стала). Верные советники последовали примеру государя, и вскоре между ними это сделалось знаком товарищества.

— Клянусь Богом, — говорит мастер Ризли, — если бы я не боялся вас прежде, то испугался бы

---

[99] Примечания Ольги Дмитриевой: 99

Имеются в виду события в Мюнстере, где в 1534–1535 гг. власть захватила радикальная секта анабаптистов, которые объявили город «Новым Иерусалимом», осуществили передел собственности, ввели общность имущества, отменили деньги. Общиной «праведников» руководили булочник Ян Матис и портной Иоанн Лейденский. Противники анабаптистов обвиняли их в ереси и прочих чудовищных преступлениях, в частности, в полигамии.

теперь.

— Но Зовите-меня, — отвечает Кромвель, — вы же боялись меня прежде.

Ричард, который постоянно участвует в турнирах и потому стрижет волосы коротко, чтобы убирать их под шлем, не изменился. Мастер Ризли выглядит более умным, если такое возможно, а Рейф — более решительным и настороженным. Ричард Рич перестал казаться мальчишкой. Широкое лицо Суффолка приобрело неожиданно наивное выражение. Монсеньор теперь с виду — сущий аскет. Перемены в Норфолке никто не заметил. «У него разве были волосы?» — спрашивает Рейф. Сивая поросль на голове герцога — словно ряды оборонительных валов, проложенных фортификаторами.

Мода распространяется по стране. Когда в Дом архивов стремительно входит Роуланд Ли, Кромвелю кажется, что на него летит пушечное ядро. У сына глаза по-прежнему золотистые, но как будто больше и спокойнее. Мама всплакнула бы над твоими младенческими кудрями, говорит он, ласково проводя рукой по коротко остриженной голове. Грегори отвечает: «Правда? Я ее почти не помню».

В апреле судят четырех монахов, упорно не же-

лающих присягать. С казни блаженной прошел год. Тогда король проявил снисхождение к ее сторонникам, но теперь Генрих не расположен никого миловать. Все четверо — картезианцы из лондонской обители, известной своим аскетизмом; здесь подвизался Томас Мор, пока не осознал, что его дарования нужнее в миру. Он, Кромвель, посетил гнездо изменников, как перед тем — непокорное Сионское аббатство. Он говорил вкрадчиво и говорил грубо, угрожал и улещивал, он прислал просвещенных клириков, чтобы те растолковали справедливость королевских требований; он постарался внести в ряды монахов раскол, опираясь на недовольных. Все тщетно. Каждый из упрямцев твердил одно: уходите и дайте мне умереть с миром.

Если они надеются сохранить в себе тишину своей молитвенной жизни, то глубоко заблуждаются. Закон требует для изменников самой жестокой казни: несколько мгновений в петле, затем публичное потрошение еще живого человека с сожжением его внутренностей на жаровне. Это чудовищная смерть: боль, ярость и унижение полной мерой; самые ярые бунтовщики от страха теряют человеческий облик еще до того, как палач с ножом берется за работу. Перед смертью

осужденный видит казнь товарищей; когда его срезают с виселицы, он, как зверь, ползает на четвереньках по окровавленным доскам.

Уилтшир и Болейн должны представлять короля на Тайберне, и Норфолк, которого вытащили из деревни, чтобы отправить с посольством во Францию, тоже. Король собирался сам смотреть, как казнят монахов: придворные будут в масках, верхом, среди чиновников и горожан, которые всегда сотнями сбегаются на такие зрелища. Однако при таком росте трудно сохранять инкогнито, а король опасается выступлений в поддержку Екатерины — в любой толпе оборванцев всегда оказываются ее сторонники. Вместо меня поедет Ричмонд, объявляет Генрих; возможно, когда-нибудь мальчику придется защищать титул своей единокровной сестры с оружием в руках, пусть привыкает к крови и звукам бойни.

Фицрой приходит к Кромвелю поздно вечером накануне казни.

— Добрый господин секретарь, замените меня, пожалуйста.

— А вы замените меня завтра утром на встрече с королем? Обдумайте вот что, — говорит он приятным, но твердым голосом. — Если вы скажетесь больным или завтра упадете с лошади либо сблю-

ете на глазах у тестя, он вам этого не забудет. Если хотите, чтобы вас пустили в постель к молодой жене, покажите себя мужчиной. Смотрите на герцога и держитесь, как он.

Однако на следующий день после казни к нему приходит сам Норфолк и говорит, Кромвель, жизнью клянусь, я слышал, как один монах кричал, когда у него уже вырезали сердце. Иисусе, крикнул он, Иисусе, спаси нас, несчастных англичан.

— О нет, милорд. Это невозможно.

— Вы точно знаете?

— Да, по собственному опыту.

Герцог трепещет. Вот и отлично, пусть думает, что в прошлом он, помимо прочего, вырывал у людей сердца.

— Наверное, вы правы. — Норфолк осеняет себя крестом. — Наверное, это был голос из толпы.

Вечером накануне дня, когда должны были казнить монахов, он выписал пропуск на имя Маргарет Ропер, первый за несколько месяцев. Уж конечно, думает он, Мэг будет с отцом, когда монахов поведут на казнь, уж конечно, она его разжалобит, скажет, король настроен кровожадно, присягни как присягнула я. Шепни себе, что это не считается, скрести пальцы за спиной; главное — позови Кромвеля или другого коро-

левского чиновника, произнеси нужные слова и вернись домой.

Однако тактика не сработала. Отец и дочь с сухими глазами стояли у окна, когда изменников, в монашеских облачениях, выводили из казематов, чтобы везти на Тайберн. Я всегда забываю, думает он, что Мор не жалеет себя и не чувствует жалости к другим. Я бы уберег своих девочек от такого зрелища и потому ждал того же от Мора. Какое там! Для этого человека даже дочь — лишь средство укрепить свою решимость. Если Мэг не сдастся, не сдастся и ее отец. А она не сдастся.

На следующий день он сам идет к Мору. Дождь лупит о мостовую и пузырится в лужах, стены и вода неразличимы, ветер на углах завывает, словно зимой. Выбравшись из мокрых верхних слоев одежды, он болтает с тюремщиком Мартином, выслушивает новости о жене, о новорожденном. Наконец спрашивает про арестанта, и Мартин отвечает: вы когда-нибудь обращали внимание, что у него одно плечо выше другого?

Это из-за письма, объясняет он, один локоть на столе, другое плечо опущено. Так или иначе, говорит Мартин, он похож на маленького резного горбуна с перил церковной скамьи.

Мор отпустил бороду и стал похож на мюнстер-

ских пророков, какими их рисует воображение, хоть и обиделся бы на такую параллель.

— Господин секретарь, как король принял вести из-за границы? Говорят, императорские войска выступили в поход.

— Да, думаю, на Тунис. — Он кивает в сторону окна, за которым идет дождь. — На месте императора всякий предпочел бы Тунис Лондону, не так ли? Послушайте, я пришел к вам не ссориться. Просто убедиться, что вы не терпите лишений.

Мор говорит со смехом:

— Я слышал, вы привели к присяге моего шута, Генри Паттинсона.

— А люди, которые вчера умерли, последовали вашему примеру и отказались присягнуть.

— Позвольте объяснить. Я не пример. Я — просто я и никто иной. Я ничего не говорю против акта. Я ничего не говорю против людей, которые его составили. Я ничего не говорю против присяги и тех, кто ее принимает.

— Да, — он садится на сундук, в котором Мор держит свои пожитки, — но вы знаете, что присяжных это не убедит. Если дело дойдет до присяжных.

— Вы пришли мне угрожать.

— Военная эскапада императора вывела короля

из себя. Его терпение истощилось. Он пришлет комиссию, которая задаст вам прямые вопросы.

— Ну конечно, ваши друзья без труда докопаются до истины. Лорд Одли? И Ричард Рич? Куда мне до них! Послушайте. С первого дня здесь я готовлюсь к смерти от ваших — да, от ваших — рук или от рук природы. Я прошу лишь мира и покоя для молитв.

— Вы хотите стать мучеником.

— Нет, я хочу домой. Я слаб, Томас. Слаб, как мы все. Я хочу, чтобы король признал меня своим слугой, своим любящим подданным, каким я был и остаюсь.

— Я никогда не понимал, где граница между жертвой и самоубийством.

— Ее определил Христос.

— Вас не смущает сравнение?

Молчание. Громкое, вызывающее молчание Мора, которое эхом отдается от стен. Мор говорит, что любит Англию и страшится за ее будущее. Он предлагает своему мстительному Богу сделку. «Будет лучше, чтобы один человек умер за людей». Что ж, думает он про себя, я вам скажу. Торгуйтесь, если хотите. Отдайте себя палачу, коли считаете нужным. Людям глубоко плевать. Сегодня пятое мая. Через два дня вас посетит ко-

миссия. Мы попросим вас сесть, вы откажетесь. Вы будете стоять перед нами, как отец-пустынник. Мы будем сидеть, в зябкой летней прохладе. Я все скажу как всегда. Вы ответите как всегда. И возможно, я признаю вас победителем. Я уйду и оставлю вас, доброго подданного, раз уж вы так говорите, торчать здесь, пока ваша борода не отрастет до колен и пауки не затянут паутиной ваши глаза.

Таков план. События развиваются иначе. Он говорит Ричарду: был ли в клятой истории клятого Рима епископ, который выбирал для своей дурости более неудачное время? Фарнезе объявил, что у Англии будет новый кардинал: епископ Фишер. Генрих в ярости. Клянется, что отправит голову Фишера в Италию — навстречу кардинальской шапке.

Третье июня. Он едет в Тауэр с Уилтширом от семейства Болейнов и Чарльзом Брэндоном, который явно предпочел бы рыбалку. Еще с ними Рич — присяжный протоколист, Одли — присяжный шутник. Опять сыро, и Брэндон говорит, самое скверное лето на нашей памяти, а? Да, отвечает он, хорошо, что его величество не суеверен. Все смеются, Суффолк немного неуверенно.

Некоторые говорили, что конец света наступит

в 1533-м. У прошлого года тоже нашлись адепты. Так почему не нынешний? Всегда кто-нибудь готов объявить, что наступили последние времена, и назначить ближнего Антихристом. Из Мюнстера сообщают, что Апокалипсис наступил. Осаждающие требуют безусловной капитуляции, осажденные грозят массовым самоубийством.

Он идет впереди остальных.

— Боже, ну и место! — сетует Брэндон, которому дождь испортил шляпу. — Неужто оно вас не гнетет?

— Да мы все время здесь, — пожимает плечами Рич, — то по одному делу, то по другому. Господин секретарь нужен и на Монетном дворе, и в сокровищнице.

Мартин открывает дверь. Мор при их появлении вскидывает голову.

— Сегодня либо «да», либо «нет», — говорит Кромвель.

— И даже без «здравствуйте, как здоровье». — Кто-то передал Мору гребень для бороды. — Что сообщают из Антверпена? Вправду ли Тиндейл схвачен?

— Это к делу не относится, — говорит лорд-канцлер. — Отвечайте на вопрос о присяге. Отвечайте на вопрос о статуте. Законен ли он?

— Сообщают, будто он вышел на улицу, и его схватили солдаты императора.

Кромвель спрашивает холодно:

— Вы знали загодя?

Тиндейла не просто схватили. Кто-то выманил его из убежища, и Мору известно, кто. Он видит другого себя, в такое же дождливое утро: этот другой идет через комнату, рывком ставит арестанта на ноги, выбивает из него имя агента.

— Ваша светлость, — говорит он Суффолку, — не яритесь так, будьте спокойнее.

— Я? — удивляется Брэндон.

Одли смеется.

Мор говорит:

— Теперь дьявол Тиндейл получит по заслугам. Император его сожжет. А король не шевельнет пальцем в его защиту, потому что Тиндейл не поддержал брак его величества с леди Анной.

— Может, вы считаете, что в этом Тиндейл прав? — спрашивает Рич.

— Отвечайте, — требует Одли; впрочем, довольно мягко.

Мор возбужден, запинается; не обращает внимания на Одли, говорит с ним, с Кромвелем.

— Вы не можете принудить меня к ответу. Ибо если бы я имел возражения против вашего акта

о супрематии, чего я не признаю, ваша присяга стала бы обоюдоострым мечом: сказав «да», я сгубил бы душу, сказав «нет» — тело. Посему я не скажу ничего.

— Когда вы допрашивали тех, кого называли еретиками, вы не терпели уклончивости. Вы требовали признаний, а тех, кто не признавался, вздергивали на дыбу. Если они должны были отвечать, почему вы не должны?

— Это другой случай. Когда я требую ответа от еретика, за мной весь свод законов, вся мощь христианского мира. Здесь же мне угрожают одним-единственным законом, одним недавним установлением, не признанным нигде за пределами этой страны…

Он видит, что Рич делает пометку. Отводит взгляд.

— Конец один. Им костер. Вам — плаха.

— Если король по своему милосердию смягчит приговор, — говорит Брэндон.

Мору страшно: руки на столе сжимаются в кулаки. Кромвель рассеянно примечает этот жест. Вот он, выход: испугать Мора более мучительной казнью. И еще не додумав мысль до конца, он понимает, что не прибегнет к такому методу, и это осознание разъедает душу, как язва.

— Насчет чисел спорить не стану, но давно ли вы последний раз смотрели на карту? Христианский мир уже не тот, что прежде.

Рич говорит:

— Господин секретарь, у Фишера больше мужества, чем у арестанта перед нами. Фишер говорит что думает, и принимает последствия. Сэр Томас, полагаю, вы стали бы прямым изменником, если бы посмели.

Мор отвечает мягко:

— Вы ошибаетесь. Не мое дело — пробиваться к Богу; я буду ждать, пока Бог меня призовет.

— Мы видим, что вы запираетесь, — говорит Одли, — однако не станем применять к вам те методы, которые вы применяли к другим. — Лорд-канцлер встает. — Согласно королевской воле мы передаем дело в суд.

— Во имя Господне! Какой вред я могу принести отсюда? Я не делаю ничего дурного. Не говорю ничего дурного. Не замышляю никакого зла. Если этого мало, чтобы сохранить человеку жизнь…

Он перебивает, не веря своим ушам:

— Вы не делаете дурного? А как насчет Бейнхема? Помните Бейнхема? Вы конфисковали его имущество, бросили в тюрьму его жену, приказали вздернуть его на дыбу, отправили к епископу

Стоксли в подвал, забрали к себе домой, где два дня держали прикованным к столбу, снова отправили к Стоксли, где несчастного били и унижали в течение недели, но даже это не утолило вашей злобы; вы вновь отослали арестанта в Тауэр и на дыбу, так что к месту сожжения его, чуть живого, несли на носилках. И вы, Томас Мор, говорите, что не делаете ничего дурного?

Рич начал собирать бумаги Мора со стола: подозревают, что тот обменивается письмами с Фишером. Будет неплохо, если удастся доказать соучастие Мора в измене Фишера. В первый миг Мор пытается закрыть ладонью бумаги, затем пожимает плечами.

— Забирайте, если они вам нужны. Вы и так читаете все, что я пишу.

Кромвель говорит:

— Если в ближайшее время мы не услышим о перемене в вашем образе мыслей, нам придется забрать у вас перо и бумагу. А также книги. Я кого-нибудь пришлю.

Мор как будто съеживается. Прикусывает губу.

— Если так, забирайте прямо сейчас.

— Фи! — говорит Суффолк. — Мы вам что, слуги, мастер Мор?

Анна говорит:

— Это все из-за меня.

Он кланяется.

— Когда вы наконец вытянете из Мора, что именно тревожит его столь чуткую совесть, выяснится, что главная причина — нежелание признать меня королевой.

Она маленькая, бледная и злая. Тонкие пальцы сжаты, глаза сверкают.

Однако прежде чем двигаться дальше, он должен напомнить Генриху о прошлогоднем провале, о том, что не всякое желание короля исполняется само собой. Прошлым летом лорда Дакра, одного из северных лордов, судили за измену: сговор с шотландцами. За обвинением формально стояли Клиффорды, давние соперники и кровные враги Дакров, а на самом деле — Болейны, ибо Дакр ревностно поддерживал прежнюю королеву. Действо разыгрывалось в Вестминстер-холле, заседания вел Норфолк как председатель суда пэров; Дакра, согласно его привилегиям, судили двенадцать лордов. Быть может, вся затея была просчетом — Болейны хотели слишком много и сразу. Возможно, он допустил ошибку, что не выступил обвинителем сам; он предпочел оставаться в тени, чтобы не злить аристократов, и без того недовольных без-

родным выскочкой. А может, беда в Норфолке, который не сумел совладать с лордами… Так или иначе, обвинения были сняты, к возмущению и ярости короля, никак не ожидавшего такого поворота событий. Королевская стража доставила Дакра назад в Тауэр, а Кромвеля направили следом заключить сделку, которая в конечном счете, он знает, погубит Дакра. В суде тот говорил семь часов кряду, но он, Кромвель, мог бы говорить неделю. Обвиняемого признали виновным в недонесении об измене, а не в самой измене. Заплатив за королевское прощение десять тысяч фунтов, Дакр вышел на свободу нищим.

Однако королева вне себя: она хочет, чтобы кого-нибудь примерно наказали. А события во Франции развиваются не так, как хотелось бы; говорят, при упоминании имени Анны Франциск презрительно хмыкает. Она подозревает (и вполне обоснованно), что ее слуга Кромвель больше заинтересован в союзе с немецкими князьями, чем в союзе с Францией, однако сейчас не время с ним ссориться, и она говорит, я не успокоюсь, пока жив Фишер, пока жив Мор. Сейчас она кружит по комнате, взвинченная, отнюдь не величественная, то и дело поворачивается к Генриху, трогает короля за рукав, трогает за руку,

а король всякий раз отмахивается, как от мухи. Он, Кромвель, наблюдает. Сегодня это одна супружеская чета, завтра — другая; то друг на друга не надышатся, то будто чужие. Впрочем, нежности оставляют более тягостное впечатление.

— Фишер меня не беспокоит, — говорит Кромвель, — потому что состав преступления налицо. В случае Мора… Морально наши обвинения неоспоримы. Никто не сомневается, что Мор верен Риму и не признает ваше величество главой церкви. Юридически наши обвинения слабы, и Мор не упустит ни одной юридической, ни одной процессуальной уловки. Осудить его будет нелегко.

Генрих сбрасывает оцепенение.

— А я держу вас для легких задач? Я в простоте душевной вознес вас так, как людей вашего происхождения не возносили за всю историю королевства. — Понижает голос. — Думаете, за красоту лица? За приятность вашего общества? Я держу вас, мастер Кромвель, потому что вы хитры, как сотня аспидов. Однако я не собираюсь пригревать змею у себя на груди. Вам известна моя воля. Исполняйте.

Выходя, он ощущает воцарившуюся в комнате тишину. Анна идет к окну. Генрих провожает его

взглядом.

Так что когда приходит Рич, трепеща от каких-то неведомых тайн, первое желание — прихлопнуть того, как муху. Однако он тут же овладевает собой и трет руки: счастливейший человек во всем Лондоне.

— Ну, сэр Кошель, забрали книги? И как он?

— Опустил штору. Я спросил, зачем, и он ответил, добро вынесли, я закрываю лавочку.

Нестерпимо думать о Море в комнате без света.

— Смотрите, сэр. — Рич протягивает сложенный листок. — Мы побеседовали. Я все записал.

— Разыграйте со мной. — Он садится. — Я Мор. Вы — Рич.

Рич смотрит непонимающе.

— Закрыть ставни? — продолжает Кромвель. — Действие происходит в темноте?

— Я не хотел, — неуверенно начинает Рич, — уходить от него, не сделав последней попытки…

— Понимаю. У вас своя тактика. Но почему он согласился говорить с вами, если не говорил со мной?

— Потому что он считает меня никем. Пустым местом.

— В то время как вы — генеральный стряп-

чий, — с издевкой произносит он.

— И мы стали разбирать умозрительные случаи.

— Словно в Линкольнс-инн после ужина?

— Сказать по правде, сэр, я его пожалел. Он скучает по разговорам, и вы знаете, как его трудно остановить. Я сказал, предположим, парламент издаст указ, что я, Ричард Рич, отныне король. Признаете ли вы меня? Он рассмеялся.

— Что ж, согласитесь, это и впрямь маловероятно.

— Я настаивал, и он ответил, да, венценосный Ричард, я вас признаю, ибо парламент вполне на такое способен, а учитывая последние события, я не удивлюсь, проснувшись однажды под властью короля Кромвеля; если портной может стать королем Иерусалимским, сын кузнеца вполне может сесть на престол Англии.

Рич умолкает: не оскорбился ли собеседник?

— Когда стану королем Кромвелем, — ухмыляется Кромвель, — я сделаю вас герцогом. Так в чем суть, Кошель?.. Или сути-то нет никакой?

— Мор сказал, ладно, вы привели пример, я приведу другой. Предположим, парламент издаст указ, что Бог отныне не Бог, что тогда? Я ответил, указ не будет иметь силы, потому что парламент

не правомочен в таких вопросах. Тогда он сказал, ну вот, молодой человек, по крайней мере, вы способны распознать явную нелепость. Потом замолчал и взглянул на меня, словно говоря: вернемся в реальный мир. Я сказал, давайте разберем промежуточный вариант. Вы знаете, что парламент провозгласил нашего государя главой церкви, почему вы не признаете это решение, как в случае объявления меня королем? И он сказал — как будто наставляя ребенка — тут разные случаи. Первый вопрос — светский, и парламент правомочен выносить по нему решения. Второй относится к духовной сфере, а следовательно, вне компетенции парламента.

Кромвель смотрит на Рича во все глаза. Говорит:

— Папист несчастный.

— Да, сэр.

— Мы знаем, что он так думает. Он никогда не признавал этого вслух.

— Он сказал, есть высший закон над этой страной и над всеми остальными, и коли парламент преступает закон Божий…

— Читай папский — ибо они для него одно, это он не сможет оспорить, верно? Зачем бы он постоянно испрашивал свою совесть, если бы не

проверял день и ночь, согласуется ли она с Римской церковью, его главной путеводительницей? Мне кажется, если он недвусмысленно отрицает компетенцию парламента, он отрицает и королевский титул. А это государственная измена. И все же… — Кромвель пожимает плечами, — насколько прочна наша позиция? Можем ли мы доказать, что отрицание было злонамеренным? Он скажет, мы просто болтали, чтобы скоротать время. Разбирали умозрительные случаи, и слова, произнесенные в таких обстоятельствах, не имеют юридической силы.

— Присяжные такого не поймут. Они заставят его признать собственные слова. В конце концов, он понимал, что это не спор студентов-правоведов.

— Верно. В Тауэре таких споров не ведут.

Рич протягивает листки.

— Я все записал по памяти как мог точно.

— Свидетели есть?

— Тюремщики входили и выходили, укладывали книги в ящик. У него было много книг. Не вините меня за небрежность, сэр, откуда мне было знать, что он вообще со мной заговорит.

— Я и не виню. — Он вздыхает. — На самом деле, Кошель, вы — мое бесценное сокровище. Вы

повторите это в суде?

Рич неуверенно кивает.

— Я жду от вас твердого «да». Или «нет». Если опасаетесь, что вам не хватит духу, будьте добры сказать это сейчас. Если проиграем еще один процесс, мы можем попрощаться с местами. И все наши труды пойдут прахом.

— Понимаете, он никогда не упускал случая вспомнить мои юношеские слабости, — говорит Рич. — Указывал на меня как на дурной пример в своих проповедях. Так пусть следующую проповедь читает на плахе!

Накануне казни Фишера Кромвель приходит к Мору. Берет с собой надежную стражу, но оставляет ее снаружи и входит к арестанту один.

— Я привык, что штора опущена, — говорит Мор почти весело. — Вы не против посумерничать?

— Вам незачем бояться солнца. Его нет.

— Вулси хвастал, что умеет менять погоду, — произносит Мор со смешком. — Спасибо, что навестили меня теперь, когда нам больше не о чем говорить. Или есть о чем?

— Завтра рано утром стража придет за епископом Фишером. Я боюсь, она вас разбудит.

— Я был бы плохим христианином, если бы не

бодрствовал вместе с ним. — С лица Мора сошла улыбка. — Я слышал, король смягчил ему казнь.

— Фишер очень стар и хил здоровьем.

Мор отвечает с едкой учтивостью:

— Я стараюсь, как могу. Но быстрее, чем позволяет природа, не одряхлеешь.

— Послушайте. — Кромвель тянется через стол, стискивает руку Мора — сильнее, чем намеревался. Хватка кузнеца, думает он. Мор невольно морщится. Кожа на исхудавших пальцах суха, как бумага. — Послушайте. Когда предстанете перед судом, бросьтесь на колени и молите короля о пощаде.

Мор спрашивает удивленно:

— И чем мне это поможет?

— Он не жесток. Вам это известно.

— Известно ли? Раньше не был. Он всегда отличался мягким нравом. Но с тех пор он окружил себя другими людьми.

— Призывы к милосердию всегда его трогают. Я не обещаю, что он сохранит вам жизнь, если вы не принесете присягу. Однако он может облегчить вам казнь, как Фишеру.

— Не так уж важно, что станется с моим телом. Мне повезло прожить во многом счастливую жизнь. Господь по своему милосердию меня не

испытывал. И теперь, когда время испытания пришло, я не могу показать себя нерадивым слугой. Я заглядывал в свое сердце, и мне не всегда нравилось то, что я там видел. Если в мой последний миг его возьмет в руки палач, так тому и быть. Очень скоро оно будет в руках Божьих.

— Вы сочтете меня сентиментальным, если я скажу, что не хочу видеть, как вас потрошат?

Молчание.

— Вы не боитесь боли?

— Боюсь, и очень сильно. В отличие от вас, я не отважен и не силен, поэтому невольно представляю в подробностях, как это будет. Однако боль продлится недолго, а потом Господь не даст мне ее помнить.

— Я рад, что не таков, как вы.

— Без сомнения. Иначе вы сидели бы на моем месте.

— Я про неотступные мысли об ином мире. Как я понимаю, вы не видите способов улучшить этот.

— А вы видите?

Вопрос задан почти небрежно. Пригоршня града ударяет в окно. Оба вздрагивают. Кромвель встает, не в силах сидеть на месте. На его вкус уж лучше знать, что там снаружи, видеть, как

гибнет лето, чем прятаться за шторой и гадать, насколько все плохо.

— Когда-то я был полон надежд, — говорит он. — Наверное, мир меня подтачивает. Или просто погода. Я начинаю думать как вы: что надо сжаться до крошечной светлой точки и беречь свою одинокую душу, словно свечу под сосудом. Меня подтачивают боль и унижение, которые я вижу вокруг, невежество, бессмысленный порок, нищета и безнадежность — да, и дождь — дождь, который сыплется на Англию, губя посевы, гася свет в очах людей и свет учености тоже, ибо кто оспорит, что Оксфорд — огромная лужа, а Кембридж уже почти смыло, и кто будет блюсти законы, если судьи барахтаются, силясь не утонуть? На прошлой неделе взбунтовались жители Йорка. И как им не бунтовать, если зерна мало, а цена на него вдвое выше, чем в прошлом году? Моя обязанность — проследить, чтобы мятежников примерно наказали, иначе весь север поднимется с цепами и вилами, и кого они станут убивать, если не друг друга? Я искренне верю, что будь погода лучше, я сам был бы лучше. Я был бы лучше, живи я в краю, где светит солнце, а люди богаты и свободны. Будь наша страна такой, мастер Мор, вам не пришлось бы молиться за меня

и вполовину так усердно, как вы молитесь.

— Как вы умеете говорить, — произносит Мор. Слова, слова, просто слова. — Конечно, я за вас молюсь. Молюсь всем сердцем, чтобы вы увидели свои заблуждения. Когда мы встретимся в раю — а я надеюсь, что мы встретимся, — все наши разногласия будут позабыты. Однако сейчас мы не можем мечтать, чтобы они исчезли. Ваша задача — меня убить. Моя — остаться в живых. Это моя роль и мой долг. Все, что у меня есть, — крошечная опора, на которой я стою, и эта опора — Томас Мор. Если хотите ее отнять — отнимайте. Не ждите, что я отдам ее сам.

— Вы захотите написать речь в свою защиту. Я велю принести перо и бумагу.

— Не уговорами, так уловкой? Нет, господин секретарь, моя защита здесь, — Мор указывает на свой лоб, — куда вам не добраться.

Как странно в комнате, как пусто без книг Мора: она наполняется тенями.

— Мартин, свечу! — кричит Кромвель.

— Вы будете здесь завтра?

Он кивает. Хотя самой смерти Фишера он не увидит. Ритуал требует преклонить колени и снять шляпу на тот миг, когда душа преступника расстается с телом.

Мартин вносит свечу. «Что-нибудь еще?» Пока тюремщик ставит подсвечник на стол, оба молчат; молчат и когда тот выходит. Арестант, ссутулившись, смотрит на пламя. Как угадать, Мор не хочет больше говорить или готовит речь? Есть молчание, которое предшествует словам, и молчание, которое их заменяет. Такое молчание не следует нарушать утверждением, только неуверенным *если бы… быть может…* Он говорит:

— Знаете, я бы оставил вас здесь. Жить своей жизнью. Раскаиваться в своих злодеяниях. Будь я королем.

Темнеет. Как будто арестант вышел из комнаты, оставив вместо себя тень. Пламя свечи дрожит и пригибается. Голый стол между ними, расчищенный от одержимой писанины Мора, стал похож на алтарь — а для чего алтарь, если не для жертвы? Мор наконец прерывает молчание:

— Если после суда, и если король не смягчит, если будет по всей строгости… Томас, как это делается? Казалось бы, когда человеку вспороли живот, он должен умереть сразу, но вроде бы, говорят, нет… У них какой-то особый инструмент?

— Мне жаль, что вы считаете меня специалистом.

Однако не я ли сказал Норфолку, почти что сказал, что сам вырвал кому-то сердце?

Он говорит:

— Это секрет, который палачи ревниво сберегают, дабы держать нас всех в страхе.

— Пусть меня убьют быстро. Я прошу об этом, больше ни о чем.

Мор раскачивается взад-вперед и вдруг сотрясается в рыданиях с головы до пят, словно пронзенный судорогой, ударяет слабой ладонью в пустой стол. Когда Кромвель выходит, «Мартин, идите туда, отнесите ему вина», Мор все еще плачет, дрожа всем телом, молотит рукой по столу.

В следующий раз он увидит Мора в Вестминстер-холле.

В день суда реки выходят из берегов. Темза вспучивается и бурлит, словно адский поток, несет по набережным плавучий сор.

Сегодня схватка Англии с Римом, говорит он. Живых с мертвыми.

Председателем назначен Норфолк. Кромвель рассказывает герцогу, как все будет: в части более ранних обвинений дело будет закрыто. Обвинения касаются различных слов, сказанных в разное время по поводу акта и присяги, а также изменнического сговора между Мором и Фише-

ром — они обменивались письмами, однако сами письма, видимо, уничтожены.

— По четвертому пункту мы заслушаем свидетельство генерального стряпчего. Это отвлечет Мора — он при виде юного Рича неизменно входит в раж и начинает обличать его давние пороки.

Герцог поднимает бровь.

— Пьянство. Драки. Женщины. Кости.

Норфолк трет щетину на подбородке.

— Я приметил, что такие розовощекие красавчики вечно дерутся. Хотят доказать, что они мужчины. А нам, страхолюдным чертям, родившимся в доспехах, в этом нет нужды.

— Верно, — говорит он, — мы тишайшие люди на земле. А теперь, милорд, я попрошу вас слушать внимательно. Еще одна такая ошибка, как с лордом Дакром, станет для нас последней. Итак, по первым пунктам обвинения дело будет закрыто. К следующему присяжные насторожатся. А я подобрал вам отличных присяжных.

Мора будут судить равные: купцы из ливрейных компаний, таких на мякине не проведешь. Как все лондонцы, они изрядно насмотрелись на алчность и высокомерие церкви и очень не любят, когда им запрещают читать Писание на

родном языке. Все они знают Мора, знают его двадцать лет. Помнят, как он оставил вдовой Люси Петит. Как разорил Хемфри Монмаута, давшего приют Тиндейлу. Как склонял к доносительству подмастерьев, к которым они относились как к сыновьям, слуг, настолько близких, что они вместе с хозяевами стояли на вечерних молитвах.

Одно имя вызывает у Одли сомнения.

— Джон Парнелл? Это могут неправильно понять. Парнелл ненавидит Мора с тех самых пор, как Мор вынес против него решение в канцлерском суде…

— Я помню то дело. Мор его провалил — не прочел документы. Слишком был занят — писал любовные цидульки Эразму или набивал колодки на какого-то бедного лютеранина у себя в Челси. Чего вы хотите, Одли? Чтобы я выписал присяжных из Уэллса или из Кумберленда или еще откуда-нибудь, где к Мору расположены больше? Я не могу стереть память лондонцев или составить коллегию присяжных из новорожденных.

Одли качает головой.

— Ну, Кромвель, не знаю.

— Он ушлый малый, — говорит герцог. — Когда пал Вулси, я сказал, запомните его, он ушлый

малый. В два счета тебя обскачет.

Вечером накануне суда, когда он в Остин-фрайарз перечитывает бумаги, в дверь просовывается бритая голова.

— Дик Персер. Входи.

Дик Персер оглядывает комнату. У него узкое шершавое лицо лондонского подростка. Дик присматривает за цепными псами, охраняющими дом по ночам, и здесь, наверху, впервые.

— Заходи и садись. Не бойся. — Он наливает Дику вина в венецианский бокал из бывших кардинальских. — Попробуй. Уилтшир прислал. Мне самому оно не по вкусу.

Дик с опаской берет бокал, отхлебывает вино, бледное, как солома или солнечный свет.

— Сэр, можно мне завтра пойти с вами на суд?

— Все еще саднит, да?

Дик Персер — тот самый мальчишка, которого Мор высек перед всеми домочадцами за слова о том, что облатка — просто кусок хлеба. Дик был тогда совсем маленьким, да и сейчас еще почти ребенок — говорят, первое время в Остин-фрайарз он плакал во сне.

— Одолжи у кого-нибудь ливрею, — говорит Кромвель, — и не забудь с утра вымыть лицо и руки. Не хватало мне хлебнуть с тобой позора.

При слове «позор» мальчика прорывает.

— Я ведь не из-за боли. Мы все ее натерпелись, не в обиду вам будет сказано, сэр, от своих отцов.

— Верно, — говорит он, — меня отец колошматил, словно я — стальной лист.

— Я из-за того, что он меня заголил. При женщинах. При леди Алисе. И барышнях. Я думал, кто-нибудь из них вступится, но когда с меня стянули штаны, они все засмеялись. И смеялись, пока он меня сек.

Обычно в книжках от рук мужчины с розгой или топором страдают юные невинные девы, но мы, видимо, забрели в какую-то другую историю: детские ягодицы в пупырышках от холода, тощая детская мошонка, робкая пиписька сжалась до размеров пуговки, хозяйские дочери хихикают, слуги гогочут, тонкие рубцы на спине вспухают и кровоточат.

— Все прошло и забыто. Не плачь.

Он выходит из-за стола. Дик Персер утыкается бритой головой ему в плечо и рыдает от стыда, от облегчения, от радости, что скоро переживет своего мучителя. Мор сгубил его отца за то, что тот держал дома немецкие книги. Он прижимает мальчика к себе, чувствует биение пульса, напрягшиеся жесткие мышцы, шепчет ласковые,

ничего не значащие слова, как своим детям, когда те были маленькие, или спаниелю, которому наступили на хвост. Он заметил, что обычное вознаграждение утешителю — блоха-другая.

— Я вас никогда не оставлю! — Дик обнимает хозяина; руки, сжатые в кулаки, вжимаются в его спину. Шмыгает носом. — Думаю, ливрея мне пойдет. Во сколько выступаем?

Раннее утро. Он вместе с помощниками в Вестминстер-холле — вдруг в последний миг возникнут непредвиденные затруднения? Зал наполняется судейскими, и когда вводят Мора, все потрясены. Пребывание в Тауэре еще никого не красило, это верно, однако перемена в Море особенно разительна: исхудавший, с всклокоченной седой бородой, он в свои пятьдесят семь выглядит семидесятилетним старцем.

Одли шепчет:

— Можно подумать, его там держали впроголодь.

— А еще говорит, будто я ничего не упускаю.

— Что ж, моя совесть чиста, — беспечно говорит Одли. — Он ни в чем не терпел нужды.

Джон Парнелл Кромвелю кивает. Ричард Рич, одновременно член суда и свидетель, улыбается. Одли приказывает, чтобы обвиняемому при-

несли стул, но Мор садится на самый краешек: напружиненный, готовый к схватке.

Он оборачивается — ведет ли кто-нибудь из его клерков записи.

Слова, слова, просто слова.

Он думает: я помнил вас, Томас Мор, а вы меня — нет. Вы даже не заметили, как я подкрался.

III В Вулфхолл

Июль 1535

В день казни Мора дождь к вечеру перестает, и он гуляет по саду с Рейфом и Ричардом. В просветы облаков выглядывает бледное пятно солнца. Прибитые дождем цветы не пахнут, резкий ветер треплет одежду, задувает за шиворот, потом, круто развернувшись, хлещет по щекам.

Рейф говорит, чувствуешь себя, как в море. Они идут по бокам от него, близко, словно для защиты от пиратов, китов и русалок.

Со времени суда прошло пять насыщенных дней, однако они невольно вспоминают подробности, обмениваются засевшими в памяти впечатлениями: генеральный прокурор что-то спешно дописывает в обвинительном акте, Мор ухмыляется, когда какой-то клерк допускает ошибку в латыни, холодные гладкие лица Болейнов, отца и сына, на скамье судей. Мор ни разу не повысил голос: сидел на стуле, принесенном по указанию Одли, внимательно слушал, склонив голову на бок, теребил рукав.

Поэтому все отчетливо видели, как удивился

Рич, когда Мор на него обрушился; Рич даже отступил на шаг и взялся за стол.

— Я давно знаю вас, Рич, неужто я стал бы с вами откровенничать? — Мор вскочил, в его голосе слышалось ядовитое презрение. — Я знаю вас с юности — картежника, игрока в кости, почитаемого ни за что даже в собственном доме…

— Клянусь святым Юлианом! — воскликнул судья Фицджеймс (он всегда так божился). Потом добавил тихо, обращаясь к нему, Кромвелю: — Не понимаю, что он надеется этим выиграть.

Присяжным вспышка Мора не понравилась; никогда не знаешь, что понравится присяжным. Человеку предъявили собственные слова, решили они, вот он и вскипел. Конечно, они знали репутацию Рича, но разве пьянство, драки и азартные игры не естественнее для молодого человека, чем посты, четки и самобичевание? Тираду Мора резко оборвал Норфолк:

— Довольно о свидетеле! Что вы можете сказать по существу дела? Вы произносили эти слова?

Когда Мор перемудрил? Не в эту ли минуту? Он выпрямился, поправил сползшую мантию на плече, выдержал паузу, успокаиваясь, и свел кулаки.

— Я не говорил того, что утверждает Рич. А если

и говорил, то без злого умысла, следовательно, по закону я невиновен.

Он, Кромвель, видел, как по лицу Джона Парнелла скользнула злая усмешка. С лондонцем, который вообразил, что ему морочат голову, шутки плохи. Одли и другие законоведы могли бы объяснить присяжным: так спорим мы, юристы. Однако Парнелл и его коллеги не хотят выслушивать юридические споры, они хотят истины: были сказаны эти слова или нет? Джордж Рочфорд подается вперед: может ли обвиняемый изложить свою версию разговора?

Мор поворачивается с улыбкой, словно говоря: отличный ход, юный мастер Джордж.

— Я не записывал нашу беседу. У меня не было бумаги и перьев, их уже унесли. Ибо если вспомните, милорд Рочфорд, Рич затем и пришел, чтобы забрать письменные принадлежности.

Здесь Мор вновь сделал паузу и посмотрел на присяжных, словно ожидая аплодисментов; на него глядели каменные лица.

Был ли это поворотный миг? Присяжные могли поверить Мору, памятуя, что тот — бывший лорд-канцлер, а Рич — известный повеса. Никогда заранее не знаешь, что подумают присяжные, хотя, конечно, перед заседанием Кромвель провел

с ними предварительную беседу, пустив в ход всю силу своего убеждения. Он сказал, я не знаю, на чем Мор будет строить защиту, но вряд ли мы до полудня управимся. Надеюсь, вы плотно позавтракали? Когда удалитесь для вынесения вердикта, спешить не стоит, но если вы пробудете там больше двадцати минут, я к вам загляну. Разрешить ваши сомнения юридического характера.

Им хватило пятнадцати минут.

Итак, вечером в саду, шестого июля, в праздник святой мученицы Годеливы (молодой добродетельной жены из Брюгге, утопленной жестоким мужем в пруду), он поднимает голову и чувствует в воздухе перемену, как будто повеяло осенью. Солнце ненадолго выглянуло и спряталось. Тучи, ползущие со стороны Эссекса, громоздятся над городом бастионами и крепостными валами, плывут над мокрыми пастбищами и вышедшими из берегов реками, над западными лесами и дальше, через море, в Ирландию. Ричард поднимает с лавандовой грядки свою шляпу и, тихо чертыхаясь, стряхивает с нее капли. В лицо ударяют первые брызги дождя.

— Пора идти. Мне еще надо написать несколько писем.

— Не сидите сегодня допоздна.

— Слушаюсь, дедушка Рейф. Я выпью молока с хлебушком, прочту молитву и лягу в постельку. Можно мне взять с собой собаку?

— Еще чего! Чтобы вы там всю ночь до утра возились?

Да, верно, накануне он почти не спал. Уже за полночь ему пришло в голову, а ведь Мор наверняка спит, не ведая, что это последняя ночь. Осужденному сообщают о казни только утром. А значит, подумал он, бодрствовать за него буду я один.

Они торопливо входят в дом; ветер грохает дверью о косяк. Рейф берет его под руку. Он говорит, молчание Мора, оно ведь никогда не было молчанием? Оно кричало об измене, оно сквозило придирками, возмущением, несогласием. Это был страх перед простыми и ясными словами либо убеждение, что простые и ясные слова легко извратить. Словарь Мора против нашего словаря. Молчание может быть красноречивым. В корпусе лютни сохраняются все сыгранные ноты, в струнах виолы — аккорд. Увядший лепесток может хранить аромат, молитва — нести в себе проклятия, а опустелый дом — гудеть от речей призраков.

Кто-то — вряд ли Кристоф — поставил ему на стол серебряную вазу с васильками. Сумеречная синева в основании лепестков вызывает в памяти сегодняшнее утро: поздний для июля рассвет, пасмурное небо. К пяти комендант Тауэра должен был прийти за Томасом Мором.

Слышно, как во двор один за другим вбегают гонцы. Хлопотное дело — наводить порядок за покойником, думает он, что ж, в детстве я прибирался за молодыми джентльменами в доме кардинала Мортона, сегодня — последний раз. Ему видится, как он выплескивает пивные опивки в кожаный бурдюк, комкает свечные огарки, чтобы отправить свечнику в переделку.

За дверью голоса; ну и пусть. Он возвращается к письмам. Аббат из Рьюли испрашивает место для своего друга. Мэр Йорка пишет про запруды и сети; воды Хамбера чисты и незамутненны, читает он, и Уза тоже. Письмо от лорда Лайла из Кале с какими-то маловразумительными самооправданиями, он сказал, я ему на это, а он мне на это…

Томас Мор стоит перед ним, более осязаемый, чем в жизни. Возможно, Мор всегда будет здесь: столь же быстрый умом, столь же непреклонный, как в последний час суда. Одли так обрадовался вердикту присяжных, что начал зачитывать

обвинительное заключение, не предоставив осужденному последнего слова; Фицджеймсу пришлось хлопнуть лорда-канцлера по руке, и сам Мор вскочил, чтобы его перебить. Мору было что сказать: звенящий голос, язвительный сарказм, блеск в глазах, жестикуляция — не верилось, что говорит осужденный, в глазах закона уже мертвец.

Однако во всей речи не было ничего нового, по крайней мере, для Кромвеля. Я следую моей совести, объявил Мор, а вы следуйте своей. Моя совесть убеждает меня — теперь я могу говорить прямо, — что ваш статут незаконен (Норфолк рычит) и вы были не вправе его принимать (Норфолк вновь рычит: «Теперь-то ваш злой умысел виден всем!»). Парнелл хохотнул, присяжные обменялись взглядами, и, пока весь Вестминстер-холл гудел, Мор, перекрывая шум, повторил свои изменнические выкладки. Моя совесть с большинством, и потому я знаю, что она не лжет.

— Против королевства Генриха у меня — все христианские королевства. На каждого из ваших епископов у меня сотня святых. Против одного вашего парламента у меня все великие церковные соборы за тысячу лет.

Норфолк сказал, выведите его, все кончено.

Сегодня вторник, восемь часов вечера. Он ломает печать на письме герцога Ричмондского. Мальчик жалуется, что в Йоркшире, куда его отправили, нет охотничьих угодий и он не может с друзьями стрелять оленей. Ах, бедный мой маленький герцог, как мне унять твое горе? У вдовы с черными зубами, той самой, которую он сосватает Грегори, большие угодья — может Ричмонду развестись с дочкой Норфолка и жениться на ней? Он откладывает письмо Ричмонда, перебарывая искушение бросить листок на пол, читает следующие. Император со своим флотом отплыл из Сардинии к Сицилии. Священник церкви Сент-Мэри-Вулчерч утверждает, что Кромвель — сектант и он его не страшится; вот болван. Гарри лорд Морли шлет ему борзую. Сообщают, что жители бегут из окрестностей Мюнстера и часть направляется в Англию.

Одли сказал:

— Осужденный, мы будем просить короля о смягчении казни.

Потом, наклонившись к нему, тихо: господин секретарь, вы что-нибудь ему обещали? Жизнью клянусь, нет, но ведь король наверняка смилостивится. Норфолк говорит, Кромвель, вы ведь постараетесь уговорить короля? Вас он послу-

шает, а если нет, я сам буду его молить. Чудеса: Норфолк просит о милосердии! Он поднял голову, чтобы увидеть, как выводят Мора, однако высокие алебарды уже сомкнулись за осужденным; у пристани ждет лодка из Тауэра. Для Мора это, наверное, как возвращение домой: в привычную комнату с узким окошком, к столу без бумаг, свече, опущенной шторе.

Окно дребезжит; он вздрагивает и вспоминает, что не запер ставни. Встает; и тут входит Рейф с книгой.

— Вот молитвенник, который был у Мора до последней минуты.

Он берет книгу. Благодарение Богу, никаких кровавых пятен.

Раскрывает, встряхивает.

— Я уже проверил, — говорит Рейф.

Мор написал на молитвеннике свое имя. Некоторые строчки подчеркнуты. «Грех юности моея не помяни».

— Жаль, что он помянул грехи Ричарда Рича.

— Отправить леди Алисе?

— Нет. Она сочтет себя одним из его грехов.

Бедная женщина и без того натерпелась. В последнем письме Мор с ней даже не попрощался. Он закрывает молитвенник.

— Отправь Мэг. Он наверняка ей и предназначался.

Весь дом ходит ходуном: ветер в кровле, ветер в дымоходе, из-под каждой двери тянет сквозняком. Холодно, давайте я велю развести камин, предлагает Рейф. Он мотает головой.

— Скажи Ричарду, пусть завтра утром сходит на Лондонский мост и поговорит со смотрителем. Мистрис Ропер придет просить голову отца для погребения. Пусть смотритель возьмет у нее деньги и даст ей сделать, что она хочет. И чтоб никому ни слова!

Как-то давно, в Италии ему случилось поработать могильщиком — не по своей воле, просто выбора не было. Они обвязали лица платками и зарыли товарищей в неосвященную землю, а потом ушли, унося на башмаках запах тлена.

Что хуже, думает он, увидеть смерть дочерей или позволить им прибирать твои останки?

— Было что-то еще… — Он хмурится, глядя в бумаги. — Рейф, что я забыл?

— Поужинать?

— Позже.

— Написать лорду Лайлу?

— С лордом Лайлом я разобрался.

И с рекой Хамбер. С хулителем из Сент-Мэри-

Вулчерч; не то чтобы разобрался, но занес его в список, на будущее. Он смеется.

— Знаешь, что мне нужно? Мне нужна запоминающая машина.

Гвидо, как сообщают, уехал из Парижа. Сбежал в Италию, бросив машину недостроенной. Говорят, будто перед отъездом он несколько недель молчал и ничего не ел. Доброжелатели утверждают, что он утратил рассудок, потрясенный возможностями своего детища: рухнул в бездну сверхчувственного. Злопыхатели уверены, что из закутков механизма вылезли бесы и так напугали Гвидо, что тот бежал ночью в одной рубашке, не прихватив в дорогу корки хлеба или куска сыра, бросив все свои книги и чародейские мантии.

Если Гвидо и впрямь оставил во Франции свои записи, их вполне можно добыть за деньги. Или отправить в Италию людей, которые его разыщут. Однако чего ради? Скорее всего, мы так и не узнаем, в чем состояло изобретение. Был это печатный станок, который сам пишет книги? Разум, осознающий самое себя? Что ж, раз машина не досталась мне, по крайней мере, у Франциска ее тоже не будет.

Он берется за перо. Зевает, кладет перо на место, берет снова. Меня найдут мертвым за столом,

думает он, как Петрарку. Поэт написал много неотправленных писем. Цицерону, умершему за двенадцать веков до его рождения. Гомеру, которого, возможно, никогда и не было. Однако ему хватает своего: лорда Лайла, запруд, императорских галеонов в Средиземном море. Между двумя обмакиваниями пера в чернильницу, пишет Петрарка, «между двумя обмакиваниями пера в чернильницу уходит время; и я спешу, подгоняю себя, тороплюсь к смерти. Мы непрестанно умираем, я — пока пишу, ты — пока читаешь, другие — пока слушают или затворяют уши; все умирают».

Он берет следующую стопку писем. Некий Бэткок испрашивает разрешения на вывоз ста бочек вайды. Гарри Перси снова болен. Йоркширские власти арестовали бунтовщиков и разделили их на две категории: часть пойдет под суд за беспорядки и непредумышленное убийство, часть — за умышленное убийство и насилие над женщинами. Насилие? С каких пор во время голодных бунтов насилуют женщин? Впрочем, я забыл, это же Йоркшир.

— Рейф, принеси мне план королевского путешествия. Я его посмотрю и на этом закончу. Сегодня перед сном можно будет помузициро-

вать.

Нынешним летом двор едет на запад, до самого Бристоля. Король готов пуститься в путь, несмотря на дождь. Тронутся из Виндзора, дальше через Оксфордшир: Рединг, Миссенден, Абингдон. Удаляясь от Лондона, надо думать, все повеселеют; он говорит Рейфу, если сельский воздух окажет свое благотворное действие, назад королева вернется с пузом. Рейф говорит, и король каждый раз снова надеется! Откуда у него столько сил? Другой бы уже давно отчаялся.

— Если мы выедем из Лондона восемнадцатого, может, сумеем догнать их в Садли. Как по-твоему?

— Лучше выехать на день раньше. Дороги сильно развезло.

— Нигде не срезать, да?

Реки сейчас вброд не переедешь, только по мостам; и проселками не поскачешь. Вот если бы карты были получше! Еще во времена кардинала он спрашивал себя, что если взяться за это дело, может, осилим? Карты есть, если их можно назвать картами: замки с тщательно отрисованными башенками и рядами курчавых деревьев, отмечающими охотничьи угодья, — между деревьями изображены маленькие олени и кабаны.

Немудрено, что Грегори принял Нортумбрию за Вест-Индию. Эти карты совершенно непригодны практически, например, на них не указан север. Хорошо бы знать, где мосты, каково расстояние между ними, сколько добираться до моря. Беда в том, что карты всегда прошлогодние. Англия непрестанно меняет очертания, море подмывает береговые обрывы, мели смещаются, из сухой земли начинают бить родники. Земля, по которой мы едем, преображается ночами, и не только земля, но и ее история: лица мертвых тают, как гребень холма в тумане.

Ему было тогда лет шесть. Отцовский подмастерье ковал гвозди из ошметков металла, самые простые — заколачивать гроб. В пламени горна раскаленные гвозди светились желтым.

— А для чего надо заколачивать покойников?

Не прерывая работы — два удара, и шляпка готова — подмастерье ответил:

— Чтобы страшные мертвяки не вылезали из гробов и не гонялись за нами.

Теперь он знает, что все не так: не мертвые преследуют живых, а живые — мертвых. Кости и черепа вытряхивают из саванов, в лязгающие челюсти, как камни, бросают слова. Мы исправляем книги, оставшиеся от покойников, переписыва-

ем их жизнь. Томас Мор распустил слух, будто Билни на костре отрекся от своей веры; не удовольствовавшись тем, что отнял у Билни жизнь, вознамерился отнять и смерть.

Сегодня Мора сопровождал на эшафот Хемфри Монмаут, выборный шериф Лондона. Такой хороший человек не станет радоваться, что гонитель и гонимый поменялись местами, но, может быть, мы порадуемся за него?

Мор на эшафоте, в грубом сером плаще своего слуги, Джона Вуда. Говорит с палачом — видимо, шутит. Вытирает капли дождя с лица и бороды. Сбрасывает вымокший по подолу плащ. Встает на колени перед плахой. Губы шепчут последнюю молитву.

Вместе со всеми зрителями он закрывает лицо плащом, становится на колени и лишь после тошнотворного звука топора, рассекающего плоть, быстро вскидывает голову. Тело будто отпрыгнуло от удара и сложилось, как стопка ветхого тряпья, — внутри, он знает, еще бьется пульс. Он осеняет себя крестом. Прошлое тяжело смещается в нем, словно оползень.

— Итак, король, — говорит Кромвель. — Из Глостера в Торнбери. Потом — к Николасу Пойнзу в Айрон-эктон. Пойнз хоть понимает, на что себя

обрек? Оттуда в Бромхем…

Меньше года назад один иностранный ученый написал историю Англии, в которую не включил короля Артура на том основании, что его не было.[100] Вполне веское основание, но Грегори говорит, нет, историк неправ. Потому что если это так, что будет с Авалоном? С мечом в камне?

Он поднимает глаза.

— Рейф, ты счастлив?

— С Хелен? — Рейф краснеет. — Да, сэр. Как никто в целом свете.

— Я знал, что твой отец успокоится, как только ее увидит.

— Это все только благодаря вам, сэр.

Из Бромхема — это у нас начало сентября — в Винчестер. Дальше Бишопс-уолтем и Олтон. Из Олтона в Фарнхем. Он прокладывает маршрут. Надо рассчитать так, чтобы к началу октября король вернулся в Виндзор. На странице у него схематическая карта, Англия в чернильной мо-

---

[100] Примечания Ольги Дмитриевой: 100

Итальянский историк, приглашенный ко двору Генрихом VII, а затем служивший и его сыну, Полидор Вергилий, изучив английские архивы, не нашел в них подтверждения существования легендарного короля Артура, мифическими завоеваниями которого на континенте англичане гордились в течение многих поколений. После выхода его версии английской истории недоброжелатели утверждали, будто он обнаружил документальные свидетельства об Артуре и намеренно уничтожил их.

роси, внизу — названия городов и даты.

— Остается еще дня четыре, даже пять. Отлично. Кто сказал, что я никогда не отдыхаю?

Перед словом «Бромхем» он ставит на полях точку и тянет от нее через всю страницу длинную стрелку.

— До Винчестера у нас в запасе несколько дней, и знаешь что, Рейф? Думаю, мы навестим Сеймуров.

Он записывает.

Начало сентября. Пять дней. Вулфхолл — Волчий зал.

От автора

Во многих частях средневековой Европы новый год начинался 25-го марта, на Благовещение, когда, по преданию, ангел возвестил Марии, что она беременна Иисусом. В 1522-м венецианцы перенесли начало года на 1 января, за ними последовали другие страны, хотя Англия и тянула с переходом до 1752-го. В этой книге, как и в большинстве исторических романов, отсчет ведется от 1 января — святочного дня, когда происходил обмен подарками.

Распорядитель кардинальского двора Джордж Кавендиш после смерти Вулси удалился в деревню и в 1554-м, после воцарения Марии, начал писать книгу «Покойный кардинал Томас Вулси, его жизнь и смерть». Это не всегда точный, но очень трогательный, живой и увлекательный рассказ о карьере кардинала Вулси и роли в ней Кромвеля. Книга многократно издавалась; в интернете можно найти текст, в том числе и в исходной орфографии. Влияние ее на Шекспира несомненно. Кавендиш писал свою книгу четыре года и умер в год восшествия Елизаветы на

престол.

Благодарности

Я хотела бы поблагодарить Делит Нейл за валлийский, Лесли Уилсон — за немецкий и даму из Норфолка за фламандский. Гуаду Абаль — за песню, Джудит Флендерс — за то, что она меня выручала, когда я не могла попасть в Британскую библиотеку. Доктора Кристофера Хейга — за великолепный обед в Вулси-холле Крайстчерч. Иена Роджерса — за совместное паломничество в Кентербери и посещение «Герба Кранмера» в Эслоктоне. Джеральда Макьюена — за то, что возил меня на машине и мирился с тем, что я целиком поглощена работой. Моего агента Билла Гамильтона и моих издателей — за содействие и поддержку. А главное, доктора Мэри Робертсон; она занимается жизнью Кромвеля профессионально и на протяжении всей книги помогала мне словами ободрения и советами, терпеливо выслушивала мои сбивчивые измышления и была так добра, что признала нарисованный мною портрет. Ей посвящена эта книга с моими благодарностями и любовью.

От переводчиков

Литература обладает почти сверхъестественной властью над историей, и чем больше писатель, тем неограниченней эта власть. Никаким историкам не переспорить Шекспира, Пушкина или Толстого. Подлинная история остается примечаниями мелким шрифтом к созданному литераторами образу.

Перед нами книга, которой, возможно, предстоит стать портретом Томаса Кромвеля на все времена. Что было известно о нем до Хилари Мантел? Родился в семье кузнеца (или пивовара, а кузнецом был дед по отцовской линии), которого несколько раз задерживали за пьяные дебоши. Возможно, воевал в Италии. Возможно, торговал в Нидерландах. Сделал стремительную карьеру при Вулси; участвовал в упразднении мелких монастырей. После опалы Вулси плавно перешел на службу к королю и очень скоро сделался его правой рукой. Стал архитектором английской Реформации. Заслужил прозвище «молот монахов». Сыграл зловещую роль в процессе Томаса Мора и еще более зловещую — в процессе Анны Болейн.

Покровительствовал Гольбейну и некоторым видным гуманистам. Шокировал современников откровенно макиавеллевскими высказываниями. Подавил восстание католиков на севере Англии. Казнен в 1540 году по обвинению в государственной измене. В тюрьме и на эшафоте вел себя мужественно.

Самый, наверное, известный литературный образ Кромвеля (если не считать второстепенного персонажа в шекспировском «Генрихе VIII») — в пьесе Роберта Болта «Человек на все времена» и снятом по ней одноименном фильме 1966 года, собравшем богатый урожай «Оскаров» (лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший режиссер, лучший сценарий, кинематография и костюмы). Здесь Кромвель — антипод главного героя, правдолюбца Томаса Мора, олицетворение зла без единого проблеска души.

И о таком-то человеке Хилари Мантел решила написать книгу, чтобы показать те же события совершенно с другой стороны. Образ, созданный Мантел, невероятно убедителен и основан на огромном количестве документальных свидетельств (автор сообщает, что из времени, потраченного на книгу, примерно год ушел на исторические изыскания). Впрочем, при всей

внешней документальности не следует забывать: это роман, и мы во многом видим события и людей глазами главного героя (не зря Кромвель — всегда «он»: третье лицо, воспринимаемое почти как первое; и не зря временами непонятно, кто остальные «он» — читателя допустили в его, Кромвеля, мысли, и если читатель не все там понял, чья это печаль?).

Мир «Волчьего зала» плотно наполнен вещами. Если кардинал дарит Кромвелю перстень, то знакомый нам по гольбейновскому портрету. Если Кромвель хочет купить во Франции чертежи загадочной мнемонической машины, то это «Театр памяти» Джулио Камилло. Молитвенник, который читает Лиз, — тот самый, который позже увидит в руках у Кромвеля Джордж Кавендиш и о котором напишет в «Жизни и смерти кардинала Вулси». Вещи, словно говорит Мантел, надежны; люди — заблуждаются или сознательно лгут. Кавендиш решил, что знает, из-за чего плачет Кромвель? Ну так напрасно он поверил Кромвелю на слово. Все, основанное на человеческих словах, зыбко. Гальфрид Монмутский пишет, что Британию основал троянец Брут. Однако другие хронисты начинают историю Альбиона с данаид. Вы читали историю про сэра Генри Уайетта

и кота? А с чего вы взяли, что все происходило именно так, как описано? Сколько жен по имени Гвиневера было у короля Артура? Одна, говорит Мэлори. Три, утверждают валлийские триады.

Одна из тех историй, про которые мы никогда не узнаем, «что же там было на самом деле» — процесс Анны Болейн. Арестованы были несколько человек, только один — лютнист Марк Смитон — дал (под пыткой) показания, что состоял с Анной в прелюбодейственной связи. Из предполагаемых любовников Анны, кроме Смитона, на эшафот отправились Генри Норрис, Фрэнсис Уэстон, Уильям Брертон и ее брат Джордж Рочфорд; Томаса Уайетта, заключенного в Тауэр по тому же делу, оправдали.

Может быть, нигде зыбкость слов не проявляется так, как в переводе. Уильям Тиндейл, протестантский реформатор, мечтавший, чтобы каждый пахарь читал Писание на родном языке, перевел Библию на английский. Томас Мор написал шеститомное «Опровержение», в котором доказывал, что Тиндейл сознательно и злонамеренно искажает текст Писания. Вероятнее всего, насчет злонамеренности Мор отчасти заблуждался: известно, что по крайней мере одну из замеченных Мором ошибок Тиндейл исправил

в переиздании, неясно, правда, потому ли, что прочел возражения оппонента, или потому, что заметил ее сам.

Образ Мора в «Волчьем зале» вызвал у англоязычных рецензентов немало нареканий. Мантел говорит о Море правду или, по крайней мере, повторяет достаточно известные слухи (скажем, противники действительно утверждали, будто Мор пытает арестованных у себя дома, — обвинения, которые сам Мор решительно опровергал; впрочем, справедливости ради следует добавить, что в том же обвиняли и Кромвеля). Однако правда, которую Мантел говорит о Море, — не вся правда, и это тем обиднее, что после блистательного портрета Вулси, в котором с шекспировской широтой соединены алчный временщик и мудрый политик, читатель ждет не менее сложного и многогранного Мора. Впрочем, у «человека на все времена» было, да еще и будет, наверное, достаточно других портретистов. Быть может, только совместив инакомыслящего из пьесы Болта и мученика догмата из «Волчьего зала», мы можем по-настоящему осознать, насколько обманчивы попытки применить к людям эпохи Возрождения мерки нашего времени.

Книга называется «Волчий зал», однако сам

Вулфхолл (Волчий зал) упомянут в ней лишь мельком. Все остальное — за рамками романа. В Волчьем зале Генрих познакомится с Джейн Сеймур и начнется закат Анны Болейн. Сам же Кромвель переживет не только Анну Болейн, но и Джейн Сеймур, завершит секуляризацию церковного имущества, получит графский титул и внесет неоценимый вклад в развитие английского книгопечатания. Между последними строчками романа и плахой у него еще целых пять лет.

Послесловие научного редактора

Томаса Кромвеля непросто любить. При жизни он был одним из самых ненавидимых людей в Англии. Этого «выскочку» обвиняли в том, что он буквально «прогрыз» себе дорогу из лондонского предместья к вершинам власти, потеснив родовитых советников короля, в том, что был готов удовлетворить любые амбиции и желания государя, невзирая на жертвы, которые они влекли за собой, и не гнушаясь никакими средствами. В то же время в нем подозревали циничного «макиавеллиста», беззастенчиво манипулировавшего своим господином. В XVI веке, когда рушились устои церкви, а привычные моральные ценности подвергались сомнению, призрак макиавеллизма тревожил Европу. Прозвище «макиавель» стало клеймом, которым награждали многих удачливых политиков (порой те, кто и сам вполне заслуживал его). Счет, предъявлявшийся Кромвелю современниками, был длинным: предав своего покровителя кардинала Вулси, он узурпировал влияние на короля, в угоду сластолюбию и тщеславию которого совершил Реформацию,

разрушил монастыри, пустив монахов по миру, ограбил гробницы святых, развеяв их прах. По его приказу статуям в церквях уродовали лица и отбивали руки, а в ценнейших средневековых рукописях вымарывали изображения пап и святых, почитавшихся веками. Он взнуздал и поставил страну на дыбы, отправляя на дыбу и костер тех, кто сопротивлялся королевской Реформации.

Тем не менее Хилари Мантел любит своего героя и находит тому немало оснований. В ее интерпретации (которая вовсе не противоречит взгляду профессионального историка) Кромвель — политик, ставший одним из творцов современной Англии, ее национальной независимости и государственного суверенитета. Именно он сформулировал и впервые предъявил миру тезис об «имперском» характере английской короны, о независимости английских монархов от власти римских первосвященников. Он, разрушив католическую церковь, возвел новое здание церкви Англии. В его «макиавеллизме» Х. Мантел видит ту составляющую, которая была преимущественно связана с такими понятиями, как «государственный интерес» или «государственная необходимость». Такие люди, как Кромвель, прокладывали дорогу к торжеству самодовлею-

щего суверенного государства Нового времени.

Яркая черта этой книги — восхищение автора интеллектуальными и профессиональными качествами ее героя. По-видимому, существует определенная поэтика профессионализма и компетентности, и Хилари Мантел находится под ее несомненным обаянием. В эпоху, когда ведение государственных дел все еще оставалось уделом дилетантов, подчас совершенно непригодных для этого и получивших доступ к управлению благодаря аристократическому происхождению, или представителей духовного сословия, веками поставлявшего «управленцев», Кромвель стал одним из светских лиц, которым удалось подняться на вершину административной пирамиды, опираясь на свой талант и исключительные качества как юриста и финансиста. В свое время крупнейший специалист по истории XVI века Джеффри Элтон ввел в научный оборот эффектный термин — «тюдоровская революция в управлении». Он приписывал ее главным образом Томасу Кромвелю, который, по его мнению, реформировал административную систему, придав ей принципиально новый характер. Не будучи министром двора или прелатом церкви, он, сосредоточив в руках судебные должности и финансовые посты,

а также обязанности государственного секретаря и хранителя личной королевской печати, способствовал тому, что финансовое ведомство постепенно выступило на первый план. При Кромвеле, как никогда прежде, стало ясно, что деньги — главный нерв политического тела государства. Его авторитет возрастал пропорционально денежным потокам, которые поступали в казну с началом Реформации и конфискации церковной собственности. Новые суды и ведомства создавались, чтобы освоить и «переварить» эту массу богатства. Для решения новых политических и экономических задач, вставших перед правительством, Кромвель привлек когорту профессионалов — одаренных юристов и финансистов собственной выучки. Это в первую очередь относится к молодым людям, воспитывавшимся в его доме. Ральф Сэдлер (именуемый на протяжении всей книги уменьшительным именем Рейф) со временем стал крупным государственным деятелем, членом Тайного совета и канцлером герцогства Ланкастер. Р. Рич будет канцлером Суда Приращений, распорядителем доходов от церковной секуляризации, позднее сделает удачную карьеру и получит пост лорда-канцлера. До него эту должность будет занимать Томас Ризли,

тоже из окружения Кромвеля. Появление подобных людей, приводивших за собой собственный штат специалистов, знаменовало собой растущую профессионализацию государственного аппарата. Х. Мантел воздает должное Кромвелю — реформатору бюрократической машины, с удовольствием описывая его прагматизм и компетентность. Не случайно она щедро рассыпает по тексту значимые детали, указывающие на его страсть к математике и теории бухгалтерии (книга Луки Пачоли на столе), свободное оперирование курсами монет и биржевыми сводками по всей Европе, феноменальную память, основывающуюся на особой мнемонической технике, интерес к изысканиям Дж. Камилло, человека, который провидел появление чего-то отдаленно напоминающего глобальную информационную сеть, стремление покровительствовать ученым и художникам.

Своеобразный рационализм присущ и вере Кромвеля. Мы крайне мало знаем об истинных религиозных убеждениях человека, который, будучи светским лицом, получил беспрецедентные полномочия генерального викария короля в делах церкви. Тем не менее его связи с реформаторами, попытки поддержать их еще в те времена,

когда это было опасно и грозило обвинением в ереси, выдают в нем их единомышленника. С их помощью он создаст церковь, в которой будут доминировать не пышные обряды, блеск золотой утвари и облачений духовенства, а вдумчивое чтение Писания и проповедь. Быть может, главная заслуга Кромвеля перед английской культурой — его усилия, связанные с переводом и изданием Библии на английском языке. По его замыслу английская Библия должна была стать доступной верующим в каждом приходе.

Реформация Генриха VIII и Кромвеля была оплачена кровью тех, кто не пожелал отречься от католической веры и не признал короля главой церкви. Среди них были выдающийся теолог, пользовавшийся европейской известностью, Джон Фишер, и бывший канцлер королевства, видный гуманист Томас Мор. Х. Мантел дает портрет Мора через призму конфессиональной борьбы протестантов и католиков. Для последних Мор навсегда останется мучеником, причисленным клику святых. Однако для тех, кто находился по другую сторону баррикад, Мор был грозной фигурой. В тексте собственной эпитафии, составленной им еще при жизни, он с гордостью заявлял, что был «докучным для еретиков» и

осознанно преследовал их. В XIX веке в Англии, где протестантизм уже давно был официальной религией, это утверждение мыслителя, составлявшего славу нации, вызывало такое смущение, что потомки предпочли стереть раздражающие слова с мраморной доски. Однако записанное на скрижалях истории не так легко вымарать. В век грандиозного церковного раскола и противостояния, захватившего всю Европу, политики масштаба Мора и Кромвеля были обречены на то, чтобы во имя своей веры сделаться гонителями или жертвами. Не миновала эта чаша и Кромвеля.

Бухгалтерия его заслуг и преступлений сложна. В одном столбце оказываются имена католических мучеников, ограбление монастырей и разрушение памятников церковного искусства. Ему противостоят мартиролог мучеников-протестантов, создание независимой церкви и Библия на английском. Баланс предстоит подвести читателю.

Ольга Дмитриева